

Даниил Гранин

5

Даниил
Гранин

5



Даниил Гранин

**СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ПЯТИ ТОМАХ**



Ленинград
«Художественная литература»
Ленинградское
отделение
1990

Даниил Гранин

**СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
ТОМ ПЯТЫЙ**

Искатели

РОМАН

Повести и рассказы

Эссе



Ленинград
«Художественная литература»
Ленинградское
отделение
1990

ББК 84.Р7

Г 77

Послесловие
В. ОСКОЦКОГО

Оформление художника
Б. ОСЕНЧАКОВА

Г $\frac{4702010201-080}{028(01)-90}$ подписное

ISBN 5-280-00960-1 (Т. 5)
ISBN 5-280-00860-5

© Д. Гранин, 1990 г.
© В. Оскоцкий. Послесловие
1990 г.

Искатели

РОМАН

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Дверь распахнулась резко, уверенно, и на пороге лаборатории появился высокий, широкоплечий молодой человек. Голова его немного не доставала до притолоки. Солнце сквозь подмороженные окна било ему прямо в глаза, заставляя прижмуриться: от этого крупные, грубоватые черты его бледного лица обозначились еще резче. Сунув руки в карманы брюк, заправленных в белые бурки, он внимательно и как бы торжественно осматривал лабораторию.

Ветер ворвался за ним, взъерошив его светлые, закинутые назад волосы, помчался дальше, перебирая бумажки на столе у инженера Новикова, вырвав скользкую шумную кальку из рук Лени Морозова, вздувая белыми пузырями оконные занавеси.

Морозов недовольно обернулся и крикнул:

— Закройте дверь! Не лето.

Оба его помощника тоже обернулись. Монтер Петя Зайцев, которого за малый рост все звали Пекой, — с любопытством, старший лаборант Саша Заславский — с досадой. Толстое добродушное лицо его сморщилось, он с силой заскреб свои жесткие курчавые волосы, стараясь восстановить сбитый ход мыслей.

Второй час они испытывали присланный в срочный ремонт осциллограф, разыскивая причину повреждения. Вернее, это был не осциллограф, а сложная осциллографическая схема для специальных измерений. На молочном экране прибора вместо волнистой змейки упорно дрожало размытое зеленое пятно. Саша вздохнул. Разгадка каприза этой проклятой установки была вот-вот нащупана — и опять исчезла...

Напротив стенда, где испытывалась установка, за письменным столом работал инженер Новиков. Вошедший не спеша притворил дверь и направился было

к нему, но в это время из соседней комнаты появился пожилой сутуловатый мужчина.

— Внимание! — тихо предупредил товарищей Пека Зайцев. — На нас надвигается Кривицкий.

Старшего инженера Кривицкого из-за его острого, злого языка остерегался даже техник Леня Морозов, которого вся молодежь лаборатории считала отчаянным парнем.

— Придется разбирать всю установку, — деловито сказал Морозов, складывая кальку.

— Опять на два дня мороки, — нахмурился Саша. — Неужели нельзя найти порчу, не разбирая?

Им осточертел этот ремонт. Не успели кончить одно, хватайся за другое. Полная анархия производства. Следовало бы поставить этот вопрос перед Майей Константиновной.

— Вопрос не прибор, — оборвал их разглагольствования Морозов. — Вопрос простоит долго.

Между тем Кривицкий, задержавшийся возле стола Новикова, вопросительно смотрел на посетителя.

— Могу я видеть товарища Устинову? — спросил тот.

— Майя Константиновна на совещании в месткоме.

— Вы по какому вопросу? — спросил Новиков, откладывая перо. — Из райкома?

— Нет, я... по личному делу.

Он произнес это с заминкой, но спокойно и почему-то весело; в его поведении таилось что-то не похожее на поведение случайного посетителя.

— Разрешите ваш пропуск, — сказал Кривицкий.

— «Лобанов Андрей Николаевич», — прочел он, шевеля тонкими бледными губами, потом показал пропуск Новикову. Нет, эта фамилия им ничего не говорила.

— Вы подождите, — посоветовал Новиков. — Майя Константиновна, вероятно, скоро придет.

Лобанов присел возле столика с надписью «Начальник лаборатории». Столик был стиснут с одной стороны шкафом, с другой — стендом.

— Интересно, как там Майя Константиновна воюет, — сказал Новиков, следя за Лобановым. — На этот раз к нашим показателям не придерешься.

— Показатели — это всего лишь арифметика, — отозвался Кривицкий. На его сухом, вытянутом лице

была прочно впаяна желчная усмешка, всегда несколько смущавшая Новикова.

— Вы закоренелый скептик.

— Правдивые слова не бывают приятны, приятные слова не бывают правдивыми,— сказал Кривицкий.— Вы собираетесь когда-нибудь испытывать предохранители?

— Не собираюсь,— с удовольствием ответил Новиков.— Мне поручено составить инструкцию. Это куда приятней, чем без конца испытывать одни и те же предохранители.

— Вас, очевидно, прельщает не сама инструкция, а последняя строка: «Составил инженер Новиков».

— А хотя бы и так,— засмеялся Новиков, сдувая пушинку с рукава своего тщательно отглаженного костюма.— Во всяком случае, это более творческая работа.

Стройный, щеголеватый, он располагал к себе какой-то откровенной беззаботностью. Кривицкий улыбнулся одними губами:

— Вы никогда не открыли бы своего призвания к составлению инструкций, если бы не ваше желание оправдать свое легкомыслие.

Новиков пожал плечами, ему не хотелось продолжать этот рискованный спор в присутствии постороннего. И Новиков, и Кривицкий снова посмотрели на Лобанова. Он сидел, закинув ногу на ногу, не проявляя никаких признаков нетерпения, с интересом прислушивался к перебранке Лени Морозова со своим помощником, к разговору Новикова с Кривицким и внимательно, с каким-то откровенным интересом изучал помещение лаборатории. Новиков тоже огляделся, пытаясь представить себе впечатление постороннего человека от лаборатории.

В этот предвечерний час центральная комната лаборатории должна была показаться особенно красивой. Жаркими красками вспыхивали в закатных лучах зимнего солнца кусочки прозрачно-желтого янтаря, синие копыя стрелок, монтажные панели, перевитые огненными жилками красной меди, серебристые столбики конденсаторов. На полках теснились высокие катушки проводов в пестрых шелковых нарядах изоляции. Над ними висели огромные выпрямительные лампы. Их зеркальная поверхность отражала синие квадраты окон с оранжевой лентой заката. Повсюду на приземистых

столах лежали еще не ожившие, не связанные мыслью детали. Воздух был пропитан сложной застарелой смесью запахов канифоли, шеллачного спирта, озона, костяного масла. Неповторимый, свой запах для каждой лаборатории.

Новиков мечтательно прищурился, пробуя увидеть и себя среди этой живописной, деловито-внушительной обстановки: молодой, красивый, скромный научный работник, разбросанные по столу бумаги, мучительное творческое раздумье...

Кривицкий рылся в пыльной куче наваленных деталей. Он не видел в них ничего живописного. Просто старый хлам, в котором никогда не найти нужную вещь. И вся лаборатория тесная, неудобная: низкий закопченный потолок, громоздкие устарелые стенды, ветхие, неудобные шкафы.

Заметив брезгливую усмешку Кривицкого, Новиков озабоченно взглянул на часы, прошел к столу начальника лаборатории и, присев на край стола, начал звонить по телефону. В лаборатории было шумно. Гудели генераторы, из соседней комнаты доносился визгливый скрежет электродрели. Новиков повторял в трубку:

— Олечка, вы меня слышите? Ровно в девять. Да нет, в девять.

Прикрыв микрофон рукой, он крикнул чубатому пареньку:

— Пека, скажи, чтобы там выключили этот душе-терзатель!

Кривицкий подошел к технику:

— Ну, Морозов, как дела?

Морозов задумчиво поправил золоченый зажим вечного пера в кармане кожаной куртки. Очевидно, пробился конденсатор. Придется менять.

Его подручный, лаборант Саша Заславский, сказал:

— Третий раз у них пробивается конденсатор... Может, надо чего-нибудь в схеме переделать?

— «Чего-нибудь», — передразнил его Морозов, — тоже мне мыслитель.

Они заспорили. Кривицкий молчал.

— Прошу прощения, — вдруг обратился к ним Лобанов. Он встал. — Разрешите мне полюбопытствовать?

Морозов нехотя покосился в его сторону:

— Чего тут любопытного?

Лобанов улыбнулся. Улыбка у него была широченная, на все лицо.

— Да просто ручки повертеть.

— Ну повертите, — разрешил Морозов, взглянув на старшего инженера. — Все равно разбирать.

Минуту-другую они наблюдали, как посетитель, прочитывая предварительно надписи на панели, поворачивал рукоятки установки. Зеленое пятно на экране то вытягивалось, то сжималось в маленький яркий зайчик.

— Кстати, это не телевизор, а осциллографическая установка, — ехидно бросил Пека.

— Почему «кстати»? — сухо спросил Лобанов. — Кстати бывает только то, что остроумно. Я думаю, тут мало сменить конденсаторы. Важно выяснить, почему они пробиваются.

Поймав ироническую усмешку Кривицкого, Морозов с преувеличенным уважением спросил:

— Вы, случаем, не конструктор этого осциллографа?

Ребята развеселились. Человек, судя по всему, впервые видит осциллограф и берется указывать тем, кто, можно сказать, зубы съел на этом деле!

— Модест Петрович, — обратился Морозов к старшему инженеру, — так я начинаю разбирать?

Кривицкий кивнул.

— Вряд ли можно назвать такой метод научным, — глядя на Кривицкого, резко сказал Лобанов. Морщины сердитым фонтанчиком поднялись от переносицы по бугристому крутому лбу.

— Видите ли, — медленно начал Кривицкий, поскребывая острый, плохо выбритый подбородок, — мы придерживаемся такого примитивного правила: когда начался пожар, то не время проверять план противопожарных мероприятий.

Морозов громко засмеялся. Лобанов вернулся на свое место, сел и, облокотясь на широко расставленные колени, сцепил руки.

Установку отключили и начали разбирать. Пека, пробегая то с паяльником, то с мотками проводов, не переставал следить за Лобановым.

— Задумался! — с притворным почтением сообщил он приятелям. — Минимум академик.

— Или максимум студент, — откликнулся Морозов.

Люди солидные и занятые, они оценили шутку сдержанными улыбками.

— Либо студент, либо корреспондент, — заключил Пека. — Эти всегда суются не в свое дело.

В комнату быстрым шагом вошла молодая женщина. Чувствовалось, что и гладко зачесанные на пробор волосы, и строгий черный костюм, и эту быструю четкую походку — все по-молодому добросовестно и искренне вкладывала она в облик начальника, каким он ей представлялся. Но, несмотря на ее старания, этот заданный облик предательски разрушали девичьи припухлые губы и глаза — большие, серые, мягко освещающие ее неяркое, чистое лицо.

— Товарищи, — громко сказала она, — поздравляю вас. Наша лаборатория завоевала первое место и переходящее знамя.

Начав официально и торжественно, она не удержалась, улыбнулась и, улыбнувшись, засмеялась. И все кругом, глядя на нее, тоже засмеялись.

Новиков поспешно закончил телефонный разговор и, повесив трубку, весело потер руки:

— Ай да мы! Колоссально! Майя Константиновна, вы должны выделить энную сумму на банкет.

Пека помчался в мастерскую сообщить новость. Из смежной комнаты, где верещала дрель, подошли еще двое сотрудников.

— Майя Константиновна, тут к вам товарищ, — сказал Саша Заславский.

Его перебили:

— Как там было, расскажите.

— Ну что, Кривицкий, — торжествовал Новиков. — Вот вам!

— Слава, — философски вздохнул Кривицкий. — Слава — это не солнце, а всего лишь тень.

Майя Константиновна строго обернулась к нему, но встретилась глазами с Лобановым и сказала:

— Пожалуйста, простите. Я вас слушаю. — Она села за свой стол. — Там такие страсти разгорелись... Теплотехники заявили... Ах да, простите, — спохватилась она и снова, улыбаясь, повернулась к сотрудникам: — Сейчас я все расскажу, только вот отпущу товарища.

Все посмотрели на Лобанова нетерпеливо и раздосадованно.

— Нет, вы пожалуйста, я подожду, — сказал он.

— Ничего, ничего! Итак, что у вас?

— У меня к вам направление из отдела кадров, — почему-то смущенно сказал Лобанов.

Кривицкий посмотрел на него с особым вниманием.

Лобанов порылся в карманах и, насупясь, явно недовольный тем, что кругом стоят люди, протянул направление Майе Константиновне.

Эти несколько строчек Майя Константиновна читала долго. Постепенно улыбка уходила с ее лица, губы твердо сжимались. Ощущение какой-то тревоги охватило всех. Стало тихо, только из соседней комнаты доносился пронзительный вопль дрели.

— Знакомьтесь, товарищи,— медленно, ровным, без всякого выражения голосом сказала Майя Константиновна.— Новый начальник лаборатории — товарищ Лобанов...— она заглянула в бумажку,— Андрей Николаевич.

Кто-то удивленно и недоверчиво хмыкнул, кто-то протянул «н-н-да-а», кто-то торопливо закурил. Затем наступило долгое, неприятное молчание.

— Пека,— сказала Майя Константиновна,— пойдی скажи там, чтобы выключили дрель.

— Майя Константиновна, как же так? А вы...— сбивчиво начал Новиков и покраснел, поняв свою бестактность.

Майя Константиновна с трудом улыбнулась:

— Вы же знаете, я временно исполняла обязанности.

Да, они знали, что Устинова — молодой инженер и что на место начальника подыскивали солидного товарища, но эти разговоры шли так давно, что их перестали принимать всерьез. Устинова работала второй год, и никому в голову не приходило...

— Когда разрешите сдать вам дела?— тем же ровным голосом спросила она, вставая.

Лобанов растерянно оглядел неподвижные лица.

— Я полагаю... за вами практически остается руководство. Я пока присмотрюсь...

— Нет уж.— Устинова переложила бумаги на столе, отодвинула направление.— Нет уж, разрешите сдать вам дела завтра.

По мере того как неприязненная решимость Устиновой возрастала, Лобанов словно избавлялся от смущения.

Он медленно поднялся; от краски, недавно заливавшей лицо, только на скулах остался легкий румянец.

— Ну что ж, завтра так завтра.— Секунду-другую они смотрели друг на друга в упор с гордостью несправедливо обиженных людей.

— До свидания, товарищи,— сказал Лобанов.

— До свидания,— ровно прозвучал одинокий голос Майи Константиновны.

Покинув лабораторию, Лобанов поднялся на второй этаж и пошел по одному из длинных коридоров, тянувшихся вдоль огромного здания Управления энергосистемы.

Отечественная война основательно разрушила энергохозяйство города. Никто, даже сами энергетики, не представляли себе, что за каких-нибудь три-четыре года удастся восстановить разбитые котлы, поднять мачты линий передач, исправить подъездные пути, поставить турбины. Подземная кабельная сеть была перебита в тысячах мест снарядами и авиабомбами. Подстанции стояли демонтированные — пустые кирпичные коробки.

Крупнейшие заводы маялись на голодном пайке электроэнергии. В часы пик диспетчер отключал часть предприятий. На каждого жителя полагался свой лимит, энергию получали, как хлеб, по карточкам. Министр лично распределял каждый километр кабеля.

Теперь все это отходило в прошлое. Наиболее мощные станции — Комсомольская, Октябрьская, Лесная, Приозерная — были восстановлены и приняли полную нагрузку. Энергию распределяли еще бережливо, но голод кончился.

Лобанов проходил мимо бесчисленного строя дверей, воссоздавая по надписям масштаб этого огромного учреждения. Из царства теплосети, снабжающей город теплом в бережно изолированных трубах, по которым текли в дома горячая вода и пар, он попал в царство высоковольтных линий. Чтобы многомиллионный город-труженик мог жить, двигаться, работать — днем и ночью, не умолкая, гудело пламя в топках, шли эшелоны с торфом, углем, по трубам котлов мчался раскаленный пар. На далеких реках билась вода в лопасти турбин. За сотни километров несли ее силу линии передач. Эта незримая сила текла в город со всех сторон, входила в каждый дом, вспыхивала ярким светом лампочек, звучала музыкой в репродукторах. Она оживала голубым лучом в темных залах кинотеатров, вертела

станки, двигала трамваи. К ней привыкли, ее не замечали, как не замечает здоровый человек биения своего сердца. Тысячи и тысячи людей участвовали в создании этой силы, распределяли ее, учитывали, следили за ее расхождением и бесперебойным действием.

Здесь, в Управлении, находился мозг всех станций, сетей, строительств, ремонтных заводов — всего сложного, гигантского хозяйства системы.

Сюда приезжали директора предприятий договориться о подключении нового цеха, нового дома. Домашние хозяйки хлопотали о своих счетчиках. Управхозы приходили с жалобами на плохое напряжение.

Из полураскрытых дверей доносился ровный, немолчный шум сотен голосов, стук пишущих машинок, трезвон телефонов. Впереди по коридору шли две девушки, до Андрея долетел обрывок их разговора:

— ...В антракте он меня спрашивает, не помогу ли я им с трансформаторным маслом.

— Вот жук, ради этого пригласил?

— Конечно. Я повернулась и ушла.

— Совсем?

— Как бы не так. Забралась на галерку и посмотрела.

— И куда им столько масла?

— Шутишь — тысячи трансформаторов.

Андрей вдруг представил себе, сколько цистерн масла поглощают аппараты станции. Но тотчас его внимание отвлек очкастый мужчина с толстым портфелем под мышкой. Он громко кричал своему собеседнику:

— В этом районе ни одного магазина! Мы оборудовали его холодильниками. У нас вентиляция!

— Товарищ абонент, в этом районе еще мощности нет, — уныло повторял его собеседник. — Подождите год.

— Смешно. Год! Смешно.

Разговор происходил у двери с надписью «Отдел приключений». Андрей понимал истинный смысл этих слов, но, посмотрев на унылого сотрудника этого отдела, улыбнулся. А жаль, что действительно не существует на свете такого отдела увлекательных, волнующих приключений!

И вдруг эта смешная надпись как-то по-новому осветила и его приход в лабораторию, и путешествие по зданию Управления. Да, и в его жизни началась пора неожиданных, удивительных событий. Начиналась,

впрочем, не очень-то удачно, встретили его неприветливо... Того ли он ждал?.. А впрочем, ничего страшного не произошло. Посмотрим, как они будут выглядеть, когда дойдет до дела. Толком в осциллографе разобраться не умеют...

Он шел по высоким сводчатым коридорам, поднимался по лестницам, минуя какие-то залы и застекленные галереи, чувствуя себя уже не гуляющим наблюдателем, а разведчиком. Каждый шаг открывал новое, каждый встречный мог оказаться соратником или противником.

...Вот наконец и технический отдел. Ну что ж, зайдем представиться.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Сумерки затянули углы опустевшей комнаты. Утих шум в коридорах, смолкли телефоны, а они все еще сидели и никак не могли наговориться, наглядеться друг на друга.

— Так вот какой ты стал, Витька!

— Какой?

— Растолстел, солидный.

— А ты все растешь, вымахал с высоковольтную мачту. И чего тебя вверх тянет, Андрюха?

Они не виделись после окончания института. В студенческие годы были друзьями, хотя часто ссорились, а под конец, на пятом курсе, и вовсе разошлись. Тогда им казалось, что навсегда. Андрей Лобанов собирался остаться в аспирантуре. Виктор Потапенко ушел на производство.

Никто не понимал, почему профессор Одинцов предложил остаться в аспирантуре Андрею Лобанову. Лучшим студентом в группе считался Виктор. На защите главный инженер одной из электростанций сказал:

— Дипломный проект Потапенко — не ученическая работа. Наша станция получила инженерное решение одного из насущных вопросов.

Весь факультет тогда гордился Виктором. Недаром преподаватели единодушно отмечали его способности. Учеба давалась ему легко, не в пример Андрею. У Андрея было несколько любимых предметов, но и в них его интересовало только противоречивое, неясное. Когда

лектор говорил: «Тут, товарищи, существует несколько мнений, явление это мало исследовано», Андрей усаживался за книги или оставался по вечерам в лаборатории. Неизвестное вызывало в нем бурный протест и нестерпимое любопытство.

Большей частью его постигали неудачи. Неясное окончательно запутывалось, и, даже получив какие-нибудь результаты, он не мог объяснить их.

— А помнишь твоё открытие с дугой? — спросил Виктор, и они захохотали.

Это случилось после того, как профессор Одинцов бросил неосторожную фразу: «Электрическая дуга — самый яркий источник света и самое темное до сих пор место в теории газового разряда».

Андрей счел своим долгом немедленно заняться дугой. Слепящее электрическое пламя гудело в его руках. Он растягивал его, дул на него, помещал в магнитном поле. Через несколько дней у него начали слезиться глаза, но он продолжал опыты. Однажды, устроив дугу между ртутью и углем, он обнаружил, что ртуть в ванночке забурлила и поднялась фиолетовым конусом навстречу углю. Он переменял полюса — под острием угля на ртути возникла воронка. Что бы это значило? Он пошел в библиотеку, перелистал капитальный труд по электрической дуге. О подобном явлении не говорилось ни слова. Тогда он понял, что открыл нечто новое и важное. Почему важное, он еще не знал. Может быть, на этом принципе можно построить двигатель? Или насос? Ему некогда было сейчас раздумывать о таких мелочах. Он снова помчался в лабораторию, включил рубильник. Он видел то, чего никто никогда еще не видел. Ух, какое это было восхитительное чувство!

Необходимо было немедленно, сейчас же с кем-нибудь поделиться, иначе бы он взорвался от восторга. Он поехал в общежитие.

— Одевайтесь! — закричал он с порога. — Витька, Костя, открытие! Поехали в лабораторию.

И Виктор, и Костя привыкли к восторгам Андрея, поднять их с кровати было нелегко.

— Жалкие личности... Открытие, понимаете вы? — Андрей, захлебываясь, рассказал о своем опыте. — Конечно, это произошло случайно. Так ведь все великое находилось случайно.

— Какая скромность, — сказал Костя.

Назавтра они втроем пригласили в лабораторию Одинцова. Фиолетовое солнце забегаало по тусклой поверхности ртути.

— Видите бугорок? — замирающим голосом осведомился Андрей.

— Вижу, ну и что из этого? — черство спросил Одинцов.

Не замечая его тона, Андрей объяснил:

— Я обнаружил это вчера случайно.

— Это явление было открыто Александром Ильичом Шпаковским в тысяча восемьсот пятьдесят шестом году, — сухо сказал Одинцов. Он оглядел поникшего Андрея и без всякой жалости добавил: — Случай идет на встречу тому, кто ищет его не вслепую.

— Удар в челюсть, — объявил Виктор после ухода Одинцова. — Тысяча восемьсот пятьдесят шестой год, чуть-чуть опоздал.

— Иди к черту! — неуверенно сказал Андрей.

— Он еще ругается. Осрамил нас только... Эх ты, Архимед!

— Ничего страшного. Подумаешь. Факт, что у тебя есть наблюдательность, — утешал Костя Исаев. — Держи нос выше. Глаза вот ты испортил, это хуже.

И он повел притихшего, упавшего духом Андрея в амбулаторию.

Такого рода «открытий» было немало. Неудачи огорчали Андрея, но быстро забывались. Ему нравился самый процесс исследования. Он сомневался, проверял, выдумывал всевозможные опыты.

Он прибавлял к электромагниту виток за витком, менял толщину проводов, менял все, что можно было менять, и своими руками выводил формулу. Она возникала в точности такая, как в книжке, — длинная, многоэтажная. Каждая ее цифра, каждая буква были запечатлены не только на бумаге, но и на руках — ожогами и ссадинами, оживали в бегущей по шкале стрелке, запоминались навсегда.

Приходила сессия, и Андрей многие предметы сдавал кое-как, еле увертываясь от грозящих двоек. Нет, Андрей не был примерным студентом. Виктор тоже не отличался усидчивостью, но он схватывал, как говорится, на лету, у него все получалось как-то легко, красиво и весело. Он не кичился своими способностями, все любили его и удивлялись, почему Одинцов предпочел Лобанова.

Темой дипломного проекта Одинцов дал Андрею расчет одного прибора, работа была в основном теоретическая. И получалось так, что Виктор возвращался со станции перемазанный, усталый и заставлял Андрея в кровати с книжкой.

— Бездельник ты, брат, — раздраженно говорил он. С этого и началось их взаимное охлаждение.

Виктора обидел выбор Одинцова. Собственно, Виктор не собирался оставаться в аспирантуре, но его задело предпочтение, оказанное Лобанову.

Они ухаживали за подругами — студентками педагогического института: Виктор — за Лизой, Андрей — за Ритой. Однажды в присутствии девушек Виктор принялся высмеивать Андрея.

— Разумеется, носить за Одинцовым портфель да указку нетяжело и пальчики не испачкаешь, — язвил он. — Инженер — это для тебя низковато. А мы, брат, славы не ищем. Мы идем работать.

Они поссорились.

На выпускном вечере, когда собрались в общежитии всей группой, Виктор, задиристо поглядывая на Андрея, предложил:

— Ребята, выпьем за то, что мы наконец начинаем работать. За то, чтобы станции, куда мы попадем, стали самыми лучшими!

Андрею было стыдно перед товарищами: они шли работать, они горячо обсуждали и сравнивали свои путевки, гадали, как примут их на новом месте, один он оставался опять учиться. И, презирая себя за этот ложный стыд, он поднялся и, зажав в кулаке стакан, вызывающе произнес что-то малопонятное и скучное о науке и о тех самоуверенных невеждах, которые считают, что учеба кончается, как только получен диплом.

Откровенно говоря, большинству порядком надоело учиться. Андрея даже жалели. Но его неуклюжий тост в честь науки подхватили так же дружно, как и первый.

Только Костя Исаев бросил тогда памятную фразу:

— Хватит вам, хлопцы, цапаться; земля круглая, и все равно встретимся — была бы дорога прямая.

Костя был прав. Земля оказалась круглой. Судьба вновь свела Виктора и Андрея.

Виктор за эти годы быстро выдвинулся. В журналах и газетах все чаще появлялись его статьи. Он выступал на конференциях, пользовался известностью как крупный инженер. Год назад он был назначен начальником

технического отдела Энергосистемы. Андрей же после войны вернулся в аспирантуру и лишь недавно защитил диссертацию.

Они не ожидали, что встреча их выйдет такой теплой и радостной. Помнилось только хорошее. Оба возмужали, изменились и с любопытством приглядывались друг к другу. Никто не вспоминал о старой размолвке. В конце концов, они все же любили друг друга. Несколько лучших лет своей молодости они — Виктор, Андрей и Костя — прожили в маленькой комнате общежития, пропахшей дешевыми папиросами, колбасой и гуталином. Летом в комнате стояла духота, зимой они по очереди спали на той кровати, которая была ближе к батарее.

Можно позабыть, чему тебя учили, позабыть своих учителей, но разве забудешь того, с кем учился, кому рассказывал о первой любви, с кем делился последним рублем и мечтами о будущем!

Вот и пришло то будущее, о котором они мечтали. И все равно кажется, что самое главное еще впереди.

— Да, старина, молоды мы были, глупы и симпатичны, как телята, — сказал Виктор. Он посмотрел на часы, спохватился. — Ого, опаздываю к ужину. Поехали ко мне, — предложил он. — Не пожалеешь!

Андрей согласился. После приема, оказанного в лаборатории, встреча с Виктором казалась подарком судьбы. Больше Андрей не чувствовал себя одиноким в этом новом для него мире. Рядом был старый хороший товарищ, друг, с которым ничего не страшно.

Андрей встал, потянулся, впервые внимательно оглядел комнату. Шеренги письменных столов стояли от стены к стене. Желтый столик Виктора отличался от других лишь количеством телефонов.

— Как же ты, начальник отдела — и без кабинета?

— Во-первых, нет свободной комнаты, — улыбнулся Виктор, одеваясь, — во-вторых, люблю быть все время с людьми, всегда в курсе их дел — получается как-то оперативнее.

— Черт его знает, я бы так не сумел, — простодушно позавидовал Андрей, — привык к тишине, не могу думать в сутолоке. Впрочем, тебе тут думать некогда, — кивнул он на кипу бумаг, которую Виктор прятал в ящик.

Виктор усмехнулся, рывком задвинул ящик:

— Ничего, поработаешь у нас — привыкнешь и к бумагам, и к сутолоке.

Дверь им открыла Лиза. Андрей не поверил своим глазам. Лиза? Толстушка Лиза? Он узнал ее сразу, хотя не видал с той выпускной вечеринки, когда они поссорились с Виктором. Воистину сегодня — вечер встреч. Виктор всхлипывал от смеха.

Андрей оглянулся на него, потом опять уставился на Лизу, ничего не понимая.

— Какими судьбами занесло тебя сюда, Лиза?

— Совершенно случайно, — сквозь смех выговорил Виктор. — Я сам удивлен.

Лиза схватила Андрея за руку, потащила к вешалке.

— Не все юноши так робки, — шепнула она на ходу, намекая на нечто близкое и памятное им обоим.

Он вертел ее, разглядывая со всех сторон:

— Ты совсем не изменилась, Лизок.

— Это тебе кажется. Просто мы стареем все вместе и поэтому не замечаем...

— Как ты теперь?

— Как видишь — супруга. Где вы встретились? Кем ты работаешь? Ты женат?

— Нет, бобыль. — Он пытливо глянул на Лизу, собираясь что-то спросить, но в это время Виктор окликнул их из столовой.

Пока Лиза накрывала на стол, Виктор показывал Андрею квартиру. Дом был новый, еще пахло краской, и вещи не нашли своих бесспорно единственных мест. Широким жестом Виктор распахивал бесшумные застекленные двери. Вот его кабинет. Книжные полки вдоль стен. Телевизор последнего выпуска. Настольная лампа дневного света, чудесная штука, немножко верещит, но от этого даже уютно.

А стенные шкафы, ванная, душ, спальня!

Да, квартира была прекрасная.

В детской спала девочка лет трех, домработница укладывала мальчугана, удивительно похожего на Виктора — то же круглое лицо, плутоватые, смешливые черные глаза. Увидев Андрея, он насупился, молча протянул сложенную лодочкой руку.

— Меня звать Андрей.

— А меня Вова.

— Учишься?

— Во втором классе.

Обычно взрослые после этого спрашивали про отметки, но этот длинный дядя вдруг убежденно сказал:

— Во втором классе самое скверное — пение.

— Русский тоже.

— Это верно, — согласился Андрей, — с переносами у меня до сих пор чепуха получается.

— А у нас самое скверное «и» краткое. Я вчера его на Зину поставил.

Виктор потащил Андрея в кухню.

Он заставлял Андрея поворачивать краники, щупать гардины, включать холодильник. Андрею скоро все это надоело, ему стало казаться, что от него ждут не только похвал, но и зависти. Он упрекнул себя за подозрительность и участливо осведомился насчет акустики.

— С акустикой конфуз, — признался Виктор. — Сверху и снизу прослушивается на два этажа.

Он был так огорчен, как будто звукопроницаемость чем-то порочила его самого.

Единственное, чему Андрей позавидовал, это библиотеке Виктора. Он вернулся в кабинет и прилип к полкам, перебирая корешки аккуратно расставленных книг. Здесь имелись все новинки по электротехнике. Несколько удивляла система расстановки — по росту. При таком порядке трудно найти нужную книгу.

— Это Лиза хозяйничала, — усмехнулся Виктор, заметив недоумение Андрея.

Андрей вытащил голубенькую, последнюю, книжку Одинцова. Там имелось одно любопытное место, где старик разрешал спор о выключателях, волновавший когда-то и Андрея, и Виктора. Интересно, согласен ли Виктор со стариком?

— Ах да, — поморщился Виктор. — Признаться, я внимательно не вчитывался. Перелистал и отложил до свободной минуты.

Андрей сперва было обиделся за Одинцова. Сколько надежд возлагал старик на эту книгу! Он был уверен, что она так нужна инженерам-практикам, а тут извольте... Но потом Андрей сочувственно подумал: «Видно, и впрямь Виктору крепко достается: за год не выкроил времени прочитать книгу своего учителя».

Андрею вдруг стало совестно своей мимолетной неприязни к товарищу. А бог с ними, с книгами, разве в них дело!

Лиза, заглянув в кабинет, застала их катающимися по полу. Кряхтя и пофыркивая, они боролись, как когда-то в общежитии, одурев от споров и чертежей.

— Он щекочется, Лиза! — кричал Андрей. — Не по правилам!

Виктор взобрался на Андрея верхом и, запыхавшись, приговаривал:

— Ага! Правила! Они существуют для слабых.

Лиза потащила их к столу. Руки ее мелькали над скатертью, а глаза, смеясь, неотрывно любовались Андреем. Она заставила его рассказать, как он жил эти годы.

Андрей, как всякий фронтовик, с охотой вспоминал о том, как мерз в окопах на Ленинградском фронте, как брал замок Геринга, как прорывался с ходу на танке через горящий мост.

Он говорил бы еще, но заметил (или показалось?), что Виктору неинтересно. Может быть, действительно это звучало нехорошо — вот, мол, я был на фронте, а ты сидел в тылу, всякое там мужское самолюбие, да еще в присутствии Лизы.

А вот об учебе в аспирантуре рассказывать было нечего. Ну сдавал экзамены, потом писал диссертацию. Выбрал тему теоретическую. Потом защита. В общем, все нормально.

— А отзывы получил хорошие? — прищурился Виктор.

Андрей покраснел.

— Я свинья, Вить. Совсем забыл, там же был отзыв из твоего отдела. Такой хвалебный, дальше некуда.

Виктор потер руки.

— Значит, помогло? Признаться, я ждал, что ты заедешь. Я бы тебе zorganizовал еще парочку таких отзывов. Да ты, кикимора, завоображал.

— Конечно, чихали мы на вас, производственников!

Подняв рюмку и глядя на свет сквозь запотевшее стекло, Андрей вдруг задумался. Наступила тишина. Они чувствовали, что думают об одном. Было хорошо и немного грустно. На минуту вернулась юность, присела к ним за стол. Отсюда, из зрелости, она выглядела чертовски славной.

Андрей смотрел на Виктора и Лизу и вспоминал, как однажды летним вечером они шли по набережной. Лиза в ситцевом платице, в носочках, со смешной челочкой на лбу. Виктор — худощавый, порывистый, и на лацка-

не его коротенького пиджачка пять значков: ВЛКСМ, ГТО, ГСО, «Ворошиловский стрелок» и «Осоавиахим». Запомнится же такой пустяк! У Виктора был тогда баритон, и он пел шутливую студенческую:

Что за предрассудки —
Есть три раза в сутки
И иметь кровать, чтоб ночевать.

И Рита, Рита подхватывала своим удивительным голосом...

— Ну что ж, за встречу! — раздался басок Виктора. Андрей вздрогнул.

— Выпьем, — сказал он, и видение исчезло.

Виктор крякнул, прилепнул губы салфеткой.

— Рита в городе, приехала с Урала месяца два назад. Слышал? — сказал он.

— Да?.. А ты от Кости что-нибудь получаешь?

— Он теперь в ЦК работает. Лиза, ты знаешь, Андрей ведь назначен к нам начальником лаборатории.

— Как это получилось, Андрей?

— Сам напросился.

Виктор недоверчиво покачал головой:

— Не крути — наверно, на периферию посылали.

С первой минуты их встречи Андрей ждал этого вопроса.

— Меня Одинцов оставлял на кафедре. Я отказался. Видишь ли, — Андрей почесал кончик носа, и Лиза засмеялась, узнав этот привычный жест, — у меня есть одна идея насчет приборчика, ну а его можно разработать только у вас.

Виктор снова наполнил рюмки.

— Бог с тобой, не хочешь рассказывать — не надо, — благодушно сказал он. — Как бы там ни было, я рад работать с тобой.

Андрей положил обратно на тарелку кружок колбасы.

— Не веришь?

— Ты мне скажи, зачем ты кончал аспирантуру?

— Зачем? Чтобы заниматься наукой.

— Где? У нас? — Черные глаза Виктора насмешливо бежали Андрея. — Какой новатор нашелся! Инженеры на производстве готовят диссертации и уходят в институты, уходят, чтобы заниматься наукой. И правильно делают. Для этого и существуют институты и академии. А тут, пожалуйста, явился Андрей Лобанов, который

провел всю жизнь в стенах института, и думает, что он просто перешел в другую исследовательскую лабораторию. Ты, брат, наивен, не знаешь ты железных законов производства.

— А что мне производство! Я не собираюсь заниматься вашим производством.

— Ох, легкомысленный ты парень, — загорячился Виктор. — Хоть бы со мной посоветовался, прежде чем такой шаг делать.

— Подумаешь, страхи, — сказал Андрей. — Человек, который знает теорию, вашими премудростями овладеет в два счета.

— Однако! — Виктор иронически улыбнулся. — Позвольте, товарищ утопист, спустить вас на землю. Знаешь, чем тебе придется заниматься? Пробился где-то кабель — изволь выяснить, почему, отчего. Какой-нибудь пьяный монтажник не так соединил провода, а ты копайся, выясняй. Ремонтируй приборы. Содержи в порядке аппаратуру. Испытывай изоляторы, да поживее, а то начальник техотдела, то есть я, тебе холку намылит. Ругайся со снабженцами, заполняй сводки да отчеты. Вот тебе наша наука.

Лицо Андрея помрачнело:

— А я слышал, у вас лаборатория первое место заняла.

— Лаборатория замечательная, я ее сам налаживал. Пойми, это же оперативная служба, а не научная лаборатория. У нас ребята настоящие, без всяких претензий. Если где затерло, они всегда выручат. У нас свои законы. Сколько раз я обращался за помощью к профессорам. Приедут, напустят научного тумана, в простых вещах разобраться не могут. Навертят формул, а потом все равно сам решаешь, как тебе опыт да интуиция подсказывают.

— Ишь расхвастался, — сказала Лиза.

— Хвастаться нечем, — Виктор покачал головой. — Мы кто? Лошадки. А вот вы — всадники. Ты не обижайся, старик, но большей частью так бывает. Собирал я материалы по регулированию, дал кое-кому посмотреть, а они, голубчики ученые, тиснули в книжку, даже фамилии моей не упомянули. Пенкосниматели.

Чтобы не разругаться, выпили еще по рюмке. Андрей исподтишка наблюдал за Лизой. Ей, как видно, нравился их шумный спор. Она даже подзуживала их

и внимательно слушала, положив подбородок на маленький кулачок.

— А я вовсе и не обижаюсь, — спокойно говорил Андрей. — Я пришел к вам делать свой прибор. И от всей вашей административной возни буду отпихиваться всеми силами. А то — ты прав, Виктор, — засосет ваша текучка, и пропал.

Вот оно что! Выходит, он, Виктор, занимается текучкой, а Андрей пришел заниматься серьезным делом? Нет, дорогой товарищ, то, над чем работает Виктор, и есть главное. Пусть оно не такое эффектное, пусть без блеска и без особой славы, но эта черновая, скромная работа тоже требует от человека глубоких и специальных знаний. Да, мы чернорабочие, но мы делаем свет, энергию, а не печатные труды.

Андрей резко отодвинул тарелку:

— Я к вам пришел не за славой.

Виктор почувствовал, как быстро истощается у него запас доброжелательности к Андрею. Смирив себя, сказал:

— Боюсь, ничего у тебя не выйдет. Мне, когда я пытался вроде тебя на науке выдвинуться, приходилось сидеть ночами.

— Теперь не сидишь? — усмехнулся Андрей.

Лиза с силой провела рюмкой по скатерти.

— На двух стульях сидеть не буду. У каждого своя планида. Да и, признаться, когда занимаешься *делом*, не до умствований.

— Не выйдет — уйду, — сказал Андрей. — Во всяком случае, попробую заниматься наукой днем.

— Где, у нас? — с сожалением еще раз спросил Виктор.

— Да, у нас, — подтвердил Андрей, нажимая на последнее слово.

И тут впервые Виктор по-настоящему осознал, что Андрей будет с завтрашнего дня работать вместе с ним. Сразу по-деловому прикинул все «за» и «против», всю новую расстановку сил, связанную с приходом Андрея. Мысленно представил себе житейски непрактичного Андрея, не имеющего производственного опыта, в сложных условиях лаборатории. Трудновато придется его старому другу, впрочем, отныне уж не только другу, но и сотруднику, да еще подчиненному. Скажем прямо — приобретение для лаборатории незавидное. Хотя... вывеска почетная — кандидат наук. Посолиднее, чем

молодой, неопытный инженер Майя Устинова. Правда, она человек исполнительный. Старательная. Нет, не женщине руководить лабораторией. Все равно министерство не утвердило ее. Так уж лучше Андрей, чем кто-нибудь другой. Будет он заниматься своим прибором...

— Женить тебя надо, Андрей, — сказала Лиза, чтобы как-то заполнить неприятную паузу. — Ты законченный жених, со степенью.

Андрей с трудом улыбнулся; разговор с Виктором взволновал его, и, отвечая Лизе, он думал, не вернуться ли, пока еще не поздно, назад в институт.

— Ладно, не вешай нос, — громко сказал Виктор, — коли ты решил, за мной дело не станет. Об Устиновой не беспокойся. Войдешь в курс, и мы ее куда-нибудь передвинем. Что-что, а такие мелочи в нашей власти. Долгин, мой помощник, возьмет над тобой шефство. Лаборатория — механизм налаженный, мы тебе создадим все условия, сиди да изобретай.

Андрей хлопнул Виктора по плечу. Друг, настоящий друг.

— Я так и надеялся. Лаборатория у меня много времени не займет. Ребята! — Его зеленые глаза опять посветлели. — У меня руки чешутся скорее дорваться до прибора. Вы бы только знали...

— Что за прибор? — спросила Лиза, разливая чай.

— Определять повреждения на линиях передачи. Это, знаешь, мечта!

Снова стало шумно и весело. Когда Андрей радовался, он никого не оставлял в покое, толкался, подмигивал, размахивал своими огромными ручищами.

Все складывалось как нельзя лучше, все будет так, как он надеялся.

Тонкое лицо Виктора порозовело. Из-под длинных ресниц влажно блестели черные глаза.

«А ведь красив, чертяка, — умиленно думал Андрей, — как хорошо. И дружба, и опять эти споры, как хорошо!»

Слегка захмелев, Виктор рассказывал о своей работе. Он говорил проникновенно и доверительно:

— ...Славно ^мбыть руководителем, понимаешь, Андрей, всякую минуту чувствуешь свою полезность на земле. Многие боятся ответственности — вздор! Мне смешно смотреть на таких. Люди доверяют тебе. Без тебя дело не идет. Принимай решение... Ты один-разъ-

единственный можешь его принять. У тебя все ключи и секреты... Приходится быть энциклопедистом. Решай мгновенно. Тут и строительные дела, всякие фундаменты, опоры, и новые топки надо устанавливать, и плохой торф привезли...

«Как это интересно, как интересно», — думал Андрей.

— А за всеми этими котлами — люди, характеры. Кому нужно денег побольше заработать — идеалами сыт не будешь. Кто завидует, кто подсиживает приятеля. Кое-кто берет взятки — да, да, совсем как у Чехова. И это еще встречается. Сплетничают. Знаешь — каждый доволен своим умом, и никто не доволен своим положением. Или вот тебе снабженец: достает он только то, что трудно достать, а не то, что нужно... Или вот толковый инженер, а зашибает водку — как доверишь ему работу на высоком напряжении? Разбирайся во всей этой путанице. Учитывай каждое слово, взгляд, а то завтра посыплется на тебя заявления в райком, горком. Ответственный работник — следовательно, отвечай за все головой и партбилетом. Ох, дружище, это и психология, и техника, и еще тысяча наук. И змеей будь, и львом, и двутавровой балкой...

— А знаете, ребята, — улыбнулся Андрей, — страшно представить, как это я начну. Вот я сегодня пришел в первый раз, чувствую — все против. Шутка сказать — пятьдесят человек в лаборатории. Начальником-то я никогда не был.

Лиза поскуchnела, и Андрей почувствовал себя в чем-то виноватым.

— Начальством быстро научишься быть, — сказала Лиза. — Наука нехитрая. Консультант у тебя опытный, — она кивнула в сторону Виктора.

— Ни один начальник в своей семье авторитетом не пользуется, — пошутил Виктор, закуривая.

Показалось Андрею или нет, что в голосе Виктора прозвучало скрытое раздражение?.. Поссорились они, что ли? Думать об этом не хотелось. А Виктор прав — жизнь сложна. Без всяких дамских завитушек. Много прекрасного, но есть и грязь. И Виктор, как видно, молодец...

Он преисполнился уважения к Виктору. Здорово вырос Виктор за эти годы. Чувствовался в нем умелый, любящий свое дело руководитель. Руководить — это наука...

У Андрея приятно кружилась голова; он говорил:

— Тебе, дружище, шагать до министра.

— И буду шагать,— соглашался Виктор.— Откуда же берутся министры? Ты только держись, Андрей, за меня. Никого не слушай.

Ноздри у Лизы раздулись, но она ничего не сказала.

Андрея все больше веселила покровительственная манера Виктора. Он и закуривал с особым шиком — пристукнет папиросой по изящному портсигару, небрежно отбросит обгорелую спичку, говорит негромко, неспешно. Уверен, что каждое его слово должны, не могут не слушать.

— А пусть его,— миролюбиво сказал Андрей.— Ты не сердись, Лизок, ему охота перед тобой покрасоваться. К тому же человек заслужил...

— Алкоголики вы,— засмеялась Лиза,— и хвастуны. Давайте лучше споем.

Они пели старые студенческие песни; слов толком никто не помнил; дурачась, выдумывали на ходу всякую чепуху. Хмельным, сочным баском Виктор заканчивал каждый куплет припевом:

Довольно, милый, попусту шататься,
Пора, пора за дело приниматься.

— Помнишь? — подмигивал Виктор, и они, хохоча, вспоминали историю с холодными пирожками, которые они подогревали на реостатах.

Улучив минуту, когда Виктор вышел из-за стола, Андрей, не глядя на Лизу, спросил:

— Послушай, правда... Рита приехала?

— Хочешь ее телефон? — Лиза написала на обрывке газеты номер и сунула Андрею в карман пиджака. Андрей вдруг притих, и разговор за столом с этой минуты уже не клеился.

Прощаясь, Лиза крепко стиснула ему руку:

— Ты теперь будешь часто заходить к нам, да?

Уже на лестнице, вспоминая ее голос, вспыхивающие глаза, он понял, что это была не обычная вежливость, а настоящая и почему-то тревожная просьба.

Укладываясь спать, Виктор сказал Лизе:

— Жалко мне его. Потерял столько лет, а пришел к тому, с чего я начинал. И даже рассказать о себе толком не может. Засушила его учеба.

Ему хотелось, чтобы Лиза почувствовала, поняла, какую он взваливает на себя обузу с этой опекой над

Андреем, и тогда он сказал бы ей о законах дружбы, о том, что он все-таки любит Андрея... Но Лиза ничего не ответила. Она лежала к Виктору спиной, и по ее дыханию нельзя было понять, спит она или нет.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Аспирантура убедила Андрея, что дело не в том, защитит ли он диссертацию, а в том, удастся ли ему стать ученым. Он учился последовательности, терпению; учился любить неблагодарную черную работу; учился выкарабкиваться из самых глубин отчаяния, когда, казалось, все рухнуло и нельзя продолжать и не с чего начинать. Иной раз результаты всех трудов вдруг повисали на волоске, и Андрей до боли в голове ощущал свое бессилие найти выход, и тогда перед ним возникал пугающий вопрос: а нужно ли кому-нибудь то, что ты делаешь?

Он искал утешения у Одинцова. Безжалостно, с таким наивным видом тот предлагал:

— Повторите-ка этот опыт еще разик.

И там, где можно было найти путь легче, указывал самый тяжелый.

— Стеклодуву поручить? Стеклодув — он сумеет, а вот вы сами попробуйте. У вас должна быть не только голова, но и руки ученого.

И Андрей повторял опыт еще и еще «разик», выдувал стеклянные баллоны для своих ламп, тянул тончайшую кварцевую нить, слесарил, клеил.

— Очень часто требуется больше остроумия для того, чтобы справиться с каким-нибудь куском латуни, чем составить весь план исследования, — говорил Одинцов, шевеля своими узловатыми ревматическими пальцами.

Требовательность старика не знала границ. Стоило Андрею одолеть какой-нибудь расчет, как Одинцов ставил перед ним новую задачу.

— Расчет как расчет, ничего особенного, — равнодушно говорил он, — а вы обоснуйте-ка его теоретически.

Две недели Андрей разрабатывал теорию расчета. Получилась пухлая тетрадь в сорок страниц. Одинцов проверил, даже похвалил. Похвала Одинцова выражалась в следующих словах:

— Ну-с вот, теперь для вас вроде все прояснилось. Это главное. Только для вашей темы ничего этого не нужно.

— Как не нужно?— испугался Андрей.

— Напишите в примечании: вывод дает такую-то величину,— бесстрастно посоветовал Одинцов, и от всей тетради в диссертацию попало примечание в три строчки.

Грубоватая резкость уживалась в натуре Одинцова с привычкой к проповедям, как сам он, посмеиваясь, называл свои беседы. В таких случаях он начинал говорить несколько старомодным, витиеватым, но удивительно обаятельным для молодежи языком:

— Известно, что великие ученые достигали знаменательных результатов не только потому, что верно мыслили, но и потому, что много мыслили и многое из передуманного уничтожали без следа. Какими бы надеждами вы ни воспламенялись, остерегайтесь хитрить со своей совестью. В науке, кроме созидания, важно уметь разрушать.

Трещали сроки, а Одинцов от своей программы не отступал ни на шаг. Порою Андрею казалось, что старик придирается к нему. В конце концов, дело шло о защите кандидатской, а не докторской диссертации.

— Мне из вас не кандидата надо сделать,— упрямо отвечал Одинцов,— а наипаче ученого.

Тяжелая это была школа. Андрей метался среди противоречивых теорий. Любая книга оказывалась западней, в которую он летел сломя голову. Потом он запутывался в экспериментальных данных. Не раз Андрей порывался бросить аспирантуру, уйти на производство. Товарищи по кафедре только посмеивались над его угрозами.

По ходу работы потребовалось провести серию сложных и дорогостоящих опытов. Лаборатория учебного института не имела для этого ни оборудования, ни средств. Тогда Одинцов решился на нелегкий для себя шаг: он поехал к главному инженеру Энергосистемы и предложил заключить договор на усовершенствование прибора по определению повреждений в линиях. Эта работа как раз была связана с темой диссертации Лобанова.

Надо было знать отношения Одинцова с руководством системы, чтобы оценить его поступок.

Когда-то он пытался внедрять автоматику на станциях. Человек «неполитичный» и резкий, столкнувшись с недоверием к своим предложениям, он скоро перессорился с администрацией Энергосистемы, поехал в министерство, протолкался в приемных около двух недель, написал семь писем и заявлений и убедился, что для того, чтобы разрешить вопрос, надо год-полтора целиком посвятить себя этому занятию.

— За это время я лучше разработаю еще один прибор,— говорил он.— Ну, допустим, у меня есть и терпение, и хватка (Одинцов считал себя хитрым и тонким политиком), но ведь нельзя же требовать от *каждого* ученого, чтобы он с таким трудом добивался внедрения своих разработок.

Он стал избегать общения с производственниками и особенно с администрацией Энергосистемы. Консультировать — пожалуйста, внедрять — увольте. И вот впервые это правило было нарушено ради Лобанова. О своем визите к главному инженеру Энергосистемы Одинцов рассказывал морщась:

— Битый час убеждал их: прежде чем усовершенствовать, надо общие принципы разработать,— как по-вашему? Они свое: принцип нам ни к чему, нам бы приборчик. Я спрашиваю: «Что ж, по-вашему, приборчик появится на голом месте, в пустыне мрачной и сухой возьмет и вырастет?» — «Так-то оно так, отвечают, но на орошение нам денег не дают». Ну, в общем, вымозолил,— устало заключил он.

Чтобы выполнить договор, требовалось много времени, зато отвлеченные рассуждения в диссертации Лобанова должны были обрести несокрушимый костяк опытных данных.

Кафедра готовилась к весенней сессии, студенты до позднего вечера сдавали зачеты,— словом, не было ни минуты свободной, и все же ассистентка Зоя Крючкова и лаборанты умудрялись помогать Андрею собирать установку.

Поставив несколько опытов, Андрей вдруг прекратил работу. Три дня он вообще не показывался в институте. На четвертый пришел к вечеру и попросил парторга кафедры Фалеева собрать партгруппу.

— Имейте в виду, у меня билеты взяты в кино,— сказала Зоя.— Какой вопрос?

— О воспитании чувств,— невесело улыбнулся Фалеев.— Устраивает?

Он уже знал суть дела. Андрей после первых опытов пришел к выводу, что и прибор, и метод, которые кафедра взялась по договору усовершенствовать, устарели. Последние достижения радиолокации позволяли создать принципиально новый способ определения мест повреждения в линиях. Идея эта принадлежала не ему, ее высказывал ряд московских ученых, он лишь убедился в ее справедливости, проверяя старый метод. Разумеется, сейчас ему нельзя было и думать браться за разработку нового способа. Но тогда, спрашивается, имел ли он право возиться со старым, негодным, по его мнению, прибором только ради того, чтобы использовать установку и деньги для своей диссертации?

— Одной рукой накладывать румяна на эту рухлядь, а другой писать в диссертации, что ее пора выбросить на свалку? Так, что ли? — Голос Андрея звучал слишком громко, как будто он хотел перекричать кого-то. — Надо сказать энергетикам: совершенствовать ваш метод мы не будем. Он никуда не годится в сравнении с локационным.

Слушая Андрея, Фалеев почему-то думал о себе. Завтра ему исполняется сорок лет. Пятнадцать лет он преподает в институте. Доцент. Член Клуба ученых. Жизнь его текла размеренно и спокойно. Внимательно следил за литературой по своей специальности, ежегодно обновлял лекции, студенты любили его за ясный и точный язык, за умение красиво демонстрировать опыты. В свободное время занимался теорией регулирования, напечатал несколько статей по этому вопросу. Он получал удовлетворение, когда ему удавалось изящно решить какое-нибудь запутанное уравнение. Но в последнее время его начинало тяготить это тихое и однообразное течение жизни.

И вот сейчас, слушая Андрея, он вдруг жадно позабывал его горю, именно горю. Ему захотелось тоже мучиться, искать, терзаться до бессонницы, упершись лбом в какой-то нужный и трудный вопрос, и чтобы кругом все волновалось и спрашивало: «Ну как, Фалеев, скоро ли?»

Темнело. Свет не зажигали. За окном в парке уныло накрапывал дождь. Фалеев спросил, какие будут предложения.

— Кафедра должна отказаться от договорной работы, — сказал Андрей.

В сумерках трудно было разглядеть его лицо, но голос звучал спокойно.

— А как же твоя диссертация?

— Вы эгоисты, — с сердцем сказала Зоя Крючкова. — Никто не думает об Одинцове. Он старался, хлопотал. Отблагодарили, нечего сказать.

— Зоя! — возмутился аспирант Дима Малютин.

— Ну что — Зоя? Элементарной чуткости у вас нет.

Поглаживая лысину, Фалеев, по своей лекторской привычке, мерно ходил вдоль стола. Неправда, все они с самого начала думали об Одинцове, и не к чему Крючковой горячиться. Учтите, Одинцову интересы науки дороже всего. Из самого запутанного дела легче всего выбраться дорогой правды. Лобанов поступил честно... («Об этом никто не спорит, — вставила Зоя. — Но такой честностью можно убить старика!») Пострадает диссертация Лобанова, будут неприятности у Одинцова, неудобно получится перед энергетиками, и так далее. («А другого-то выхода нет?!» — сказал Дима Малютин.) То-то и оно, что нет. В науке легкий путь не бывает правильным путем, рано или поздно он мстит человеку...

Фалеев остановился, заметив, что говорит о себе.

Решили так: Андрей покажет Одинцову свои выкладки, если Одинцов согласится с научной частью вопроса, тогда Андрей попросит его отказаться от договора, в случае чего сославшись и на мнение партгруппы.

Назавтра Андрей встретился с Одинцовым.

У Одинцова была привычка, читая рукопись, ставить на полях вопросы, восклицательные знаки и всякие саркастические пометки, вроде: «темно», «отважная бессмыслица». На сей раз он, отложив карандаш в сторону, забарабанил пальцем по столу.

«Плохо!» — подумал Андрей. Он смотрел на склоненную голову Одинцова. Сквозь редкие седые волосы просвечивала розовая кожа. Андрей вспомнил отца и почувствовал себя беззащитным перед стариком.

«Черт с ним, — мысленно решил он, — если заупрямится, отложу диссертацию и выполню энергетикам их заказ. Не могу я идти против этого человека».

Закрыв последнюю страницу, Одинцов пощипал брови и, не поднимая головы, заговорил, осторожно подбирая слова:

— Извольте правильно понять меня, Андрей Николаевич. Прежде всего я весьма рад появлению столь за-

мечательной идеи. Она обретает у вас конкретность, осязаемость. Над нею, разумеется, предстоит весьма солидная работа, но об этом потом. Главное, сейчас нам с вами не оступиться. Наш нравственный долг отказаться от договора. — Одинцов поднял голову. — Не огорчайтесь, Андрей Николаевич, — он нежно положил руку на стиснутый кулак Андрея. — Иначе нельзя, поймите меня. Честность в науке так же необходима, как знания. Конечно, прискорбно, что в диссертации будет изъян, — скажут: мало фактов. Ну что ж, зато идея у вас чудесная. Наука-то останется в выигрыше — так?

Андрей кивнул, с трудом сдерживая радость.

— Вы не падайте духом. Я завтра съезжу к энергетикам. — Одинцов поморщился, но сразу спохватился и улыбнулся Андрею. — Объясню и откажусь. Пообещаю после вашей защиты усадить вас за разработку этого нового прибора — как вы его назовете? По-моему, «локатор». Итак, согласны?

— Я?.. Конечно! А мы-то... Но вы всегда были против того, чтобы иметь дело с ними... Я знаю, как вам неприятно...

Морщинистое, в склеротических жилках лицо Одинцова покраснело:

— Мало ли что я! Я имею право на всякие предрассудки, а вы нет. Если вы отвергаете старый метод, извольте осуществить вашу новую идею. А так, извините меня, это выглядит прожектерством. Да-с!

Андрей вышел из кабинета, натываясь на студентов, пересек коридор, вошел в лабораторию. Глупая большая улыбка растягивала его рот.

— Ну как? — спросил Фалеев.

Андрей недоуменно посмотрел на него, потом покачал головой и сказал:

— Дурак!

— Кто?

— Я. Ты. Мы все дураки!

Через две недели, после того как диссертацию послали оппонентам, один из них, профессор Тонков, позвонил в институт и попросил Лобанова заехать к нему на квартиру.

В назначенный час Андрей сидел у Тонкова в гостиной, перелистывая старые номера «Огонька»: профессор был занят. Затрепанные журналы напоминали Андрею парикмахерскую. На стенах под стеклом висели отлично исполненные фотографии. На каждой осанистый

бритоголовый мужчина в толстых роговых очках, с черной бородой, подстриженной лопаткой, был заснят с кем-нибудь из известных ученых страны. Андрей никогда раньше не видел Тонкова и теперь с интересом рассматривал фотографии: Тонков играет в шахматы с академиком Веденеевым, Тонков гуляет по парку под руку с президентом Академии наук, Тонков в президиуме беседует с академиком Зелинским, Тонков в группе академиков на каком-то строительстве. Отовсюду Тонков как бы спрашивал: «Заметили, с кем я?»

Домработница в белом фартучке пригласила Андрея к профессору. У себя в кабинете Тонков выглядел еще величественнее, чем на фотографиях. В мохнатой, верблюжьей шерсти куртке, с черной ермолкой на яично-гладкой голове, он имел внешность того самого профессора, которого каждый представляет себе, произнося это слово, и кабинет у него выглядел так, как должен выглядеть типичный профессорский кабинет.

В шкафах мерцали позолотой корешки книг. Стол был завален ворохом рукописей, корректур. Висели портреты Фарадея, Ломоносова, Максвелла. На отдельной этажерке были собраны книги, написанные хозяином дома.

Тонков ласково потряс руку Андрея, горячо извинился, что заставил ждать, и дал прочитать черновик своего отзыва.

Оппонент обрушивался на тот раздел, где Андрей выступал против существующих методов определения повреждений в линиях.

«Автор бездоказательно зачеркивает славные традиции отечественной науки... Вместо того чтобы развивать существующую теорию, он отрицает... Идея локатора не является новой и не подкреплена никаким экспериментом...»

— Вы понимаете, я, собственно, поступаю против правил,— улыбнулся Тонков, открыв красивые белые зубы.— Мое дело дать отзыв, и все. Написал я сей черновик и вижу — не защитить вам. Провалю вас. Эх, думаю, была не была, поговорю лично. Совесть ученого не позволила мне отнестись формально. В конце концов, я возражаю против одного и вовсе не решающего тезиса. Верно?

— Верно,— обрадовался Андрей, слабая надежда блеснула перед ним.

— ...Измените его — и все остальное приемлемо.

Тонков порылся на этажерке и вытащил оттиск одной из своих старых статей. Возможно, она пригодится для этого случая, тут как раз рассмотрены способы усовершенствования метода, созданного в свое время самим Тонковым. Да, этим методом определяли и определяют место повреждений в линиях, и народ привык к этому методу и не захочет отказаться от него...

Подавленный величественной любезностью Тонкова, Андрей почтительно слушал его рассказ о том, как эта работа была перепечатана за границей и как там ее результатами интересовались крупнейшие фирмы, у нас же только сейчас спохватились и начинают...

Надо было отдать должное Тонкову: он точно нащупал слабое место диссертации. Новой теории явно не хватало лабораторного материала. Вот когда Андрей еще раз крепко пожалел о несостоявшейся работе для Энергосистемы! Тонков располагал убедительными, многократно проверенными доказательствами. Против новорожденной беззащитной идеи он двинул тяжелую всесокрушающую машину математики, обрушился богатым опытом практики. Что мог противопоставить Андрей? Общие рассуждения, свое чутье, поддержку Одинцова?

— Одинцов, к сожалению, сейчас не модная фигура. — Тонков дал понять, что ему известна история договора с энергетиками, она подорвала авторитет Одинцова, закрепив за ним репутацию кабинетного отшельника. — Советую вам придерживаться противника, ищущего ваших ошибок, он полезнее друга, который пытается их скрыть.

Положение было безвыходным. Памятуя наказ Одинцова («не лезьте на рожон»), Андрей скрепя сердце согласился кое-что изменить в своих выводах. Тонков сказал:

— Я понимаю, вас прельщает возможность связать вашу теорию с практикой. Но, дорогой мой, вы ставите под удар свою диссертацию. Я почувствовал сразу: вы человек талантливый, а ваш нигилизм — так это от молодости! Я надеюсь, нам с вами предстоит немало работать вместе, поэтому я и решился на такой шаг. Человек для меня дороже любых формальностей.

Тонков замолчал, ожидая, по-видимому, изъявлений благодарности, но Андрей не в силах был это сделать.

Тонков поинтересовался, получил ли Андрей назначение на работу. Узнав, что распределение задержива-

ется, он спросил, каковы планы Андрея. В институте считали необходимым оставить Андрея на кафедре. Он начал даже готовить курс лекций, чтобы с будущего года немного разгрузить Одинцова.

— Преподавателем? — поглаживая бородку, Тонков оценивающе разглядывал Андрея. — А знаете, молодой человек, вы мне чем-то нравитесь. — Он хохотнул, сверкнув белыми зубами. — Сам не знаю чем. Только глаз у меня верный.

Он вышел из-за стола, и Андрея поразило в его фигуре несоответствие между короткими ногами и длинным, крупным туловищем. Сидя за столом, Тонков производил более солидное впечатление.

— Стоит ли вам киснуть в учебном заведении? Стариковское занятие! У меня есть вакантное место в институте Академии наук. Подумайте.

Какие там разрабатывали темы! Андрей невольно заслушался. Передача электричества постоянным током на тысячи километров. Создание единой высоковольтной сети страны. Государственное значение... Полная самостоятельность... Внимание, уделяемое Академией наук...

— Да, все это очень интересно, — вздохнул Андрей. — Очень. Но мне хочется решить другую задачу.

— Какую же?

— Доказать, что локатор осуществим. И создать его.

— Ого! И где же вы собираетесь это проделать?

Вот этого-то Андрей и не знал.

Размышляя о создании будущего прибора, он убеждался, что учебные лаборатории, которыми располагала кафедра, не годились для этой цели. Ему предстояло вести широкие исследования на линиях передач разных напряжений, на кабелях. Такую возможность могла предоставить только лаборатория Энергосистемы. Он решил добиваться назначения туда. Если бы его послали туда даже рядовым инженером, он согласился бы не раздумывая. Он видел перед собой цель и не желал считаться ни с чем.

Лишь однажды он заколебался, осознав, какой дорогой ценой приходится платить за свою мечту. Это случилось перед распределением, когда Андрей решился открыть свой план Одинцову.

В последнее время Одинцов часто болел. Выражение тревожной заботы появилось на его лице. Андрей не раз ощущал на себе испытующий взгляд старика. словно наверстывая упущенное время, Одинцов спешил подготовить себе преемника.

Одинцов считал преподавательский труд высоким искусством. Всякий раз перед вступительной лекцией он волновался, как новичок. Его возбуждал вид аудитории, заполненной молодыми головами, озорной шум голосов, блеск глаз, следящих за каждым его движением.

Постепенно Одинцов сумел внушить Андрею если не любовь, то интерес к преподаванию. Свободное время Андрей тратил на подготовку к лекциям. Одинцов черкал его конспекты с придирчивой, дотошной требовательностью и в то же время с нежностью старого человека, видящего в недоверчивом прищуре зеленых глаз Лобанова свою молодость.

Андрей провожал Одинцова домой. Они шли через институтский парк, кружа по узким песчаным аллеям. Одинцов тяжело опирался на палку, и Андрей все старался идти с ним в ногу, умеряя свой размашистый шаг. Стояла глубокая осень. Ветер срывал последние листья с дубов. Сухой, рыжий лист, кружась, упал на плечо Одинцова.

Разговор был окончен, хотя, в сущности, разговора и не было. Одинцов не требовал никаких доводов, Андрей мог бы ответить на любое его возражение, как отвечал вчера и позавчера товарищам по кафедре. «Будешь бегать на поводке у техотдела, вот и все», — доказывал ему Дима Малютин. Зоя Крючкова — та просто обиделась: «По-твоему, мы все должны уйти на производство? Оригинально представляешь себе место науки! Я расцениваю твой уход как механистическое искажение идеи содружества». Они вчера крепко повздорили, и все-таки ему удалось доказать, что судьба прибора может решиться только там, на производстве. Он надеялся убедить в этом и Одинцова. Но Одинцов молчал.

Он шагал в глубоких старомодных ботах прямо по лужам, палка его неприятно поскрипывала в сыром песке. За его молчанием скрывалось что-то укоряюще тяжелое. Ведь он тоже был прав.

Достанет ли у него сил снова искать и готовить себе преемника? Он был обманут в своих лучших надеждах. У старости свои законы, ее потери трудно возместимы...

— Выходит, я ошибся в вас, Андрей Николаевич, — с трудом сказал Одинцов, — не вас я теряю, а... — он не кончил, как-то вяло махнул рукой и отвернулся. Для Андрея этот знакомый жест был тяжелее пощечины.

Они дошли до подъезда. Андрей незаметно снял листок с плеча Одинцова.

Оглушительно хлопнула дверь, втянутая пружиной, и Андрей остался один. Он долго смотрел на мокрые ступени, на закрытую дверь. В зеркальных стеклах качались сосны и плыли грузные серые облака.

Когда он снова придет сюда, откроет эту дверь? Когда это будет? Зимой? Летом? Через год?

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Электроработатория, куда пришел работать Лобанов, занимала три большие комнаты в первом этаже. Кроме того, в ее ведении находились мастерские, отделенные коридором. В мастерских дребезжали старые, изношенные станки, которые держались, как было сообщено Лобанову, исключительно энтузиазмом Кузьмича, пожилого неразговорчивого мастера. Слово «энтузиаст» никак не шло к внешности этого человека. Знакомясь с новым начальником лаборатории, он пожал Андрею руку и буркнул, как будто они виделись накануне:

— Пока фрезерному мотор не сменят, заказы на фрезеровку брать не буду.

Широкий коридор делился как бы на две части. Под лампочкой, где висели стенгазета и выцветшая Доска почета, находилась официальная половина. Здесь секретарь комсомольского бюро Игорь Ванюшкин вел переговоры с неплательщиками членских взносов, советовался с членами бюро о некоторых нерастущих товарищах, а культпроп Саша Заславский консультировался у парторга Борисова, будет ли в Китае нэп или не обязательно.

На вторую половину коридора выходили поболтать, покурить; тут, у красного пожарного ящика с песком, рассказывали особого рода анекдоты, выясняли взаимоотношения, обсуждали роман Лени Морозова с Соней Манжула.

Комнаты лаборатории были разгорожены высокими шкафами на маленькие клетушки. Одна принадлежала измерителям, другая — автоматчикам и т. п. Внутри

клетушек ютились столы инженеров, стиснутые верстаками и стендами. Каждая группа имела свои тайнички для инструмента, свои радости и огорчения. Неотступно гудели моторы, сухо трещали фиолетовые вспышки разрядов, отделяя каждый угол плотной завесой шума, усиливая разобщенность людей.

После просторных, сосредоточенно тихих лабораторий института здесь казалось невыносимо шумно и тесно.

— Какие-то удельные княжества, вотчины, — возмущался Андрей.

Приняв дела от Майи Устиновой, он никак не мог выбрать себе подходящего уголка. Насупясь, шагал из одной комнаты в другую, что-то вымеривая и прикидывая. В крайней комнате он заметил низенькую дверцу, запертую на висячий замок. За ней оказалась крохотная, похожая на чулан комнатушка. Вдоль некрашенных стен тянулись стеллажи с материалами. Из квадратного, заделанного решеткой оконца пробивался тусклый свет.

Пригнув голову, Андрей вошел в этот чулан, закрыл за собою дверь, прислушался: здесь был островок тишины.

Андрей велел перенести кладовку в другое место, а помещение вымыть и убрать с окна решетку. Каморка стала его кабинетом. В ней было холодно и темно, так что днем приходилось включать лампочку, но все неудобства искупала тишина.

Новый кабинет, с легкой руки инженера Кривицкого, был окрещен «кельей отца Ондreja».

Лобанов распорядился очистить и крайнюю комнату, куда выходила дверь его кабинетика, лаборантам и техникам разместить свое оборудование в остальных двух, а инженерам с их письменными столами и чертежными досками перебраться сюда, в отдельное помещение.

Переселение было встречено в штыки, оно ломало устоявшийся годами порядок, оно не устраивало ни инженеров, ни лаборантов. Инженеры боялись оставить участки без «хозяйского глаза», лаборанты обижались, считая, что Лобанов хочет подчеркнуть разницу между людьми с высшим образованием и остальными работниками лаборатории. Кое-кто посмеивался — «новая метла» — и с любопытством ждал дальнейших событий.

— С вами-то хоть Лобанов посоветовался? — спросил у секретаря партбюро Борисова инженер Новиков.

Борисов с нарочитым равнодушием ответил:

— Зачем? Это вопрос чисто хозяйственный.

Между тем Андрей вовсе не желал уподобиться «новой метле». Лаборатория считалась передовой, и перестраивать всю ее работу он не собирался. Он будет заниматься своим прибором. Для этого ему необходимы тишина и несколько знающих инженеров, которые могли бы спокойно сидеть, думать и делать расчеты.

Переезд начался со скандала. Техник Леня Морозов заявил, что перетаскивать свой верстак он не намерен.

— Не моя это обязанность. Пусть приглашают таке-лажников. — Он вызывающе бросил эту фразу инженеру Кривицкому в тот момент, когда мимо проходил Лобанов.

В комнате мгновенно смолкли все разговоры. Пека Зайцев, сидящий на стремянке, перестал отбивать от стены щиток и приготовился наблюдать за ходом событий. В другое время Кривицкий нашел бы что ответить Морозову, сейчас он пожал плечами и с улыбкой повернулся к Лобанову.

Лобанов остановился. Майя поняла, что он растерялся. На него смотрели с выжидающим любопытством, и Майе Устиновой вдруг стало жаль его. Все, вся лаборатория были сейчас против него одного. Это было несправедливо. И в то же время ей было приятно, что Лобанову не подчиняются, что все настроены против него. А он своей неопытностью еще усугублял это. Ему следовало бы пройти мимо, не обратив внимания на слова Морозова, тогда она пристыдила бы Леню, и все. Теперь бог знает, чем это кончится. Морозов не из тех, на кого можно прикрикнуть, да и, кроме того, подзадоренный общим вниманием, он явно вызывал Лобанова на скандал.

Честно говоря, она, пожалуй, не стала бы вмешиваться — пусть Лобанов сам выкручивается. Но, странное дело, стоило ей признаться себе в этом, как она тут же возмутилась собой.

— Морозов, — твердо и холодно сказала она, — не валяй дурака.

Но в это время Лобанов подошел к верстаку.

— Неужели так тяжело? — просто спросил он. — А ну, попробуем.

Он нагнулся, расставил ноги, подхватил верстак снизу за поперечину, взвалил на плечо и, стуча бурками, понес в соседнюю комнату. Шея его надулась, по-

краснела. Пека скатился со стремянки и побежал за Лобановым.

— Чего же вы стоите! — крикнула Майя Морозову и его подручному. — Покажите, куда поставить.

Когда верстак водворили на новое место, Лобанов, потирая шею, сказал Морозову:

— Пожалуй, для вас действительно тяжело.

— Где ему! — презрительно подхватил Пека Зайцев. Он попробовал сдвинуть верстак с места. — Тут килограммов сто, тут тяжелоатлетика нужна.

То, что Лобанов отнесся к выходке Морозова с добродушной насмешливостью сильного человека, вызвало симпатию. Над Морозовым потешались: не тяжело ли ему перенести табуретку — может быть, вызвать таке-лажников?

Инженеры, очутившись впервые вместе в просторной солнечной комнате, где стояла непривычная тишина, тикали большие стенные часы и белели свежей бумагой столы, почувствовали себя так, словно их выставили на витрину.

Раньше с утра их тормозили со всех сторон, требуя указаний; на глазах у них мерили, разбирали, монтировали. Все это отвлекало, заставляло поминутно ввязываться. Теперь, дав задание и потолкавшись по привычке среди своих лаборантов, они возвращались в «инженерную». Да и техникам неудобно стало обращаться к ним со всякими пустяками, как прежде. Инженеры могли спокойно заниматься своими расчетами. Со смущением они обнаруживали, что располагают кое-каким свободным временем. Лобанов пока что не вмешивался в их работу. Всех расселив, он уединился в своей «келье» и раз в день вызывал к себе кого-нибудь из инженеров.

Они входили к нему настороженно, готовые ко всяким неожиданностям, а покидали до разочарования успокоенные. Он интересовался только их теоретической подготовкой. Словом, судя по всему, реформы кончились, можно было спокойно работать дальше.

Большинство сошлось на суждении, высказанном Кривицким:

— Теоретик... Фигура не столько для пользы, сколько для украшения.

Борисов отмалчивался, не зная, можно ли еще что-нибудь ждать от нового начальника.

— В самом деле, Борисов, согласитесь, что Лобанов далек от производства и не желает вникать в него, — говорил инженер Усольцев.

Он был недоволен Лобановым. Начальник лаборатории в ответ на его просьбу дать новые установки по текущей работе, мельком взглянув на схему, сказал:

— Ну, тут вы сами разберетесь.

Усольцев действительно мог сам разобраться, он знал свое дело, и все же спокойно работать можно только тогда, когда знаешь мнение начальства, — мало ли какие обстоятельства возникнут...

— Какое там мнение, — усмехался Кривицкий. — Лобанов понимает, что ему лучше не соваться в практическую сторону. Известно: тот, кто вместо ответа на вопрос умеет пожать плечами, всегда считается умным. А для создания авторитета он беседует на отвлеченные темы — вот, мол, какие вы необразованные. Понятно?

Секретаря партбюро инженера Борисова покорило то, что Лобанов начал свою деятельность с устройства собственного кабинета и «инженерной». Прошла неделя, другая, и Борисов на самом себе начал ощущать последствия переезда. Он нехотя признавался себе, что отвык сидеть в тихой комнате и думать. Именно думать — не торопясь осмыслить свою работу, подумать над перспективой, над формулами.

Как-то для справки он взял новую книжку по радиолампам и незаметно зачитался. К нему подошел Леня Морозов с какой-то бумажкой. Борисов поймал его быстрый насмешливый взгляд и почувствовал себя словно застигнутым на месте преступления. Во время рабочего дня читает книгу!

Присматриваясь к инженерам, Борисов замечал, что и они испытывают такое же не осознанное еще то ли неудобство, то ли неуютность от избытка свободного времени.

Борисов понимал, что ему, как секретарю партбюро, надо как-то определить свою позицию. Строго говоря, он обязан был поддержать нового начальника, но если начистоту, без формальностей, то не лежала у него душа к Лобанову. То ли дело Майя Устинова. С ней было просто и легко. Она всех устраивала, все ее любили. Даже скептик Кривицкий, и тот соглашался: «С Майей Константиновной работать можно. Она без претензий и удобна, как английский король».

Допустим, в действиях Лобанова есть какая-то система, какая-то цель — тогда почему бы прямо не собрать весь коллектив и не выложить все, что думаешь? Не желает собирать всех — пускай соберет коммунистов. Неужели он так и рассчитывает в одиночку действовать? Неопытность? Майя Устинова тоже начинала без опыта и со всеми советовалась. Борисов даже бранил ее: больше самостоятельности. А тут, пожалуйста, явился этаким ученый петушок, ни с кем знаться не хочет, держится особняком, восстановил людей против себя, разговорчики начались, а он при этом и в ус не дует.

Он ждал повода объясниться с Лобановым.

До сих пор Борисов никогда не задумывался, как ему подойти к человеку. Отношения со всеми складывались сами собою, плохие или хорошие, во всяком случае — без предварительных размышлений. На что уж неносный и трудный характер у Кривицкого — и с тем Борисову было просто: ругались, обижались друг на друга и никаких особых подходов не искали. С Лобановым не то. Борисов испытывал перед ним какое-то тягостное стеснение. Лобанов с плохо скрытым презрением относился к тому, чем занимались в лаборатории, и люди чувствовали себя неучами и словно в чем-то виноватыми.

Сам же Андрей был далек от подобных размышлений. Он действовал по точно продуманной программе. Прежде чем приступить к локатору, необходимо подобрать знающих инженеров. Успех предстоящей работы зависел также от квалификации техников, от опытности лаборантов.

Он вызывал к себе одного за другим своих сотрудников и бесцеремонно проверял их теоретический багаж.

Багаж!.. К сожалению, это сравнение оказывалось довольно точным. Многие давно уже отложили в сторону свои теоретические знания, как ненужный в походе груз. И он покоился на самых задних полках их памяти, ветшая и портясь от бездействия. Большинство прекрасно обходилось скромным набором практических рецептов.

Неиспользуемые знания — утрачиваемые знания. В грустной справедливости этой истины Андрей убеждался, беседуя со своими инженерами. Они позабыли

решения простых дифференциальных уравнений, путались в основных формулах. Редко кто знал новые типы измерительной аппаратуры.

От драгоценного, некогда грозного оружия остались запыленные, заржавленные обломки. И странное дело: никого из инженеров не смущала эта бесхозяйственность, эта горестная, возмутительная картина.

Новиков даже оскорбился: что это еще за экзамен!

Самое резкое столкновение произошло с Кривицким. Один из ведущих инженеров лаборатории, Кривицкий принадлежал к категории так называемых неуживчивых людей. Его не терпели и побаивались. С обидной проницательностью он умел высмеивать слабости окружающих, без различия должности и заслуг. Несмотря на опыт и способности, он за пятнадцать лет так и не пошел дальше старшего инженера. Озлобленный несправедливостями, он превратился в скептика, любая правда представляла в его словах цинично-оскорбительной.

Кривицкому было около сорока, выглядел он пятидесятилетним. Лицо серое, всегда плохо выбритое, с запавшей верхней губой. Пиджак болтался на его сутулой, костлявой фигуре, как халат. Пахло от него табаком и какой-то сладкой помадой, которой он мазал свои жидкие волосы.

Выставив острый щетинистый подбородок, он язвительно сказал Лобанову:

— От того, что я позабыл тензорное исчисление, Андрей Николаевич, ремонт самописцев не задерживался и не задержится ни на один день. Это исчисление нужно мне для ремонта как компас машинисту паровоза.

— Не знаю, — уклончиво отвечал Андрей. Пока что он предпочитал спрашивать и слушать.

— Один мудрый человек сказал: люди заблуждаются не потому, что не знают, а потому, что воображают себя знающими. Сие, конечно, относится к нашему брату производственнику. А вам... — Кривицкий, прищурясь, осмотрел свой длинный желтый ноготь на мизинце. — Да-с, так вот, как видите, я не сгораю от стыда за свою отсталость. И не побегу от вас в библиотеку. Мне и так хорошо.

Андрей молча сдерживал ярость.

— Позвольте на правах старшего по возрасту предупредить вас, — приторным голосом продолжал Кри-

вицкий, — со стороны ваш розовенький энтузиазм кажется смешным.

Андрей заставил себя спокойно улыбнуться и ответил:

— Другой мудрый человек сказал, что привычка находить во всем только смешную сторону есть верный признак мелкой души, поскольку смешное лежит всегда на поверхности.

Откровенный цинизм Кривицкого возмутил Андрея. Они все насквозь пропитаны производственным делачеством, думал он. Всех негодных — а негодными после разговора с Кривицким ему казались все — уволить из лаборатории! Набрать способную молодежь и с нею начинать.

Теперь, когда картина была ясна, он вызвал Борисова. Оба они намеревались поговорить спокойно и обстоятельно, но ничего из этого не вышло. Они стремились скрыть свою враждебность, и каждый из них, видя это стремление у другого, все сильнее раздражался.

По сравнению с Андреем Борисов выглядел низкорослым. Лицо у него было невыразительное, безбровое, нос, как говорят в народе, картошкой. Единственное, что привлекало в Борисове, — это глаза. Затененные длинными ресницами, ярко-синие, они смотрели из-под надбровий с какой-то готовностью к радостному удивлению, словно уверенные, что сейчас должно случиться что-то хорошее.

Теперь, когда этот жизнерадостный огонек погас, взгляд стал чугунно-неподвижным. И все лицо, как у всех сдержанных людей в минуты гнева, стало тоже неподвижным. Вклинивая свои спокойно продуманные фразы между словами Лобанова, он обвинял его в зазнайстве, в нежелании прислушаться к людям, в голом администрировании.

Андрей и не думал защищаться. Видно, Борисов беспокоится только о своем самолюбии: как это так — с ним не советовались! А лучше б он поинтересовался знаниями всех коммунистов. Позор! Еще называются научными сотрудниками лаборатории! Невежды! Равнодушные деяги! Никаких творческих интересов!..

— Это типичное верхоглядство. — Борисов смотрел в упор на Лобанова круглыми злыми глазами. — Разве можно судить о людях, устроив им экзамены? И вообще, чего вы добиваетесь? Зачем вы шли в лабораторию?..

— Ну, знаете, — Андрей даже задохнулся. — Я не обязан вам давать отчет. Вы! Вы обязаны помогать мне! А не заниматься болтовней.

Борисов торжествующе повеселел:

— У нас производство. У нас парторганизация пользуется правом контроля, к вашему сведению. Это вам не институт.

— Да, это не институт, — с горькой иронией подтвердил Андрей, — к институту таких инженеров, как у вас, и не подпустят.

Андрей заметил, как Борисов начал нервно, часто моргать. «Ага, проняло!» — с удовольствием подумал он, чувствуя себя от этого сильнее.

Он вытащил новенькую папку. На белой наклейке старательно написано крупным почерком: «А. Лобанов. Локатор повреждений. Начато 28 октября».

Это была дата его размолвки с Одинцовым.

Положив перед Борисовым схему, Андрей, мрачно сдвинув брови, начал раскрывать свой замысел. Незаметно он увлекся, морщины его разгладились. Впервые произносил он вслух сокровенные, еще не привычные языку мысли.

Борисов смотрел на большие пылающие уши Лобанова, и ему было приятно, что этот человек, перед которым он тайно робеет, тоже волнуется и переживает.

Под натиском сердито-страстного, восторженного потока его смелых замыслов Борисов, казалось, отступил. На какое-то мгновение в глубокой синеве его глаз вспыхнуло веселой догадкой: «Давай, давай! Вот, оказывается, на что тебя можно зацепить». Лобанов, увлеченный своим рассказом, ничего не заметил.

— Ведь это чертовски интересно! А как важно! — восклицал Лобанов, вопросительно улыбаясь и ища ответной улыбки. Было неожиданно, трогательно видеть, как Лобанов, волнуясь, ждет ответа. Это продолжалось какую-то секунду; тотчас, словно устыдясь своего волнения, он сердито сказал:

— Такой вот я хотел сотворить локатор, товарищ Борисов. На ваши благословенные порядки я не покушался. Я искал себе соратников, да, видно, зря. С такими инженерами, как у вас, ничего не выйдет. Это вам не приборы ремонтировать.

Борисов поднял голову от листков и тоже пренебрежительно усмехнулся:

— Сматываете удочки?

Андрей поставил на пустую папку свой огромный кулак.

— Э-э, нет, товарищ Борисов, не на такого напали. Уйдут те, кто не захочет со мной работать.

— Кого вы имеете в виду?

— А всех, начиная с Кривицкого, — сказал Андрей. — Да хотя бы и вас.

— Ого!.. — Борисов вдруг успокоился. Что-то веселое, колючее блеснуло в его глазах. — Насчет меня не выйдет. Меня этот прибор, кажется, интересует. Вот автор... меня не совсем устраивает. Послушайте, Андрей Николаевич, а переносный локатор можно сделать? — спросил он.

— Еще не ясно, — буркнул Андрей. Он помолчал, сбившись с мысли. «Вот типичный потребитель. Еще схемы толком не знаем, а он о размерах беспокоится». Но та минута, когда он почувствовал интерес Борисова к локатору, не прошла бесследно. Борисов был первый посторонний человек, которому он показал свою схему. Андрея тянуло поговорить о деталях, и, сохраняя вызывающую интонацию, он спросил не без скрытого волнения:

— Вы же не только партийный руководитель, вы еще инженер. Почему прибор вас, «кажется, интересует»? Вам что, принцип действия непонятен?

Борисов впервые смешался.

— Не совсем, — запинаясь, ответил он. — Тут много электроники, я в ней не силен. — Он осторожно положил листки на стол. — Зато я понимаю другое. Вы себе помощников ищете, а нам нужен руководитель всего коллектива. Вас только локатор интересует, а нас — вся лаборатория.

— Не вижу, чтобы она вас особенно интересовала.

— Андрей Николаевич, я лично окончил институт всего два года тому назад. До этого на станции монтером работал, а по вечерам учился. Дома смеялись: четвертый десяток пошел, студентом сделался. Семь с половиной лет я ухлопал на пять курсов. Когда в лабораторию попал, как на крыльях был. Вот казалось, тут-то и начнется то самое, ради чего стоило жизнь ломать. Что же получилось? Да ничего. Завертело среди этой крошки из мелких делишек, и не успел оглянуться — прошел год, другой. Я входил сюда, как в святилище. Вам, конечно, не понять, а для меня... — Голос его дрогнул, и Андрей не решился поднять глаз. — Для меня это был

храм науки. Оказалось, что храм — всего-навсего мастерская Метбытремонта: чиню, паяю.

— Ага! Вот-вот,— обрадовался Андрей.

— Не к чему было институт кончать, хватило бы и техникума. А нет — я до сих пор еще барахтаюсь. Читаю журналы, задачки решаю, лишь бы не забыть. Пересыпаю свое имущество нафталином. Да что толку! Этим не спасешься. Нас с вами учили: бытие определяет сознание. Вот вы и оглянитесь на бытие. Почему наши инженеры стали техниками, монтерами? Вы бы по-человечески побеседовали с нами, так узнали бы, что каждый из нас переживает. Даже такой, как Кривицкий. Весь его цинизм — маска, а под нею тоска по настоящей работе. Читаешь в газетах — повсюду борьба за новую технику, а у нас... как будто приплыли в тихую заводь. Пробовали мы несколько раз с Майей Константиновной добиться новой тематики. Я убедился, что лестницу надо мести сверху, а не снизу. Начинать надо с главного инженера и техотдела.

— И с вас,— непримиримо ответил Андрей.

Борисов доказывал, что локатор важен прежде всего как средство, которым можно расшевелить коллектив лаборатории, заразить людей творческой лихорадкой, чтобы они поверили в свои силы. Пусть каждый почувствует: вот к нам пришла наука, без нас она не может, но и нам без нее неинтересно. Андрея все эти общие слова не трогали и даже обижали. Как, его локатор всего лишь средство? Перестраивать всю лабораторию? С какой стати! Конечно, кое-что придется все же изменить. Поддержкой Борисова воспользоваться не мешает. Тем более что ему нравится локатор. Что ни говори, а один в поле не воин...

Они медленно сближались, полные еще не остывшей настороженности, и каждый пытался тащить другого в свою сторону. Во всяком случае, хотя бы для этого они должны были протянуть друг другу руки.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Оказывается, он забыл ее отчество. Тогда она была еще Рита, просто Рита Гусева. Возможно, он никогда и не знал ее отчества. Поэтому, когда мужской голос в трубке сказал: «Я слушаю»,— Андрей запнулся.

— Слушаю,— нетерпеливо повторили в трубке.

— Попросите, пожалуйста, Риту,— сказал Андрей. Мужчина помолчал, потом сказал:

— Кто спрашивает?

Крепко сжав трубку, Андрей ответил, не скрывая усмешки:

— Старый товарищ.

Наступила тишина. Шорох. Шаги. Он весь обратился в слух, жило лишь одно его ухо, тесно прижатое к трубке. Тишина в трубке казалась черной, густой...

— Алло.

— Рита?— спросил Андрей, не веря, что слышит ее голос, и наслаждаясь этой неповторимой минутой узнавания.

— Кто это говорит?

— Ри, ты не узнаешь меня?— Когда-то он звал ее этим коротким именем.

— Кто это?— снова, но уже испуганно и жалобно переспросила она.

Андрей с силой провел свободной рукой по лицу, растирая одеревенелые мускулы.

— Ри,— повторил он.— Ри...— Он закрыл глаза, представляя ее в эту минуту.— Ты узнаешь меня?

— Андрей? Ты?— тихо сказала она, будто шепнула на ухо.

Он засмеялся, прислонился плечом к стене.

— Я хотел бы повидать тебя, Ри.

Она долго молчала, потом вдруг сказала оживленно и успокоенно:

— Разумеется. Приходи к нам.

Андрей не понял.

— А... можно повидать тебя одну?

— Да, конечно.

Она замолчала, как бы ожидая, подталкивая его.

— Когда же?

— Я буду очень рада посмотреть, какой ты стал.

По мере того как они говорили, голос ее становился напряженней. Искренняя радость сменилась ровной, громкой веселостью, в которой было что-то успокаивающее для третьего человека, наверно слушающего ее.

— Ри, я не вовремя позвонил?

Она спокойно продолжала отвечать невпопад:

— Кто тебе дал мой телефон?

— Лиза. Так как же, Ри?

— Ах, Лиза! Мы с ней недавно вспоминали, как встретили вас с Виктором в Петровском саду. Помнишь?

Андрей наконец понял ее игру.

— Помню, помню. Ты стала дипломатом. Значит, завтра в Петровском? В котором часу?

— Мне это безразлично.

— Тогда в семь вечера.

— Хорошо, так ты заходи, Андрей. До свидания.

Он пришел в сад в половине седьмого. Вечер стоял безветренный, морозный. В глубине сада за черными стволами деревьев горел огнями каток, звучала музыка. Андрей искал место их прежних встреч. Но тогда была весна, и все было так не похоже. Их познакомила Лиза на каком-то танцевальном вечере. Потом они стали встречаться, и Лиза с Виктором, у которых были уже установившиеся отношения, как старшие, посмеивались над ними.

Вдруг Андрей вспомнил: тот разговор произошел в глухой аллейке, ведущей к пруду.

Отыскать эту аллейку оказалось нелегко, недавно выпавший снег прикрыл дорожку. Пушистый, он лежал на единственной скамейке возле пруда. Андрей смахнул снег рукой, но не сел, а продолжал шагать взад и вперед по аллее.

Восемь лет прошло с того дня. Вот этой березки тогда еще не было, этот клен был, наверно, подростком, эти деревья стали толще, выше.

— Здорóво, молодцы! Не узнаете? — негромко спросил Андрей. Он смутно представлял себе, каким он выглядел в ту пору. Зато Риту он помнил хорошо: крутой изгиб ее ярких губ; низкий, грудной смех — смеясь, она запрокидывала голову назад и забавно вскрикивала: «Ох, умора!»

Провожая Андрея на фронт, Рита спохватилась — они не обменялись фотографиями.

— Подумаешь! — небрежно отмахнулся Андрей. — Я помню тебя всю. Если мы встретимся, к чему нам фотокарточки! Если разлюбим, тогда тоже ни к чему.

«Уж если разлюблю, то не я», — думал каждый из них.

Андрей продолжал шагать взад-вперед по заснеженной аллее. Узкая тропка тянулась за ним. Дойдя до спуска к пруду, он повернулся и увидел в начале аллеи темную фигурку.

Он остановился, сунув руки в карманы тужурки, с силой упираясь кулаками в дно карманов.

Она приближалась к нему знакомой, щемяще знакомой легкой походкой, как будто проходя все расстояние, разделявшее их эти годы. Сквозь синие сумерки все явственнее проступали краски ее одежды. На ней было светло-серое пальто с пушистым меховым воротником, закрывшим подбородок. Из-под широких полей голубоватой шляпки блестели глаза. Снег скрипел под ее маленькими черными ботиками.

Андрей хотел побежать к ней, протянуть руки, обнять, но остался стоять недвижимо.

И с каждым ее шагом мелкие осколки его воспоминаний все быстрее соединялись в одно целое.

Она мало изменилась. Черты ее приобрели законченность, стали почти жесткими в своей совершенной красоте.

Она все так же улыбалась, подняв верхнюю губу, открыв белые зубы. Андрей вглядывался, ища приметы прошедших лет, пугался, находя новое, непривычное, и радовался и страдал, узнавая старое. Вынув из широкой муфты руку, она нерешительно протянула ее ладонью кверху, рука была горячее, обжигаяще горячее. Продолжая держать Андрея за руку, она присела на скамейку.

— Ну вот и встретились,— сказал Андрей, и Рита засмеялась.

— Я так и знала, ты скажешь эту фразу. Я очень постарела, Андрей?

Он сумрачно помотал головой.

— Ты стала моложе. Если так пойдет дальше, ты скоро начнешь болеть скарлатиной и коклюшем.— Он почувствовал, как натянуто звучит его шутка.

Она заговорила о Лизе, о Викторе. Он кивал, отвечал ей, благодарный за то, что она помогала ему одолеть смущение...

Странно, не правда ли, знать каждый ее жест и не знать самых простых вещей, как будто они только что познакомились,— где она живет, работает, кто ее муж... Чужая, такая чужая...

Она всегда отличалась удивительным душевным изяществом. Никогда ни у одной женщины он не встречал такого такта, с каким она умела выходить из самого неловкого положения. Вот и сейчас — выкрутилась как ни в чем не бывало.

Андрей наклонился, взял горсть снега, начал скатывать снежок, студя руки.

— Ну, как ты живешь? — спросил он так, будто спрашивал: «Ну, с кем ты теперь живешь?»

Она сразу же стала покорно отвечать, не увиливая, не переводя разговор на другую тему. Ответив, молча ждала следующего вопроса. Эта робкая покорность, такая несвойственная прежней Рите, портила его торжество. Упреки, которые он мечтал высказать, не принесли бы ему сейчас никакого удовлетворения.

— Между прочим, у тебя не было неприятности от того, что я позвонил? — безжалостно спросил он.

Она пожала плечами. Ну была, какая разница. Пусть это его не беспокоит.

Кто бы мог подумать, что им придется прятаться и скрывать свои отношения!

Он полагал, что годы стерли его обиду. Во время войны она написала ему, что сошлась с одним полковником и у нее родилась дочь. Потом, лежа в госпитале, Андрей узнал о том, что полковник погиб в бою. Охваченный жалостью, Андрей выслал ей аттестат, она дружески-печально поблагодарила его. За месяц до его демобилизации Рита вернула аттестат с коротким письмом. Она сообщала о своем втором замужестве. Писала, что выходит за человека, который будет заботиться о ее дочери. Там были такие строчки: «...Я не вправе ждать тебя. Пойми, я всегда буду чувствовать себя виноватой. Как бы ты ни относился ко мне, между нами все время будет это. И потом, я устала жить одна. А он меня не может ни в чем упрекнуть».

Письмо пришло с Урала, оно было месячной давности и без обратного адреса. Андрей не оправдывал, не обвинял, он сделал все, чтобы забыть, прочно и навсегда.

Оказывается, не сумел забыть!

Рита не защищалась. Она робко держала его руку, и мелкие капли талых снежинок сверкали на спутанных нитях ее светлых волос.

— Вот как оно получилось, — говорила она. — А все могло быть иначе. Нам не хватило с тобой одного месяца. Я почему-то капризничала. Помнишь, ты взял билеты на «Красный мак», а я не пошла. Сколько таких вечеров у нас пропало из-за меня!

— А в мае ты поехала на неделю к тетке. Что тебе надо было у тетки?

— Я хотела проверить тебя... И себя. Мне всегда казалось, что ты — просто так. Что ты не любишь по-настоящему.

— Это я не любил тебя?!— воскликнул он, вставая и отбрасывая ее руки.

— Но ты всегда был такой... Ты даже ни разу не поцеловал меня как следует. Помнишь, когда мы поехали за город...

— Замолчи! Неужели ты не понимала? Я боялся оскорбить тебя.

— Теперь я все понимаю, Андрей. Понадобилось уйму пережить, чтобы понять... У тебя ничего не осталось, кроме горечи, а у меня...— Она грустно усмехнулась.— Ну что ж, ты, конечно, можешь наслаждаться своей правотой, у тебя сегодня праздник. А мне... Я виновата перед тобой. Чем я могу оправдаться?.. Единственное, что я могла, это прийти и сказать. Видишь, я пришла...

Из всего того, что они говорили, эти слова потрясли Андрея сильнее всего. Рита пришла — пришла, готовая ко всему обидному, что ожидало ее. Пришла не защищаться, не оправдываться, а вознаградить его даже ценой своего унижения.

Она сидела замерзшая, боясь посмотреть на него. Тихонько, стараясь не привлечь его внимания, она постукивала одной ногой о другую.

— Ты на коньках еще катаешься?— робко спросила она.

Не отвечая, он шагал перед скамейкой взад и вперед.

— Тогда ты тоже так ходил, сунув руки в карманы,— сказала Рита,— только тогда ты говорил, а я слушала.

— Замолчи.

— Андрей,— неожиданная боль зазвенела в ее голосе,— неужели ты не понимаешь... Я все помню, все... Это единственное хорошее, что у меня есть!

— Замолчи!— еще громче сказал он.

Она вздрогнула, подняла голову, напряженно ловя его взгляд.

— Ты... ты мог бы еще любить меня?— Она поднялась, подбежала к нему на негнущихся, замерзших ногах, вцепилась в плечи.— Ты любишь, любишь, любишь!..— смеясь и плача, повторяла она.

Сжав ее голову обеими руками, он посмотрел ей в глаза. Ожидание счастья в них доходило до страдания.

Лицо его вдруг дрогнуло, сморщилось, он быстро наклонился, поцеловал ее в холодную соленую щеку, потом еще и еще и, зажмурясь, крепко прижал ее голову к груди.

Он боялся, он стыдился признаться. Он обнимал прежнюю Риту. Она шагнула из той довоенной весны прямо в эту зиму. Как будто они не расставались. Как будто она ждала его все эти годы, вот здесь, на этой аллее... Они словно продолжали тот неоконченный разговор.

Начиная с этого вечера они виделись все чаще. Рита встречала Андрея после работы, и они уезжали куда-нибудь на окраину. Особенно они любили старый парк в Сосновке. Бесчисленные лыжни петляли между редкими деревьями. Толстый снег пригибал зеленые лапы сосен. От заката снег на вершинах становился красным, и этот веселый румянец удивительно шел к смолистому морозному воздуху, к высокому темнеющему небу. В лиловых сумерках горели желтые окна маленьких деревянных домов. Дома здесь были старые, с обломанными резными наличниками.

— Спой, — просил Андрей. Память хранила все ее песни. Бывало, Виктор играет на гитаре, а она, закрыв глаза, поет самозабвенно.

Сейчас она пела для него одного. Голос ее окреп, приобрел глубину. Низкий, грудной, что называется хватающий за душу, он дурманил Андрея.

Она пела полузабытые старые песни. Казалось, они были созданы для этого леса, для них двоих.

На Муромской дорожке
Стояли три сосны.
Мы с миленьким прощались
До будущей весны.
Он клялся, обещался
Одну меня любить...

Он стоял за ее спиной, обнимая ее. Руки его чувствовали сквозь пальто, как дрожит голос в ее груди. Он уже не понимал, пела она, или шептала ему на ухо, или звуки сами возникали в воздухе вместе с летящим снегом.

Рита умолкала, и ему становилось грустно. Он вспоминал, что им надо расстаться. Еще час, и она уйдет.

Неслышно падал снег. Андрей бережно отряхивал снег с ее плеч, ее волос — в сумерках на ней все каза-

лось белым, только зрачки, черные, блестящие, не мог запорошить снег.

Кроме как на улицах, встречаться им было негде. Заходить домой к Андрею Рита не хотела. Андрей жил с отцом и сестрой. Перед самой войной, когда Николая Павловича Лобанова перевели в город и Андрей переселился из общежития к родным, Рита часто бывала у них. С Катей, сестрой Андрея, она подружилась. И Николай Павлович хорошо знал Риту. Она не могла представить себе сейчас, как это она скажет Николаю Павловичу про свое замужество. Зачем же она тогда ходит к Андрею? А перед Катей совсем неудобно. У Кати дочь, семья, и, как каждая замужняя женщина, она будет осуждать и Риту, и брата.

— Как поживает Катя? — спрашивала Рита.

Андрей пожимал плечами: живет нормально. Муж у нее вроде хороший, этаким добродушный тюфяк, дочку обожает.

— Отец болеет... Ты бы его не узнала, — грустно говорил Андрей. И ему было жаль, что Рита не увидит отца, не придет, не посидит с ним.

...Она прибегала к всевозможным уловкам, не давая почувствовать Андрею, как трудно ей отлучаться по вечерам из дому. Они избегали касаться ее настоящего, они не заговаривали о ее семье, о муже, о дочке. Андрей рассказывал Рите о себе все, она — ничего. Не потому, что она не хотела, — она знала, что ему это неприятно. Чем это все кончится, куда они идут — не все ли равно. Будь что будет...

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Один человек в лаборатории оставался внешне равнодушным ко всем переменам. Это была Майя Устинова. Сдав Лобанову дела, она твердо решила уволиться или перейти в другой отдел.

Чрезвычайно щепетильная и мнительная, она считала свое положение настолько двусмысленным, что увольнение казалось ей единственным выходом. Любое ее слово против новых порядков могло быть истолковано дурно. Одобрив что-нибудь, обязательно скажут: «А вы что смотрели, когда были начальником?»

Начальником она, положим, не была, а временно исполняла должность; в служебной характеристике напи-

шут: с обязанностями справлялась. Ничего больше ей и не требуется.

Она пришла на работу раньше обычного. В лаборатории никого не было, только тетя Нюра заканчивала уборку. Майя прошла в кабинет Лобанова и положила на стол заявление об уходе. Она постояла перед пустым креслом, пытаясь представить выражение лица Лобанова, читающего ее заявление. Наверняка будет доволен. Возьмет перо и напишет: «Согласен». И обоим удастся избежать неприятного объяснения.

Она медленно переходила из комнаты в комнату, прощаясь с вещами. Потрогала холодный мрамор щита. На пальцах остались следы пыли. Опять тетя Нюра не вытерла — сколько ей ни растолковывали, она все боится прикасаться к щиту. Звонко капала вода в раковине. Майя завинтила кран и вспомнила, скольких хлопот ей стоило провести в лабораторию водопровод. Кто об этом сейчас помнит? На готовеньком легко распоряжаться. Она тоже могла бы потратить минувший год на диссертацию, вместо того чтобы возиться с водопроводом, составлять сводки...

Она вынула из кармана халатика зеркальце и долго с жалостью рассматривала свое лицо.

Как только Лобанов явился, Майю вызвали к нему.

— Это еще что за выходки? — спросил он тихо, но Майе показалось, что он кричит. — Бежать? — Он фыркнул. — Наверно, в душе умиляетесь своим благородством.

Он стоял у печки, по-видимому так и не успев присесть, и потирал озябшие красные руки.

— По-моему, если бы вас даже увольняли, вам нужно бы скандал поднять. Именно вы должны работать сейчас. Кто за вас обязан чистить эти авгиевы конюшни?

Майя возмутилась — какие конюшни, как не стыдно, ведь лаборатория получила знамя! Конечно, новому начальнику выгодно представить все в черном свете!..

Андрей шагнул к ней, смерил ее глазами.

— Я подпишу ваше заявление, — сквозь зубы сказал он, — но прежде я вам докажу, как скверно вы работали.

Он выложил начистоту все, что думал о лаборатории и о ней как о бывшем руководителе.

По совету Борисова он просмотрел старые отчеты лаборатории. И Борисов, и Виктор были правы. «Оперативная служба»! Она сводилась к наладке и подгонке

простейших схем, ремонту приборов, разработке инструкций. Теперь он понимал, как, избалованные отсутствием сложных работ, развращенные мелкими текущими поручениями, люди постепенно отучались самостоятельно творить. Благополучные цифры плана тушили интерес к новой технике. При такой тематике лаборатория свободно обходилась скудным оборудованием. Аппаратура соответствовала примерно школьному кабинету физики. Куда-то расходовались средства, запланированные на новые приборы. Где-то в других отделах работали люди, числившиеся в штате лаборатории.

Он разбивал вдребезги все, что казалось Майе самым ценным и нужным.

Она была моложе Андрея, ей было двадцать четыре года, и то, что ее почти прямо со студенческой скамьи поставили на эту должность, хотя бы и «врио», тоже показывало, как мало начальство заботилось о лаборатории. Эта мысль сейчас впервые пришла к Майе как горестное подтверждение лобановских доводов.

— О чем вы, собственно, думали? — словно тряс ее за плечи голос Лобанова. — Людей разбазарили... Бежали на посылках у начальства. Хотели быть для всех хорошей...

Губы у нее дрожали, она презирала себя за то, что не могла унять их.

— У нас был план научных... — с трудом начала она.

— Бросьте! — тотчас перебил он. — Министерство поручило вам заниматься автоматизацией. А вы? Рисовали ваши схемки и сдавали их в архив. А в отчетах зато ставился процент. Это автоматизация, по-вашему? Это обман!

— Я писала. Я вам покажу копии докладных. Потепенко и главный инженер знали.

— Заготовили себе соломку, чтобы мягче падать. — Андрей сел за стол, взял заявление, печально повертел в руках. — Я представляю, сколько сил вы ухлопали. Сейчас самая драка разгорается... — Он позабыл свою молодую начальническую суровость. — Не понимаю, неужели так спокойно можно зачеркнуть полтора года своей жизни?

Она хмурилась, кусала губы, но глаза неудержимо наполнялись слезами. Так странно было видеть слезы на ее строгом лице, так не вязались они со всем обликом

не склонной к шутке, сдержанной Майи Устиновой, что Андрей растерялся.

На его счастье, зазвонил телефон. Он поднял трубку. Начиналось диспетчерское совещание.

Майя вышла, медленно притворив дверь. В «инженерной» к ней подошел Кривицкий.

— Бушует. А? — сочувственно спросил он. — Ничего, помню, вы тоже поначалу горячо брались.

Майя криво улыбнулась. Да, она помнила, слишком хорошо помнила.

— Кривицкий, вы верите вообще в людей? — спросила она, не прерывая хода своих мыслей.

— Ого! — усмехнулся Кривицкий. — В моем возрасте непривычно философствовать на такую тему. Я прежде всего стараюсь увидеть человеческие недостатки.

— Вы заметили их у Лобанова? — задумчиво спросила Майя.

Кривицкий церемонно взял ее под руку.

— Майя Константиновна, обсуждать качества начальника рискованно, хотя и приятно. Все же рискнем: Андрей Николаевич — романтик! — Кривицкий сделал страшное лицо и продолжал шепотом: — Нис-про-верга-тель! Не улыбайтесь, есть такая симпатично-безнадежная категория. Ну-с, и, обладая подобной точкой опоры, он будет переворачивать мир, невзирая на технику безопасности. Начнет с того, что перессорится с начальством. Затем возможны два варианта: либо смирится, либо плюнет и уйдет, оставив нас у разбитого корыта.

— Да... в одиночку ему не справиться, — сказала Майя, думая о своем.

Он выпустил ее руку, придвинул кресло.

— По законам старой драматургии, вам следовало вставлять ему палки в колеса. По крайней мере злорадствовать. На худой конец, швырнуть ему просьбу об отставке.

— Как? — очнувшись, переспросила Майя.

— Уйти в отставку. Но вы не обладаете для этого необходимым количеством пережитков. Так вот, знайте, — меняя тон, серьезно сказал он, — если, вопреки моим предсказаниям, ваш Лобанов добьется хоть чего-нибудь реального, если хоть где-нибудь треснут наши задубелые порядки, тогда я его союзник. — И такая необычно свирепая решимость проступила на лице Кри-

вицкого, что Майе стало почему-то стыдно. Но и он смущенно откашлялся и сказал со всегдашней иронией: — К сожалению, скептики и циники вроде меня легче других становятся пророками.

Безрассудная запальчивость была вообще свойственна Андрею. В этом отношении Кривицкий был прав. Однако он не учитывал другого — научной добросовестности, с которой Андрей привык подходить к каждому вопросу.

Никогда раньше Андрей не сталкивался с экономикой. Теперь на каждом шагу он упирался в какие-то неведомые статьи расходов. Ему приходилось иметь дело с фондами на зарплату, с лимитами по труду, с нормами — все это наваливалось, связывало по рукам и ногам, и, не умея разобраться во всех этих тонкостях, он был беспомощен.

Прямота, свойственная Андрею, подсказала ему самый короткий путь. Он пришел в бухгалтерию и, разведя руками, сказал:

— Помогите мне. Научите. Я абсолютный невежда в вашей науке, но без нее мне не обойтись.

Главный бухгалтер, проработавший в Управлении свыше двадцати лет, слывший человеком бессердечным, встретил его сухо и подозрительно. Два дня он наблюдал, как Лобанов, отложив в сторону лабораторные дела, с утра садился в бухгалтерии, постигая тайны статей расходов и ассигнований.

Ожесточенное в непрерывных боях сердце главного бухгалтера постепенно смягчалось. Ему нравилось, что новый начальник лаборатории уважительно называл бухгалтерию наукой и, не кичась своим ученым званием, почтительно слушал счетовода, двадцатилетнюю Машеньку.

Но бухгалтерия не только наука, она — искусство. И главный бухгалтер, взяв в свои руки дальнейшее образование Лобанова, открыл перед Андреем сущность финансовой жизни предприятия. Он показал, как вдумчиво, по всем направлениям идет борьба за экономию каждой копейки. Раньше Андрей считал главным занятием бухгалтеров вовремя выдавать зарплату и бороться с растратами. На самом же деле речь шла о более серьезных вещах — об огромных ценностях, залежавшихся

на складах «запасливых» хозяйственников, о начатых и законсервированных стройках...

— Финансовая политика нашего предприятия... — любил говорить главный бухгалтер. Больше всего Андрея изумляло, что этот пожилой человек, словно вросший в огромный письменный стол, где в каждой мелочи сказывался годами установленный порядок, этот человек с черными сатиновыми нарукавниками, с каллиграфическим почерком — словом, со всеми приметами канцеляриста, — оказывается, превосходно знал производство. Он свободно разбирался в особенностях каждой станции; оборудование лаборатории он знал лучше, чем Андрей.

В шумных комнатах бухгалтерии, на столах, заваленных бумагами, где стояли длинные ящики картотек, щелкали костяшки счетов, трещали арифмометры, люди вели самую настоящую исследовательскую работу. Они изобретали средства, повышающие рентабельность. По неуловимым признакам выявлялись слабые места отдельных электростанций, и сразу же заботливая и грозная рука главного бухгалтера останавливала, предостерегала, показывала.

И Андрей начинал понимать, что упрекать главного бухгалтера в бесчеловечности могут лишь близорукие эгоисты, для которых интересы цеха выше интересов государства.

После ухода Андрея главный бухгалтер задумчиво сказал:

— В человеке важен не чин, а начин.

Таким же образом Андрей познакомился с отделами труда и зарплаты, с плановым отделом. Тайнственные кабинеты Управления, где чем-то занимались десятки людей — плановики, экономисты, — оказывались такими же необходимыми для Энергосистемы, как машинные залы и котельные, в которых работали машинисты турбин и кочегары.

Андрей по-иному стал смотреть на мир, окружавший его. Работа лаборатории составляла частицу работы всей системы, и все это надо было заранее обеспечить материалами, найти средства, разумно их истратить.

В кабинете Андрея висел написанный им от руки плакатик «Курите дома!», под ним он прибил новый — «Техника=физика+экономика». Но физики не было.

Каждый вечер он прятал свою лиловую папку в стол, так и не успев притронуться к ней. Жизнь воздвигала

все новые препятствия между ним и локатором. Все требовало времени. Он дрожал над ним, как скупец, и все же ему пока не удавалось выкроить и часа в день для работы над локатором. Единственное, в чем он не мог отказать себе, — это в свиданиях с Ритой. После них он чувствовал в себе неукротимое желание работать (работой он называл локатор, все остальное было подготовкой), и это желание копилось в нем, бесплодно перегорая. «А может, вернуться в институт, — думал он, — пока из-за моего упрямства меня не засосало с головой?»

Усталый, он валился на кровать, стараясь поскорее заснуть, чтобы избавиться от своих малодушных мыслей.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Солнце забиралось в спальню с утра. Сперва оно захватывало тот край подоконника, где стоял столетник. Потом лучи вспыхивали радугой среди туалетных флаконов, ползли по стене, двигались к картине. В это время Виктор вставал и шел в ванную. Следом за ним бежал Вовка. Лизе было слышно, как они плещутся и шлепают друг друга по спине.

Затем они завтракали, позвякивая ложками. Внизу нетерпеливо сигналил шофер. Виктор на цыпочках входил в спальню и целовал Лизу. Она слабо улыбалась, не открывая глаз. Из детской доносился приглушенный шум — это Клава торопила Наденьку одеваться и уводила в детскую группу. Лиза оставалась одна...

Солнце подступало все ближе к кровати. Косая тень изголовья тянулась через ковер. Мысли скользили мелкие, легкие, но глубоко внутри они всякий раз, как маятник в часах, двигали большое колесо какого-то трудного раздумья.

Лиза ждала, когда солнечный квадрат окна вползет к ней на подушку. Она могла лежать хоть до вечера. Никто не торопил ее, нигде ее не ждали.

После того как Андрей начал бывать у них, налаженный ход ее жизни как-то непонятно нарушился. Временами она, словно посторонний зритель, наблюдала за собой, за мужем за детьми. Она не оценивала, не сравнивала, ей хотелось представить себе, что мог увидеть в их доме Андрей.

В том мирке, который окружал ее, их семья считалась образцом счастливой семьи. Они с Виктором привыкли взимать как дань с окружающих хорошую, уважительную зависть к своему счастью. Андрей не только не отдавал этой дани, но Лиза заметила, что с каждым его посещением в нем росла какая-то неловкость и скука. Именно потому, что это чувство было чем-то знакомо Лизе, она сразу обнаружила его у Андрея.

Когда и как оно выросло, откуда оно поселилось в ней? И почему никак не изгнать его?

С беспощадной придирчивостью оглядывала она свою жизнь. Взяв за руку смешливую девушку с челкой коротко стриженных волос, вздорную и наивную, которую тоже звали Лизой и которая ни за что не узнала бы себя в солидной, красиво одетой, располневшей двадцативосьмилетней женщине, она, как судья, шла за ней через годы, всматривалась в каждый ее шаг, каждый день... Был, был же такой, откуда все началось!

Она вышла замуж сразу после окончания института. Вовка родился в войну, он был хилый, болезненный, и Лизе пришлось бросить учительство, чтобы выходить ребенка.

Раньше она посмеивалась над замужними подругами, а теперь сама почувствовала приятную власть новых обязанностей — жены, матери, хозяйки. Маленькая комнатка в рабочем общежитии, где они тогда жили, стала «домом», «семейным очагом».

Виктор вышучивал серьезность, которой она окружала эти понятия. Семья-то три человека, а хлопот — как будто она руководит крупным учреждением. Она не обижалась — он ничего не понимал, ведь их было не три человека, а семья, действительно целый коллектив, с его будничными и бесконечно важными делами.

Наморщив лоб, она по вечерам раскраивала свой бюджет, и Виктор, безошибочно ворочавший многотысячными сметами у себя на работе, здесь становился в тупик: чем отоварить карточки? Что надо купить раньше — валенки для Вовки или кроватку? Сколько денег можно отложить, чтобы снять дачу?

Он виновато целовал ее в глаза. Щеки у него всегда были колючие. Она видела, как он страдает оттого, что они вынуждены экономить каждый рубль, оттого, что живут в общежитии, и ее трогали эти тайные, милые доказательства его любви. И было легче мыть полы, стирать и чинить свои старые платья. Ей было приятно,

когда он порывался помочь ей убрать комнату или почистить картошку. От этого ее скучная работа приобретала особый смысл.

Лиза чувствовала себя соучастницей больших и важных дел Виктора. В войну все жили трудно, и никто и не думал жаловаться.

Когда родилась Наденька, им совсем редко удавалось побыть наедине, вдвоем. Виктор приходил поздно, у Лизы все время отнимали дети. Война давно кончилась, но годы по-прежнему летели, заполненные бесконечными, безостановочными домашними заботами, и Лизе казалось, что настоящая жизнь ее с Виктором впереди; вот выздоровеет Наденька, вот Виктор кончит расчет какого-то аппарата, вот они получают комнату.

Дети подрастали, Лиза подумывала о возвращении в школу. Виктор отнесся к этому равнодушно. «Материально мы не выгадаем, — сказал он. — Придется брать домработницу. А где она будет спать? У нас и так повернуться негде». Она грустно согласилась.

Он не заметил ее грусти. У него был свой, особый мир неизвестных ей радостей и тревог. Когда, подняв голову от чертежной доски, он смотрел на нее, рассеянно улыбаясь, она понимала: он далеко и не слышит ее. Что же будет, если она поступит на работу, — они станут совсем чужими.

Как-то приехал известный французский дирижер. Лиза достала билеты в Филармонию, предупредив Виктора, чтобы он пораньше освободился. В половине девятого он позвонил и сказал:

— Лизок, ты пойди с кем-нибудь, тут у нас с юга один товарищ, мне интересно узнать, как там у них с грозозащитой.

В другой раз — это был день его рождения — она с утра прибирала, пекла, волнуясь, как будто вечером должно было решиться что-то важное. Гости разошлись, они остались вдвоем. Виктор посадил Лизу к себе на колени, она перебирала его черные жесткие волосы, разглаживала морщинки на висках. Ее тянуло рассказать ему про свои обиды — как это он не заметил ее нового платья, и что он больше не делится своими планами, — но она подумала: зачем, сейчас так хорошо, и, наверное, ей это все показалось, ведь это тот же Виктор. Она вспомнила, как неуклюже он объяснялся ей в любви и как через полчаса они впервые поссорились из-за того, что Виктор доказывал, что он любит ее больше,

чем она его. Она вспомнила это и притянула его к себе — от волос его исходил родной горьковатый запах чая.

— Ты еще любишь меня?

Он отстранился и озабоченно посмотрел на нее.

— Что? — переспросил он.

Она не ответила. Сохраняя все то же озабоченно-напряженное выражение, он осторожно снял ее с колен и, подойдя к своему столу, стал что-то быстро рисовать.

Она видела перед собою его спину, и ей показалось, что он уходит от нее. Все равно куда, он уходил от нее. В такую минуту он думал о другом, в такую минуту! Она решила вернуть его, стать нужной, чтобы он не мог обходиться без нее. Ведь у нее не было ничего другого.

Не рассуждая, инстинктивно, она поняла, что не следует требовать от Виктора выбора: или — или. Она действовала в обход, расчетливо пользуясь его слабостями.

Несмотря на волевой характер, Виктор быстро сдавался перед молчаливым укором, который она умела вкладывать в каждую мелочь. Он чувствовал себя виноватым в том, что она обслуживает его, что она привязана к дому. Прощая и оправдывая ее состояние, он уступал: ему казалось, что театр, кино, гости — это капризы, которые скоро пройдут.

Уступки не успокаивали, а воодушевляли Лизу.

Виктора назначили заместителем начальника технического отдела. Она поощряла его горделивую самоуверенность — теперь можно немного отдохнуть, у него достаточно опыта, способностей, ему будет легко руководить. Она решила вернуть Виктора к себе.

Летом они отправили детей к родным, а сами поехали на Кавказ. Исполнялась давнишняя мечта Лизы. Они путешествовали вдвоем по Военно-Грузинской дороге.

Виноградные лозы карабкались по террасам, волоча за собою черные и зеленые с подпалинами гроздья. Лиза и Виктор поднимались в горы навстречу высокому яркому небу, удивительному, как всё в этом краю. Они проходили висячие мосты в прохладных сырых ущельях, разыскивали развалины старинных замков, вспоминали Лермонтова, ели маленькие пахучие дыни и, как будто после долгой разлуки, любовно вглядывались друг в друга.

Виктор получил отпуск на полтора месяца, но он сам хотел вернуться на две недели раньше и окончить какое-то усовершенствование по автоматике. Он работал над ним всю зиму.

Несколько дней они прожили в маленьком горном селении. Внизу сливались две Арагвы — черная и белая. Их быстрые струи, темная и светлая, долго мчались не смешиваясь, о чем-то бурливо споря, и Лиза думала о судьбе своей любви.

— Представь себе, что можно было прожить жизнь и не увидеть всего этого, — сокрушался Виктор.

Она осторожно попробовала уговорить его остаться до конца отпуска. К ее удивлению, он не возражал.

— Твой синхронизатор, или как его там, это частность, — говорила она. — Посади за него несколько инженеров, и они его закончат. Ты должен набирать силы для дел, которые ты один можешь сделать.

Он согласился и отправился покупать сливы.

И она была счастлива!

Все шло как нельзя лучше. Административная работа пришлась Виктору по душе. Ему нравилось управлять людьми, требовать, проталкивать, руководить; та честолюбивая жилка, которая всегда была в его характере, теперь, когда он вкусил власть, заставляла его прилагать все силы, чтобы стать начальником отдела. «Если уж я выбрал административную карьеру, — говорил он, — надо скорее расти, чтобы не перестояться». Виктор добился своего — он стал начальником отдела. Его хвалили, считали способным руководителем. Его приводили в пример на активах, отмечали в приказах по министерству. Его статьи печатались в газетах. Он стал получать персональный оклад. Они наняли домработницу.

Их дом начали посещать новые приятели Виктора. С наивным тщеславием Лиза слушала, как они расхваливали организаторские таланты ее мужа. Они раздували парус его честолюбия, а ей чудилось, что это попутный ветер ее семейного корабля. Она искренне соглашалась с Виктором: его призвание — административная деятельность. Инженерный опыт у него есть, знания тоже, остальное, как он считал, зависит от искусства руководить. Туманные слухи, что Виктор не терпит способных людей в своем отделе, окружает себя подхалимами, свидетельствовали лишь о черной зависти обойденных.

Он сам жаловался ей на козни своих недоброжелателей, посвящая ее в тонкости взаимоотношений с начальством, и она не чувствовала себя больше чужой и ненужной в его мире.

Он вырывался домой, мечтая укрыться от бесконечных совещаний и писанины.

Появилось материальное благополучие, и сразу исчезли поводы для многих мелких раздоров.

У Виктора завелось множество связей. «Мы живем в век электричества», — шутливо объяснил он. Стоило ему позвонить, и Лиза могла без очереди достать дефицитный габардин или фрукты. В театрах они сидели в директорской ложе.

По воскресеньям они отправлялись по комиссионным магазинам. Для Лизы извлекали из-под прилавка недорогой хрусталь. Она была довольна не только покупками, но и тем, что Виктор получал удовольствие, удовлетворяя ее желания.

В день его рождения они большой компанией поехали в ресторан. Кутить так кутить, — подняв шипучий бокал шампанского, Виктор чокнулся с Лизой, глядя ей в глаза, и вдруг рассмеялся:

— А я и не замечал. Оказывается, у тебя зрачки рыженькие.

Она закрыла щеки руками:

— А где у меня родинка?

Он смешно поднял черные брови, пытаясь вспомнить.

Меж столиков, под тягучую мелодию оркестра, мягко шаркали пары. Лиза быстро захмелела и беспричинно улыбалась. Ей было хорошо, потому что на ней красивое, модное платье и чернобурка, и потому что все это Виктору было приятно, и все любят Виктора и ее.

— Через три года, Виктор Григорьевич, быть тебе начальником главка, — рассуждал подвыпивший заместитель управляющего Ивин. — У меня глаз — алмаз. Как люди достигают? Путем верных друзей. Они ему мостят — он их тащит...

Виктор отвернулся от него и задумался, положив голову на руки.

— Мостят... тащат... — тихо бормотал он.

Она сразу поняла, о чем он, и в тревоге взглянула на него. Он повел ее танцевать.

— К черту дела! — сказал он, когда они вернулись к столу. — Мне хватает их на работе. Вообще, старушка,

нам следует почаще выбираться на люди. Ивин прав: работай, но помни, что ты не лошадь.

Совесть ее была спокойна. И Лиза опять была счастлива.

Под Новый год, затеяв уборку, Лиза поставила за шкаф чертежную доску с наколотым эскизом. Прошли праздники, и только тогда она вспомнила, что Виктор так и не спросил про эскиз. А ведь это был тот самый синхронизатор, над которым он бился чуть ли не год. Впервые тогда что-то царапнуло ее душу.

По-видимому, счастье имеет свои законы. Оно чахнет без надежды. Лиза не знала, о чем ей мечтать. Напрасно она называла себя неблагодарной, беспокойное недоумение все чаще посещало ее.

Она стала подмечать в себе опасную и ненужную наблюдательность.

Ей все меньше нравился этот Долгин с его ускользающим взглядом, льстивый Ивин и другие друзья Виктора. Среди них попадались и славные люди, но что-то нехорошее было в их зависимости от Виктора, и сам Виктор как будто нуждался в этой зависимости. Он, всегда такой сильный, гордый, почему-то дорожил их обществом. Когда они уходили, он презрительно высмеивал их, сам же с каждым днем все приближался к ним, словно в чем-то уступая. Тогда ей казалось, что ему просто нравится, чтобы им восхищались. Постепенно она стала понимать, что это не просто слабость.

Приезжая из Москвы, Виктор восторженно рассказывал о министерских работниках. Как быстро там продвигаются люди! Все-таки что значит быть на виду. И вообще, там, в министерстве, даже мыслят другими масштабами. Вопрос, над которым они тут бились год, заместитель министра шутя решил в пять минут. Вот такая работа может приносить истинное удовлетворение. На такой работе он мог бы показать себя. Расстановка кадров. Общие принципиальные проблемы развития энергетики. Встретился какой-то специальный вопрос — пожалуйста, к услугам заместителя министра любой консультант. Никакой тебе войны со станционниками, с монтерами. А кто, спрашивается, критикует министерских работников? Только высшее начальство. Или вот, к примеру, начальник главка. Имеет двух референтов. На дипломатических приемах бывает!

— А ты знаешь, Лиза, он старше меня всего лет на шесть. Думаешь, у него какие-нибудь исключительные

способности? Ничего подобного. Я знаю людей не менее способных, чем он. И сидят рядовыми инженерами. Случайность? Случай идет навстречу тому, кто его ищет.

...После обеда пришла жена Ивина. Звонкий, живой голос помогал Анне Павловне походить на подростка. Она повязывала крашеные волосы черным большим бантом, старалась двигаться быстро и называла Лизу своей подружкой.

Чмокнув Лизу в щеку, она предупредила, что торопится в Дом моделей, и, поминутно поглядывая на часы, просидела полтора часа.

Круг интересов Анны Павловны был чрезвычайно широк. Она ходила на дискуссии в Союз писателей, на выставки в Союз художников и на весенние выставки собак. Она была в курсе всех дел Энергосистемы. Она знала, где случилась авария, с кого снимут премию, чем болен управляющий.

— Представьте себе, Лизочка, жена главного инженера — разве можно в наше время так жить, — я звоню ей, мне надо было проверить, кого представили к наградам, — она не имеет понятия. Полное отсутствие всяких общественных интересов. Так легко можно переродиться в обывательницу. На нас лежит обязанность создавать мужьям абсолютные условия. Пусть это будет парадокс, но наша личная жизнь — это производственная жизнь наших мужей.

Лиза с тоской поддакивала. На прощание Анна Павловна пригласила Лизу с мужем к себе на дачу.

— Зимой там чудесно. Серебряный снег, такая светотень. Между прочим, Лизочка, я слыхала, вы знакомы с новым начальником лаборатории? Возьмите его с собою. Молодые неженатые люди всегда вносят какой-то аромат романтики.

Лиза живо вообразила резкого, неуклюжего Андрея в обществе Анны Павловны и ее мужа, любителя поесть, выпить, организовать пульку, представила и всю остальную публику, бывающую у Ивиных, и усмехнулась. Виктор зло называл их «аппендиксы». Когда Лиза спрашивала: «Зачем же к ним ходить?», Виктор пожимал плечами — положение обязывает.

— Нет, на Лобанова никакие чары не действуют, — усмехнулась Лиза. Что-то в тоне ее показалось Анне

Павловне обидным. Напрасно Лиза так уверена в своем Лобанове, вообще мужчинам не стоит верить, уверенность делает женщину слепой. Виктор Григорьевич тоже не составляет исключения. Эта Нина Цветкова, секретарша главного инженера, девчонка, ничего опасного в ней нет, но, знаете, иногда все происходит неожиданно. Конечно, в семейных отношениях сквознячок необходим. И все же следует быть начеку, чтобы вовремя захлопнуть форточку.

Лиза ни о чем не стала расспрашивать, но после ухода Анны Павловны задумалась. Сплетню всерьез принимать не стоило. Ни с какой Цветковой Виктор ей не изменит. Она чувствовала это как женщина. Виктор ее по-прежнему любит. По-прежнему?.. И вдруг с пугающей ясностью она поняла: неважно, ухаживал он за Цветковой или нет, важно то, что, если бы ему по сугубо деловым расчетам понадобилось, он, не задумываясь, изменил бы ей с этой самой Цветковой. Просто в этом пока нет нужды. Для тех мелких услуг, какие может оказать секретарша начальника, достаточно было подпустить парочку многозначительных фраз (на это он мастер), подвезти на машине (да, да, на машине — что-то подобное Лиза слыхала), подарить флакон духов...

Виктор переменился, и его чувство тоже переменилось. А она? Она любила так же, как и раньше.

Его же чувство стало расчетливо-эгоистичным. Лизе припомнилось, как встревожился Виктор, узнав о служебных неприятностях у ее брата. Он так боялся, что это может повлиять и на его, Виктора, дальнейшее продвижение. И если бы у брата не наладилось, Виктор мог бы озлиться на нее...

В передней раздался звонок, это почтальон принес газеты и журнал «Электричество». Лиза отнесла журнал в кабинет Виктора. Последние номера лежали стопкой, заклеенные в бандероли. Торопливо она порвала обертку. Андрей — он может прийти сегодня, завтра — не должен этого видеть.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Проклятая низкая притолока! Никак не привыкнуть. Который раз, выходя из кабинета, Андрей ушибался. В «инженерной» стало приметой: если стукнулся — значит, о чем-то задумался или что-то случилось. Так

и есть. На сей раз попало Кривицкому. На каком основании он принимает в ремонт самописцы?

— Было указание главного инженера. — Кривицкий развел руками. — Так заведено испокон веков, что от сложных приборов ремонтные мастерские отказываются.

— Так вот, с сегодняшнего дня в ремонт не брать, — сказал Андрей, потирая голову. — У вас есть своя тематика, будьте добры ею заниматься. Есть у вас самолюбие? Попробуйте дать краснодеревщику бревно тесать, куда он вас пошлет? Вы же инженер!

Кривицкий поморщился:

— Тут не до самолюбия. Вот главный узнает, поднимется шум. Спорить с начальством, Андрей Николаевич, все равно что плевать против ветра.

Андрей невольно улыбнулся. И когда он научится удерживать свою дурацкую улыбку!

— Шум начался, — строго сказал он. — Главный уже вызывает меня по этому вопросу.

— Ну вот вам и трещина, а вы не верили, — задумчиво сказала Майя после ухода Лобанова.

Кривицкий покачал головой:

— Идет, гудет зеленый шум... Нет, Майя Константиновна, это он лишь замахнулся, а треснет от его удара что-нибудь или нет — посмотрим... А вообще отважен, — добавил он, помолчав. — Ей-богу, отважен!

— Садитесь, — морщась, нетерпеливо бросил главный инженер, потому что Лобанов еще топтался на пороге кабинета. — Вы почему не выполняете моего приказа о ремонте приборов?

Не отвечая, Лобанов подошел, уселся в кресло, развернул папку, достал план работы лаборатории.

— Пожалуйста, — коротко сказал он, — я не нашел тут пункта о ремонте.

— План — это не догма.

— План — приказ, — возразил Андрей, — тем более что он утвержден вами.

Это походило на прямой вызов. Полчаса назад на диспетчерском совещании директор Октябрьской станции Тарасов попросил срочно отремонтировать самописцы, Лобанов категорически отказался принять их в ремонт: для этого существуют мастерские. Главный инженер решил, что тут какое-то недоразумение, а те-

перь выходило, что это обдуманное решение. Ему ничего не стоило приказать Лобанову, и тот вынужден был бы повиноваться, но его заинтересовали намерения нового начальника лаборатории.

— Вы что же, хотите поссориться с нашими производственниками? — любопытно спросил главный инженер.

— Нет, зачем. Просто я хочу заниматься своим делом.

Умиляясь наивности этого новичка, главный инженер растолковывал как можно мягче ошибочность избранной Лобановым линии:

— Основное у нас — станции, они производят электроэнергию. Мы же с вами существуем для того, чтобы удовлетворять их нужды. Вам следует начать с изучения запросов производства, продумать, как лучше помогать станциям. Вы же начали с того, я слышал, что оборудовали себе отдельный кабинет. Верно?

Андрей нащупал шишку, пока что единственную «радость» от кабинета, и равнодушно согласился:

— Верно.

Главный инженер укоризненно вздохнул: упрек, как видно, не достиг цели.

— Вот видите, какое неудачное начало. Вместо того чтобы наладить качественный ремонт...

— Я хочу создавать новые приборы. Для этого мне нужна хорошая лаборатория, в частности с кабинетом для начальника и комнатой для ведущих инженеров, чтобы они могли сидеть и думать, не зажимая уши... — И, не давая прервать себя, Лобанов методично изложил свои требования. Тут было и создание мощного экспериментального цеха с заменой ветхих станков Кузьмина, и новые штаты, и пересмотр тематики, и ремонт помещения, и обеспечение консультантами, и новая аппаратура.

Главный инженер сперва изумленно поднял брови, потом, когда поднимать их выше было уже некуда, недоверчиво улыбнулся, но так как Лобанов продолжал развивать свои фантазии, не обращая внимания на эти знаки, главный инженер нахмурился и забарабанил пальцами по столу.

— Все? — спросил он с видом величайшего терпения.

— Нет, это, так сказать, программа-минимум.

— Н-да... Пока что одни права и никаких обязанностей. Вы что же, намерены только просить да просить?

Прием был не совсем дозволенный, вроде подножки. Про обязанности, какие он брал на себя, Лобанов уже говорил. Он упомянул о локаторе, о том, что лаборатория должна стать научным центром Энергосистемы, толкать ее вперед, внедрять автоматизацию на станциях. Но главному инженеру важно было сейчас добить вопрос о ремонте. Как говорится, ближняя соломка лучше дальнего сенца.

Андрей решил не уступать. Слишком многое зависело от этой первой их встречи. Он готовился к ней по всем правилам, ничуть не меньше, чем к какому-нибудь исследованию.

— Просить? Не просить я намерен, а требовать то, что положено, — твердо сказал он.

Главный инженер, костлявый, угловатый, весь немного встрепанный, имел вид человека, заверченного до головокружения. Одевался он небрежно, морщины тоже небрежно, как бы наспех, перечеркивали его лицо во всех направлениях. Такая внешность создавала своеобразный удобный стиль. Трудно обижаться, если такой человек что-нибудь забудет, недослышит, неловко надо есть ему мелочами. Но там, где дело касалось действительно важных вещей, главный инженер ничего не забывал и не упускал. Он умел, сохраняя замученное выражение лица, спокойно обдумать и решить быстро и безошибочно.

Сейчас уже дело сводилось не к ремонту самописцев — необходимо отрезвить этого фантаста, выбить у него из головы мальчишеский идеализм. Ну и кадры, возись с такими! Туман и грезы.

Посмеиваясь, он рассказал Лобанову, как недавно явился к нему один горе-изобретатель с идеей немедленного перевода всех электростанций на атомную энергию. Установить атомные реакторы и все такое силами самой Энергосистемы.

— А когда я стал отказываться, назвал меня консерватором. У вас тоже нечто вроде. Если бы вы не были новичком на производстве, я бы вас живо выставил за дверь с вашими требованиями, — добродушно признался главный инженер. — Что мы тут, олухи царя небесного? Сами не знаем, что к чему? Мы на земле живем. На земле, — с удовольствием повторил он, — не на небесах.

Откуда я вам высижу деньги, людей? У нас хозяйство плановое. Дойдет до вас очередь — пожалуйста. Рад бы душой, да хлеб-то чужой. Сперва станции оснастим, — он поднял палец, — нам надо энергию безаварийно производить. Электроэнергию, а не приборы. До тех пор мобилизуйте внутренние ресурсы. — Тут он выбрался на дорожку испытанных доводов, которыми успешно умирал слишком настойчивых сотрудников.

Обычно в таких случаях дело кончалось тем, что он удовлетворял какое-нибудь одно из десяти требований, и подчиненный уходил, довольный своим упорством. Поведение Лобанова не обещало ничего похожего. Он невозмутимо сидел, закинув ногу на ногу, покачивая ногой в такт словам главного инженера.

— Насчет планового хозяйства я согласен, — сказал Лобанов. Он снова открыл свою папку и стал выкладывать бумаги. — Закупленная для лаборатории аппаратура разошлась по станциям... Деньги, ассигнованные на ремонт лаборатории, в действительности израсходованы на диспетчерскую службу — раз, на ремонт жилого дома — два... — Он дотошно перечислил все до последней копейки.

«А говорили, что теоретик, не от мира сего, — подумал главный инженер. — Как бы не так! Что называется, наскочил топор на сучок».

— ...Далее. Восемь человек, числящихся в штате лаборатории, работают в других отделах.

— Вот это безобразие! — вырвалось у главного инженера.

Лобанов, не отрываясь от бумаг, сообщил:

— Между прочим, ваша вторая секретарша числится лаборантом.

Щеки главного инженера надулись, он еще секунду силился удержаться и вдруг, отвалившись на спинку кресла, захохотал, подняв руки кверху...

От главного инженера Андрей вернулся воодушевленный, сразу собрал руководителей групп.

Все вопросы снабжения будут решены в ближайшее время, тематика будет пересмотрена, штаты укомплектованы. Его спросили, как с ремонтом. Прекратить! Передаем в мастерские. Он был доволен, что может уже чем-то реальным порадовать товарищей. Теперь за работу. Начинаем подготовку к исследованиям. Пока что готовимся за счет внутренних резервов, покажем, что мы не иждивенцы.

Его воодушевление действовало заразительно на всех, кроме Кривицкого. Этот безнадежный скептик уныло заключил:

— Вот с ремонтом — факт, остальное — бабушка надвое сказала. Надвое, а то и натрое.

— Не бабушка, а главный инженер, — сухо поправил его Андрей. Однако замечание Кривицкого запомнил.

Майя Устинова молчала.

Если бы Лобанова постигла неудача, если бы он вернулся от главного убитый и опечаленный, она стала бы на его сторону. В лаборатории, если не считать Борисова, он до сих пор оставался, в сущности, одиноким. Но сейчас, когда все приветствовали его как победителя, она почувствовала себя униженной, она почти возненавидела его. И себя она ненавидела за все эти мелкие, завистливые, пакостные чувства. Она перестала быть откровенной. Молчит и ждет. Злорадно ловит всякое недовольство Лобановым. Радуетя, когда Морозов говорит: «При вас, Майя Константиновна, было лучше». И походка у нее изменилась. Нет прежней уверенности. Ну а что делать? Ей надо найти такую работу, чтобы утвердить себя в собственном мнении. Так дальше продолжаться не может.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

В этот вечер Рита предложила встретиться у Консерватории. Андрей решил, что она хочет пойти на концерт, но, когда он приехал, темный подъезд Консерватории был заперт. Он ждал, теряясь в догадках, немного раздосадованный и встревоженный. Рита вышла из-за угла, взяла его под руку и снова повернула за угол.

— Не спрашивай, ни о чем не спрашивай, — посмеивалась она. Андрей почувствовал ее волнение, и волнение это передалось ему. Они пересекли какой-то двор, на лестнице Рита не утерпела и, пряча лицо в воротник, сказала, что вместо того чтобы мерзнуть на улице, они посидят у ее подруги: она уехала и оставила Рите ключ.

Это была маленькая, тесно заставленная мебелью комнатка, половину ее занимала высокая кровать. Было тепло, пахло пудрой, духами.

Рита закрыла дверь на крючок, скинула шляпу. Она с головой спряталась под расстегнутую полу его

тужурки, и так они стояли, как будто отдыхая. Андрей нежно, едва касаясь, гладил ее.

Они о чем-то говорили, и с каждым словом смысл произносимого все больше исчезал. Сейчас имело значение то, как, не сводя с нее глаз, он расстегивал большие серые пуговицы ее пальто, как она скинула вязаную жакетку. Понял ли он, *как* она скинула жакетку? Да, он понял. Чуть располневшая, с голыми руками, длинной, открытой шеей, Рита была удивительно хороша. На локте кожа у нее была шершавой. Андрей тронул это памятное, когда-то любимое им местечко, и Рита вспыхнула, как девочка. Застенчивого, девичьего в ней было сейчас больше, чем женского. С закрытыми глазами она поцеловала его. Поцелуй был особенный, не похожий на все их поцелуи.

С этого дня не нужно было мерзнуть в трамваях, добираясь до окраины, чтобы остаться наедине. Маленькая комнатка у Консерватории стала их крепостью, за ее стенами Рита чувствовала себя спокойно. Андрей понял ее переживания, когда однажды они чуть не столкнулись лицом к лицу с Виктором. Он шел навстречу с каким-то мужчиной. Рита увидела их первая и бросилась в ближайшую парадную. Андрей ни о чем не спрашивал — вряд ли она могла так испугаться Виктора. Дело было не в Викторе, а в его спутнике — знакомый, может быть даже муж.

Этот случай открыл Андрею глаза.

До сих пор Рита существовала для него сама по себе, отделенная рамкой воспоминаний от окружающего мира. И вдруг эта рамка сломалась, и он увидел Риту такой, какая она есть: женщина, имеющая дочь, мужа, какую-то не известную ему семейную жизнь. Он растерялся. Он уверял себя в том, что нет ничего некрасивого, дурного в их отношениях. Несправедливым и плохим было все то, что мешало их встречам. Никто не может любить Риту так, как он, и, значит, никто не имеет на нее таких прав.

Опасность подстерегала их на каждом шагу. Он подозрительно следил за лицами прохожих, всякий пристальный взгляд вызывал в нем опасения, и эти опасения были ему самому противны. Его удивляла выдержка Риты.

Непроизвольно он стал отбирать из всего окружающего то, что как-то касалось его отношений с Ритой. Раньше он просто не услышал бы, а услышав, не обратил бы внимания на рассказанный Новиковым анекдот о любовнике и обманутом муже. Слово «любовник», столько раз читанное и слышанное, впервые покорило Андрея. Припомнилось все пошлое, двусмысленное, связанное с этим понятием.

Рассказы Новикова о женщинах стали вызывать у Андрея болезненный интерес. История отношений с Ритой всегда казалась Андрею особенной; слушая же Новикова, он со страхом находил в ней все больше общего с банальными историями о ловких женах, обманутых мужьях и торжествующих любовниках.

Новиков, молодой красивый инженер, считался одним из тех, кого принято называть «душой общества». Он любил одеваться и уделял своему туалету много внимания, он пользовался успехом, искусно вел одновременно несколько романов и откровенно рассказывал о своих похождениях. Мужчинам нравилось новиковское гусарство, а женщины многое прощали ему за то, что с ним было весело, легко, за то, что он умел ухаживать за женщинами и любил любить женщин.

— Не будет она изменять со мной, так будет с другими, — рассуждал он, — а кто знает, может быть, другой будет хуже меня? Я по крайней мере уважаю ее мужа и не позволю себе никаких бестактностей по его адресу.

Послушать его — так изменяли все: тот жил с секретаршей, тот — с подругой жены. Не существовало семьи, в которой все было бы в порядке.

— Да, это аморально, — беспечно соглашался он, — но такова жизнь. Да, с этим надо бороться, но кому поручить эту борьбу? — Он насмешливо глядел всех.

Кривицкий предлагал: Майе Константиновне...

Майя строго и холодно говорила, что борьбу ведет все наше общество. Мужчины смеялись — обезличка!

— Борису? — предлагал Кривицкий.

Борисов сердито отшучивался, утверждая, что Новиков просто-напросто страдает щенячьим цинизмом.

Когда очередь дошла до Лобанова, Андрей, сделав над собой усилие, криво усмехнулся — дескать, он не лучше других.

— То-то и оно, — философски заключил Новиков, — разве что Пеке Зайцеву еще можно поручить.

Когда Игорь Ванюшкин пригласил Андрея вместе с сотрудниками к себе на свадьбу, Андрей как-то пристыженно отказался, ссылаясь на занятость. На самом же деле он просто боялся всяких расспросов, разговоров, горьких мыслей и сравнений. Он всячески старался обособить, изолировать ту часть жизни, которая была связана с Ритой, от работы, от лаборатории.

Целуя Риту, он не мог не думать о том, что все это она будет сегодня же повторять с другим, с тем, кого она не любит, и эта мысль разъедала его радость, вытравляя самое ценное. Он ревновал — и это было его право, любовь мешала ему смириться, закрыть глаза, не замечать, как старались это делать другие.

На туалетном столике лежала сегодняшняя газета. Андрей вспомнил, как Рита по дороге сюда снова повторила ему, что подруга ее все еще в отъезде, и ему стало грустно оттого, что даже между собою они не могут обойтись без обмана.

— Рита, нам надо серьезно поговорить, — хмуро начал он.

— Сейча-ас? — нараспев сказала она.

— Да, да, именно сейчас, — твердо повторил он.

— Хорошо, только я погашу верхний свет. У меня глаза болят. — Она щелкнула выключателем, усадила Андрея на стул и обняла его.

— Рита, — сказал он, не видя ее, чувствуя только ее голые руки и горячее дыхание. — Рита, — говорил он торопясь, — давай поженимся. Уйди. Возьми дочь и уходи. Почему мы должны так встречаться? Ты его любишь?

Она восхищенно прижалась к нему.

— Как ты можешь спрашивать об этом?.. «Уйди»! — повторила она с его интонацией.

Андрей высвободился:

— Нет, ты отвечай.

Она зажала ему рот рукой, села на колени:

— Слушай, брось мучить себя. Не надо... Подари мне этот вечер.

Он отвел ее руку. Рита сразу стала серьезной.

— Я подумаю, Андрей. Я обещаю тебе... Все это очень сложно. Но ты — милый, какой же ты хороший у меня! — Она приблизила к нему свое похорошевшее лицо. Большие неподвижные зрачки ее смотрели прямо

в глаза Андрею. — Сейчас ты не смеешь ни о чем думать, понимаешь ты?..

Он не мог сладить со своими руками, они тянулись к ней, не повинуюсь ему, как все его тело.

Воспоминания об этом вечере всякий раз возбуждали в нем ярость. Он с беспощадной ясностью увидел все. Высокая, скрипучая, чужая кровать. Матрац какой-то вздутый. Андрей лежал у стенки, касаясь холодного гранитолевого коврика, разукрашенного пестрой безвкусной мазней: длинноногий аист, выпучив глаза, упирался тонким красным клювом в живот Андрею.

Осторожно выпростав руку, Рита посмотрела на часы. Она думала, что Андрей задремал, лицо ее было озабоченно-деловитым. Часы на золотой браслетке показывали половину двенадцатого.

Незнакомое ее лицо и торопливое прощание помнились больше всего, заслонив радость, благодарность Андрея, все чудесное, что было.

Несколько дней после этого он ходил, как в похмелье, чувствуя себя разбитым, упрекая себя в слабости, скучая по Рите и боясь с ней встретиться.

В их запоздалой любви было слишком много запретного, в ней было больше мучения, чем счастья. Куда-то уходило самое чистое, искреннее, оставался грязноватый осадок обмана. Андрей обессилен душевно и, как назло, в тот момент, когда работа требовала от него величайшей собранности.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Отказ Лобанова ремонтировать приборы создал ему опасного врага.

До сих пор лаборатория находилась над опекой Долгина, заместителя Потапенко. Директора станций обращались к Долгину с просьбами о ремонте, уговаривали: «Удружи, помоги, челом бью». Он мог прижать, пропустить без очереди, отказать — словом, лаборатория составляла базу его могущества. Теперь он лишился всех этих возможностей.

Кирилла Васильевича Долгина сотрудники техотдела звали между собою «КВД». Инициалы расшифровывались по-разному: «Куда ветер дует», или «Казенщина. Вероломство. Демагогия».

В отделе его не любили и боялись. Технически беспомощный, невежественный, он мстил всякому, кто осмеливался критиковать его. Если только ему удавалось отыскать у кого-нибудь в прошлом малейшее пятнышко, оно всплывало самым таинственным образом, вырастая в грязное пятно, пачкающее человека с ног до головы.

Он выбирал одного-двух советчиков среди инженеров отдела — это помогало ему слыть в глазах руководства сведущим человеком.

На первых порах Долгин показался Андрею несколько жестковатым, но сугубо принципиальным товарищем. Черты его плоского, малоподвижного лица постоянно выражали суровость во всех ее оттенках — осуждающую, подозрительную, великодушную, почтительную, но всегда — суровость. Говорил Долгин резким, металлическим голосом, чеканя каждую фразу. В неизменной черной гимнастерке, он выглядел внушительно за столом президиума, ему часто поручали вести собрания. Многим нравилось, как строго он соблюдал регламент, беспощадно обрывал ораторов и умел провести собрание гладко и быстро. Репутация принципиального и непримиримого помогла ему войти в состав парткома.

Знакомясь с Лобановым, Долгин сказал:

— В тесном содружестве с техническим отделом вы должны добиться новых успехов в деле мобилизации лаборатории в соответствии с поставленными нашей партией задачами.

Андрей не совсем понял, какие задачи имелись в виду, но расспрашивать постеснялся.

Когда главный инженер освободил лабораторию от ремонта приборов, Долгин обратился к Потапенко, доказывая, что подобный акт затрагивает интересы не только Долгина, но и самого начальника отдела. Однако Потапенко воспринял сообщение равнодушно, он знал, что ему-то Лобанов никогда не откажет.

Долгин решил выжидать — рано или поздно Лобанов придет к нему за чем-нибудь на поклон, тогда-то он ему поставит свои условия.

Примерно в ту пору пришло сообщение с Комсомольской станции: в генераторе происходят непонятные толчки. Потапенко предложил Долгину выяснить, в чем дело.

Получив задание, Долгин, как обычно, выяснил мнения своих негласных референтов. Один из его советчиков считал, что у генератора повреждены обмотки; другой, Аничков, знающий, но крайне робкий инженер, которого Долгин держал в постоянном страхе, порекомендовал привлечь лабораторию. Обращаться с просьбой к Лобанову не входило в расчеты Долгина, поэтому он резко отчитал Аничкова: «Привыкли сваливать на других, бежите от ответственности!»

Аничков перепугался и торопливо согласился: вполне вероятно, повреждены обмотки, он только думал...

Молодой инженер отдела Захарчук, хотя его никто не спрашивал, высказал мнение, что обмотки ни при чем, но он вообще любил противоречить и был на плохом счету у Долгина.

Долгин составил письмо на имя главного инженера, предлагая вывести генератор в ремонт. Подписывая бумагу, Потапенко поморщился.

— Самое благоразумное решение, — заверил Долгин. — Генератор остановят и разберутся.

— Все же насчет обмоток у вас бездоказательно.

— Лучше рискнуть своим благополучием, чем оборудованием. Таков партийный принцип в технике, — произнес сурово Долгин, так что за соседними столами прислушались.

Неожиданно для всех главный инженер попросил электролабораторию дать заключение о генераторе.

На станцию откомандировали Кривицкого с лаборантами. Он вернулся оттуда через два дня и мрачно выложил перед Андреем пачку заснятых кривых. Выводы делать он категорически отказывался. Замеры он произвел, а выводов у него никаких нет. Делайте их сами.

Андрей с интересом рассматривал странные пики и впадины на кривых.

— Хотел бы я знать, при чем тут обмотки... — задумчиво сказал он.

Кривицкий насмешливо фыркнул и снова увильнул от прямого ответа. Техническому отделу виднее. Коли они утверждают, что повреждены обмотки, не станем же мы с ними ссориться!

— Меня двенадцать лет назад один профессор приговаривал к смерти от язвы желудка. Смешно было бы мне спорить с ним. Он ведь больше меня понимает.

Андрей пристально посмотрел на Кривицкого:

— Есть у вас какие-нибудь соображения — выкладывайте. Нет — так не напускайте туману. Скажите честно — сдаюсь, не понимаю. Тогда будем вместе разбираться.

Кривицкий свесил голову набок, прикрыл один глаз красным морщинистым веком и стал похож на петуха, прикидывающего, стоит ли ему бросаться в драку.

— Позвольте прежде узнать, правду ли говорят, что вы друзья с Потапенко?

— Правду, — нахмурился Андрей. — Старые друзья. Ну и что же? Наша дружба в делах не помеха.

— Тогда получайте: Долгин — халтурщик, — со вкусом сказал Кривицкий. — Мастер спихотехники, вот кто такой ваш Долгин. Он не потрудился изучить данные. Обмотки тут, конечно, ни при чем — я ручаюсь. Вы и сами видите. А в чем тут суть, я так и не постиг. Техотдел мы посадить на мель можем. Вполне. Зато и самим нам не выкарабкаться. — Он задумался. — Единственная моя надежда — на станционников. Я оставил копии всех замеров Борису Зиновьичу. Дежурный техник — не знаете его? — старый, опытный зубр.

— Еще чего недоставало, — возмутился Андрей, — у нас просят заключение, мы же поднимаем руки кверху, и нас должны выручать. Кто? Станционники! Что станут говорить — в лаборатории сидят дармоеды, невежды. Другое дело, когда обращаются за консультацией к профессору. А то дежурный техник! Инженер, вооруженный приборами, спасовал и обратился к технику. Великолепно!

Кривицкий воинственно выставил острый подбородок.

— Я заботился о деле, Андрей Николаевич. Дай бог мне знать эти генераторы, как знает Борис Зиновьич. Вас беспокоит честь мундира? — Он язвительно изогнул губы. — Стыдно за меня? Пожалуйста. Будьте добры, возьмите материалы и найдите сами причину.

— И найду. За вас, учтите.

— И очень хорошо. Разрешите идти?

— Идите.

Андрей сидел над материалами всю ночь. Сидел из упрямства, сознавая, что разгадку ему не найти, причина таилась где-то вне генератора и черт ее знает, где именно.

Наутро он сказал Кривицкому:

— Поедьте на станцию к вашему Борису Зиновичу.

Он так и не понял, почему Кривицкий упустил возможность злорадно съязвить и лишь пробурчал:

— Давно пора поездить по станциям. А то, как пришли, не вылезаете из лаборатории.

На Комсомольской Андрей был однажды еще студентом, во время практики. В памяти остались горы угля, копоть, перемазанные как черти кочегары у гудящих пламенем топок.

Теперь станция была неузнаваема. Ветер, когда-то гонявший тучи черной угольной пыли, пригибал тонкие молодые липки. Они выстроились шеренгами вдоль новых асфальтовых дорожек, отважно топорщась мерзлыми дрожащими ветками. Там, где высились хребты угольных гор, стояли длинные бетонные склады.

— А где дым? Кривицкий, где дым?

Кривицкий ткнул пальцем куда-то в землю:

— Золоулавливатели поставили. Да... Я живу за два квартала остюда — мы раньше никогда окон открыть не могли.

Встреча с Борисом Зиновичем происходила в конторке дежурного техника. Сколоченному из одних костей Борису Зиновичу можно было дать и тридцать пять, и пятьдесят лет. С Кривицким у них существовали своеобразные отношения. Подобно многим сотрудникам Энергосистемы, они разговаривали чаще, чем виделись. Поэтому, встречаясь, они любили поболтать о таких вещах, о которых по телефону не скажешь. Оба они работали в системе давно, оба были остры на язык и понимали друг друга с полуслова. Несмотря на скверный характер, Кривицкий на каждой станции имел таких друзей.

Борис Зинович подал Андрею твердую, как щепка, руку:

— Слыхали, слыхали. Давно пора нам своих ученых заиметь.

— Какие там ученые! — отмахнулся Андрей не без досады. — Видите, пришел к вам с поклоном.

— Следовательно, считаете за унижение. Та-ак, — Борис Зинович поправил под спецовкой черный затрепанный галстук. — А вот академик Костинов Яков Сергеевич постоянно советуется с нами. Не стыдится.

В книге своей так и написал: благодарю за помощь техников таких-то.

Он обиженно замолчал, а Андрей подумал: «И поделом, правильно меня раскусил. Ох, и скотина же я!»

Плохо было, что не мог заставить себя сказать такие вещи вслух, и от этого злился и еще упрямей морщил переносицу и стучал пальцами по столу.

Кривицкий, как ни странно, накинулся на Бориса Зиновьяча: нечего сказать, культурная станция — гостей встречают попреками.

Борис Зиновьяч расстелил схему генератора. Отголоски обиды еще звучали в его витиеватом предисловии: мы люди неученые, провинция, рассуждаем без интегралов.

— Никак нашел? — быстро спросил Кривицкий. — По носу вижу, что нашел.

Борис Зиновьяч осторожно покосился на Андрея:

— Признаться, набрел на одну мыслишку.

«Мыслишка» поразила Андрея — до чего просто! Потом он бурно обрадовался, потом с горечью подумал о себе: тупица! Потом, расспросив Бориса Зиновьяча, успокоился. Цоколь контрольной лампочки в цепи возбуждения! Найти здесь причину толчков нагрузки мог только человек, который годами работает с этим генератором, хранит в памяти все его капризы.

Борис Зиновьяч окончательных выводов не делал:

— Мне трудно судить. Вроде бы и так, а кто его знает — теоретически, может, и неверно.

Он настороженно следил за Андреем — вдруг этот самоуверенный парень высмеет все его теории?

Другой на месте Лобанова давно бы заметил его смущение, но Андрея целиком поглотила схема, вычерченная техником, — бывают же на свете люди, которым схема может доставить не меньшее наслаждение, чем картина художника. В этой корявой схеме присутствовало то, чего не добиться никаким образованием, — удивительно верное чутье.

— Честное слово, я вам завидую, — признался Андрей.

Борис Зиновьяч мгновенно вспотел.

— Мне осциллограммы Кривицкого помогли. Они выявили гармоники периодического процесса... — Он варварски щеголял техническими терминами: и мы, мол, не лыком шиты! Говорил он сердито, не желая по-

казать, насколько ему была приятна похвала этого мальчишки.

— Начинаются комплименты,— сказал Кривицкий,— а дело будет стоять.

Андрей принялся быстро чертить.

— Давайте тут же переключим генератор на другой возбудитель и проверим.

Заглянув через его плечо, Борис Зиновьевич в ужасе выхватил у Андрея карандаш:

— Что вы делаете! Мы же так погасим абонентов. Вот как надо. С вами тут недолго аварию натворить...

Уточнив программу испытаний, Кривицкий и Борис Зиновьевич отправились «утрясать» ее с диспетчером. Андрей вышел в машинный зал.

Поднимаясь на пульт, Кривицкий сказал Борису Зиновьевичу:

— Горячий больно. И молод, с людьми не умеет ладить.

— И нечего об этом тревожиться,— неожиданно возразил ему Борис Зиновьевич.— Специалистов ладить у нас и без него хватает.

Машинный зал встретил Андрея блеском стен, выложенных белым изразцом. Лакированные, словно потные, громадные машины выталкивали волны теплого воздуха. Как будто они жарко и шумно дышали в своем неустанном беге.

Навстречу Андрею шла группа людей. Впереди в синей спецовке — Виктор Потапенко.

— Ты чего сюда явился?— спросил он, здороваясь с Андреем, и тут же, не дослушав, представил своим спутникам.

— Мой однокашник, новый начальник лаборатории. Прошу любить. Ну как?— спросил он у Андрея, широко, по-хозяйски обводя зал рукой.— Нравится? К лету все цветами засадим!

На ходу Виктор оглядывал приборы, пробовал рукой нагрев машин; приложив ухо, слушал ход новой турбины. От его взгляда ничто не ускользало.

— Почему до сих пор маслоподачу не привели в порядок?— обрушился он на сопровождающих.— Вы мне бросьте, думали — не замечу? Ишь, замаскировали!

С машинистами он здоровался за руку, знал их по имени-отчеству, с каждым у него происходил краткий, но свой разговор.

У молодого машиниста в лихо сдвинутом берете спросил: «Привык к новой колонке? А помнишь, как боялся? Вот, брат, кто смел, тот и съел. А что ходишь ты в отрепьях, это не годится. Культурный вид станции портишь». С седоусым турбинщиком побеседовал о рыбной ловле. Перекинулся шуткой с веселой крановщицей, справился у дежурного инженера про экзамены — словом, всем было понятно: идет свой человек, хоть и начальник, а простой, заботливый, настоящий хозяин.

Андрей с удовольствием наблюдал за Виктором. Большое дело — уметь подойти к разным людям без наигранной простоты. У Виктора получалось это с пленяющей естественностью.

Кто-то рядом с Андреем сказал:

— Напористый мужик. Дотошный.

Андрей обрадовался, будто это его похвалили. Он гордился сейчас своим другом. Наблюдая за Виктором, он примеривал к себе все, что ему в нем нравилось. Сила Виктора заключалась в умении обращаться с людьми. У него был свой продуманный стиль. Честно говоря, Андрей пытался несколько раз скопировать манеры Виктора, — похлопывал по плечу, ругался, запросто болтал с рабочими, играл на их самолюбии и так далее. Оставалось ощущение стыда, как будто он совершал что-то оскорбительное по отношению к этим людям, обманывал их.

Возле злополучного генератора Кривицкий и Борис Зиновьич присоединяли приборы. Виктор мельком оглядел собранную установку и принялся расспрашивать Бориса Зиновьича о здоровье жены. Борис Зиновьич выпрямился, держа в руке провод, пальцем другой руки прижал нужное место на чертеже. Отвечая Потапенко, он переминался с ноги на ногу с видом школьника, попавшегося на глаза нудному учителю. Когда Виктор в сопровождении свиты двинулся дальше, Борис Зиновьич посмотрел на зажатый в руке провод, на схему и, восстанавливая нарушенный ход мыслей, ни к кому не обращаясь, покачал головой:

— Демокра-ат!

По его тону трудно было разобрать, какой смысл он вкладывал в это слово.

Началось испытание. Оно заняло всего несколько минут, полностью подтвердив предположения Бориса Зиновьича. Все трое почувствовали себя именинниками;

Андрей пришел в болтливое настроение — верный признак удачи.

— Представьте себе, еще вчера вечером сидели мы трое по своим комнатам и ломали головы, — рассуждал он. — Мудрили все врозь и так могли мудрить еще год. Хорошо, что Кривицкий показал вам свои замеры. Вот, кстати, где надо искать стиль научной работы, — погрозил он пальцем Кривицкому, словно до этого спорил с ним.

Кривицкий напомнил о заключении Долгина.

— Эх, вы, — разочарованно сказал Андрей. — Мы обнаружили любопытнейшее явление, вас же заботят какие-то бумажки.

— А вам известно изречение Долгина? — иронически осведомился Кривицкий. — Без бумажки — ты букашка, а с бумажкой — человек!

Борис Зиновьевич до отказа подтянул затрепанный галстук.

— Желательно было бы, Андрей Николаевич, генератор в ремонт не выводить. У нас график собьется.

— Тебе одна забота, — проворчал Кривицкий. — А от нас потребуют доказательств. Почему не выводить? Придется все точненько рассчитать.

— Я сейчас посоветуюсь с Потапенко, — сказал Андрей.

Борис Зиновьевич и Кривицкий переглянулись и молча начали отсоединять приборы.

Потапенко находился у крайнего агрегата, где мостовой кран осторожно опускал ротор турбины; такелажники, слесари, инженеры напряженно следили за движением огромного ротора, будто поддерживая его со всех сторон своими пристальными взглядами.

Бригадир монтажников подал крановщице команду «стоп». Ротор повис, покачиваясь над самыми подшипниками. Бригадир начал измерять зазоры, подсовывать деревянные подкладки. Присутствие начальства его явно нервировало. Он замялся и показал крановщице пальцем: снова поднимай вверх.

Андрей издали увидел, как Виктор тронул бригадира за плечо, сердито закричал на него. Тот помотал головой — видимо, отказывался. Черные брови Виктора гневно сомкнулись.

— Раззява! Сапожники... — долетело до Андрея.

Отстранив бригадира, Потапенко сам дал знак крановщице. Тросы дрогнули, ротор плавно качнулся

в сторону. Виктор, продолжая одной рукой показывать, другой ловко действовал деревянными подкладками. Он работал легко, улыбаясь, бесстрашно подсовывая под качающуюся стальную махину. Он сочно, с азартом поругивался, и постепенно вокруг прояснело, люди повеселели, задвигались быстрее, ротор уверенно пошел вниз и мягко лег на подшипники.

— Виктор Григорьевич, вы — бог! — пропел начальник цеха, подавая ему паклю. Вытирая перепачканные в масле руки, Виктор подошел к Андрею. Разгоряченные глаза его весело блестели.

Андрей был восхищен.

— Они бы тут еще битый час провозились, — самодовольно сказал Виктор.

Охваченный гордостью за Виктора, Андрей начал с восторгом рассказывать о сообразительности Бориса Зиновьяча и о результатах испытания.

— Значит, нашли, — не дослушав, сказал Виктор и повернулся к директору станции.

— Нет, я вижу, ты не понял, — огорчился Андрей. Он начал быстро чертить пальцем на лакированном кожухе генератора.

— Смотри сюда. Остроумно? Теперь ясно, какая бессмыслица подозревать обмотки.

Виктор вздохнул. Поодаль стояли, ожидая его, директор станции и начальники цехов.

— От тебя требуется дать заключение, — с холодком говорил он. — Либо выводить генератор в ремонт, либо ты гарантируешь его безупречную работу. В последнем случае ответственность ложится на тебя. Кроме того, придется детально рассчитать новый режим. На кой тебе возиться... Я делаю все, чтобы ты мог заниматься своим прибором, ты же сам себе болячки наживаешь. Напиши, что гипотеза этого Бориса Зиновьяча заслуживает рассмотрения, но, поскольку она нуждается в добавочном исследовании, целесообразно, во избежание риска, вывести генератор в ремонт. И будешь спать спокойно. Я тебе плохого не посоветую.

Виктор направился к инженерам, Андрей шел за ним, споря, доказывая, не обращая внимания на насмешливые и удивленные взгляды окружающих.

— Как у вас со спецодеждой? — спросил Виктор у директора, и все громко, наперебой заговорили, оттеснив Андрея в сторону.

Назавтра, прежде чем подписать заключение, Андрей показал его Кривицкому. Прочитав, Кривицкий посерьезнел и сказал, что такое заключение — это перчатка, брошенная в лицо техотделу.

— Перчатка! — Обращаться к Лобанову с подобными предостережениями было так же разумно, как заливать огонь бензином. — Написано правильно? — ожесточенно переспросил Андрей.

— Технически да, но форма!.. К чему такие выражения: «перестраховка», «верхоглядская ссылка на обмотки»? Или вот еще...

— Раз правильно, так нечего поливать сиропом. А насчет перчатки — глупости. У вас устарелые понятия о служебных отношениях.

— Возможно, — миролюбиво согласился Кривицкий. Иногда он сам поражался, как добродушно он сносит замечания этого лопоухого мальчишки. — Все же, знаете, лучше молчать, чем говорить, и лучше говорить, чем писать. Если уж на то пошло, позвольте подписать эту бумагу мне.

— Убирайтесь к черту с вашим благородством! — огрызнулся Андрей. — За кого вы меня принимаете?

Проследив, как он, царапая пером, размашисто расписывался, Кривицкий вздохнул. Ему было жаль Лобанова. Чем дальше, тем больше он убеждался, что Лобанову не ужиться с этим «террариумом», как называл он компанию Долгина. «Ваш Лобанов годится для лаборатории, как Адмиралтейская игла для зубочистки или как телескоп для театра», — доказывал он Борису. Если переделать Лобанова невозможно, так следует хотя бы удержать его от безрассудных поступков.

— Хорошо, я уберусь, — сказал он. — С одним условием: давайте все расчеты сделаем мы с Борисовым. А вы отражайте атаки Долгина. И займитесь наконец вашим прибором!

Андрей погрузился:

— Надо еще поездить по станциям... Иначе я всякий раз буду попадать впросак, вроде как с вашим Борисом Зиновьевичем.

— Это все хорошо, но трубы...

— Какие трубы?

— Я слышу, как Долгин трубит боевой сигнал, — мрачно сказал Кривицкий, — он нам объявит войну. Увидите.

Проницательность этого скептика удручала Андрея. Пока что Кривицкий во многом уже оказался прав. Из всех обещаний главный инженер до сих пор выполнил одно: через несколько дней после их разговора он направил к Лобанову свою секретаршу.

Андрею подобные девицы казались на одно лицо — надменная пустышка, сияющая отраженным светом своего начальника, специалистка по телефонным разговорам и затачиванию карандашей.

Представшее перед ним надушенное зеленое платье, увенчанное кондитерским сооружением из шоколадных волос, как нельзя более соответствовало этому стандарту.

Андрей допрашивал ее придирчиво, уверенный, что ничего путного из нее не получится. Однако у него не было повода отправить назад эту девицу. Может быть, она сама откажется? Андрей обрисовал самыми черными красками тяжесть лабораторной работы.

Как-никак это был первый человек, которого он принимал на работу. Мельком взглянул на направление — Цветкова Нина... «И фамилия какая-то игривая».

— Так, товарищ Цветкова. Сами-то вы хотите у нас работать?

Цветкова разочарованно надула губки:

— Я полагала, что вы меня используете по специальности.

— Секретаршей? Хороша специальность! Вы значитесь младшей лаборанткой. Так и будете работать, — твердо заключил он.

Он послал Цветкову в группу Устиновой, попросив Майю поделкатнее намекнуть, что лаборатория — это не салон дамских мод, и подыскать Цветковой работу интересную и тяжелую.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

По предложению Бориса Зиновьяча генератор на Комсомольской переключили на новую схему. Кривицкий и Борисов сделали расчеты, нужные переделки, и толчки прекратились. Таким образом, благодаря заключению лаборатории генератор не был выведен в ремонт. Однако эта история вызвала своего рода «толчки» в техотделе.

— Пока Устинова была начальником, лаборатория с нами советовалась, — ехидно сказал Долгин.

Виктор смолчал.

Через некоторое время, когда надо было затребовать отчеты, Долгин сказал:

— Не знаю, Виктор Григорьевич, как подступиться к Лобанову. Если уж вы для него не авторитет, так на меня он совсем смотреть не будет.

— Откуда вы это взяли? — спросил Потапенко.

Лицо Долгина выразило непримиримую суровость.

— Если уважаешь руководителя, то, согласитесь, так не напишешь, — и он в третий раз положил перед Виктором заключение лаборатории. — Поскольку Лобанов ваш друг, я воздерживаюсь от комментариев.

— А все же?

— Виктор Григорьевич, я человек прямой и принципиальный. — Тут Долгин сделал паузу и сурово, испытующе посмотрел на подбородок Виктора. — Партия учит нас отличать критику от злопыхательства. Когда сотрудник, вместо того чтобы прийти и честно, по-партийному, в глаза сказать: «Товарищи, вы тут неправы!» — допустим, мы были неправы! — начинает кляузничать главному инженеру... такая тактика — будем откровенны — тактика склочников.

— Какова, по-вашему, цель этой тактики? — иронически спросил Виктор.

— Хочет показать себя за счет других.

— Ну, такими бумажками моего авторитета не подорвешь.

— Так-то так... — сказал Долгин, и плоские безбровые глаза его стали зеркально-непроницаемы.

— Между прочим, электролаборатория находится в вашем ведении, Долгин. Я не имею возможности заниматься всем сразу. У меня таких лабораторий несколько и еще тысячи людей.

— А я, Виктор Григорьевич, нахожусь в критическом состоянии. С одной стороны, я сталкиваюсь с фактом дружбы. С другой стороны, я должен практически претворять в жизнь ваши установки и быть на уровне выдвигаемых вами задач...

Перенимая манеру Долгина, Виктор строго сказал:

— Там, где речь идет о работе, для меня не существует дружеских отношений, — он протянул Долгину заключение лаборатории.

Долгин взял листок с суровой торжественностью, как будто это был приговор или приказ о наступлении, сложил его и опустил в верхний кармашек своей черной гимнастерки.

Неосмотрительность Лобанова создавала ему врагов там, где, казалось, этого можно было свободно избежать.

Как-то Андрею позвонил заместитель управляющего Ивин.

— Лобанов, дорогуша, пришли ко мне домой кого-нибудь из твоих мальчиков — приемничек мой чего-то скис.

— У меня всего два радиотехника, — сказал Андрей, — и оба сейчас очень заняты, да и потом...

— Ерунда, — перебил Ивин. — Подумаешь, какие у вас там срочные проблемы. Бери мою машину и отправляй их. Они мне антенну устанавливали, так что они в курсе.

Андрей сдержался и посоветовал обратиться в радио-мастерскую.

— Ну что ты, дорогуша, иметь свою лабораторию и бегать к дяде? — весело удивился Ивин.

— Вот именно, лаборатория! Холуев у меня нет, товарищ Ивин.

— М-мда, — ошеломленно поперхнулся Ивин и, придя к какому-то решению, сказал с затаенной угрозой: — Трудно, я вижу, будет нам с вами срабататься.

— А я и не собираюсь ни с кем срабатываться. — Андрей с силой бросил трубку на рычаг.

Встретив в столовой Виктора, он громко поделился своим негодованием. Рядом, за столиками, услышав фамилию заместителя управляющего, прислушались.

— Возьми тоном ниже, — сухо попросил Виктор. — Ты зря ломаешь копы по пустякам. Взял бы и послал кого-нибудь. Откуда у тебя такая унылая прямолинейность? Интересно, а если бы я тебя попросил о том же?

— Послал бы тебя подальше.

— Хм... вот она — твоя дружба!

— Дурачина, я бы сам пришел и починил.

— А что за история у тебя произошла с директором Октябрьской, с Тарасовым? — вспомнил Виктор.

Андрей расхохотался.

— Я у него настоящий митинг устроил. Вижу, установлена на одном котле автоматика горения. А машинист управляет вручную. Почему? Объясняют — не налажена автоматика, вручную лучше получается. Я —

к директору. А тот: «У меня план по экономии топлива, не могу я рисковать планом из-за вашей автоматики». — «Где же, — спрашиваю, — ее налаживать прикажете, если не у вас?» — «Не знаю, на другой станции, в общем, где хотите. Вот если нам дадут готовые, отработанные приборы, пожалуйста, спасибо скажем. И народ я тоже заставить не могу, говорит, они материально заинтересованы в экономии топлива. А автоматика им все сбивает». Понимаешь, инженер, директор, и так рассуждает! — Андрей перевел дух и ожесточенно набросился на свою тарелку супа.

— Что же дальше? — спросил Виктор.

— Остался я до конца смены, собрал всех, кого мог, и стал держать речь. Нельзя, говорю, требовать, чтобы такое сложное устройство с первого дня действовало безупречно. Его месяцами надо налаживать. Всем вместе. Придется кое-чем пожертвовать. Иначе нельзя. Как наладим, автоматика окупит себя с лихвой, на всех котлах поставим, вам же легче станет. Котлы у вас новые, а управление ими устарелое. Поговорили мы по душам. И что же ты думаешь — включили автоматику.

— А Тарасов? — спросил Виктор, катая по столу хлебный шарик.

— Что Тарасов? Самое интересное, что теперь машинисты с других котлов следят, чтобы автоматика была все время в работе.

— Ну, а Тарасов? — повторил Виктор.

— Не знаю, наверно, в амбицию ударился, — равнодушно сказал Андрей.

Виктор поднял глаза, с любопытством взглянул на Андрея и тотчас снова опустил их.

— Недостаток этой автоматики, — начал Андрей, отставляя тарелку, — заключается...

— А с Долгиным что у тебя за новая стычка? — спросил Виктор.

Андрей пожал плечами и уже без прежнего воодушевления стал говорить, как он потребовал от Долгина заняться автоматикой на Октябрьской — ведь это обязанность техотдела, — и оказалось, что Долгин ни черта не смыслит в автоматике, понятия не имеет, как она должна работать. Конторщик. Андрей, не долго думая, сказал ему: «Позвольте, как же вы можете руководить, не разбираясь в технике? Подавайте в отставку».

— Глупо, — нахмурился Виктор. Он кончиком пальца придавил хлебный шарик, как будто сплющивая

все, что было до сих пор сказано Андреем. — Зачем ты восстанавливаешь против себя людей? Долгин, конечно, не шибко грамотен. И в то же время он человек ценный. Дать ему отдельное задание — он вцепится в него, как бульдог.

— Виктор, но я не могу спокойно проходить мимо...

— Ты не руководитель, а перпендикуляр какой-то...

— А ты... ты — параллель, — принужденно улыбнулся Андрей.

Но Виктор, по привычке человека, которого не перебивают, продолжал говорить, не слушая Андрея:

— Пора бы уже тебе почувствовать, что такое ответственность. До сих пор ты отвечал за самого себя, поэтому тебе кажется, что так просто вводить новое на производстве. Тебе пора научиться смотреть не только снизу, но и сверху...

Андрей поймал себя на том, что ищет предлог, чтобы встать и уйти. В его чувстве не было ничего неприязненного, лишь привкус досады. Вряд ли стоило распространяться о митинге с кочегарами, да еще с таким пылом.

В тот же день Тарасов, приехав в Управление, пожаловался Виктору на Лобанова. Кто дал право этому тра-та-та хозяйничать на станции? Директор я или не директор?

Тарасов бушевал, грозился пойти к главному инженеру.

Виктор прищурился:

— Брось. Ты неправ. Скажи мне спасибо, что Лобанов не пошел к главному. Автоматику, мой милый, надо внедрять. Тебе всыпали бы по первое число. А так можешь написать в отчете — автоматика внедрена. И получишь благодарность.

Некоторое время Виктор еще пытался соблюдать обязанности опекуна по отношению к Андрею. Он убеждал его заниматься своим локатором и оставить в покое станции.

Андрей твердил:

— Я не могу быть невеждой, я обнаружил, что многому недоучился. Пока я корпел над диссертацией, техника ушла далеко вперед. Я должен изучить производство.

— Если бы ты изучал. Беда в том, что ты лезешь не в свои дела.

Оба они делали теперь над собой усилие, чтобы сохранить прежний дружеский тон. Это удавалось им все хуже. При встречах они испытывали принужденность. Андрей старался преодолеть это необычное для него чувство и никак не мог.

К себе домой Виктор больше его не звал. С Лизой творилось что-то неладное. Виктор все время ощущал в ее взгляде, в ее голосе какую-то скрытую, не то осуждающую, не то жалостливую насмешку и не хотел, чтобы Андрей это заметил. Собственно, Андрей мог бы прийти и без приглашения, и он пришел бы, потому что Лиза да и, пожалуй, Виктор были все же единственными людьми, с кем он мог посоветоваться относительно Риты, но сейчас отношения с Ритой были такими трудными, что ни с кем о них не хотелось говорить.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Снова и снова он убеждал Риту развестись, переехать к нему и жить нормальной человеческой жизнью. Так дальше продолжаться не может. Как она выносит фальшь их положения?..

Они снова сидели в той же комнате. Красноклювый аист насмешливо пялил на них круглый глаз.

Она придвинулась к Андрею, но он отодвинулся, требуя ответа.

Он чувствовал, как ее обижает эта незаслуженная грубость, и в то же время понимал, что ему нужно держаться настороже.

— Ты стала мне нужна, ты мне нужна каждый день. Я больше так не могу... Эта комната... Подруга... Неужели ты сама не видишь, какая это грязь?

Рита легла на кровать, потянулась, закинула руки за голову. Под кофточкой ясно обозначились ее маленькие груди.

— Опять, — скучая, вздохнула она. — Неблагодарный человек. Ну, иди сюда. Иди!.. Ты что, боишься меня?

— Я не хочу, чтобы ты смотрела на часы! — резко сказал он.

Сегодня она не вывернется, а он не поддастся. Он поклялся себе в этом. Он говорил, стараясь не смотреть на вырез ее расстегнутой кофточки, на ее длинные ноги

в тонких чулках. Разозлить ее... Пусть и она помучается, как мучается он.

— Кому ты лжешь? Я перестал понимать. Мужу?.. Мне?.. Не хочу я тебя такую. Не хочу!

Рита облокотилась на подушку.

— Ты собственник, — удовлетворенно улыбнулась она, снимая часы.

Он ошеломленно следил за ее пальцами, соображая, что все, о чем он говорил, имело и другое значение, льстящее ее женскому самолюбию, и, понимая только это значение, она не обижалась на его слова.

— Рита, все зависит сейчас от нашей искренности. Все!

— Историческая минута? — пошутила она, сохраняя ту же улыбку.

Охваченный плохо сдерживаемым гневом, он подошел к кровати:

— За что ты цепляешься? Не смей юлить... Почему ты не хочешь развестись? Чего ты боишься?

В его тоне было нечто такое, что заставило ее сесть.

— Да, я боюсь, — вдруг так же враждебно, как и Андрей, сказала она. — Ты один... тебе это незнакомо. А у меня есть семья. Худая, хорошая, но семья. У меня есть что-то прочное. А с тобой... Кто знает, как у нас получится, когда я приду к тебе. — Она успокоилась и погладила свою голую вытянутую руку. — Ты попусту сердишься. Я верю — ты меня любишь и будешь делать все, чтобы было хорошо, но это ничего не значит. Может не получиться. Тут не застрахуешься, дружок... — Тень абажура делила ее лицо пополам: лоб, волосы, глаза, прикрытые тенью, были мягкими и молодыми, а ярко накрашенный рот, подбородок, шея казались Андрею жесткими, и голос звучал суховато, рассудительно. — Когда в войну пришла похоронка и в райвоенкомате мне сказали: вы не зарегистрированы, пенсии вам не положено, я на своей шкуре почувствовала, что такое «одинокая мать». Известен тебе такой термин? Из комнаты — я не была прописана у него — меня выгнали. Я стояла на улице одна, с дочкой. В одной руке дочь, в другой — чемодан. Ко мне подошел один тип и предложил переночевать у него. «Полкило хлеба дам». Да, я боюсь. Вот откуда у меня страх. Я не люблю мужа. Ты это прекрасно знаешь. Но я ему благодарна. Обязана ему. Понятно? Ну, пускай привыкла... И дочка знает его

как папу. Он ее любит. Чем они виноваты?.. Нет, нет! — Она зажмурилась, передернула плечами.

Она открыла глаза, улыбнулась, ласково взяла его за руку, словно уговаривая большого непослушного ребенка:

— Так нельзя рубить с маху, Андрей. Мне надо как-то самой подготовиться... Привыкнуть, что ли, к тебе.

— А я так не могу, — не разжимая зубов, сказал Андрей. — Я приду к твоему мужу и объясню ему все.

— Ты можешь испортить мне жизнь, и только... Куда ты торопишься? Мы нашли друг друга, мы любим, встречаемся. Тебе мало этого? Неблагодарный. Я ведь не жалуюсь. Мне-то труднее. Знал бы ты, как мне тяжело врать...

Она спрыгнула с кровати, все лицо ее оказалось на свету и стало некрасивым. Таким никогда не видел его Андрей. Он с неприязнью вглядывался в эти черты — какое-то странное сочетание безволия и суховатой рассудочности.

— Вот я и не желаю твоего вранья. И сам не могу терпеть, да еще обманывать. Я хочу ясности. Я так не могу, — повторял он, чувствуя, что, если она попробует снова увернуться, он способен ударить ее, хватить стулом по всем этим туалетным склянкам, бить, ломать, до крови рассаживая кулаки...

Она стиснула ворот кофточки, медленно опустилась на стул.

— Какой ты жестокий, — тихо сказала она. — Ну, чем я виновата? Я люблю тебя. Люблю. Больше у меня ничего нет. Чего тебе от меня надо? За что ты мучишь меня? За что?

Он вдруг весь сгорбился, его большие руки повисли.

— Как же так... если ты действительно любишь... — Всю силу воли он собрал сейчас, пытаясь устоять перед внезапно нахлынувшей жалостью и болью. — Не понимаю я такой любви. Мне так вот ничего не страшно.

Она криво усмехнулась. Он смотрел на ее яркие, плотно сжатые губы, все еще ожидая ответа.

— Ну так как же, Ри?

Она молчала.

Тяжело переставляя ноги, он подошел, осторожно прижал ее голову к своей груди. Им вдруг стало грустно. Они не понимали и не думали — отчего, им просто было до боли грустно. Андрей тихонько гладил ее волосы. Концы их были светлее, подпаленные, словно из-

мученные частой завивкой. И только на шее сохранились маленькие нетронутые нежные завитки.

Они расстанутся, они уже расставались — эта мысль ошеломила обоих. Молчание все больше отдаляло их, и никто первый не мог нарушить его. «Она не виновата», — думал Андрей, не сознавая, что его грусть и нежность были верными признаками наступающей разлуки. Ну хорошо, пусть разлука, но только не разрыв...

— Если ты передумаешь, я буду ждать, — горло его пересохло, голос хрипел. — Может быть, ты решишься... Ри?

— Может быть, — тоже хрипло повторила она.

— Ну что ж... — сказал он, откашливаясь. Он осторожно отстранил ее и отошел.

— У тебя пуговица висит, — сказала Рита. — Дай я пришью.

Она достала нитки, иголку. Андрей сел, не снимая пиджака.

— На тебе пришивать? Плохая примета, — пошутила Рита. Ее пальцы с иголкой медленно двигались под полкой пиджака. Ее колено касалось ноги Андрея, он чувствовал теплоту ее тела и сидел окаменев. Она наклонилась откусить нитку — прямо перед ним светились ее волосы, мелкие прозрачные завитки на белой шее.

— Ты еще не уходишь? — тихо спросила она.

Он поднялся, потрогал пуговицу.

— Крепко пришито, спасибо... Нет, я пойду.

Потерянная улыбка скривила ее губы. Андрей испытал невыносимую жалость, он хотел остаться, он должен был остаться, но знал, что стоит ему уступить, и он больше не найдет в себе сил снова начать этот разговор. Их отношения затянутся на годы, наполненные ложью, страхом, ревностью, замкнутые в мучительно-безвыходный круг, порвать который он уже не сумеет.

Руки ее недвижно лежали на коленях. Широко открытые сухие глаза следили, как Андрей торопливо надевал пальто, путаясь в рукавах. А на стене, над кроватью, глуповато посмеивался красноклювый аист.

У двери он обернулся. Она вдруг шевельнула рукой, протянула пальцы, будто удерживая его. Сердце его дрогнуло от злого предчувствия.

И потом, когда бы Андрей не вспоминал Риту, ее

лицо, ее голос, они возникали почему-то вместе с этой протянутой рукой, на фоне этого нелепого, грубо раскрашенного коврика.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Мать Андрея умерла, когда ему было пятнадцать лет. Хозяйство перешло в руки Кати. Она была на три года старше брата и считала своим долгом заниматься его воспитанием. Николай Павлович тоже стал строже следить за сыном.

Война подкосила здоровье отца, он вышел на пенсию, страдая от вынужденного безделья. В последний год, немного оправясь, он увлекся работой по дому как член комиссии содействия. Андрей радовался, что эта безобидная деятельность отвлекает отца от мыслей о болезни. Когда-то отец, монтажник гидротурбин, был в глазах Андрея героем, мудрым, всезнающим. Теперь Андрей водил его гулять; посмеиваясь, выслушивал суждения о порядках в домоуправлении и поддавался, играя с ним в шашки.

— Папа, я ничего не знаю! — не раз сокрушался он, возвращаясь из лаборатории. Ему необходимо было кому-то пожаловаться.

Он изливал отцу горести, делился своими проектами, не ожидая совета, не интересуясь одобрением, потому что ему важно было иметь лишь слушателя. Как бы там ни складывалось на работе, он никогда не чувствовал себя одиноким. В этой части своей жизни он ощущал превосходство молодости, здоровья, силы и, как все взрослые дети, все меньше чувствовал себя сыном.

Там же, где он нуждался в участии, он неожиданно оказался по-настоящему одинок. Он не мог рассказать о Рите никому: ни Кате, ни отцу — никому. Здесь все были чужими. Шли дни, и каждый день уносил часть надежды. Он все еще не мог поверить, что это не разлука, а разрыв. Понимал, знал и не верил.

Любовь умирала медленно и слишком мучительно. Заниматься он не мог: избегая расспросов отца, он по вечерам уходил в кино или слонялся по улицам, и время после работы тянулось уныло.

Весна в тот год наступала не под приветственный блеск солнца. Она сражалась многотрудно, денно и ночью ковыряясь в грязи, под хмурым небом, отступая перед ночными заморозками, отвоевывая каждый

клочок земли. Со взморья налетали серые ветры, мотая окоченелые, но уже упругие ветви с примерзшими к ним комьями снега.

Кое-где лежали сугробы талого, источенного каплями снега. Он был совсем не похож на голубой снег ранней весны. Он уже не скрипел, а хлюпал под ногами. Казалось, что город устал от зимы. Устала промерзшая земля, устали крыши, стены, устали люди. И Андрей чувствовал, что он тоже устал от всего того, что было.

А солнце отовсюду упрямо соскребало тусклый налет зимы.

По реке, медленно кружась, толкаясь, плыли темно-серые льдины. На дворе битый лед лежал черными кучами подле мокрых поленниц, прикрытых ржавыми листами железа. Обнажились облупленные карнизы с красным мясом кирпичей. Чистое яркое белье на веревке слепило своей синевой,— такой сейчас снег где-нибудь за городом. Синева эта, наверное, от неба. Но сквозь пыльные окна оно казалось низким и мутно-голубым. А когда Андрей выходил на улицу, оно поднималось, чисто-синее, такое синее, что не было на свете ничего синей. И начинало казаться, что, может быть, вовсе не печально звенит капель по водосточной трубе. И ветви молодых лип вовсе не плачутся. На них лишь кое-где блестят прозрачные полупапли. Этим уж, наверно, не суждено упасть. Им не хватает влаги, чтобы собраться и полететь вниз. Они висят, как слезы ребенка, который раздумал плакать и уже смеется.

Внешне жизнь лаборатории текла размеренно и спокойно, но где-то в ее недрах шел все нарастающий процесс разрушения старых порядков. Борьба разрывала коллектив на группы, чуть ли не ежедневно меняя соотношение сил.

Андрея это мало беспокоило,— логика жизни заставит всех рано или поздно признать его правоту. Бороться надо не за людей, а за дела. Он мало интересовался, есть ли у него враги в лаборатории, кто они; вот что действительно плохо, так это то, что в Управлении со дня на день оттягивали пересмотр тематики лаборатории, не хватало денег на покупку оборудования, и Долгин на все требования металлическим голосом отвечал: «Ничего, товарищ Лобанов, материальные затруднения обостряют ум ученого».

Что же касается обстановки в лаборатории, то Андрей думал так: никаких противников нет, просто есть

люди, которые еще не поняли, чего он добивается. Дайте им завтра интересную работу — и не нужно никакой агитации.

Зачастую он даже не догадывался о подробностях той кропотливой работы Борисова и членов партбюро, которая разрушала старые привычные взгляды людей, завоеывая Андрею новых сторонников.

Когда на заседании парткома Борисова спросили, что творится в лаборатории, он с удовольствием заявил: «Раскол. Полный раскол». То, что прежде представлялось ему дружным коллективом, на деле оказалось просто механической смесью. Сейчас же начиналась реакция химического соединения, и ничего страшного, если эта реакция протекает бурно.

Борисова поняли и поддержали, несмотря на грозные предупреждения Долгина.

В лаборатории значительная группа недовольных сосредоточилась вокруг техника Морозова. Хороший электромеханик, «золотые руки», Леня Морозов пользовался влиянием среди молодежи. Ему подражали в манере одеваться — небрежно, щеголевато, курточка с молниями, широкое, свободное пальто, яркий галстук. Он играл на аккордеоне и превосходно танцевал. Дружба с Морозовым ценилась высоко. Считалось лестным провести с ним вечер; вокруг него всегда царила атмосфера какого-то заманчивого шика, у него было много знакомых хорошеньких девочек. Морозов и его приятели где-то собирались, выпивали, и случалось, что он являлся на работу под мухой. Ему прощали — он считался незаменимым.

Морозов бил на то, что Лобанов, отказываясь от ремонта, лишает ребят возможности заработать. При Майе Константиновне все зарабатывали хорошо. На ремонте наловчились, а с этими научными работами выйдет полный прогар. После первой же полочки действительно пошли разговоры.

— За что ишачим? — шумел Морозов. — За пять пальцев и ладонь.

Ему сочувствовали, и попытка Борисова вмешаться ни к чему не привела.

— Вы на зарплате, — сказал Морозов, — а нам, сдельщикам, надо заработать.

В тот же день, зайдя в мастерскую проверить свой заказ, Борисов обнаружил на стенке бронзовую зубчатку.

— Срочный заказ самого начальника лаборатории,— объяснил Кузьмич.

— Какой заказ?

— А вы узнайте у Морозова, он принес наряд.

Вызвали Морозова. Он заявил, что часовой механизм для нового реле ремонтируется по приказу Лобанова.

Начиная догадываться, в чем дело, Борисов осмотрел механизм.

— Непонятно,— сказал он, пристально смотря на Морозова,— зачем корпеть над этим старьем, когда у нас на складе есть почти такие же готовые.

— Не почти, а в аккурат такие же,— улыбнулся глазами Морозов.— Там только дырочку просверлить для крепления.

— Почему же ты не подсказал Андрею Николаевичу?

— Ученого учить — только портить,— нагло вато усмехнулся Морозов.— Я доложил ему: вот шестеренки стерлись, он говорит: отфрезеруйте новые. Наше дело маленькое, слушай да подчиняйся.

Сдержанного Борисова вывести из равновесия было не так-то легко. Он попробовал вызвать Морозова на откровенность:

— Мы бьемся над перестройкой лаборатории, хотим заняться большими научными вопросами, установить новые автоматы на станциях, вы же нам палки в колеса суετε. Почему?

Разговора не получилось. Морозов прикинулся непонимающим:

— Откуда вы взяли, Сергей Сергеевич? Вредитель я, что ли?

— Насчет учебы ты отговаривал ребят?

— Я про себя говорил. Мне до них какое дело. А я и так вроде с работой справляюсь.— Он поиграл металлической застежкой на куртке, пренебрежительно оглядел поношенный, с обтрепанными рукавами костюм Борисова.— Может, я плохой стал, что ж, поищите другого.

Борисов собрал комсомольское бюро и спросил — до каких пор они намерены идти на поводу у таких, как Морозов?

Резкость Борисова поначалу восстановила против него большинство комсомольцев. Как так — мы идем на поводу? Факты! А чем плох Морозов? Он хороший производственник!

Борисов попытался раскрыть нехитрую жизненную философию Морозова. Да, дело свое знает, чувствует себя незаменимым, понимая, что сверхурочные ему платить будут и нянчиться будут. Ну, а когда работа изменится и больше начнут головой, чем руками, действовать, тогда кто впереди окажется? Неизвестно. Может, Ванюшкин. Может, Заславский. Может, Вера Сорокина. Если еще учиться начнут, тогда совсем Морозова позади оставят.

— Его не слава интересует, — задумчиво сказал Ванюшкин. — Ему только рубль подавай. Рубль — это его кóмпас.

— Не кóмпас, а компáс, — поправила Вера Сорокина.

Воронько подозрительно посмотрел на нее:

— С моряками познакомилась?

— А как сформулировать его вину? — никого не слушая, говорил Ванюшкин. — Фактов особых нет. Вредное влияние он, конечно, оказывает. Он угощает, вот за ним любители выпить на дармовщинку и тянутся.

— Это ты неправ! — покраснев, воскликнул Саша Заславский. — Ты слухи собираешь.

— Ты, видать, сам выпивал с ним?

Саша вскочил, стукнул кулаком по столу:

— Выпивал, ну и что? Я на свои выпивал. А потому, что хотел у Морозова кое-чему поучиться.

Воронько нерешительно пробасил:

— Товарищи, у нас поднимается благосостояние трудящихся. — Он замешкался. — Конечно, у Морозова сильные отрицательные пережитки... Он действует на психику... ну вот я, к примеру, в эту получку... на сто пятнадцать рублей меньше пришлось.

— Обывательщина, — сказал Ванюшкин. — Ты член бюро, ты дай политическую оценку.

— Очень просто, — затараторила Вера Сорокина. — Очень просто. Морозов — типичный мещанин. Посмотрите, как он к девушкам относится. Про Соню Манжула вам известно — почему же отпора ему не даете? К нему тянутся, он веселый парень. А мы что же, у себя веселья организовать не можем?.. А насчет денег тоже надо решить. Заработать всем хочется!

Перебить Веру никто не мог, она строчила без пауз, сваливая в одну кучу и лакированные туфли, которые она не может купить второй месяц, и методы агитации среди молодежи — на одном энтузиазме далеко не

уедешь, и перевод, который ей надо матери послать, — вы его пошлете за меня, Сергей Сергеевич?

Борисов умышленно до поры до времени не вмешивался. Отступления «не по существу вопроса», как выразился Ванюшкин, обнаруживали новые, неизвестные Борису причины морозовского влияния на ребят и то, как относились комсомольцы ко многим важным вещам, о которых почему-то стеснялись говорить на собраниях.

Вот, например, о деньгах, когда его спросили, Борисов сказал:

— Мы все не прочь получать побольше. Вопрос только, каким путем этого добиваться. Дайте мне три тысячи в месяц и пошлите пивом торговать — не пойду. И никто из вас не пойдет.

— И Морозов не пойдет, — вставил Саша Заславский.

— ...Кроме хороших костюмов и прочего, у нас есть потребность в интересной работе. Мы мечтаем о коммунизме, мы хотим учиться, технику двигать вперед. Возможно, Морозов в пивной ларек не пойдет, но ремонт — это тоже вроде пивного ларька. Ремонтировать проще и денежней.

Ребята сидели в пальто, красные, потные. Они думали, что собираются на минутку, и не заметили, как заговорились до вечера.

— Вообще бы его следовало исключить из комсомола, — сказал Ванюшкин. — С другой стороны, это позор для организации. Райком не утвердит. Скажут: воспитывать надо, не исключать.

— А что, мы не в силах перевоспитать? — самонадеянно сказала Вера Сорокина.

Ребята замахали на нее руками.

— Он сам кого хочешь перевоспитает.

— Скажет: «А-а-а, здрасте, начинаются ЦУ», — передразнил Ванюшкин, не раз без успеха принимавшийся за Морозова.

— Какие ЦУ? — не понял Борисов.

— Ценные указания.

— Да, бывает, одним ЦУ человека не проймешь, — улыбнулся Борисов.

Саша вскочил, стукнул кулаком по столу, полное, добродушное лицо его вытянулось.

— Вот так всегда. Дипломатия! Если уж на честность говорить, так давайте до конца. Думаете, нам неизвестно, Сергей Сергеевич, Морозов даже пьяным на

работу являлся, и ему взыскания не дали. Майя Константиновна считала, что у нас и так много нарушений, что премии могут лишить и знамя не дадут...

— Правильно считала! — вставила Сорокина.

— А нам это боком выходит. Разве после этого мы можем воспитывать? Меня бы выгнали, если бы я пьяным пришел, да и любого из нас. Факт. А его нет. Закон-то для всех одинаков? А мы маневрируем. И все видят. По оглобле стегаем, а не по лошади...

Борисов вздохнул. Дело не в Морозове. Все сводить к Морозову неумно.

Он задумался, почесал затылок, как бы сомневаясь, можно ли делиться какой-то тайной.

— Чувствуете ли вы, друзья, у нас, не где-то там, а у нас, здесь, разворачивается нешуточная борьба. («Черт его знает, правильно ли я поворачиваю?» — подумалось Борисову.) У нас начинается борьба с консерваторами. На нашей стороне пока еще сил недостаточно. Противники у нас есть посильнее, чем Морозов. Тут будет война серьезная. И кое-чем пожертвовать придется. Нам надо убедить, завоевать всю нашу молодежь. В первых, начнем с учебы...

Борьба! Это слово манило и звало вперед. Выходит, можно бороться и здесь, в этих до скуки привычных закопченных стенах лаборатории; и здесь есть опасности, есть враги...

— Бороться, а за что бороться — толком неизвестно, — заметил Ванюшкин. — Ребята в мастерских еще меньше нашего в курсе.

Решили просить Лобанова выступить на комсомольском собрании с докладом о задачах лаборатории.

Накануне собрания Лобанов показал Борисову добросовестно составленный конспект доклада.

— Ну что ж, все правильно, — разочарованно сказал Борисов.

Признаться, Андрей готовился к докладу без особого интереса, поручили — придется делать, тем не менее равнодушный отзыв Борисова задел его самолюбие.

— Да просто скучновато, — признался Борисов в ответ на расспросы Андрея. — Цитаты, цифры, все на месте, а что толку? Вот мне ты свой локатор не так подавал. И для них тебе не доклад делать, а лучше бы рассказать, почему ты пошел учиться, чем тебя наука вдохновила...

После комсомольского бюро Борисова воодушевила идея поэтизации будничного труда. Суметь показать борьбу, опасности, зажечь ребят возможностью настоящих подвигов вот здесь, в лаборатории. Он спросил у Андрея, читал ли тот «Голубую чашку» Гайдара.

— Я недавно ее своим ребятишкам читал. Ах да, ты же холостяк! Так вот, отправился один человек с маленькой дочкой в путешествие, а весь-то их путь тянулся метров триста от дачи. И вдруг на этом пути оказались встречи и приключения, опасности, сражения, чудеса, как будто попали они в незнакомую страну. Они сумели увидеть мир другими глазами...

— Чепуха, — сказал Андрей, — при чем тут Гайдар? — И обиженно забрал свои листки.

Он попросил у Ванюшкина список комсомольцев. Большинство ребят окончили семилетку или ремесленное, кое-кто — техникум. В графе «где учиться» почти у каждого что-нибудь да было написано. Один занимался в школе взрослых, другой — в кружке мотоциклистов или в яхтклубе, а против фамилии Цветковой значилось — учиться в школе кройки и шитья. Ну, чем можно заинтересовать такую девицу? Как увлечь одним общим делом ребят, у которых столь разные вкусы?

Показать бы им, сколько красоты в будничной, но настоящей лабораторной работе, какой требует она фантазии, силы воли, какие здесь возможности. Чтобы стать творцом, вовсе не обязательно быть инженером. Можно остаться простым лаборантом, монтажником и чувствовать себя воином того же отряда, где воевали Фарадей, Яблочков, Кржижановский. Воодушевить молодежь азартом исканий, чтобы она нашла здесь, в стенах лаборатории, свое призвание...

Задача была трудная. И, как всегда, трудность раззадорила Андрея.

Это было его первое выступление в лаборатории. Многие инженеры, стеснительно посмеиваясь, просили у Ванюшкина разрешения присутствовать на комсомольском собрании.

Андрей долго думал — с чего начать?

И он начал с того, как много лет назад в плохо топленном, освещенном одной настольной лампой кабинете Кремля собирались по вечерам приглашенные

Лениным электрики обсуждать план электрификации России. Он заставлял их прикидывать, сколько потребуются на первых порах материалов — провода, изоляторов, столбов, обсуждал проблему гидроторфа. «Нам нужны специалисты с „загадом“», — говорил он, умеющий сам, как никто, работать опережая время.

Отойдя от истыканной флажками карты фронтов, он склонялся над другой картой страны. Там, где еще стояли войска Юденича и Деникина, рассыпались коричневые, синие, зеленые кружки будущих электростанций.

Чтобы типография могла отпечатать план ГОЭЛРО, пришлось выключить свет даже в правительственных зданиях Москвы, — такова была в 1920 году мощность московских электростанций. Этот план вместе с мандатом вручали каждому из делегатов Восьмого съезда Советов. На сцене Большого театра вспыхнули лампочки электрифицированной карты плана великих работ. Голодная, нищая юность советской энергетики зажгла в тот декабрьский вечер созвездия будущего Волховстроя, Шатуры, Днепрогэса, Свири.

Это была та вершина, с которой можно было обозреть прошлое и будущее электричества. Короткая, но бурная история электротехники была насыщена драматической борьбой, полной подвигов беспримерной нравственной силы. Маркс говорил, что электричество — более опасный враг старого строя, чем все заговоры Бланки. Оно началось с компаса, указывающего моряку верный путь, оно стало одним из двух слагаемых ленинской формулы Коммунизма.

Оно имело своих героев, своих предателей, отступников, свои жертвы. Первым в этой битве пал сподвижник Ломоносова Рихман. Его убило молнией при изучении грозы...

То, что рассказывал Андрей, не было связной историей электричества. Его интересовали те люди, чьими трудами выявлялись могущественные свойства электричества — самой совершенной энергии, самой гибкой, способной перевоплощаться, копить и сохранять свою силу, передаваться на тысячи километров, светить, греть, плавить металлы, резать, вертеть, взрывать, говорить, разлагать вещества...

В жизни одного поколения электротехника, начав с забавы, стала хозяином века. В год, когда родился Ленин, в мире не горела еще ни одна электрическая лам-

почка. Восемьсот фонариков выходили в сумерки на петербургские улицы зажигать газовые фонари. А еще через несколько лет «русский свет» уже пылал на набережных Темзы, на бульварах Парижа и Берлина. Для тех, кто творил его во мраке царской России, для Яблочкова, Лодыгина, для сотен забытых мастеров талантливого народа свет был не только источником лучистой энергии. Недаром в русском языке слово «свет» звучит как «истина», «счастье», «свобода», как символ любимого существа — это земля, вселенная, это, наконец, люди.

Под стать этим богатырям была и группа первых советских электриков. На плечи этих ленинских выучеников легло создание новых электростанций. Андрей с гордостью перечислял их имена — Кржижановский, Классон, Винтер, Александров, Графтио... Про каждого из них он мог рассказывать часами. Это были ученые нового склада. Большую часть своих научных работ они писали железом и бетоном на берегах Волхова, Днепра, Свири.

Трудно представить себе, в каких условиях начинались первые стройки. На строительстве Каширской ГЭС гвозди, простые гвозди приходилось делать вручную. Но и в этой нищете электрики умудрялись быть зачинателями новой культуры. Мало кто помнит, как в том же двадцатом году строители маленькой Тульской ГЭС тянули сквозь заснеженные поля две линии передачи: одну — на Оружейный завод, а вторую — в Ясную Поляну освещать Музей Толстого.

Пробираясь от села к селу сквозь метели и сугробы, прячась от рыскающих банд «зеленых», шел будущий автор проекта Днепрогэса инженер Александров. Он читал крестьянам доклады о Днепрогэсе, потом вытаскивал драгоценную бутылку разбавленного водой керосина для волшебного фонаря и показывал картины — синий Днепр, расчесанный бетонным гребнем плотины, здание станции, высоковольтные мачты... Он говорил о том, что эта станция будет крупнейшей в мире, осветит каждую избу в округе, поможет пахать землю. Над этим чудачком беззлобно смеялись: «Гасу нема, дегтю нема, ситцу нема, мыла и того нема, — бреши, бреши...».

А через несколько лет двадцать крупнейших энергетиков страны были вызваны в Кремль. Речь шла о постройке Днепрогэса. Семнадцать из них отказались —

таких станций мы не строили, опыта нет, мы не можем брать на себя ответственность. Три человека сказали: дайте оборудование — мы построим. И в 1927 году посреди Днепра, на скале Любовь, взвился флаг — «Днепрострой начат».

История переплелась у Андрея с воспоминаниями детства, с рассказами отца. Дома он нашел среди порыжелых фотографий, почетных грамот, которыми награждали отца, среди старых писем, членских билетов МОПРа, Общества смычки города с деревней — несколько ветхих газетных вырезок: все это когда-то заботливо собирала мать. Там была вырезка из «Правды» за 1925 год: «Со всех концов поступают деньги во все-союзный железный фонд имени „Правды“». Далее следовал список фамилий, и среди них подчеркнутая карандашом: «Лобанов Н. П. — 3 рубля».

Рядом заметка, которая начиналась:

«Обойдемся без заграницы, даешь советскую электролампу!»

Когда Андрей сейчас на собрании читал эту заметку, на слушателей вдруг повеяло жаром тех пламенных полузабытых лет. Кузьмичу вспомнился почему-то длинный дощатый барак, где шло партсобрание ячейки волховстроевцев. И он, еще молодой, с залихватским чубом, слюня карандаш, писал резолюцию о том, как среди волховстроевцев не нашлось ни одной руки, которая поднялась бы на защиту троцкистов.

А Борисов увидел вдруг себя мальчишкой на первомайской демонстрации. Комсомольцы в зеленых гимнастерках, с кожаными ремешками через плечо, несли плакат: «Долой Чемберлена, Керзона и Муссолини!» С какой завистью он смотрел на них! А в «Колизее» шла картина «Водопад жизни» с участием Лилиан Гиш, и на афише большими красными буквами было написано: «Мировая картина». Кино было немое, пианистка в коротеньком, до колен, платье играла в течение всего сеанса то романс «Синие звезды», то марш «Турандот». В магазинах продавали первые детекторные радиоприемники. На рабочую окраину Березовку прокладывали трамвайную линию.

Игорю Ванюшкину, и Саше Заславскому, и Воронько, и другим ребятам эти годы казались далекими, наивными и удивительными. Было смешно и непонятно, что тогда жили люди, которые не верили в план ГОЭЛРО, называли электрификацию электрофикцией,

не верили, что можно построить Волховскую станцию, каких-нибудь пятьдесят тысяч киловатт. Это же просто темные люди!

Оставив трибуну с лежащим там конспектом, Андрей подошел к рядам, испытующе вглядываясь в эти молодые, свежие лица, смысленные, исполненные ожидания и доверия, лукавые, с озорным блеском в глазах, лениво-благодарные, мечтательные, ушедшие в себя. Дошла ли до них та главная мысль, на которую он на- низывал, казалось бы, разрозненные факты? Ему хотелось раскрыть героические возможности работы учено- го, увлечь их приключениями смелой мысли. Тот, кто создает новое, тот живет, опережая время. Вы мечтаете о будущем? Его можно создавать и в этих стенах...

Прошлое всегда кажется удивительным и романтич- ным. Куда труднее почувствовать неповторимую красо- ту сегодняшнего. Андрей не раз слышал разговоры о том, что молодежь утратила романтику первых лет революции, что остывает накал высоких идей, которые озаряли жизнь старших поколений большевиков. Давно снята надпись: «Райком закрыт, все ушли на фронт»... Ну и что ж, ничего плохого нет в том, что двери райкома открыты. Каждое время рождает свою романтику. По- пробуем извлечь ее из наших будней. Пусть она пахнет по́том, а не порохом, но добыть ее — значить стать до- стойными своих отцов. Ведь и нынешние годы станут легендарными, и сегодняшним комсомольцам будут за- видовать внуки. Почему же нам самим не отведать счастья наших трудных дорог?

Не каждому выпадает свершать подвиги или стать великим, но каждый человек хочет сделать больше, прожить свою жизнь ярко и счастливо. Лучше всего это удастся тому, кто умеет в своем маленьком деле увидеть большую мечту.

...Ничего этого он не сказал. Жестко и безжалостно он предупреждал о тяготах и невзгодах на этом пути. Не ждите никаких радостей. Придется отдать лучшую часть своей жизни самой скромной, может быть без- вестной работе, где, открыв важное, новое, нужно мол- чать об этом, проверяя себя недели, месяцы, напрягать все силы, чтобы опровергнуть собственные опыты. Ра- ботать и не хныкать, если слава достанется другому. Уметь снимать в тысячный раз одну и ту же кривую с таким же увлечением, как и в первый раз. Без сожа- ления отдавать свои мысли другим. Выстоять, если ока-

жется, что все усилия потрачены впустую и завтра придется все начинать сначала.

Он рассказывал о новых гидростанциях, о линиях передач, которые, подобно железным дорогам, свяжут Урал, Москву, Донбасс, Заполярье, Кавказ. Только вместо эшелонов с грузом по этим линиям будет мчаться энергия — хлеб нашей индустрии, да и сами железнодорожные магистрали станут электрическими...

Обстоятельства рождения нового всегда неожиданны. Единственное общее в них — это потребность жизни, прорывающаяся сквозь любые случайности.

В 1943 году на фронте Андрей впервые столкнулся с потребностью в локаторе. Он не любил вспоминать об этом тяжелом дне и, конечно, умолчал бы о нем, делая обычный доклад. Но это не был обычный доклад.

Шел бой. Неожиданно прервалась связь с соседним полком. Связист с поисков обрыва не вернулся. Тогда на линию направился лейтенант Глеб Медведев — веселый, озорной парень, любимец полка и друг Андрея. Андрей сел за телефон. Через четверть часа в трубке что-то щелкнуло, и глухая тишина наполнилась живыми шорохами. «Незабудка» откликнулась раскатом взволнованно благородной ругани. А Глеб не возвращался. После боя Андрей пошел вдоль линии, по следу, обозначенному примятой травой. Глеб, очевидно, полз под огнем, ощупывая провод. Из пересохшей канавы линия связи взбегала на насыпь. Это было самое открытое и опасное место. Здесь Глеба ранило. На песке и пыльных листьях лопуха темнели бурые пятна крови. Провод был цел. Остаток пути Глеба четко обозначался густым пунктиром засохшей крови. Андрей скатился по ту сторону насыпи и возле ивняка увидел Глеба. Он лежал лицом к земле. Левая заоченелая рука повисла на кустах, сжимая зачищенные куски провода. После смерти он продолжал поддерживать связь. Часы на его руке звонко тикали, отсчитывая минуты его посмертной вахты.

Так и похоронили Глеба с проводом в руке.

Вот тогда Андрей подумал, что, если бы место обрыва было известно, Глебу не пришлось бы лезть на эту проклятую насыпь, он мог обойти ее и пробраться кустами к ивняку, где лежал разорванный провод.

Андрей открыл папку. Из вклеенного кармашка он вынул кусочек обыкновенного полевого провода в серой

ссохшейся обмотке. С этой минуты все глаза оставались прикованными к столу, где лежал провод.

— Проблема определения места повреждения линии, или, сокращенно, проблема ОМП, — говорил Андрей, — охватывает и военную связь, и телеграф, и электрические дороги, и электрические линии передач, и кабели...

Как бы приподняв асфальтовый ковер улицы, Андрей показал в глубине земли кабели. Они пересекали площади, забегали в подворотни, спускались на дно реки, огибали телефонные колодцы, пробивались сквозь фундаменты. Тончайшая кровеносная сеть огромного города, несущая ему свет, тепло, энергию.

Сколько врагов имели эти хрупкие артерии! Горячие трубы теплопровода подсушивали изоляцию. Подземные воды размывали грунт, и он, оседая, вырывал кабель из соединительных муфт. От движения машин, трамваев вибрирует почва, и даже вязкая свинцовая оболочка кабеля не выдерживает — трескается. Влага неумоимо, день за днем пробирается к сердцу кабеля, к медным жилам. Стена изоляции рушится. Кабель пробит — и могучая сила уходит в эту брешь. В какие-то доли секунды маленькие чуткие реле должны отозваться на случившееся и спасти от гибели генераторы на станции. Линия отключается. Останавливается завод. Погружаются во тьму улицы, замирает на полпути подъемный кран, стоят трамваи... Авария! Обессилели насосы водопровода. Застывает расплавленный металл в ковшах... Авария!

Не всегда есть резервный кабель, резервная линия. Надо немедленно отыскать место повреждения и отремонтировать линию.

За десятки, иногда за сотни километров от города расположена гидростанция. Через леса, овраги шагают металлические опоры, неся на вытянутых ажурных руках провода. Сколько времени понадобится монтеру, чтобы пробраться вдоль линии по бездорожью и найти повреждение! А если ночь, пурга?

Много лет ученые изыскивают способы ОМП. Разработано немало остроумных методов, но каждый из них годен только для частных случаев: когда оборванный провод касается земли, когда место повреждения в кабеле выгорело полностью. Большинство методов неточны: где раскапывать кабель — здесь или через десятки метров? Представьте себе линию от Сталинграда, от

волжских гидростанций в Москву, от гидростанции на Ангаре, восемьсот, тысяча, полторы тысячи километров — всю единую высоковольтную сеть нашей бескрайней страны. Для этой техники нужен новый метод, точный, безошибочный, мгновенный. Такого прибора еще нет. Но он может быть построен на принципе радиолокации. И должен быть построен.

Андрей посвящает своих слушателей в трудности задуманного, останавливаясь там, где для него самого начинается область догадок и исканий.

После речи Лобанова никто в прениях не выступал.

— Какие суждения будут насчет резолюции? — спросил Ванюшкин.

Все молчали. Пека Зайцев заворуженно следил, как Лобанов прятал обрывки телефонного провода, Ванюшкин задумчиво посмотрел на Зайцева, потом сложил бумажку с наспех набросанным проектом резолюции и сказал:

— Считаю собрание закрытым.

На улице Ванюшкин и Саша Заславский догнали Цветкову. Разговаривать не хотелось. Каждый думал о своем.

Сашу взволновал рассказ о локаторе. С горделивым мужеством он мысленно следовал за Лобановым по тропе, где на каждом шагу попадались останки предыдущих исследований. Затем тропа кончилась, дальше простиралась местность, куда еще не ступала ни одна человеческая нога. И Саша вдруг зримо, почти физически ощутил Неведомое. Оно манило своими трудностями, оно говорило: смотри, не все еще открыто, и на твою долю остались белые пятна. Да... во что бы то ни стало надо работать вместе с Лобановым над этим локатором.

На собрании Нина Цветкова сидела в первом ряду. Она несколько раз поймала взгляд Лобанова. Глаза у него совсем зеленые, пожалуй, это красиво. Уши, правда, оттопыренные и слишком большие. А здорово он увлечен своим локатором. Все же он обратил на нее внимание. Вполне естественно. Не на Веру же Сорокину ему было смотреть, у которой нос вздернут так, что ноздри как иллюминаторы — все видно. Почему на танцплощадках не встречаются такие, как Лобанов? Если бы она училась в институте, она бы легко, конечно, разобралась во всех этих схемах...

«Первое собрание без резолюции, — думал Ванюшкин. — За такую инициативу может жутко нагореть. Ну,

а какие тут предложить практические мероприятия? — спросил он, защищаясь от воображаемых обвинений инструктора райкома. — Организовать кружок любви к науке? Или обязать каждого комсомольца увидеть большую мечту в своей работе? Нет, дорогой товарищ, это вам не обычное собрание, это вроде митинга перед сражением. Теперь, если дадут научные темы, ребята будут вкалывать как звери. А если не дадут? Ну и пожалуйста, тогда начнем воевать».

Игорь Ванюшкин выпятил челюсть, голенастые ноги его в лыжных ботинках чеканно застучали по асфальту. Как никогда раньше, он чувствовал себя вожаком того комсомола, который уходил на фронт, уезжал строить Днепрогэс и Комсомольск, взрывал фашистские эшелоны...

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

На Октябрьской станции Андрей познакомился с заместителем начальника цеха Рейнгольдом. У Андрея всегда вызывали интерес люди, одержимые какой-либо творческой идеей. К этим одержимым принадлежал Рейнгольд. Он третий год в одиночку разрабатывал автоматический синхронизатор. Автомат мог значительно облегчить сложную процедуру включения генератора. Когда речь заходила о его изобретении, Рейнгольд болезненно настораживался, и Андрею стоило больших трудов заставить его разговориться.

Тронутый участием Андрея, Рейнгольд робко упомянул про готовую модель автомата. Модель была у него дома. «Видите ли, так уж сложились обстоятельства...»

Рейнгольд смотрел вниз, как будто разговаривал с полом. Его манера держаться напоминала поведение человека, который в чем-то виноват и все ждет, что его упрекнут, высмеют или обругают.

Перед дверью квартиры Рейнгольд, смущенно улыбаясь, поднял руку и несколько раз провел ладонью над крохотной, едва заметной дырочкой. Замок щелкнул, дверь отворилась.

— Фотоэлемент? — улыбнулся Андрей.

Маленькая двухкомнатная квартирка была начинена всевозможными мелкими, остроумно выполненными автоматами. Стоило открыть дверцы буфета, и полки

освещались скрытыми лампочками. Терморегулятор открывал и закрывал кран парового отопления.

Вторая комната была превращена в мастерскую. Четырнадцатилетний Толя, похожий на отца, такой же сутуловатый, тихий, с большими прозрачно-голубыми глазами, красил лаком деревянную панель. На аккуратном верстачке стояла модель автомата.

— Вот... всей семьей работаем,— пошутил Рейнгольд.

— Почему так получилось, что вам не помогли? — спросил Андрей.

Рейнгольд достал толстую папку с перепиской по поводу автомата. Выяснилась шаблонная история: на первый образец отпустили средства, он получился не совсем удачным, продолжать отказались и предоставили Рейнгольда самому себе.

«Эх, Виктор, Виктор!» — возмущался про себя Андрей, разглядывая резолюцию Потапенко: «Предложить автору представить для испытания законченный образец».

— С тех пор я и заканчиваю,— пояснил Рейнгольд.

Форменная дикость! Напишите в газету — не поверят. Андрей разгневанно ходил взад-вперед, не соизмеряя шага с размерами комнатки. Автомат, в котором заинтересованы все станции страны, мастерится на дому! Надо требовать, добиваться, ехать в министерство! Андрея подмывало схватить маленького робкого Рейнгольда за плечи, встряхнуть его, закричать ему: «Черт возьми, чего вы боитесь?!» Но Рейнгольд одну за другой показывал копии писем и ответов, тщательно подшитые в пухлую папку. Он даже не винил Потапенко, — что ж, тот по-своему прав, требуя гарантии.

— Прав? Да разве так бывает, чтобы все сразу удалось!

Демонстрируя свою модель, Рейнгольд оживился и впервые поднял голову, посмотрел прямо на Андрея. У него были печальные и умные глаза. Две глубокие морщины от ноздрей как бы поддерживали усталый рот.

Слушая этого человека, Андрей поражался блестящей выдумке, изобретательности, с какой он умудрялся самыми примитивными домашними средствами разрешать сложные экспериментальные задачи.

— Я вижу, нет худа без добра,— вырвалось у Андрея.

Рейнгольд кивнул:

— Голь на выдумки хитра. Как говорит Кирилл Васильевич Долгин — материальные затруднения...

— ...обостряют ум ученого, — смеясь, подхватил Андрей. Эту фразу он уже выучил. — И все же надо драться, — настаивал он.

Рейнгольд тихо сказал:

— Я жаловался. Тут приезжал начальник главка... Толя, ты бы пошел, там, кажется, мама пришла... — Когда мальчик вышел, он продолжал: — Меня после этого перевели из начальников цеха в заместители.

— И это надо было обжаловать! Протестовать — это же ваше право, нет — долг!

Рейнгольд втянул голову в плечи.

— У меня семья, — сказал он. — Был бы я один.. Квартира ведомственная. Мне уже намекали... — Он спохватился, замолчал.

Андрей тоже молчал.

— Мало ли какая оплошка бывает на работе. Переведут рядовым инженером, — с угнетающей убежденностью сказал Рейнгольд. — Разница все же четыреста рублей. Для нас — сумма значительная.

Жена Рейнгольда силой оставила Андрея ужинать. Она была полной противоположностью мужа — толстая, энергичная, с басистым веселым голосом, запаса ее жизнерадостности хватало на всю семью. Несмотря на ее очевидное диктаторство, Андрей с удовольствием подметил своеобразное равновесие влияний: входя в мастерскую, она вела себя тихо и уважительно, и, наоборот, отец и сын, покидая свое царство, попадали под ее безусловную и требовательную власть.

Ужинали не торопясь. По тому, как обсуждали домашние дела, Андрей понял, что это был единственный час, когда семья собиралась вместе, и ему было приятно, что его присутствие не мешает.

Над дверьми замигала голубая лампочка, — вскипел чайник. Хозяйка ушла в кухню, и отец и сын, заговорщицки подмигивая Андрею, подложили ей в тарелку кусок масла.

— Она изводит себя, чтобы похудеть, — пояснил Рейнгольд. — Не могу видеть, как она голодает.

Хитрость их была разгадана, и разразился шуточный скандал.

В присутствии жены Рейнгольд распрямлялся, виноватое выражение исчезало с его лица, он становился самим собою. Молодость их отношений поразила Анд-

рея, и было понятно, почему Рейнгольд так дорожил своей семейной крепостью.

Как всякий холостой молодой мужчина, Андрей был беспощаден к людям, которые чем-то поступались во имя семьи. Но сейчас он полностью оправдал Рейнгольда. А оправдав, тут же, с места в карьер, предложил перенести окончание работы над автоматом в лабораторию и затем добиваться перевода туда Рейнгольда.

Рейнгольд смешался, томительно отмалчиваясь. Жена пристально посмотрела Андрею в глаза.

— По-моему, начинать надо с человека, а не с автомата,— грубовато, но совсем не обидно подумала она вслух.

Рейнгольд живо обернулся к ней:

— Видишь ли, Валюша, меня упрекали в иждивенчестве... Теперь это дело чести — самому кончить.

«До чего же разобидели человека», — подумал Андрей. Ему были хорошо понятны невысказанные опасения Рейнгольда. Не станет ли в лаборатории его автомат общим автоматом? Как же он тогда оправдает три года своей борьбы?..

Можно было привести много правильных слов, осуждающих эти чувства, но Андрей смолчал, потому что, ставя себя на место Рейнгольда, он испытывал такое же ревнивое собственническое чувство.

Андрей предложил другой вариант: лаборатория берет шефство над автоматом, предоставит людей, оборудование, но руководить работой будет сам автор.

— Вы сумеете выиграть время и закончить автомат через полгода?

— Через полгода! — Валя закрыла глаза и тихонько стиснула руку мужа.

— Пускай даже через год, — сказал Рейнгольд.

Муж, жена и сын с волнением переглянулись.

— Ну вот... — глубоко вздохнула Валя.

Спустя минуту она шумно и весело горевала: такое событие отметить бы как следует, а ей — какая обида! — на дежурство бежать.

Прощаясь с Андреем, она сказала тихо и быстро, так, чтобы муж и сын не слышали:

— Вы не знаете, что все это значит для него... и для нас.

Рейнгольд вышел ее проводить в прихожую. В зеркале было видно, как она взяла его голову и долго целовала в щеку, потом кончиками пальцев стерла следы

помады. И Андрей почувствовал, как одиноки они были до сих пор в главном, в том, что составляло дело жизни Рейнгольда.

Когда Андрей стал прощаться, Рейнгольд задержал его руку.

— Я ведь неудачник, — улыбнулся он. — Чего вы связываетесь со мной? Какой вам интерес?

Надежда его была еще такой пугливой.

— А черт меня знает, чего я связываюсь с вами, — с искренним недоумением сказал Андрей. — Мне надо заниматься совсем другим делом.

На станциях в высоковольтных районах Андрея встречали с вежливой настороженностью. Ученое звание делало его человеком особого, другого мира. В этом другом мире, в тихих лабораториях, люди работали над точными приборами, производили сложные, малопонятные расчеты, там создавали новые формулы, новые конструкции. Производственная обстановка с ее тревогами и заботами о подсобных рабочих, о кирпичах, смазочных маслах должна была казаться Лобанову мелочной, а на людей, работающих здесь, он, наверно, смотрел с жалостью. Приписывая ему это, энергетики, в свою очередь, припоминали наезды консультантов, их часто замные рассуждения, никому не нужные исследования, которыми по несколько лет занимались в институтах и потом сдавали в архив.

У Андрея были свои, не менее убедительные, претензии к производственникам. Воспитанник Одинцова, он хранил обиды, нанесенные учителю. Ценные разработки не внедрялись годами... Нет, не стоит растравлять себя. У него — ограниченная, узкая цель: он приезжал выяснить условия будущей работы локатора.

И все же, собирая нужный материал, он не мог удержаться и, проклиная свое любопытство, постоянно отвлекался. То его восхищали, казалось бы, самые элементарные для любого монтера вещи и он без стеснения обнаруживал свое невежество, то он вдруг ставил в тупик опытных инженеров, подмечая такое, что никому и в голову не приходило.

Каждая станция была открытием. Гидростанции были разные, как реки, на которых они стояли. Теплостанции — одни работали на угле, другие — на торфе. Никогда еще так стремительно не пополнялись его зна-

ния. Он собирал и впитывал все, не отдавая себе отчета, зачем это ему нужно, охваченный жадностью познания, самой притягательной из всех человеческих страстей.

Роковую роль в этом играл Борисов.

— Как, ты до сих пор не познакомился с Краснопевцевым? — коварно изумлялся он. — Он же на Пролетарской станции усовершенствовал регулятор напряжения.

— Зачем мне твой Краснопевцев? — защищался Андрей. — Хватит. К черту! Я должен заниматься своим делом.

Борисов умолкал и, выждав некоторое время, подступал с другой стороны:

— На Пролетарской установлен генератор с водородным охлаждением. Любопытная штука.

— Плевать я хотел на генератор! Нужен он мне, как корове седло. Отцепись от меня со своими воспитательными приемчиками.

Поостыв, он ворчливо, невзначай бросал:

— Генератор-то, наверно, какой-нибудь старый приспособили?

— Новенький. Последний выпуск, — невозмутимо сообщал Борисов.

— Ты коварный искусситель, — сдавался Андрей.

«Искусситель» всяческими способами заставлял Андрея присматриваться на станциях к людям.

Должность энергетика была, по его словам, самая главная должность на земле. Энергетики давали людям свет, тепло, силу, — это была их продукция. Бесстрашно и умно управляли они напряжениями в сотни тысяч вольт, гигантскими машинами, где бушевали потоки воды, раскаленный пар под давлением в десятки атмосфер. Их профессия требовала непрерывного общения со смертельной опасностью.

Чем лучше они работали, тем незаметней выглядел их труд.

Попадая на станцию, Андрей забывал о словах Борисова. Со всех сторон его влекли к себе всевозможные реле, моторчики, регуляторы. Среди них встречались его давние институтские приятели. Он обнаруживал их на станционных пультах, в жаре котельных, у занесенных снегом затворов плотин, в трансформаторных будках. Иногда он с трудом узнавал их. На пульте Пролетарской станции он отыскал регулятор напряжения, про который ему твердил Борисов. Когда-то в аспирантуре

Андрей участвовал в конструировании этого регулятора. За толстым стеклом, пощелкивая, изящно кланялись рычажки, вертелись зубчатки. Малиново светились радиолампы сквозь решетчатый футляр. Но что-то чужое появилось в приборе. Лак потрескался, помутнели никелированные части, сбоку торчали какие-то грубо приваренные щитки неизвестного назначения.

Андрей невольно потер ладонь, нащупывая следы ожога. Это случилось еще в институте, когда, налаживая прерыватель прибора, он, одурев от долгих неудач, схватился за включенный провод.

— Где ж тут прерыватель, что-то я его не вижу? — спросил он у дежурного инженера.

Тот лениво ткнул пальцем в сторону радиоламп. Андрей заглянул сквозь дырочки футляра и ничего не понял.

Он вспомнил слова Борисова и спросил, где Краснопевцев. Оказалось, что этот дежурный инженер с припухшим, сонным лицом и есть Краснопевцев.

— Куда же вы убрали прерыватель? — повторил Андрей. — Я знаю, что он был, я сам работал над этим регулятором.

— Добрый регулятор, — дипломатично заметил Краснопевцев.

— Значит, не очень, раз прерыватель убрали, — начиная злиться, сказал Андрей. — Для чего вы это сделали?

— А без него много лучше, — спокойно ответил Краснопевцев.

Пока он объяснял, почему «выкинул» прерыватель, лицо и вся фигура Андрея изображали поочередно сначала недоверчивую усмешку, потом стыд, потом шумный восторг. Действительно, лучше и проще. Однако Андрей был не новичок в науке, он знал цену подобной простоте.

— До чего ж у вас мило получается, — покачал головой Андрей. — Взяли да выбросили. Вы мне, как говорится, очки не втирайте. Много пересчитывать пришлось?

Наконец ему удалось чуть-чуть растормошить этого увальня. Краснопевцев достал клеенчатую тетрадь, исписанную вычислениями.

— Помаленьку у нас начинают заниматься автоматикой, — заговорил он. — Несколько институтов запрягли в эту колымагу. Недавно приехал автор одной схемы.

А наши релейщики тоже вроде меня кое-что подправили в его устройстве. Так вы бы видели, в какую амбицию ударился этот деятель. Мол, как смеее без моего ведома, тоже, мол, исследователи. Так что разные авторы бывают. С вашим братом ухо держи востро.

Расчеты Краснопевцева отличались той завидной инженерной простотой, которой так недоставало самому Андрею. Опираясь на метод Краснопевцева, следовало бы вообще пересчитать весь регулятор.

— Ого! — оживился Краснопевцев. — Вы шутите!

— Обязательно пересчитайте. Чрезвычайно любопытно может получиться.

Сонная дымка снова затянула лицо инженера. Глазки его спрятались за припухшими щеками.

— Кто? Я? Куда там! Времени нет. Я дежурный инженер, тут ничем отвлекаться нельзя.

Он подошел к панелям, строго осмотрел приборы, постучал согнутым пальцем по стеклу амперметра. На все доводы он отвечал так, как будто Андрей уговаривал его заняться какой-то забавой.

— У нас так повелось, — спокойно приговаривал он, — там, где начинается дежурный инженер и начальник цеха, там кончается собственно инженер.

Спор их прервался приходом лысого круглолицего человека.

— Товарищ директор... — начал было рапортовать Краснопевцев, но директор махнул рукой:

— Оставь ты, ради бога, я отдохнуть пришел.

Краснопевцев представил Андрея.

— Калмыков, — сказал директор и, усаживаясь в кресло, устало вытянул ноги. — Калмыков второй и последний. В армии меня так звали. Я ростом не вышел, в строю замыкающим стоял. Был у нас в роте еще Калмыков первый. А я, значит, Калмыков второй и последний. Чего смееетесь? Мне это было хуже острого ножа, мало что второй, так еще и последний. Ну теперь, слава богу, у меня есть еще Калмыков третий и не последний... — Он благодушно похохатывал, радуясь возможности поболтать.

Разозленный упрямством Краснопевцева, Андрей слушал болтовню Калмыкова с неприязнью. Лысина сияет, толстый подбородок дрожит, сразу видно — человек самодовольный и хвастун.

— Ну так как же? — в десятый раз обратился Андрей к инженеру. Уж больно не хотелось ему отступить.

Вместо ответа Краснопевцев, хитро щурясь, передал Калмыкову содержание их разговора. Калмыков оглядел Андрея и промолчал.

— Вас это не интересует? — иронически спросил Андрей.

Калмыков жалобно вздохнул:

— Не везет мне сегодня. Сбежал с диспетчерского, чтобы не ругаться, и попал в полымя. Пойдемте лучше на солнышко.

И он двинулся к дверям, ведущим на трансформаторную площадку.

На открытом бетонном балконе стояли великаны трансформаторы. Солнце поблескивало на лакированных ребристых изоляторах, под серыми стальными кожухами слышалось довольное басовитое жужжание.

— Ох и славно! На таком молодом солнышке самое время загорать. — Калмыков расстегнул верхнюю пуговицу рубашки, ослабил галстук, блаженно подставляя солнцу черноволосую грудь.

— Ладно, — сказал Андрей в спину Калмыкову, — мы сами пересчитаем регулятор. Мы включим его в свою тематику. Но вам должно быть стыдно.

— А вам? — спросил Калмыков. — На пасху и в аду грешников не мучают.

— И после этого вы смеете упрекать ученых...

Калмыков потер лысину жестом полной безнадежности.

— Разрешите, я вам байку одну расскажу. — Он вежливо взял Андрея под локоть и повел вдоль площадки, стараясь держаться солнечной стороны.

— Сын мой, Калмыков третий, будучи четырех лет, этой зимой так высказался. Елку мы устраивали. Я нарядился дед-морозом и вышел раздавать подарки. На завтра спрашиваю его: «Нравится, Миша, подарок, что дед-мороз принес?» — «Так это ты был, папа», — говорит. Спрашиваю: «Чего ж ты кричал тогда: здравствуй, дед-мороз?» Он отвечает: «А чего ж, если вам нравится, пожалуйста». Этаким снисходительным тоном, как говорят с детьми. Я это к чему? Да к тому, что если вам нравится, пожалуйста, ковыряйтесь с этим регулятором. Считайте нас за детей. Считайте. Но не требуйте от нас восторгов по поводу ваших развлечений.

— То есть как развлечений? — почти спокойно переспросил Андрей.

Шедший сзади Краснопевцев предостерегающе кашлянул.

— Хороши, а? — спросил Калмыков, кивая в сторону трансформаторов. — Богатыри! Москвичи прислали.

— Нет уж, позвольте, — заволновался Андрей. Он стал перед Калмыковым, загораживая солнце. Зажмуренные глаза Калмыкова открылись, взглянули на Андрея холодно и твердо.

«Сейчас он пошлет меня к черту, — подумал Андрей. — Тогда я скажу ему все, что о нем думаю».

— Вы в котельной были? — спросил Калмыков. — Были? Ага, ну и каково ваше впечатление? Неинтересно? Приборов мало новых? Так, так. Идите за мной, — жестко приказал он.

С неожиданной для тучного человека ловкостью он скатился по крутой, узкой железной лесенке, юркнул в тесный проход между горячими, обложенными асбестом трубами. Андрей, полусогнувшись, еле поспевал за ним.

Оказавшись на нижнем этаже котельной, они подошли к стенду, за которым сидел машинист. Огромный котел, высотой с четырехэтажный дом, обвитый трубами, лесенками, мостиками, гудел, сотрясая горячий, душный воздух. Машинист, напряженно вытянув шею, безостановочно обегал глазами приборы, одна рука его нажимала кнопки, другой он подавал знаки помощникам. Они перебегали от одного штурвала к другому, вертели, открывая и закрывая заслонки. Лица их блестели от пота. Улучив свободную минуту, машинист схватил брезентовые рукавицы, подбежал к топке и, налегая грудью на железную шуровку, заворочал ею.

Калмыков потянул Андрея за рукав, подвел его к одному из штурвалов.

— Открывайте! — крикнул он на ухо. — Как раз меняют режим.

Андрей повернул теплое тугое колесо.

— Быстрее! — передавая знаки машиниста, он командовал, заставляя Андрея открывать заслонки.

«Подумаешь!» — пожал плечами Андрей. Через минуту ему уже пришлось скинуть пиджак, горячая испарина заливала шею. Калмыков командовал в нарастающем темпе. Андрей перекрывал клапаны, тянул какие-то рычаги, краны; надев рукавицы, толкал тяжелую

шуровку, пламя из красного окошечка топки палило лицо. Воздух с каждой минутой густел. Андрей хватал его открытым ртом. Пот ел глаза. От непривычных усилий заныла поясница, но голос Калмыкова подгонял, не давая передохнуть.

Кочегары, стоя поодаль, белозубо ухмылялись. Только теперь Андрей начинал постигать тяжесть их работы. Ослепшего, задыхающегося, его посадили за пульт. Он вертел головой от парометра к указателям уровня, приходилось следить за тягомером, за газоанализатором и еще за десятками приборов, сигнальных лампочек, уровней.

Калмыков что-то крикнул Краснопевцеву, тот взял Андрея за руку и повел в застекленную кабину. Андрей обессиленно плюхнулся на табуретку. Вслед за ними вошли Калмыков и машинист.

— Притомились с непривычки? — участливо справился Калмыков. — Со сноровкой и то за день умаешься. Как, Разумов? — подмигнул он машинисту.

— Известно. Котлы наши старые. Сейчас кое-какую механизацию ввели, — закуривая, сказал Разумов. — Да и то, домой придешь, поел и — спать.

— Чуете? — благодушно спросил Калмыков. И вдруг без всякого перехода, на той же самой благодушной ноте, принялся колотить Андрея тяжелыми, как булыжники, словами. Краснопевцев только поеживался, остерегаясь, как бы свистящие вокруг удары не задели и его ненароком. Это был, как говорили на станции, «большой директорский разнос».

— ...Вас расчелтик привлекает, вы нам новый соус измышляете, а мы жрать, жрать хотим! Вы желаете нам маникюרך навести, а нам бы до баньки дорваться. Мы с нашим регулятором напряжения еще десять лет спокойно поработаем. Вы бы лучше о Разумове позаботились. Почувствовали, каково кочегарам приходится? Вот для кого стараться вам положено! Чтобы у людей руки после смены не дрожали от усталости. У вас там, в заоблачных высях, ничего такого неизвестно. Вчера являются ко мне из одного института: «Здрасте, мы вам разработали систему защиты от прямого удара молнии». А такой прямой удар у нас бывает раз в тысячу лет. И вот на этот случай наготовили специальных аппаратов. Серьезные люди. Кандидаты, доктора. Измышляют, чем бы поразить бедных туземцев. «Ах, как так, год назад в «Известиях Академии наук» напечатан новый ме-

тод расчета, а вы не знаете. Варварство». А мне трижды на... на этот метод. Мне надо, чтобы Разумов вручную не вертел шибера. Но — молчи! Молчи или признавайся: виноват, мол, не читал про новый метод. Признавайся, иначе в рутинеры запишут.

Андрей сидел, потирая шею. А они трое, как судьи, стояли перед ним. Разумов покуривал, Краснопевцев непроницаемо щурился, а низенький толстый Калмыков, которого не брали ни жара, ни усталость, перекрывая шум, продолжал разделявать Андрея:

— ...Высасываете из пальца дикую, никому не нужную чепуховину. Жизни не знаете. Котлы — вот что надо автоматизировать! Котлы! Кто будет ими заниматься, по-вашему?

— Вы тоже хороши, — удалось наконец несколько оправиться Андрею. — Вот у Тарасова автоматика поставлена, а что толку?

— Ага! Делитесь на «мы» и «вы». Тут-то и корень всех бед. «Мы» и «вы». А должно быть одно «мы».

Выйдя на улицу, Андрей глубоко вдохнул свежий весенний воздух. Кричали скворцы. На подсохшем асфальте девочки скакали по расчерченным «классам». Андрей вспоминал вяжущий жар котельной, потные, напряженные лица кочегаров. Хороший урок он получил сегодня. А Краснопевцева он доконает. Краснопевцев будет делать автоматику для котла. И Борисова, и Кривицкого, и Майю поставим на это дело. Ловко проучили его, ткнули носом, как щенка.

Заметив любопытные взгляды прохожих, он поднял воротник, пряча хмурую и неудержимую улыбку.

Автомат Рейнгольда был закончен на два дня раньше положенного срока. Андрей добился перевода Рейнгольда в штат лаборатории, дал ему в помощь Борисова, и сочетание получилось удачное. Рейнгольд — прирожденный изобретатель, достаточно подсказать ему идею, и она вырастала в виде готовой конструкции. Его буйное воображение следовало сдерживать, направлять, иначе он начинал изобретать все, что приходило на ум. Таким сдерживающим началом служил Борисов. Он обладал ровной, неунывающей уверенностью, великолепной памятью, много читал и трезво определял, что надо и чего не надо делать.

Предстоял заключительный этап испытания автомата на гидростанции. Туда решено было отправить вместе с Борисовым и Рейнгольдом двух лаборантов — Нину Цветкову и Сашу Заславского. Относительно командировки пришлось договариваться с техотделом. Однако Долгин, изображая суровую любезность, разъяснил, что поскольку эта работа в плане не значилась, то странно слышать о каких-то командировках.

— Как бы там ни было, работа сделана, — сказал Андрей, — автомат готов.

— Кто разрешил вам делать его?

— Мы делали его в счет будущего плана. Скоро новая тематика будет утверждаться, мы и включим туда автомат.

Тогда Долгин как бы между прочим вспомнил о ремонте приборов. Вопрос с командировками будет улажен при условии, если Лобанов возобновит прием приборов по указанию Долгина.

Предложение было сформулировано мастерски, скользко-безопасные фразы можно было застенографировать, и никто не усмотрел бы в них ничего плохого. Суть крылась в оттенках да ударах, но за всем этим стояло главное: «Я вам командировку и прочее, а вы мне ремонтируйте приборы. Согласны?»

Отказ Андрея был внимательно выслушан и взвешен где-то за ширмой этого плоского неподвижного лица.

— Однако ж нигде не сказано, что вашу тематику утвердят, — сказал Долгин.

Андрей уверенно махнул рукой:

— К тому времени мы выложим результаты. Победителей не судят.

Долгин задумчиво записал что-то в блокноте.

— Странная у вас какая-то позиция, товарищ Лобанов. Повсюду вам чудится борьба — победители, побежденные... Вместо дружной работы... Борисов у вас тоже, очевидно, идет на поводу.

— Может быть, мы вернемся к делу? — сдержанно сказал Андрей. Он снова пытался вразумить Долгина. Как бы там ни было, факт остается фактом. Прибор готов — его надо испытать.

Долгин встал, оперся кулаками о стол. В такой позе он обычно открывал собрания.

— Что касается прибора этого Рейнгольда, техническому совету предстоит разобраться, следовало ли вообще его делать. А пока я вынужден вам напомнить

установку наших партийных органов.— Металл зазвенел в его голосе.— Основой нашей деятельности служит план. Нарушение его — преступление против государственной дисциплины. План — это закон...

— Закон, да не самый главный,— тоже вставая, сказал Андрей.

— Вы скверно знаете установку вышестоящих организаций.

— А вы скверно изучаете политэкономия,— сказал Андрей ошеломленному Долгину.

Но это служило слабым утешением. Как бы там ни было, прибор надо испытать. Андрей решил отправить бригаду Рейнгольда под свою ответственность. Семь бед — один ответ.

Спустя два дня после отъезда бригады его вызвал Потапенко. За последнее время все дела с лабораторией техотдел вел через Долгина; Виктор дал понять Андрею, что, во избежание всяких толков, так будет удобнее, поэтому сегодняшней вызов встревожил Андрея.

Виктор молча поздоровался и протянул напечатанную на машинке бумагу.

В докладной записке на имя главного инженера сообщалось о резком ухудшении работы электролаборатории. Младший персонал предоставлен самому себе, инженеры во время работы читают литературу... («Информация налажена! А вот какую литературу читают — не написали».) Упала труддисциплина, о чем свидетельствует увеличение числа выговоров и взысканий. («Так ведь требовательность возросла! Морозову вкатили выговор за опоздание — сами комсомольцы потребовали. Эх, разве можно так перевернуть все вверх ногами!...») Закупаются ненужные приборы. Нелегально был изготовлен автомат Рейнгольда. Самовольно послана бригада на ГЭС. Руководитель в лаборатории бывает мало...

Докладная была солидно оснащена цифрами и выглядела весьма убедительно. Основной удар направлялся против Лобанова — человек, может быть, и знающий, но абсолютно неспособный руководить.

Откинувшись на спинку кресла, Виктор изучал лицо Андрея. Он знал заранее, что произойдет: Андрей сейчас рассвирепеет, «полезет в бутылку» и начнет опровергать пункт за пунктом.

С того момента как Андрей подал в техотдел проект новой тематики лаборатории, Виктор понял, что пришла

пора решить дальнейшую судьбу Андрея. Он честно оттягивал эту неприятную минуту. Совесть его была спокойна, он сделал все, чтобы предотвратить увольнение Андрея. Несмотря на нашептывания Долгина, он и виду не подал, что его затронула история с генератором. Натянутые отношения Лобанова с начальством рикошетом задевали Виктора. «Ваш друг...» — спешили сообщить ему какую-нибудь новость о лаборатории. Виктор слушал с кислой улыбкой. Бесполезно было что-нибудь советовать Андрею — он делал по-своему. Мало того, он выступал с критикой техотдела: почему не занимаются перспективами развития системы, телеуправлением, новой аппаратурой. Лаборатория постепенно выходила из-под влияния Виктора. Лобанов давал понять, что он не нуждается в указаниях. Его самостоятельность наносила прямой ущерб авторитету начальника техотдела. Так произошло с автоматом Рейнгольда. В свое время Виктор решил, чтобы этот неудачник сам довел до конца свою затею, с какой стати вмешиваться в это сомнительное мероприятие! В подобных делах следовало придерживаться мудрого правила: не будь первым, чтобы испытать новое, а также не последним, чтобы отбросить старое. Лобанов же делал демонстративный жест: полюбуйтесь, техотдел отверг, а мы, люди науки, оценили, пригрели. Следовательно, выходит, что в техотделе сидят консерваторы? Перестраховщики? Еще хуже получилось с планом. Встречная, новая тематика противоречила всей прежней политике Виктора, она как бы объявляла неверными все его прошлые планы. Объективно план Лобанова «лил воду на мельницу» оппозиции внутри техотдела. Этот план подрывал репутацию Виктора как руководителя. Да и, кроме того, почему он должен брать на себя ответственность за фантазии Лобанова, на которых можно в два счета сломать себе шею.

Тонкий нюх Долгина с точностью до минуты определил наивыгоднейший момент вручения начальнику докладной записки. Виктору оставалось ее подписать и переслать главному инженеру. При нынешнем положении вещей отстранить Андрея от работы ничего не стоило. Достаточно одного факта самовольной командировки. Никто ни в чем не сможет упрекнуть Виктора. Известно, как он всегда защищал Лобанова. Наоборот, будут говорить: вот пример принципиальности, не почитался с дружбой.

Андрей читал бумагу, тихонько насвистывая. Это была его старая привычка: когда встречалось какое-нибудь трудное место в учебнике, он начинал посвистывать. Виктор вспомнил, сколько раз они скандалили с Андреем в общежитии, — им с Костей мешал этот дурацкий свист. Андрей умолкал и через минуту, забывшись, опять начинал свистеть.

Теплое, чистое чувство старой дружбы вдруг охватило Виктора. Он привстал, взял бумагу из рук Андрея, сложил, разорвал ее.

— Точка, — улыбнулся он, и Андрей увидел перед собой прежнего Виктора. — Не будем к этому возвращаться. Оформи командировки своим беглецам, я подпишу.

— Есть, товарищ начальник, — весело подчинился Андрей.

Они сидели молча, растроганные.

— Ох, Витька, Витька... — тихо вздохнул Андрей.

Они заговорили о новом плане. Виктор доказывал, что техсовет лобановский план не утвердит.

— Все твои проблемы им малопонятны. Игра с закрытыми картами. Впереди большие хлопоты и дальняя дорога... — Виктор прилег грудью на стол, понизил голос. — Возьмем из твоего плана главное — твой лока́тор — и давай включим его в мой план. Тогда мне удастся провести его через техсовет наверняка.

— Да, это будет легче, — нерешительно подтвердил Андрей.

— Ты развяжешь руки и мне, и себе. А если ты будешь настаивать, чтобы приняли твой план целиком, то его завалят, и вместе с ним завалится и твой лока́тор.

— Тебе виднее, — не то согласился, не то съязвил Андрей.

Недавнее теплое чувство быстро исчезало. Будто тучи снова затягивали солнечный просвет. И лучше бы не было того просвета, после него еще темнее стало.

«Согласиться? — думал Андрей. — А что я обещал Калмыкову? А Разумову? А Борисову?»

В течение месяца они мотались по станциям, ремонтным заводам, согласовывая, уточняя каждый пункт плана.

Внутри лаборатории возникали обиды и ссоры, потому что у каждого инженера нашлись свои выстраданные, давно лелеемые темы, а все предложения в план уместить было невозможно. Кривицкий притащил ста-

рые синьки — проект исследования распределения грузовок. «Были когда-то и мы рысаками, — сказал он со своей обычной усмешкой. — Разрешите перенести этот прах на новое кладбище». Несмотря на это саркастическое предсказание, он несколько раз проверял, включена ли его тема в план. Борисов и тот, изменив всегдашней сдержанности, энергично пропихивал свою идею автоматизации переключений. Он напустил на Андрея своих друзей — монтеров подстанции, и они преследовали Андрея, упрашивая, доказывая, угрожая всякими бедами, если лаборатория не займется автоматизацией переключений. У всех было вложено в план свое заветное. Как они все вострепнулись! Сколько надежд было связано с этим планом! Советовались со станционниками, отбирали самые животрепещущие вопросы.

— А как же лаборатория? — медленно спросил Андрей. — Она по-прежнему будет изоляторы испытывать?

Виктор сочувственно пожал плечами. Как говорил Ленин: «Лучше меньше, да лучше».

Уж не считает ли он Виктора рутинером? Нет, дорогой дружок, в жизни двумя красками не обойтись. С одного боку смотреть, и верно — консерватор, с другого посмотришь — государственный человек.

Причину многих бед Виктор усматривал в политике министерства. За невыполнение плана бьют смертным боем, а за автоматы да регуляторы — не было их, ну и еще год не будет. Консерватизм, перестраховка порождаются условиями. Человек сам по себе консерватором не рождается. В техотдел поступают сотни разных предложений. Чтоб некоторые из них проверить, требуются капитальные затраты. Откуда их взять? Министерство ассигнований на это не дает.

Виктор рассказал о непорядках в министерстве. А где, спрашивается, он имеет возможность критиковать министерство? Его, Виктора, критикуют и на станциях, и на производсовещаниях, и в парткоме. А он? Попробуй он где-нибудь выступить! Ни одного вопроса потом в министерстве не решишь.

Он закончил, довольный широтой и смелостью своих взглядов.

— Наверное, приготовил для меня футлярчик с надписью «рутинер», и я в этот футлярчик не укладываюсь. Так, что ли, признавайся? — рассмеялся он.

Многое в рассуждениях Виктора Андрей не мог опровергнуть, одно знал он твердо — в таких вопросах следует слушаться своей партийной совести. Привести подобное возражение он не хотел, сразу представляя себе презрительную улыбку Виктора, — наивный, мол, идеалист. Но больше, чем возражения Виктору, его занимала сейчас судьба плана. Стыд охватывал его при мысли о том, что он может изменить товарищам. Пойти на сделку, пренебречь интересами лаборатории, всего коллектива ради своих собственных? Он с безрассудной откровенностью выложил все это Виктору.

— Ты вносишь слишком много психологии в административную работу, — устало и не без досады сказал Виктор.

Терпеливо продолжая уговоры, он с раздражением чувствовал, что его слова только усиливают внутреннее сопротивление Андрея. Лицо Андрея принимало все более серьезное и упорное выражение.

— Забываю все тебя спросить, — вдруг сказал Виктор, — ты встречаешься с Ритой?

Это было так неожиданно, так резко и Виктор при этом так испытующе прищурился, что Андрей оторопел, не нашел ответа и вслед за тем еще больше смутился от мысли, что это был какой-то прием.

Виктор удовлетворенно полузакрыв глаза, задумался. Потом он посмотрел на лежащие перед ним обрывки докладной записки, медленно скомкал их, занес руку над корзиной, чтобы бросить, умышленно задержался:

— Ну, так как же?.. Ты можешь удовлетворить мою просьбу?

Намек был достаточно явный.

— С моей стороны, конечно, хамство, — смущенно пробормотал Андрей, сохраняя то же упорное выражение на лице, — но я не могу иначе, я буду драться за наш план.

Виктор бросил бумагу в корзинку и улыбнулся одной из своих самых покоряющих улыбок. Не можешь, и ладно. Что за счеты.

После ухода Андрея он распорядился собрать через два дня технический совет, предложил Долгину подготовить выступления.

Вечером Виктор поехал к Тонкову, а от него к Майе Устиновой. Он никогда у нее не был и с трудом отыскал ее квартиру. В сложных положениях он предпочитал действовать решительно, быстро и необычно.

Майя удивилась его приезду, но Виктор без всякого предисловия приступил к делу. На локатор Лобанова надежда плохая. Таково мнение крупных ученых. Не возьмется ли Майя усовершенствовать существующий метод Тонкова? Это гораздо реальнее. Конечно, не одна, помогать ей будет сам профессор Тонков. Все необходимые условия ей создадут. Есть возможность, как говорится, утереть нос Лобанову. Вообще-то с ней поступили несправедливо. Виктор тут ни при чем, его, к сожалению, не спрашивали. Лаборатория стала скверно работать. Не сравнить с тем, что было... Помните, как мы с вами хлопотали насчет водопровода?

— Помню... Я не совсем понимаю, Виктор Григорьевич, ведь Лобанов ваш друг?

Она тихонько покачивалась на качалке. Виктор сидел на диване. Напротив, на стене, висела фотография мужа Майи. Он был моряк и находился в плавании.

— Да,— сказал Виктор.— Скучаете по вечерам?.. Я думал, что вы с удовольствием возьметесь за это дело. Вы единственный человек, кто может конкурировать с Лобановым.

Майя задумалась. Мечтательное выражение медленно проступало на ее лице.

— Ну что ж, я с радостью займусь... Конечно, Лобанов... Да, это будет трудно...— Она засмеялась и громко сказала:— Ну и хорошо.— Словно вспомнив что-то, она пристально посмотрела Виктору в глаза.— Но все же я не совсем понимаю...

Виктор почувствовал, что ему надо сейчас найти какой-то очень убедительный ход.

— Есть чувства сильнее дружбы,— серьезно и задумчиво сказал он, придавая своему лицу решительное выражение, как будто он хотел сказать что-то смелое и трудное.— Мне очень хочется сделать для вас что-нибудь хорошее.

Майя покраснела. Виктор искоса поглядел на нее. «Фигурка у нее славная,— подумал он.— Личико бесцветное, но фигурка славная. И глазенки ничего».

— Так что, видите, Майя,— он грустно усмехнулся,— во всяком деле ищите всегда личные интересы.

Он смотрел на нее тем особенным печальным взглядом, который говорил очень много и ничего. Виктор умел так входить в игру, что начинал по-настоящему переживать. Ему действительно стало грустно оттого,

что Майя безразлична к нему, ему хотелось услышать от нее тоже какие-то хорошие, теплые слова.

— Ладно, Виктор Григорьевич, я возьмусь, — сдержанно сказала Майя, смущенно отводя глаза.

«Стоп, — сказал себе Виктор. — Не зарываться».

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Окончив десятилетку, Нина Цветкова подала заявление в Технологический институт. Конкурс был большой, спрашивали по принципу: кончается билет — начинается экзамен. Преподаватели попались как на подбор — старики и придиры. При таких условиях трудно добиться справедливости, оправдывала себя Нина. И вообще экзамены не отражают подлинных знаний человека... Нина провалилась, но не горевала и решила годик-другой отдохнуть. Она поступила служить секретаршей. Это была милая и симпатичная работа, кругом солидные, вежливые люди, отношение самое внимательное.

До сих пор она была ученицей, не очень прилежной школьницей, и все, а тут вдруг она почувствовала, что главное в ней не то, что она плохо решает задачки, а то, что у нее яркие глаза и красивые волосы. Она просто впервые почувствовала силу своей молодости и красоты. Ей нравилось флиртовать сразу с несколькими, заставлять их ревновать, писать ей красивые письма, каждый вечер приглашать ее то на танцы, то в театр. Она не преследовала никаких целей, она просто чувствовала себя счастливой оттого, что ее любят, ухаживают за ней, добиваются ее.

Обижало одно обстоятельство. В Управлении сотрудники ухаживали за ней прежде всего как за секретаршей, на стороне же все серьезные, стоящие молодые люди, с которыми она знакомилась, почему-то первым делом спрашивали, кем она работает, и, узнав, что секретаршей, как-то менялись в обращении. Не то чтобы какие-нибудь вольности, этого она не допускала, но у них появлялось «воображение», отношения становились легкомысленными. Не было настоящего чувства.

Танцы, кино были для них всего-навсего отдыхом. Для нее же настоящая жизнь начиналась после работы.

«Лаборантка» звучало куда авторитетнее, чем «секретарша».

— Я работаю в электролаборатории.— Она научилась произносить эту фразу значительно, с утомленным вздохом.

Если разобраться, в этом вздохе была правда. Работа оказалась грязной, тяжелой и скучной. Заставляли разбирать образцы горелой изоляции, часами просиживать у стенда, записывая показания приборов. Она пробовала слушать пояснения Майи Константиновны.

— Понятно!— отвечала Нина и про себя думала: «Хоть бы я на четверть поняла».

Особенно ее смущал внимательный взгляд Лобанова. Проходя мимо, начальник лаборатории всякий раз задерживался и спрашивал, что она делает, зачем. Первое время она, приняв независимый вид, увиливала от прямых ответов. Работаю, ну и все тут... Но отшить его оказалось не просто. Всякий раз он допытывался, почему она включала то, а не это, и, когда он уходил, она чувствовала себя ничего не смыслящей девчонкой. У некоторых мужчин была такая манера ухаживать, но Лобанов не обращал внимания на ее внешность. И это тоже задевало ее.

Женщина со вкусом знает не только как нужно одеваться, но и как ей нельзя одеваться. Нина составила для себя новый идеал элегантной женщины. Она сменила шелковые платья на синий халатик, такой же, как у Майи Константиновны, стала так же гладко, на пробор, зачесывать волосы. Она закончила безнадежную борьбу за маникюр и, чуть не плача, остригла длинные, миндалевидные ногти. Она стала подражать Майе Константиновне во всем, вплоть до строгой, сдержанной улыбки. Недостигаемой оставалась спокойная уверенность каждого движения Майи Константиновны.

Доклад Лобанова на комсомольском собрании произвел на Нину неожиданно сильное впечатление. Собственная жизнь показалась ей постной, скучной, никому не нужной. На следующий же день она попросила отпустить ее учиться в институт. Она заявила об этом Лобанову со всей непреклонностью человека, принявшего решение час тому назад.

Лобанов сидел за письменным столом, сжав голову руками, и пустыми, отсутствующими глазами смотрел на Нину. Перед ним лежали лиловая папка и раскрытый журнал.

— Вздор,— рассеянно произнес он, продолжая одобрительно кивать Нине.

Она удивленно остановилась. Он посмотрел на нее умоляюще, как бы прося о молчании. «Чудак,— подумала она,— честное слово, чудак».

— Простите, пожалуйста,— Лобанов тряхнул головой и поспешно сказал:— Обязательно надо учиться. Вам работать тяжело?

— Нелегко,— призналась она, не успев сообразить, к чему этот вопрос.

— Боюсь, что вы бежите от этой самой работы,— уже спокойно, целиком входя в разговор, сказал Лобанов.— Я про себя знаю. Между нами, мне тоже порою до того скверно, бегом бы убежал в институт.

— Вы?— недоверчиво сказала Нина.

— Вы загорелись, но, боюсь, это вроде как на сырые дрова плеснули керосином. Не обижаетесь? В институте будут свои трудности, и опять придется куда-то бежать.

Он вышел из-за стола и встал перед нею, заполнив собой всю комнатку.

— Идите в институт тогда, когда без него станет совсем невмоготу, когда ваша специальность вам начнет сниться по ночам, когда вам без нее свет будет немил. Вам что сегодня снилось?

Нина покраснела, и оба засмеялись.

— Поработаем еще вместе... Вот когда вам станет тесно у нас и узнавать больше нечего, тогда приходите — честное слово, отпущу.

Перед глазами Нины был его твердый подбородок, тонкая крепкая шея, на которой билась голубоватая жилка. По воротничку трикотажной рубашки тянулись неумело заглаженные складки. «Наверно, сам гладит»,— подумала Нина.

Гидростанция, куда приехала бригада Рейнгольда, стояла посреди лесов, вдалеке от населенных пунктов. С высокой плотины, насколько хватал глаз, тянулась черно-зеленая кромка леса. У самого берега реки белели домики небольшого станционного поселка. Была середина мая. Прозрачной зеленью оделись березы. Цвела черемуха. Дни стояли сухие, теплые. Все свободное время Нина бродила по окрестностям. Ей хотелось побыть одной. От тишины, чистого неба ее тянуло на беспричинные слезы. Думалось о том, что она никого не любит, и пропадает молодость, и нет большого, настоящего чувства...

Ей вспомнилось детство, когда они с отцом — отец ее служил лесником — неделями пропадали в лесах.

Здесь, в доме приезжих, Нина вставала рано-рано. Она мылась из железного дребезжащего рукомойника. Вода была вкусная, холодная до ломоты и тоже напоминала детство. Босиком Нина спускалась по скрипучей лестнице, садилась на крыльцо и долго смотрела, как просыпалась река.

Иногда в лес за нею увязывался Саша Заславский, иногда с ними шел и Борисов. Нине нравилось уводить их далеко в лес. Здесь она была хозяйкой. Она заставляла их собирать голубые и белые пролески, и особенно — редкую желтую. У подножия старой ели она показывала густо раскиданную шелуху шишек — это «белкина столовка». Присев в кустах, они дождались, когда красноватая белка спрыгнула вниз и, ухватив передними лапками шишку, принялась быстро выскребывать семена.

— Ружьецо, ружьецо бы! — страдал Борисов.

В нескольких километрах от ГЭС лежало большое озеро. Саша раздобыл лодку, и они вдвоем с Ниной отправлялись кататься.

...Почему-то считается, если от дождя на воде пузыри, то будут затяжные дожди. Вот под такой дождь с пузырями и попали они однажды посреди озера. Пристали к крохотному островку, сели под елку, а озеро все в пузырях, словно кто воду кипятит. Платице на Нине промокло, но было не жаль платья и приятно оттого, что не жаль и можно сидеть на берегу, смотреть на воду и не заботиться о том, нравишься ли ты в таком виде или не нравишься. Впрочем, она знала, что нравится. Хотя Саша был милый паренек и ей нравились его толстые губы, курчавые короткие волосы, но сейчас — сейчас ей было все равно.

На отмелях валялись ракушки. Нина принялась растворять их и щекотать улиток. Саша, выхваляясь, кидал в воду плоские голыши, они подпрыгивали — два... три... четыре «блина»!

— Удивительное дело, — сказал Саша, — ты совсем другая стала, как сюда приехали.

— Куда — сюда, на озеро?

— Нет, на ГЭС... Ты серьезнее, чем в городе.

Нина отбросила ракушку и задумчиво спросила:

— Тебе нравится Майя Константиновна? Как человек?

— Мне нравятся блондинки, — с неумелой развязностью сказал Саша.

Нина надменно осмотрела его с ног до головы.

— Запомни: человек, лишенный непосредственности, становится посредственностью.

Эту фразу она слыхала от Майи Константиновны и не раз с успехом применяла ее.

— Майя Константиновна — толковый инженер, — сказал Саша, — но я предпочитаю Лобанова.

— А что в нем хорошего? — посмеивалась Нина и с удовольствием слушала, как Саша расписывал Лобанова. — Много ты понимаешь; по-моему, он бесчувственный человек, — заключила она и тут же перевела разговор на другое.

Саша ничего не замечал, он был счастлив оттого, что она разрешила ему накинуть ей на плечи пиджак и похвалила его за греблю.

Дождь перестал, прояснилось, они сели в лодку и поплыли по гладкому озеру-небу. Все небо было в озере. Они наезжали на облака, и Нина, перегибаясь через борт, видела свое лицо с мокрыми кудельками волос посреди серебряных гор. А ближе к берегу по воде протянулись четкие отражения деревьев. Опустив руку в воду, Нина трогала верхушки елей. Все было вверх ногами. Все было наоборот. Почему ты нравишься тому, кто тебе безразличен, а тот, кто тебе нужен, не обращает на тебя внимания?

На станции хозяином чувствовал себя Саша. Он показывал Нине станционные сооружения, они спускались в потерну — коридор, проложенный в теле плотины. Там пахло холодной сыростью, и было жутко представить, что над головой мчится вспененная масса воды. Интереснее всего было стоять на мостике, над плотиной. Бетонная гребенка плотины расчесывала реку на множество водопадов. Они свирепо грохотали где-то под ногами, мчались, крутились. Радужное облако водяной пыли висело над бетонными водоспусками, оседая холодными каплями на щеках.

— Какая силища пропадает! — кричал Саша.

Он возмущался, почему нельзя сделать плотину выше и сохранить эту буйную весеннюю воду.

— Ну их, гидротехников, — расстраивался Саша, — пошли на пульт, там я все знаю, что к чему.

Центральный пульт был действительно великолепен. Пульт всякой электростанции — это ее гордость. Ни

в одно помещение не вкладывается такой заботы, как в помещение пульта. Чистота здесь доведена до предела. Любая хозяйка может лишь мечтать о подобном блеске. Начиная от мраморных панелей и до последнего, запрятанного под сеткой проводов болтика, все горело и сверкало. Даже старожилы, много лет изо дня в день принимая смену, не могли не любоваться светлой праздничностью пульта. Что ж тут говорить о новичках вроде Нины.

За стеклами перья самописцев («ябедники» — называли их дежурные) чутко вычерчивали кривые, вспыхивали разноцветные сигнальные лампочки, неслышно разговаривали на своем языке стрелки приборов. Одна стена пульта была стеклянной, сквозь нее виднелся машинный зал. Гигантские, похожие на черные зонты, генераторы мерно гудели.

А что творилось за панелями пульта! Вообразить только, что человек в состоянии разобраться в этом хитросплетении бесчисленных проводов, контактов, предохранителей.

Нина с уважением смотрела на Сашу.

— Я что, — самоотверженно признавался он, — вот Борисов...

Но и Борисов, и Рейнгольд уступали, по мнению Саши, Лобанову.

— Подумаешь, — дразнила она, — Лобанов!

Однако здесь, на станции, Саша становился неуступчивым и, как говорил Борисов, «вымещал на Нине всю свою любовь».

— А мне Морозов знаешь что сказал? — нараспев говорила Нина. — Что твой Лобанов — карьерист. Ему нужно лишь сделать нашими руками этот локатор.

— Морозов — сплетник! Мы ему хвост прищепили, вот он и шипит! Неужели ты веришь?.. Нина, ты, по моему, попала под влияние отсталых...

Всякий раз, когда разговор касался Лобанова, Нина начинала поддразнивать Сашу и с удовольствием слушала, как он приписывает Лобанову самые невероятные достоинства. Она не стеснялась поддевать на этот же крючок Борисова и Рейнгольда, но те были сдержаннее. Впрочем, Рейнгольд за последнее время стал куда общительнее. Первый месяц после его прихода в лабораторию из него слова было не выдавить. А недавно, когда Саша хвастался пультом, Рейнгольд рассказал о больших станциях, которыми управляют на расстоянии.

Высокие ворота станции закрыты, в пустом светлом зале спокойно работают генераторы. На станции ни души. Пульт стоит за сотни километров, где-нибудь в Москве или Ленинграде. Дежурный подходит к этому пульту, всматривается в прибор и видит все, что творится на станции.

Работа на станции была первая в жизни Нины интересная работа. Никогда не забудет она день, когда опробовали смонтированный автомат. Рейнгольд, бледный, неловко, мучительно улыбаясь, повернул выключатель. Рука его дрожала. Нина впиалась глазами в приборы. Она уже знала, что они должны показывать. И все же не она первая уловила мгновение, когда генератор мягко подключился. Первым сказал Борисов: «Вот и все». Он вынул платок, вытер виски и пожал руку Рейнгольду.

Эти мужчины какие-то черствые. Столько волнений, ожиданий, а когда наконец свершилось, слова путного сказать не могут. И все же минута была удивительная, у Нины навертывались слезы от радости за Рейнгольда, за всех. Она никогда еще не испытывала такого счастья.

Явились сотрудники станции с поздравлениями. Принимали поздравления главным образом Саша и Нина, потому что Рейнгольд и Борисов были чем-то недовольны, шептались, заставляли Нину напаивать добавочные сопротивления, регулировать пружины...

Комиссию, приехавшую принимать автомат, возглавлял Потапенко. Заметив Нину, он издали приветливо помахал рукой:

— Ого, комбинезон, платочек... вас не узнаешь.

И все?.. Подойти постеснялся! А когда она работала секретаршей, явно ухаживал — на машине катал, духи дарил. Да... деловитый товарищ. Ну и плевать. Все мужчины обманщики... А все-таки Лобанов не такой. И, подумав о Лобанове, она почему-то опять пришла в хорошее настроение. Впрочем, Лобанов тут, разумеется, ни при чем, просто день был прекрасный. Теперь Рейнгольда поздравляли официально. Потапенко красиво говорил о содружестве науки и техники. Потом директор станции прочитал приказ с благодарностями всей бригаде. Нина услышала свою фамилию. К ней оборачивались, смотрели; чтобы не покраснеть, она наклонилась к Саше и сердито попросила перестать жать ей локоть.

Продолговатый лакированный ящик автомата висел, надежно приболченный, на боковой панели.

Завтра они уедут, думала Нина, а автомат останется здесь работать. И когда бы ей ни пришлось попасть сюда, она всегда сможет с гордостью спросить у дежурного: «Ну, как поживает наш автомат? Довольны им?» — «Спасибо вам, — скажут ей. — Теперь красота: нажал кнопку, и никаких забот...» Жаль только, что Лобанов не приехал. Он услышал бы приказ и тоже оглянулся бы на нее.

Ее отвлек Рейнгольд. Он сидел рядом с ней и весь подергивался. «Я не могу, — говорил он Борису, — что ж это происходит, товарищи...»

Из их разговора Нина поняла, что работу над автоматом необходимо продолжать, а станция и комиссия постановили включить этот единственный образец в эксплуатацию.

— Я выступлю, — сказал Борис.

Рейнгольд схватил его руку.

— Тогда выступайте сами, — рассердился Борис. Нина улыбнулась, — чтобы Рейнгольд да выступил! «Гиблое дело», — подумала она. Но в это время Рейнгольд с отчаянием махнул рукой, встал и заговорил. Он чем-то сейчас напоминал горящую головешку, которую хотят сунуть в воду, а она, отфыркиваясь, трещит и стреляет колючими, обжигающими искрами.

Жора Галстян, дежурный техник, сверкая глазами, прошипел Саше Заславскому:

— О себе заботитесь. Стыдно. Это вы его настроили.

— Автомат не вам одним нужен, — так же яростно отвечал Саша. — Его отработать надо, чтобы на всех станциях можно было установить...

— Ну и отработывайте. Нам и этот хорош.

Они уже ругались вслух, Рейнгольда было плохо слышно, он говорил, обращаясь только к Потапенко, подступал к нему вплотную и тыкал, тыкал маленьким костистым кулачком.

Саша призывал Нину в свидетели, она отмалчивалась. В душе она была на стороне Жоры Галстяна, ей было жаль прекрасного чувства удовлетворения завершенностью работы. Зачем Рейнгольд испортил такой чудесный день?

Потапенко поднялся, прерывая Рейнгольда, и, вкладывая жесткую силу власти в свои слова, подтвердил,

что прибор пока остается на станции, вопрос о дальнейших работах решится особо.

— Найдем возможности,— сказал он, но все понимали, что это просто формула прекращения скандала.

Жора Галстян ликовал.

— Слыхал?— допытывался он у Саши.— Учись, как государственно решать вопросы.

Борисов отозвал Нину в сторону и приказал немедленно ехать в город разыскать Лобанова, пусть он телеграфирует, как быть. К ним подошел Рейнгольд, он вовсе не походил на побежденного. Нину поразила перемена, которая произошла с этим человеком. Движения его стали размашистыми, голос громким, кепка сдвинулась набок, глаза злующие и веселые, как будто он радовался чему-то. Начал он возбужденно, с половины фразы, словно продолжал разговор:

— ...неужто я люблю станцию меньше их!

Один из станционных инженеров тронул его за плечо и встревоженно сказал:

— А знаете, Рейнгольд, Виктор-то Григорьевич остался недоволен вашим выступлением.

Рейнгольд передернул плечами.

— Да? Ну и пусть.— Он повернулся к Борисову.— А с благодарностями их — вот...— Он помахал перед носом Борисова выпиской из приказа и с мрачным наслаждением скомкал ее.

Борисов слабо поморщился:

— Зачем горшки бить!..

К городу Нина подъезжала воскресным утром. Перроны были запружены народом. Поминутно, с короткими гудками, отходили электропоезда. Мимо Нины спешили веселые компании с чемоданчиками, волейбольными мячами; светлые краски костюмов, крики мороженщиц — все это оглушило и ослепило Нину после лесной тишины.

— А ведь это Нинок!— услышала она вдруг. Чья-то рука опустилась на ее плечо. То был Ленька Морозов и вся ее старая компания. Они стали уговаривать ее поехать на взморье, милостиво прощая ей непраздничный костюм. Какая может быть работа в воскресенье! Работай, но помни, что ты не лошадь! Она не сразу отказалась, успев оценить свою самоотверженность. Пробираясь сквозь толпу, на всякий случай внимательно

смотрела по сторонам. Высокий широкоплечий мужчина в белой безрукавке, под руку с женщиной, читал расписание поездов. Что-то показалось знакомым Нине в наклоне его спины. Мог же поехать Андрей Николаевич за город в воскресенье? Она поспешила вперед, неприязненно косясь на женщину, со злорадством отмечая ее жилистые ноги, бесформенную талию.

Зайдя сбоку, она увидела близоруко сощуренное чужое лицо с мочальной бородкой. Собственная радость несколько смутила ее.

Прямо с вокзала она поехала к Лобанову. Стоя в трамвае, она как-то особенно остро осознала, что едет к нему домой. Ей стало не по себе. Нервничать, положим, нечего, держать себя она, слава богу, умеет. Туфли вот на низком каблуке. Надо было заскочить домой переодеться. Костюм этот тоже ей не очень идет.

Она подошла к дверям его квартиры совсем расстроенная.

Лобанова дома не оказалось. Толстененькая румяная девочка, участливо посмотрев на обескураженное лицо Нины, крикнула в глубину квартиры:

— Мам, тут дядю Андрея просят! Вы к нам приехали? — спросила она, глядя на чемоданчик в руке Нины.

— Таня, ты что же гостей не принимаешь? — спросила женщина в переднике, выходя в прихожую. Выслушав Нину, она попросила ее подождать и провела в комнату Андрея Николаевича. Скоро вернется отец, он знает, где Андрей.

Женщина извинилась и ушла в кухню, оставив Нину с девочкой.

Нина огляделась. Комната была небольшая, продолговатая, с окном во двор. Снаружи, во всю ширь окна, приделан ящик с цветами. Вдоль стены висели грубые некрашенные полки, плотно заставленные книгами. Вещи чувствовали себя здесь гостями, они жались по углам — несколько стульев, кушетка, тощий шкаф. Похозяйски расположился один лишь письменный стол, деловито неряшливый, закапанный чернилами, заваленный бумагами. Поверх раскрытой книги лежала коробка с карамельками и велосипедный насос. Это почему-то успокоило Нину, она спросила девочку:

— Твоя мама — сестра дяди Андрея?

— Сестра, — сказала Таня и, считая знакомство завязанным, сообщила Нине наиболее важные события: — Дедушка вернется скоро, он ушел в контору домохозяй-

ства, там сегодня открывают игрушечную библиотеку. Это дедушка придумал. Дядя Андрей говорит, что это хорошая... приятие, — запнулась Таня.

Нина, смеясь, поправила:

— Мероприятие.

Она подошла к столу. На стене висел портрет Маяковского с собачкой на руках. «Куплю сегодня книжку Маяковского», — подумала Нина.

Андрей с утра сидел в Публичной библиотеке, просматривая американские журналы.

Наморщив лоб, он пробежал глазами сообщения о водородной бомбе. С научным бесстрашием авторы вычисляли, какой мощностью должна обладать водородная бомба, чтобы радиус ее теплового действия был двадцать миль. Обсуждались различные проекты отравления рек радиоактивной водой. Всеобщий интерес вызывала проблема: достаточно ли взрыва кобальтовой бомбы, чтобы прекратить человеческую жизнь на земле. Компания «Белл-телефон» в рекламной статье сообщала, что ею возглавляется серийное производство ядерного оружия. Белл... вспоминал Андрей... Изобретатель телефона. Юношей Белл желал работать над слуховым аппаратом, мечтая помочь глухонемым. И вот через три четверти века его фирма работает над аппаратами, мечтая ими уничтожить миллионы людей. Да, думал он, эти личности давно бы пустили в ход свои бомбы, если бы у нас не было подобных бомб. И поэтому мы будем иметь то же, что имеют они, и даже больше, чтобы весь мир мог спокойно жить и работать.

В журналах Андрей искал сведений о докторе Раппе. Полгода назад Рапп опубликовал несколько интересных данных о прохождении коротких волн по проводам. Судя по всему, Рапп подходил к той же самой проблеме, над которой работал Андрей, подходил оригинально и совсем с другой стороны. С тех пор больше никаких сообщений о работах Раппа не появлялось. Вот и сейчас, тщательно просмотрев последние номера журналов, Андрей опять ничего не нашел. Молчание Раппа его несколько удивляло и беспокоило. Раньше статьи Раппа печатались регулярно. В прошлом годовом обзоре ассоциация американских ученых рекомендовала доктора Раппа как одного из талантливых молодых физиков Штатов. Откровенно говоря, Андрея подстегивало на-

личие такого серьезного соперника. Иногда не мешает, чтобы тебе наступали на пятки. Может быть, его работы засекретили? Маловероятно. Пока что исследования носили чисто теоретический характер. Поймав себя на чтении некрологов, Андрей улыбнулся — мало ли что могло случиться с Раппом: заболел, поссорился с шефом, наконец мог наткнуться на какое-то препятствие. На какое?

Заметив перед своим столом Нину, он механически поздоровался с ней, не удивляясь ее появлению, но, как только она начала рассказывать о том, что произошло, он вскочил.

— Эх, черт! — выдохнул он, мгновенно наливаясь гневом.

Пока он сдавал журналы, Нина оглядывала большой светлый зал, уставленный рядами письменных столиков, за которыми сидели старые и молодые люди. Тишину нарушал только шелест страниц, а за высокими окнами бушевал веселый солнечный день, и Нина старалась понять этих людей, жертвующих таким славным воскресным днем. Среди них были красивые, нарядно одетые девушки. Среди них был и Лобанов. Никто не заставлял их сидеть здесь, — это же не студенты, которым волей-неволей надо готовиться к экзаменам...

Лобанов потащил ее на улицу.

— Форменный грабеж, — ругался он на ходу. — Захватили автомат, как пираты. Зарабатывают себе дешевую популярность. А?

Нина не знала, что отвечать. Он круто повернулся к ней, так, что они чуть не столкнулись.

— Решать надо немедленно. А что решать?.. Опять все вверх тормашками! Опять локатор побоку, занимайся чужими делами... До каких пор мне так разрываться... К черту! — Он размахивал своими кулачищами прямо перед ее лицом. И хотя она понимала — будь на ее месте другой, Лобанов обратился бы к нему с теми же словами, — она была рада тому, что он делится с ней своей досадой. Охваченная сочувствием, она шла с ним, робко заглядывая ему в лицо, еле поспевая за его крупным шагом.

— А Рейнгольд-то каков! — вдруг засмеялся Лобанов. — Нет, вы вдумайтесь, Рейнгольд-то! Выступил против Потапенко. Так и сказал, да?

Нина повторила рассказ о Рейнгольде.

— Что же нам делать? — успокаиваясь, спросил он, обращаясь к ней, именно к ней. По тону его голоса она поняла — он действительно ждал ее помощи. Она считала себя просто курьером, а он обращался к ней как к товарищу. Ей страстно захотелось придумать что-нибудь удивительно умное. Как назло, в голову лезла всякая чепуха, вроде того чтобы украсть автомат. И почему она такая глупая?

— Чего вздыхаете, устали? — спросил Лобанов. — Давайте чемоданчик, я свинья — не заметил.

— Да нет, ничего, — смешалась Нина. — Андрей Николаевич, а главный бухгалтер не мог бы нам помочь?

— При чем тут бухгалтер?

Когда она была секретарем, ее всегда поражала власть главного бухгалтера; перед ним склонялись самые строптивые начальники, его слово было законом для всех.

— Пойдите, Нина, — закричал Лобанов, — вы гений! Эх, телефон бы его домашний.

Чего-чего, а это сколько угодно! Заученные номера телефонов всех начальников — это, пожалуй, единственное, что она вынесла из своего секретарства.

Они стояли рядом в тесной будке. Лобанов разъяснял главному бухгалтеру смысл случившегося:

— ...Придется изготавливать автомат заново, это вчетверо удорожит исследования.

Потом он прикрыл микрофон и, сияя своими зелеными глазами, шепнул Нине: «Ругается!»

Нина слышала, как главный бухгалтер кричал:

— ...Не разрешу им принять на инвентарь!

— И не дадите нам ни копейки денег на новый автомат? — спросил Андрей. — Не ругаю, а обнимаю. Вы защитник науки. Вы... вы богиня Минерва!

Они выскочили из будки, Лобанов сиял.

— За Минерву он не обиделся? — тоже улыбаясь, побеспокоилась Нина.

— Старик гимназию кончал... Да и чего обидного? Вы тоже Минерва!

Она не совсем поняла, что он хотел этим сказать и кто такая Минерва, но, несомненно, это было что-то хорошее.

Они забежали на почту, послали ликующую телеграмму Борису.

— Давайте отпразднуем нашу победу, — сказал Андрей. — Пойдемте в кино?

Она не видела, не слышала того, что творилось на экране. Рука ее лежала на подлокотнике, плечо слегка касалось плеча Андрея. Однажды он накрыл ее руку своей рукой, он сделал это так просто, что она поняла, насколько это несерьезно. С этого момента она сидела, боясь пошевелинуться, ожидая, когда он опять возьмет ее за руку. Его рука была где-то совсем рядом, она чувствовала тепло его кожи. Неверные голубые отсветы падали на его лицо. Он был целиком поглощен картиной, наклоняясь к Нине, приглашал ее посмеяться или посочувствовать. Нина уселась поудобнее и переместила руку. Теперь их плечи, их локти плотно прижимались друг к другу. Но вскоре Андрей отодвинулся, уступая ей место. И она потеряла то, что имела. Рука ее лежала такой одинокой...

Сколько молодых людей вот так же в кино пожимали, ласкали ее руки, ей было приятно, но она никогда не стремилась к этому, не ждала этого. Сейчас же самым главным в жизни казалось ей прикосновение его руки. Она была бы счастлива, возьми он ее пальцы в свою широкую ладонь. Ничего, ничего ей больше не надо.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Поддержать Лобанова на техсовете мог директор Пролетарской ГЭС Калмыков. За несколько часов до заседания Потапенко позвонил Калмыкову и попросил немедленно подготовить ответ на письмо министра.

— Ах да, техсовет, — рассеянно спохватился Потапенко. — Ну ладно, ладно, твое счастье, можешь не приезжать, пришли кого-нибудь.

Придвинув список членов технического совета, Виктор поставил минус против фамилии Калмыкова. Борисова тоже не будет... Ну, теперь вроде всё. В каждом деле нужна подготовка. Управлять людьми — значит предвидеть. И Виктор даже немного жалел Андрея. А вообще ему полезно будет. Сегодня, дружище, тебе предстоит убедиться, что есть еще и другая наука и что с Виктором Потапенко бороться не следует. Потапенко может взять тебя за шиворот, как щенка, и отщелкать по носу. И сделает это он даже не своими руками.

Вопрос о новом плане работ лаборатории стоял последним в обширной повестке дня. Андрей хотел было протестовать, но, заметив отсутствие Калмыкова, промолчал, надеясь, что вскоре Калмыков подойдет. Через полчаса вместо Калмыкова появился Краснопевцев — союзник, как понимал Андрей, малоавторитетный.

Воздух посинел от табачного дыма. Напряженное ожидание утомило Андрея. Заседание шло третий час. Члены техсовета тоже устали. Некоторое оживление внес проезд профессора Тонкова.

— Вы разрешите? — стоя в дверях и кланяясь, приятно пророкотал он.

Долгин вскочил, освобождая кресло. Тонков поздоровался с главным инженером, с Потапенко, величественно кивнул остальным и уселся, положив перед собой толстый портфель желтой кожи с монограммой.

— Товарищи, мы пригласили сегодня на заседание Юрия Ильича Тонкова, — провозгласил Потапенко, не глядя на Андрея.

Главный инженер придвинул гостю план работ лаборатории, рассказывая вполголоса, о чем идет речь.

Тонкову нравилось почтительное внимание, которым встречали его производственники. Он считал себя главой школы, ему полагалось руководить институтом, раздавать идеи. Тратить силы на научную работу он не мог и считал неразумным. Он использовал молодых, они росли под его руководством, они выполняли его исследования, и он позволял им быть соавторами, так было лучше для них, по крайней мере их печатали без промедления. Он еле успевал бывать в различных комиссиях, комитетах. Он испытывал удовлетворение от непрерывного потока телеграмм, пригласительных билетов, повесток. Ему нравилось жаловаться на свою загруженность. Он был значим, нужен. И кто знает, может быть, действительно на нем держалась наука?

Когда наконец добрались до последнего пункта повестки дня, кто-то предложил перенести вопрос об электролаборатории на следующее заседание. Главный инженер посмотрел на Лобанова.

— Обязательно, обязательно надо обсудить сегодня, — горячо сказал Андрей.

Все задуманные Андреем мероприятия упирались в утверждение плана. Десятки раз Андрей требовал от главного инженера дать возможность лаборатории заниматься хотя бы несколькими научными исследовани-

ями и постоянно наталкивался на какое-то вязкое, изнуряющее, непонятное противодействие. Если бы ему сказали твердое «нет», он мог бы потребовать объяснения. А то все соглашаются, кивают головами... и все на этом кончается. Нет, не кончается, а тянется, тянется без конца. И не придерешься — говорят радушно, искренне: «Разумеется, вот только утвердим план, и тогда — пожалуйста». Все ссылались на план; таким образом, от плана зависело и направление работ, и создание его собственного локатора, и оборудование.

Потапенко неожиданно поддержал Андрея.

— Мы этот вопрос решим быстро, — сказал он, показывая, что отстаивает интересы лаборатории, и в то же время низводя обсуждение в разряд тех удобных незначительных дел, когда от членов совета требуется лишь проголосовать.

Докладывая о своем новом плане, Потапенко говорил как о предрешенном вопросе, устало, почти небрежно, останавливаясь лишь на наиболее выигрышных местах. Для каждого предприятия у Потапенко был приготовлен сюрприз. Пожилой мастер, кабельщик Наумов, положив карандаш, записал себе: «Электронагреватель».

— Давно пора. Костры жжем на улицах. Срам, — пробормотал он.

— Может быть, кое-кому покажется, что в плане мало чисто научных работ, — сказал в заключение Виктор, — но нам следует в этом году прежде всего обеспечить насущные нужды наших предприятий, поднять элементарную культуру производства, а затем уже приниматься и за высокие материи.

Все понимающе улыбнулись. Виктор так же мягко и устало ответил на вопросы и, собрав бумаги, уселся по левую руку от главного инженера.

— Какие будут суждения? — спросил главный инженер.

— Ясно, — пробасил с места директор Комсомольской Тарасов. — План правильный. Лишь бы выполнили.

Слово предоставили Лобанову. Резкий звук его голоса сразу согнал миролюбивое настроение. После мягкой речи Потапенко слова Андрея резали слух своей грубостью.

Он сам чувствовал, что взял излишне круто, что аудитория раздражается против него, но поведение Виктора, и подозрительный приезд Тонкова, и вся об-

становка, которая явно складывалась не в пользу Андрея, вынуждали его рисковать.

— У нас сильный коллектив, средства... А вы хотите из пушки по воробьям. Разве так надо использовать нас? Кто же будет решать настоящие проблемы технического прогресса? Выходит, некому. «Электронагреватели»... — с издевкой повторил он. — Возможно, для технического отдела это верх науки. А я гарантирую: вот вы, товарищ Тарасов, поручите это любому инженеру на станции, он сделает нагреватель с тем же успехом, что и мы.

— Как же, больше нам делать нечего, — отозвался Тарасов.

Главный инженер постучал карандашом. Чем безнадежнее становилось положение Андрея, тем яростнее он нападал. Вместо плана Потапенко он призывал утвердить план настоящих научных работ. Тут были и усовершенствование автомата Рейнгольда, и автоматизация управления котлами на теплостанциях, и локатор.

Он критиковал каждого из двадцати человек, сидящих перед ним за длинным, крытым зеленым сукном столом, он обрушился на главного инженера и директоров станций, испытывая радость уже оттого, что наконец начался открытый бой.

— ...Вы, товарищ Пятников, прославились наладкой приборов, — обращался он к монтеру Пятникову, — а вдуматься, так все ваше умение от нашей отсталости идет. Приборы наши давно пора выбросить и поставить вместо них автоматы, освободить людей от тяжелого труда. Давно пора. Вы не виноваты, товарищ Пятников, но, честное слово, вы мне напоминаете старорежимного писаря с гусиным пером, когда кругом стучат машинистки...

— Регламент! — строго напомнил Долгин.

— Сколько вам надо? — спросил главный инженер. Андрей попросил десять минут, члены совета зашумели. Андрей, ни слова не говоря, сел на место.

Перед ним положили записку: «Правильно. Только не горячитесь». Подписи не было, и эта трусливая поддержка не обрадовала Андрея. Он почувствовал усталость. Мускулы лица ослабли, голова стала тяжелой. Но когда начал выступать Наумов, он словно ожил.

Потапенко ввел Наумова и Пятникова в техсовет в качестве парадных фигур: представители рабочих. Заслуженный мастер, Наумов выступал крайне редко,

это был добрый, очень мягкий человек из той категории безответных, скромных работяг, для которых легче проработать целый день, чем сказать пятиминутную речь. Однако сейчас, конфузливо тиская в пепельнице дымящую папироску, Наумов сказал, что все же локатор им, кабельщикам, понужнее электронагревателя.

Вслед за Наумовым выступил Пятников и бойко отчитал и Наумова, и Лобанова. Не касаясь существа дела, он начал говорить о рабочем классе, о техническом прогрессе, о том, что Лобанова не интересует инициатива рабочего класса, ему ничего не стоит обидеть рабочего человека.

Все помнили, что ничего такого Лобанов не говорил, но Пятникову сочувственно кивали и успокаивали его, укоризненно поглядывая на Андрея, — разве можно обижать рабочего человека, да еще знатного нашего рабочего.

Андрей с надеждой посмотрел на Краснопевцева, — тот опустил глаза, лицо его стало сонно-безразличным.

«Герой коридора», — презрительно подумал Андрей.

Однако у Лобанова нашлось несколько неожиданных приверженцев. Инженер высоковольтных линий передач сказал:

— В Америке на заводах существует особая должность — «думающий инженер». Он занимается исключительно рационализацией. Ходит по цехам и думает. Его обязанность дать в год экономии на такую-то сумму. Вникните, товарищи, какое уродство: один думающий инженер, и то за деньги.

— Зачем им думать, завод чужой, — сказал главный инженер.

Говоривший повернулся к Тарасову и, воинственно указывая на него пальцем, перешел в нападение:

— Плохого вы мнения о наших инженерах. Бойтесь доверять им. А они с удовольствием займутся небольшими исследованиями. Не возьмутся — так заставим. А лаборатория пусть и впрямь высокими материями занимается.

— Высокая-то высокая, да чтобы материя была, — усмехнулся главный инженер.

Виктор улыбнулся вместе со всеми, хотя ему вовсе не было смешно. Подобно опытному врачу, который бдительно следит за пульсом больного, он сразу почувствовал неприятные перебои в ходе заседания. Что-то переменилось. Как ни мало было сторонников у Лоба-

нова, их слушали с каждой минутой внимательнее. Последняя реплика главного инженера звучала вполне одобрительно.

Виктор видел, как Андрей поднял голову и, внимательно слушая, быстро записывал. Наверно, думает снова выступить. Губу закусил, лицо спокойно, что-то придумал. Виктор незаметно кивнул Долгину.

Опираясь кулаками о край стола, Долгин дождался особой, многозначительной тишины. Если бы никто не понимал языка, на котором он говорил, то по драматически звенящему, прокурорскому голосу, по тому, как Долгин грозно наклонялся вперед, стал бы ясен разоблачительно-осуждающий характер его слов.

Пятников поместился удобнее в кресле, глаза его забегали от Долгина к Лобанову, и многие взгляды тоже обратились к Лобанову, проверяя, действительно ли этот человек способен на такое.

Долгин обвинял Лобанова в том, что пересмотр плана вызван исключительно желанием Лобанова заниматься локатором. Лобанов пришел в лабораторию ради локатора, это ни для кого не секрет. План, выдвинутый им, — фикция, она нужна, чтобы маскироваться. Отсталые настроения Лобанова проявляются в безразличии к нуждам производственников. Отрыв от масс, выразившийся в создании обособленности инженерных работников лаборатории, осужден партийными органами. Лобанов пытается использовать ситуацию в целях получения материальных средств для занятий над локатором. Очевидно, он запланировал докторскую диссертацию, статьи. Вот в чем подоплека происходящих событий!

Обтянутое бледной кожей гладкое лицо его поднималось все выше, в скорбном негодовании. Вместо «товарищ Лобанов» Долгин употребил местоимение «он», и это придавало его словам какую-то особую, разоблачительную окраску.

— Наши лучшие изобретатели-рационализаторы не требуют государственных средств на разработку своих идей. Возьмите, к примеру, товарища Рейнгольда. Мы его не освобождали от работы, не окружали его помощниками...

— Ложь!.. — крикнул Андрей. — Как вам не стыдно, Долгин! Вы же член парткома!

— Критику надо любить, — бесстрастно ответил Долгин. И, отвернувшись к главному инженеру, сурово

продолжал: — Пока что у него существует одна голая идея локатора. Используя свое служебное положение...

— Товарищ Долгин, мы здесь разбираем не поведение Лобанова, а план, — вмешался главный инженер.

Долгин запнулся. Все зашевелились, заговорили, освобождаясь от угнетающего набата этого медного голоса. Наумов наклонился к Андрею, похлопал его по коленке:

— Загнул, загнул Долгин. Напустил дыму.

Инженер-высоковольтник отозвался вполголоса:

— Дыму много, а нажарено мало.

Тем не менее обвинения Долгина достигли цели.

— Вот оно в чем дело, — сказал Тарасов, — нам советуют нагреватели делать, а сами будут научный капитал наживать.

— Насчет капитала, — подхватил Долгин, — предлагаю заслушать ценное мнение профессора Тонкова, крупнейшего специалиста по этому вопросу.

Он не заметил двусмысленности своей фразы. Главный инженер прикрыл подбородок рукой, чтобы спрятать улыбку, и сказал:

— Мы были бы рады.

Тонков погладил бороду, откашлялся и задумался.

Легкий шепоток пробежал вдоль стола, и наступила почтительная тишина.

«Ловко придумано», — стинув зубы, усмехнулся про себя Андрей.

Нарушая эту почтительную тишину, Андрей вдруг потянулся и шумно зевнул, похлопывая рот ладонью. Он сам не понимал, зачем он это сделал. Наверно, это было единственное, чем он мог выразить свое презрение к Тонкову, и к Долгину, и к тому спектаклю, который будет сейчас здесь разыгран.

Мальчишеская выходка Лобанова никому не понравилась. Главный инженер покачал головой, даже Наумов смутился.

Кротко пожав плечами, Тонков рассказал, как он имел возможность ознакомиться с идеей аспиранта Лобанова и еще тогда предупредил его о бесплодности этой темы. Нужную точность получить на локаторе невозможно... Ему не хотелось бы полагать, что в данном случае Лобановым движут какие-то низменные мотивы, будем все же считать, что имеет место искреннее заблуждение молодого ученого. Он, Тонков, рекомендует продолжать совершенствовать существующий метод,

дополнив его новыми разработками Тонкова, поскольку этот метод лежит в русле всех традиций русской науки. Его институт согласен взять на себя доведение этого метода в содружестве с электролабораторией.

— Будем надеяться, что такая дружба окажется плодотворной как для вас, Андрей Николаевич, человека, вступающего в науку, так и для всего коллектива лаборатории, — эффектно закончил он, показав всем, насколько интересы науки он ставит выше личной антипатии.

В сравнении с дерзостью Лобанова предложение Тонкова выглядело чрезвычайно благородно. Тонкову пожимали руки, он кланялся, улыбался, блестя красивыми большими зубами.

Андрей сказал хриплым от долгого молчания голосом, что старый метод был отвергнут им еще во время работы над диссертацией, еще тогда он убедился в бесплодности штокки этой рухляди. Для него вопрос ясен: он не намерен заниматься реставрацией изношенного старья.

Вот когда Виктор Потапенко улыбнулся от души, потому что он точно предвидел такой поворот событий.

— Разрешите, Дмитрий Алексеевич? — спросил он у главного инженера. — Конечно, жаль, что Андрей Николаевич так категорически отказывается от предложения профессора Тонкова. К счастью, у нас есть выход. Молодой талантливый инженер лаборатории Устинова горячо берется за это исследование, и я думаю, мы всячески поддержим ее инициативу.

«Сговорились за моей спиной. Так... так», — возмущенно думал Андрей. По раскрытому листку блокнота бежали записи его возражений Долгину и Тонкову, формулы, доказательства. Прочь. Ничего не нужно. Он выдернул листок и разорвал. На мгновение встретился взглядом с Виктором и в глубине его черных глаз увидел злорадное напряженное ожидание. И тогда, готовый к тому, чтобы заявить, что он отказывается от руководства лабораторией, Андрей вдруг понял, что на это и рассчитывал Виктор. Все, что происходило на техсовете, сводилось к этой ловушке. Она оставалась замаскированной от всех, кроме него и Виктора.

— Товарищи, я вынужден подчиниться, — медленно сказал Андрей. — Поскольку я оказался в меньшинстве, кое-кто может считать, что я был неправ. Но я буду

действительно неправ только в том случае, если не добьюсь своего.

Глаза Виктора полузакрылись; когда он открыл их, они были снова безмятежно ясные, с облачным лукавым и приветливым блеском.

Главному инженеру захотелось приободрить Лобанова:

— Важен результат, Андрей Николаевич. Какой метод, каким прибором — дело десятое. Нам важно иметь гарантию. Мне кажется, профессор Тонков предлагает надежный путь.

— Дмитрий Алексеевич, яичный порошок, конечно, надежнее, — сказал Андрей. — Мы не рискуем нарваться на тухлое яйцо. Но ведь порошок невкусен.

Главный инженер рассмеялся:

— Ага, а тухлое яйцо все-таки возможно? Вот то-то и оно.

Этой фразой он как бы подводил итог своим размышлениям. Какая-то часть его души была на стороне Лобанова. Сквозь неуклюжую резкость лобановских слов, сквозь его задиристость, неумение ладить с людьми Дмитрий Алексеевич разглядел и другое — Лобанов смело ставил коренные проблемы автоматизации, и, если даже Долгин и прав, Лобанову нельзя отказать в таланте и страстной вере в свой локатор. Чутьем опытного администратора Дмитрий Алексеевич угадывал какую-то продуманность в действиях Потапенко, и этим же чутьем он руководствовался в своем решении: Лобанов по сравнению с Тонковым фигура не авторитетная. Если провалится Лобанов со своим локатором, ему, главному инженеру, скажут: куда же вы смотрели, поручили мальчишке, сами виноваты; если провалится Тонков, всегда можно возразить: Тонков — человек заслуженный, кому же было поручать, как не ему. И все согласятся.

Большинством пятнадцати против четырех технический совет одобрил план, предложенный Потапенко. Воздержался Краснопевцев.

Весь план, выдвинутый лабораторией, в том числе и локатор, — все было отклонено.

Виктор догнал Андрея в гардеробе:

— Домой? Я тебя подвезу.

— Пошли, — рассеянно ответил Андрей.

Они вышли из подъезда, молча постояли, глубоко вдыхая чистый воздух.

— Давай договоримся, — сказал Виктор, — после работы, как бы мы там ни ссорились, мы прежние друзья. Не люблю я смешивать эти вещи.

Андрей спустился на ступеньку, лицо его пришлось вровень с лицом Виктора.

— Нет. Не выйдет. В деле врозь — и вообще врозь. Не могу я с тобой миловаться. Вот. Тебе куда? Ах, в машину! Ну, пока.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Пройдя сотню шагов, Андрей остановился и повернул назад, в Управление. Он взял в охране ключи и пошел в лабораторию. С четверть часа стоял он у себя в кабинете перед столом, не зажигая огня, рассматривая спинку кресла. В «инженерной» невнятно бормотало радио. На улице сипло покрикивали автомобили.

На столе белел вырванный из блокнота листок. Андрей взял его, поднес к глазам. «Вам несколько раз звонил Фалеев», — разобрал он почерк Майи Устиновой. Он аккуратно сосчитал число букв в записке, возвел в куб, потом извлек квадратный корень. Вспомнилось, как Фалеев, прощаясь, говорил: «Ты вернешься. Я надеюсь, ты скоро вернешься».

Андрей положил листок обратно, выдвинул ящик стола, на ощупь разыскал среди бумаг тонкую папку со схемами локатора. Не торопясь, он развязал тесемки, проверил листки. Вынул из наклеенного кармашка кусочек провода. Изоляция совсем высохла и крошилась в руках. Как будто снова он увидел заоченелые пальцы Глеба и тикающие на холодной руке часы. Положив провод на место, он завязал папку. Больше ей тут оставаться не к чему. Нечего ей тут делать.

Он оглядел комнату, не забыл ли он еще чего-нибудь.

Он положил руку на телефон. Холодная трубка казалась очень тяжелой.

Он медленно набрал номер. Сухо отщелкивая, крутился диск. Услышав голос Фалеева, Андрей секунду молчал, преодолевая желание повесить трубку.

— Это Лобанов, — сказал он. — Ты звонил?

— Целый вечер звонил, — обрадовался Фалеев. — Как живешь? Ушел от нас и совсем оторвался. Ну, как там работается, много успел с локатором?

— Все в порядке,— сказал Андрей.— Полный порядок.

— Не разочаровался еще?

— С чего ты взял... Что нового у вас?

— Может, просто скрываешь, Андрей, а? Мы место штатное получили, доцента. Рассчитываем на тебя. Старик разболелся, я один верчусь. Совсем запарился... Ты чего молчишь?— подождав, спросил Фалеев.

— Ты за этим звонил?

— Что-то с тобой творится, Андрей.

— Ничего не творится.

— Послушай, к нам послезавтра американская делегация приезжает. Хотел пригласить тебя для представительства. Ты ведь по-английски свободно понимаешь.

— Понимаю. Может, приеду.

Несмотря на позднее время, улица была полна народу. Стоял первый по-настоящему летний вечер. На бульваре пахло свежими листьями, травой. Люди смеялись, разговаривали, и никому не было дела до Андрея. Острое чувство одиночества, какое бывает только у очень старых людей, охватило его.

Он подошел к братской могиле, начал читать слова, высеченные на граните:

НЕ ГОРЕ, А ЗАВИСТЬ РОЖДАЕТ СУДЬБА ВАША
В СЕРДЦАХ ВСЕХ БЛАГОДАРНЫХ ПОТОМКОВ.
СЛАВНО ВЫ ЖИЛИ И УМИРАЛИ ПРЕКРАСНО.

Андрей покачал головой: «Вот, Глебушка, какие тут у нас дела», зябко повел плечами и пошел, не выбирая дороги. Он двигался все быстрее и быстрее, стараясь как бы раствориться в движении. На каком-то перекрестке над его ухом пронзительно взвизгнули тормоза. Андрей вздрогнул, мускулы его сработали быстрее, чем мысль, он отскочил в сторону. Прямо перед ним остановился высокий грузовик. От резкого тормоза заднюю часть кузова занесло в сторону. Покрышки дымились. Шофер высунулся из кабины и закричал на Андрея яростно, но с облегчением. Андрей вернулся на тротуар. Пройдя несколько шагов, он опомнился, мурашки пробежали по спине. На висках выступил пот. Андрей оглядел ноги, руки и содрогнулся. К чему-то готовился, куда-то рвался, а сделать ничего еще не успел. Кто-нибудь подобрал бы его лиловую папку, отдали бы ее отцу или в лабора-

торию, и там бы она лежала и лежала. И неизвестно, жил он когда-нибудь или вовсе не жил. «Славно вы жили и умирали прекрасно...» Ноги его ослабели, никогда еще, ни на фронте, ни после, он не испытывал такого страха перед смертью.

Завидев пивную, он зашел и устало присел за столик. Официант что-то спросил у него, Андрей несколько раз кивнул головой. Потом перед ним очутился стакан водки, кружка пива и два бутерброда. Он выпил водку не поморщившись, не закусывая. Приятная теплота обожгла желудок, но мысли оставались ясными. В углу пивной баянист лениво играл «Дунайские волны». Пахло сыростью и табаком. Напротив Андрея, подмяв кулаком щеку, сидел одутловатый мужчина с красным шмыгающим носиком. Сдувая пену с пива, он из-под нависших седых жидких волос смотрел на Андрея. Глаза у него были живые, умные и словно чужие, как будто кто-то подошел сзади и смотрит в дырки, пробитые на испитом, дряблом лице.

— Не берет? — заботливо спросил мужчина. — А вы глоточками, помаленьку и сразу пивцом запивайте. Никита! — крикнул он официанту. — Два и кружку! С радости напиться легко. С горя это труднее. Я третий день пью, и как в раковину. А раньше взял маленькую — и готов. — Он повертел принесенный стакан. — Выпьем? Каждый за свое. Вы инженер, я знаю. Теперь всё инженеры, инженеры. Век машин и витаминов. Ну, да мне все равно.

Они сдвинули стаканы и выпили.

— И сразу пивца. Оно и забродит, — мужчина шмыгнул носом и вдруг забеспокоился. — Постойте, я о чем?.. Ага, вот, знаете, если бы мне завтра умирать, я бы ему высказал все.

— Кому?

— Начальнику, конечно. Я на него десять лет работаю. Он лауреатом стал, а я как был, так и остался. — Он с каждой минутой пьянел, но глаза его оставались трезвыми. Говорил он лениво, без чувства, как будто рассказывал о чем-то постороннем, малоинтересном. — Вчера он мне преподносит: «Давайте, говорит, Евгений Семенович, ваши образцы, я их обработаю: потому, дескать, вам дальше не под силу. А сами готовьтесь в новую экспедицию». Он обрабатывает! Там все сделано — он обрабатывает. Фамилию поставит сверху — и конец. Так

каждый раз. У него несколько таких овец, вроде меня. Стрижет их аккуратно.

— Почему же вы терпите? — спросил Андрей.

— Вы пейте пиво. Хорошее пиво. А то оно нагреется.

— Нет, оно холодное.

Мужчина отставил кружку, рука его дрожала, и пиво выплеснулось на стол.

— Пойдите, я на чем остановился?

— Оставим этот разговор, — сказал Андрей.

— А-а-а, так вот, образования, то есть диплома, у меня нет. Кто я против него — тля! Пока со мной разберутся, он из меня форшмак сделает. Жизнь, мой дорогой сосед, пока что неудобоваримая штука. Жена у меня. И дочь. Мне критиковать жена не разрешает. Уважительно? Мой вам совет: если боитесь одиночества — не женитесь. Или поздно уже?

— Нет, еще не поздно.

Светло-желтая лужица пива растекалась по скользкому мрамору. Андрей следил, как закругленным мыском она подползала к рукаву. Пришепетывающий голосок утомляюще бился в уши:

— ...заболеть бы раком, тогда бы я высказался на чистоту. При всех, на собрании встал бы и спокойненько рассказал. Все, что знаю. Паук, сволочь, обворовываешь людей, не уважаю я тебя, плевал я на тебя, я не хуже тебя могу писать... Он ведь всего-навсего плюс. Он не самостоятельная величина. Плюс, и все. Пусть я единица, а он плюс. А плюс сам по себе не имеет смысла.

— А кто он такой? — спросил Андрей.

Человек шмыгнул носиком, оглянулся и, хитро зажмурясь, погрозил Андрею пальцем.

— Вы слизняк, — сказал Андрей, пробуя выговаривать твердо. — Бунтарь на коленях! Раком заболеть, тьфу. Ты думаешь, я стану таким, как ты? Не в-выйдет. Уже не вышло.

Сквозь дырки в сизом студенистом лице на Андрея снова глянули чужие, трезвые глаза.

— Вы правы, — неожиданно согласился человек. — Я смирный, беспринципный. Но нас много, — он печально скривил бесцветные губы, — да, нас много.

— Ложь. — Андрей встал, глотнул воздух. — Нас больше. Будь вас много, вам бы негде спрятаться было. — Он успокаивался, слушая свой громкий голос. —

Вы прячетесь за спинами настоящих. Дезертиры. Вы сами себе противны. Я предпочитаю иметь дело с вашим шефом, чем с вами: его по крайней мере приятно бить по морде.

Пивная лужица поползла до папки. Опираясь о край столика, Андрей выложил деньги.

— Паскудно то, — с отвращением сказал Андрей, — что вы такое ничтожество, — вас ничем не проймешь.

...В столовой горел свет; отец, всхрапывая, дремал в кресле. На столе, укрытый газетой, стоял ужин. Андрей, задев стулья, подошел, тронул отца за плечо.

— Иди спать, — сказал он.

Николай Павлович виновато потер глаза:

— Ждал, ждал и проспал. Ты давно пришел? Ну, как решили?

Андрею хотелось скорее остаться одному, никому и ничего не рассказывать, не выслушивать утешения. Лечь и заснуть. Он сам был виноват — задолго до этого дня он заразил домашних своими тревогами.

Сперва нехотя, но постепенно распаляясь, переживая то, что было, он стал рассказывать. Ему приходили на ум новые доводы, которые он не сообразил привести на заседании, и от этого его досада возрастала. И, приводя сейчас эти запоздалые доводы, он только сильнее убеждался в несправедливости случившегося.

Старый и молодой Лобановы внешне были непохожи: Николай Павлович и ростом был ниже, лицо вытянутое, кончик носа шариком, не приплюснутый, как у Андрея, глаза выцвели и стали голубоватыми. Но было между ним и сыном глубоко запрятанное внутреннее фамильное сходство, то самое, про которое в народе говорят «одна кровь». В этот момент оно проявилось даже в позах — оба сидели прямые, вздернув головы, неудобно подавшись вперед.

— Чего молчишь? — обиженно спросил Андрей.

— А какой с тобой, с пьяным, разговор, — брезгливо сказал Николай Павлович, — выпороть бы тебя.

Андрей посмотрел на высохшие, со вздутыми синими венами руки отца, и ему вдруг стало грустно оттого, что эти руки никогда уже не смогут взять ремень и отхлестать, как бывало.

Как быстро уходило время и уносило с собой то единственно навсегда близкое, самое родное на земле,

которого потом будет всегда не хватать и которым так преступно пренебрегаешь, пока оно есть.

Бледный, с закушенной губой, он сдвинулся на край кресла, и, неловко обнимая отца, порывисто уткнулся ему лицом в живот. Цепочка часов холодила щеку, и от цепочки и от старенькой, вязанной еще матерью жилетки исходил знакомый родной запах. Он почувствовал, как на голову ему легла рука отца.

— Уйду я, пап, уйду я, — сдавленно сказал он. — Не могу... говорят — карьерист... маскируюсь... Уйду. Поступлю в институт... К Одинцову тоже нельзя... А здесь — один против всех.

— А твой Борисов, а лаборатория? — спросил отец. Андрей поднял голову, веки его нервно вздрагивали.

— Ну что Борисов? Что мы можем?

— Напиши в министерство, в ЦК, в газету... — Николай Павлович отстранил Андрея, встал, заходил по комнате молодым, быстрым шагом. — Мало ли куда обратиться можно. Придумать — это еще не фокус, ты вот сделай до конца. Ты добейся.

Андрей махнул рукой:

— Годы уйдут на это. Не понимаешь ты... Разве такую стену прошибешь?

— Трудов жалеешь?

— Трудов! — Андрей вскочил, пошатнулся, расставил ноги. Ноздри его широкого носа раздулись. — Я могу по восемнадцать часов в день, не надо мне выходных, не надо отпуска. Дайте только работать. Своим делом заниматься. Приду я жаловаться в горком. Как им судить? Что у меня есть? — Он потряс руками. — Ничего у меня нет. На чем доказывать?! На пальцах?

— Когда тебе было пятнадцать лет, ты брался перевернуть науку. Помнишь с плитой дело? Нет, сынок, не под силу тебе, видать... Ты еще первый кусочек хватил, и уже не по зубам. Не можешь — отойди в сторонку и не путайся. Слишком легко тебе все доставалось. Изнежился. В институт захотел — пожалуйста. В аспирантуру — уговаривали: подавайте заявление, Андрей Николаевич. В лабораторию пожелал — будьте добры. Гладенькая дорожка у тебя была. Так и думал по ней катиться? Ан глядишь — стукнули, и сразу авария. Расхныкался. Слушать тошно.

— Так ведь несправедливо стукнули! — крикнул Андрей.

— Ты не кричи. Ждешь, чтобы тебе справедливость на блюдечке поднесли. За справедливость надо драться. Ты народ винишь, ты себя вини, что не убедил их...

Снова Андрей был мальчишкой. Перед ним стоял не больной старик, о котором он привык заботиться, водить гулять, с которым всегда было некогда посидеть, а сильный человек, умница, много повидавший и испытывавший в жизни, и ни смерть матери, ни болезнь, ни старость не сломили его.

Горячим туманом застлало глаза. Он не стыдился. Послушно, как мальчишка, позволил отвести себя к кровати. Там и заснул, не отпуская сухую, шершавую руку отца, совсем как в детстве.

Проснулся Андрей раньше обычного. Казалось, ночью в разговоре с отцом не было ничего решено. Несколько минут он продолжал лежать, проклиная опостылевшую лабораторию и самого себя за то, что она ему постыла. Вскочил, прошелся в трусиках, босиком по холодному линолеуму, распахнул окно. Напротив девушка, стоя на подоконнике, протирала стекла и пела:

Посмотри, милый друг,
Как прекрасна весна на рассвете...

Вслед за взмахами ее руки по стеклу тянулся прозрачный блеск.

Славная вещь — утренняя гимнастика! Выгнуться, ощущая свое тело от подошвы до шеи. Раздуть легкие так, чтобы свежий ветер ходил в груди. Почувствовать каждую свою клеточку. Крепкие у нас руки? Крепкие! Сердце? Здоровое! Грудь? Широкая. Но мы будем еще сильнее. Пригодится.

— Ты чего это размахался? — Отец, улыбаясь, стоял в дверях. — Иди-ка сюда, — позвал он внучку. — Ты знаешь, как я этого мужчину вчера отлупцевал? Пусть он тебе расскажет. А то ты думаешь — дедушка только грозиться умеет!

— Дядя Андрей, это правда? — вытаращив глаза, спросила Таня.

В семье Лобановых сохранилась прямота отношений, свойственная рабочим семьям, и поэтому грубоватое напоминание отца о вчерашнем не показалось Андрею бестактным. Клин вышибается клином.

— Это еще что,— Андрей рассмеялся и поднял Танию на руки,— когда мне лет четырнадцать было, вот тогда мне шибко от дедушки доставалось.

И он рассказал ей про случай с плитой, о котором ему вчера напомнил отец.

Они жили тогда на Днепрострое, в большом деревянном бараке. Кухня была общая, с длинной чугунной плитой. Первой обнаружила случившееся Мария Федотовна. Ей понадобилось снять с плиты сковородку. Она протянула руку и с криком отскочила от плиты. В течение последующих трех минут все женщины убедились, что на плите ни к чему нельзя прикоснуться. Кастрюльки, сковородки, миски — все было под током. Кто-то попытался вытащить свой чугунок палкой, чугунок опрокинулся, паром заполнило всю кухню. Женщины суетились и бегали вокруг плиты, где подгорали каши, выкипали супы, валил дым и чад.

— Я знаю, чьи это проделки!— кричала Мария Федотовна, подступая к Лобановой.— Это ваш хулиган!

— Конечно он, больше некому! Сколько терпеть эти безобразия! Называется — мать!— кричали хозяйки.

Они разгневанно обступили тоненькую, как травинка, женщину. Она и не пробовала защищаться. Единственно, с чем она не соглашалась, что он сделал это со зла. Но малейшее упоминание об Андрее только пуще распаляло женщин. Они припоминали все беды, причиненные этим мальчишкой.

Это он устроил автоматическую защелку на дверях, которая испортилась как раз в тот момент, когда Николаевы спешили на поезд. Пришлось взламывать двери.

Это он придумал солнечный кипятильник и чуть не устроил пожар.

Это он пропускал какие-то радиоволны через кошку Марии Федотовны, от которых кошка взбесилась.

Вечером Николай Павлович по настоянию барака выпорол Андрея. Все пять семей остались в тот день без обеда.

Ночью Андрей пробрался на кухню и вытащил из-под плиты самодельный трансформатор. Ладно, оставайтесь со своими дровами и керосинками вместо высокочастотного нагрева. Задыхайтесь и мучайтесь. Раскаетесь когда-нибудь, да будет поздно. Люди отказывались от великого изобретения, они били и преследовали изобретателя. Он недавно читал о Галилее, и мысль, что судьбы их чем-то схожи, немного утешала его...

Припоминая сегодня об этом случае, так же как вспоминал вчера отец, Андрей незаметно присоединил свою нынешнюю беду к цепи уже прошедших бед, каждая из которых тоже казалась когда-то непоправимой.

На работу Андрей ходил пешком. Город, словно умытый чистым ночным воздухом, прибранный в ожидании наступающего дня, каждое утро встречал Андрея какой-нибудь новостью — то свежеевыкрашенным домом, то книжными новинками в витринах, а то просто светом раннего солнца. Среди деловитой утренней толпы Андрей ловил лица, высветленные той же веселой надеждой на приходящий день, что жила в нем. Никто не знал, что принесет с собою этот день: может быть, он уйдет впустую; может быть, он кончится усталостью и огорчением; все может быть, но утром никто об этом не думает. Утро — это юность дня, оно полно замыслов и упрямых надежд.

На своем столе в кабинете Андрей увидел лист бумаги, где размашисто синим карандашом было написано: «А. Лобанову от Козьмы Пруtkова.

Вянет лист. Проходит лето.
Иней серебрится.
Юнкер Шмидт из пистолета
Хочет застрелиться.

Погоди, безумный, снова
Зелень оживится!
Юнкер Шмидт! Честное слово,
Лето возвратится!»

Ах, Борисов, Борисов, разве я думаю сдаваться...

С утра по лаборатории пополз слухок, что, мол, план провалился из-за локатора: если бы Лобанов согласился пожертвовать локатором, то остальная тематика прошла бы. Борисов зашел к Андрею, плотно притворил за собою дверь:

— Тебе надо поговорить с людьми.

— О чем? Что надо выполнять этот навязанный нам план или что этот план никуда не годится?

Борисов засмеялся. Удивительное у него лицо: когда он смеялся, глаза почти закрывались, превращаясь в узенькие, мохнатые из-за длинных ресниц щелки. Когда он становился серьезным, глаза его делались большими, приобретали какое-то пытливое выражение.

— Расскажи им все, как было.

Андрей нехотя согласился.

Слушали его молча, потом Кривицкий сказал, поскребывая жесткий подбородок:

— Из истории известно, что Пифагор при открытии своей знаменитой теоремы принес Юпитеру в жертву сто быков; поэтому все скоты дрожат, когда открывается новая истина.

— Остроумно, — похвалил Новиков, — однако в результате мне предстоит конструировать электрощетку для очистки ржавчины с опор. Колоссально! Потрясающая проблема!

«Ага, заело!» — удовлетворенно подумал Андрей. Настроение у всех было злое и бодрое. Молчали Усольцев и Майя Устинова. К Майе Андрей не хотел обращаться, он избегал вообще смотреть в ее сторону, а Усольцева он спросил:

— Что вы предлагаете?

— По-моему, — осторожно и равнодушно сказал Усольцев, — пройдет годик, там прояснится.

Рейнгольд набросился на него, воинственно размахивая руками. Выждав паузу, Андрей сказал:

— Вы знаете, Усольцев, как получается электрический ток?

Усольцев пожал плечами:

— Ток возникает при пересечении проводником магнитных линий.

— Вот то-то и оно, что при *пересечении*.

— Андрей Николаевич, а как же с вашим локатором будет? — тихо спросил Рейнгольд.

Андрей молчал.

— Нельзя ли, пока суд да дело, взяться тебе за теоретическую часть? — спросил Борисов.

— Попробую, — сказал Андрей, — я уже думал, кое-что, может быть, удастся обосновать.

Больше ничего не было сказано. Все разошлись по своим местам. Но у Андрея стало легче на душе.

Потапенко спешил закрепить свою победу. Заключение договора о содружестве с институтом Тонкова Виктор со свойственным ему размахом обставил как историческое событие. Он пригласил представителей горкома партии, вызвал кинохронику, корреспондентов. Текст договора, отпечатанный в типографии, содержал семь страниц. Акт подписания происходил в малом зале

заседаний. Андрей наотрез отказался участвовать в этом «буме», как он сказал Борису.

— Стоит ли ломать копы по пустякам, — усомнился Борисов. Он предполагал на днях побывать в райкоме по делу Андрея, и ему не хотелось давать в руки Долгина никаких козырей. Но разве Андрея переубедишь? Заладил свое: уеду на встречу с американской делегацией, превосходная причина, так и передай в случае чего, что меня Фалеев просил.

Тонков прибыл в сопровождении многочисленных сотрудников.

— Мои ученики, — представлял он их корреспондентам.

От лаборатории договор подписывали Борисов и Майя Устинова.

— Начальник лаборатории, очевидно, против творческого содружества, — громко заметил Долгин главному инженеру. Объяснения Борисова Дмитрий Алексеевич выслушал хмуро.

— Все же, товарищ парторг, со стороны Лобанова это несколько демонстративно получается.

Майя подписывала последней, от волнения рука ее дрожала, и подпись получилась некрасивой, с царапиной и брызгами на росчерке.

Пришел праздник и на ее улицу! Хватит выслушивать ей жалостливые утешения. Вот оно, дело, на котором она оправдывает себя в глазах товарищей, в собственных глазах! Скоро она сама пожалеет Лобанова с его локатором. Она искренне верила в Тонкова, в его научный авторитет, она не могла не торжествовать. Ну что ж, они сквитаются с Лобановым. И то, что он сегодня не пришел, было началом его поражения.

Тонков произнес прочувствованную речь о союзе труда и науки.

— Мы приобщим вас к творчеству, — говорил он. — Вы, рядовые инженеры-производственники, будете участвовать в наших заседаниях, мы поможем вам постигнуть сущность процессов. Мы опустим кристалл теории в раствор практики...

Потом выступали Потапенко, главный инженер и Пятников. Вспыхивал магний, оператор вертел ручку аппарата. Глядя в объектив, Тонков пожимал руки Потапенко и Майе Устиновой.

— Ваш будущий помощник по лаборатории, — представил ее Потапенко.

— О, не помощник, а сподвижник! — Тонков поднял палец. — Я надеюсь, мы с вами разработаем мой метод раньше, чем начертано в договоре. Вы сможете сделать на этом материале диссертацию.

Майя краснела, улыбалась, счастливый огонек горел в ее глазах.

А в это время Андрей ходил с американцами по институту и, старательно выговаривая английские слова, объяснял, почему советские студенты получают стипендию. Единственным, кто более или менее нравился Андрею из всей этой шумной компании, был профессор Стрейт. Костлявый, нескладно скроенный, одно плечо выше другого, он хлопал себя по оттопыренным карманам, то и дело теряя зажигалку, вечное перо, платок, перебивая собеседников нелепыми вопросами, однако при этом ни на минуту не упуская нить разговора. Его занимали преподавание и электротехника, больше ни о чем он не желал слушать, зато обо всем, что касалось этих предметов, он выпрашивал мастерски. В физической аудитории, заметив среди десятков висящих портретов портрет Франклина, он притопнул от удовольствия.

— Та-та-та, будьте уверены, Стрейт, это повесили специально для нас, — сказал ему молодой химик, длинный, с круглой головкой, похожий на тросточку с набалдашником. Стрейт повернулся к Андрею, тот безучастно повел плечом. Стрейт взял кресло, кряхтя влез на него с ногами, дотянулся до портрета, пошарил за рамой рукой. С грохотом спрыгнув с кресла, он обошел каждого из делегатов, тыча под нос волосатую руку, измазанную в пыли и паутине. Желтая костяная лысина его сияла от удовлетворения. Выскочив в коридор, он подозвал первого попавшегося студента, подвел его к портрету.

— Профессор Стрейт просит вас, — переводил Андрей, — рассказать, что вы знаете о Франклине.

Он с тревогой посмотрел на худенького юношу с сумкой через плечо, но тот, бойко ввернув несколько английских фраз, объяснил:

— Франклин — известный американский физик. Занимался атмосферным электричеством, также громотводом. — Понизив голос, он, улыбаясь, спросил Андрея: — А нельзя ему сказать, что Франклин негров защищал?

— Почему нельзя, скажем, — и Андрей перевел про негров.

— А в нашем университете портретов русских ученых нет, — проговорил Стрейт, внимательно глядя на Андрея, — и студенты ничего не знают ни о Менделееве, ни о Ломоносове.

— Я так и думал, — сказал Андрей. — А Франклина портрет у вас есть?

Стрейт засмеялся:

— Ваша пропаганда вам тоже морочит мозги...

Фалеев и Зоя Крючкова шли рядом с Андреем и подбивали его спросить Стрейта, видел ли он, как линчуют негров, и как он к этому относится, подписал ли он Стокгольмское воззвание.

Переводчица, услышав их разговор, обернулась:

— Пусть спрашивают гости.

— Мне стыдно перед вами, мистер Лобанов, — сказал вдруг Стрейт. — Вы так свободно говорите по-английски, мне тоже следует изучить русский. Электрику полезно знать русский язык.

Провожая американцев к машинам, Андрей спросил Стрейта, известно ли ему, почему давно не появляются статьи мистера Раппа.

— Видите ли, Рапп больше не занимается физикой. Он получил наследство, — сказал Стрейт.

— Позвольте, при чем тут наследство? — удивился Андрей.

Стрейт пожал плечами:

— Зачем ему теперь заниматься физикой? Он имеет двадцать тысяч долларов в год. Я вижу, мистер Лобанов, вы чего-то не понимаете... — Стрейт пыхнул сигарой и криво усмехнулся. — Бескорыстные в науке — это идеал, а идеал влечет к себе не многих. У нас это называется прогрессом. — Если Стрейт иронизировал, то слишком грустно.

— Понятно, — жестко сказал Андрей. — Раньше ученые шли на костер, теперь они у вас предпочитают идти в банк.

Стрейт открыл было рот, но ничего не сказал и, роняя пепел на рукав, кряхтя полез в машину.

После отъезда американцев Зоя Крючкова открыла окна.

— Сколько дыму от этих сигар, ужас, — сказала она. — Курят без разрешения. У нас монтеры и те спрашивают, можно ли закурить, — она презрительно скри-

вила губы.— Дикари. А ваш Стрейт тоже хорош,— на-кинулась она на Андрея.— Залез ножищами на кресло.

Перед уходом Андрей справился, работает ли Фалеев над регуляторами. Узнав, что он по-прежнему в порядке любопытства одолевает отдельные теоретические казусы, Андрей предложил ему помочь одному стационарному инженеру (Андрей имел в виду Краснопевцева) составить теорию расчета регулятора котла. Обреченный надолго работать в одиночестве, он призывал Фалеева к тому, чего сам был лишен, и от этого речь его приобрела выстраданную убедительность.

Фалеев мялся, бубнил про лекции, про экзамены, но, когда Андрей умолк, он спросил:

— А сроки какие?

Особенно его развеселил рассказ о том, как Андрея заставили работать в котельной.

Фалеев чувствовал, что его спокойному житью-бытью приходит конец. Виной тому было не только соблазнительное предложение Андрея. Новое понятие «содружество» заставляло каждого ученого призадуматься над своей деятельностью.

Фалееву было боязно оторваться от налаженного быта, от не стесненной никакими сроками кабинетной работы. Не так-то просто решиться понести свои формулы на суд кочегарам и машинистам в жаркий и дымный грохот котельной.

И все же искушение узнать истинную цену многолетней работы было слишком велико.

Договорились встретиться у Андрея в лаборатории с представителями станции.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

Педагогический институт устраивал вечер встречи своих питомцев со студентами. Лиза узнала об этом случайно, от Риты. Сама Рита идти на вечер не собиралась. Последнее время она стала нелюдимой, замкнутой; Лиза подозревала, что это как-то связано с Андреем. Расспрашивать она стеснялась, хотя Виктор с какой-то странной настойчивостью толкал ее на это.

Узнав про институтский вечер, Лиза запрыгала от радости. Она побежала в ванную, зажгла газ, натянула старенькую резиновую шапочку, чтобы не испортить прическу. Когда-то с этой шапочкой она ходила в бас-

сейн. На двухсотке у нее было приличное время. Вместе с ней плавал и Женька Самойлов из их группы. Он тогда чуть ли не ухаживал за ней. Она давно уже не виделась ни с кем из своих однокашников, кроме Риты, не знала — кто, где, как... Она подумала: разумеется, станут расспрашивать про работу... Нет, она не пойдет. Что ей ответить?

Весь день она убеждала себя, что идти не следует. Когда по радио прогудело семь часов, она вдруг вскочила и начала собираться. Заставила себя достать новое вечернее платье из черного бархата. Явись она в студенческие годы в таком шикарном виде — девчонки лопнули бы от зависти! Сегодня же они просто переглянутся между собой — ясно, мол, жена ответработника...

В раздевалке на нее налетела Машка Стародубцева, повисла на шее, визжа и смеясь. И эта минута определила для Лизы все настроение вечера. Исчезли прожитые годы, семья, Лиза почувствовала себя вновь той студенткой, которая носилась по этим лестницам, томилась в этих коридорах во время сессии, до хрипоты спорила на собраниях. Кругленькая вертлявая Машка, похожая на воробья в своем сереньком платье, тащила Лизу наверх, выпаливая новости, окликая знакомых. Дорогой к ним присоединялись бывшие однокурсники, пока наконец их не собралась внушительная гурьба. Обнявшись, занимая чуть ли не весь коридор, они двинулись в актовый зал.

По дороге им попадались группы уже совсем давних питомцев института. Там были лысые, седые мужчины; они тоже смеялись, хлопали друг друга по плечу, женщины обнимались, вытирали глаза.

Из Лизиной группы, кроме Машки Стародубцевой, пришло семь человек. Судьба каждого сложилась удивительно, вовсе не так, как она была задумана. Ленька Пушкин стал доцентом, носил толстые, без оправы очки, Машка шлепнула его по заметному животу и возмутилась: подумать только, это тот самый Ленька, который писал километры романтически-меланхолических стихов.

Наша встреча будет у Разъезжей,
Я приду к твоим Пяти углам...—

завывая, прочла Машка...

У Тоси Федоровой, трусихи, бледневшей, когда ее вызывал преподаватель, на лацкане блестели два ордена Красной Звезды.

— Девочки, кто этот красавчик? — нарочито громко спросила Лиза, заметив Женю Самойлова.

— Ага! — торжествующе крикнул Женя. — Красавец! Раскаиваешься? Упустила. Зародышем дразнила.

Кто бы мог предположить: Женька Самойлов — лентяй, хвостист, бузотер — способен терпеливо и с увлечением преподавать в школе глухонемых.

Зато никого не удивило, что Люся Огородникова, бывший комсорг их группы, работает инструктором горкома.

— После такой группы тебя могли и секретарем горкома выдвинуть, — заявил Пушкин.

На Люсе было чудесное трикотажное платье с вышивкой; вообще девчонки были разодеты по последней моде, ничуть не хуже Лизы, и Лиза была довольна, что надела вечернее платье — хороша она была бы в вязаной кофточке!

Белоколонный, сияющий радужными огнями хрустальных люстр зал был полон. Из конца в конец кого-то окликали, бегали по рядам, здоровались с преподавателями, и старейшему профессору института, Льву Никанорычу, явно не хотелось открывать заседание. Стоя за столом президиума, он с улыбкой смотрел в зал, как будто эти минуты встреч, расспросов, узнаваний и были самой важной частью программы. Лиза вспомнила, что «Лев» был куратором их пятьсот десятой группы. Не долго думая, они забрались на сцену, окружили старика, заставили его вспомнить пятьсот десятую со всеми ее бедами и происшествиями.

— Самойлов, это вас я застал с папироской в аудитории? — ехидно спросил Лев Никанорыч.

— Меня! — с охотой признался Женька.

И все принялись вспоминать, как Женька Самойлов поспешно сунул правую руку с папироской в карман, а Лев Никанорыч подошел и, делая вид, что ничего не заметил, поздоровался, и Женька должен был вынуть руку, и Лев Никанорыч долго тряс ее, участливо расспрашивая о чем-то, пока не запахло паленым, — у Женьки выгорела тогда большая дыра в кармане.

— Лев Никанорыч, сознайтесь, нет среди нынешних таких орлов-спартанцев, — проникновенно сказал Леня Пушков. — Кильки! Сосунки!

И действительно, им всем показалось, что нынешние студенты стали значительно моложе: первокурсницы донашивали коричневые форменки школьных лет, парни выглядели совсем мальчишками.

— Бедные, — вздохнула Машка, — куда им распознать ваши слабости, Лев Никанорыч!

Все заулыбались, вспомнив: правильно, если на экзамене приходится туго, надо вернуть Льву Никанорычу что-либо помудреннее о Гоголе, тогда старик сам начнет увлеченно рассуждать и, расчувствовавшись, поставит хорошую отметку.

На заседании выступали питомцы института, рассказывали — где и как они работают. На трибуну выходили выпускники разных лет, они говорили трогательно, не без нравоучительности, с наивной уверенностью, что уж их-то студенты послушают.

В перерыв Пушков предложил «смотаться» с концерта и пошататься по институту.

— Сачок! — с великолепным презрением произнесла Люся Огородникова; им доставляло удовольствие припоминать всякие студенческие словечки. — Сачок, наверное, ты сам сматываешься со своих лекций.

Они заглядывали в кабинеты, вспоминали все хорошее и смешное, что было пережито в этих стенах.

— «Молния»! Ребята, глядите, наша «Молния»! — закричала Машка.

В коридоре стояла большая грифельная доска с заголовком «Молния». Цветными мелками была нарисована захламленная комната общежития, на полу кучи мусора, кровати не прибраны. Внизу объявление:

«Вниманию старшекурсников, в чьих комнатах временно проживали студенты первого курса! Трест очистки города сообщает, что в его распоряжении имеются мощные экскаваторы, бульдозеры, самосвалы».

Под объявлением приписка:

«Чепуха, все равно после нас не вывезете. Любимов Е.».

На втором курсе, впервые в институте, они организовали веселую сатирическую газету. Выходит, их почин удержался. Они с гордостью переглянулись.

— Даже доска та же, — стала уверять Машка.

— По-моему, и объявление то же, — сказал Пушкин, — я его сочинял.

Висели и другие «Молнии», теперь они выходили на каждом факультете. Наконец добрались до своей родной аудитории. В комнате было темно, Леня долго шарил по стене, нащупывая выключатель.

— Где ты ищешь, — ликуя, крикнула Лиза, — он же справа!

Вспыхнул свет, и они увидели перед собой знакомую комнату, длинные столы, большие доски.

Лизе показалось, что скамейки стали чуть ниже, да и вся комната вроде уменьшилась. На свежеекрашенных столешницах невозможно было различить выцарапанные когда-то инициалы. Зато, выдвинув один из ящиков, Лиза нашла на боковой стенке надпись. Все столпились вокруг и читали:

Л. Пушкин с прелестной Л.
Здесь сидели на ОМЛ.

— Лиза, это ж про тебя, — позавидовала Тося Федорова. — Единственное произведение Пушкина, которое до сих пор волнует читателей.

— Ну-ну, вы не очень, — Леня поправил очки и откашлялся. — Вы бы лучше, товарищ Федорова, сообщили, что вам известно из биографии Ронсара.

Тося, копируя себя, со страхом огляделась вокруг, нервно переплела пальцы.

— Я... я не Федорова, я теперь Полянская.

— Вечно с вами какая-нибудь история, — рассердился Пушкин, — то задания не выполнили, то фамилия не та.

На правах бывшего комсорга Люся Огородникова заняла преподавательское место и потребовала, чтобы каждый отчитался, как он живет.

Лизе хотелось вспоминать и вспоминать их студенческие годы, но все закричали: «Правильно, давайте отчитываться!»

Разумеется, первой взяла слово Маша Стародубцева. Она работала литературным редактором. В мире не существовало более неблагоприятной профессии. Если книга получалась плохая — значит, ее испортил редактор; если хорошая — значит, несмотря на все усилия редактора. Ругайся, выслушивай оскорбления, вживайся в авторскую систему мышления — требуют, как с гениаль-

ного актера, а разве кто-нибудь видит этого актера на сцене?

По ее яростному тону все понимали, как она горда своей работой. Не обращая внимания на смешки, она рубила воздух крепкой маленькой ладонью, договорясь в азарте до того, что легче написать книгу, чем ее отредактировать.

Ее с трудом утихомирили.

Лиза понимала, что дойдет очередь и до нее.

«Ну и что ж, я мать, я воспитываю двоих детей», — мысленно повторяла Лиза, пытаюсь представить, как она произнесет это вслух и как это прозвучит. И всем станет ясно, что она права и поступить иначе не могла, и все ей будут сочувствовать...

В дверь просунулся какой-то паренек, вопросительно прислушался, видимо пытаюсь определить характер совещания.

— Заходите, юноша, — пригласил Леня Пушков, — не вы ли тут обитаете?

— Да, это аудитория пятьсот десятой группы, — осторожно подтвердил паренек.

Все просияли, поняв наконец, чего им не хватало.

— Вот мы и встретились со своими потомками, — сказала Люся.

Азартно потирая руки, Пушков скомандовал потомку тащить сюда своих коллег.

Студенты входили неторопливо, с чувством собственного достоинства. Польщенные взволнованным интересом, с которым их встречали, они держались с невозмутимостью все в жизни видевших и испытывших. Это должно было отличать пятикурсников от всех остальных.

О, как хорошо понимала их Лиза! Первокурсники бы только толпились в дверях, подталкивая друг друга, второй курс ввалился бы с жадным, откровенным любопытством. Третий вел бы себя развязно — краснели бы и пытались острить насчет своих профессоров. Наиболее озабоченные и серьезные — это четвертый курс. И, наконец, вот он, пятый, у которого все позади и все впереди.

Рядом с Лизой села смуглая, скуластая девушка и выжидательно посмотрела, как будто разрешая Лизе спрашивать. Они познакомились, девушку звали Ганна Луденкова.

— Я из Болгарии, — пояснила она.

Томительное предчувствие мешало Лизе найти нужный тон.

— Скажите, вы правда занимались в нашей группе? — чисто выговаривая по-русски, спросила Ганна.

Лиза подумала: может быть, все обойдется, пойдут разговоры со студентами, и не к чему будет рассказывать о себе. Она облегченно рассмеялась и сказала:

— Да, да. Я сидела на этом месте, видите, — она выдвинула ящик и показала обведенный лиловыми чернилами стих Пушкина.

Оказалось, что теперь Ганна сидит за этим столом. Это совпадение почему-то взволновало обеих. Ганна слегка отстранилась, оглядывая Лизу, и Лиза с мягкой грустью думала, что Ганна силится представить ее студенткой. Но узкие глаза Ганны смотрели мечтательно и допрашивающе, и тогда Лиза вдруг поняла, что Ганна всматривалась в нее, как в собственное будущее. С новой силой дурное предчувствие охватило Лизу.

— Где вы преподаете? — спросила Ганна.

По спине, по груди Лизы медленно поднималась краска.

— Продолжаем, товарищи, — деловито сказала Люся Огородникова. — Давай, Тося.

Лиза поспешно пожала Ганне руку под столом:

— Подождите, послушаем Тосю.

Тося встала и начала рассказывать спокойно и старательно, как будто ее куда-нибудь выбирали и она сообщала свою биографию.

— Я развелась с мужем, он пить стал. Мне надо было подыскивать работу ближе к дому, потому что детский сад в семь часов закрывался...

Она поступила в музей Ломоносова. После школы музейная работа выглядела скучновато, но, читая Ломоносова, она заинтересовалась малоисследованной стороной его творчества — научной поэзией.

«Я мать... — снова мысленно начала Лиза. — У меня двое детей, я пожертвовала собою, я помогала мужу стать... Кем стать, кем?» — У нее перехватило дыхание, она вдруг почувствовала, что сейчас все поймет, но она понимала лишь, что дело не только в том, работает она или не работает.

— ...Понимаете, ребята, Ломоносов первый и пока единственный сумел сложные научные проблемы выразить вдохновенным поэтическим словом. — Глотнув воздух, Тося прочла:

Неправо о вещах те думают, Шувалов,
Которые стекло чтут ниже минералов,
Приманчивым лучом блистающих в глаза.
Не меньше пользы в нем, не меньше в нем краса.

Убегая от своих мыслей, Лиза смотрела на нее с жалостью, думая о том, как она постарела.

— Очень здорово интересно, — шепнула Ганна. — Как хорошо вы придумали нас позвать. А вы не выступали еще?

— ...В советской науке еще больше поэзии, разве она не должна вдохновлять наших поэтов? — Тося разругалась, и Лиза механически отметила, что румянец идет ей. Тосю перебивали вопросами, разговор захватил и студентов.

Когда-то они считали Тосю неудачницей. Тося плохо училась, была какой-то вялой, даже туповатой. А теперь... И Люся, и Машка, и Женька Самойлов — как они ее слушают, все они изменились — стали уверенные, сильные, энергичные. Тося, которую она всегда жалела и к которой относилась немного свысока, эта Тося чувствует себя ничуть не хуже Леньки Пушкина, бойко отшучивается, и спорит, и ни перед кем не робеет.

Лиза увидела себя со стороны, и словно увидела то тяжелое стыдное чувство, с каким она трусливо следила за Тосей, пытаясь угадать, когда Тося кончит.

— Ну конечно же, — счастливо повторяла Тося, — я пишу об этом ради сегодняшнего дня.

Лизе показалось, что Люся Огородникова посмотрела на нее. Лиза поднялась, чувствуя настороженный взгляд Ганны.

— Вы уходите?

— Нет, нет, — с трудом улыбнулась Лиза и, продолжая улыбаться, вышла.

Быстро, почти убегая, она отстучала пустынный коридор, облегченно вздохнув, когда толпа в актовом зале скрыла ее, завертела, вытолкнула в круг танцующих. И трубные звуки оркестра, и мелькание разгоряченных лиц разметали ее мысли, мешая сосредоточиться, и она была рада этому. Ей нужно было немедленно закружиться в танце по скользкому паркету, вести на ходу острый, шутливый разговор, ловить провожающие взгляды, ни о чем больше не думая.

Это не был обычный танцевальный вечер, все были заняты своими встречами с однокашниками, никто не замечал одиночества Лизы, считая, что и она тоже ра-

зыскивает своих. Подчиняясь этому ощущению, она с деловитой безучастностью пробиралась меж танцующих, высматривая неизвестно кого, пока не столкнулась лицом к лицу с Львом Никанорычем.

— Пригласите меня танцевать,— обрадованно попросила она.

Он удивился, шутливо запротестовал, она упрашивала, держа его за рукав.

Они протанцевали два круга, слишком медленно для Лизы, но когда Лев Никанорыч, запыхавшись, усадил ее на свободное место, она почувствовала себя несколько успокоенной.

Он сел рядом, обмахивая лоб маленьким платком. Было смешно и умилительно оттого, что он называл ее девичьей фамилией, разговаривал о бальных танцах и держался со старомодной, но приятной галантностью.

Он поинтересовался, где она работает. Она, поражаюсь своему спокойствию, вдруг рассказала ему все. Он вежливо спрашивал про детей, здоровы ли, про мужа, потом задумался и грустно сказал:

— Жаль, что так все сложилось...

Лиза разгладила платье на коленях.

— Лев Никанорыч, я собираюсь идти работать.

Он не слушал ее.

— Да-с, вот так, читаешь рефераты, принимаешь экзамены... За то время, какое я трачу на каждого студента, можно книгу написать...— Смягчая свои слова, он тронул ее руку.— Вам, к счастью, незнакомо подобное... Расходуешь себя на человека, а ему это так и не пригодилось. Пропали твои труды. А в жизни хочется успеть побольше сделать. Представьте, каменщик дом сложил, а в нем никто не живет.

— Лев Никанорыч...

Лицо его поскучнело, он пошутил относительно стариков, которые всюду лезут с нравоучениями, и отошел, облегченно расправив плечи.

Лиза стиснула пальцы. Ей хотелось остановить старика, закричать — ну чем, чем она виновата?..

Она вернулась к своей аудитории. Подходя, замедлила шаг и остановилась. Попробовала беспечно улыбнуться, вот сейчас она смело вбежит и крикнет:

«Ох вы, сухари! Все еще рассуждаете? Пошли танцевать, там так весело!»

Из-за неплотно притворенной двери доносился взволнованный голос Ганны.

Надо было непринужденно ступить всего несколько шагов...

Ноги не подчинились ей. Они, как чужие, провели ее на цыпочках мимо дверей, до конца коридора. Крепко держась за перила, Лиза с застывшей улыбкой сошла вниз в гардероб, оделась и вышла на улицу.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

Шумиха, поднятая вокруг договора о содружестве с Тонковым, не утихала. Ежедневно в лабораторию являлся какой-нибудь корреспондент или журналист. Андрей отсылал их к Майе, но иногда и его заставляли высказывать свое мнение. Скрепя сердце он старался отделаться общими словами. Он утешал себя тем, что для миллионов читателей в данном случае важен сам факт совместной работы ученых с производственниками, а не то, над чем они работают. Хуже всего было то, что этот трезвон кружил голову Майе. Ее серые честные глаза загорались, когда она произносила имя Тонкова, и становились враждебно-холодными при разговоре с Андреем.

Он старался по возможности не вмешиваться в ее работу. Помогать ей не позволяла ему совесть. Все, что она делала, не имело в его глазах никакой цены.

Однако как начальник лаборатории он находился в двусмысленном положении. Что следовало, например, отвечать Саше Заславскому — почему Тонков выступает против локатора? Говорить правду — выходит, что он настраивает сотрудников лаборатории против Тонкова, а значит, и против Майи. Андрей чувствовал, что Виктор и Долгин ждут малейшей его оплошности, чтобы заявить: Лобанов создает невыносимые условия Майе Устиновой, Лобанов против содружества и т. п.

Скрывать свои убеждения он тоже не мог. По крайней мере, перед Сашей. Он замечал, что этот пытливый паренек относится к нему с нескрываемым доверием.

— Представь себе, — сказал Андрей, — что Тонков разрабатывает теорию стрельбы из лука. А мы с тобою создали скорострельную пушку. Кому после этого нужна его теория?

— Так чего ж вы... — начал было Саша, но Андрей грубовато повернул его за плечи:

— Иди, иди, остальное — дело администрации.

Саша понимающе присвистнул. Больше он ни о чем не расспрашивал. Превосходство сил противника, а главное, очевидная несправедливость делали Лобанова в его глазах героем. Он был готов на все, чтобы помочь Андрею Николаевичу, но пока что приходилось терпеливо ждать. Подобно Лобанову, он держался с внушительной сдержанностью. Когда Нина Цветкова заговаривала о Майе Константиновне, он сожалеюще цокал языком: «Молчи уж!..»

Борисов поддерживал тактику Андрея:

— Время работает на нас. На совете многие голосовали бы за тебя, если бы на них не навалились Потепенко и Тонков. Будем подымать ярость масс и вербовать себе сторонников.

Доводка автомата Рейнгольда шла полным ходом. Калмыков, узнав о согласии Фалеева принять участие в расчетах котельных регуляторов, обещал прислать Краснопевцева.

Андрей умышленно помедлил с ответом.

— Краснопевцева? — наконец переспросил он. — Трусоват ваш Краснопевцев. Побоялся поддержать нас на техсовете.

— Зато башковитый, — по-торгашески хитрил Калмыков, почувствовав реальность лобановской затеи. — Осуждаете его? Может быть, он чуточку прав, а? Следует взвесить, ой как взвесить, где надо тычком, а где ползком. На первый взгляд он вроде мямля, а вы бы видели, как он меня на производственных совещаниях долбаёт. Соколом налетает. Для вас — лаборатория, для него станция главное.

Андрей обрадовался, но сделал вид, что уступает Калмыкову. Кое-чему он научился за эти месяцы.

Краснопевцев приехал в лабораторию за полчаса до срока. Сохраняя равнодушно-сонное выражение лица, вперевалячку обошел комнаты лаборатории. Преждевременно располневший, малоподвижный, он выглядел значительно старше своих лет. На самом же деле он всего четыре года назад кончил институт и был прислан на станцию. Ему казалось, что он совершит многое. И вот незаметно миновали четыре года. Нельзя сказать, чтобы они прошли даром. Оборудование он изучил, кое-что удалось наладить. Но где-то в душе его по-прежнему жила мечта о науке — Науке с большой буквы.

Встреча с Лобановым растревожила Краснопевцева. Он злился на Лобанова, огрызался и отнекивался, когда

Калмыков посылал его в лабораторию, но если бы вместо него послали кого-нибудь другого, он почувствовал бы себя оскорбленным и в чем-то обкраденным.

Обходя лабораторию, он остановился перед столом, на котором была смонтирована какая-то схема, лежали приборы, тянулись провода. В раскрытой тетрадке — незаполненная таблица замеров.

Краснопевцев осторожно тронул реостат. Обмотка была еще теплой. Вот так бы и ему сидеть за столом, искать, думать, думать до одури в голове. Ему представилась уходящая вдаль вереница дней и недель. Представились котельная, задвижки, заслонки, шибера, снабженные электромоторами, спокойные позы машинистов, ухмыляющаяся физиономия Разумова и его руки, натруженные, тяжелые, спокойно лежащие на мраморе пульта. Представился и маленький в застекленном кожухе регулятор, властвующий над гигантской машиной котла. А вот и сам Краснопевцев... Нет, он не мыслил себя вне станции, он любил производство с его неослабной погонялкой забот, вознею с машинами и людьми, любил планы, напряженный ритм этого завода энергии. Существовал, должен же быть какой-то еще не изведанный путь, где скрещивались манящая радость познания и деловитая, требовательная жизнь производства.

Краснопевцев воровато оглянулся — никто не смотрел на него. Вытер о штанину вспотевшую руку и повернул выключатель. Стрелки приборов качнулись. Краснопевцев медленно двинул ползунок реостата. Повинуясь, стрелки вразнолад разбежались по шкалам, одни вверх, другие вниз, одни словно нехотя, еле-еле, другие размашистыми скачками. Краснопевцев взял карандаш и крепко, не умещаясь в узкой графе, поставил в таблице недостающую цифру показаний электрометра.

Неужто он не сможет? Он посмотрел на свою запись, недоверчиво улыбаясь маленьким пухлым ртом, чувствуя, как он стосковался по такому труду.

В кабинете рядом с Лобановым он увидел лысеющего бледного человека в безупречно отглаженном сером костюме. Это был Фалеев. Краснопевцев натянуто поздоровался. Настороженно поглядывая друг на друга, они долго не могли разговориться. И вместе с тем обоих взаимно влекло чувство большее, чем любопытство, какая-то давняя внутренняя неудовлетворенность, как

будто каждый из них способен дать другому то, чего ему не хватало.

Андрей был взволнован — он понимал, насколько эта встреча могла оказаться решающей в судьбе и Фалеева, и Краснопевцева. Разряжая обстановку, он грубовато посмеивался над их церемонным знакомством:

— Снюхиваетесь? Ну как, понравились?

Сам думал встревоженно — получится ли что-нибудь?

Через час он оставил их вдвоем, успевших поздоровиться, навеки разойтись, обменяться номерами телефонов, составить черновик графика совместной работы.

Ровно в шесть, со звонком, Андрей покидал лабораторию. На многих это производило невыгодное впечатление. Майя обычно оставалась работать до позднего вечера; да и остальные инженеры частенько задерживались — кому требовалось подготовить отчет, кому не терпелось испытать собранную схему.

Андрей спешил к своей лиловой папке. Он занимался или дома, или в Публичной библиотеке. Его лишили возможности идти путем эксперимента, лишили лаборатории — хорошо, он рассчитает локатор теоретически. «Пока что, — успокаивал он себя, — пока что посмотрим, как это получается на бумаге».

Приходилось влезать в такие дебри математики, о которых он не имел ни малейшего понятия. Отвлеченное мышление было ему не по нутру. Его брала тоска при виде страниц, исписанных математическими знаками. Но деваться было некуда.

За первые две недели он достиг жалких результатов, равных одному удачно поставленному опыту. Он сравнивал себя с путешественником, идущим из Ленинграда в Москву вокруг земного шара.

«Гений есть терпение мысли, сказал Ньютон. Я не гений — значит, я должен быть еще терпеливее», — утешал себя Андрей.

Поначалу ему было очень трудно переключаться после лаборатории на книги. Его локатор и лаборатория стали совершенно разными, ничем не связанными между собой мирами. Читая книгу, Андрей вдруг спохватывался — обязательно надо кого-нибудь послать к Тарасову, проверить, как там налаживают автоматику. Мысли его непрестанно обращались к лабораторным делам,

и вдруг он с ужасом обнаруживал, что в течение часа прочел всего лишь одну страницу. Он уставал не от усилий понять прочитанное, а от стремления сосредоточиться.

Он давал себе на каждый вечер задание. Сиди хоть до утра, приказывал он, но сделай. Его самого удивляло количество страниц, которые он читал и исписывал. Но он только жмурился и потирал веки, когда глаза начинали слишком болеть. Он напрягал свой крепкий организм до отказа. Он не позволял себе никаких развлечений, вел затворническую жизнь. Сестра Катя с Таней и Николаем Павловичем переехали на дачу. Муж Кати после работы отправлялся к ним, и Андрей жил один.

С половины мая наступила жара. К полудню асфальт становился мягким. Город ремонтировался, красили фасады, меняли трамвайные пути, в душном воздухе висела густая желтая пыль. Особенно тоскливо было по воскресеньям. Тянуло за город. Андрей мечтал выкупаться, полежать в траве. Защищаясь от солнца, он опускал занавески, сидел в одних трусиках и бегал обливаться под кран.

На столе между чернильницами стояла маленькая фотография Риты. Андрей случайно наткнулся на нее в старых тетрадках. Пожелтевший любительский снимок. Кажется, фотографировал Виктор в ту, довоенную, весну, где-то за городом. Они играли в мяч. Вытянув руки, Рита бежала на объектив. Поднимая глаза от своих расчетов, Андрей всякий раз невольно смотрел на этот снимок, и постепенно ему начинало казаться, что Рита бежит к нему...

Может быть, она единственный человек, который сейчас думает о нем. Никому другому нет дела до него. Борисов уехал на дачу; все со своими девушками, женами, детьми, лишь он один. Смешно ждать до сих пор ответа Риты. Никакого ответа не будет. Он понимал, что с Ритой кончено навсегда. В самом сочетании этих слов — Рита и навсегда — было что-то жутковатое. Навсегда — значит до самой смерти. Так и не узнать, как она... жалела ли она, что все так оборвалось... Никогда не держать ее за руку, уже больше не будет ничего... Ему хотелось ненавидеть свою тоску по ней. Если бы он мог считать ее во всем виноватой! Он понимал, что она обеими руками держалась за свою с таким трудом построенную семью. И вдруг все разрушить, уйти и начать — в который раз — заново, для этого надо много

душевных сил, а если их уже нет? Только теперь он начинал постигать, что у нее была своя, пусть маленькая, но неопровержимая правда. А все война. Война помешала им, она измотала, искалечила Риту.

У него не было желания вернуть прошлое, он ни в чем не раскаивался, но какая-то горькая тоска все сильнее отравляла его. Тоска ни по ком, тоска одиночества, пустых комнат, светлых вечеров, смеха и шепота чужого счастья под окнами. Андрей поворачивал фотографию лицом к стене. Неужели у него не хватит воли забыть ее? Он презирал себя, называл себя тряпкой, размазней, слюнтяем. Собственная слабость разъяряла его. Надо относиться к женщинам проще и циничнее, как Новиков, и нечего тут разводить антимонии. Девушки ищут женихов, женщины — любовников. Все объясняется очень просто. Можно спокойно прожить без любви. Не стоит зря мучить себя. Есть работа, и есть удовольствия.

Как теория это успокаивало. Однако на приглашения друзей он отвечал сердитым отказом. Постепенно его оставили в покое.

Лицо его стало суше, резче, проступили широкие скулы, глаза покраснели и ввалились, от непрерывного сидения за столом он начал ходить чуть сутулясь.

— Тебе кажется, что не щадить себя — это подвиг, — негодовал Борисов. — Посмотри, на кого ты стал похож. Это не подвиг, а расточительство, вредное и ненужное. Ты волюнтарист! — Он увлекался психологией и обожал щеголять новыми терминами.

Однажды, догнав Андрея на улице после работы, Нина спросила, не пойдет ли он на футбол. Она стояла перед ним загорелая, свежая, робко протягивая билеты. Его вдруг страстно потянуло плюнуть на свои интегралы, переодеться, поехать с Ниной на футбол, поорать, болея за «Динамо», потом гулять по парку, есть мороженое и болтать о всяких пустяках. Он посмотрел на часы, взял Нину за кисть и медленно, с сожалением отвел ее руку, успев почувствовать под прохладной тонкой кожей частый пульс.

— Надо заниматься, — с заминкой сказал он. — Слыхали, такое есть нудное словечко: надо. Самое скучное из всех слов.

Нина отошла без улыбки, ничего не сказав. В тот день она назло Андрею поехала на стадион с Сашей, смеялась и кокетничала с ним, позволила проводить се-

бя до дому, даже поцеловать, мечтая о том, чтобы Андрей увидел ее в эту минуту.

А в эту минуту он, обнаружив очередную ошибку, стучал кулаком по голове, проклиная свою тупость. Скверная, трусливая мыслишка закрадывалась ему в душу: а вдруг все, что делает, чепуха?

Он вернулся к высохшему руслу своих дум — к спору с Одинцовым. Стоила ли борьба таких жертв? Пока он тащился по этим обходным путям, другие обгоняли его. Дима Малютин, с которым он вместе кончил аспирантуру, создавал новый тип трансформатора; Гуляев опубликовал исследование об атмосферном электричестве. Ну и пусть... Черт с ними! Его дело — готовить локатор, чтобы и Наумову, и его бригаде было легче работать.

Мысль, что когда-нибудь благодаря локатору энергетики наконец избавятся от многих лишних забот и тревог, заставляла его торопиться. Но все чаще и чаще он стал ощущать какую-то непонятную умственную усталость. А между тем, лишенный возможности работать с приборами, наблюдать реальные процессы, он вынужден был постоянно домысливать, напрягать воображение.

Очевидно, он переутомился. Ему необходимо отвлечься. Он поехал на дачу к сестре, но и здесь мозг его продолжал безостановочно работать в том же направлении. В Управлении заметили его рассеянность и посмеивались — Лобанов повредился на своих повреждениях, локационное сумасшествие. Он сам почувствовал, что с ним происходит что-то неладное. Работа над локатором продвигалась все медленнее и труднее. Он стал раздражительным, с трудом сдерживался, чтобы не вспылить по малейшему пустяку.

Охваченный тревогой, он вспоминал о первых вечерах, проведенных с Ритой. Как хорошо ему работалось в ту пору! Просматривая записи тех дней, он завидовал себе, убеждаясь, как оскудела его фантазия. Теперь он жил только частью своей души.

Однажды душным, предгрозовым утром он, несмотря на свою рассеянность, заметил в лаборатории какое-то необычное и странное внимание к себе. Некоторые посматривали на него с любопытством и в то же время виновато, другие, подавляя улыбку, отворачивались.

— Ты читал? — угрюмо спросил Борисов. — Почитай стенгазету.

Андрей поднялся в Управление. В коридоре висел свежий номер стенгазеты Управления. Вокруг толпились служащие, кто-то громко смеялся.

— А вот и сам герой!— сказал инструктор по технике безопасности.

На Андрея оглянулись и, давая ему дорогу, расступились.

В последней колонке газеты он увидел карикатуру на себя и под ней длинное стихотворение. Задумчиво поглаживая подбородок — это часто выручало его в трудных положениях, — он внимательно читал, не пропуская ни одного слова, чувствуя на себе пристальные взгляды окружающих. Стихотворение, или, вернее, басня, называлось «Кот и мышь», в скобках стояло: «Заимствовано у ряда баснописцев, чтобы в конце концов посвятить А. Н. Лобанову».

Однажды некий юный кот
Решил ловить мышей, и вот
Подготавливать он начал сразу
Теоретическую базу.

Далее подробно описывалось, как кот готовил диссертацию о методах локации мышей и получил ученую степень. После трехлетних трудов он знал все способы нахождения мышей.

...и лишь
Что, впрочем, очень, очень мало
Героя нашего смущало.

Приведя самонадеянные рассуждения кота по этому поводу, автор наконец отправил героя на первую охоту, снабдив его зачем-то готовальней, линейками и прочими атрибутами учености. Но бедному коту так ничего и не удалось поймать... Понятие о локации, по-видимому, нисколько не обременяло автора. Но написано все это было бойко, весело, и если страдал смысл, то выигрывала рифма.

Ученый кот промолвил: «Так-с,
Определяем параллакс,
И первым делом мы запишем
Полярные координаты мыши»

А вслед за тем ученый кот
Спокойно произвел расчет,

Определил довольно тонко
Спектральный класс и тип мышонка.

Путем изящных вычислений
Нашел систему уравнений,
Нашел усилие Де Ку
И приготовился к прыжку.

Кот шепчет: «Не уйдешь, малыш».
Но что такое, где жемышь?
Пока расчет производился,
Объект расчета в норке скрылся.

Таков итог печальных дел —
Сорвалась у кота атака.
В науке кот собаку съел.
А в практике — так «кот наплакал».

Андрей оглянулся, все молча смотрели на него.

— Остроумно,— сказал он,— правда, не по адресу,
но остроумно.

О том, насколько эта басня извращала истину о Лобанове, знали немногие. Большинство, доверчиво посмеиваясь, отождествляло ученого кота с Лобановым.

Саша был вне себя.

— Искажение фактов!— жаловался он Нине.—
Надо послать опровержение от имени общественных
организаций лаборатории.

Сочувствие и интерес к Лобанову сближали молодых людей. Саша полагал, что именно он своими постоянными похвалами сумел внушить Нине этот интерес. Значит, она разделяет его чувства. «Значит, она неравнодушна ко мне»,— думал он. Что только не служит топливом для любви!

— Сорвать бы эту стенгазету,— сказала Нина.

Саша строго покачал головой. Это не метод. Действовать надо по-другому.

Нина презрительно фыркнула.

Вечером после работы она, выждав, когда опустеют коридоры, бритвенным лезвием вырезала басню и карикатуру. Она нажимала на лезвие с такой силой, что надрезала обои на стене под газетой. Бумага была толстая и страшно громко трещала. Нина с трудом скомкала ее в руке, комок получился большой, угловатый, его никак не удавалось запихнуть в урну. Уходя, Нина вдруг подумала, что уборщица может обратить внимание на этот ком бумаги. Бегом она вернулась. В коридоре возле стенгазеты стояли уже двое мужчин и рассматривали дыру в последней полосе.

Не смея повернуть назад, Нина прошла мимо них, щеки ее горели, она повертелась на лестнице, спустилась вниз и лишь на улице сообразила, что находка вырезанного куска не будет уликой против нее.

Назавтра поднялся переполох. Нина слыхала, как Лобанова вызывали в партком, и у нее начало все валиться из рук. Она сожгла амперметр и с каменным лицом выслушала выговор Майи Константиновны.

Никто из инженеров не верил, что преступление совершено Лобановым. Они так и говорили — преступление. Что она наделала! Она хотела помочь Лобанову, а вместо этого причинила ему неприятности. Вчерашний поступок казался ей теперь дурацким. Боже, какая глупость! Разве не ясно было, как это скверно кончится. Разумеется, сейчас все подозрения пали на Лобанова. И как же он оправдается?

Леня Морозов злорадно рассуждал о том, как пропишут теперь Лобанову.

— Отдай наш гальванометр, — сверкая глазами, сказала Нина. — И замолчи, невозможно работать. Трещит, как баба.

Когда Нина была в ярости, даже Морозов остерегался с ней связываться. Она решила пойти в партком и во всем признаться. Скажет: вырезала просто так, просто понравилась ей басня — и вырезала на память. Не расстреляют же ее за это. Она напудрилась и побежала в партком к техническому секретарю Таисии Дмитриевне. Сперва она болтала о всяких разностях, потом невзначай спросила: кто сейчас у секретаря парткома Зорина? А наши — Лобанов и Борисов — ушли уже? Ну, как с ними?

Таисия, пожилая женщина со смуглым, цыганским лицом, рассказала, что виновного не нашли. Лобанов, конечно, ни при чем, он вчера был на совещании и потом уехал к Тарасову на станцию и не возвращался.

— Но вырезал кто-то из ваших, — закончила Таисия, закладывая бумагу в машинку.

— Почему это обязательно из наших? — облегченно сказала Нина. — Как будто другие не могли! Просто нашлись благородные люди. Факт, что несправедливая басня, поэтому и вырезали.

В обеденный перерыв к ней подошел Саша.

— Как тебе нравится этот случай? — спросил он, глядя ей в глаза.

Нина вспомнила свою вчерашнюю неосторожную фразу и смутилась.

— Ясно, так бороться нельзя, — повторила она его слова. — Между прочим, ты не был в Приморске? Мне дают туда путевку в дом отдыха...

— Не был... Нина, это ты вырезала? — тихо спросил он.

По его печальному волнению она поняла, что ей бояться нечего.

— А если я? Побежишь на меня доносить Борисову?

— Зачем ты это сделала?

Она посмотрела на часы:

— Пошли во двор, покидаем мяч... И чего ты горячишься? Я просто пошутила. Я тебя испытываю. Пошли.

По дороге она сказала:

— Ты должен быть доволен. Конечно, это не метод, но все почувствовали, что народ против. И Лобанову легче.

— Уж больно ты к сердцу принимаешь... — глухо сказал он и не кончил.

Нина не обратила внимания на его красноречивую недомолвку. Когда они проходили мимо стенгазеты, там была подклеена свежая полоса с той же басней и карикатурой. И это не огорчило Нину. Опасность миновала. Когда-нибудь придет день, и она признается во всем тому, ради кого она совершила это. Как бы ни был глуп ее поступок, она доказала, что любит. И способна на все ради него. Она никогда не испытывала такого чувства.

«Вольфрамковые контакты должны иметь, — читал Андрей, — высокую температуру плавления, необходимую твердость...» — Он улыбнулся. Технические термины приобрели вдруг другой смысл: «...должны иметь однородность вещества».

«Правильно», — подумал он.

Басня в стенгазете, казалось бы, нанесла ему удар в самый критический момент, когда он так нуждался в поддержке. Как ни странно, он не чувствовал себя убитым, наоборот, он как-то встряхнулся. «...Вольфрамковый контакт должен быть вязким, чтобы противостоять расплющиванию». В особо тяжкие минуты ему вспоминался разговор в пивной, и это воспоминание всегда заряжало его новой порцией гневной энергии.

Хотелось быть как железо под молотом — чем больше бьют, тем крепче.

Разумеется, даром ему это не сходило. Сухой, ожесточенный блеск появился в глазах. Обращение его стало еще строже и официальнее, неприятная черствость укоренялась в характере.

Теоретические подсчеты подтвердили возможность создания локатора. Узнав, что техотдел выпускает научно-технический сборник, Андрей на основе полученных выводов написал статью о принципе работы локатора.

Он пытался вообразить себе, что подумает Одинцов, прочитав его статью. Может быть, старик смягчится. И в глубине души обрадуется. А вдруг возьмет и позвонит? Когда он мысленно представил, как Одинцов, сидя в своем скрипучем плетеном кресле, будет водить толстым синим карандашом вот по этим строчкам, Андрея прохватил озноб. Оказывается, все эти месяцы мысль о старике жила в нем.

Статью не приняли. Долгин с улыбкой сказал:

— Ваша статья неактуальна.

Андрей отправил ее в журнал «Электричество». Оттуда она вернулась быстро с уничтожающей рецензией Тонкова. Андрей добавил к статье несколько резких замечаний в ответ на рецензию и послал статью еще в два журнала, имеющие отношение к электротехнике.

В течение месяца он аккуратно получал рукописи обратно. Борисов, единственный человек, с которым он делился своими неудачами, иронически сказал:

— «ООМ», Организация Общественного Молчания. — Потом он переменил тон. — Не печатают? — Он старался казаться веселым, глаза его колюче блестели сквозь узкие мохнатые щелки. — Значит, боятся! Значит, мы правы. Бороться-то им в открытую нечем!

Только в журнале «Техника молодежи» появилась краткая заметка о новом приборе, разрабатываемом в Энергосистеме. Андрей узнал об этой заметке при странных и важных обстоятельствах.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

За длинным столом, покрытым зеленой скатертью, сидели бритоголовый с коричневым, обветренным лицом морской инженер-полковник и молоденький голубоглазый майор.

Вопрос главного инженера прозвучал равнодушно и устало. Слишком равнодушно. Такое бесстрастие было мало на него похоже. Дмитрий Алексеевич словно говорил: вот, пожалуйста, сейчас вам подтвердят, что я, к сожалению, прав. В самом вопросе подсказывался ответ. И ответ этот должен дать Андрей. Ему предстояло, очевидно, разрешить какой-то спор, начатый здесь за-долго до его прихода.

Моряки выжидающе смотрели на Андрея. Из своих, кроме главного инженера, в кабинете находился один Потапенко. То, что мог ответить Андрей, не было новостью для главного инженера и тем более для Потапенко. Андрей должен подтвердить, что ничего, кроме общего принципа идеи локатора, у него пока нет. Его свидетельство, выходит, необходимо только для убеждения этих офицеров. В чем? О чем просили моряки и на что не соглашался главный? Почему такое неприемлимое выражение на лице Потапенко?

Все эти соображения и вопросы промелькнули в голове Андрея одно за другим, заставляя его насторожиться и не спешить с ответом. Потапенко нетерпеливо постучал пальцами по столу. Глаза Андрея светились от напряжения. Ловко уклонившись от прямого ответа, он, петляя вокруг да около, втянул в разговор моряка. Впервые в жизни он изворачивался и хитрил, охваченный настойчивым предчувствием значительности происходящего.

Моряки от имени крупного конструкторского бюро просили принять заказ на разработку локатора для сложной электросети новых океанских кораблей. Откуда им известно о локаторе, Андрей не знал. Главный инженер и Потапенко доказывали, что ничего реального пока нет, и предлагали поделиться результатами исследований Майи Устиновой. Но старый метод даже в усовершенствованном виде не устраивал моряков. Будь у моряков локатор, проектировщики могли бы значительно упростить электрическую сеть на кораблях. Просьба подкреплялась бумагой от весьма авторитетной организации, поэтому просто отказать главный инженер не мог. Самое правильное — раскрыть морякам всю беспочвенность их надежд на локатор, с тем чтобы они сами отказались от заказа. И сделать это лучше всего мог автор прибора.

Главный инженер не сомневался в том, что Лобанов должен, вынужден будет разубедить моряков. Дмитрий

Алексеевич вертел в руках бумагу, подписанную человеком, которого он давно знал и уважал, и мысленно подыскивал слова ответного письма.

Обращаясь к Андрею, полковник рассказывал, какое значение для них имеет новый прибор. Он говорил не торопясь, словно давал ему время подумать, прежде чем ответить. Андрей, без пиджака, в рубашке с закатанными рукавами, выставив худые локти с красными натертыми пятнами, поглаживал пальцами подбородок. Выглядел Андрей несерьезно. Виктор даже поморщился: что подумают моряки.

Полковник кончил. Андрей облизнул сухие губы и сказал быстро, хрипловатым голосом:

— Считаю, мы можем принять ваш заказ.

Никто не вскочил, не удивился, хотя у каждого внутри все напряглось, как перед сигналом к бою.

Дмитрий Алексеевич опустил на стол бумагу, вынул портсигар, щелкнул крышкой, закурил. Все смотрели на желтый огонек спички.

— По-моему, Андрей Николаевич, вы не имеете пока никаких положительных результатов, — мягко сказал Дмитрий Алексеевич.

Андрей кинул взгляд в сторону Потапенко, насмешливо раздул ноздри.

— У вас, Дмитрий Алексеевич, устарелые сведения. Я закончил расчеты. Они дали хорошие результаты.

— Зато экспериментальной проверки не было. Вы лучше меня знаете, что опыт часто опрокидывает бумажные доказательства.

«Вы же сами виноваты, сами не дали мне возможности провести лабораторные работы», — подумал Андрей. Сдерживая нарастающий гнев, он упрямо наклонил голову:

— Я настаиваю на своем предложении. Я уверен, что получится.

— А я вот не уверен, — спокойно усмехнулся главный инженер. — Так государственные дела не решают. Вы понимаете, какую мы ответственность берем на себя?

— Понимаю.

— Нет, не понимаете, — раздраженно отрезал главный инженер.

До сих пор молчавший майор осторожно заметил:

— Конечно, нам нужна уверенность. Если она будет, мы по-иному спроектируем сеть кораблей.

Главный инженер расценил его слова как поддержку.

— Вот именно. А какую вы можете дать гарантию, Андрей Николаевич?

— Гарантию, — процедил Потапенко. — Отвечать-то нам придется.

— Суть не в ответственности, — махнул рукой главный инженер, — большое дело испортить можем.

— Я все же хотел бы еще раз услышать мнение товарища Лобанова, — сказал полковник. — Взвесьте все «за» и «против».

Андрей задумался, честно проверяя свои силы. Ни на минуту он не усомнился в своем детище. Сердце его стучало так, что он слышал его толчки. Все, все могло решиться сейчас.

— Вам достаточно моего ручательства? — спросил Андрей. — Товарищ полковник, конечно, для вас это связано с риском. Но ведь если бы всякий риск останавливал инженеров, то...

— Там, где можно, надо избегать риска, — прервал его главный инженер.

— За счет чего? — спросил полковник. — Отказавшись от заказа?

Потапенко, откинув рукав, посмотрел на часы:

— Давайте так, товарищ полковник: мы всесторонне обсудим со специалистами предложение Лобанова и дадим вам на днях окончательный ответ.

Полковник качнул круглой головой:

— Боже мой, какая осторожность...

Судя по настроению полковника, теперь уже не могло быть и речи, что он сам мирно откажется от заказа.

Главный инженер натянуто улыбнулся:

— Вы, товарищи, плохо знаете Лобанова. Он и без вас сумеет положить нас на обе лопатки.

Полковник и майор встали.

— Если Андрею Николаевичу нужна экспериментальная база, — сказал полковник, — пожалуйста. В нашем распоряжении...

Главный инженер обиженно прервал его:

— От добра добра не ищут.

После ухода моряков на некоторое время воцарилось молчание. Позвонил телефон, и пока главный инженер разговаривал, Андрей и Виктор сидели молча, не глядя друг на друга.

— Ну-с,— сказал главный инженер, швырнув трубку на рычаг.— Ну-с, Андрей Николаевич, вы представляете себе, в какую историю вы нас тянете? Зачем надевать себе на шею этот хомут? Что, у нас своих мало? Сами для себя не рискнули сделать, а тут извольте для дядей стараться.

Потапенко вскочил, с неприкрытой злобой взглянул на Андрея.

— Будем говорить начистоту,— резко сказал он.— Заявление Лобанова преследует цель показать, как его затирают. Свои мешают, а чужие... Он не брезгует никакими средствами. Полюбуйтесь, Дмитрий Алексеевич, на какие трюки он пустился.

Потапенко положил перед главным инженером журнал «Техника молодежи» с обведенной красным карандашом заметкой.

— Якобы прибор готов. Форменная самореклама. Нам запросы шлют... Моряки тоже, наверно, отсюда узнали...

— А я-то понять не мог, откуда они пронюхали,— сказал главный инженер, читая заметку.

Он не спешил с выводами. Протянул Лобанову журнал, внимательно следил, как изумленно раскрылись красные, усталые веки, как честно встретили его взгляд глаза Лобанова.

— В первый раз вижу эту заметку,— признался Андрей. Он живо обернулся к Потапенко:— Кто тебе пишет? От кого запросы?

Он позабыл сейчас о всех обидных обвинениях Потапенко и о главном инженере, ждущем его ответа, ему важно было знать, кому нужен его прибор.

Главный инженер улыбнулся, прикрыл рот рукою, строго покашлял.

— Не говорите ему, Виктор Григорьевич, а то нашлет еще просителей.

— Не беспокойтесь, сами найдут...— сказал Андрей.— Неужели вы не понимаете, что многие нуждаются в этом приборе? Жизнь заставит нас... Сегодня вы отоьетесь от моряков, завтра к вам придут ваши же рабочие. Локатор нужен! Никуда вы не спрячетесь от него. Вы можете помешать мне, но кто-нибудь другой сделает его. Что же касается моих скрытых целей...

— Не будем о них препираться,— властно сказал главный инженер.— Время покажет, у кого какие были цели.

Андрей торопливо кивнул.

— Погодите, Андрей Николаевич. Мне кажется, вы как-то излишне трагически воспринимаете происходящее, — продолжал главный инженер. — Новатор поначалу свою идею всегда вынашивает в подполье. Потому что, если ее вытолкнуть на свет недозрелой, сразу затюкают. А как же иначе? Вот таких, как мы, надо убедить. Чем идея смелее, тем людям труднее отказаться от старого. И все это время автор одинок. Бояться этого не следует. Как говорится, в корове молоко не прокиснет. Временное одиночество неизбежно и, пожалуй... полезно. И борьба до определенного момента тоже полезна.

— И то, что линии передачи в ремонте простаивают по несколько дней, тоже полезно?

Дмитрий Алексеевич посмотрел на розовые оттопыренные уши Лобанова и жестко сказал:

— Вот вы дайте мне такой прибор, чтобы предупредить аварии, за которые меня лупят, тогда будьте спокойны: ни одной минуты он у вас не пролежит. Всех посажу вам помогать. Сам пойду к вам лаборантом работать.

— Так, — сказал Андрей, вставая. — Значит, необходимость нового вы определяете тем местом, по которому бьют... Имейте в виду, бьют вас или не бьют, примете вы заказ или нет, локатор будет сделан. Не у вас, так у моряков. — Он положил на стол туго сжатый кулак. — Костями лягу, а сделаю. Посмотрим тогда, как будет выглядеть ваша инженерная репутация.

Главный инженер задумчиво рассматривал кулак Андрея, точно оценивая его силу.

— Вот это серьезная угроза, — ответил он, неожиданно улыбнувшись. Удивительно обезоруживающая улыбка была у этого человека. Или только на Андрея она так действовала?

Андрей доверчиво раскинул руки, покрасневшее потное лицо его дышало азартом.

— Да что мы, в самом деле, не инженеры, что ли! Давайте я вам сейчас притащу свои расчеты. Посмотрим.

— Вопрос слишком серьезный, — холодно сказал Потапенко, упорно избегая обращаться к Андрею. — Надо создать авторитетную комиссию.

Андрей не удержался:

— Ха!.. Во главе с профессором Тонковым?

— Ничего, как-нибудь разберемся сами, — сказал главный инженер. — Крупные и мелкие дробы проходили. Тем более что ваш Тонков, кажется, не очень-то объективен.

«Что, не вышло? — подумал Андрей. — Не такой-то уж простачок наш главный».

— Подавайте сюда ваши бумаги, Андрей Николаевич, я дома посмотрю, подготавлиюсь, чтобы не задавать вам глупых вопросов. — Говоря это, главный инженер придвинул к себе календарь и стал записывать.

Андрей видел, как вверх ногами к нему из-под кончика пера побежали слова: «А. Н. — локатор — отзыв». Кончик пера повертелся в раздумье на точке и скользнул дальше: «Лобанов — Потапенко (?)». Вопросительный знак тревожно выглядывал из скобок, нависая над обеими фамилиями.

Лиловая папка, принесенная Лобановым, была отложена в проволочную корзиночку, куда главный инженер складывал текущие бумаги. К вечеру их скопился целый ворох, они завалили папку Лобанова — срочные, важные, категорические. Они требовали немедленного решения, о них нельзя было забыть.

После приема посетителей началось совещание с энергетиками заводов, потом слушали доклад управляющего стройтрестом; весь день в кабинете толпились люди. Прибыли вагоны с оборудованием — его необходимо немедленно распределить. Со станций поступали жалобы на торф — слишком влажный; трансформаторщики просили разрешения заменить одну изоляцию другой. Звонили из горкома партии, из Москвы, звонил администратор гостиницы: жена директора бельгийской фирмы жалуется, что у нее в номере тускло горит лампочка.

И в цепкой памяти Дмитрия Алексеевича разговор с Лобановым отодвигался все дальше, в опасный разряд тех дел, которые подождут.

В восемь вечера явился последний посетитель. Это был главный инженер одного из крупных текстильных комбинатов города. Оба главных знали друг друга много лет. Их отношения принадлежали к той распространенной категории служебной или деловой дружбы, когда хорошо изучил человека, много раз выручал его в тяжелые минуты, уважаешь, любишь его, но никогда не был

у него дома, не имеешь понятия, где он живет, есть ли у него жена, дети...

Дмитрий Алексеевич первый раз за день потянулся в кресле.

— Затащила меня недавно жена в Дом композиторов на творческую дискуссию, — неторопливо рассказывал он, наслаждаясь передышкой. — Я в музыке профан, сижу ушами хлопаю. Но дело не в этом. Понравился мне тон, сама система обсуждения, понимаешь, Ираклий Григорьевич, очень как-то по-дружески вправляли мозги автору. Причем без всяких протоколов, голосования, если хочешь, по-семейному, в хорошем смысле этого слова. Советовались, вместе думали, что бы там сделать со звучанием какой-то темы. Я позавидовал. Нам бы с тобою такой дом. Куда бы люди незавидной специальности нашей — руководители — могли бы зайти, посидеть, побалакать.

Ираклий Григорьевич, толстый седеющий грузин, полужакрыл маслено-черные глаза.

— Казанская сирота. У тебя, верно, очень много свободного времени. Слишком много. Тебя, верно, мало ругают. Совсем мало. Композитор дома сидит. Пишет. А ты на людях. Советуйся с ними, пожалуйста. Директор у тебя есть? Парторг есть? Помощники, замы есть? — Он горестно зажмурился. — Мне, дорогой, некогда все их советы выслушивать. А тут еще ехать в твой клуб.

Впрочем, особо противиться Ираклий Григорьевич не собирался. Клуб так клуб. Пожалуйста, с пивом и с блинами.

— Чуешь, какой я хороший? Зачем нам спорить из-за таких пустяков. Сам понимаешь, приехал к тебе клиент, просит мощность, ты ему про клуб. Он уступает — значит, и ты должен уступить. Подписывай, пожалуйста.

Дмитрий Алексеевич рассмеялся, пригрозил пальцем:

— Чей хлеб ем, того и песенку пою?

Речь шла о дополнительной электрической мощности комбинату. Дмитрий Алексеевич доказывал, что мощность увеличить нельзя. Электрохозяйство комбината запущено, на подстанции стоит старое, изношенное оборудование.

— Пойми ты, чудака, в любую минуту у тебя и так может случиться неприятность. Твоя подстанция —

аварийный очаг.— Дмитрий Алексеевич вышел из-за стола.— Я знаю, знаю, почему ты не хочешь строить новую подстанцию и прокладывать резервный фидер. Авось, небось да как-нибудь проживем...

— Слушай, а может, действительно проживем?

— Психология временщика.

— Послушай, дорогой, ты меня обижаешь,— сказал Ираклий Григорьевич, добродушный блеск его глаз погас.— Нехорошо. Нехороший намек.— Он стал говорить с резким акцентом.— Ты знаешь, какое я задание получил? Кровь из носа, а выпустить вдвое больше. Твоей жене штапель нужен? Шелк нужен? Всем нужно. Мне в пору успеть станки установить. Новую подстанцию, новый кабель прокладывать — с очень большим удовольствием. Как станет посвободнее — пожалуйста.

— А когда у нас бывает посвободнее?

Ираклий Григорьевич понимающе усмехнулся:

— То-то и оно, что не бывает.

Он опечаленно подергал себя за кончик тонкого хищного носа, но в следующую минуту, как ни в чем не бывало, лихо хлопнул себя по коленкам.

— Хочешь, открою тебе секрет?— Он таинственно понизил голос.— Одному тебе, пользуйся моей добротой. У меня теория такая: если новая техника нужна, она сама пробьет себе дорогу, как бы я ни сопротивлялся ей. Я вроде фильтра. То, что преодолет меня, заслуживает право на существование. Диалектику помнишь? Новое рождается в борьбе со старым. Так вот я — это старое, без которого не родиться новому.

— Силен,— признал Дмитрий Алексеевич, и оба расхохотались.

Дмитрий Алексеевич смеялся и вспоминал, где он недавно слышал подобные слова или что-то похожее. От кого? При каких обстоятельствах?

Смех, как хорошая смазка, помог Ираклию Григорьевичу подъехать к разговору о мощности с другого бока:

— Прямо заявляю: не дашь мощности — буду с тобою драться. Через горком, министерство. Охота тебе связываться!

— Допустим, я тебе дам мощность,— сказал Дмитрий Алексеевич, осматривая чернильный прибор, бумаги, карандаши, словно разыскивая что-то.— Ты немедленно поставишь новые станки, включишь. Кабель хлоп — и пробился. Резервного нет. Пока повреждение найдут — половина цехов будет стоять. Что тогда?

Ираклий Григорьевич махнул рукой, плюнул через плечо:

— Типун тебе на язык! Пожалуйста, не шути. Конечно, я иду на риск...

При слове «риск» Дмитрию Алексеевичу показалось, что вот-вот вспомнит, кто говорил так про новую технику, и опять сбил мысли этот вымогатель. Дмитрий Алексеевич аж крикнул с досады.

Ираклий Григорьевич не сдавался. С неподдельной жалостью к самому себе он описал, как встретят его требование на кабель и новую подстанцию в министерстве.

— Скажут — спекулируешь на задании. И, самое обидное, опять ведь попрекнут — спокойной жизни захотел. Ох, мне эта спокойная жизнь, некуда спрятаться от нее! Как будто это вредительство — спокойная жизнь. Никогда я не имел ее, но, знаешь, Дмитрий Алексеевич, иногда она мне снится. — Он сладко прищелкнул языком. — Это что-то райское... Да, чуть не забыл, — спохватился Ираклий Григорьевич. — Ты у меня как-то компрессор просил. Завтра тебе пришлю. Освободился он у меня.

«Сейчас я тебя проучу, взяточник», — улыбаясь, подумал Дмитрий Алексеевич.

— Вот спасибо, Ираклий Григорьевич, — поклонился он. — Приятно иметь дело с человеком отзывчивым... несмотря ни на что. Нет в тебе такого барышнического душка: я — вам, а вы — нам...

Он умолк, хотя знал, что Ираклий Григорьевич ожидает продолжения. Убедившись, что продолжения не будет, Ираклий Григорьевич с натугой сказал:

— Да, конечно. Пришлю... Значит, встречаемся в горькоме?

Дмитрий Алексеевич кивнул.

— А может, все-таки дашь мощность?

— И не надейся.

Теперь, когда все было кончено, не имело смысла сердиться. Каждый из них понимал это и даже сочувствовал другому.

— Приехать бы домой, книжку почитать по новым станкам, — сказал, прощаясь, Ираклий Григорьевич, — так нет, придется писать на тебя жалобу. А ты говоришь, новой техникой заниматься.

Оставшись один, Дмитрий Алексеевич долго смотрел на пустое кресло, где только что сидел Ираклий Гри-

горьевич. Часы пробили девять. Он вздохнул, вытащил из корзинки отложенные бумаги. Взгляд его упал на лиловую папку... Так вот в чем дело! Вот откуда это ощущение слышанного. Почти те же доводы он, Дмитрий Алексеевич, приводил в споре с Лобановым.

А сейчас чужие губы произносили их с такой же легкостью: «Риск...», «Само пробьется...»

Он переводил глаза с папки на стопку бумаг и обратно. Взял папку, зачем-то взвесил ее в руке, швырнул в сторону. Фильтр... диалектика! Шутник этот Ираклий. Однако, как он тут ни вышучивался, он на самом деле фильтр.

Дмитрий Алексеевич придвинул бумаги, взял карандаш. Сколько раз просил эту новую: не умеете чинить карандаши — не беритесь. Была Цветкова — был порядок. Отпустил к Лобанову, теперь... А, черт, опять сломался... Да, Лобанов. Подумаешь, теоретик...

Дмитрий Алексеевич решительно оделся, погасил свет, дошел до дверей, постоял, вернулся, взял со стола папку.

Всю дорогу в машине он молчал, закрыв глаза; шофер решил, что начальство дремлет, но, когда проезжали мимо школы, Дмитрий Алексеевич ворчливо сказал:

— Чего не гудишь? Детей жалеешь, а не аккумуляторы.

За ужином он оставался мрачным, неразговорчивым и, не допив чая, ушел к себе в кабинет.

Раскрыв папку, он стал небрежно перелистывать рукопись. Почерк-то, почерк! Как будто этого Лобанова лихорадка трясла. Схемы какие-то кривые, уже по внешнему виду можно представить, что это за работа. А самоуверенности — «локатор дает принципиально новое решение...». Бред! Так и знал. Откуда взялась такая точность? Собачий бред!

Дмитрий Алексеевич, фырча, заглянул в последние страницы. Форменная белиберда. «Определять повреждения можно одним прибором и в линиях, и в кабелях, независимо от их длины, материала...» Этот Лобанов, видно, сам повредился. Верно про него писали — ученый кот. Изволь разбираться с таким фанатиком. Фильтр... Ираклий — тот действительно рутинер. Кабель я его заставлю проложить. Опять какая-то формула. Откуда она взялась?

Вошла жена, покачала головой:

— Ты еще не переоделся. Сейчас придут гости. Анна Мироновна с Зиной.

Дмитрий Алексеевич облегченно захлопнул папку. Потапенко, пожалуй, прав: Лобанов затащит в такую историю, стыда не оберешься. Симпатичный. Фантазер он!

— Все. Капут! — весело сказал он. Потрогал щеки, не надо ли бриться. Сойдет! — Я как раз хотел с Анной Мироновной посоветоваться насчет своего ревматизма. Ты иди, я сейчас.

Он стал расшнуровывать ботинки. Однако странно, откуда взялась эта формула? Надо все же написать Лобанову заключение. Ираклий... тот действительно фильтр. А про меня... Кто в прошлом году вытащил предложение Васи Воронина? Ездил специально на коллегую, хлопотал. А если я не поддерживал Лобанова, так правильно делал. Лобанов из пальца высосал идею. Ну, идея, положим, хороша... Много хороших идей. Откуда все-таки формула взялась?

Он подошел к столу, не сядясь перелистал рукопись, нашел непонятную формулу.

Жена застала Дмитрия Алексеевича у стола. Он стоял без пиджака, в носках, одной рукой перелистывая рукопись, в другой держа ботинок.

— Митя, — торопливо сказала она, — Анна Мироновна уже пришла.

— Анна Мироновна? — переспросил он. — К черту Анну Мироновну.

Она испуганно подняла брови:

— Что с тобой?

Дмитрий Алексеевич опомнился, виновато закрыл рукопись.

— Ничего, я сейчас, сию минуту. Ты иди.

На вырванном из блокнота листке он набросал сам собой складывающуюся фразу:

«Отмечая несомненную ценность произведенных т. Лобановым расчетов, полагаю, что они все же не дают права решать вопрос о практической реализации...»

Он перечеркнул, начал резче, опять зачеркнул. Ему не терпелось сейчас же позвонить Лобанову и сорвать на нем свою злость. Он и позвонил бы, но телефон стоял в передней, надо было пройти через столовую, где сидели гости. Триста шестьдесят пять раз в году он собирался поставить параллельный телефон здесь, у себя в кабинете. Дмитрий Алексеевич присел на кушетку

и начал надевать туфли. Из-за неплотно притворенной двери доносился запах пирогов и неясный шум голосов. Мусоля разлохмаченный кончик шнурка, Дмитрий Алексеевич подбирал формулировку заключения о работе Лобанова. Его раздражало непонятное, непривычное отсутствие нужных слов. Кто-кто, а он славился умением одной фразой убить человека. Вчера на подстанции, когда при нем пробовали ссылаться на плохую работу новой машины, он вежливо сказал начальнику: «Вы знаете, мне кажется, что на подстанции нет инженеров». И этого было достаточно... Ну, а я-то инженер, и не просто инженер, а главный, главный инженер. «Фильтр», — снова с яростью вспомнил он Ираклия Григорьевича. Не нравится быть фильтром? Тогда разберись, не занимайся отпихнизмом.

Так и не дошнуровав туфлю, он подошел к шкафу, достал справочник с твердым намерением уличить Лобанова в ошибке. За справочником последовал толстый том «Физических основ», за ним пыльный комплект прошлогодних журналов. Черт возьми, выходит, Лобанов прав... Он вернулся к первой странице рукописи. Спотыкаясь чуть ли не на каждом шагу, он пробирался к сути дела, и чем дальше он шел, тем больше у него скапливалось вопросов.

Когда к нему снова заглянула жена, в кабинете было накурено, на полу валялись журналы и книги. Дмитрий Алексеевич читал, сидя верхом на стуле.

— У тебя что-нибудь стряслось, Митя? — забыв о своем негодовании, встревожилась она.

Раньше бы он досадливо махнул рукой — «новая морока». Ведь прибор Лобанова тащил за собою непредвиденные и вовсе не обязательные хлопоты. Если даже прибор и хорош («ну, это мы еще посмотрим!»), придется налаживать производство, доставать материалы, ломать сопротивление Потапенко и всех его приспешников. Одно потянет другое. Калмыков выступит на активе: «Прибором Лобанова занимаетесь, а котельную автоматику забыли?» Заманчиво, ох как заманчиво прихлопнуть этот локатор в зародыше и уберечь себя от всех грядущих связанных с ним тревог. Он улыбнулся — до чего явственно, почти физически, ощущалось это желание.

Дмитрий Алексеевич взял жену за плечи, притянул к себе и, целуя в глаза, сказал:

— У меня и впрямь стряслось... При худе худо; а без худа и того хуже — одним словом, приятная неприятность. Ты там извинись за меня, ну придумай что-нибудь, что у меня грипп, тиф, коклюш, что угодно...

Оказалось, что он не знает некоторых новых характеристик изоляторов. И насчет линии передач у него пробелы. Но, во всяком случае, разобраться можно.

За последние годы он привык листать журналы и книги, схватывая лишь самое общее, чтобы быть «в курсе». Сейчас он читал работу Лобанова, сознавая, что от него зависит судьба локатора. С каждой страницей ему становилось легче. Есть еще порох в пороховницах!

Чтение рукописи раскрывало Дмитрию Алексеевичу ход мыслей и поисков Лобанова. Печатные строки безлики, в них не остается следов неудач и отвергнутых сомнений. Рукопись — это увлекательная повесть о самом авторе, о его характере, о его мышлении.

Вот неуверенно перечеркнутая схема, через несколько страниц Лобанов возвращается к ней, он пробует подступить к ней с одного бока, с другого и, наконец, отчаявшись, пишет: «Проверить опытным путем».

Лишенный эксперимента, он вынужден рассматривать иногда по десять возможных решений. Ему бы поставить один-два опыта, и сразу стало бы ясно, но в его распоряжении только бумага. Каторжная обязанность волочить за собою все десять вариантов привлекла Дмитрия Алексеевича на сторону Лобанова сильнее, чем все докладные записки Андрея, чем его речь на техническом совете. Нельзя было дольше оставаться равнодушным. Он не заметил, как из читателя превратился в соратника.

Он шел вслед за Лобановым, переживал его сомнения. Бросался вместе с ним за мелькнувшей догадкой, неуверенно вытянув руки, пробирался в темноте, наталкивался на стены, ликовал, нащупав истину.

Иногда на полях попадались посторонние замечания:

«Прочитал триста страниц Тонкова для того, чтобы убедиться, что их можно было вовсе не читать».

«Можно создать вещь превосходную, но окончательную — никогда».

«Когда будет макет, опробовать, годится ли формула для других случаев».

«Ох и аппетит», — думал Дмитрий Алексеевич.

Местами, где Лобанов брал препятствия прыжком, Дмитрию Алексеевичу приходилось приставлять лестницу; местами он подолгу останавливался, восхищенный мыслью, крепкой, как удар кулака.

Он страдал вместе с Лобановым, не имея возможности поставить самый простой опыт.

— Испытать, — стонал он. — Идиотство рассчитывать такой контур. Его подобрать на стенде, испытать — и конец.

Кто виноват в этом? Ему было стыдно. Проглядел. Не заметил. Неужто заболел скверной трусливой старостью? Давно ли сам дрался с прежним начальством, громил: такие-сякие, перестраховщики, боитесь нового! Не за это ли его выдвинули, доверили такое высокое место? Ведь была же в нем когда-то та же безоглядная протестующая смелость, что и у Лобанова. Закостенел. Появилось расчетливое равнодушие, и научился защищать его умело, почти искренне. Неужели стал такой, как Ираклий Григорьевич? План, да план, да план... С Васей Ворониным случай-то был в прошлом году! И все. И больше припомнить нечего... Фильтр. Неужто это неизбежные последствия возраста, которые приходят вместе с сединой, одышкой и ревматизмом?.. Фу, что за глупости!

Он вскочил, заходил по комнате, спотыкаясь о кипы книг и журналов.

Потапенко и Долгина придется, очевидно, заставить силой. Они будут ссылаться на Тонкова, тогда он им возразит: пускай работа идет параллельно. Здоровое соревнование, полезное для обеих сторон, — принимаете вызов? Всякие доводы против можно расценивать как стремление к монополии. Да и наконец, Виктор Григорьевич, разберитесь сами, как это сделал главный инженер, и возразите по существу схемы локатора. Не под силу разобраться самому — призовите на помощь ваших инженеров. Аппарат у вас, слава богу, большой. Поручите, к примеру, Захарчуку... Он улыбнулся, представив себе кислую физиономию Потапенко при этих словах.

А ты, товарищ Лобанов, тоже — летаешь хорошо, садиться не умеешь. Откуда ты взял, что локатор годит-

ся только для линии передач и кабелей? А трансформаторы? А контрольная проводка?

Дмитрий Алексеевич довольно потер руки. Он почувствовал неоценимую силу своей опытности. Он мог охватить взглядом всю картину, шире, чем Лобанов, раздвинуть рамки возможностей локатора. Перед ним как на ладони лежало все его огромное хозяйство, известное только ему со всеми своими взаимосвязями и перспективами, со всеми своими болезнями. И это закономерно, потому что он главный инженер, именно инженер. Еще повоюем, детинка с сединой всюду согдится! Черт его знает, может, взять да самому набросать принципы локации повреждений в контрольных целях? Свежее, молодое волнение испытывал он от одного этого желания, робкого, полузабытого, памятного с юности и такого не похожего на повседневные заботы последних лет. И тревожная, ревнивая радость, что ему первому пришла в голову мысль о новых неизвестных возможностях локатора, радость открывателя, была тоже иной, совсем отличной от радости его обычной работы.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

Последнюю неделю Саша Заславский с ног сбился, подготавливая прогулку на пароходе. Комитет комсомола решил нанять пароход, субботним вечером уйти в залив, встретить там рассвет, а день провести в Лесопарке. Программа обсуждалась горячо. Надо было позаботиться о концерте самодеятельности, волейбольной сетке, радиоле, договориться относительно буфета, прояснить щепетильный вопрос о спиртных напитках. Саше в качестве ответственного приходилось выслушивать рождавшиеся ежечасно предложения Пеки Зайцева, звонить в Речной порт, разбираться с одним комсоргом, который отказывался брать на прогулку комсомольцев, не уплативших членские взносы. Среди всех этих срочных и сверхсрочных дел было одно вовсе не срочное, но мучительное для Саши, и чем дальше он его откладывал, тем больше оно мешало ему.

Под вечер он вызвал Борисова в коридор, в полутемный тупичок, где стоял красный пожарный ящик с песком. Борисов курил, а Саша маялся, не зная, как начать разговор. На первый взгляд просьба его не представляла ничего такого, из-за чего стоило бы волновать-

ся. Он просил Борисова переговорить с Лобановым о переносе отпуска на следующий месяц. Борисов осведомился, почему он хочет перенести отпуск.

Саша покраснел:

— По семейным обстоятельствам.

— Не умеешь врать — не берись, — сказал Борисов, даже не взглянув на него.

— Ну, знаете!.. — попытался возмутиться Саша, а потом с отчаянием попросил: — Только, Сергей Сергеевич...

— Могила, — успокоил его Борисов.

— Одним словом, я запланировал поехать вместе с Цветковой в дом отдыха. Она еще не знает. Я с ней в это воскресенье на прогулке думаю договориться. Мне перед этим надо определенно...

— Сюрприз, значит?

— Сюрприз, только не знаю, приятный ли... — Саша вздохнул.

После случая со стенгазетой его отношения с Ниной окончательно запутались. Подозревать Нину он не имел права и не хотел. И вместе с тем что-то мешало Саше относиться к ней с прежней искренностью. Ему казалось, что она это понимает и сторонится его.

— А почему ты сам не обратишься к Андрею Николаевичу насчет отпуска? — спросил Борисов.

Саша рукой махнул:

— Лобанов занят, к нему не подступишься.

— Подожди, он на прогулку едет?

— Мы его и не приглашали.

— Это еще почему? — удивился Борисов.

— С какой стати Андрею Николаевичу выходной себе портить, ему скучно будет с нами! — сказал Саша.

Не столько слова, сколько эта уверенность, высказанная без всякой обиды на Лобанова, неприятно поразила Борисова.

— Откуда у тебя такое мнение?

— Почему у меня? — неохотно сказал Саша. — Ребята тоже решили его не приглашать. Говорят — при нем будут стесняться.

— Да в чем стесняться? — наседал Борисов.

Саша окончательно смутился.

— Видите ли, Сергей Сергеевич... Лобанов очень уж нацеленный на свое дело человек. При нем и подурчиться вроде как неудобно. Он очень правильный... Вы не подумайте чего плохого, — заторопился он, — ребята

его сильно уважают, он вовсе не сухарь, мы знаем — он физкультурник. И шутит он здорово...

Борисов задумался.

— А сам-то ты хочешь, чтобы он поехал?

Саша молчал.

— Вот что, — сказал Борисов. — Андрея Николаевича обязательно пригласите. Не ради вежливости, а ради самого что ни на есть отдыха. Сами вы сухари, о себе лишь заботитесь. Посмотри, на кого он стал похож. Стесняться его нечего, это чепуха... Одним словом, я все беру на себя. И насчет отпуска тоже похлопочу.

У Саши словно гора с плеч свалилась.

А Борисов крепко задумался. Лобанова пригласить стесняются... Чепуха? Не такая уж это была чепуха.

Когда Борисова выбирали в партбюро, он отказывался — инженер он молодой, ему еще учиться надо. Парторганизация лаборатории подчинялась партийному комитету Управления. Секретарь парткома Зорин, человек податливый, вялый, откровенно мечтал вернуться к инженерной работе.

— Куда это годится, — жаловался он Борисову, — совсем забываю свою специальность.

Борисов понимал его и сочувствовал, тревожась за собственную инженерную судьбу. Правда, парторганизация лаборатории была малочисленная, но все равно совмещать работу с секретарством было нелегко.

— Нашли лошадку, — ругала его жена. — Заседания, совещания... Для этого ты институт кончал?

Пока он был рядовым коммунистом, ему достаточно было выступить с предложением, критиковать, подсказывать, выполнять поручения. Теперь все изменилось. Он должен был сам принимать решения, действовать и заставлять действовать других. Чувство ответственности за все неполадки лаборатории, за каждого человека мучило его своей неопределенностью. Круг его обязанностей не был ничем ограничен. Отвечать приходилось за производство, за политучебу, за настроения людей — за все.

По мере того как Борисов сближался с Лобановым, находил с ним общий язык, он ощущал на себе все возрастающую неприязнь Долгина, который, занимая в парткоме прочные позиции, делал все, чтобы опорочить Борисова в глазах членов парткома.

Поводом для первого крупного столкновения послужила история с Морозовым.

После комсомольского бюро число поклонников Морозова быстро уменьшилось. То ли обозлившись, то ли желая показать себя, Морозов однажды явился на работу пьяным. Прежде подобные случаи сходили ему с рук, но теперь Борисов настоял на том, чтобы отправить Морозова домой и дело о прогуле передать в суд. Через несколько дней Борисова вызвали в партком.

— Что ж это получается, товарищ Борисов? — сказал Долгин. — Дисциплина-то у вас падает.

Борисов объяснил, в чем дело:

— По-моему, не падает. Мы не желаем больше никому давать спуску.

Долгин поставил галочку против соответствующей графы сводки. Факт остается фактом. Показателем дисциплины является количество взысканий, а соответственно — количество нарушений. За последний месяц взыскания увеличились вдвое, вдобавок — прогул.

— Ну, а что ж, товарищи, прикажете не наказывать? — спросил Борисов. — Вы же рассуждаете формально. Формализм чистейшей воды.

— Ты пойми, чудак, — сказал Зорин, — о нашей воспитательной работе как будут судить? Вот я такую сводку отправлю, с меня же спросят: почему допускаете?

— Приходится констатировать, — сурово начал Долгин, — политико-воспитательная работа в лаборатории ухудшилась, о чем свидетельствует...

Борисов грубо перебил его:

— Вы на что толкаете меня? Скрывать факты?

Долгин стукнул кулаком по столу:

— Говори, да не заговаривайся. Почему Морозов раньше не прогуливал? Вот в чем корень. Ты должен не взыскания накладывать, а воспитывать людей, чтобы искоренять подобные явления.

Обычная выдержка изменила Борисову. Пользуясь тем, что в кабинете, кроме него, находились только Зорин и Долгин, он с сердцем выругался:

— Черт бы вас побрал с вашими сводками! Морозов двадцать раз прогуливал, его давно судить следовало, а мы все боялись, цацкались с ним. А теперь, когда мы решили навести порядок, вы берете его под защиту. Так выходит? Руки нам связать хотите? Не выйдет. Конторщики, сводки вам нужны благополучные!

Он покинул партком обозленный и расстроенный. Чем глубже он вникал в партийную работу, тем сильнее поднимался в нем протест против оупляюще формальных методов, насаждаемых Долгиным при молчаливом согласии Зорина. Взять, к примеру, социалистическое соревнование. Испокон веков повелось, чтобы каждый месяц каждый работник брал на себя соцаязательство. Полагалось включать не меньше четырех-пяти пунктов, с «охватом» производственной деятельности, общественной деятельности, учебы. А что получалось?

У себя на партбюро Борисов проанализировал некоторые аязательства. Вот Кривицкий пишет: провести наладку регулятора на Комсомольской ГЭС. Спрашивается, в чем тут его заслуга, если он это аязан сделать по плану? У всех значится одно и то же: активно участвовать в общественной жизни. Уборщица тетя Нюша аязалась чисто убирать помещение. При чем тут соцсоревнование?

— Ну, а какие же пункты ей брать? — спросила Майя.

— Да лучше никаких, чем такие, — просто сказал Борисов. — Соревнование имеет смысл, когда человек хочет и может сделать что-либо сверх положенного. Ну какой прок в тети-Нюшином аязательстве, если оно написано за нее Усольцевым, чтобы соблюсти стопроцентный охват?

Майя задумалась.

— Так-то оно так, да что скажет...

— Долгин? Разумеется, он что-нибудь да скажет. Но у нас тоже есть головы. За последнее время, по-моему, в нашем учреждении исказили идею социалистического соревнования. Живая инициатива исчезла. Все делается по подсказке.

Решительность Борисова понравилась членам бюро. Договорились перестроить систему соревнования: аязательства пусть берет тот, кто, допустим, хочет и может выполнить свою работу раньше положенного срока.

Постепенно соревнование начало приобретать первоаанный боевой задор, аязательства принимались по личному долгу, без формальностей. На производственном совещании Воронько сказал:

— О, це гарно, а то уси пальцы обсосал, чего еще выдумать. Возьму я теперь один пункт — сдать экзамены на четверки. Мне это зараз дюже приспичило.

Показатели работы лаборатории улучшились, однако на первых порах количество индивидуальных обязательств уменьшилось, и Долгин не преминул обрушиться на Борисова.

Еще с той поры, когда Борисов работал монтером, у него сохранилась простота обращения, выгодно отличающая его от многих инженеров. Он оставался самым собой с рабочими, не искал их расположения, честил их, когда это было нужно, на чем свет стоит, и тем не менее каждый делал его своим поверенным в трудных обстоятельствах.

Партийная работа ежедневно открывала Борисову сложность человеческих характеров, ставила перед ним задачи, не учитываемые ни в каких планах. Почему так трудно и болезненно переживает добродушный Воронько свой роман с Верой Сорокиной? Откуда появилась в Майе Устиновой эта несвойственная ей замкнутость? Какая тайная забота последнее время гложет Кузьмича?

Раньше рядовой коммунист Борисов мог посочувствовать Ванюшкину, которому никак не удавалось получить комнату; и вот уже год он жил с молодой женой врозь по общежитиям. Теперь секретарь партбюро Борисов обязан был действовать.

Уборщица тетя Нюша, седенькая, с больными ногами в толстых красных шерстяных чулках, рассказала Борисову:

— Утречком тащусь я на работу — дождь как из ведра. Едет мимо наш Потапенко. Развалился барином в машине, посмотрел, как я ковыляю, хоть бы глазом моргнул. А сам знает, что я после болезни. Ты вот разъясни мне, Сергеич, стряслось бы с ним что, если он остановил бы свой автомобиль и подвез меня?

Какие бы верные слова он ни сказал тете Нюше, он чувствовал себя в долгу перед ней. И то, что он вынужден был порой отвечать словами там, где требовалось дело, — мучило его.

Несмотря на все это, несмотря на неприятности, которые доставлял Долгин, на свое неумение разобраться до конца в человеческой психологии, Борисов замечал, что ему все больше нравится партийная работа. Она заставляла его подтягиваться. Он был уже не только коммунист, он был руководитель, и постоянное чувство ответственности заставляло его следить за собою, бороться со своими слабостями, освобождаясь в этой борьбе от многого, что раньше мешало ему.

Глубже изучая людей, он ставил себе все более сложные задачи. Взять хотя бы Андрея Лобанова. В стремительном росте его характера Борисов давно ощущал какую-то тревожную односторонность. Правда, до сих пор его беспокойство вызывалось случайными, не связанными единой мыслью наблюдениями.

Борисов замечал, что ему за последние месяцы как-то не хочется говорить с Лобановым ни о чем, кроме как о работе. А ведь Лобанов особенно дружил именно с ним — Борисовым.

Память подсказывала и другие, казалось бы, мало-значащие примеры.

Однажды весной Новиков появился в новом костюме. Вся лаборатория давно уже наслышалась про этот костюм. Все усердно нахваливали материал, покрой, фасон; сияющий Новиков обратился к проходившему мимо Лобанову, а тот сухо сказал:

— Сегодня надо ехать на станции, зря вырядились.

Он был прав. Действительно, из-за костюма командировку пришлось отложить. И все же в его правоте было что-то бездушное.

Когда же это все началось? Борисову казалось, что еще до техсовета, весной, в личной жизни Лобанова случилось что-то ожесточившее его. Затем техсовет, изнуряющая работа над локатором в одиночку усилили эту отчужденность. Лобанов отстранял от себя все, что не имело непосредственного отношения к работе. С его появлением прекращались посторонние разговоры. Кривицкий никогда не жаловался в его присутствии на свою язву желудка, тетя Нюша, заслышав шаги Лобанова, переставала читать Борисову письмо своей племянницы с Дальнего Востока и хваталась за щетку.

Борисов честно припоминал и не мог припомнить, чтобы когда-нибудь в кабинете Лобанова запросто посидели, поболтали о жизни, о своих семейных делах. Самого Лобанова эти темы не интересовали. Или он нарочно сдерживал себя? Черствым человеком его тоже нельзя было назвать. К просьбам и нуждам сотрудников он относился внимательно, делая все, что было в его силах. А вот поди ж ты, ни у кого не возникало желания показать Лобанову фотографию своего ребенка, пригласить на именины, рассказать новый анекдот. Быт людей, составляя как бы подводное течение жизни лаборатории, обходил Лобанова стороной, и постепенно это становилось привычкой.

До сегодняшнего дня Борисов считал, что ни уважение к Лобанову, ни авторитет его не страдали от этого. Лобанов умел увлечь сотрудников своими замыслами, он создавал вокруг себя как бы магнитное поле, возбуждая у каждого ответную силу либо отталкивания, либо притяжения, не оставляя никого нейтральным. Нельзя было работать вместе с Лобановым, не принимая участия в его волнениях, во всем том, что каждый час отражалось в горящем взгляде его зеленоватых глаз.

Борисов лучше всех знал, как туго приходилось последние два месяца Лобанову. Он сам требовал от Лобанова собрать всю волю в кулак, не обращать внимания на толки и пересуды, не принимать к сердцу дурацкую басню в стенгазете... И вдруг в этой напряженной обстановке обрушиться на Лобанова с упреками с самой неожиданной стороны? И это предстояло сделать Борисову, человеку, в котором Лобанов видел свою ближайшую незыблемую опору.

Да и в чем упрекать, чего требовать? Чтобы он миловался со всеми, расспрашивал про детишек, когда у него мысли заняты совсем другим? Требовать у него сердечной близости к людям, — а подумал ли ты, товарищ секретарь, не будет ли это бессердечным и жестоким по отношению к Лобанову?

Подождать? Ведь это, казалось бы, не мешает самому главному — работе. Но так ли уж не мешает? Пусть мнение ребят никак не связано с «производственной характеристикой», но разве не обидно за Андрея? Не хотят его приглашать. Не любят его — вот в чем суть. Уважают, слушают, все, что угодно, теплоты же, близости, любви — нет. Неужели ему будет скучно с такими чудесными ребятами? Не может быть, без особой уверенности твердил Борисов, пытаюсь представить Андрея не за работой, а вот так, гуляющим вместе с молодежью, да еще, чего доброго, с какой-нибудь славной дивчиной под руку.

Уж на что Саша Заславский, казалось бы, влюблен в Лобанова — и тот, в сущности, смотрит на него как на чужого человека.

Мучительно обдумывая случившееся, Борисов увидел ту полосу отчуждения, которая постепенно отдаляла Лобанова от коллектива, обрекая его на одиночество, особенно неприятное теперь, когда главный инженер наконец разрешил включить конструирование локатора

в лабораторный план и надо было сколачивать дружную, работоспособную группу.

Борисов предполагал в воскресенье отправиться снимать дачу, но коли такие обстоятельства, решил он, поеду с ними: свой глаз — алмаз, чужой — стекло.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

Пароход покачивался на мелкой речной волне, поскрипывали сходни, принимая новых и новых гостей. Поздняя вечерняя заря окрасила алым цветом почти всегда серую, взъерошенную ветром реку, гранитную набережную, белоснежную рубку парохода. На медных поручнях, в чисто протертых стеклах иллюминаторов пылали десятки маленьких слепящих солнц. На трубы духового оркестра было больно смотреть, они словно извивались, раскаленные докрасна, в руках музыкантов.

Борисов пожалел, что поехал без жены.

— Присоединяйся к нам, холостякам, — крикнул ему Новиков. — Какие девушки! Глаза разбегаются.

Стоило ступить на борт парохода, ощутить под ногами качающуюся палубу, как сразу приблизились небо и вода, глаза невольно потянулись к лилово-прозрачной дымке залива. А по обоим расходящимся берегам, скрепленным пряжками мостов, раскинулся огромный город — карминовые волны крыш, трубы с косматыми гривами дымков, золотые острия шпилей.

Не успели отчалить, как с палубы взмыла, понеслась песня, и с этой минуты, не умолкая, кочевала она всю ночь, от борта к борту, спускалась в каюты, даже капитанский мостик не оставила в покое.

Старенький пароход, наверное, впервые вез на себе такой большой груз веселья и радости.

Молодежь затащила Борисова на верхнюю палубу, там начались танцы. Издали, поверх голов, Борисов заметил Андрея, кивнул ему, но толпа разделила их. Потом Борисов увидел, как Андрей спустился вниз, побродил между столиками буфета, прошел на корму и устроился в укромном местечке, присев на бухту каната.

«Подойти к нему или нет? — думал Борисов. — Рано еще, подожду. А может, в самый раз именно сейчас встряхнуть его?»

— Сергей Сергеевич, выручай! — крикнул Новиков. — Разобьем эту парочку.

Он показал на двух кружившихся девушек — кареглазую красавицу Галю Семенову из планового отдела и толстощекую коротышку — сестру Пеки Зайцева.

— Разрешите вас разлучить, — сказал Борисов девушкам и, спутав все расчеты Новикова, подхватил Галю Семенову.

Он еще раз взглянул вниз, на корму. Отсюда, с палубы, фигура Андрея казалась одинокой и маленькой. «Ну и сиди», — в сердцах подумал он.

Вынув записную книжку, Андрей хотел, как обычно, подвести итоги недели. Он задумчиво смотрел за борт на кипучий сизый бурун, который, не отставая, бежал за кормой.

Если бы ему пришло в голову, что эта вода, и небо, и музыка мешают ему думать о деле, он, конечно, немедленно заставил бы себя заняться делом. Но он находился в состоянии какого-то странного бездумья.

Карандаш в его руке повисел, повисел, опустился на чистую страницу и нарисовал парусник с узким бушпритом, с оснасткой, веревчатыми лестницами, кливером. Мачты гнулись под ветром, трещали паруса. Парусник мчался сквозь бурю из далекого детства, населенный смелыми моряками, открывателями новых земель, путешественниками...

Ветер, и на самом деле тугой, теплый, трепал волосы, забираясь под рубашку, вздувал ее пузырем. За бортом парохода шумно бурлила вода.

Красота летнего вечера постепенно покорила все его чувства. Он не заметил, как встал, облокотился о поручни. Брызги, разбитые ветром, обдавали лицо мелкой пылью. Перед ним была только вода, с каждой минутой она раскрывала все шире свою бескрайнюю даль. Пароход выходил в залив. Тяжелый, продымленный городской воздух отступал перед свежими крепкими запахами певучей воды. В белесом тумане, за дозорными силуэтами островов садилось красное солнце. Через все море поперек насыщенных синевой полос протянулась рябиновая дорожка. Гладкая волна дышала теплом, постоянным за долгий день.

Андрей не представлял себе человека, равнодушного к морю. С детства оно было предметом его мечтаний,

местом воображаемых подвигов. Мечталось когда-нибудь поселиться на самом берегу моря, засыпать под его неумолчный прибой, вставая, встречать его каждое утро новым и таким же прекрасным.

Перед величественной вечной громадой моря многое в собственной жизни казалось порой мелким, пустым, не стоящим внимания. Оставалось только самое важное, главное.

Чья-то маленькая горячая рука легла на его руку. Рядом с ним стояла Нина.

— Послушайте, — сказал он, не в силах оторваться от певучей косой волны, бегущей от борта:

Приедается все,
Лишь тебе не дано примелькаться.
Дни проходят,
И годы проходят,
И тысячи, тысячи лет.
В белой рьяности волн,
Прячась в белую пряность акаций,
Может, ты-то их,
Море,
И сводишь, и сводишь на нет.

Впереди и с боков его окружала вода, как будто он стоял не на палубе парохода, а мчался по волнам сам, разрезая воду, чувствуя ее плотную силу.

Он пригнул голову, крепче сжал поручни. Яростно сопротивляясь, раздавались в стороны шипящие пласты воды. Веселое возбуждение борьбы охватило его. Это были редкие дивные минуты полного душевного счастья, совершенно безотчетного, когда тело и ум сливаются вместе, распахиваясь навстречу ветру, запахам, краскам.

Пароход покачивался в такт задумчивому ритму строк:

Ты на куче сетей,
Ты курлычешь,
Как ключ, балагурия,
И, как прядь за ушком,
Чуть щекочет струя за кормой...

Андрей перевел дух, слизнул с губ холодную, чуть горьковатую влагу.

— Хорошо, — медленно сказала Нина.

Держась за поручни, она откинулась назад на вытянутых руках. Темно-голубое платье облепило ее фигуру,

билось и шелестело в ногах, закинутые назад волосы струились по ветру.

— Про море, наверно, нельзя писать плохо, — благодарно ответил он.

Они молчали, и он был доволен, что с ней так приятно молчать.

Солнце скрылось. Рябиновая дорожка на воде погасла. Наступила ночь. Светло-молочное небо без солнца выглядело странно пустым...

Какая-то шумная компания приблизилась к борту. Накрашенная женщина с тонкими, выщипанными бровями воскликнула: «Что за живопись!»

— Пойдемте танцевать, — тихо сказала Нина.

Поднимаясь за ней по узкому трапу, Андрей невольно смотрел на ее голые загорелые ноги и впервые подумал о Нине как о женщине. Начиная с этой минуты каждый взгляд, каждое прикосновение открывали ему в Нине новое. Танцуя, он ощущал ее высокую грудь, рука его чувствовала сквозь ткань ее горячие плечи. Это стесняло его и в то же время было приятно. Нина была ниже его на целую голову; когда он смотрел вниз на ее запрокинутое счастливое лицо, ему казалось, что он смотрит в синюю кипучую воду.

И, как прядь за ушком,
Чуть щекочет струя за кормой...

Он отыскал эту прядь, и сразу же из глубины памяти всплыла другая — не темного золота, как у Нины, а светлее, своевольная, смешная — такую не видят в зеркале, когда причесываются...

— Как хорошо, что вы поехали с нами, — сказала Нина.

Он сжал в ответ ее руку и, уже не думая, не вспоминая ни о чем, закружился, поглощенный лишь плавной мелодией вальса и радостью от близости этой девушки.

Палуба сливалась с гладью моря, и казалось, что они мчатся по огромному залу из моря и неба. Где-то рядом мелькнули синие глаза Борисова, один глаз подстрекающе мигнул, Андрей улыбнулся и снова закружился, чувствуя щекой волосы Нины.

А Борисов снова пожалел, зачем он не взял с собою жену. Поехал в качестве парторга. Что за глупая и скучная затея! Как будто нельзя просто поехать, как все люди, потанцевать со своей Любашей, отдохнуть без

этой заранее поставленной задачи — кого-то поучать, наставлять, воспитывать. Как будто без этого он перестанет быть коммунистом. Вот ведь прекрасно все обстоит у Андрея и без его вмешательства.

Заметив в группе молодежи Сашу, Борисов кивнул в сторону Андрея с Ниной:

— Видал? А ты боялся!

Саша виновато развел руками. Когда танец кончился, Борисов извинился перед Ниной и увел Андрея.

Они спустились в кают-компанию. Свободных столиков не было.

— Сергей Сергеевич, подсаживайтесь к нам, — окликнул их Воронько.

Он сидел с Кузьмичом, красный, взъерошенный, шумно вздыхая и усердно подливая старику из графинчика.

— За ваше здоровье, Сергей Сергеевич. — Он смущенно посмотрел на Андрея. — Может, вы тоже за компанию, Андрей Николаевич?

— Что-то рано ты начал, Воронько, — недовольно сказал Борисов.

Судя по возбужденному виду Воронько, Андрей ожидал, что он ответит какой-нибудь дерзостью, но Воронько послушно поставил рюмку на стол:

— Танцевать я не умею, Сергеич, вот беда.

— Телок ты. Она там стоит и скучает, — сказал Борисов.

Воронько недоверчиво улыбнулся, пригладил волосы.

— Разыгрываете? — Он вскочил и двинулся к выходу.

— Кто ж это по нем скучает? — спросил Андрей.

Кузьмич удивленно крикнул, а Борисов сказал:

— Есть одна дивчина...

Подошла официантка, Борисов долго и придирчиво выбирал, колеблясь меж отбивной и жареным гусем.

— Что же вы без жены? — спросил Андрей Кузьмича, стараясь как-то завязать разговор.

Кузьмич странно посмотрел на него и, ничего не ответив, налил себе пива.

— Нарушили мы вашу беседу с Воронько, — натянуто улыбаясь, снова начал Андрей.

Кузьмич задумчиво тянул пиво. Борисов тоже молчал, вертя рюмку.

— Вот, Сергеич, мы с тобой родители, — неожиданно сказал Кузьмич. — Мне-то уж поздно... один сын — нет сына, и два сына — еще не сын, три сына — это сын. Ты цацкаешься со своим Колькой, сделал бы лучше еще двух... Вспомнишь меня когда-нибудь. Вот объясни, Сергеич, отчего это плохих детей больше любишь? — Он осушил стакан, пузырьки пивной пены лопались на его сморщенных губах. — Чудно получается: пока мы молоды, они нам не нужны, а когда мы стары, мы им не нужны...

— Разные дети бывают, — сказал Борисов, не зная, чем утешить старика.

— Почему разные? — мрачно спросил Кузьмич.

— Растут двое близнецов, — сказал Борисов, — из одного человек получается, а другой — никудышка. Вроде бы непонятно. Кто же виноват? И все же мы, родители, виноваты. По ночам, бывает, тихонечко грызет тебя эта мысль: где же, когда я ошибся?

Кузьмич слушал его и сочувственно кивал, радуясь тому, что есть человек, который угадал его горькие ночные мысли.

Официантка принесла гуся. Кузьмич вытер платочком усы, поднялся.

— Давайте с нами, — пригласил Андрей.

— Спасибо, вы извиняйте меня, если о чем не по-праздничному толковал. У нас, старых, все не вовремя.

— Сын у него от рук отбился, вот он где, корешок, — задумчиво пробормотал Борисов, когда Кузьмич отошел. — Да... А с женой он лет десять как не живет и страсть не любит, когда о ней спрашивают.

— Я не знал, — буркнул Андрей.

— Ты многого, я вижу, не знаешь.

За едой говорили про гуся, про погоду. Андрей, глядя на Борисова, ел с аппетитом, только косточки хрустели. Борисов рвал крылышко руками, коричневый жир стекал у него по подбородку, глаза от удовольствия сузились в мохнатые щелочки.

Как бы между прочим, Борисов осведомился, нельзя ли перенести Заславскому отпуск на следующий месяц. Андрей помотал головой — самый разгар работы с локатором.

— Возьми себе кого-нибудь другого в помощь.

Они перебрали всех лаборантов и техников, единственной более или менее свободной оказалась Цветкова.

— Цветкову? Нет, Цветкову нельзя задерживать, — сказал Борисов.

Андрей сердито фыркнул: того нельзя, этого нельзя, в чем дело?

Обещание, данное Саше, связывало Борисова, но ежели Лобанов делает вид, что не понимает, надо ж ему прямо сказать. И он сказал.

— Саша и Цветкова? — рассматривая узоры на скатерти, переспросил Андрей. — Что ж, серьезно у них это?

— У нее — не пойму. У него серьезно. Ты же знаешь, он парень искренний.

Они замолчали. Вокруг звенели посудой, журчала вода за бортом, мелко дрожала водка в рюмках. Шум голосов и топот ног на верхней палубе заглушались звуками аккордеона.

— Кто это играет? — спросил Андрей.

— Наверно, Морозов. — Борисов положил локти на стол, подался вперед, вперив в зрачки Андрея свой твердый взгляд. — Послушай, Андрей, почему ты людей наших не знаешь? Впускаешь их к себе только через служебный кабинет... Тебе вот это душевное одиночество, этакая рационалистичность, рассудочность не мешают? Ну хотя бы в творчестве...

— Философия, психология, — сказал Андрей. — Терпеть не могу психологии.

— Наверно, мешают, и чем дальше, тем больше будут мешать. Откуда у тебя это? То ли неустроенность личная... Жениться тебе надо.

— Ага, жениться, чтобы легче было разрабатывать локатор, — расхохотался Андрей. — Блестящая идея. Это как, по-твоему, не рассудочность?

— Ты не придирайся, — обиженно сказал Борисов. — Ты прекрасно знаешь, что я имел в виду. А если мне трудно выразить, то потому, что не хочу обижать тебя. Я бы мог тоже посмеяться кое над чем. Я же знаю, как ты оправдываешь себя. Вот, мол, я был поставлен в такие условия, когда приходилось работать одному. И я не имел права просить ни у кого помощи. Это все верно. И кажешься ты себе героем — вот, несмотря ни на что, добился. А какой ценой ты добился? Себя иссушил и вокруг себя зону пустыни создал. «Выхожу один я на дорогу...» Ты на дорогу выбрался, но теперь-то в одиночку тебе не справиться. И бригада — это тоже не арифметическая сумма голов и рук.

Борисов старался, чтобы слова его били в самую точку. Андрей морщился, фыркал, сердился, раздражался хохотом, поеживаясь от удовольствия, как под хорошим душем, а Борисов злился, думая, что его удары пропадают впустую, что Андрей в чем-то главном остается почти неуязвимым. Даже когда он чувствовал себя правым, все равно ему было трудно с Андреем, потому что он любил Андрея и ощущал себя слабее его.

«До чего же я неспособный человек, — терзался Борисов. — Ну как бы мне забраться к нему в нутро, схватить его за живое?»

Когда Борисов замолчал, Андрей, не поднимая глаз, вдруг спросил:

— И давно это у них началось?

— У кого?

— У Заславского.

— Кто их разберет. Ты Новикова обязательно возьми к себе в группу. Он натура увлекающаяся, и если его энергию переключить с женщин на...

— Сергей, ты способен на один вечер забыть про дела?

Борисов посмотрел в окно.

— Рыбаки куда забрались... Знаешь, Андрей, — не оборачиваясь, проговорил он, — один считает самым важным приборы, которые делают люди, а другой — людей, которые делают приборы.

Андрей ничего не ответил.

В полночь начался концерт самодеятельности. Андрей сидел в последнем ряду вместе с женой и сыном Рейнгольда. Сам Рейнгольд за рубкой, где скрывались артисты, помогал Ванюшкину налаживать какой-то фокус.

Вел концерт Новиков. Он незатейливо, но щедро острил, смеялся вместе со всеми и неохотно уступал место артистам.

— Ох и весельчак же он у вас, — сказала жена Рейнгольда.

Когда Новиков назвал фамилию Воронько, публика зашумела, раздались аплодисменты. Воронько вышел в черном костюме с туго завязанным галстуком и сразу же начал кого-то разыскивать. Проследив его взгляд, Андрей увидел Веру Сорокину. Андрей улыбнулся, его словно озарило, и он поразился, как это до сих пор он не

замечал их отношений и имел глупость как-то раз ругать Воронько в присутствии Веры.

Воронько вздохнул и запел. У него оказался красивый густой бас. Пел он на украинском языке старинную казацкую песню.

Последнюю фразу, там, где казачка молодая разлюбила, не дождалась казака, он вдруг оборвал на середине, махнул рукой и ушел, серьезный, нисколько не смутившийся. Это не испортило впечатления. Его вызывали долго и безуспешно, не хлопала только Вера Сорокина. Когда начался следующий номер, она незаметно встала и ушла за рубку.

Потом Ванюшкин показывал фокусы с напильниками, изгибал их, заставлял висеть в воздухе. Потом Нина Цветкова в вышитом сарафане, бряцая монистом, танцевала венгерку. Красные сафьяновые сапожки ее лихо стучали по дощатой палубе. Впереди Андрея сидел Саша, его аккуратно подстриженная шея порозовела. Подняв над головой руки, он оглушительно хлопал в ладоши. Нина выбегала раскланиваться, и, почувствовав ее взгляд, Андрей отвернулся к жене Рейнгольда.

— Не знаете, с чем она выступает? — спросила жена Рейнгольда, когда Новиков вывел на сцену Соню Манжула. Андрей знал только, что Соня работает испытателем, и больше ничего. В течение полугода изо дня в день встречал он эту бледную, тихую, некрасивую девушку, и никогда у него не возникало желание поговорить с ней. Андрей никак не мог представить, с чем она может выступать. Ее появление на сцене поразило его. Однако почему-то никто из зрителей не удивился. Андрей пробормотал в ответ жене Рейнгольда что-то невнятное.

Из публики кричали:

— Соня, Маяковского!

— Чехова!

— Про Щукаря!

Новиков успокаивающе поднимал руку. Андрей не расслышал его слов, и только когда Соня начала, он понял, что она читает чеховский рассказ «Шуточка».

Сперва ему мешала ее неподвижная поза, безжизненно повисшие руки. Но вот при словах: «Я люблю вас, Надя» — пальцы ее слабо шевельнулись. Это робкое, просыпающееся движение было заметнее и выразительнее, чем если бы она закричала или раскинула руки. С каждым словом голос ее крепнул, и все, чему

Андрей удивлялся, отодвигалось куда-то в сторону перед большой мыслью, которую вкладывала Соня в этот много раз слышанный рассказ.

Забавная шуточка с наивной Наденькой... Наивной, или доверчивой, или страстно ждущей большого чувства? Иногда так легко и приятно бросить на ветер эти три старинных слова: «Я люблю вас...». И в голову не придет, каким несчастьем может обернуться эта легкость для доверчиво открытой души. Наверно, слова эти произнести можно, лишь когда трудно дышать, когда кровь стучит в голове и страшно, как перед смертью.

Лицо Сони зацвело тонким румянцем. Она протянула руки навстречу ветру, настоящему ветру с залива, глаза ее стали большими, они смотрели куда-то поверх голов, вслед несущимся над пароходом чайкам. Она казалась сейчас Андрею красавицей, и ему хотелось, чтобы кто-нибудь, волнуясь, шепнул Соне: «Я люблю вас».

В антракте Андрей пошел за рубку. Окруженные ребятами, Соня Манжула, Нина и другие девушки о чем-то весело спорили. Андрею хотелось подойти к Соне и сказать что-то хорошее. Не найдя удобного предлога и стыдясь того, что ему нужен предлог, он зачем-то спросил у Воронько, где Борисов, и отошел, поживаясь от неловкости.

«Почему я не замечал ее раньше? — думал он о Соне. — Почему я не замечал, что она умная, талантливая?»

Как будто приподнялся край занавеса, маленький краешек, за которым Андрей увидал совсем иную жизнь людей, казалось бы хорошо ему известных. Соня выступает в концерте, Воронько влюблен в Веру Сорокину, Нина и Саша, Кузьмич... и у каждого из них лаборатория — лишь часть жизни, и, приходя в лабораторию, они не могут оставить на пороге свои радости и тревоги, а приносят с собою переживания, которые и помогают, и мешают им так же, как и ему самому.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

Утром причалили к Зеленой пристани. Борисов потянул Андрея на пляж купаться вместе с молодежью. На пляже царила безлюдная тишина, длинные косые тени парусиновых зонтиков лежали на подсыхающем

песке. После города тихий воздух казался необычайно чистым, как и все это радостное свежее утро.

Когда Борисов разделся, Андрей увидел у него на груди татуировку — женщина с распущенными волосами и подпись «Жанна».

— Интересная особа, — сказал Андрей. — Вполне художественно, а главное — прочно.

— Ошибка юности беспечной, — конфузливо пояснил Борисов.

Андрей вошел в воду последним. Он еще не купался в это лето, и вода показалась ему холодной. Зайдя по колено, он остановился, зябко скрестив руки на груди. У ног, на песчаном дне, колыхались солнечные прожилки, скользили пугливые стайки рыб.

Борисов критически оглядел Андрея, выделявшегося своей молочной белизной среди бронзовокожих ребят.

— Где это ты так успел загореть? — спросил Борисов, мстя за татуировку.

— В Публичной библиотеке, — сказал Андрей.

Он все еще не решался войти в воду. Борисов подозвал Ванюшкина и Пеку Зайцева, пытавшегося сделать стойку в воде, скомандовал им:

— Давайте окрестим начальство, — и первый плеснул в Андрея.

Ребята переглянулись. Ванюшкин нерешительно почесал грудь и начал поправлять мокрые трусики. Увертываясь от Борисова, Андрей заметил эти колебания Ванюшкина, и ему стало неприятно и стыдно.

Втянув острую голову в плечи, Пека осторожно ударил рукой по воде. Охая, вздрагивая от холодных брызг, Андрей завертелся во все стороны. Пека осмелел, отчаянно взвизгнул и кинулся поливать Андрея целыми пригоршнями. Ванюшкин тоже закричал и начал бить по воде ладонью. Смеясь, Андрей побежал вперед, они за ним; спасаясь, он нырнул и, уже ничего не боясь, повернул назад, схватил Борисова за шею и окунул его с головой. Глотнув воздуха, Борисов пытался что-то сказать. Андрей снова погрузил его в воду. Пека вертелся поблизости, пробуя выручить Борисова.

Отпустив Борисова, Андрей погнался за Ванюшкиным.

— Ванюшкина ему не догнать! — кричал Пека. — Смотрите, как Ванюшкин толково идет. Стильный брасс!

Вокруг Борисова столпились ребята, споря, догонит Лобанов Ванюшкина или нет. Плывя кролем, Андрей не мог смотреть вперед, зато он выигрывал в скорости. Почувствовав, что его нагоняют, Ванюшкин обернулся и круто свернул, Андрей, не заметив этого, продолжал плыть напрямик. Его остановили крики: «Андрей Николаевич, правее, правее!» Среди множества голосов он различил захлебывающийся от азарта голос Саши и густой бас Воронько. И то, что волновались за него ничуть не меньше, чем за Ванюшкина, придало Андрею новые силы — его принимали в свою семью. Собственные неосознанные растущие тревоги и упреки Борисова, из которых он не упустил ни слова, все это по-молодому просто разрешили эти крики. Во что бы то ни стало он должен догнать Ванюшкина. Хотя бы ради того, чтобы заслужить похвалу ребят. Эта маленькая, пустячная победа была ему сейчас нужнее любых деловых успехов.

Разыскав среди солнечных бликов, прыгающих с волны на волну, стриженую голову Ванюшкина, он устремился к нему, перейдя тоже на брасс и плывя частыми и сильными гребками. Ванюшкин снова обернулся, ища его глазами. Андрей глотнул воздух, нырнул, поплыл под водою. Через несколько секунд он различил в зеленоватой воде ноги Ванюшкина. Судя по их беспорядочным взмахам, Ванюшкин вертелся на месте, высматривая, куда девался преследователь. Андрей схватил его за ноги.

На берегу увидели, как Ванюшкин вдруг странно забился, взмахнул руками и исчез под водою.

— Наша взяла! — закричал Саша, толкнув кого-то из ребят, и началась веселая свалка.

Назад Андрей и Ванюшкин плыли не торопясь, болтая и хохоча без всякой причины. Вода уже не казалась холодной, и жаль было вылезать на берег.

— Ты заработал право почивать на лаврах, — заявил Борисов, когда они с наслаждением растянулись на теплом песке, закрыв головы рубашками.

Андрей видел, как Саша и Нина, взявшись за руки, побежали играть в мяч. Нина была в черном купальном костюме с вышитым на плече якорем, они с Сашей были одного роста, одинаково загорелые.

«Вот и хорошо», — устало, с приятной грустью подумал Андрей. Перед закрытыми глазами поплыли оранжевые круги и среди них запрокинутое лицо Нины, она что-то говорила ему, он не слышал.

Потом он чихнул и, с трудом разлепив веки, приподнялся на локтях. Возле него на корточках сидела Нина, щекоча его соломинкой. Должно быть, его заспанная физиономия имела дурацкий вид. Нина, посмеиваясь, тихо сказала:

— Вставайте, сгорите.

Борисов спал, похрапывая. Солнце стояло высоко, пляж шумел, полный народу, а Нина была уже не в купальнике, а в своем темно-голубом платье. Пока Андрей одевался, она притащила полотняный зонт и воткнула его так, чтобы тень закрывала Борисова.

Обходя загорающих, они выбрались в парк. Андрей ждал, что Нина пойдет к «пяточку», но она свернула в сторону от главной аллеи. Не сговариваясь, они выбирали безлюдные, расписанные тенями дорожки, забираясь в глухую часть парка, которая незаметно переходила в редколесье. Дорожки сменялись извилистыми, лукавыми тропками. На траве под деревьями лежали отдыхающие. Запахи разогретой хвои, трав, берез, наплывая друг на друга, создавали единый аромат леса. Самый воздух состоял из этого густого настоя, из шума деревьев и птичьего гомона.

Деревья поредели, перешли в кустарник, открылась луговина. Несколько женщин, растянувшись цепочкой, косили траву. Пóросли розовой кашки, серебристые метелки, лилово-желтые иван-да-марьи падали полосками, теряя сразу в скошенных рядах многоцветную пестроту своих нарядов. Там, где прошли косцы, оставалась ровная зеленая щетинка, словно женщины махали не косами, а кистями, окрашивая луг однотонной зеленой краской.

Ничего не сказав Андрею, Нина побежала к пожилой женщине, которая отстала от своих подруг и отдыхала, утирая пот рукавом. Нина стала ее о чем-то просить, женщина недоверчиво посмеивалась, указывая на туфли Нины.

— Испытай, Прокофьевна, убытку не будет! — крикнула одна из женщин. Прокофьевна что-то ответила, отчего все женщины засмеялись, и протянула Нине косу.

«Вот взбалмошная девчонка!» — забеспокоился Андрей, заранее переживая насмешки женщин.

Нина ногтем попробовала лезвие косы, невозмутимо приладила поудобнее ручку и, не оглядываясь на Андрея, пошла вперед, плавным точным махом огибая коч-

ки, не сбиваясь в узких проходах между кустами. Тонко посвистывая, сверкала коса, расчищая зеленую дорогу перед этой совсем незнакомой Андрею девушкой, не похожей на кокетливую модницу, любительницу танцев, надменную, капризную Нину, с которой он впервые столкнулся полгода назад. Крепко расставляя загорелые ноги, она с упоением взмахивала косой, разбудив у Андрея желание вот так же ладно подсекать длинные сочные полосы трав, слышать, как поет коса в руках: раз — и взжик, раз — и взжик...

Он шел за Ниной, завидуя ей и любуясь ею. Нина обернулась в сторону притихших женщин:

— Догоняйте, что ли!

— Ай да девка! — засмеялись они, довольные своим разочарованием. — А кавалер твой что же отстаёт?.. Нынче мужики только командуют!

Вытерев косу пучком травы, Нина вернула ее хозяйке.

— Где это вы научились косить? — спросил Андрей, когда, перейдя луговину, они вошли в лес.

— Я родилась и росла в лесу, — сказала Нина. — Лесная девка. И потом каждое лето ездила к отцу в лес-промхоз. А в лесу, знаете как, там косилкой не пройдешь.

Нина прикрыла рукой Андрея свои глаза. Андрей подводил ее к деревьям, вслепую она ощупывала кору и определяла породу; потом Андрей заставлял ее угадывать деревья по запахам сорванных листьев. Нина растирала их, нюхала и безошибочно называла — ольха, рябина, орешник. Лес был для нее живой толпой, где толкались, шумели, спорили ее знакомцы, где у каждого дерева был свой характер, своя судьба.

Она утверждала, что ее отец мог определять породу даже по шелесту листьев. Андрей и Нина остановились под осиной, закрыв глаза, плечом к плечу.

— Слышите, звенит, — сказала она.

Андрей попытался различить оттенки этого шелеста, и ему казалось, что он действительно улавливает разницу: твердые листья дуба стучали, клен мягко шептал, а осина тонко и жалобно звенела.

— Больше всего я люблю березу, — сказала Нина, присев на корточки перед молоденькой березкой; пальцы ее перебирали тонкие, прозрачные листки. — А вы?

— Я?.. Я сосну.

— Тут их нет, они, наверное, выше по откосу растут.

Она вскочила и побежала, скрывшись в зеленых зарослях.

— Андрей Николаевич! — донесся ее голос. — Идите сюда.

Он нашел ее на солнечной брусничной полянке перед высокой сосной.

— Дарю эту сосну вам, — сказала Нина. — Вы знаете, если надрезать ствол ножом, вырезать стрелку, то потечет живица. У вашей сосны ее больше, чем у других деревьев.

— Живица, — задумчиво повторил Андрей. — Хорошее слово. Жи-ви-ца. Вот видите, а на вид сухое, безжизненное дерево.

Ветер внизу весело болтал в молодой поросли можжевельника, а наверху вел важный разговор, гулко гудя в темно-зеленой кроне сосны.

Если бы Андрей умел, он бы сейчас запел. Потребность в таком бездумно-счастливом солнечном дне, в любви, в тепле дружеских рук давно копилась в нем. А он почему-то боялся этой простой радости, ограждал от нее свою работу. Зачем?.. Сейчас, когда эта нелепая ограда рухнула, он не испытывал ничего, кроме облегчения.

— Какая это была глупость, — сказал он. — Нина, не обращайтесь на меня внимания. Я как пьяный. Такой день сегодня. И вы такая...

— Какая? — вдруг глухо, неподвижными губами спросила Нина.

— Чудесная! — ответил он просто.

— Андрей Николаевич!.. — испуганно сказала она и сразу опустила голову. Руки ее легли в ладони Андрея. — Вы... это правда?

Ни о чем не думая, он притянул ее к себе. Закрыв глаза, она прижалась к нему и поцеловала в губы.

Ее губы были горячие, словно нагретые солнцем, полесному свежие, казалось, что все запахи хвои, и горьковато-душистого папоротника, и сладких березовых листьев исходили от ее губ.

Руки чувствовали влекущую тяжесть ее тела, губы чувствовали прохладную твердость ее стиснутых зубов. Крепко прижимая ее к себе, он держал ее на весу; он был сейчас бесконечно сильным. От этого лесного воздуха, от стучавшей проснувшейся крови было так хоро-

шо... И он знал, что сейчас может стать еще лучше, стоит им только посмотреть друг другу в глаза.

На куст можжевельника уселся галчонок. Наклонив голову, он настороженно блеснул пуговичкой глаза. Что-то знакомое, пережитое тенью прошло в памяти Андрея, заставляя сравнить прежнее мучительное чувство с тем возбуждающим волнением, которое он испытывал сейчас. Нет, это не любовь. Ему стало горько и тоскливо — найдет ли он еще когда-нибудь настоящую любовь.

Он медленно поставил Нину на землю и отстранился. Не глядя, он отыскал ее руки, взял их осторожным, ласковым движением.

— Нина... — хрипло начал он. Хотел облизнуть губы, но на них жили еще не остывшие следы ее губ, влажные отпечатки ее зубов, запахи леса. Опустив глаза, он смотрел ей в ноги. Она стояла чуть косолапо, в неудобной позе, боясь пошевеливаться. Все ее игривое, развязное кокетство слетело. Перед ним была беззащитная девчонка, трогательная в своем девичьем, боязливом ожидании. Он вдруг увидел себя ее глазами, и ему стало стыдно. Сейчас он не испытывал к ней ничего, кроме мужской бережливой жалости.

— Нина... — Он чувствовал на лице ее взгляд. Руки ее дрогнули, он понял, что она по-своему понимает его волнение, готова прийти к нему на помощь, и от этого может произойти что-то ненужное, нечестное, непоправимое. Секунда, другая — и он бы не выдержал.

— Нина, — твердо сказал он. — Не надо. Вы мне нравитесь. Вы... — Его решимость показалась ему жестокой.

Он поднял глаза и увидел, что она силится улыбнуться. Кривая, болезненная улыбка была первым, чем она могла защититься от его слов. Он был благодарен ей за эту тяжкую, но мужественную улыбку. Теперь они преодолели самое трудное.

— С чего вы взяли, Андрей Николаевич, — громко, слишком громко сказала Нина. — У меня просто было хорошее настроение.

Черные зрачки ее сузились. Она тряхнула головой, небо, отраженное в ее глазах, дернулось и исчезло.

— Ладно. Вы молодец, Нина. Я виноват, если испортил вам настроение. — Он сказал так нарочно, чтобы она могла ответить ему: «Мне? Испортить? Как бы не

так!» Но она только высвободила руки и помахала затекшими пальцами.

Меряя его взглядом, она неожиданно, с вызовом, спросила:

— Если я вам нравлюсь, то чего ж вы испугались?

Она вполне овладела собою. И хотя это облегчало разговор, Андрея опечалил вернувшийся к ней игривый тон. Нина переступила с ноги на ногу, и ничего не осталось от ее милой позы, от недавней близости.

Андрею стало жаль ее и захотелось чем-то утешить:

— Я подумал о вас, о себе и еще об одном человеке.

— О ком?

— Он по-настоящему любит вас. Я его тоже люблю, уважаю и, понимаете...

— Это вы о Заславском хлопчете? — помолчав, сказала она. Беззастенчивая насмешка в ее голосе рассердила Андрея. «Будь я даже влюблен в вас...» — хотелось начать ему, но это было бы слишком безжалостно.

— Какой вы добрый, Андрей Николаевич! Паинька, да и только.

Андрей отступил, оперся рукой о сосну.

— ...Точно сцена Онегина с Татьяной. Оркестра только не хватает. — Пальцы ее все быстрее отщипывали и рвали листок. — А где же я? О себе подумали, о Заславском подумали... Я знаю его не хуже вас. Зря стараетесь. Не люблю и любить не буду... и все тут. У него настоящее, истинное... А вдруг у меня тоже настоящее? По-вашему, я легкомысленная? Тогда зачем я вашему Саше нужна? Просто глупо выходит... Эх вы, такой умный, испугались своего чувства. Ответственности побоялись? Ответственности... Господи, до чего ж вы плохо в людях разбираетесь. — Она презрительно покачала головой. Волосы ее рассыпались, закрыли лоб, глаза, она мотала головой и все никак не могла стряхнуть тяжелую прядь.

— Нина...

— Довольно, слушать вас не хочу. Я-то... ничего не побоялась...

Она сорвала ветку и, похлестывая себя по ногам, пошла по тропке.

Медленно выпрямлялась примятая ее ногами трава. Андрей все стоял, ожидая чего-то. Упала шишка, Андрей вздрогнул, оторвал прилипшую к сосне руку.

«Скверно. Худо все... — думал он. — И правильно. И она права. А иначе я не мог...»

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Саша заглянул на лужайку, откуда доносились глухие удары мяча. Нины и здесь не было. Несколько минут он для вида поиграл с ребятами.

— Что-то ты, старик, кислый? — заметил Пека Зайцев.

— Все понятно, — подмигнул Ванюшкин, принимая пасовку. — Владимир Ленский в ауте.

На краю площадки Леня Морозов, сидя на футляре для аккордеона, тихонько подбирал какую-то мелодию. Он подозвал Сашу, пригнул его к себе за шею, крепко дыша запахом водочного перегара:

— Нинку ищешь? Она с начальством в лес отгребла.

Саша скинул его потную руку:

— Тебе что за дело?

— Ну, ну, — обиделся Морозов, — о тебе, дураке, забочусь...

Он растянул аккордеон, пробежал по клавишам:

Наша Нинка что орех,
Так и просится на грех.

— Послушай, ты, — спокойно сказал Саша, — ты подлый тип. По всем пунктам ты подлая личность.

Сквозь детскую припухлость его губ проступила энергичная линия рта. Саша был похож на боксерскую перчатку, круглую и мягкую снаружи, в которой спрятанный кулак чувствуется только в момент удара.

— Ты думаешь, что за Соню Манжула простится тебе? — тихо продолжал Саша. — И на Лобанова клеветать разрешим? Мы твои маневры понимаем.

Морозов вскочил, ругаясь, размахивая кулаками.

— О чем дискуссия? — спросил, подходя, Ванюшкин.

Ребята прекратили игру и окружили Заславского и Морозова.

— Видали цацу? — возбужденно обратился к ним Морозов. — Подхалим лобановский. Ты в мои личные дела не суйся, погляди лучше на Лобанова, как он с твоей Нинкой... — Морозов похабно выругался.

Саша, побледнев, шагнул к нему, но ребята схватили его, удержали.

— Тебе не годится, — внушительно разъяснял Саше Ванюшкин. — Ты лицо, ответственное за мероприятие.

Воронько аккуратно взял Морозова под локоть своей железной рукой.

— Пойдем поговорим, — пробасил он, легонько подталкивая Морозова вперед.

Их провожали одобрительным молчанием. Как секретарь комсомольского бюро, Ванюшкин не мог санкционировать подобные методы, но сейчас он сам с удовольствием присоединился бы к Воронько.

Бледный, ничего не замечая, Саша быстро шел по парку. Ему вдруг все стало ясно — Нина любит Лобанова. Это открытие потрясло своей страшной безвыходностью. Глупо пробовать соперничать с Лобановым — умным, талантливым, интересным. Ничего удивительного в том, что Нина предпочла Лобанова ему. Разве он сам не нахваливал ей Андрея Николаевича? Все, за что он любил и уважал Лобанова, оставалось в силе, и в то же время он не мог убедить себя, что так должно быть. Нина? Но, вспоминая ее поведение, он с ужасом убеждался в том, что вся уверенность в ее чувстве куда-то исчезла; за что бы он ни хватался, все пропадало, ускользая меж пальцев, как вода. Ничего не было. Он все выдумал, ему все казалось, она ни разу не сказала: «Я люблю тебя». Но ведь он и сам еще не решался спросить ее об этом. Что делать? Как же он будет теперь? Представить себе, что между ним и Ниной все кончено, он не мог, это была какая-то несообразность, пустота. Он вдруг страстно начал убеждать себя, что все неправда. Пускай Лобанов сейчас гуляет с Ниной, что из того? Надо держать себя в руках и не поддаваться на провокацию всяких отсталых элементов вроде Морозова.

Вдруг в соседней аллее Саша увидел темно-голубое платье Нины. Он побежал к ней через газон. Нина остановилась, нетерпеливо похлестывая себя прутиком по ногам. Лицо ее было надменное, застывшее, волосы сбились, она дышала тяжело и нервно, как будто за ней кто-то гнался.

— Что с тобой? — спросил Саша.

Она посмотрела на него с ненавистью.

— Тебя кто-нибудь обидел?

Ее запекшиеся губы ответили недоброй улыбкой. Саша набрал воздуха и спросил напрямик:

— А где... Андрей Николаевич?

— Отстань, — сквозь зубы сказала она. — Отстаньте вы все. — Она подняла руку, готовая ударить прутом,

если он попробует задержать ее. Краска медленно сходила с Сашиного лица.

— Нина... он что, обидел тебя?.. Не может быть.

Нина уходила, не отвечая.

Возле эстрады она встретила Борисова и рассказала ему, как она вырезала заметку из стенгазеты. Ей хотелось до конца испытать всю горечь унижения, отрезать себе все пути возврата в лабораторию... Ничего сейчас ее не пугало: чем больше несчастий, тем лучше. Пусть соберут комсомольское бюро, пусть ее исключат из комсомола...

Глаза ее налились слезами. Она стояла, боясь пошевелиться.

По своему родительскому опыту Борисов знал, что в такие минуты утешение ведет к плачу. Поэтому он грубовато и сухо спросил Нину: с какой стати она разоткровенничалась? Бессвязно, не таясь, не щадя себя, она рассказала все.

«Молодец Андрей», — подумал Борисов.

— Ну, за что тебя разбирать на бюро? — сказал он. — Это его надо разобрать, как он смеет не любить такую дивчину? Значит, взяла и резанула газету бритвой? Сильно!.. — Он вдруг рассмеялся и с уважением посмотрел на Нину. — Честное слово, не ожидал от тебя. Я, признаться, не думал, что ты способна на такое чувство... А ну их всех к черту! — Он весело махнул рукой. — Не дам тебя обижать. Но сам-то я тебя отчитаю...

К концу дня все собрались на пароходе, загорелые, охрипшие, усталые, поэтому на обратном пути было тихо. На нижней палубе лежали в шезлонгах, лениво переговариваясь. Пека, скрестив ноги, сидел на полу и донимал Лобанова невыносимыми вопросами: можно ли выдрессировать китов так, чтобы они таскали за собой баржи, до какой длины можно отрастить ногти, зачем писать новые книги?

Мысли его прыгали непостижимым образом. Вопросы он задавал для того, чтобы поспорить. Если с ним соглашались, ему становилось скучно. По любому поводу он выдвигал собственную теорию. Он имел свою теорию медицины, свою теорию использования Луны. Относительно книг он доказывал, что уже написано так много всяких романов и стихов, что старых прочитать некогда, зачем же новые писать.

— Ишь ты! — благодушно удивился Борисов.

— Это, конечно, чепуха, — сказал Андрей, — но интересно другое. Вы задумывались когда-нибудь, сколько книг может прочитать человек за свою жизнь?

— Тысяч сто, — немедленно ответил Пека.

— Тысяч тридцать, — сказал Ванюшкин.

Стали рассуждать, какие книги, по скольку страниц. Андрей предложил вычислить. Допустим, вот Пека в среднем читает в день пятьдесят страниц.

— Да, допустим, — согласился польщенный такой цифрой Пека.

— Читает он одну книжку в месяц, — фыркнул Ванюшкин.

— Средняя книга имеет, ну, триста страниц, — продолжал Андрей, — значит, одна книга в шесть дней. Значит, за триста шестьдесят дней...

— Шестьдесят книг, — вычислил Пека.

— Так, а за пятьдесят лет?

— Три тысячи, — выговорив эту цифру, Пека разочарованно посмотрел на Андрея, потом на ребят. Получалось что-то маловато.

— Три тысячи за всю жизнь, — говорил Андрей, — считая и учебники. А в Библиотеке Ленина больше пяти миллионов книг. Представляете себе, как надо тщательно отбирать, чтобы успеть прочитать самое хорошее.

Заинтересованные разговором, ребята придвинулись ближе к Андрею. Подошли Воронько с Верой Сорокиной, Новиков, Соня Манжула.

Наблюдая за Андреем, Борисов с удовольствием убеждался, что тот ледок отчуждения, который существовал еще вчера, незаметно подтаивал, ребята с Андреем спорили, его перебивали, спрашивали. Пека теребил его за рукав. За минувшие сутки ребята сдружились с Лобановым больше, чем за полгода.

— Есть такие книги, которые несколько раз перечитываешь, — сказал Воронько. — Вот «Петр Первый», например.

— Если книгу не стоит читать два раза, то ее вовсе не стоит читать, — внушительно изрек Новиков.

Ребята наперебой перечисляли любимые книги. Андрей старался заранее угадать, кто что назовет, и большей частью ошибался. Для него было открытием, что Борисов любит Тургенева, а Соня Манжула — «Далеко от Москвы»; ему казалось, что должно быть наоборот. Когда очередь дошла до Пеки, тот неуверенно сказал:

— Роман в двух частях «Тайна синего замка». Автор оборван.

— А у вас, Андрей Николаевич? — спросила Вера Сорокина.

— У меня по настроению, — сказал Андрей. — Последнее время я две книжки перечитываю — «Сын рыбака» и Джека Лондона «Мартин Иден».

Вдруг раздался резкий голос Саши:

— А «Иудушку Головлева» вы перечитывать не любите?

Все повернулись в его сторону. Он курил, облокотясь о поручни, пуская дым уголкем искривленного рта. Андрей внимательно всмотрелся в его потемневшие глаза.

— Давно не перечитывал, — сказал он.

Саша сплюнул за борт.

— Зря...

Новиков вынул гребешок, стал причесываться, Воронько густо откашлялся, никто больше не смотрел на Сашу.

— Почему это наши писатели мало пишут про любовь? — сказала Вера Сорокина, стараясь нарушить неприятное молчание.

— Теперь редко встречается несчастная любовь, — начал Новиков. — Нетипично. Так, Ванюшкин?

— Точно, — выпалил Ванюшкин. Все знали, что он женился год назад, был счастлив и ждал через несколько недель рождения сына.

Никто не заметил, откуда появилась Нина Цветкова. Волосы ее были гладко зачесаны назад и повязаны газовой косынкой. Густо припудренное под глазами лицо стало строже. Ей уступили плетеное кресло.

— Практически встречаются у нас безобразные факты, — говорил Ванюшкин. — Есть такие жучки, охмурят девушку, а потом бросят. А то, например, считают: гулять с ней можно, а жениться — нет. Как так — он техник, а она простая работница. Конечно, с приближением к коммунизму такие пережитки будут выдыхаться.

— Да, при коммунизме люди будут честные, без подлости, — сказал Саша. Выставив нижнюю челюсть, он в упор смотрел на Лобанова.

Вера Сорокина вздохнула:

— Неужели при коммунизме будут несчастные люди? Красивый человек, нравится всем, а в любви никакой удачи. Может так случиться?

Все задумались, плохо представляя себе несчастных людей при коммунизме.

— По-моему, счастье станет необходимостью, обязанностью, как у нас сейчас учеба, — мечтательно улыбнулась Соня Манжула.

— О чем речь? — громко спросил Морозов, присаживаясь на ручку кресла рядом с Ниной.

После трепки, полученной от Воронько, Морозов решил, что надо, назло всем, держаться так, как будто ничего не произошло. Он по-своему рассчитается и с Сашей, и с Воронько, и с Лобановым.

Он обнял Нину за плечи, она усмехнулась, быстро взглянула на Андрея и не отстранилась.

— О любви спорят, — вздохнул Пека.

Борисов, не вмешиваясь в разговор, следил за Сашей, не понимая, что с ним происходит. С приходом Морозова спор принял иной характер. По мнению Морозова, несчастная любовь была выдумкой неудачников, все зависит от «подхода»: зная можно покорить любую девушку, на одну надо потратить неделю, на другую — год, вот и вся разница.

— Невинность — все равно что безграмотность, — рассмеялся Морозов.

В прежние времена подобные его рассуждения пользовались успехом, но сейчас все молчали.

— Спортсмен ты, — тихо сказала Соня Манжула.

Закусив губу, она встала и быстро отошла.

Морозов фыркнул ей вслед и, пробуя скрыть смущение, сказал:

— Теряться в этом деле нельзя. Тут смелостью надо брать. Девчата, вы ведь любите смелых?!

Рука его держала Нину за плечо, на одном из пальцев поблескивало кольцо с квадратным камнем.

Ни одно из столкновений по работе не возбуждало у Андрея такого отвращения к Морозову, как этот разговор.

— Вы и впрямь охотник, — сказал Андрей.

— Тут, Андрей Николаевич, теряться нельзя, — повторил Морозов, радуясь, что хоть кто-то отвечает ему.

— А Андрей Николаевич в таких случаях не теряется, — громко сказал Саша.

Никто не понимал, что с ним стряслось. Он цеплялся к каждому слову Лобанова, явно напрашиваясь на ссору. Всем стало неловко и стыдно. Ванюшкин подошел к нему, стиснул ему руку, что-то зашептал. Саша только рванулся и ничего не ответил.

— Ты, Заславский, чепуху порешь, — твердо сказал Борисов, кладя руку на окаменевшее от напряжения колено Лобанова. — Морозова защищаешь? Андрей Николаевич правильно подметил насчет охотника. Вы, Морозов, относитесь к женщинам как к животным. Побольше подстрелить. Я лично избегаю разговоров о любви. Но если хотите знать, мое мнение такое: в любви надо быть принципиальным. Если человек действительно любит, тогда он имеет право требовать.

— Насильно мил не будешь, — сказал кто-то.

— Разрешите спросить вас, Андрей Николаевич, — звенящим голосом сказал Саша. Он отстранил Ванюшкина и подошел к Лобанову, по-мальчишески пригнув голову. — Вот хотя бы вы, ухаживаете за девушкой... Она для вас самая лучшая. И вот какой-нибудь тип пошел с ней гулять и начал приставать к ней. Стукнули бы вы его и больше в их сторону не смотрели бы... или как?

Андрей облегченно улыбнулся:

— Ну что же, если он действительно приставал к ней, стукнул бы, а вот от девушки не отступился бы.

— Гордость должна быть какая-то, — растерянно сказал Саша. — Самолюбие ведь у каждого...

Андрей встал. Пека, сидевший на полу между Сашей и Лобановым, предусмотрительно отодвинулся.

— Именно из-за самолюбия. Что ж, по-твоему, любовь — это так: обиделся и ушел? Самолюбие... Конечно, если сам себя любишь больше всех... Нет, я советую драться за свое чувство, пока есть хоть маленькая надежда... И... — Андрей потер кончик носа, — и, скажем, если бы мой лучший друг встал мне на пути, я бы не уступил ему дорогу.

Проходя мимо Саши, Нина презрительно бросила:

— Эх ты, мыслитель недоразвитый!

«Недоразвитый», — счастливо повторил про себя Саша, начиная догадываться о том, что произошло между Ниной и Лобановым в лесу. Прежде всего он был счастлив, что к нему вернулась вера в Лобанова. И даже когда он думал о том, как теперь сложатся его отноше-

ния с Ниной — она, без сомнения, влюблена в Лобанова, — то даже эти мрачные, горькие мысли согревало чувство радостной благодарности к Лобанову.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ

Наука имеет свои странности. Сначала исследователь ценит те явления, которые связываются законом; когда же закон установлен, исследователь начинает ценить исключения из него, так как только они обещают ему нечто новое.

Первые же лабораторные опыты дали расхождение с результатами, полученными Андреем теоретически.

Андрей решил проконсультироваться с профессором Григорьевым. Этот человек обладал редкой способностью мыслить теоретически. Для него перевести физические явления на язык формул было так же естественно, как для стенографистки записать человеческую речь знаками.

Ему было около сорока лет — возраст для профессора весьма небольшой; если бы не высокий лысеющий лоб, он казался бы еще моложе — столько юношески застенчивого сохранилось в его облике.

О способностях и характере Григорьева ходили легенды. Он мог, например, явиться на лекцию и заявить: «Все, что я вам читал прошлый раз, — ахиня. И в учебниках по этому разделу — тоже ахиня. Я тут кое-что надумал. Следовательно, на самом деле картина выглядит так...»

Он мог допускать ошибки и неточности в ходе выводов, но всегда приходил к правильному результату, потому что знал, что ему надо получить.

Печатных работ у него было мало. Говорили, что он до смешного непрактичен. Его привлекали к консультации в самых различных областях. С щедростью большого таланта он повсюду делился своими идеями, методами, предоставляя другим разрабатывать следствия. В лабораторной обстановке он чувствовал себя неуверенно, терялся при виде аппаратуры; аспиранты острили, что он не умеет отличить паяльник от рубильника.

Теперь, когда работу над локатором перенесли в лабораторию, Андрей решил, что он имеет право обратиться к Григорьеву.

...Отодвинув бумаги, которые разложил перед ним Андрей, Григорьев попросил передавать суть дела на словах. Он откинулся на спинку кресла, закрыл глаза и приготовился слушать. С закрытыми глазами лицо его выглядело по-ребячьи круглым и добрым.

Андрей говорил, а рука его с карандашом непроизвольно тянулась к бумаге. Нужно было нарисовать, показать, но Григорьев не открывал глаз. Глупое положение. Не вытерпев, Андрей сказал:

— Здесь диаграмма меняется вот так, — и провел на бумаге кривую.

— Как это «так»? — усмехнулся Григорьев. — Вам пора уметь без бумаги рассказать так, чтобы все было ясно.

Досадуя, Андрей попытался растолковать ему свои затруднения, обходясь без жестов и бумаги, и сразу почувствовал, как это сложно. Он отбросил детали, оставившись лишь на основном. Объяснение пошло легче. Однако, пренебрегая деталями, Андрей сам часто с недоумением запинался. Он впервые смотрел на свою работу издали и порою не мог различить, что же его затрудняло: важное оказывалось мелким, общая идея местами терялась.

Григорьев открыл глаза. Обычно наивно-кроткие, они сейчас были окружены грозными морщинками.

— У меня тоже этак бывает... — Он постучал себе согнутым пальцем по лбу. — Я тогда призываю своего сына, ему тринадцать лет, и рассказываю ему о своих трудностях так, чтобы он понял. Бывает, при этом и самому все становится ясным. Следовательно, главное — понять, чего ты добиваешься. А у вас сумбур полный. Голову мне морочите, а сами не разобрались. Мусор, вздор! Нет, нет, довольно! — Он замахал тонкими нервными руками. — Называется кандидат наук! — Григорьев подошел к ассистенту, который работал за соседним столом. — Как вам нравится, няньку себе нашел? Обнаружить такие любопытные противоречия и не суметь в них разобраться!

Ассистент спокойно кивнул, продолжая работать. Высоким, неприятным голосом Григорьев еще несколько минут кричал на Андрея:

— Добейтесь ясности и тогда приходите. Милости прошу. — Он критически оглядел гостя. — Если в амбицию не ударитесь... Да, вот еще, — угрюмо остановил он

Андрея в дверях. — Со знаком там у вас... Плюс надо... Проверьте. Плюс.

Андрей опустился на скамейку в вестибюле. Несмотря на всю свою целеустремленность, он легко впал из одной крайности в другую. Какую ценность представляла его работа и он сам, если Григорьев с первого взгляда высмеял все его «великие» проблемы? Полугодовые усилия, жертвы и достижения мгновенно поблекли, превратясь в малоудачную рядовую работу, которую Григорьев играючи мог бы выполнить за неделю. Затем Андрей несколько утешился, обозвав Григорьева зазнайкой, сомнамбулой, и стал размышлять, почему в уравнении должен стоять плюс, а не минус.

— Как ваше самочувствие? — лукаво осведомился у него проходивший мимо ассистент Григорьева. — Неважное? А шеф-то поет «Средь шумного бала».

— Выставил меня дураком — и поет.

— Э-э, не знаете вы Матвея Семеновича, — усмехнулся ассистент. — Он такой! Обругал бы он так меня, я бы прыгал от радости. Если бы он вас считал тупицей, он бы сделал за вас все и до трамвая бы проводил. А «Средь шумного бала» высоко котируется.

Ассистент оказался прав. Через несколько дней Григорьев сам позвонил Андрею и справился, почему он не приезжает. Андрей, вспыхнув от удовольствия, что-то промямлил. «Приезжайте завтра, — попросил Григорьев, — прямо на дачу».

Андрей отрепетировал перед Сашей Заславским предстоящую речь.

После истории на пароходе Саша боялся, что не сможет смотреть в глаза Лобанову. Но на следующее утро Андрей спросил, согласен ли Саша работать в его группе над локатором. Саша только ожесточенно кивнул головой. С этого дня, несмотря на разницу возрастов и положений, между ними установилась искренняя дружба. Саша доверял Лобанову свои тайны и сомнения. Мать мечтала сделать из него агронома, а он убедился, что рожден быть электриком. Он кончал вечерний техникум. Он хотел учиться дальше и не желал покидать лабораторию, ему не хватало времени читать книги; если же учиться в заочном институте, то совсем отстанешь от культурной жизни. Это был клубок жизнерадостных противоречий. Саша стремился быть рассеянным, как Жуковский, и внимательным, как Чаплыгин, целеустремленным, как Фарадей, и разносторон-

ним, как Ломоносов. В нем бродила тьма неустоявшихся, пожирающих друг друга желаний.

Когда, в день отъезда к Григорьеву, Андрей проверил на Саше свои объяснения, то внешняя простота и доступность задачи захватили Сашу. В течение дня он предложил Лобанову несколько способов повышения точности локатора. Выслушав возражения, Саша говорил: «Минуточку!» — и через четверть часа предлагал новый способ.

Он проводил Андрея на вокзал и до отхода поезда выдвигал один проект за другим, вконец истощив терпение Андрея. Стоя на подножке вагона, Андрей кричал на Сашу:

— Техник называется. Городишь ахинею. Закона Ома не понимаешь.

Когда поезд тронулся, Андрей подумал:

«Полезней, конечно, чтобы он вцеплялся в науку, а не в меня... Постой-ка, ведь насчет переключателя он лепетал, кажется, дельно...»

Дача Григорьева стояла у моря, над крутым каменистым обрывом. На калитке висела обычная надпись: «Осторожно, злая собака!» Слово «злая» было зачеркнуто и поверх каракулями Матвея Семеновича написано: «сварливая».

Андрей открыл щеколду, но в это время его тихонько окликнули. За деревом стоял незнакомый мальчик с такими же светлыми выпуклыми глазами, как у Григорьева, и манил Андрея пальцем.

— Идите за мной, — загадочно сказал мальчик.

Андрей двинулся за ним через кусты. У обрыва к высокой ели была привязана толстая веревка.

— Можете по-альпинистски спуститься? — спросил мальчик. — А то там дальше ступеньки есть.

Воспользоваться ступеньками значило навсегда погубить себя в глазах мальчика.

— Что ж это у вас никакого пароля нет, — строго сказал Андрей, входя в игру. — А вдруг я — это не я!

Он деловито ощупал веревку, оглядел свой костюм и начал спускаться, упираясь ногами в отвесную стену обрыва. Вслед за ним ловко соскользнул на руках прожатый.

— Неплохо, — похвалил он Андрея.

На узком песчаном берегу Матвей Семенович Григорьев, в трусиках, в компании трех полуголых мальчишек швырял камнями в бумажный кораблик, прыгаю-

щий на волнах. Завидев Андрея, он что-то сказал ребятам, и они неохотно удалились. Андрей снял пиджак, лег рядом с Григорьевым на стынувший песок, лицом к морю.

На этот раз все было по-другому. Григорьев слушал Андрея внимательно и говорил с ним как с равным.

Кое в чем Андрей разобрался самостоятельно, остальное сформулировал четко, надеясь поставить Григорьева в тупик и в то же время боясь, чтобы и впрямь Григорьев не развел руками.

Несообразности, пугающие Андрея, прельщали Григорьева как предвестники новых, неустановленных законов. С помощью Григорьева он как будто поднялся на сильных крыльях и увидел свою работу в цепи других проблем, увидел ее место, ее соседей. С поразительной интуицией Григорьев улавливал в кажущемся хаосе выявленных Андреем несообразностей черты закономерности. Он указал выход из чащи, в которой Андрей бродил столько времени. Это была буквально крылатость — иного слова Андрей не находил. На этой высоте, где Андрей задыхался, а Григорьев чувствовал себя отлично, можно было наконец охватить взаимосвязь непонятных доселе явлений.

— Робеее вы перед высшей математикой, — бранился Григорьев, — а с ней надо быть на «ты»!

Подобно полководцу, он намечал лишь общий стратегический план — тактические приемы Лобанов найдет сам. Конденсатор, кстати, придется делать особый; сегодня в гостях у Григорьева будет специалист по конденсаторам, некий Смородин, — пускай Лобанов договорится с ним.

Григорьев указал на возможность применения принципа локатора для различных линий связи.

Андрея восхищал его метод: сопоставить самые отдаленные понятия, не смущаясь тем, что эти сопоставления подчас грубы и химеричны. Этот метод требовал бесстрашия, но мог привести к великим открытиям, до которых никогда не додумались бы рассудительные и трусливые умы.

Узкогрудый, с кроткими, наивными глазами человек безбоязненно замахивался на такие незыблемые, освященные великими авторитетами понятия, что Андрей только пугливо поеживался. К чему его рост, его мускулы, когда тщедушный Григорьев по сравнению с ним — сказочно отважный великан.

Андрей подумал, что Матвей Семенович не случайно выбрал местом беседы эту пустынную отмель, где нельзя пользоваться бумагой, справочниками, где ничто не стесняло воображения и на фоне голубых океанов неба и воды отчетливо возникала суть, душа, ядро работы.

Григорьев сел, охватив руками острые коленки.

— Нет-нет, вы нашли что-то большее,— задумчиво сказал он невпопад и вслед за тем пояснил Андрею, что было бы заманчивым попытаться с помощью локатора проверить чрезвычайно важные положения о механизме электрической дуги, над которой Григорьев работал последние годы.

Горделивой радостью взбудоражило Андрея — его локатор мог быть чем-то полезен Григорьеву; и удивило: есть, оказывается, вещи, над которыми сам Григорьев бьется годами; и растрогало — с какой робкой деликатностью Григорьев просил о помощи!

— Эх, мне бы освободиться... — мечтательно вздохнул Матвей Семенович.

— От чего?

— Я сейчас делаю Тонкову математическое обоснование для его знаменитых мостовых методов.

— Помогаете моему конкуренту,— засмеялся Андрей.— Неужели вы считаете его метод...

Григорьев пожал плечами:

— Ничего я не считаю. Заставляют. Ну и... теоретически задача любопытная.

— А практически?

— Практически это, наверно, так же нужно, как железнодорожное расписание с точностью до сотой доли секунды.

— Зачем же вы связываетесь с этой чепухой? — возмутился Андрей.

— Позвольте, какое я имею право вмешиваться в практическую сторону дела? Я у Тонкова работаю по совместительству. Он директор, сам ученый. Он обидится. Да и потом... сколько мне пришлось уже делать расчетов для мышей! — с тоскливой застарелой горечью сказал Матвей Семенович.— Не первый раз...

— Ладно, прах с ним, с Тонковым. Давайте мы вашу теорию дуги доведем до конца,— сказал Андрей.— Как только с локатором все утрясется, я попробую приспособить схему для ваших измерений.

Григорьев руками замахал. С какой стати Лобанову связываться с такой обузой? Получилось, будто он навязался, расхныкался тут. Нет, нет... Он вскочил, начал торопливо одеваться.

Теория электрической дуги имеет решающее значение для выключателей новых мощных гидростанций. Ею могут пользоваться сварщики, прожектористы... Андрей, горячась, перечислял десятки отраслей техники. Григорьев взволнованно и смущенно подпрыгивал на песке, пытаясь попасть ногой в штанину. Андрей поддержал его.

— Я с радостью, Андрей Николаевич, — бормотал Григорьев, — я всем, чем могу, помогу вам... Дайте мне всю расчетную часть.

Андрей накинул пиджак, счистил песок.

— Использовать вас так, Матвей Семенович, это все равно, что колоть орехи паровым молотом. Вы достаточно помогли мне сегодня. Беритесь за вашу дугу.

Еще час назад Григорьев казался Андрею полубогом. Теперь перед ним был человек, который тоже над чем-то бился, тоже проделывал пустые, ненужные работы, мечтал, был трогательно щепетилен, позволял Тонкову эксплуатировать себя. И от этого он стал Андрею ближе.

Позади них раздался свист. Матвей Семенович сунул пальцы в рот и свистнул в ответ. Кусты раздвинулись, и двое мальчишек — один с выпуклыми григорьевскими глазами, другой незнакомый — сообщили:

— Они собрались.

Григорьев сделал знак рукой. Головы скрылись, в глубине оврага захрустели ветки. Белесые брови профессора сдвинулись, наморщив переносицу.

— Это разведка, — таинственно и важно сказал он. — Мне врачи запретили купаться, ну, следовательно, надо избежать скандала. Мы с вами не виделись, имейте в виду. Двигайтесь на дачу, а я своим ходом.

— Ваш ход известен, — в тон ему сказал Андрей.

Матвей Семенович погрозил пальцем и скрылся в кустах.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ

По заведенному в поселке ученых обычаю, в субботние вечера собирались по очереди у кого-нибудь играть в карты. В этот вечер принимали Григорьевы.

К приходу Андрея в большой, смежной с верандой, комнате сидело человек шесть. На веранде четверо пожилых мужчин шумно играли в подкидного дурака. Самого Григорьева еще не было.

После разговора с Матвеем Семеновичем Андрей находился в том возбужденно-приподнятом состоянии духа, когда все окружающее служит источником радости.

Он поздоровался с женой Григорьева и подумал, что у Григорьева должна быть именно такая жена — маленькая, хрупкая, с узким лобиком, прикрытым веселыми кудряшками, отчего лицо ее выглядело кукольным, капризным. Ее звали Зинаида Мироновна, и это имя тоже показалось ему уютным. Любая мелочь в обстановке комнаты, вплоть до старомодных кресел с высокими неудобными спинками, находила у Андрея свое оправдание. Он испытывал почти благоговейное чувство, как будто здесь можно было разгадать волнующую тайну того, как живут и творят подлинные таланты.

Вместе с Зинаидой Мироновной он обошел гостиную, пожимая руки гостям, и несколько не удивился, когда его подвели к Тонкову.

— О, приятная неожиданность, — проговорил Тонков, показав крупные белые зубы.

Сбоку от столика, за которым чопорная седая мать Зинаиды Мироновны раскладывала пасьянс, на диване сидели остролицая, небрежно причесанная девушка и молодой человек с веселыми пухлыми щеками.

— Смородин! — представился он, крепко встряхнув руку Андрея.

Андрею нравились физически здоровые, сильные люди, и то, что Смородин, к которому он собирался обратиться с просьбой о конденсаторе, оказался таким жизнерадостным, милым здоровяком, обрадовало его.

Зинаида Мироновна, пристроив Андрея, удалилась, шурша платьем, к Тонкову.

Девушку звали Анечка. Она обладала острым, насмешливым язычком и на правах племянницы Зинаиды Мироновны вышучивала присутствующих. Ей помогал Смородин. Андрей смеялся, чувствовал себя преотлично, уверенный, что такой безжалостно-иронический тон и должен царить в доме Григорьевых.

— Ого, Петушков извлекает рубль, — объявила Анечка, указывая в сторону веранды. — Взгляните на его седовласую львиную голову, ай-я-яй, такого человека оставили в дураках.

— Ого он оставил всех в дураках при защите, — подхватил Смородин. — Слыхали, Андрей Николаевич, историю с его докторской диссертацией? Он защищал по электрохимии. Химики считали, что в химии он ничего не понимает, но электрик он выдающийся, а электрики голосовали за него как за химика.

— Теперь он получает свои шесть тысяч, — сказала Анечка, — окружил себя таинственным полумраком и вылезает оттуда, чтобы обозвать кого-нибудь кретином.

— Анечка, расскажите, какой протокол сочинили наши ребята о Петушкове, — попросил Смородин.

Анечка рассмеялась.

— В своей речи, — нараспев заговорила она, — искатель коротко и четко изложил содержание темы, доказывая необходимость присвоения ему степени доктора наук. Из выступлений оппонентов явствовало, что диссертации они не читали, но каждый из них имеет о диссертанте свое определенное мнение. Заключительное слово Петушкова свидетельствовало, что возражений оппонентов он не слушал, зато о каждом из них...

В гостиную вошел Матвей Семенович. Он был в черном костюме, с наспех повязанным галстуком, скучный, натянутый. Сконфуженно он совершил, очевидно тягостный для него, обряд рукопожатий и ответов на учтивые расспросы о здоровье. Дойдя до Андрея, он подмигнул, пробурчав что-то вроде «рад вас видеть». Потом он направился на веранду, но теща, не отрывая глаз от пасьянса, тотчас сказала:

— Матвей, вас там просквозит.

Григорьев послушно вернулся.

Зинаида Мироновна громко пожаловалась Тонкову:

— Вы бы повлияли на Матвея. С его здоровьем его посылают по заводам из-за этого самого содружества. Сидеть в цехах, где вредный воздух...

— Зиночка... — коротко попросил Матвей Семенович.

— Пожалуйста, не спорь, — властно остановила его Зиночка.

«Ого, не такая уж она куколка», — озадаченно подумал Андрей.

— Я удивляюсь: куда смотрит общественность института? Неужели непонятно, как надо беречь таких людей. Юрий Ильич, объясните мне, разве у нас не может существовать чистой науки?

Тонков, нежно поглаживая бороду, успокаивал:

— Это временная кампания. Рациональное зерно в ней, конечно, есть, только... — Он изящно пошевелил белыми пальцами, как бы играя гамму, и многозначительно поднял брови. — Президент Академии, когда речь зашла о связи науки с производством, сказал мне: «Не надо отвлекать ученого мелочами, дружба с производством должна быть такой, чтобы не зарезать курицы, несущей золотые яйца». Наше, Матвей Семенович, призвание — выдвигать основные идеи.

Андрей ждал, что Григорьев жестоко высмеет Тонкова, и готов был прийти на помощь, спросить у Тонкова, зачем же он лицемерит, заключив договор о содружестве с электролабораторией, но Григорьев молчал, потирая лысину, как бы стараясь понять, чего же хочет Тонков. Андрей был уверен, что здесь, в доме Григорьева, Тонков должен чувствовать себя ничтожеством. Однако Тонков держался самодовольно, уверенно, и рядом с его черной бородой, осанистой фигурой и шелковой ермолкой Григорьев в своем мешковатом пиджаке выглядел до обидного щуплым и невзрачным. Видно было, что, за исключением сына, никто в доме с ним не считался, что относились к нему как к большому ребенку, которого надо поминутно останавливать и вразумлять. Здесь он был совсем не похож ни на того Григорьева, который безжалостно прогнал Андрея при первом свидании, ни на того Григорьева, который час назад, на пляже, бесстрашно сокрушал великие авторитеты.

Андрей заметил, что у Зинаиды Мироновны визгливый голосок и что от седых бровок и пасьянса тещи Григорьева веет нелепой старомодностью. Постепенно он начинал ощущать некоторое несоответствие между тем, что должно окружать Матвея Семеновича и тем, что было в действительности.

— Посмотрите, — сказала Анечка, наклоняясь вперед, — что там вытворяет Ростовцев.

Сморозин прищурился, всматриваясь, и расхохотался:

— Ну и ловкач, он из своего портсигара устроил перископ и подсматривает карты этого тьюфяка Пуданова.

Черноволосый, подвижный Ростовцев азартно размахивал руками, его тонкий с горбинкой нос лукаво морщился, из четырех игроков он был самый азартный и шумливый.

Петушков звенящим комариным голоском о чем-то безуспешно спорил с ним, крохотные глазки его злобно сверкали. Пуданов слушал их с благодушно-сонной улыбкой. Четвертый игрок, высокий неподвижный старик, сидел к Андрею спиной.

Андрей знал Ростовцева как одного из лучших специалистов по антеннам. В своей области он считался магом, волшебником и верховным судьей. Судя по рассказам Анечки, он крепко оберегал свое первенство, бесцеремонно отталкивал тех, кто пробовал его обогнать. Он не боялся ввязываться в любые драки, отставляя свою руководящую роль. У него было хорошее чутье нового: стоило появиться многообещающей работе — он тотчас подхватывал ее идею и разрабатывал дальше. Благодаря своей прекрасно оборудованной лаборатории, способным помощникам, благодаря невероятному трудолюбию и блестящим способностям он быстро обгонял автора и снова победно шествовал впереди.

— Выходит, он какой-то коршун-стервятник? — мрачно сказал Андрей.

— Ничего подобного, — возразила Анечка, — он вовсе не честолюбив. И не завистник. Он искренне уверен, что никто лучше его не сделает. Может быть, он и прав. Во всем другом, кроме антенн, он добрейший человек. А какой шутник и выдумщик!

— Ого, вы, оказывается, умеете видеть и хорошее, — с иронией проговорил Андрей.

Анечка покраснела, открыла было рот, но ее перебил Смородин:

— Слыхали, какой номер недавно выкинул этот Ростовцев? У Пуданова есть машина, и он считает себя незаурядным водителем. Когда машина стояла в институтском гараже, Ростовцев забрался туда и приделал к глушителю милицейский свисток. Приспособил он его так, чтобы свисток действовал, начиная от определенной скорости. Вечером сажает Пуданов нашего шефа Тонкова в машину, и они едут на дачу. Только разогнались на проспекте — свисток. Пуданов останавливается, подходит к милиционеру. Тот: «Ничего не знаю», — все же на всякий случай записал номер. Поехали дальше. Как газанут — свисток. Тормозят, осматриваются — никого нет. Кое-как выбрались на шоссе. Опять свисток. А кругом ни души. Стариканы чуть не спятили. Галлюцинация!

Пуданов, о котором шла речь, сидел к Андрею боком. Андрей с трудом узнал его. Пуданов растолстел, обрюзг, благодушная улыбка неизменно дремала под тенью его сизого носа.

— Чем он занимается? — спросил Андрей.

— Разводит астры, — отозвалась Анечка.

— Нет, серьезно?

— Единственное дело, к которому он относится серьезно. — Анечка рассказала, что его коллекция насчитывает около пятидесяти видов астр.

Последний раз Андрей видел Пуданова до войны на лекции о созданных им фотоэлементах. Пуданов стал лауреатом, его избрали членом нескольких ученых советов, ввели в редколлегии журналов, о нем писали, он давал интервью, его имя приобретало все большую известность. Слава постепенно становилась его хозяином. Она заставляла его все меньше времени уделять научным работам, избавила от мелких обязанностей и тревог. И вот... астры! А ведь Пуданов — это не Петушков. Тот бездарность, дрянь, но этот — настоящий ученый. И был талант, большой талант. Андрею стало грустно.

— Очевидно, Пуданов до конца жизни останется человеком, — сказала Анечка, — о котором будут говорить: «Ну как же, помните, это он когда-то наделал шуму со своими элементами» — или что-то в этом духе.

— Так и будет, — весело сказал Смородин, — на него уже сейчас ссылаются в предисловиях, а не в тексте.

Андрея покорило этот веселый тон, эти мелкие злобные насмешки, с безопасного расстояния запускаемые в Пуданова.

— Не понимаю, чему вы радуетесь, — хмуро сказал он.

Тем временем Григорьев, пользуясь уходом тещи, улизнул на веранду, где игроки шумно приветствовали его появление.

Сидевший до сих пор спиной к Андрею высокий старик поднялся и протянул руки навстречу Григорьеву. Несмотря на старомодный пиджак, седые волосы, стриженные ежиком, он выглядел удивительно молодо. Его морщинистую смуглую шею красиво оттенял белый отложной воротничок; кроме Андрея, только он был без галстука. Взяв Григорьева под руку, он стал прогуливаться с ним по веранде легким, юношеским шагом.

— Кто это? — спросил Андрей у Анечки.

— Кунин.

— Кунин! — Андрей покраснел от удовольствия. Это имя было связано со славой зачинателей русской физики. Кунин работал вместе с Лебедевым, Лазаревым, он знал Попова, Тимирязева, во всех учебниках описывались его знаменитые опыты по электростатике. Еще студентом на экзамене Андрей выводил формулу Кунина.

— Сколько же ему лет?

— Он ровесник Медному всаднику... — начал было Смородин, но осекся под хмурым взглядом Андрея и заговорил о недавней статье Кунина, в которой старик якобы впал в идеализм. Андрей читал ее. Статья покушадась на некоторые классические понятия электрофизики, это была смелая попытка создать единую теорию, объяснить противоречия, и Андрей прощал автору рискованные порой утверждения, плененный свежестью, искренностью и смелостью его суждений.

Мимо них проходил Тонков под руку с Зинаидой Мироновной. Услыхав разговор о Куnine, он сказал:

— Да, да... в наших академических кругах считают, что он серьезно скомпрометирован. Зинаида Мироновна, вы должны предостеречь Матвея Семеновича.

— Ошибки Кунина стоят достижений некоторых ученых, — угрюмо сказал Андрей и густо покраснел.

Тонков, мило улыбаясь, заметил, что вести научные споры в присутствии дам было бы непростительно.

Раздосадованный, Андрей вышел на веранду, подумывая, как бы попрощаться с Григорьевым и уехать.

Пуданов, дремотно улыбаясь, кивал Петушкову и смотрел в угол веранды, где Кунин, Ростовцев и Григорьев о чем-то оживленно говорили. Видно было, что Пуданову и скучно слушать болтовню Петушкова, и лень встать, но если бы кто-нибудь поднял, он с удовольствием присоединился бы к тем троим.

Увидав Андрея, Матвей Семенович представил его друзьям. Они приняли его радушно: Кунин — рыцарски-внимательно, Ростовцев — лукаво, выискивая, нельзя ли над чем подшутить.

Они рассуждали, есть ли на Марсе люди. И то, что в этом разговоре не было ничего мудреного и нового, и то, что в таких выражениях об этом могли спорить мальчишки, порадовало Андрея.

В их обществе Григорьев прояснел, взбодрился, неуступчиво мотал головой. Перед Андреем снова стоял прежний Григорьев.

— Вы знаете, как произошли звезды? — хитро сморщив нос, спросил Ростовцев. — Это остатки миров, где люди открыли атомную энергию и не смогли договориться...

Никто не улыбнулся. Да и сам Ростовцев вдруг посерьезнел.

Смуглое лицо Кунина стало бесконечно старым. Зорко прищурились выпуклые глаза Григорьева. Слова Ростовцева круто повернули мысли Андрея, обнажили перед ним то суровое чувство ответственности за судьбу науки, за судьбу человечества, которое роднило души этих людей.

Лучше, чем кто бы то ни было, они знали страшную силу атомно-водородного оружия.

В эту минуту Андрей почувствовал, что эти трое, несмотря на все их человеческие слабости и недостатки, были учеными в том высоком смысле слова, который он никогда не решился бы применить к себе. Они — генералы науки, он — ее солдат; и, как солдат, он придавал особое значение каждому их жесту, слову, испытующе сравнивал их, таких разных, словно определяя возможный вариант собственной судьбы. Целиком никто из них не подходил ему, они были слишком индивидуальны. Зато он отбирал для себя достоинства каждого из них: «Такие тебе полезны!» и недостатки: «Берегись, чтобы они не стали и твоими!»

Подошел Тонков и, вкрапывая намеки на опальное положение Кунина, предложил провести в его лаборатории какое-то исследование, обещая помочь оборудованием. Благородство Тонкова не должно было вызывать никаких сомнений, он поможет Кунину, рискуя, может быть, собственной репутацией: вряд ли Кунин, обвиненный в релятивизме, идеализме и эмпиризме, вправе рассчитывать на какие-либо ассигнования.

Кунин учтиво поклонился, восхитив Андрея той утонченной вежливостью, которой сопровождался его холодный, категорический отказ. И тут же, без видимой связи, Кунин вспомнил один случай времен его студенческой работы у знаменитого Лебедева:

— Тогда Петр Николаевич один из первых в России занимался рентгеновскими снимками. Наша неказистая лаборатория была единственной физической исследовательской лабораторией в стране. Условия были трудные. У нас работал, например, всего один лаборант — Давид. Личность замечательная — мастер на все руки,

но характер преотвратный, брюзга, и, надо сказать, Петра Николаевича он любил, но не уважал нисколько. По мнению Давида, Петру Николаевичу не хватало авантажности. Давид обожал представителей. Да, так вот однажды утречком вваливается в наш подвал купчина. Бобровая шуба нараспашку, пузо вперед, белый жилет залит вином — видно, прямо из «Яра». Борода — во! — Кунин выставил грудь — и, багровея, рыкнул: «А где тут профессор-фотограф?» Петр Николаевич в другой комнате занимался, утренние часы его были святы, никто не смел его тревожить. Давид заметался и, умиленный грозной осанкой купца, не выдержал, позвал Лебедева. Выходит Петр Николаевич. Купец ему: «Вы фотограф?» — «Какой фотограф?» — «Вот что, уважаемый, желательно, значит, нам свой внутренний портрет иметь». Это он про рентген. «В натуральную величину чтобы сделали». Махнул он рукой на наши низкие, полутемные комнатки. «Больших денег не пожалею. Ежели потрафите, так и супруги портрет закажу». — В этом месте Кунин обвел всех глазами, неуклюже выделив Тонкова. — Лебедев побледнел, да вдруг как топнет ногой, как гаркнет: «Давид! Гони его в шею!» Это милейший, обходительный Петр Николаевич, от которого слова громкого никто не слышал! — Григорьев конфузливо, но довольно потер лысину. — Кто-то из наших студентов потом его попросил: «Петр Николаевич, сняли бы купца ради лаборатории, мы бы аппаратуры накупили». Лебедев обрезал: «Вы, милостивый государь, как видно, считаете науку шлюхой». А Давид после изгнания купчины проникся к Лебедеву величайшим почтением.

Тонков, старательно прохохотав вместе со всеми, отошел к Петушкову.

— Треплют вас за статью? — сочувственно спросил у Кунина Ростовцев.

— Ну что ж, треплют не треплют, а кто-то должен дело делать, — устало сказал Кунин. — Не на них же надеяться. — Он кивнул в сторону Тонкова. — Их дело трепать. А я, знаете, сейчас новую статью готовлю. Ну, были ошибки, так ведь и хорошее было.

Вскоре Ростовцев и Кунин, захватив с собою Пуданова, ушли, и Андрей заметил, что все оставшиеся, кроме Григорьева, как-то оживились, почувствовали себя свободнее.

Матвей Семенович сник, сиротливо маясь между гостями.

Андрей хотел было расспросить его о Куinine, понимая, что и Матвею Семеновичу это будет приятно, но Григорьевым завладел Смородин, упрасивая его взять рукопись для рецензии.

С грубоватым простодушием рубахи-парня он пояснял, какой ему нужен отзыв. Надо было отдать ему справедливость: наиболее щекотливые вещи он умел преподносить так беззастенчиво, что в любую минуту их можно было обратить в шутку.

— Критические замечания, конечно, нужны, — разъяснял он Матвею Семеновичу, — но ровно столько, чтобы издательство не боялось заключить договор.

Вслед за ним Петушков комариным голоском напомнил Григорьеву о своем аспиранте. Знакомое выражение мўки появилось на лице Григорьева.

— Извините, я смотрел диссертацию, — он слабо развел руками, — беспомощная работа. Кое-что там, конечно, есть... — поспешно добавил он.

— Из одних перлов состоит только перловая каша, — язвительно перебил его Петушков. — Это «кое-что» вы и помогите ему развить. Молодежи, голубчик, надо помогать.

Конфузась, Григорьев пробормотал что-то извиняющееся.

— Да-да, — вздохнул Тонков, — в этих случаях приходится жертвовать собою. Куинин — тот по старости отделяется притчами, а нам с вами, Матвей Семенович, надо создавать собственную школу, это удастся немногим.

— Ну, вам нечего жаловаться, — живо подхватил Смородин, — ваша школа цветет.

Тонков отмахнулся, притворяясь недовольным этой откровенной лестью:

— А сколько это отнимает энергии! Вспомните, Смородин, каким вы пришли ко мне. — Он неожиданно обернулся к Андрею. — Вам я тоже кое в чем сумел помочь с диссертацией, несмотря на то, что вы как будто и не сочувствуете моей школе. — Он тронул рукав Андрея всепрощающим жестом.

Андрею стало неловко перед Григорьевым, он собрался было возразить, но Григорьев поспешно переменял тему.

— Значит, вам известно про локатор, — обрадованно сказал он Тонкову. — Чудесно может получиться, а? Берегитесь, ваш метод под угрозой.

За толстыми стеклами, как в аквариуме, метнулись скользким блеском глаза Тонкова.

— Эх, Матвей Семенович, — быстро засмеялся Тонков, прикрывая глаза короткими веками. — В вашем возрасте, ха-ха-ха, и столь легкомысленное увлечение. Ай-я-яй... Признаться, не думал, что Андрей Николаевич после такого провала на техсовете будет настаивать на своем. Не думал. Безрассудная молодость.

Во время ужина Андрея посадили между тещей Григорьева и Смородиным. Раскладывая на коленях салфетку, Смородин спросил Андрея:

— Значит, это о вас мне рассказывали? Вы после аспирантуры пошли на производство?

Андрей кивнул.

— Как же вам удалось договориться о кандидатской ставке? Ее платят только в институтах.

— Я получаю как обычный начальник цеха.

— Так вы теряете на этом рублей семьсот. Чем же вам компенсируют?

— У меня интересная работа.

— Хо, да вы альтруист...

Андрей чувствовал себя самым посторонним за столом, если не считать Матвея Семеновича. То непринужденно-возвышенное состояние, в котором он входил в этот дом, окончательно рассеялось. Подавленный сладкой любезностью Тонкова, церемонными манерами тещи Григорьева, Андрей держался напряженно, досадуя на свою неуклюжую стеснительность. Ясная и холодная злость быстро наполняла его душу. Напротив него, потряхивая седыми кудрями, шумно возился над своей тарелкой Петушков, подозрительно сверля Андрея злыми глазками. На другом конце стола завязался разговор о доступности изложения научных работ. Бархатный баритон Тонкова снисходительно возражал Анечке:

— ...Мой молодой друг, ценность научного труда неизбежно снижается при стремлении автора к популяризации.

Петушков встрепенулся:

— Что же, вы прикажете выразить интеграл Дюамеля четырьмя действиями арифметики? — Он ехидно посмотрел на Андрея и выплюнул рыбью косточку. —

А позвольте спросить: зачем? Я пишу для специалистов и употребляю выражения, понятные им. Учитесь, никому не заказано.

— Согласен. В наше время одни знания представляют собою абсолютную ценность,— поддержал его Смородин, накладывая себе на тарелку икру.

«А пусть их»,— подумал Андрей. Он проголодался и ел с удовольствием, посмеиваясь над человеческой слабостью — заткнут рот салатом и бутербродами, и вроде как-то неудобно становится ругаться.

— Упрощенчество исходит из тщеславия,— мягкими колобками докатывались тонковские фразы.— Подобные ученые жаждут признания большой аудитории. Подлинное творчество движется внутренним интересом. Важно ли было Гегелю, что его читало, вероятно, не более тысячи современников, а понимало человек двадцать?

Григорьев откашлялся и сказал, обращаясь к своей тарелке:

— А вот это... «Диалектика природы» Энгельса написана куда понятней, чем у Гегеля, и тоже вполне научная и полезная...

— Матвей, оставьте горчицу. Вам нельзя ничего острого,— остановила его теща.

«Бедняга,— подумал Андрей о Григорьеве.— В одиночку он слаб. Ему нужны такие, как Ростовцев и Кунин. Талант плюс сильный характер — вот чем надо обладать, чтобы разделаться с Тонковым... Почему Тонков ненавидит Кунина, почему он подминает под себя Григорьева? Да потому, что он сам бесталанный... Очевидно, только ученый, обладающий настоящим талантом, может радоваться, что имеет конкурентов...»

Обмахиваясь салфеткой, Тонков говорил:

— ...Узкие практические задачи приходят и уходят. Остается наука, ее законы. Настоящий ученый оценивается по его теоретической работе. Закон Столетова всегда останется законом Столетова.

— Ах, так это к вопросу о славе,— протянула Анечка.

— Отчасти и о славе.

— Ну, у вас ее достаточно,— любовно сказал Смородин.

Андрей улыбнулся: «Общество взаимного восхищения».

— Мне не за себя обидно, — скорбно вздохнул Тонков, поймав улыбку Андрея. — Жаль нашу творческую молодежь. Вот вы, Андрей Николаевич. Растрачиваете свое дарование на какой-то химерический прибор. Ну допустим, затратив на него несколько лет и массу нервной силы, сделаете. А дальше что? Пройдет год, какой-нибудь инженер, глядишь, усовершенствует этот прибор, другой еще что-нибудь в нем добавит — и нет прибора Лобанова, а есть прибор Сидорова, Петрова. И никто не помнит про Лобанова, труды ваши предадут забвению. Увы! Таково печальное отличие техников от ученых.

Шумно раздувая ноздри, Андрей приподнялся, где-то мелькнуло сожаление: не умеет он ответить так спокойно и красиво, как Кунин. Ярость, скопленная за этот вечер, ознобом прошла по телу. Зинаида Мироновна вздохнула, все глаза обратились к Андрею.

— Андрей Николаевич, — раздался скрипучий голос тещи, — будьте добры, передайте мне фрикасе.

Фрикасе? Взгляд Андрея ошеломленно заметался по столу, уставленному овальными блюдами с заливной рыбой, мясом, пестрыми салатницами, тарелочками с семгой, украшенной прозрачно-желтыми ломтиками лимона, какими-то соусницами, вазочками. Ехидная усмешка стекала по краям тонких губ Петушкова. Андрей вопросительно посмотрел на Григорьева, но тот сидел слишком далеко. Смородин тихонько прыснул. Победно потряхнув бровями, теща взяла тарелку с коричневым соусом, в котором плавали кусочки крошеного мяса.

Чувство юмора заставило Андрея, несмотря на всю досаду, улыбнуться. Перекрывая голоса, он обратился к Тонкову:

— Разрешите мне все же...

— Андрей Николаевич, пощадите нас, — капризно сказала Зинаида Мироновна.

— Нет, разрешите, — настаивал Андрей уже с серьезным лицом, чувствуя, что становится смешным, и от этого готовый на любую дерзость. — Что касается моего бессмертия, то вы напрасно о нем печетесь. Есть нечто гениальнее и плодотворнее любого ученого, — он неожиданно успокоился, — это сама наука, тот неуклонный процесс, который совершают тысячи средних работяг. Я убедился в этом на своем приборе. Он создается не мною, а всей лабораторией. Сейчас времена одиночек кончаются. И в науке особенно. Крупнейшие проблемы

решают коллективы. И вообще, противопоставлять науку и технику, по-моему, бессмысленно и вредно. Одно без другого развиваться не может.

Тонков милостиво кивал, показывая, что он, как воспитанный человек, вынужден делать вид, что слушает, но остальным это не обязательно. Зинаида Мироновна разливала чай, кругом шумели и переговаривались. Только два человека внимательно слушали Лобанова: Григорьев — он стеснительно поеживался, украдкой довольно подмаргивая Андрею, и Анечка — она задумчиво положила острый подбородок на сплетенные пальцы.

Откусывая белыми большими зубами печенье, Тонков, выждав паузу, сказал, обведя всех глазами:

— Вы, Андрей Николаевич, стоите между наукой и техникой, смотрите не сядьте между ними.

Румяные щеки Смородина задрожали от смеха.

— А может, ему усаживаться еще время не подошло, — не меняя позы, резко сказала Анечка тоненьким голосом.

Андрей от неожиданности запнулся, подумал, потом усмехнулся и опустился на стул, в общем довольный собою.

Сразу после ужина уходить было неудобно. Стоя у окна, Андрей вглядывался в синюю темень сада и думал, как славно было бы взять отсюда Матвея Семеновича, погулять с ним по ночным ветреным аллеям.

Потом он вспомнил про конденсатор и подошел к Смородину. Узнав, что от него требуется, Смородин зачем-то отвел Андрея в сторону. Смешливость его исчезла.

— С удовольствием помогу вам, — деловито сказал он. — По совместительству или по трудовым соглашениям?

— Что? — не понял Андрей.

— Платить как думаете? Я могу оформиться на полставки.

Вопрос был естественный, но после бескорыстного участия Григорьева Андрея передернуло.

Смородин, очевидно, почувствовал, что творится с Андреем.

— Э-э, да, я вижу, вы и впрямь альтруист. — Смесь жалости и снисходительности была в его улыбке. —

У вас еще молочные зубки остались. Пора бы уже... Как вы дальше жить будете?

Андрей осмотрелся, из дальнего угла комнаты за ними настороженно следил Тонков.

— Меня ваше будущее, Смородин, тоже беспокоит. Смотреть на свои знания как на источник дохода...— Андрей опечаленно покачал головой.— Это и есть особенность школы Тонкова?

Не ожидая подходящего повода, Андрей распрощался с хозяевами и вышел на улицу.

— О чем вы говорили с Лобановым?— спросил Тонков у Смородина.

Выслушав, он тихо сказал:

— Вы идиот. Завтра же свяжитесь с ним и обещайте сделать ему все. Без всяких денег... Помолчите. Зачем же, чтоб мои сотрудники чинили ему препятствия? Наоборот...

Спустя несколько минут он ласково упрекал Григорьева:

— И вы согласились сотрудничать с Лобановым? Святая простота. Боюсь, боюсь за вас, Матвей Семенович, как бы вы не попали в ловушку.

— Матвей, я всегда говорила, что вы слишком доверчивы,— сказала теща.

Матвей Семенович, страдальчески выкатывая кроткие глаза, пытался возразить, его не слушали. Лишь одна Анечка недоуменно спросила:

— Какая тут может быть ловушка?

— Авантюристом его назвать я не имею права,— рассудительно и мягко отвечал Тонков.— Но войдите в его положение: с локатором не получается, сроки трещат, необходимо как-то подкрепить свой авторитет, на чем-то отыгаться. А тут есть возможность пристроиться к ценным трудам Матвея Семеновича.

— Очень просто. Пристроится и станет соавтором. Доказывай потом, что ты не верблюд,— ядовито куснул Петушков.

Зинаида Мироновна нежно взяла мужа за руку:

— Мы с тобой идеалисты, милый. Тонков умеет разбираться в людях, послушайся его.

Григорьев уже успел поверить в Лобанова, он был под впечатлением их разговора на пляже... Но вот ведь и Зиночка говорит, и Тонков, и теща... Сколько раз уже бывало, что в житейских вопросах они оказывались опытнее его.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ

Андрей шагал по ночным безлюдным улочкам дачного поселка. Дорожная пыль мягко глушила размашистый шаг. Он расстегнул рубашку, остужая грудь встречным ветерком. Вразброд бежали мысли о сегодняшнем вечере. Больше всего было жаль Григорьева, беспокойно за его судьбу. Эта свора Тонковых — Петушковых может его растащить по клочкам... Они как паразиты-ракушки, которые присасываются к килю корабля. Чем быстрее ход, тем труднее им удержаться. Скорость приносит им вместо радости одно беспокойство. Сказать бы об этом Тонкову. Да... говорить надо вовремя. Как Кунин. Быть бы таким, как Ростовцев или Кунин, — доступным, простым, и изысканно-вежливым, и разяще-спокойным... А они могут свалить и Кунина и, ничего не создав, вполне благополучно в славе и почете прожить до конца своих дней. И на смену им подрастает Смородин. Но вот что интересно — как правило, все эти Тонковы бездарны... Правда, ухватить их трудно. Скользкие, как налимы. Но мы с ними еще поборемся.

Подобрав прут, он хлестал на ходу по лопухам, по черным кустам ракитника так, что воздух свистел и капли росы холодили руку.

...Он не заметил, как сбился с дороги. Под ногами хрустела скользкая трава. В синей тьме висели редкие огоньки. Где-то лаяли собаки. Процеженный сквозь дымные тучи неверный свет месяца только мешал отыскать дорогу. Наугад перепрыгивая через канавы, Андрей двинулся к ближнему дому с освещенной верандой. В темноте вырос низкий штакетный заборчик. Не раздумывая, Андрей оперся о столбик и, спружинив, прыгнул. Что-то невидимое вцепилось в него, опалив ногу жгучей болью. Он упал, ломая мокрый от росы малинник.

Несколько мгновений он лежал, не понимая, что произошло. Потом отполз вбок и, сидя на земле, сквозь порванную штанину ощупал ногу. Пальцы сразу стали теплыми от крови. Андрей достал носовой платок и, стиснув зубы, туго перевязал ногу ниже колена. Он протянул руку к перекладине забора, чтобы встать, и укололся о шипы колючей проволоки. Андрей выругался, отломал перекладину и, опираясь на нее, прихрамывая, добрался до полосы света, падавшего на тра-

ву с остекленной веранды. Длинный лоскут штанины свисал вниз, открывая повязку с красным пятном. Надо было как-то подколоть этот лоскут; булавки, конечно, не нашлось. В таком виде ехать в город было невозможно — да и где она, эта дорога на станцию?

За прозрачной стеной веранды, завешенной белой кисеей, слышались голоса. Отряхивая мокрый, измазанный зеленью костюм, он представил себе физиономии хозяев при его появлении. Мускулы его искривленного болью лица дернулись в улыбке. Нечего сказать, влип он в историю.

Голоса на веранде приблизились, на занавесках обозначились две тени.

— Никуда ты не поедешь, — проговорил мужской голос, — останься здесь.

Секунду-другую длилось молчание, потом женский, напряженно звенящий голос сказал:

— Как тебе не стыдно!

В ее словах звучали и удивление, и боль.

Мужчина неловко засмеялся и подошел к ней ближе. Женщина прислонилась спиной к стеклу, и силуэт ее стал четким, пышные волосы слегка просвечивали, словно дымились над головой.

— Ну, разумеется, я люблю тебя, — с некоторой досадой сказал мужчина.

Цепляясь за перила, Андрей поднялся и громко постучал в дверь.

Щелкнула задвижка. Перед Андреем стояла, держась рукой за дверной косяк, тоненькая девушка. Яркий свет мешал разглядеть ее. Андрей заметил только медные вьющиеся волосы, высокую стройную шею и глаза. Узкие, почти раскосые, срезанные темными веками, без блеска, без всякой мысли, они смотрели на Андрея застывшим, невидящим взглядом, точно обращенные внутрь. Он чувствовал, что застал ее в тот миг душевного потрясения, когда все существо человека беззащитно раскрыто.

Ему захотелось уйти, но в этот момент девушка словно очнулась; дрогнув ресницами, она отступила на шаг и обернулась к мужчине.

Это был примерно ровесник Андрея, в небрежно накинутом на плечи песочном пиджаке, смуглый, с холодными глазами, красиво оттушеванными синевой. Сунув руку в карман, он подошел и заслонил девушку.

— Что вам надо? — громко произнес он, с любопытством разглядывая перепачканные кровью руки Андрея.

Объяснив в двух словах, что с ним случилось, Андрей спросил, как пройти на станцию.

Пока мужчина рассказывал, Андрей смотрел из-за его плеча на девушку. Она, опустив голову, царапала каблуком пол.

Наступило молчание.

Андрей поблагодарил, тоскливо соображая, что так и не понял, куда ему надо сейчас свернуть.

— Что с вами случилось? — спросила девушка.

Задетый ее рассеянным участием, он сказал, озлобляясь с каждым словом:

— Да вот вы тут навесили колючей проволоки... минных заграждений только не хватает.

— Вадим, у тебя бинт есть? — спросила она у мужчины.

Андрей дернул плечом, взялся за дверь:

— Не надо.

— Подождите, — остановила она его, — мне тоже в город.

— Марина! — Вадим с силой взял ее за руку, отвел к накрытому для ужина столу, вполголоса начал уговаривать. Она попробовала высвободить руку, ей это не удалось.

Андрею стало не по себе.

— Послушайте, — сказал он.

Марина обернулась.

— Вы идите, — сказала она, — я вас догоню. Оставь, — обратилась она к Вадиму. — Слышишь! — Она сказала это так хлестко-презрительно и таким непреклонно-спокойным тоном, что он отпустил ее.

«Ого! — одобрительно подумал Андрей. — Характер». Он осторожно спустился по ступенькам. Нога остро заныла. На минуту он прислонился к стене дома.

Останется или пойдет? Он не понимал, должен ли он помочь, хочет он идти с ней или лучше, чтобы она осталась. И сразу же почувствовал, что если она останется, у него будет какое-то горькое ощущение обмана.

Марина вышла на крыльцо. На плече у нее висел плащ. Вадим шел за ней и с недоумением, почти угрожающе, говорил что-то.

— Ничего я не боюсь, ничего, — сказала она, отчаяние слышалось в ее голосе. — Оставь меня сейчас...

Она сбежала вниз и спросила в темноту:

— Где же вы?

Андрей с трудом оторвался от стены. Они выбрались на дорогу. Марина, не оглядываясь, пошла вперед. Влажный песок скрипел под ногами. Дорога, смутная и серая, изгибаясь, убегала в рощу. Было тихо, безлюдно.

— Подождите, пожалуйста, — хмуро попросил Андрей, — я не могу так быстро. — И тут же подумал, что, наверное, она нарочно держится на расстоянии от него, потому что боится. Как же велико было ее возмущение или разочарование, чтобы пуститься в путь с первым встречным, да еще похожим на бандита.

Марина замедлила шаг, спросила, как это его угораздило заблудиться.

Ее спокойно-рассеянный тон обрадовал Андрея. А может быть, она просто хорохорится, а у самой все дрожит внутри? Ему стало жаль ее: назвав себя, он с подробностями, шутливо поведал о своих злоключениях.

— Вы, вероятно, бог знает что подумали, — улыбнулся он.

— Надо ж! — невпопад, без всякого выражения, откликнулась она, и он понял, что его совсем не слушали. Его рассказ показался ему навязчивым и бестактным. Суется со своей царапиной, когда человеку вовсе не до него.

Неожиданно из-под ног ее выскочила лягушка. Марина, вздрогнув, крепко схватила его за руку и смущенно рассмеялась. У нее были сильные, горячие пальцы. Он невольно пожал их, она сразу же отдернула руку. Ему стало неловко и стыдно, он грубовато спросил:

— Булавки не найдется у вас?

Они остановились, она вынула из волос заколку.

Андрей присел на придорожный пенек, попробовал закрепить вырванный лоскут. Некоторое время она смотрела на его старания, потом отобрала заколку, присела на корточки. Оказывается, от ходьбы у него начала сочиться кровь. Не долго думая, Марина сдернула с плеч косынку.

— Да ну, что вы! — замахал руками Андрей.

Не слушая его, она умело перевязала ногу, подколола порванную штанину.

В роще на них дохнуло удивительным теплом. Ни одна ветка, ни один лист не шевелились на усыпанных лунным светом деревьях. Лес до самых крон, как теплой

водой, был залит неподвижным воздухом, запахами смолы, лесных трав, сухой дорожной пыли. Размытые пятнистые тени деревьев зеленой рябью обегали грудь, лицо, шею Марины. Она остановилась, подняла вверх лицо. Андрей тоже остановился, слушая тишину. Завозила, мягко всхлопывая крыльями, какая-то птица. Прошуршала в траве мышь. Эти мелкие звуки подчеркивали огромную сонную тишину леса.

Марина вздохнула глубоко, прерывисто, как вздыхают дети после слез.

На станции было пусто. До поезда оставалось полчаса. Они шагали по гулкой высокой платформе. Далеко-далеко уходили стальные лезвия рельсов, рассекая лес надвое. Горели цветные огни семафоров.

— Вы сильно хромаете, — словно сейчас увидела Марина.

— Чепуха, — пробормотал он. — Пройдет.

— Пройдет. Все проходит, — повторила она так, как будто он был прохожий, чем-то нарушивший ее раздумье. — Сядьте. Садитесь, — приказала она.

Андрей сел на скамейку. Марина надела плащ. Литые складки плаща делали ее тоненькую фигурку твердой, напряженно вытянутой. Оставив Андрея, она пошла по платформе. Когда тьма скрыла ее и замерли шаги, Андрею показалось, что она не вернется... и, может, вообще ее не было. Проходили минуты. Потянуло холодом. Андрей поднялся; опираясь на палку, побрел в ту сторону, куда ушла Марина. Подходя к далекому темному концу платформы, он услышал сдавленный плач. На краю перрона, на ступеньке, спиной к Андрею, сидела Марина. Она плакала, торопливо вытираясь рукавом, кулаком и пальцами, крупно и часто вздрагивая. От этих слез, которых он не видел, у него самого что-то подступило к горлу.

Андрей растерянно коснулся ее руки:

— Послушайте... может быть, вас проводить обратно?..

Она вскочила, как будто ее ударили.

— Какое вам дело! — крикнула она. — Я сама вернусь, если захочу. Отстаньте от меня. Чего вам надо? Я вас привела, и езжайте...

Слезы мешали ей говорить, и это еще сильнее сердило ее.

Андрей попятился, что-то бормоча, отошел к фонарю, облокотился на перила. «Чепуха какая-то», — повторял он, негодуя на себя.

Где-то рядом в лесу протяжно и тоскливо покрикивала совка: «ку-у, ку-у».

Вдали, наверное еще на соседней станции, раздался гудок паровоза. Послышался нарастающий шум поезда. Дверь вокзальчика отворилась. На платформу, позевывая, вышла женщина в красной фуражке.

Слепящий прожектор паровоза вырезал из темноты скорченную фигурку Марины на ступеньках платформы.

Андрей, громко стуча палкой, подошел к ней.

— Знаете что, я вас так не могу оставить, — решительно сказал он. — Или поедемте, или пошли назад. Вот!

Он нагнулся, взял ее за руку. Она послушно пошла за ним. Вагон, в который они сели, оказался пустым.

— Чего это я на вас напустилась? — сердито спросила Марина. Кончик носа у нее был красный, мокрые ресницы слиплись, вся она чем-то напоминала мокрого взъерошенного котенка.

Андрей улыбнулся:

— У нас какое-то одностороннее знакомство. Вас Мариной зовут?

Она встала у раскрытого окна, не желая, очевидно, чтобы он разглядывал ее.

— Марина... — она запнулась и добавила, не оборачиваясь: — Сергеевна.

Светлые прямоугольники окон мчались вниз, ломаясь на буграх и рытвинах, взбирались на кусты. Деревья у полотна то закрывали, то вновь распахивали звездное небо.

Андрей стоял позади и смотрел, как ветер шевелил волосы Марины. Сухая сосновая иголка запуталась в медных завитках. Андрей хотел вынуть ее, но не решился.

— Смотрите, — Марина показала в сторону желтого огонька, мигающего в черноте. — Что это, по-вашему?

Она обернулась. Лицо ее оказалось совсем близко, он почувствовал ее дыхание, увидел рядом ее глаза с дрожащими каплями света. Он взглянул туда, прямо в этот свет... Почувствовав какое-то непонятное волнение и стараясь преодолеть его, он отстранился и сказал:

— Ну, дом. Обыкновенный дом. Кто-то не спит.

— Очень интересно!

Наперекор ее смешку он добавил все с той же нарочитой грубостью:

— Какой-нибудь студент зубрит или девица читает «Королеву Марго».

— Может быть... А я подумала другое. Вам никогда не казалось — вдруг этот огонек и есть то, что ты ждешь?.. И надо выскочить на полустанке, остаться. А ты не поверил себе... Поезд тронулся, и вот огонька уже нет. И никогда не узнаешь, что там было.

Так говорить можно было лишь с человеком, которого больше не встретишь. Затосковав, Андрей, сам не зная зачем, в упрямой запальчивости сказал:

— Это бывает только в скверных романах.

Марина невесело рассмеялась:

— Вы, конечно, всегда выходите на той станции, куда взят билет.

— Неправда. — Андрей вдруг обрел уверенность. — Вы же сами... И правильно сделали, что не остались.

Она возразила что-то гневное, но Андрей не расслышал за гудком паровоза. Поезд подходил к городу.

Они вышли на привокзальную площадь. Ветер гонял по пустынной мостовой автобусные билетики.

— Вам куда? — спросил Андрей.

— Не вздумайте меня провожать, — предупредила Марина.

— Почему?

— Во-первых, я не хочу... Во-вторых, вам надо домой. Обмойте ногу и сделайте перевязку.

Андрей стал уговаривать ее взять такси. Трамваи уже не ходят. Марина нерешительно оглянулась. Она выглядела утомленной, загар здесь, в городе, казался еще темнее, придавая ее лицу диковатую угрюмость.

Мимо прошел милиционер, подозрительно глянул на разорванные, перепачканные брюки Андрея.

— Без вас меня заберут, — пригрозил Андрей.

...Машину мягко подбрасывало, мелькали перекрестки, ветер лихо посвистывал за стеклом. С трудом согнув больную ногу, Андрей забился в угол, стараясь не касаться даже полы скользкого шумного плаща. Марина сидела прямо, положив руки на колени. Было темно, Андрей видел лишь ее профиль на фоне проносившейся ночной улицы.

Подъезжали к дому Андрея. Шофер спросил, где остановиться.

— Дальше, на углу, — попросил Андрей. Ему хотелось выиграть еще секунду, другую.

В это время он вспомнил про деньги. Торопливо вытащил смятые бумажки, на ощупь пробуя угадать, сколько там, — хорошо, если много, а если мало... И эта мысль, от которой он никак не мог отделаться, мешала сказать Марине что-то очень важное.

Машина остановилась, шофер включил свет. Андрей сунул ему деньги, Марина стала спорить, и так прошла еще минута.

— Начисто мужскую самостоятельность режут, — философски заметил шофер. — А женится человек — снова жена за такси платит, все финансы у нее в сумочке.

Он медленно перелистал бумажки, сунул их в карман.

— До свиданья, — сказала Марина.

Андрей медленно подал руку, медленно отворил дверцу. «Надо что-то сказать, спросить, так же нельзя», — повторял он. Ступив на землю, он присел от резкой боли.

— Может, вас проводить? — встревожилась Марина.

Кусая губы, он мотнул головой. Дверца захлопнулась.

— Пойдите, так же нельзя... — сказал он.

Заметив движение его губ, Марина приникла к стеклу. Поздно. Машина тронулась. В последний раз мелькнуло ее лицо с узкими скошенными глазами. Пахнуло в лицо горьковато-сладким дымом, сверкнули красные глазки задних фонарей, — подпрыгивая, они уносились все дальше и дальше и скрылись.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ

Назавтра нога опухла, поднялась температура, врач уложил Андрея в постель, запретив даже читать. В комнате пахло лекарствами. Отец перетащил из столовой свое кресло, и Андрей впервые за много лет почувствовал себя на положении больного со всеми приятными и неприятными последствиями.

Людам, много и напряженно работающим, болезнь, несмотря на физические страдания, иногда приносит желанный покой. Андрей обнаружил, что способен спать по двенадцать часов в сутки, просыпаться и снова

тонуть в полудреме. За работой он вскоре забыл бы о Марине, сейчас же, когда дурацкий случай надолго вывел его из строя, ничто не мешало ему думать о ней целый день. Он пытался представить себе, что произошло на веранде... Любит ли Марина этого Вадима? За что вообще любят, и почему любят, и почему перестают любить?.. Разобраться в этих вопросах было невозможно.

Стоило закрыть глаза — и мысли уплывали в сон.

Он видел ее в белом халате врача. Она входит в комнату, наклоняется над ним. Волосы ее туго стянуты косынкой, только крохотный медный завиток свисает, блестя на солнце. Завиток быстро удаляется, приплясывая, как красный фонарик такси. Деревья закрывают его. А может быть, это и есть то счастье, которое ищешь всю жизнь?.. Андрей бежит по вагону, выскакивает на полустанке. Поезд уходит. На гулкой, пустынной платформе остается женщина в красной фуражке. Андрей спрашивает у нее, не живет ли здесь Марина Сергеевна.

«Фамилия?» — строго требует женщина.

Андрей пожимает плечами.

Женщина вздыхает, и оба долго стоят молча.

Допустим, решает в полудреме Андрей, адрес ее известен. После работы он идет к ее дому. Ходит мимо час, два — и вот она выходит из парадной. Одна. Он идет ей навстречу, говорит удивленно и небрежно: «Никак Марина Сергеевна?» Она тоже удивлена. Они идут вместе. «Это похоже на судьбу», — говорит Марина... Андрей застонал, повернулся к стене. Потратить последние минуты перед расставанием на спор о каких-то рублях! Даже не сказал спасибо за то, что проводила до станции и до дому. Невежа! Еще смеет мечтать о встрече.

К вечеру, когда возвращалась с работы Катя, в комнате становилось шумно. Чтобы Андрей не скучал, Катя оставляла с ним Танечку и сама забегала каждые десять минут. Уложив всех, она приходила к Андрею.

— Когда ты все успеваешь? — удивился Андрей ее неутомимой хлопотливости. Катя работала чертежницей на том же заводе, где и муж. Возвращалась она домой в половине седьмого, разогревала обед, кормила семью, мыла посуду, потом чинила, гладила, убирала; потом ужин, снова мытье посуды, потом надо было приготовить на завтра обед и завтрак. Ложилась она во втором часу, вставала в семь утра. Хорошо еще, что Николай Павлович ездил с Танечкой в детский сад. В обеденный

перерыв Катя бегала по магазинам, закупала продукты, выбирать некогда — хватаешь что подвернется... Федя кое в чем помогал, но Катя страх как не любила «кухонных мужиков». Мужчине положено дрова наколоть, починить что-нибудь по дому — словом, крупные дела. «Только так выходит, — с усталой смешинкой добавляла она, — что крупных дел у нас мало, все мелкие». Все это было Андрею не в новост, но теперь, наблюдая изо дня в день трудный быт сестры, он все чаще вспоминал о своих сотрудницах по лаборатории. За несколько минут до обеденного перерыва они тоже готовили кошелки, собирались, и Андрей ругал их за это! И как только звонил звонок, они исчезали и появлялись через час. Часто они даже не успевали перекусить или выпить чаю. Они с неохотой оставались работать на вечер, а он сердился и упрекал их в неосознанности.

— Был бы ты женат, ты бы смотрел на вещи иначе, — говорила Катя.

Она часто думала о женитьбе Андрея; и хотела, и боялась этой женитьбы. Катя была старше брата на три года и после смерти матери чувствовала себя ответственной за его судьбу. Сама она вышла замуж рано, и это тоже укрепило в ней сознание превосходства ее житейского опыта. Она боялась, как бы Андрея не обкрутила какая-нибудь «фифа», беспокоилась, почему к Андрею не приходят в дом девушки, подозрительно допрашивала его: не может быть, чтобы он ни за кем всерьез не ухаживал.

Однажды, перебинтовывая ему больную ногу, она сказала:

— Привет тебе от Риты, я ее встретила сегодня.

— Да? — спросил он, грустно удивляясь своему равнодушию.

Катя пытливо взглянула на него и начала рассказывать, как хорошо Рита выглядит, как она изящно одета. Андрей молча смотрел на склоненное лицо сестры, печально отмечая мелкие морщинки на висках, складки на шее, и вспоминал, что до войны, когда он познакомил Катю с Ритой, Катя выглядела девчонкой.

— Почему бы тебе не уйти с работы? — спросил он.

— Бросить работу насовсем не хочу. Скучно будет, — сказала Катя, осторожно укладывая его ногу. — Знаешь, Андрюша, мне бы полгода отдохнуть. — Она села на краешек постели и устало улыбнулась. — Вооб-

ще, женщинам семейным надо бы разрешить работать по четыре часа вместо восьми.

За время болезни они вновь, как в детстве, сблизились. Когда рана на ноге стала затягиваться, Катин муж смастерил костыль, и Андрей осторожно начал ковылять по комнатам. Он добирался до кухни, садился на табурет и подолгу задумчиво наблюдал за Катиной стряпней. Катю смешил этот несвойственный характеру Андрея интерес. Андрей смущенно огрызался на ее шутки, но продолжал сидеть, прищурив зеленые глаза, обросший длинными волосами, исхудалый, с выпирающими из-под открытого ворота ключицами. Катя скоро привыкла к его присутствию в кухне и, чистя картошку или вертя мясорубку, делилась с ним своими заботами. Ее беспокоило воспитание Танечки. Девочка целиком была перепоручена дедушке, который, разумеется, слишком баловал ее. Она становилась неряхой, капризулей. Катин муж, молчаливый, добродушный, сам страстно любящий дочь, понимал, что единственный ребенок в семье всегда получает кривобокое воспитание. Надо бы иметь второго, но Катя не хотела. Они часто возвращались к этому разговору, Николай Павлович поддерживал зятя.

— Значит, мне опять на два года засесть дома! Не желаю, — упорствовала Катя. — И так никогда в театр не выбраться, книжки не почитать.

И там, и тут была своя правда, как во всяком семейном споре, и Андрей колебался, не зная, чью сторону принять. Домашняя жизнь, которая до сих пор не затрагивала его главных интересов, открывалась изнутри, наполненная волнующей простотой и значением. Вникая в семейные дела, он невольно переосмысливал многое в жизни и взаимоотношениях своих товарищей по работе. Трудно сказать, что от чего шло. Возможно, начало было положено в день поездки на пароходе, сблизившей его с товарищами. Либо наоборот: переживая Катины дела, он начинал понимать, что подобные заботы есть в жизни каждого, и это по-новому сближало с людьми, помогая заполнить разрыв, который он болезненно ощущал в последнее время.

По вечерам забегал Борисов, он как-то быстро и прочно сошелся с домашними. Ему очень понравилась затея Николая Павловича с игрушками для ребят. Обменный пункт игрушек пользовался в домохозяйстве успехом, в соседних домах «подхватили почин», как

выражался отец, собрали ненужные игрушки и также стали выдавать их напрокат.

— Напрасно ты посмеиваешься,— говорил Борисов Андрею,— это может стать большим делом. Надо бы вас, Николай Павлович, заслушать на райисполкоме.

Впоследствии, когда Борисов стал членом бюро райкома, он не забыл этого разговора и действительно пригласил Николая Павловича в райисполком.

Но больше всего у него оказалось общего с Катей. В первый же вечер они заспорили о методах воспитания детей.

— Ну, а как насчет четырехчасового дня для семейных женщин?— спросил Борисова Андрей.

Борисов целиком поддержал Катю. Женщинам работать ну, если не четыре, так попервоначалу хоть шесть часов в день. Пока это, может, и недостижимо, но стремиться к этому надо.

Андрей больше не чувствовал себя посторонним при этих разговорах. Только иногда он вдруг переставал слышать, о чем говорят кругом, странная рассеянная улыбка появлялась на его бледном лице. У него теперь была своя тайна, и эта тайна — такая запретная, что и думать о ней как-то страшно,— вселяла в него чувство превосходства и над Катей, и над Борисовым.

Один раз Борисов пришел вместе с Кривицким. Андрей решил, что Кривицкому нужно что-то выяснить по работе, но Кривицкий попросил показать ему больную ногу и, убедившись, что ничего опасного уже нет, начал болтать о всяких пустяках. Посещение Кривицкого тронуло Андрея. Кто мог ожидать от этого желчного человека такого внимания?

Борисов передал Андрею приветы от инженеров, лаборантов, и Андрей впервые почувствовал, как много нитей по-разному связывают его с лабораторией. Он расспрашивал, как обстоят дела у Воронько с Верой Сорокиной, интересовался здоровьем жены Ванюшкина, настроением Сони Манжула. Борисов, немного щеголяя своей осведомленностью, отвечал с подробностями, делая вид, что не замечает изумления Кривицкого.

— Э, да вы, оказывается, любители посудачить,— не утерпел Кривицкий.— Тогда и я с вами.

При слове «посудачить» Андрей смутился, Борисов же был доволен. Черт с ней, с терминологией,— важно, что лед тронулся. Поездка в лесопарк не прошла для Андрея бесследно. Ай да я, ай да парторг!

А Кривицкий между тем разошелся. Подмечая в людях слабости и пороки, он находил для каждого краткие определения. Так, Потапенко он называл «пирожок ни с чем», Долгина — «не человек, а меню — все, что угодно».

За два дня до выхода Андрея на работу к нему приехал Рейнгольд. После общих расспросов о здоровье он неловко замолчал.

— Что у вас стряслось? — не выдержал Андрей.

Впалые щеки Рейнгольда медленно заливал неровный румянец. Не поднимая глаз, он попросил Андрея сохранить их разговор в тайне. Андрей дал слово.

— Видите ли, Андрей Николаевич, — выдавил Рейнгольд, разглядывая свои пальцы. — У меня сегодня... меня вызвал один товарищ... он мне дал понять... Не знаю, может быть, я сам его так понял...

Затратив полчаса, Андрей выяснил следующее: Рейнгольд получил предложение сделать Потапенко соавтором своего синхронизатора. Потапенко вызвал его, и не то чтобы так прямо навязал соавторство, но дал понять, что если Рейнгольд согласится, то Потапенко широко поставит производство синхронизаторов, распространит их по всем станциям Союза и, пользуясь связями в министерстве, может быть, сумеет добиться выдвижения авторов на Сталинскую премию. К тому же он и в самом деле кое-что присоветовал Рейнгольду относительно оформления авторских прав — правда, подобного рода совет мог дать Рейнгольду любой опытный администратор... Разговор происходил с глазу на глаз, и, судя по сбивчивому рассказу Рейнгольда, выражения были подобраны настолько дипломатически увертливые, что Рейнгольду все могло показаться собственным домыслом.

Счастье было, что Рейнгольд приехал к Андрею домой. Расскажи он ему это послезавтра на работе, Андрей немедленно пошел бы к Потапенко, и... пусть бы судили за хулиганство. Почему-то вдруг вспомнилась встреча в пивной. Лютое, незрячее бешенство закрутило Андрея. Он поднялся, подступил к Рейнгольду:

— А вы что... разрешения просить пришли?! У меня — разрешения? Ах, сволочи! — Он поднял огромный, как кувалда, кулак и по-матерному выругался.

Сквозь полуоткрытые двери встревоженно заглянула Катя. Андрей горячечно сверкнул на нее глазами

Рейнгольд сцепил руки, втянув голову в плечи. Мелкие капли пота блестели на его порозовевшей лысине.

Андрей ходил хромая, не чувствуя боли, и поглядывал на притихшего Рейнгольда. Сидит, как убогий, курица мокрая, защищался бы, отстаивал... Эх, разве такой годится в соратники?

— Никаких компромиссов, слышите вы? Никаких! — раздувая ноздри, хрипло говорил Андрей. — Завтра же пойдете к Потапенко и пошлете его к...

Рейнгольд испуганно кивал головой. Какая-то недоверчивая опасливость сквозила в его движениях. Андрей взял его за плечо, встряхнул.

— Да будьте вы мужчиной, наконец! Брали бы пример с вашей жены. Чего вам бояться? Напугал вас Потапенко? Пригрозил? Да? Неужели вы думаете, мы вас защитить не сумеем? Эх, вы, — сбавив голос, он усмехнулся приободряюще и одновременно презрительно. — Будьте принципиальным человеком, и вы всегда одержите верх. А с Потапенко...

Рейнгольд поднял испуганное лицо.

— Вы же дали слово... Андрей Николаевич! Я откажусь, конечно, от его предложения, но только вы...

Андрей поморщился:

— Ладно, но не вздумайте вилять перед Потапенко. На завтра, поскандалив с врачом, Андрей закрыл бюллетень и поехал в лабораторию. Рейнгольд уже побывал у Потапенко и, заикаясь, не глядя Андрею в глаза, сообщил про свой отказ.

— Теперь гоните ваш синхронизатор во всю прыть, — успокоенно сказал Андрей. — А там видно будет. Заслужит он премию, так и без нас выдвинут.

Итак, Рейнгольду надо было спешить, и, следовательно, он нуждался в помощи. У Фалеева с Краснопевцевым работа кипела. Они заканчивали расчетную часть, приступили к эксперименту и тоже требовали помощников. На Комсомольской станции наладили автоматику, и теперь надо было снабдить такой автоматикой остальные котлы — снова давай людей. За время болезни Андрея Новиков и Саша начали подготовительные работы с макетом локатора — необходимо дать им хотя бы еще одного инженера и лаборанта.

Работу над локатором следовало ускорить по разным соображениям: звонили моряки, беспокоился главный инженер — как-никак он поручился перед ними, — ис-

текал срок обещания Григорьеву, но сильнее всего было нетерпение — увидеть результаты своих трудов. Это нестерпимое желание знакомо каждому исследователю.

Нужны были люди, люди и люди.

В этот напряженный момент Майя Устинова тоже потребовала увеличить свою группу. Испытания у нее шли полным ходом, и Майе приходилось вертеться со своими инженерами до позднего вечера, и все же в график они не укладывались.

Скрепя сердце Андрей перебирал кандидатуры. Каждый, кто работал у Майи, был обречен в его глазах рано или поздно на разочарование.

Первой в докладной записке Устиновой стояла фамилия Цветковой. Андрей стиснул зубы — Цветкову он не уступит. Он сам намерен был взять ее к себе в группу. Он имел в виду, кроме всего прочего, как-то поправить отношения Саши и Нины. Ничто так не сближает, как работа плечом к плечу. Разумеется, Майя имела право выбора, так же как и он, особенно если речь шла о Цветковой, ее воспитаннице, и все же Цветкову он не уступит.

Майя холодно посоветовала считаться с желанием человека. Андрей с досадой пожал плечами.

— А ей-богу, Майя Константиновна, жаль, что мы дробим свои силы... Неужели вы полагаете, что реставрация тонковского метода даст бóльшие результаты, чем локатор? Ненужная и нездоровая конкуренция получается у нас.

Чистые серые глаза Майи потемнели. Сейчас она почти ненавидела Андрея. Он предлагает ей отступить! Как бы не так! Верит она в свою работу? Верит. За нее Тонков, Потапенко. Видно, Лобанов просто испугался и ищет способ пойти на мировую. Испугался честного, открытого соревнования... А кажется таким героем!

— Андрей Николаевич, — сказала она. — Я подала вам докладную, будьте добры дать мне ответ. Что касается Цветковой, — Майя улыбнулась, — если она согласится работать над вашим локатором, я не буду настаивать.

Андрей тут же вызвал Цветкову и в присутствии Майи спросил, где она хочет работать. Он старался держаться беспристрастно, как это ни было ему тягостно.

Глядя Андрею прямо в глаза, Нина медленно, словно желая, чтобы он остановил ее, сказала:

— Разрешите мне работать с Майей Константиновной.

Мелькни в его взгляде огорчение, призыв, она бы отказалась. Но он думал о Марине. Он глядел на Нину и вспоминал Марину. И еще он думал о том, что все же он правильно поступил тогда в лесопарке, на той солнечной брусничной полянке.

— Так, — спокойно сказал он. — Очень хорошо. Так и сделаем.

Вот и все кончилось, Нина...

Через полчаса она пришла к Майе Константиновне. Брови ее были сдвинуты, губы твердо сжаты. Она сосредоточенно выслушала инструктаж Майи и, оставшись одна, дала себе клятву — сделать все, что в ее силах, чтобы Майя победила, выполнять любую работу без отказа. Не ворчать. Если надо, оставаться по вечерам (не слишком часто, конечно). Учиться. Стараться придумать что-нибудь. Считалась же она в школе способной! Она представила себе все это свершившимся. Будет торжественное заседание. Приедут Тонков и другие ученые. Майя Константиновна скажет с трибуны, что своим успехом она обязана Цветковой. Все оглядываются, находят Нину, приглашают ее в президиум. Она будет в том самом темно-голубом платье. Или нет — наверно, это случится зимой, она наденет свитер с оленями и высокие меховые ботиночки. Без всякой застенчивости, просто и скромно она расскажет, как работала, и, обведя глазами собрание, увидит Андрея Николаевича. Она небрежно скользнет по нему взглядом, а он покраснеет... нет, он выйдет из зала опустив голову и останется ждать ее внизу. Когда, окруженная народом, она будет спускаться по лестнице, он отзовет ее. Она скажет своим спутникам: «Извините, я сейчас», — и сухо спросит его: «Что вам нужно?» — «Нина, — скажет он, — простите меня, Нина, я был слеп тогда, я не подозревал, какая вы...» — «Вы опоздали, Андрей Николаевич, — печально и холодно скажет она. — В моей душе все перегорело».

Это место выглядело каким-то сомнительным. И вообще, она не была уверена, станет ли он вскакивать, уходить и ждать ее внизу. Но стоило ли заводить всю эту историю, если бы он спокойно, вместе с другими хлопал ей. Нет, все будет не так. «Нина», — скажет он...

— Ниночка, у вас насморк? — раздался над ухом голос Новикова.

— Нет, почему? — не поняла она.

— А я смотрю, вы сидите с открытым ртом.

Все исчезло — кругом те же стенды, верстаки, смеющиеся лица Новикова, Пеки Зайцева. Она постаралась улыбнуться как ни в чем не бывало. Смейтесь, смейтесь. Просмеетесь.

Перевод Цветковой еще больше обострил отношения Андрея с Устиновой. Разговаривала Майя подчеркнуто официально, любые требования она сопровождала письменным заявлением. Андрей терпеливо пробовал объясниться с ней начистоту. Какого бы она ни была мнения о локаторе, это еще не причина видеть в Лобанове врага. Он требовал от нее нормальных рабочих отношений. Майя приняла непонимающий вид. Да, она не разрешает затирать свою работу. Что тут плохого?

— Я не могу не затирать вашу работу, — взорвался Андрей. — Она делается для мышей.

Разговор ни к чему не привел. Его неосторожная фраза стала известна в Управлении, и Андрея вызвали к управляющему. Дело этим бы не ограничилось, но главный инженер решительно взял Лобанова под защиту. Однако группу Устиновой сделали автономной. Положение Лобанова стало еще более двусмысленным. Он не имел права контролировать работу Устиновой — и обязан был ей помогать; ему мешали — он не имел права защищаться.

В самой лаборатории многие также не разделяли его отношения к работе Устиновой. Даже Борисов и тот поддавался авторитету Тонкова. Усольцев, Новиков, Рейнгольд были в восторге от обходительности Тонкова; им льстило, что он здоровался с ними за руку, отпускал им любезности и туманно и непонятно, щеголяя сложными терминами, нахваливал работу Устиновой, заверяя всех в ее успехе.

Один лишь Кривицкий открыто посмеивался:

— Мир хочет быть обманутым — пусть же обманывается.

Скепсиса Кривицкого никто не принимал всерьез, все видели, что Тонков относился к Майе хорошо. И действительно, он проявлял к нуждам ее группы самое горячее внимание.

В жизни каждого ученого, считал Тонков, приходит грустная пора, когда необходимо тратить больше сил на

защиту достигнутого, чем на создание нового. Иначе можно потерять больше, чем создать.

Разумеется, Тонков не причислял себя к реакционерам в науке, гонителям нового, монополистам и т. п. Наоборот. Его искренне возмущало: с какой стати он, многое создавший, имеющий опыт, заслуги, положение, должен теперь, под старость, уступить свое место какому-нибудь неизвестному юнцу вроде Лобанова. Разве это справедливо? Ведь тот же Лобанов, заняв эту вершину, всеми правдами и неправдами будет сталкивать вниз своих конкурентов. И это естественно, такова жизнь. Успех в науке представлялся Тонкову вершиной, где может уместиться один человек. Тонков был твердо уверен, что если кого-нибудь из его коллег хвалят, то тем самым хотят унижить его, Тонкова; если кто-либо добился удачи, то эта удача украдена у него, у Тонкова. Ему надо было, чтобы всюду он фигурировал один, другие мешали ему. Слава похожа на пирог: отрежут кому-нибудь кусок — значит, ему, Тонкову, останется меньше. Тех, кто покушался на этот кусок, он ненавидел. Но о людях, которые ему помогали, он умел по-настоящему заботиться. Так, он испытывал искреннюю благодарность к Майе Устиновой, видя, с какой добросовестностью и глубокой верой она пытается оживить его одряхлевшие идеи.

Технический отдел изводил Андрея бесконечными бумажками, требованиями всевозможных отчетов, форм. То, что раньше решалось телефонным звонком, теперь вызывало пространную угрожающую переписку.

Андрей вынужден был обратиться к Долгину.

— Без бумажки ты букашка, а с бумажкой — человек, — презрительно рассмеялся Долгин. — Это в порядке шутки. Вы настаивали на самостоятельности. Ваши требования увенчались успехом. Отныне мы обращаемся с вами как с самостоятельным объектом. Бумаг посылается вам не больше, чем на любую станцию.

— Станция, инстанция... На станциях целый аппарат, — возмущенно сказал Андрей, — а я один. Я превратился в писаря. Дайте мне людей.

Долгин сурово вздохнул, глаза его смеялись.

— Сие от меня не зависит. Штаты пересматривают раз в год.

Вскоре последовал новый, неожиданный и страшный удар.

Приказом по Управлению с мотивировкой «сокращение штатов» был уволен Рейнгольд. Начальник отдела кадров, полковник в отставке, дал понять Андрею, что есть указания... Рейнгольд во время войны был на оккупированной территории, так что... должны понимать. Чувствовалось, что начальнику отдела кадров неприятна вся эта история, и говорил он, уткнувшись в бумаги, нехотя, с таким выражением, как будто у него горько во рту.

В парткоме Зорин после долгих разговоров признался Андрею: материал на Рейнгольда подготовил Долгин. Каковы бы ни были мотивы, побудившие Долгина, но Рейнгольда придется уволить.

— Ты войди в мое положение, — оправдывался Зорин. — Долгин начнет строчить на меня кляузы — пригреваю, мол, сомнительных товарищей... А я могу поручиться за Рейнгольда?

— А за Долгина ты можешь поручиться? — спросил Андрей.

Он рассказал о попытке Потапенко навязаться Рейнгольду в соавторы.

Зорин вяло помотал головой. Где доказательства? Мы Потапенко доверяем больше, чем Рейнгольду. Да и при чем тут Потапенко, когда речь идет об анкетных данных Рейнгольда. Закона такого, может, и нет, и в Конституции не сказано, но вот Долгин ссылается на установки, он в этих вопросах мастак...

Андрей подергал рубашку, ему стало душно. Он налил в стакан воды, вода была теплой и безвкусной.

— Имей в виду, мы этого беззакония не допустим, — протяжно сказал Андрей, изо всех сил сдерживая ярость. — Мы с Борисовым выяснили на станции о Рейнгольде. Когда гитлеровцы взяли Таллинн, Рейнгольд с женой и трехлетним сыном ушли. В двадцати километрах от города немцы нагнали всех беженцев и повернули назад. В оккупации он вел себя честно, это проверено. Да, он остался, но в чем его вина? По-твоему, каждый, кто был в оккупации, недостоин доверия, враг? Так можно только озлобить людей. Был бы Рейнгольд членом партии, этот номер бы не прошел. Партсобрание бы не допустило. Опроси людей — все поручатся за него. А вы тут в одиночку решили. Пользуетесь доверием партии. Это беззаконие! Ты не поможешь — мы в райком пойдем, в обком, мы не позволим вам марать нашу Конституцию.

Расплывчатое лицо Зорина оживилось. Вот и чудесно. Даст райком команду восстановить — он будет только рад.

В райком поехал Борисов. Приемная второго секретаря Ковалевского была полна народу. Борисову назначили в шесть, но пошел восьмой час, а очередь почти не продвинулась. То и дело в кабинет Ковалевского входили инструкторы, раздавались звонки, секретарша переключала телефон, глядя на ожидающих пустым, невидящим взглядом.

— Второй час жду, — пожаловалась Борисову его соседка, пожилая женщина. Они разговорились.

Начальство за критику перевело ее в рядовые инженеры. С руководителя группы! Ну, ничего, Ковалевский разберется.

— Он ведь в нашем проектном бюро работал, — с гордостью сказала она. — Прямо из института ко мне в группу попал. А потом его сюда забрали. Быстро вырос. Молодец.

Кроме дела Рейнгольда, у Борисова была не менее серьезная просьба относительно комнаты для Ванюшкиных. Жена Ванюшкина скоро должна родить, и жить им дальше врозь по общежитиям невозможно.

Высокая, обитая черной клеенкой дверь кабинета отворилась, Ковалевский прошел через приемную. Соседка Борисова быстро поднялась и, радостно улыбаясь, шагнула навстречу Ковалевскому. Он скользнул по ней большими красивыми глазами, и в их зеркальном блеске ничего не изменилось. Озабоченно взглянув на часы, он прошел мимо. Женщина сконфуженно вернулась на свое место.

— Не узнал, — глухо сказала она. — Четыре года работали вместе. Я ему расчеты помогала делать. Откуда такое берется? Из рабочей семьи сам... И, говорят, район вытянул, а вот людей не узнает... — Она иронически покачала головой, поправила седую прядь. — Теперь он большой человек, где ему старых друзей узнавать. — Она встала. — Не пойду я к нему. Ничего, вернется первый секретарь: он хоть и не знает меня, но у него для всех двери открыты.

Борисов смотрел ей вслед, на ее сникшую фигуру, и в душе его шевельнулось горькое, непрощающее чувство. Чем дольше он сидел, тем сильнее ему хотелось сказать Ковалевскому и об этой женщине, и о том, что за два года Ковалевский ни разу не побывал в лаборато-

рии, не знает никого из коммунистов. Но когда его вызвали в кабинет, он вспомнил про Рейнгольда, про Ванюшкина и ничего не сказал об этом.

В судьбе Ванюшкиных Ковалевский принял горячее участие. И это участие было тем более горячим, чем упорнее он уклонялся от помощи Рейнгольду. Он умело сводил разговор на комнату для молодых, тут он бурно возмущался и был рубахой-парнем, который все понимает и сочувствует, и как-то получалось, что этот вопрос действительно важен и им стоит и надо заниматься, шутка сказать — семья, наша молодежь, чуткость, внимание к быту... А Рейнгольд — ничего страшного, незаменимых людей нет, товарищ пойдет работать в другое место, государство от этого перемещения не потеряет. Он говорил об этом каким-то телефонным голосом, лицо у него становилось скучным, и Борисов понимал, что хлопотать о Рейнгольде означало для Ковалевского необходимость с кем-то ссориться, брать на себя какую-то ответственность. Зачем?

Он понимал и поэтому не стал возражать Ковалевскому. Ради обещанного ордера для Ванюшкиных... Это называлось уметь устраивать дела. Из райкома Борисов ушел мрачный. И сколько он ни убеждал себя, что поступился личным побуждением во имя дела, все равно он в чем-то презирал себя.

Прошла неделя, и Рейнгольд получил расчет. Андрей не мог вспоминать прощание с Рейнгольдом, его помертвевшее, известкового цвета лицо, недоумение, застывшее в часто моргающих глазах. Рейнгольд ничего не говорил, но все было ясно. Обещали защитить — и не смогли. А если бы согласился тогда разделить авторство с Потапенко, работал бы, и все было бы хорошо. Нет, ни разу Андрей не пожалел, что отговорил Рейнгольда от гнусной сделки. Иначе он поступить не мог. Нельзя связывать два разных вопроса: одно дело — предложение Потапенко, другое — несправедливое, незаконное увольнение Рейнгольда. Но для Рейнгольда это было причиной и следствием.

Андрей и Борисов утешали его как могли. Они еще будут бороться. Они вернут Рейнгольда. Плохо, что на самого Рейнгольда рассчитывать не приходилось, он совсем упал духом.

В лаборатории все ходили расстроенные, угрюмые, пристыженные. Борисов помог Рейнгольду устроиться в какую-то артель. Через несколько дней они с Андреем

зашли к Рейнгольду домой. Вид у него был больной. И на всей обстановке в доме лежал налет запущенности и уныния. Не загорались сигнальные лампочки над дверями. Верстак закрыт старыми газетами. Андрей попробовал рассказать, как движется работа над синхронизатором. Тусклые глаза Рейнгольда влажно блеснули; если бы не жена, он, наверное, заплакал бы. Она держалась с ожесточенным мужеством. Она ни в чем не упрекала Андрея. С достоинством пригласила гостей ужинать, и Андрей и Борисов не посмели отказаться. «У нас все в порядке, — подчеркивала она каждым своим жестом. — Ничего нам от вас не надо. Мы живем хорошо. Во всяком случае, в вашем сочувствии мы не нуждаемся».

Андрей чувствовал себя отвратительно. Он пробовал заговаривать с сыном Рейнгольда, но тот краснел и прятал глаза. Андрей понял, что мальчику стыдно за него.

На улице Андрей сказал Борисову:

— Я чувствую себя подлецом.

— Мы оба будем подлецами, — сказал Борисов, — если не восстановим его.

Борисов с трудом уговорил Андрея не бросать работу над локатором. Андрей хотел переключить все силы на синхронизатор Рейнгольда. Это было пока единственное, чем Андрей мог как-то оправдаться перед Рейнгольдом, и перед людьми, и перед самим собою.

— Такое решение только на руку Потапенко, — сказал Борисов. — Кто знает, может быть, они на это и рассчитывали.

Андрей сам пошел в райком. Ковалевский начал говорить ему о государственном взгляде на вещи, о политическом чутье. Андрей вспылil, запальчиво размахивал руками, обвинил Ковалевского в зазнайстве, в пренебрежении к судьбе человека и, хлопнув дверь, вышел из кабинета.

После этого он как-то странно успокоился. Наивная, необузданная горячность сменилась холодным бешенством. С Ковалевским он вел себя глупо и нерасчетливо. Ну что ж, еще один урок. Пригодится. Попробуем действовать иначе.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ

С осени Андрей начал посещать бассейн. Надоумили его Ванюшкин и Пека Зайцев.

На первом же занятии, когда выстроили группу, Андрей увидел среди женщин Лизу Потапенко. Они не встречались уже давно, и ему показалось, что она похудела, осунулась. Он весело кивнул ей, но в это время раздалась команда. Андрей, как самый высокий, правофланговый, должен был первым войти в воду. Он встал на стартовую тумбочку, крепко ухватился пальцами ног за шершавый резиновый край, пригнулся и прыгнул. Прохлада воды, брызги — и вот он уже плавает. Гребок ногами, выдох в воду. Как он все подзабыл! Это не летнее купание, тут каждое движение должно быть точным и экономным. Надо чувствовать свою скорость, упругую живую силу воды так же явственно, как чувствуешь ее особый, хлорный запах.

Но руки и ноги еще плохо слушались, тело было чужим, неповоротливым. Скоро Андрей вылез наверх, тяжело дыша сел на скамейку.

— Мало! Еще две сотки надо, — весело крикнул ему из воды Пека.

Его голубая шапочка быстро скользила вдоль дорожки. Сквозь чистую зеленоватую воду было отчетливо видно каждое движение его ладной фигуры. Пенистый след бурлил за вытянутыми мелькающими носками. Андрей и завидовал, и поражался. Перед его глазами все еще стоял образ суматошного, трепливого паренька в бесформенном ватнике, в стоптанных грязных сапогах. А он, оказывается, вот каким может быть — сосредоточенным, упорным, в каждом движении расчетливым.

Высокий зал бассейна был заполнен плеском воды, ее зеленоватыми отсветами. Желтые блики ламп двигались, точно приклеенные к мокрым плечам. На одной из дорожек Андрей отыскал Лизу, спустился к ней. Он плыл медленно, толкая перед собой доску, отрабатывая движения ног. Лиза обгоняла его, и когда они встречались глазами, на лице ее появлялась странная скованная серьезность.

После занятий он подождал ее в вестибюле. Она вышла из раздевалки с чемоданчиком в руке, все такая же сдержанная и озабоченная. Нет, дома все в порядке, дети здоровы. В чем же дело? Она пожала плечами,

предлагая оставить этот разговор. Так... Значит, она снова стала ходить в бассейн? Да, и работает, и снова ходит в бассейн, все, все снова. Андрей пытливо заглянул ей в глаза и спросил напрямик: может быть, она вообще не желает с ним разговаривать? Может быть, она дуется на Андрея из супружеской солидарности и все такое?

Дуется? Она грустно улыбнулась. И сразу стало видно, насколько она изменилась. Вовсе не похудела, а как-то подобралась, посуровела. Лицо ее стало тоньше. Дуется — слово это подходило к прежней беззаботной хохотушке Лизе, а не к нынешней, в строгом темно-синем костюме, с туго зачесанными назад волосами и с двумя короткими морщинками от бровей вверх.

Оказывается, Лиза не знала об окончательном разрыве между ним и Виктором. Ругая себя за неосторожность, Андрей вынужден был рассказать историю их столкновений. Он нарочно подбирал спокойные слова, сдерживая взбаламученную воспоминаниями злость.

Он ждал, что Лиза попытается защищать Виктора, но она прослушала молча, точно в сундучок сложила, крышку захлопнула и задумалась о своем. Лицо ее оставалось скованным. Они распрощались, далекие и чужие друг другу.

Андрей посещал занятия регулярно, и Лиза явно тяготилась его присутствием. «Смотрит на меня глазами Виктора, — думал Андрей. — Наверно, считает это долгом своей любви». Иначе он ничем не мог объяснить ее неприязнь. Иногда он ощущал на себе ее пытливый, хмурый взгляд, но стоило ему обернуться, и лицо ее принимало безразличное выражение. Между ними все время чувствовалось что-то недоговоренное. Он попросил тренера перевести его в другую группу. Лиза слышала их разговор и покраснела. Оформляя перевод, Андрей задержался, и когда вышел на улицу, было совсем темно. Сырой, пронизывающий ветер накинудся на него, забился в ногах. Андрей не слышал, как сбоку к нему подошли. Только почувствовав чьи-то пальцы на своей полусогнутой руке, он резко обернулся. Перед ним стояла Лиза. В темноте зрачки ее стали большими. Она взяла его под руку. Они долго шли молча, как бы снова привыкая друг к другу.

В этот вечер Лиза рассказала ему все о Викторе, о себе, о сложной и грустной истории их любви. Они ходили, не разбирая дороги, кружась по вечерним ули-

цам. Андрей держал ее под руку. Рука ее была каменно-тяжелой и негнущейся.

Итак, Лиза все же пошла работать в школу.

Конечно, ее класс показался ей самым трудным в школе. Конечно, она чувствовала, что мальчишки исподтишка подсмеиваются над ней. Класс был сам по себе, она сама по себе. Она изучала каждого из своих мальчиков, просиживала вечера за их сочинениями, пытаясь вникнуть в души этих маленьких людей.

Виктор считал ее работу временным увлечением, блажью. Постепенно между ними устанавливалось глухое, враждебное непонимание. Захваченная радостью новой работы, Лиза без сожаления отвергала тот образ жизни, который Виктор навязывал ей. Получив возможность сопоставлять, она все больше теряла уважение к Виктору. Они начали относиться друг к другу с насмешливой, напряженной холодностью. Она чувствовала, что трещина между ними становится больше и больше. Все чаще с тоской вспоминала Лиза их прежнюю тесную комнатку, где по вечерам она сидела напротив Виктора, обхватив колени руками, глядя на его склоненную над столом голову, и он, смахивая упавшие на лоб волосы, улыбался чуть смущенно и виновато. А она, глупая, ревновала его к тому, что могло стать лучшим и главным в его натуре и в их жизни. Ее победа обернулась теперь ее поражением, слишком поздно поняла она свою ошибку. Такого Виктора, каким он стал сейчас, она не могла любить и все же продолжала любить его.

— Ты зря на себя так много берешь,— сказал Андрей.— Ты виновата меньше, чем он.

Лиза энергично замотала головой:

— Нет, нет, ты... ты, возможно, имеешь право считать его своим врагом, а я так не могу. Как мне все это вернуть, ну скажи, Андрей, ведь долго я не выдержу. Я его потеряю или... Конечно, другая на моем месте, может быть, разошлась бы с ним, но я не в силах.

— Что ты... Успокойся... Зачем вам расходиться!— пробормотал Андрей, не зная, как утешить Лизу, и чувствуя, что все, что бы он ни сказал, будет не то.— Ты пойми, Лиза, мне трудно советовать. Не могу я ничего советовать.

И это тоже была неправда. В его словах Лиза уловила невысказанную угрозу.

— Как же так?.. — растерянно и негодуяше сказала она, боясь этой угрозы и идя навстречу ей. — Ты же коммунист. Вы оба коммунисты. Он же не чужой человек. Может быть, с ним надо как следует поговорить!

Андрей слушал ее и ничего не отвечал. Моросило. Капли воды искрились, нанизанные мелкими бусинками на ворс пальто. И такие же бусинки дрожали на ресницах Лизы, — был ли это дождь или слезы, не все ли равно. Андрей понимал, как она страдает, насколько все это серьезно для нее, но, чтобы стать на ее сторону, необходимо хотя бы на минуту отрешиться от чувства враждебности к Виктору, а это было выше его сил.

— Хорошо, — с трудом сказал он. — Слушай. Помоему, единственное средство... Виктору надо уйти с должности начальника отдела. Он не может руководить. Он приносит вред... — Андрей вспомнил про Рейнгольда, непримиримо свел брови, нагнул голову, упираясь подбородком в воротник. — Пусть уходит, пока не поздно.

Лиза побледнела. Рука ее дрогнула.

— Да... — сказала она. — Не знаю... Это убьет его.

Андрей проводил ее до парадной. Они прощались, когда к ним подошел Виктор. Пальто его было распахнуто, от него пахло водкой.

Сунув руки в карманы, он, покачиваясь на носках, остановился в двух шагах от Андрея и Лизы. Торжествующая и злая улыбка скривила его губы.

— Привет специалисту по чужим женам! — сказал он, сплевывая прилипший к губе окурок.

— Виктор! — крикнула Лиза.

Андрей проследил за окурком, упавшим к его ногам, повернулся к Лизе, но она, крепко схватив его за руку, умоляюще смотрела на него.

— Вот что, — вдруг спокойно сказал Андрей. — Поднимемся, поговорим.

— Оправдаться хочешь? — театрально рассмеялся Виктор и неожиданно, с хмельной решимостью согласился.

Прошла, казалось, целая жизнь с тех пор, как они впервые втроем сидели в этой светлой, теплой столовой.

Виктор достал из буфета графин с водкой, ветчину, баночку икры, хлеб. Усмехаясь, аккуратно и неторопливо налил водку. Выпили молча. Никто не решался разорвать сгущавшееся с каждой минутой молчание. Виктор снова налил.

— Тебе хватит, — сказал Андрей, — а я выпью. За твою жену.

Они сидели друг против друга, а посредине Лиза, неподвижно смотревшая в свою непечатую рюмку.

— Прелестно, — закуривая, сказал Виктор. — Бедная Лиза. — Он откинулся на спинку стула и, покачиваясь, спросил: — Жаловался? Воздействуй на своего мужа, а то он меня совсем зажал? Ну что ж, давай, не стесняйся.

Андрей поймал скользкую шляпку гриба и не торопясь задвигал челюстями.

— Я зашел не угрожать тебе, — хладнокровно сказал он, — и не искать с тобой мира. Я говорил Лизе, что тебе необходимо подать в отставку. Руководить надо со знанием дела. У тебя этого знания нет. Ты умеешь интриговать и лезть по чужим спинам.

Он говорил спокойно, уверенно, радуясь своей выдержке, и, невольно подчиняясь его тихому голосу, Виктор вдруг тоже тихо и трезво засмеялся.

— На мое место захотел? Ха-ха-ха! Рановато, рановато. Боюсь, что Потапенко не отпустят, если бы он и пожелал уйти.

Поведение Виктора казалось Андрею театральным. Как будто Виктор играл перед невидимыми Андрею зрителями. Стоит сказать тихонько: «Довольно, Виктор, давай по-серьезному», — он сразу смолкнет, оглянется и увидит, что он один.

— Еще немного времени — и коллектив раскусит тебя, — сказал Андрей. — На первом же партсобрании ты останешься один. Даже здесь, сейчас, ты один.

— Один? — переспросил Виктор и посмотрел на Лизу. Он поднялся, опираясь о край стола, подошел к ней. — Ну что ж, может быть, ты и прав.

Он, казалось, забыл о присутствии Андрея, перед ним была только Лиза.

Лиза молчала.

Виктор вернулся, устало плюхнулся на свое место. Жадно затянулся, кусая папироску... Пустяки, все это пустяки. Это она обиделась за то, что я там внизу... Ну да ладно, жены стыдиться, как говорят, детей не видать.

— А вот что касается одиночества, — глаза его блеснули торжествующей усмешкой, — так это ты скоро окажешься одиноким. Редеют твои ряды. Разгоняют твоих сторонников...

Андрей посмотрел на него, ломая его взгляд:

— Ты о Рейнгольде? Он будет восстановлен.

— Да? Каким же образом?— делая безразличное лицо, спросил Виктор.

— Это уж мое дело.

— Ага, закулисные интриги, о которых неудобно рассказывать.— Он повернулся к Лизе.— Вот тебе слова, и вот тебе дела.

— За что его уволили?— спросила Лиза.

Андрей объяснил, но, жалея Лизу, умолчал о тайном разговоре Виктора с Рейнгольдом.

— Ты понимаешь,— говорил он,— для меня борьба с таким беззаконием — это вопрос принципа, это вопрос моего мировоззрения. Не могут в нашей советской стране безнаказанно происходить такие вещи. Вел он себя в оккупации как советский человек, никаких претензий к нему нет. За что же его лишают любимого дела? И Борисов, и я, и все наши коммунисты — мы не отступимся. Мы своего добьемся, до ЦК дойдем.

— А ты, Виктор, считаешь — его правильно уволили?— вдруг спросила Лиза.

Виктор уклончиво сослался на отдел кадров,— им виднее, он этими вопросами не занимается. Он смотрел на пиджак, на подбородок Андрея, избегая встретиться с ним глазами. Разумеется, если все обстоит так, как говорит Андрей, возможно, допущена перестраховка. Впрочем, достаточно, может быть, и разъяснения райкома, или Андрей доверяет только ЦК?

— Мы порядок знаем,— сказал Андрей, забывая о своем решении не откровенничать.— В райкоме мы были, теперь пойдем в обком.

— Послушайте, надо действительно что-то сделать,— сказала Лиза.

— Ты не беспокойся, я написал письмо в ЦК,— сказал Андрей.— Напишу еще Косте Исаеву, пусть проследит, чтобы скорее ответили. У тебя, Виктор, кажется, есть его адрес?

— Не помню,— вздохнул Виктор.— Мы давно не переписывались. А ты что, письмо в ЦК уже отправил?

Андрей вынул из кармана пиджака толстый конверт и помахал им.

— Так, так,— сказал Виктор, смотря на конверт.

Лиза молча встала и вышла из столовой.

— Я не хотел говорить при Лизе,— тихо сказал Андрей.— Мне известен твой разговор с Рейнгольдом, известна и подлинная причина его устранения.

— Сплетня,— успокоительно и быстро сказал Виктор.

— Не сплетня, а факт. Факты — упрямая вещь.

— Какие у тебя факты?

Андрей молча посмотрел ему в глаза. Тень растерянности и испуга прошла по лицу Виктора.

— А если даже и так,— вызывающе сказал он,— если, зная о предстоящем увольнении, человеку предлагают помощь, чтобы не погибла его работа, что ж тут плохого? Всем известно, что я тоже когда-то занимался синхронизаторами. Факты — упрямая вещь,— улыбнулся он,— поэтому с ними надо уметь обращаться.

Вошла Лиза и молча положила перед Андреем узкую алфавитную книжку, раскрытую на букве «и».

Андрей записал адрес Кости Исаева, поднялся, вышел, не прощаясь с Виктором. Лиза проводила его в переднюю. Виктор остался за столом. Некоторое время он смотрел на запачканную пеплом скатерть, на мокрые окурки, плавающие в блюде с желтым грибным рассолом. Водки в графине не было. Он взял рюмку Лизы и выпил.

Хлопнула дверь на парадной. Андрей ушел. Идти за водкой сейчас поздно, все закрыто... Вроде все трое дружили одинаково, но Костя всегда был почему-то ближе с Андреем... Пойти спать, чтобы Лиза не приставала с проповедями.

Виктор сидел спиной к двери, он слышал, как в столовую вошла Лиза и стала у буфета. Не оборачиваясь, он чувствовал, что она смотрит ему в затылок. Со страхом подумал: вдруг она постоит и уйдет, так ничего и не сказав.

— Проводила?— спросил он.

— Почему ты не хочешь помочь Рейнгольду?— сказала она.— У него семья... Тебя бы вот так...

— Ага, я должен всем помогать,— не оборачиваясь, сказал он.— Когда меня долбали, мне каково было? Мне помогал кто-нибудь пробиваться? Ничего, я все терпел. Теперь вы хотите, чтобы я был со всеми добренький. Не выйдет.

— Почему же Андрей так переживает и хлопочет?..

— Плевал я на твоего Андрея. Что ты мне его повсюду тычешь! И вообще по отношению ко мне он сволочь. Я ему помогал, а он... вот сволочь. И ты с ним еще ходишь. Ну и убирайся к нему.

— Не кричи, ты разбудишь детей. Ну ладно, мы поговорим в другой раз.

— Нет, начала — так выкладывай. Ты думаешь, я пьян. Я понимаю, чего ты добиваешься. Я лучше тебя соображаю.

— Ох, Виктор, ты не знаешь, как ты изменился. Я перестала понимать тебя. Неужели ты не чувствуешь, как мне тяжело?

— Тебе тяжело? Чего тебе не хватает? С жиру бешишься. Побыла бы в моей шкуре, тогда бы почувствовала, что такое тяжело.

— Ты занят только собой. Ты... ты честолюбец. Ты всем завидуешь. Тебе все мало. Откуда у тебя эта уверенность в своем превосходстве?.. Как ты мог променять Андрея на Ивиных и других? За что ты преследуешь Захарчука? А с Дмитрием Алексеевичем? Сколько он сделал для тебя, он тебя выдвинул. А теперь ты его...

— Заткнись! Что ты понимаешь? У меня десятки врагов, — он повернулся к ней вместе со стулом. — Как, по-твоему, можно ради большой правды поступиться малой? А?

Она подозрительно посмотрела на него. Какой-то фокус.

— Ну так вот, — сказал он, удовлетворенный ее молчанием. — Если мне надо вырваться вперед, так это только затем, чтобы больше сделать. Все эти Рейнгольды и Андреи — чепуха! Это щенки. Стоит мне вырваться, и я сделаю в тысячу раз больше полезного.

— А пока что можно обманывать, врать...

— Что я тебе вру?

— Ты же знал адрес Кости.

— А ты не суйся не в свое дело. Тебе-то что до этого?

— Может быть, ты и мне врешь.

— Пока что ты по ночам шляешься со своим Андреем.

— Ты и сейчас врешь. Ты знаешь, что с Андреем у меня ничего нет. А вот ты...

— Ага, добрались! Вот оно где собака зарыта! Что же, у тебя факты есть, что я изменил?

— Ты считаешь, что изменить — это переспать с какой-нибудь... А для меня самое ужасное, что ты можешь переспать, если тебе надо устроить какое-нибудь дело...

— Лучше заткнись.

— ...с какой-нибудь секретаршей вроде Цветковой. Тебе все равно.

— Дура! Наслушалась всяких сплетен...

Она стиснула ладонями щеки.

— Виктор, я, может быть, действительно ничего не понимаю. Я не могу ничего доказать тебе, раз ты сам не хочешь. Но у нас как-то плохо стало. И все хуже, хуже... Что-то мы потеряли. Я не могу так больше. Почему мы не можем жить как раньше?

— Ты просто психичка. Ты сама не знаешь, что тебе надо. Ты забыла, кто меня тянул: давай жить не хуже других, чем мы хуже Ивиных? Забыла?

Она подошла к столу и, наклонясь вперед, отдельно сказала:

— Да, я сама тебя тянула. И ненавижу себя... и тебя, зачем ты поддался. Ты должен был оказаться сильнее. Ты был бы прав. А ты... тряпичный характер.

Он засмеялся:

— Это я, я тряпка?

— Ты не тряпка, — с тоской сказала она. — Ты был твердым, а стал... гибким. Я боюсь, Виктор, мы не сможем... Мне надо уйти от тебя. Если бы я могла уйти...

— Ну и дура! Кто бы мог подумать, что ты такая дура!

— Может быть, я все-таки и решусь на это. Мне, наверно, надо привыкнуть к этой мысли.

Он посмотрел на ее шею, которую так любил целовать, и Лиза всегда вздрагивала, когда он целовал ее в ямочку возле ключицы; потом он посмотрел на ее лицо — там тоже не было местечка, которое он бы не перецеловал. Но какая это все-таки подлость! Человек приходит с работы и, вместо того чтобы отдохнуть... Она ведь прекрасно знает, какое у него трудное сейчас время. А ей наплевать. Вместо того чтобы дома, у себя дома получить поддержку, он и тут должен воевать. Всюду враги. Гадина, ну и гадина...

— Можешь убираться. Я сам уйду.

— Если бы мы могли жить как раньше...

Боже, если бы у нее хватило сил разлюбить его. Как это было бы хорошо. Есть же на свете женщины, которые могут уйти...

На следующий день после отправки письма в ЦК Андрей вернулся домой с работы и не успел сесть обе-

дать, как ворвался Борисов. Борисов кипел от нетерпеливого ликования, но в ответ на все вопросы только посмеивался. Он с удовольствием сел за стол и с аппетитом накинулся на еду. Отобедав, они ушли в комнату Андрея. Борисов прикрыл за собою дверь, потрогал книжки на полке, посидел на кушетке, поболтал о начале охотничьего сезона. Потом встал, взял Андрея за руки, отпустил их, любовно похлопал его по плечу и вдруг напряженным, ломким голосом рассказал, что сегодня его принял секретарь горкома Савин, в течение двадцати минут разобрался в деле Рейнгольда, позвонил куда следует, и Рейнгольд вскоре может явиться на работу. Прямо из горкома Борисов заехал к Рейнгольдам, а от них к Андрею.

Глаза Борисова ярко светились радостью. Андрей понимал, как много пережил Борисов за эти дни, он и сам чувствовал необычайное волнение. Это была торжественная и добрая минута. Они долго молча трясли друг другу руки, потом закурили, глубоко затягиваясь.

Вопрос о Рейнгольде рассматривался трижды. Потаненко, стухнув после разговора с Андреем, взвесил все «за» и «против» и поспешил в райком к Ковалевскому.

«Теперь мне ясно,— сказал Ковалевский,— а то прибежал этот ваш Лобанов как бешеный, вести себя не умеет. Ничего у него не поймешь. Да, с этим Рейнгольдом, кажется, напутали».

Ковалевский позвонил к начальнику отдела кадров, но тот сообщил, что вопрос уже положительно решен в горкоме. «Не успел»,— досадливо подумал Виктор, но впоследствии он все же пытался приписать себе честь восстановления Рейнгольда. Затем из ЦК ответили на письмо Андрея. Снова проверяли, работает ли Рейнгольд, вызывали в горком Зорина и Долгина. Ходили слухи, что их там крепко предупредили.

Несколько дней в лаборатории царило победно-праздничное настроение. За Рейнгольдом ухаживали, как за больным, а Андрей вернулся к своему локатору.

ГЛАВА ТРИДЦАТАЯ

В начале сентября из министерства вдруг запросили материалы по локатору. Пришлось оформить схемы, расчеты, описания. Не прошло и недели, как прислали новое требование: обоснуйте теоретически такую-то

формулу. С этого момента началось: обоснуйте, докажите, рассчитайте.

— Не иначе как выдвигают на премию, — соображал Новиков.

— Боюсь, тут другое, — сказал Борисов.

Но как бы там ни было, Андрею приходилось тратить половину дня, готовя ответы для министерства, — вопросы были заковыристые. Он напрягал все силы, чтобы не отвлекать Новикова от локатора и не срывать лабораторных испытаний. Кроме того, захлестывали административные дела: наряды, диспетчерские совещания, заказчики; Кузьмич опять вздыхал в дверях — помогите выхлопотать мотор для фрезерного...

Помимо этого, Андрей должен был всегда находиться в курсе научных работ своих инженеров, считавших за нечто само собою разумеющееся, что ему точно известно, на каком этапе они сейчас находятся и что надо сделать, чтобы выйти из того или иного затруднения. От этих постоянно меняющихся, совершенно разных занятий у него кружилась голова. Когда он добирался до своего лабораторного стола, где Саша и Новиков возились с макетом, он чувствовал себя опустошенным.

Если бы не Борисов, Андрей пришел бы в отчаяние. На партсобрании Борисов прямо сказал: «Так Лобанова надолго не хватит. Если мы настоящие товарищи, мы должны разгрузить его от мелочей». Андрей недоверчиво пожал плечами, но вскоре заметил, что примерно с полудня его оставляли в покое. Даже нерешительный Усольцев избегал приставать к нему со своими бесконечными согласованиями.

Это свободное время помогло Андрею закончить и испытать схему для Григорьева. Правда, ради этого пришлось задержать на несколько дней работу над локатором, специально оставаться по вечерам. «Что за тоска — торчать в лаборатории!» — хныкал Новиков.

Вечера были душные. Они работали, скинув пиджаки, и часто посылали Сашу за лимонадом. Под столом у них скопился целый ящик пустых бутылок. Всю эту неделю они покидали лабораторию поздно и втроем, под руку, отдыхая, медленно шли домой по набережной.

На улицах Андрей упорно продолжал вглядываться в лица встречных женщин, надеясь на счастливый случай. Порою, завидев впереди рыжевато-красные волосы, он с бьющимся сердцем спешил, догонял — и разочарованно отворачивался.

Всякое чувство должно питаться жизнью, действием, иначе оно умирает. Любовь тоже не может жить одними мечтами. Постепенно образ Марины отодвинулся — не поблек, не стерся, а именно отодвинулся.

Андрей отдал схему Григорьеву и переключил свое внимание на усилитель. Без смородинского конденсатора собирать усилитель было невозможно.

Сразу же после выздоровления Андрея позвонил Смородин и сказал, что как раз сейчас его занимают конденсаторы, о которых шел разговор на даче Григорьева, что он без всякой оплаты берется выполнить их у себя. Андрей обрадовался и отвез ему материалы. Смородин был очень любезен, и Андрей испытал легкое раскаяние за свою грубость в тот вечер у Григорьева. Они поговорили несколько минут. Смородин извинился, он спешил на теннисный корт. Помахивая ракеткой, он зашагал — веселый, стройный, в отлично сшитом костюме. Андрей с завистью посмотрел ему вслед. С тех пор прошел месяц. Несколько раз Андрей справлялся, как идет расчет. Заказал, делают, мешали всякие поручения, успокаивал Смородин.

Между тем отсутствие конденсатора могло задержать испытание макета. В министерстве также требовали для полноты картины данные этих конденсаторов.

Однажды вечером в лабораторию зашел главный инженер, сопровождаемый Долгиным. Андрей показал новое оборудование, закупленные приборы. Дмитрий Алексеевич прошел в «инженерную».

— А что, — с удовольствием сказал он, — вполне научная лаборатория стала. Книги на столах. Книги, а не отвертки!

Долгин задержался у стенда с макетом локатора. Андрей зачем-то вернулся туда и увидел, что Долгин вытаскивает из ящика бутылки из-под лимонада и одну за другой нюхает, поднося горлышко к своему вдавленному, плоскому носу, — не водка ли? Андрей, улыбаясь, бесшумно вышел и вернулся к главному инженеру.

Дмитрий Алексеевич сварливо осведомился: что хочет от Лобанова министерство? Выслушав, он задумался, охватив рукой длинный подбородок. Узкое, беспорядочно пересеченное морщинами лицо его вытянулось еще больше. Любопытно. Любопытно.

Он поднялся с Андреем к себе в кабинет. Не зажигая огня, сел на край стола, вызвал Москву. Дрожащие отсветы автомобильных фар обегали огромную комнату,

освещая коротким взмахом усталые, глубоко запавшие глаза Дмитрия Алексеевича.

— Алло! Семена Семеновича, пожалуйста. — Дмитрий Алексеевич закрыл рукой трубку и, улыбаясь, повернулся к Андрею: — Каждому руководителю полезно иметь в министерстве своего Семена... Сема? Еще раз привет. Не знаешь ли ты, кого там во втором отделе одолевает хвороба на нашу электролабораторию? Слышал... да, насчет локатора... Ага... Ну ему-то что?.. Нет, вряд ли... Тоже сомнительно. Во-во, тут оно самое... Да, радости от этого мало... Этого товарища не пережуешь. Правильно, а пережуешь — не проглотишь.

Положив трубку, главный инженер усмехнулся:

— Великие умы сходятся... Что я вам могу сообщить? Один известный в ученом мире деятель, которому вы, очевидно, перебежали дорогу... Ну, словом, Тонков раскидывает эту паутину. У него в руках диссертация, написанная одним сотрудником министерства, а этот сотрудник, очевидно, старается угодить своему оппоненту. Такова принципиальная схема.

— Что же делать?

— Пока что покинем этот надоевший мне кабинет.

Одним из привлекательных качеств Дмитрия Алексеевича была глубокая уверенность, которой он умел заражать окружающих. Вот и сейчас, хотя в его откровенных размышлениях звучало мало утешительного, Андрей приободрился.

Главный инженер отпустил машину, они пошли пешком.

— Итак, ссориться с министерством из-за вас я не собираюсь. Я поговорю с начальником главка, еще кое с кем, и все. А то с более важными просьбами прогонят. Скажут: надоедаешь, старик. Да и чего жаловаться? Формально они имеют право проверить, чем вы занимаетесь. Так что вы не спеша строчите им реляции, а тем временем гоните работу вовсю. Часть запланированных тем я с вас сниму. Потапенко сильно жмет на вас? — вдруг спросил он, искоса посмотрев на исхудалое, с заостренными скулами лицо Андрея.

— Потапенко есть Потапенко, — безучастно сказал Андрей. — Тут какое-то несчастное стечение обстоятельств. — Он стал перечислять: бумажки, работа Устиновой, министерство, Тонков, Смородин.

— Вы полагаете, случайности? — протянул Дмитрий Алексеевич. — Для случайностей многовато. Одну такую случайность мы с вами сегодня раскрыли.

— Дмитрий Алексеевич, — подумав, спросил Андрей, — простите за откровенность, но не кажется ли вам, что такие, как Потапенко и Долгин, мешают техническому прогрессу системы?

— Согласен, — сказал главный инженер. — У обоих есть кое-что положительное, но вообще-то их следовало бы сменить. Вы спросите меня, почему ж я этого не делаю? — Он вздохнул, улыбаясь. — Глазом окинешь, да тут же и покинешь. Должности номенклатурные. Надо большую войну начинать. Руки не доходят. За это время я успею сделать больше полезного, чем они плохого. Знаете: за малое судиться — большое потерять. Вот я дал вам разрешение на локатор, так меня обвиняют в неуважении к постановлениям технического совета. Пиши объяснения. А ведь хочется в жизни успеть сделать больше и поменьше тратить времени на мелкую возню.

— Извините меня, Дмитрий Алексеевич, я понимаю вас, но такая политика развязывает им руки.

— Ничего вы не понимаете. Вы воспринимаете вещи односторонне. Ваш союзник — народ. Не ставьте себя, Борисова и ваш коллектив — он тоже по сути дела капля в общей массе, — не ставьте в положение одиноких борцов. Оно, конечно, красиво, но безнадежно. Заинтересуйте прежде всего рабочий класс. Ваш локатор нужен. Включите парторганизации кабельщиков, высоковольтников. Сумеете убедить народ, повести за собой, так никаких Потапенко, никого не потерпят, если мешать будут.

Слушая Дмитрия Алексеевича, Андрей вспомнил вычитанное им когда-то замечание Герцена: «Науку мало изучить, ее надо прожить». Недостаточно защищать правое дело, недостаточно быть сильным. Надо уметь добиться своего в кратчайший срок, уметь повести за собой людей. Быть организатором. Настоящим вожаком.

Жизнь настойчиво добивала остатки уже изрядно потрепанного девиза Андрея: «Все зависит только от меня самого».

На бульваре Дмитрий Алексеевич присел на скамейку под фонарем.

— Я вас на минуточку задержу.— Он посмотрел на Андрея несвойственным ему просительно-застенчивым взглядом.— Личное дело к вам, хоть и неприятные часы.— Стеснительно посмеиваясь, он открыл туго набитый портфель, вытащил несколько напечатанных на машинке листков.— Статью я тут нацарапал. В развитие идеи вашего локатора. Мне кажется, его можно применять не только для линии передач, но и для контрольной проводки на станциях. Я так и назвал «Определение повреждений по методу Лобанова». Не возражаете? Возьмите с собой, перелистайте...

Ветер рвал бумагу у Андрея из рук. При фонаре с трудом удавалось различать буквы. Он держал трепещущие тонкие листки, как будто это был росток, пробившийся на свет холодной осенью, слабый, тоненький, дрожащий на ветру, удивительный в своей отважности... По его методу... Гордость переполняла его.

А Дмитрий Алексеевич, поскребывая седоватый висок, напряженно следил за его лицом. Он не понимал, почему Лобанов улыбается. Сам-то он сейчас трепетал, как школьник, готовый к стыду, к провалу, как будто решалась его судьба.

Не имея возможности помочь Лобанову людьми, главный инженер пошел по другому пути: он ликвидировал один из заказов. Благодаря этому освобождался Усольцев и Андрей мог взять его к себе в группу.

Должность начальника вынуждает иногда подавлять непосредственные чувства к людям. Работай Лобанов рядовым инженером, он просто избегал бы Усольцева. В характере этого человека наиболее четко проступала черта, с которой Андрей никак не мог примириться: Усольцев не желал работать самостоятельно. Он никогда не проявлял собственной инициативы. Под любыми предложениями он избегал заданий, где приходилось разрабатывать что-нибудь новое. У него отсутствовала творческая жилка, хотя своими знаниями и многолетним опытом он превосходил многих инженеров лаборатории. Зато исполнитель он был превосходный. Он любил спокойные расчеты уже опробованных схем, статистические таблицы, любил налаживать, «доводить» готовые приборы, и в этом был незаменим. Он никогда не выступал на совещаниях, в лаборатории у него установились со всеми ровные, доброжелательные отношения.

Борисов называл его человеком обязательным. Ходил он всегда в одном и том же аккуратном сером костюмчике, и лицо у него было тоже аккуратно симметричное, круглое, словно вычерченное циркулем. Его стол, его рабочее место служили примером опрятности. Усольцев никогда ничего не забывал, не терял. Но во всем этом ощущалось что-то удручающе-равнодушное, и казалось: главное в осторожности Усольцева — желание уберечь свой покой.

«Интересует его что-нибудь по-настоящему? — спрашивал себя Андрей. — Ему всего тридцать семь, откуда же в нем столько старчески опасливого, такое обязательское стремление к покою?»

Почти за каждым Андрей знал какую-нибудь страсть. Новиков увлекался музыкой и женщинами. Кривицкий изучал историю философии и выписывал изречения древних мыслителей. Борисов последнее время интересовался психологией, читал Бехтерева и даже Спенсера и Вундта. Саша занимался цветной фотографией. Ванюшкин был поглощен своей новой комнатой и брошюрами о кормлении грудных детей. Но за Усольцевым Андрей не знал никакого увлечения.

В течение двух дней Андрей посвящал Усольцева во все подробности своих замыслов и вглядывался в его бледное рыхлое лицо. Неужели же все, что грызет его самого день и ночь, не отпуская ни на минуту, не взволнует этого человека?

Усольцев, заложив руки за спину, наклонялся над смонтированной на столе схемой, проверяя связь отдельных узлов. Он согласно кивал, понимая каждое положение Лобанова как приказ. Изредка он переспрашивал что-нибудь, не возражая, не выказывая своего волнения. Он добросовестно старался понять и, поняв, соглашался без рассуждений. Андрея бесила эта покорность. Не хватает еще, чтобы он говорил: «Слушаюсь. Извольте-с».

Назло Андрей спрашивал в упор: какой вы предлагаете выбрать метод каких-то испытаний?

— А в литературе ничего нет по этому вопросу? — осторожно осведомлялся Усольцев.

— Нигде и ничего, — злорадно говорил Андрей.

Усольцев старательно поправлял галстук. Маленькие бесцветные глаза его избегали смотреть на Андрея.

— Да... — задумчиво говорил он и умолкал. Андрею никогда не удавалось проследить, сколько времени мог-

ло длиться это молчание. Обычно, потеряв терпение, он первый нарушал его, и Усольцев облегченно кивал головой.

Нельзя сказать, чтобы Усольцев не заинтересовался прибором. Азарт Андрея все же захватил его, но он словно умышленно пятился. Протестуя, Андрей тем не менее понимал его. Волей судьбы, может быть впервые за много лет, Усольцев попадал из темного уютного уголка на центральный перекресток интересов лаборатории. Он боялся простудиться на этом сквозняке событий, его тревожило — какую работу хотят поручить ему.

Вначале Андрей, мысленно махнув рукою, решил передать Усольцеву снятие характеристик, а потом передумал: «Какого черта я буду церемониться? Пусть делает то, что нужно, а не то, что его устраивает».

Следуя своему правилу поменьше приказывать, он посвятил Усольцева в распределение обязанностей внутри группы. На долю нового сотрудника выпадала разработка быстродействующего переключателя. Отсутствие переключателя могло задержать испытание прибора. Переключатель требовался особый, по своей скорости отличный от существующих.

— Вы, кажется, говорили, Андрей Николаевич, что необходимо также доработать усилитель? — спросил Усольцев, нервно приглаживая жидкие волосы.

— К сожалению, еще не готов расчет, — сказал Андрей. Он посмотрел на часы. — Простите, я тороплюсь. Приступайте к переключателю немедленно, мы без него как на привязи. Да, вот еще — не стоит тратить время на розыски всяких статей. У нас никто никогда таких переключателей не делал, — подчеркнул он.

Кончик носа Усольцева покрылся мелкой испариной.

— Андрей Николаевич, но ведь я тоже не занимался такими переключателями.

Андрей молча собирал разложенные на столе чертежи.

— Может быть, разрешите подогнать существующий тип? — цепляясь за последнюю надежду, спросил Усольцев.

— Ничего не выйдет, — жестко сказал Андрей.

На минуту ему стало жаль Усольцева. Кусая губы, он завязал папку, подошел к Усольцеву, положил ему руку на плечо.

— Институты у нас не готовят специалистов по переключателям. Лиха беда начало. Где не выйдет — поможем.

Вспомнив об усилителе, Андрей позвонил Смородину. Ему ответил знакомый тонкий женский голос:

— Смородин на совещании. Кто его спрашивает?

— Лобанов.

— Андрей Николаевич? Здравствуйте.

Это была Анечка. Узнав, что Андрей беспокоится о расчете, она попросила подождать и через несколько минут сказала:

— Нашла у него в бумагах, на столе. Ваша тетрадь. Вот исходные данные, Андрей Николаевич, больше ничего нет. А вот еще... модель ваша здесь лежит, и больше ничего. Да, боюсь, что он еще не начинал.

Андрей тут же бросил все дела и поехал в НИИ.

«Не может быть, — твердил он дорогой. — Смородин уверял, что все почти готово. Тут какое-то недоразумение. Недоразумение?..»

Разговор с Дмитрием Алексеевичем не выходил у него из головы.

Слишком много случайностей...

У проходной его встретила с пропуском Анечка.

— Так и есть, он даже и не принимался, — сказала она на ходу, еле поспевая за Андреем.

Они застали Смородина в большой светлой комнате, где, кроме него, находилась еще чертежница. Смородин сидел на ручке кресла, держал в руках газету, проверяя таблицу выигрышей. Увидев Андрея, он вскочил и пошел ему навстречу, приветливо улыбаясь.

— Вновь я посетил сей уголок земли, — проговорил он. — Присаживайтесь, Андрей Николаевич. Вижу, вижу, вы в воинственном настроении. Эта предательница выдала меня с головой, — погрозил он Анечке.

Смородин и не думал отпираться. С веселой откровенностью он признался — все некогда было, полагал, вот-вот освобожусь. Вкручивал вам по привычке. Мы привыкли вкручивать нашим заказчикам. Бейте, режьте меня.

Он стоял, расставив ноги, одна рука в кармане, другая почесывала затылок. Эта поза и шаловливая улыбка говорили: ну, вот я таков, легкомысленный, но милый шалопай, вот я весь перед вами, разве можно сердиться на меня?

— Вы понятия не имеете, как вы подвели меня, — упавшим голосом сказал Андрей.

Сморозин сочувственно вздохнул:

— План трещит? Как-нибудь отчитайтесь. Вы, производственники, мастаки на этот счет. — Он вовремя переменил тон и сказал: — Дорогой Андрей Николаевич, ежели это так серьезно, бросаю все, полностью переключаюсь на ваш конденсатор.

Он нагнулся, перелистывая настольный календарь. В эту минуту Андрей случайно взглянул на Анечку. Она предостерегающе помотала головой.

Андрей испытующе посмотрел на гладкое, розовощекое лицо Смородина.

— Не стоит беспокоиться, — сказал он, — верните мои материалы.

Сморозин замахал руками. Он торжественно обещает. Он должен искупить свою вину. Все равно — кому сейчас Лобанов поручит этот расчет?

— Найду.

— Ну и прекрасно. А я тоже сделаю. Посмотрим, кто скорее.

Андрей заколебался. Хорошо... Где его тетрадь, он спишет исходные данные.

— А у вас не осталось копии? — быстро спросил Смородин.

Анечка досадливо забарабанила пальцами по столу.

— Между прочим, Анечка, вас вызывал Тонков, — живо обернулся к ней Смородин.

Анечка закурила, помахала спичкой:

— Я провожу Андрея Николаевича и зайду.

— Андрей Николаевич — мой гость, я провожу его сам.

— Послушайте, Смородин, — вставая, сказал Андрей, — отдайте мою тетрадь, модель, и закончим на этом.

— Как хотите, — обиженно проговорил Смородин и порылся среди бумаг на столе. — Куда она подевалась...

— Час назад материалы лежали здесь, — сказала Анечка.

Она быстро пересмотрела бумаги, выпрямилась, внимательно взглянула на Смородина.

Андрей подошел вплотную к Смородину, взял его за отвороты пиджака и, медленно раскачивая, с холодной учтивостью сказал:

— Будьте любезны, сейчас же верните всё.

Сморозин попробовал улыбнуться:

— Что же вы, драться со мною будете?

Пожилая чертежница застыла с рейсфедером в руке, испуганно полуоткрыв рот. Анечка спокойно курила.

— Драться не буду, я вас просто изобью, — отпустив Сморозина, сказал Андрей с такой серьезной убежденностью, что Сморозин торопливо выдвинул ящик и, воровато бегая глазами, протянул Андрею пакет.

— Ох, и достанется мне от шефа! — Он засмеялся, делая вид, что ничего не произошло, в глазах же сохранялось испуганное и злое выражение. — Это он просил меня помочь вам в порядке содружества. Правильно говорил Евгений Онегин: содружество нам будет мукой. Анечка, вы свидетельница. Меня под угрозой физического воздействия...

Андрей вышел, не прощаясь. Во дворе института он спросил Анечку:

— Сморозин — ваш начальник?

Она кивнула.

— Достанется вам.

— При чем тут... — Она топнула ногой. Глаза ее влажно блестели. — Гадость... гадость... Фу, как плохо!

— Спасибо вам, Анечка.

— Куда же вы теперь с вашим расчетом?

Андрей помрачнел:

— Еще не знаю.

— Обратитесь в Электротехнический. Там есть ассистент Любченко. К нему. Только не говорите, что от меня. И про Сморозина. Не нужно ему ничего говорить. — Она покраснела. — Он вам сделает.

Она закинула руки, поправляя прическу. На холодном осеннем солнце, тоненькая, гибкая, как травинка, она чем-то напоминала Марину. Однако он вспомнил Марину не потому, что они с Анечкой были чем-то схожи. «Марина красивее», — вот что он подумал.

Наверно, так рождаются приметы. Стоило ему вспомнить Марину, и он увидел ее. То, что он вспоминал ее до этого десятки раз, не имело никакого значения. Он увидел ее из окна троллейбуса. Она стояла на тротуаре спиной к Андрею и смотрела, запрокинув голову, на только что отстроенный дом. На ней был знакомый Андрею темно-синий плащ, ноги ее были чуть

расставлены, руки в карманах. Погруженный в свои мысли, Андрей видел, как ее уносит назад, вместе с движущейся мимо окна улицей, — он не успел еще ничего подумать, сердце сжалось и больно ударило в грудь. Андрей рывком наклонился к окну, смяв шляпу сидевшего гражданина; затем, расталкивая пассажиров, он пробился к выходу. Сунулся в кабину, попросил водителя остановить.

Вожатый — молоденький усатый парнишка, — не оборачиваясь, что-то сердито ответил. Андрей расслышал только «правила...». Черт бы побрал эти правила, если они могут испортить человеку жизнь. Троллейбус, медленно переваливаясь, пересекал трамвайные рельсы. Остановка была еще далеко. На счастье Андрея, троллейбус оказался старого типа, с ручками на дверях. Из всех сил Андрей потянул на себя ручку, сдвинул створку и выпрыгнул. Дверь оглушительно захлопнулась, чуть не прищемив ему ногу. Он кое-как увернулся от грузовика и побежал назад. Вслед заливался милицкий свисток. Прохожие оборачивались, останавливались. Андрей добежал до забора у нового дома. Огляделся — Марины не было. Рабочие разбирали леса. Доски шлепались, взметая белые облачка извести. Андрей побежал дальше, до угла. Он всматривался направо, налево, вперед, вышел на мостовую. А может быть, Марина пошла в обратную сторону? И он пробежал мимо нее? Он резко повернулся и очутился лицом к лицу с милиционером.

— От меня не убежишь, — сказал милиционер и крепко взял его за руку повыше локтя. Андрей, повернув его фуражку, напрягая зрение, продолжал осматривать поток людей на тротуарах. — Культурный человек, а бегаєте, как правонарушитель, — ворчал милиционер, выписывая квитанцию. Собрались любопытные. Они подождали, пока Андрей молча заплатил штраф, и разочарованно разошлись.

— Чего вы так мчались? — уже мирно спросил милиционер. Любопытство на его курносом, веснушчатом лице готово было перейти в сочувствие.

— Увидел человека, которого ищу, — признался Андрей.

Милиционер понимающе кивнул. Смешная надежда пробудилась у Андрея.

— Девушка такая. В синем плаще. Рыжая. Не заметили?

Нет, милиционер не заметил.

— Надо было мне стекло разбить и крикнуть.

— А что? Очень даже возможно, — серьезно сказал милиционер. — Раз такой случай, ста рублей не жаль. А насчет штрафа надо было объяснить мне. Я за любовь не штрафую. — Он доверчиво засмеялся. — Сам недавно получил наряд по этой самой статье.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ

Городское совещание работников науки и производства должно было начаться в шесть часов вечера. Андрей собирался пойти на совещание прямо из лаборатории, но Борисов уговорил его заехать домой переодеться.

В жизни Андрея одной из наиболее безнадежных, неразрешимых проблем была проблема галстуков. Он не любил носить их. Давило шею, воротничок рубахи комкался. Андрей нервничал и проклинал все на свете. Но когда с помощью отца он кое-как управился с галстуком, брови его довольно распрямились. Синий, с едва заметной красной полоской костюм сидел превосходно. Пиджак был, правда, чуть-чуть тесноват в поясе — «пополнел? сижу много?» — но зато приятно стягивал грудь, заставляя держаться прямо.

Подходя к зданию Дворца Советов, Андрей почувствовал, что не переодеться было нельзя. Обстановка торжественной приподнятости царила уже на подступах к дворцу. Одна за другой к воротам мягко подкатывали сверкающие машины; пересекая садик перед дворцом, делегаты на ходу приготавливали красные с золотом билеты. С каждым шагом поток людей густел. Стройные голубоватые ели и сам дворец, свежеекрашенный в желтое с белым, с мощной величественной колоннадой, напоминали Андрею Ленинград, Таврический дворец, давний декабрьский день. Был тогда Андрей мальчишкой и в этот день повзрослел сразу на несколько лет. Морозно стыли припущенные снегом ели. Черная лента людей тянулась через сад, далеко-далеко по улице. Скрипел снег, люди переступали с ноги на ногу, оттирали побелевшие щеки, говорили шепотом, неслышно шевеля замерзшими губами. Скорбная тишина исходила от этого здания, заливая всю улицу, весь город, всю страну. Андрей с отцом медленно продвигались к подъ-

езду. Они поднялись по ступеням, навстречу им тихо звучала мелодия траурного марша. Среди цветов, сложив на груди руки, лежал Киров. Алые отблески сложенных знамен оживляли его бледное лицо. Оно не было похоже ни на один портрет: на всех портретах Киров улыбался.

На улице отец долго стоял с непокрытой головой, щекам его быстро скатывались мелкие слезинки. В первый и в последний раз в жизни видел Андрей, как плакал отец.

Тогда, в Ленинграде, на обледенелых ступеньках Таврического дворца, Андрей поклялся стать коммунистом.

Прошло много лет. И вот сегодня он предъявил у входа как удостоверение личности маленькую книжечку в красном переплете.

Вестибюль и белоколонное фойе дворца сияли огнями гигантских люстр. Если бы объявить фамилию и профессию каждого из присутствующих, то оказалось бы, что у большинства есть здесь учителя и ученики, последователи и соратники.

Андрей увидел в толпе высокую фигуру Кунина, промелькнула жидкая седая бородка академика Костинова, красное лицо Разумова.

На совещание, посвященное вопросам технического прогресса, собрались представители заводов, институтов, партийных организаций. Здесь присутствовали академики, каменщики, резинщицы, сборщики гидротурбин, проектировщики полиграфических машин, преподаватели вузов, сварщики. Они представляли огромный город труда и науки.

Вдоль фойе расположилась выставка достижений содружества ученых и производителей. Курносая девушка с подпрыгивающими косичками отбивалась от своих подруг, они тащили ее за руки к модели ткацкого станка, над которой висел портрет этой девушки.

Андрей ходил от витрины к витрине, останавливался у новых ультразвуковых аппаратов для определения дефектов в металлах, у фотографии гигантских гидрогенераторов, трогал пластинки с образцами новых, удивительно стойких красок. За какой-нибудь год-полтора — такие огромные результаты!

На одной из витрин лежал металлический брусок с крохотной фарфоровой пластинкой на конце. «Термокорундовый резец», — прочел Андрей надпись. С любо-

пытством трогая хрупкую на вид пластинку, Андрей разговорился с грузным седоусым стариком. Оказалось, что благодаря такому резцу можно в десять раз увеличить скорость резания. Какое в десять! В двадцать! Твердость у него алмазная, а температуры не боится. Старичок нахваливал новые резцы с какой-то непонятной Андрею досадой.

— Так что ж, выходит, полная революция? — сказал Андрей.

— Интересно вы рассуждаете, молодой человек, — в одно время и обрадовался, и огорчился старичок. — По-вашему, это легко, вроде как блин спечь. Ученые над ним пять лет мозговали. Я сам, когда доцент приехал к нам, смеялся. Виданное ли дело — глиной сталь резать. А он говорит — возьмите попробуйте. Ну, ради уважения поставил. Чугун тогда шел. Ничего, вижу, режет. Он мне — увеличьте скорости. Ну, я увеличил — держит. Еще. Держит. На высшей скорости у меня станок завибрировал и резец сломался. Хрупкий очень был. Потом все крепче да крепче доцент научился делать. Заточку мы подсказали. И что вы думаете? Полная кладовая сейчас у нас этих резцов, а народ не берет. Не знают еще, как с этими резцами обращаться. Затачивать тоже не на чем. Так оно и повисло. Доцент свое дело сделал, а ворошить некому... Новое — оно легко не дается, особенно если старые привычки переворачивает.

Повсюду — в тиши институтов, в цехах, на верфях — искали, преодолевая привычки, опасения, вступая в долгую борьбу с тонковыми, — тысячи и тысячи соратников. То, что творилось у Андрея в лаборатории, было только частицей общего движения. За каждой деталью, выставленной на витринах, скрывалась бурная трудная история. Каждый из проходящих мимо людей пережил или переживал, по-видимому, то же, что и Андрей.

И еще одна мысль пришла Андрею в голову, когда он осматривал выставку, — мысль о взаимопроникновении различных отраслей науки. Химики вторгались в металлургию, создавая пластмассы, заменяющие сталь, стекольщики теснили специалистов по строительным материалам — они выставили модель здания санатория с хрустальными колоннами. Станкостроителей с одного бока атаковали литейщики, они отливали детали без припусков, не требующие механической обработки, с другого бока — электрики: металл обрабаты-

вали электрической искрой — точили, полировали, резали. Разные, недавно неизвестные друг другу профессии словно протягивали навстречу дружеские руки, предлагали свои услуги, хозяйским шагом вступали в чуждые доселе области. «Наука неделима, — думал Андрей, — успехи в своей узкой специальности имеют ценность тогда, когда они сказываются на смежных отраслях. Надо, обязательно надо интересоваться соседями по науке, отдавать им свои достижения...»

Началось заседание. Андрей сидел с Дмитрием Алексеевичем, Борисовым и Зориным. Доклад делал секретарь горкома Савин. По рассказам Борисова Андрей представлял себе Савина почему-то сухощавым, строгим, с запавшими глазами, чем-то похожим на Дмитрия Алексеевича. На самом же деле Савин был полный, низкорослый крепыш, зачесанные набок соломенные волосы то и дело падали на лоб, придавая ему мальчишеский вид. Начал он доклад, читая по конспекту, но вскоре разошелся и все реже отрывал глаза от аудитории.

Однажды Андрей смотрел научный фильм о жизни растений. Оператор в течение лета день за днем фотографировал колос. На экране появился росток, за несколько секунд он поднялся, зацвел, созрел, ощерился усиками, зерна налились, и через минуту колос покачивался, склоняя тяжелую голову. Так и сейчас перед Андреем возник путь, проделанный промышленностью и наукой города за последнее время. Андрей получил возможность окинуть разом трудную дорогу, по которой и он шел вместе со своими товарищами, со всеми, кто сидел в этом зале. На заводах долго не могли привыкнуть к новым посетителям, робели, использовали ученых по мелочам. Появились иждивенцы — «пусть ученые сделают вам», скептики — «у нас ничего не получилось, и у вас ничего не получится». Заключали десятки договоров, лишь бы отчитаться. Новое движение, начатое в Ленинграде и Москве, охватывало всю страну, преодолевая эти детские болезни; отпадала ненужная шелуха формальностей, и неудержимое стремление к деловой, настоящей дружбе, к творческому общению становилось потребностью. Складывались и организационные формы этой дружбы. Студенты выполняли дипломные проекты, подсказанные на заводах. На кафедрах появились необычные лекторы — лучшие разметчики, инструментальщики.

— Это движение, — сказал Савин, — способствует не только подъему промышленности, но и развитию самой науки. Быстрее применяются на практике достижения ученых. Проверяется жизненность тех или иных исследований. Ясно, что в таких условиях трудно кое-кому разрабатывать тему вроде «Научные принципы организации сизифова труда», — Савин улыбнулся. — Трудно придется также и князькам, которые, захватив какую-то область науки, душат там все новое...

«Это все так, — думал Андрей, — но надо больше доверять самим ученым. Тогда легче разделаться с рутинной. Тогда наши ученые сами справятся с тонковыми. Мы сможем избежать того, чтобы одна аракчеевщина в науке сменялась другой аракчеевщиной».

— ...Партийный долг каждого коммуниста, — доносилось с трибуны, — поддерживать все новое, прогрессивное, передовое...

Сдвинув брови, Андрей кивнул головой, признавая эту обязанность, принимая и упрек, направленный к его совести.

— ...К сожалению, нередко самая творчески мыслящая часть работников производства и науки находится у нас в тени. Они скромные люди, речей не произносят и часто не умеют как следует отстоять себя, поэтому мы их порой не замечаем, а видим то, что на поверхности.

Андрей с удовольствием присоединился к аплодисментам, глянул на Борисова, — тот уткнулся в блокнот, что-то жирно подчеркнул. Заметив взгляд Андрея, шепнул:

— На поверхности плавают только дерьмо вроде Долгина, а таких, как Краснопевцев, мы не замечаем.

Аплодируя, Андрей считал, что сказанное о творчески мыслящих людях, о поддержке относится к таким, как он и Борисов, а выходит, Борисов воспринял эти слова совсем иначе — как требование к себе самому. Андрей позавидовал в эти минуты рядовым инженерам и рабочим. Все их защищают и расхваливают. А ты — за все отвечай, а когда тебя критикуют, еще спасибо говори.

Немало людей в зале повздыхали, перемигнулись. Андрей как бы почувствовал единомышленников.

Докладчик заметил возбуждение, прокатившееся по рядам. Снизив голос, дружески усмехаясь, он сказал:

— Правда, трудно требовать любви к критике... — Борисов толкнул Андрея локтем, оба они засмеялись,

и все в зале понимающе усмехнулись. — Но коммунист, советский руководитель должен встречать критику мужественно и, главное, делать из нее правильные выводы.

В перерыв Андрей встретил своих друзей по аспирантуре. Все вместе они шли по фойе, когда Андрея окликнули. Между колонн, возле бокового входа в зал, небольшая группа мужчин окружила секретаря горкома. Андрей увидел в этой группе Борисова и главного инженера. Борисов махал Андрею рукой, подзывая его, и, улыбаясь, что-то говорил Савину. Андрей почему-то покраснел и нахмурился.

— Мы о вас сейчас говорили, — сказал Савин, как бы разъясняя, почему и Борисов, и он, и все остальные улыбаются. Андрей молчал, всем своим видом как бы спрашивая: «Вы меня звали, в чем дело?»

Его серьезность выглядела неуместной, почти смешной. Даже Борисову, видимо, стало неудобно за Лобанова, но секретарь горкома несколько не тяготился наступившим молчанием. Наоборот, он с интересом ждал, с едва заметной улыбкой разглядывая Андрея. Вблизи Савин выглядел старше. У него была та нездоровая полнота, которой страдают люди, вынужденные вести сидячую жизнь. Галстук у него был повязан неумело. «Видно, мучился вроде меня», — вдруг дружелюбно подумал Андрей.

Савин словно дождался чего-то, потрянул головой, откинув волосы со лба, и спросил Андрея, помогает ли ему какой-нибудь научно-исследовательский институт в работе над прибором. У Андрея было такое впечатление, что разговор начался сразу с середины.

— Значит, Григорьев помогает и моряки — это хорошо, но, может быть, найдутся и другие заинтересованные организации? Например, телефонисты, связисты, — привлечь бы всех.

— Кто же будет согласовывать их действия? — спросил Андрей. — Каждого занимают свои, ведомственные интересы.

— Ведомственные интересы — страшная болезнь, — подтвердил Савин. — Даже министры не всегда могут устоять перед ней. Скажите, а вы опубликовали где-нибудь описание вашего прибора?

Андрей кратко рассказал о неудачах со своей статьей.

— Любопытный прием,— весело сказал Савин.— Отрицают новое под флагом критики и отрицают критику под флагом борьбы за новое. Неоконсерватизм. Все ж вы зря отступились. Напечатанная статья — это сотни новых сторонников вашего прибора. Тут стоит побороться.

— Мне и так хватает этой борьбы.

Савин подвигал бровями, но промолчал, как видно, не желая в присутствии главного инженера расспрашивать Лобанова, с кем же ему приходится бороться. Андрей колебался: назвать фамилии Потапенко, Долгина, Тонкова неудобно,— получится вроде жалобы. Словно поняв его затруднение, Савин спросил, не жалеет ли он, что после защиты пошел работать на производство.

— Нисколько,— чистосердечно ответил Андрей, забыв, что еще сегодня утром он проклинал тот день, когда решил покинуть Одинцова.

Савин назвал фамилии Костинова и Федорищева. Они теперь академики, но не порывают со своими заводами. Ведь, по сути дела, завод сделал их крупными учеными. Костинов тоже молодым ученым ушел из института на электромеханический завод.

— Мне кажется, что производственник, связанный с наукой и сам что-нибудь кумекающий, менее подвержен этой самой ведомственной болезни.

Вот ведь откуда вынырнул! По характеру вопросов Андрей чувствовал, что собеседника его интересует не только судьба прибора, но возможность найти в этой судьбе и судьбе самого Лобанова материал для каких-то более общих выводов.

Зато Андрея волновали свои заботы. Было бы не хозяйски упустить такую счастливую случайность и никак не использовать разговор с секретарем горкома. Во-первых, попросить нажать на Опытный завод, чтобы тот принял заказ от лаборатории. Во-вторых, насчет статьи. Савин прав: публикация статьи и есть то решающее звено...

Некоторое время они тянули разговор каждый в свою сторону.

— Все же ведомственные интересы пересилили и вас, человека науки,— засмеялся Савин.

Андрей отшутился:

— Вам хорошо, у вас должность межведомственная.

— А мне нравится ваша должность.— Савин выжидающе посмотрел на Андрея, и тот почувствовал, что

сейчас разговор уйдет туда, куда хочется Савину. Надо было проглотить упрек насчет ведомственных интересов и добиться ответа на свои просьбы, а не оправдываться. Теперь его потянуло спросить, почему Савину нравится должность начальника лаборатории.

— А потому, что вы как полпред науки. Вы защищаете ее интересы.

— Нет, полпред — лицо неприкосновенное. А я... — Андрей махнул рукой, и все заулыбались.

Секретарь горкома любил схватиться в остром споре. Он не уважал людей, которые с ним быстро соглашались. По всей видимости, этот Лобанов — достойный противник. Правда, резковат, зато мысли у него свои, свежие. Посидеть бы с ним за кружкой пива... И секретарь горкома подумал, что вот ему приходится общаться с сотнями разных людей, но все эти кабинетные разговоры не то, подумал о том, что среди его друзей нет никого из среды молодых ученых, а ведь это своеобразный народ... Пожалуй, стоит его поддержать, деловито прикинул он, возвращаясь к мыслям о Лобанове. Чутье подсказывало ему, что приход Лобанова на производство — пример многозначительный, воскрешающий хорошие традиции в науке, и следует посмотреть, как это все получается в сегодняшних условиях. С другой стороны, судя по всему, Лобанов парень сильный, волевой, такой и без опеки добьется своего. Наоборот, будет полезно, если подерется кое с кем, переворошит старые порядки у энергетиков.

И то, и другое соображение уравнивали друг друга. Решило чувство, с которым Савин постоянно боролся и которое в подобных затруднительных случаях брало верх, — чувство личной симпатии.

— Чем горком может помочь вам? — неожиданно спросил Савин. Андрей даже растерялся. Дмитрий Алексеевич переступил с ноги на ногу: догадается или нет — попросить насчет штатов?..

...Впоследствии Андрей никогда не мог понять, какая сила заставила его в эту минуту оглянуться: мимо них, в толпе гуляющих, под руку с какой-то женщиной шла Марина.

Она не видела Андрея. Огни всех люстр отражались в ее раскосых влажных глазах. Тонкий ровный румянец проступал на смуглых щеках.

Андрей подался вперед, вытянул шею, не в силах оторвать взгляда от нее. Чьи-то плечи заслонили ее

плечи, чья-то голова надвинулась на ее профиль. Андрей наклонился вправо, влево: еще секунда, другая — и она затеряется в толпе.

Словно издалека к нему доносилось:

— Как вы считаете, поможет вам открытая дискуссия? Ваш доклад и затем бой! По всем правилам! А?

— Дискуссия,— повторил Андрей, поворачивая голову вслед Марине.— Да, как же...

Савин досадливо обернулся по направлению его взгляда и ничего не увидел, кроме текущей мимо густой вереницы людей.

— Такое обсуждение позволит выявить расстановку сил,— громче продолжал Савин.

Толпа уносила Марину все дальше, облачко ее медных волос затерялось среди чужих спин и затылков, сейчас и оно исчезнет.

Андрей быстро, виновато посмотрел в глаза Савину.

— Извините меня... Одну минутку...

Он бегом, не оглядываясь, бросился в толпу. Он догнал Марину, замедляя шаги по мере приближения к ней. Прямо перед ним была ее шея, ее уши с темными дырочками в прозрачно-розовых мочках, вполоборота щека, уголок глаза с долькой зрачка. Мысленно он обращался к ней, звал — она впереди, он сбоку, сзади. Наконец он заставил себя поравняться с ней и назвал ее, изумляясь тому, что произнес ее имя свободно, без запинки.

Она оглядела его выжидающе-сдержанно, может быть что-то вспоминая, но не доверяя своей памяти. Неужели не узнаёт? Обида и разочарование вернули ему находчивость. Он вынул из кармана бумажник и вытащил оттуда заколку, ту самую, которую она дала ему на дороге.

— Ваша?

— Ого! Вещественное доказательство,— лукаво сказала спутница Марины.

— Возвращаю с благодарностью.— Пока что ему удавалась роль человека, развлекающегося встречей, связанной с забавным происшествием.— Мне еще вам косынку надо вернуть.

— Так вы тот самый...— медленно произнесла Марина. Невольно ее взгляд скользнул к ноге Андрея.— Узнать вас трудно. Как ваша рана?

— Чепуха!— засмеялся Андрей.

— Вот уж не ожидала вас тут встретить.

— Я тоже.

— Это почему?

— Я все гадал, кто вы такая, — Андрей не замечал предательского смысла своих слов. — Ни к одной профессии не мог вас пристроить.

Вместо ответа Марина познакомила Андрея со своей подругой.

— Софочка, помнишь, я тебе рассказывала...

— Как же, таинственный окровавленный спутник. Ночной лес. Погоня.

Софочка тараторила, кокетливо потряхивая кудряшками. Голубые глаза ее широко раскрылись, осматривая Андрея сверху донизу. Что-то заученно-наивное было в ее пухлой фигурке, в бело-румяном личике с пунцовым сердечком губ.

Марина задумчиво вертела в пальцах заколку. Розовые, коротко стриженные ногти с четкими белыми лунками, черное несмываемое пятнышко туши на указательном пальце. Андрей следил за ее пальцами, как будто каждое движение их что-то означало.

— Погони не было, — усмехнулась Марина.

Андрей почувствовал, что та неуловимо тонкая нить, которая протянулась между ним и Мариной, вдруг порвалась. Как будто кто-то третий прошел между ними.

Хуже всего то, что он во всем оправдывал Марину. И то, что она рассказала обо всем этой Софочке, и то, что они, наверно, при этом смеялись. А он-то... дурак дураком... воображал. Как мало он значил в ее жизни! Так и надо, не будь пустым фантазером.

Они обошли круг и теперь приближались к тому месту, где Андрей оставил Савина. Что подумал о нем секретарь горкома?.. Только сейчас Андрей осознал всю безрассудность своего поступка. Сейчас секретарь горкома увидит, ради чего убежал коммунист Лобанов. Хорош, нечего сказать!

Андрей боялся взглянуть в ту сторону.

— Какой вы мрачный, — сказала Софочка. — Мне было бы страшно на месте Марины остаться с вами в лесу.

Андрей мучительно улыбнулся. Он тронул Марину за руку.

— Разрешите, я подожду вас у выхода. — Он несколько прибодрился, услышав свой ожесточенно-спокойный, решительный голос, и, набравшись духу, требовательно посмотрел Марине прямо в глаза, в самую

глубину ее зрачков. Ее взор выразил какое-то чувство — беспокойное, противящееся, он так и не понял.

Возле колонн Савина уже не было.

Не было и тех, кто стоял с секретарем горкома. Андрей бродил в толпе взад и вперед, пока не прозвенел звонок.

Красный от стыда, он прошел в зал, сел на свое место. Дмитрий Алексеевич и Борисов дружно накинулись на него: с ума он сошел, что ли, совсем голову потерял — такой важный вопрос, и вдруг нате, повернулся и побежал за какой-то юбкой.

— Мы сквозь землю чуть не провалились, — в сердцах шептал Борисов, стараясь, чтобы соседи не слышали. — О чем ты думал? Мальчишеская выходка. Ты понимаешь — это же секретарь горкома! Эх ты... Не мог обождать. Кто бы подумал... Бабник!

— Не в том дело, что секретарь горкома, — поостыв, сказал Дмитрий Алексеевич. — Впрочем, секретарь горкома тоже человек и обращаться с ним надо по-человечески. В официальной обстановке можно еще как-то оправдать бестактность, а тут, согласитесь, Андрей Николаевич, это выходка, вы простите меня, именно выходка невоспитанного человека. И вообще упустить такой момент! Раз промахнешься — год не справишься.

Андрей слушал, слушал, а потом отрезал:

— Коли на то пошло, дорогие товарищи, так серьезные вопросы и решать надо по-серьезному, не в перерыв в фойе — поболтали и разошлись.

Дмитрий Алексеевич и Борисов изумленно переглянулись: «Каков, а?»

Интересно, думал Андрей, что Савин имел в виду своей последней фразой: «Обсуждение позволит выявить расстановку сил». Каких сил? Очевидно, секретарь горкома подразумевал нечто большее, чем обычное обсуждение. Предположения, одно заманчивее другого, проносились в голове Андрея. Схватиться в открытую с Тонковым, поговорить по существу в присутствии специалистов... Савин ухватил точно: дискуссия — это самое действенное средство... Надо же было в эту минуту увидеть Марину... Теперь не поправишь. Вероятно, обиделся. Написать ему: так, мол, и так, стечение обстоятельств... Чепуха, о таких вещах не пишут...

Всю дорогу Андрея мучила совесть. Он не радовался, чувствуя рядом локоть Марины, слушая ее голос. Думая о своем, он поддерживал ничего не значащий разговор,

на шутки Софочки отвечал равнодушными смешками, и все это было не то, не то, не то.

Марина смеялась и украдкой наблюдала за ним, по-видимому довольная тем, что Андрей не смущал ее своим серьезным, слишком откровенным вниманием.

Они шли мимо парка.

Осень оголяла деревья, ступала по мокрым мостовым, отпечатывая свои следы красными, желтыми, багряными листьями. Ветер загонял их во дворы, в подъезды, заносил на улицы, где не росло ни одного дерева. В эти дни листья проникали повсюду, разукрашивая город пылающими пятнами. Их ставили в вазы вместо цветов. Они носились в воздухе, шуршали под ногами, заглушая все запахи своим горьким и свежим ароматом.

Особенно много их было здесь, вдоль ограды. Марина поймала на лету кленовый лист, положила на ладонь. Посредине листа сохранилось еще не обожженное холодом ярко-зеленое пятно. Ветер сдул листок, понес вперед.

Андрей провожал его глазами, испытывая какое-то сложное и грустное чувство: и оттого, что встреча с Мариной произошла не так, как ему мечталось, и оттого, что сейчас он мог идти рядом с ней, нисколько не волнуясь, и думать о неоконченном разговоре с секретарем горкома. Тут еще эта Софочка... И Марина какая-то не такая, и все отравлено, скомкано. И ему вдруг вспомнился Одинцов, и та осень, и тот лист...

— До чего унылая решетка,— сказала Софочка, проводя пальцем по железным прутьям.— Решетка должна украшать.

— По-моему, она ни к чему,— возразила Марина.— Хорошо, когда сад открытый, входи откуда хочешь.

— Ах, как ты можешь! А решетка Фельтена, разве это не чудесно! А воронихинская — верно, Андрей Николаевич? Растрелли?

Она вовсе не была такой наивной, эта Софочка. Несколько раз она искусно, почти незаметно ставила его в неловкое положение. Решетка Фельтена, он помнил, в Ленинграде у Летнего сада, а о решетках Растрелли и Воронихина он понятия не имел. Хорошо, что Марина пришла к нему на помощь.

— У Андрея Николаевича свои счета с решетками и заборами,— засмеялась она.

Больше всего он боялся, что Марина заметит его состояние и бог знает что о нем подумает. Когда они про-

водили Софочку и остались вдвоем, Андрей изо всех сил старался казаться веселым; делал он это с таким неуклюжим отчаянием, что порою ему самому было совестно слышать свой громкий, неуместный смех. В мыслях царяла полная неразбериха. То он издевался над собою — ради чего все это? Ради вот этой пустой болтовни? То на него накатывалась вдруг неприязнь к Марине, и Марина казалась ему обыкновенной, ничем не примечательной, обманувшей его ожидания, и он клялся, что никогда больше не встретится с нею. То вдруг он начинал доказывать себе, что произошла счастливая желанная случайность и он недаром пожертвовал таким важным для него разговором: Марина — удивительная девушка, и все, о чем они говорили и говорят, полно глубокого скрытого смысла.

Они подошли к дому, в котором она жила. Трехэтажный облупленный особняк стоял в переулке, выходявшем на набережную. Марина поднялась на косую разбитую ступень подъезда, глаза ее прилипли теперь вровень с глазами Андрея. Он заметил в них быстрые озорные огоньки, и сразу ему некуда стало девать руки, он чувствовал, что стоит, как-то нелепо вытянувшись, словно по стойке «смирно».

— Старинный дом, — сказал он.

— Конец восемнадцатого века, — великодушно подтвердила Марина.

Они опять замолчали. Марина закусил губу и переложила свою коричневую потертую сумочку в левую руку. Счастливые женщины, у них всегда что-нибудь есть в руках... Молчание становилось глупым.

— Ну что же, до следующего актива? — спросил Андрей, глядя на ее подбородок.

— У меня есть телефон на работе, — сказала Марина тем же легким тоном, каким говорила Софочка.

Вернувшись домой, Андрей сразу же постелил себе постель и лег. Часы в столовой пробили два, а он все еще не спал. Он зажег лампу, встал, шлепая босыми ногами по холодному линолеуму, достал энциклопедию и стал читать о Воронихине. Как это он не сообразил: раз Воронихин строил Казанский собор, то и решетка возле собора, наверно, построена по его проекту. Потом он вынул из пиджака записную книжку, проверил номер телефона Марины. На всякий случай он записал

этот номер у себя на столе и на обоях возле телефона. Странное дело, почему-то это его успокоило, и он сразу же крепко заснул.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ

На следующий день Андрей съездил в Электротехнический институт к Любченко. Шли лекции, в пустых коридорах было тихо. Ожидая перерыва, Андрей стоял у окна и думал о последней фразе Марины. Его смущала бездумная легкость, с какой она дала ему свой телефон. Он готов был усмотреть в этом желание отвязаться. Во время их первой встречи она не разрешила ему даже проводить себя; вчера же, когда он вел себя с возмутительным нахальством, был зол и развязен, нес всякую чепуху, он добился того, на что не рассчитывал.

Прозвенел звонок, через секунду-другую слышался шум, двери аудитории распахнулись, и, размахивая портфелями, сумками, в коридор хлынули студенты. Даже наметанный глаз Андрея с трудом различил среди них преподавателя. Это был молодой человек, лет двадцати семи, с таким же возбужденным, веселым лицом, как у его слушателей. Андрей выделил его из толпы лишь по рукам, перепачканным мелом, да по тому, что несущиеся мимо юноши и девушки каким-то чудом умудрялись не толкнуть его, не наступить ему на ноги.

Андрей объяснил Любченко, что привело его сюда.

— К сожалению, ближайшие две недели я занят, — сказал Любченко, вытирая руки платком.

— Это не имеет значения, — убежденно сказал Андрей.

— То есть как?

Андрей призвал на помощь все свое красноречие. Конденсатор важен не сам по себе, важно то, для чего он нужен!

Он затащил Любченко в пустую аудиторию и принялся рассказывать о локаторе. Вначале Любченко слушал, забавляясь самоуверенностью Андрея. Он сидел на краю стола, болтая ногами, потом прилег на стол, подперев кулаком подбородок. Потом он начал перебивать Андрея вопросами, тон его становился сочувственным.

— Феерическая картина!.. Погодите, вам не приходило в голову использовать локатор для линии связи?

Он вскочил, взял у Андрея мел и попробовал испра-

вить нарисованную Андреем схему. Отвлечения мешали Андрею, он хотел продолжать свое.

— Дайте, пожалуйста, кончить.— Они чуть не боролись за кусочек мела.— Вы на лекциях разрешаете студентам перебивать себя?

Любченко рассмеялся так добродушно, что Андрею стало неудобно. Но после этого замечания они почувствовали себя просто.

— Признаюсь — ваш конденсатор потребует всего один-два вечера. Бог с вами, сделаем,— сдался Любченко.

Через два дня Любченко сообщил, что конденсатор получился. На следующий же день Андрей отдал его монтажникам и занялся Усольцевым, которого почти все это время не видел.

Когда Андрей подошел к нему, Усольцев поднялся навстречу, вяло поздоровался. Рука его была холодной. Усольцев был бледен; рыжеватая щетина небритых щек, измятый, небрежно завязанный галстук, беспорядок на столе — все это настолько не вязалось с его прославленной аккуратностью, что Андрей подумал: «Неужели заболел?»

— Как дела? — спросил Андрей.

Вместо ответа Усольцев взял бумагу, над которой он работал, сложил ее, разорвал на четыре части и бросил в корзинку. Высокая проволочная корзинка была забита ключьями исписанной бумаги.

— Каждый день — корзинка,— сказал Усольцев, перехватив взгляд Андрея.

— Ничего, бывает.

Усольцев сглотнул слюну.

— Андрей Николаевич, я бы просил... позвольте мне поговорить с вами.

Он повернулся было в сторону кабинета Лобанова, но Андрей придвинул стул, с готовностью уселся возле его стола.

Был обеденный перерыв. В «инженерной» сидело несколько человек: Майя завтракала, читая газету, Кривицкий и Борисов играли в шашки.

— Сдавайтесь, вы тр-руп! — приговаривал Кривицкий.

— Может быть, у вас удобнее? — снова попросил Усольцев.

Андрей догадался, чем вызвано подобное упорство.

— Какая разница, тут посторонних нет,— сказал он.

— Хорошо, — тихо согласился Усольцев. — Освободите меня, Андрей Николаевич, от этой работы. Ничего у меня не выходит. И я боюсь... я полагаю... не выйдет. — Он еще сдерживался, но за его словами нарастало отчаяние. Андрей пожалел, что настоял на этом разговоре при всех. — Я совсем другого склада инженер.

По выражению лиц склонившихся над доской Кривицкого и Борисова можно было понять, что они внимательно слушают разговор.

— ...Нельзя же требовать, чтобы каждый инженер творил, изобретал — словом, был бы Ломоносовым, — с безудержной решительностью, какая свойственна неуверенным в своей правоте людям, говорил Усольцев. — Я не претендую на такую роль. Давайте мне любую черновую работу, любую. Пожалуйста. А выдумывать — избавьте, не гожусь. Не умею. Не желаю. Андрей Николаевич, поручите кому-нибудь... Я вместо этого... Я не обязан, в конце концов...

Он проглатывал окончания фраз. Молчание Лобанова сбивало его.

«А я обязан?» — хотелось спросить Андрею. Это только в книгах пишут, что борьба и препятствия доставляют радость. Никакой радости препятствия ему не доставляли. Но и трусить он не собирался. Ради чего он шел на все это? А Борисов, Новиков, Саша, все, кто шли рядом с ним? Ради чего покинул свой педагогический уют Фалеев? И тысячи людей, чьи дела он видел на выставке, о ком рассказывал на совещании Савин? Ради чего они вступали на мучительный путь поисков, сомнений, неудач?.. В эту минуту он презирал Усольцева, как презирают в бою трусов и паникеров. В армии Андрей показал бы ему, но сейчас он не имел права бросить в лицо Усольцеву ни одного слова из тех, что напрашивались на язык, не имел права ни крикнуть, ни повысить голос.

Прищурясь, Андрей прочел надпись на лаково-желтой грани карандаша.

— Ага, «Кохинор», — сказал он. — Хорошие карандаши... Вот вы говорите, что не обязаны. Но ведь вы инженер.

— Ну и что ж, не всякий...

Андрей перебил Усольцева:

— А вам известно, что значит слово «инженер»?

Все посмотрели на Лобанова, привлеченные особой интонацией голоса.

— Исхудал он... — шепнул Кривицкий Борису.

— Я не понимаю вас, Андрей Николаевич, — с готовностью начал Усольцев, — но я...

— Нет, вы мне ответьте.

— Инженер, ну... человек, имеющий высшее образование.

— Маловато. Слово «инженер» в переводе с латинского значит хитроумный изобретатель.

— Не всякому инженеру дано хватать звезды с неба, — пробормотал Усольцев.

Борисов, не утерпев, подошел:

— Где уж там звезды! Вы, Усольцев, все на подхвате норовите работать. Вы никогда никакой инициативы ни в чем не проявляли.

— Да, в этом отношении он девственник, — вставил Кривицкий.

Усольцев вынул платок, нервно высморкался:

— При чем здесь это? Мы говорим с Андреем Николаевичем совсем о другом...

— Другими словами — чего, мол, суетесь? — напрямик спросил Борисов. — Я давно вам сказать хотел, да не было подходящего случая. Вы вот гордитесь своей дисциплинированностью, а мне кажется, что подоплека вашей дисциплинированности — нежелание самостоятельно мыслить. Такое бездумное послушание — худшее искажение дисциплины.

В комнату, напевая, с букетом влетел Новиков. Одной рукой он сунул цветы в большой фарфоровый стакан, другой записал на столе чей-то телефон и тут же вмешался в разговор.

— Вас прорабатывают, Усольцев? Я присоединяюсь. Гоните переключатель! Не увиливайте, это вам не старые реле переделывать.

Обвинения сыпались на Усольцева со всех сторон, он не успевал отбиваться. Андрея обрадовала поддержка товарищей. Пусть при этом Новиков больше всего беспокоился, что Лобанов может поручить переключатель ему, Кривицкий радовался случаю подтрунить над раздражавшей его добросовестностью Усольцева, а Борисов жаждал встряхнуть этого человека, — они сходились в главном: Усольцев не должен отступать.

Лицо Усольцева приняло загнанное, отчаянное выражение. Сунув два пальца за помятый воротничок, он вертел шеей, как будто ему было тесно. Усольцев, этот аккуратист, носит грязный воротничок!

«Да что ж это, в самом деле, — подумал Андрей, — он ведь мучился все эти дни. Хотел, тянулся... и не мог».

Так порою через какую-нибудь мелочь вроде грязного воротничка начинаешь видеть человека совсем по-иному. Андрей представил себе, как угнетала добросовестного, точного Усольцева необходимость выполнить задание. Проходили дни, ничего не получалось, и сон не в сон, и, наверно, весь твердо, годами налаженный распорядок жизни этого человека полетел к черту. Сколько усилий стоило ему признаться начальнику лаборатории в своей несостоятельности. Безусловно, Усольцев делал все, что мог, и ничего не сумел сделать. Почему?

Андрей усадил его на место, успокоил и попросил показать свои наброски.

— Верите, Андрей Николаевич, я восемнадцать вариантов перепробовал. Начну — и сразу кажется: не так. Всякий раз думаю — а вдруг есть более простая, лучшая схема. Не умею я начинать с голого, с пустого места. Не за что ухватиться... Буквально нечего показать вам. Вы можете подумать... но Майя Константиновна знает... я никогда не имел взысканий.

Майя молча завтракала за своим столом. В последнее время в присутствии Лобанова она молчала, но тут не вытерпела. Через всю комнату она обратилась к Андрею: не заставит же он петь человека, если у того нет ни голоса, ни слуха. Способность к творчеству — это врожденный талант; нельзя приказать изобрести. То есть приказать можно, но что из этого выйдет?

Ее большие серые глаза смотрели на Андрея с укоризной: «Оставьте Усольцева в покое, как вам не стыдно, налетели все на одного».

Возможно, и впрямь нелепо требовать от каждого этой самой способности к творчеству? Талант, творчество, вдохновение! Андрей не любил применять эти пышные слова к своей будничной лабораторной работе. Но дело не в словах, дело в том, имеет ли он право заставлять Усольцева? Андрей был в нерешительности. Возможно, если бы доводы Майи привел Борисов, Андрей не стал бы настаивать, взял бы и сам занялся переключателем.

«Бойтся! Вот оно в чем суть! — вдруг чуть не вслух сказал Андрей, озаренный догадкой. — Ему надо перешагнуть через собственный страх».

Мягко и настойчиво он начал убеждать Усольцева, что прежде всего необходимо поверить в собственные силы.

Усольцев покорно кивал. Вероятно, Лобанов прав, но он ничего не говорит о том, откуда взять уверенность. Все они сейчас разойдутся, а Усольцев останется перед чистой бумагой, и все муки и страхи начнутся сначала.

В это время Кривицкий, ткнув себя перстом в лоб, сообщил, что на складе среди старья ему когда-то попался подобный переключатель. Андрей недоверчиво прищурился: он не представлял себе прибора, для которого мог понадобиться такой переключатель.

Усольцев его не слушал. Надежда оживила его, он вцепился в Кривицкого, упрашивая его сейчас же сходить на склад.

Они вернулись через полчаса. Усольцев, не раздеваясь, прошел в кабинет Лобанова. Пальто его было перемазано пылью, на рукавах белели следы извести, к груди он прижимал завернутый в газету пакет.

— Вот, а вы не верили, — сказал он и, развернув, поставил перед Андреем небольшой, местами побитый пластмассовый футляр с наружными рукоятками.

Андрей снял крышку. На внутренней панели почти ничего не осталось. Торчало несколько контактов, остов обугленной катушки, замысловатой формы коромысло с собачкой. Андрей тронул его пальцем, оно повернулось, скрипя в заржавленных подшипниках.

— И это все? — разочарованно спросил Андрей.

— Вполне достаточно, Андрей Николаевич! — воскликнул Усольцев. Не давая себя прервать, он быстро объяснил: — На панели сохранились отверстия креплений, по ним удастся восстановить схему. — Он уже представлял себе, какую роль тут играло коромысло, где стояла пружина. Конечно, обмотку придется пересчитать, но принцип надо обязательно оставить.

Андрей мысленно прикинул — размеры коробки вроде подходящие. Он посоветовал Усольцеву не слишком цепляться за этот скелет. Какое-то смутное опасение тревожило Андрея.

Встретив Кривицкого, он спросил:

— Вы точно знаете, это действительно дистанционный переключатель?

Кривицкий поперхнулся, закашлялся, прикрыв рот ладонью. Когда он поднял голову, глаза его были невозмутимо ясны.

— В мои годы недостаток памяти заменяет чутье, — туманно, но внушительно ответил он.

Андрей не скрывал своего недовольства неожиданной услугой Кривицкого. Не следовало давать Усольцеву возможность вывернуться. Так из него никогда не выйдет настоящего инженера. Казалось, выбросили со ску — так нет, Кривицкий тряпочку подсунул: на, мол, только не плачь.

Случай с Усольцевым обсуждался на все лады. Лишь один виновник разговоров ничего не замечал, ничего не слышал. Он работал с упоением, к нему вернулась прежняя методичность. Вычищенные, смазанные части старого переключателя лежали на его столе в строгом порядке. На выпуклой полированной поверхности кожуха отражались изогнутые оконные переплеты, синее небо, кудрявые облака медленно проплывали, скрываясь в тени жарко сияющего латунного зажима. Весь мир сосредоточился для Усольцева в этом скелете будущего аппарата.

Усольцев торопился дать конструктору точные размеры переключателя. В зависимости от них размещалось остальное оборудование. Круглое его лицо заострилось, движения приобрели четкую угловатость. Инженеры были поражены, когда однажды во время шумного разговора Усольцев хлопнул ладонью по столу так, что все детальки подпрыгнули, и крикнул:

— Товарищи, замолчите ли вы наконец!

Борисову даже нравилось, что Усольцев стал немного рассеянным и забывал прятать в ящик свои знаменитые карандаши.

Однако прежняя неуверенность еще жила в нем. Он принес Лобанову чертежи и сообщил, что конструктор требует ориентировочные размеры, а переключатель еще не кончен. Дашь ему размеры, а потом, случись что, не изменишь.

Андрей успокоил его.

— Конечно, приходится рисковать, — сказал он, весело нажимая на слово «рисковать». — Но что вас, собственно, смущает?

Усольцев замялся:

— В основном мелочи. Не могу раскусить, к чему тут эти два отверстия.

— Вы обошлись без них? — спросил Андрей, не глядя на чертежи.

— Пока да, — осторожно сказал Усольцев.

Андрей рассмеялся и шепотом сказал ему на ухо:
— Ну так плюньте на них.

Наблюдая, как создается переключатель, Андрей невольно восхищался способностями Усольцева. Надо было иметь величайшее терпение, чтобы восстановить по остаткам, скорее намекам, прежнюю схему. На ряде участков пунктир догадок обрывался, и Усольцеву приходилось выдумывать самому... Чтобы приспособить какую-нибудь сохранившуюся часть, Усольцев хитрил, изворачивался, проявляя незаурядную изобретательность.

Он действовал подобно палеонтологам, которые по обнаруженной кости восстанавливают скелет и даже внешний облик никогда ими не виданного животного.

Настойчивость Усольцева нравилась Андрею и в то же время вызывала досаду. Было жаль смотреть, сколько блестящей, остроумной выдумки тратится на разгадывание этого ребуса. Порой Андрей порывался крикнуть:

«Да бросьте вы держаться за костыли, шагайте сами!»

Но он боялся, что Усольцев опять оробеет. Ну ничего, в следующий раз ему придется начинать без шпаргалки. А вдруг все страхи повторятся?.. «Если ты проявляешь столько терпения, добиваясь нужной характеристики от прибора, — отвечал он себе, — то почему ты считаешь, что человека можно переделать сразу?»

Переключатель был закончен вовремя. На испытаниях Андрей присутствовать не смог, да если бы он и освободился, то все равно не пошел бы. Он не желал показывать Усольцеву, что придает какое-либо значение этой «палеонтологии».

Испытание переключателя прошло незамеченным. Кривицкий мимоходом осведомился о результатах и сказал удовлетворенно и непонятно: «Выгодное и удачное преступление называется добродетелью».

Новиков спросил:

— Отделались? Восхитительно! Поздравляю! Усольцев, миленький, помогите мне доконать усилитель — мне сегодня надо пораньше кончить. — Он всегда куда-нибудь торопился и жаловался на «сумасшедшую загрузку».

Усольцев замкнулся в обиженном молчании. Хвастаться ему было нечем — реставрировал старый переключатель, эка невидаль. А все же обидно. Ведь это

была необычная для Усольцева работа. Никто не знает, сколько страхов он натерпелся с этим переключателем. И, наверно, не узнает. Переключатель пустили в работу, и все сразу о нем забыли.

В течение нескольких минут Кривицкий о чем-то рассказывал, но ни одна фраза не доходила до сознания Андрея. Перескакивая с абзаца на абзац, он с бьющимся сердцем читал статью одного ленинградца о методах локации. Андрей мчался по строчкам, повторяя про себя: «Неужели это мое, неужели меня опередили?» На каком-то повороте автор свернул в сторону, не дойдя до идеи, составляющей главное в методе Андрея. Андрей вздохнул, отпуская сведенные мускулы лица. И вдруг, поймав себя на этой радости, возмутился. «Сколько же во мне гаденького!» — со стыдом подумал он.

— Андрей Николаевич, — настойчиво и удивленно повторил Кривицкий.

Андрей извинился и начал слушать. Кривицкий как раз к этому времени покончил с вопросами этики и переходил к принципам воспитания по Макаренко. Длинное, несвойственное Кривицкому предисловие насторожило Андрея.

— Перейдем к делу, — предложил он.

Кривицкий поправил чернильницу на столе у Андрея и с напряженной улыбкой сказал:

— Помните, Андрей Николаевич, когда вы усомнились в переключателе, был ли такой, я пошел на склад проверить. Мало ли что бывает в нашей жизни кипучей! Оказалось, что там напутали: коробка, которую я дал Усольцеву, никогда не была переключателем. Усольцеву достался футляр от старого, немецкого выпуска реле. Теперь я хочу посоветоваться с вами — педагогично ли будет сообщить ему правду?

Андрей не верил ни единому слову Кривицкого. Разумеется, это была заранее подстроенная шутка.

— С одной стороны, он должен выиграть, — рассуждал Кривицкий, — с другой, как человек мнительный, он подумает, что все были в заговоре против него.

Андрей позвал Борисова, и они досыта посмеялись над всей этой историей и над Кривицким с его воспитательными приемами.

— При любом исходе предпочитаю правду, — сказал наконец Андрей. Он встал и вместе с Кривицким и Борисовым направился к дверям.

Кривицкий предпочел бы отсидеться в кабинете, но Борисов оглянулся на него с таким видом, что пришлось подняться.

— Иди-иди, комбинатор-воспитатель.

Усольцеву рассказывали наперебой все трое, и он долго ничего не мог понять. Тогда Кривицкий принес ему целое реле в пластмассовой коробке. Усольцев перевел глаза на смонтированный переключатель. Сомнений быть не могло. Усольцев взял отвертку, долго не мог попасть острием в борозду.

— Что это? — беспомощно спросил он, сняв крышку и рассматривая незнакомые детали. — Так это же не переключатель.

Он все еще не понимал. Андрей заглянул через плечо Усольцева. На открытой панели поблескивали коромысло и целенькая катушка; тут они действовали совсем иначе, чем представлял себе Усольцев. Коромысло опускалось на катушку и передвигало какую-то защелку...

Усольцев смотрел надвигающийся рот Кривицкого, на его запавшую верхнюю губу. Не дослушав, он повернулся, нажал кнопку переключателя. Послышался характерный ритмичный перестук. Усольцев склонился над переключателем, крепко стиснув край стола. Коромысло, его коромысло мелькало неразлично быстрыми взмахами, слитыми в серебристое дрожание, освещаемое короткими лиловыми искрами. И катушка, и отверстия в панели — все было использовано не так.

— Андрей Николаевич, как же... он работает? — хрипло, срывающимся голосом спросил Усольцев.

Андрей сказал:

— Как же он может не работать, ведь это ваш переключатель.

Оглушенный, не уяснив себе до конца, что произошло, Усольцев пожимал руки, выслушивал поздравления. Шутил Новиков, Рейнгольд говорил о каких-то молодых липках на бульваре, у которых выдернули подпорки. Усольцев кивал ему, не понимая, при чем тут липки; но ему было хорошо, и он боялся спрашивать и говорить, чтобы не расчувствоваться. Его заставляли снова включать переключатель, сравнивали переключатель с реле, принесенным Кривицким, удивлялись, позабыв, что этот самый переключатель работал здесь уже неделю и никто не обращал на него внимания. Но стоило переключателю прослыть новым, как он получил особую

привлекательность. Такова уж, видно, притягивающая сила нового. Новый — значит, такого еще никогда не было, никто такого не видал, ну как тут не подойти, не посмотреть, не потрогать.

Вечером Усольцев положил перед собою реле и последовательно, провод за проводом, дырочка за дырочкой, сравнил его со своим прибором. Покачивая головой, он сгреб все детали реле и бросил их в корзину. В лаборатории никого не было. От шума и волнения минувшего дня у него ломило в висках. Он открыл окно, подставил голову, ловя струю влажного вечернего воздуха. Так он стоял долго, ни о чем не думая. Потом подошел к стенду, поднял руку, неуверенно тронул лакированную крышку переключателя. Нажал кнопку. В тишине пустой лаборатории переключатель застучал громко и весело. «Вот так, — отщелкивал он. — Вот так, вот так, вот так...»

Смятенная, несмелая улыбка расходилась по лицу Усольцева. Ему было стыдно, но он ничего не мог поделать с собою. Это была не печаль, не радость, он не знал, что это. Он никогда не испытывал такого чувства.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

Первые же испытания макета локатора обнаружили опасность искажений. На экране дрожало, исчезая и вновь появляясь, несколько зеленых импульсов, мешая определить место повреждения. Невидимые электрические бури нарушали истинную картину.

Андрей давно был готов к тому, что с искажениями придется повозиться. Но теперь, когда они насмешливо плясали перед ним на экране, не поддаваясь никаким преградам, он оценил по достоинству всю сложность задачи. Схема уже не помещалась на одном столе, провода тянулись к соседнему верстаку, извиваясь среди бесчисленных конденсаторов, катушек и приборов.

Новиков и Усольцев заканчивали свои узлы и с тревогой поглядывали на Лобанова, который, сняв пиджак, взлохмаченный, часами просиживал перед экраном.

— Я вас доконаю, гады! — Этот нечаянно вырвавшийся у Андрея возглас, обращенный к искажениям, стал ходячим в лаборатории. Его повторяли на разные лады: Саша — вздыхая, Кривицкий — с ироническим

энтузиазмом, Пека Зайцев весело приговаривал эту фразу по любому поводу — вытаскивая из гнезда неподатливую лампу, раскалывая дверью грецкий орех.

Загадка искажений не выходила у Андрея из головы. Отвлекаясь на другие дела, он испытывал какое-то тягостное ощущение, как будто отлучился оттуда, где его ждут. Полгода назад он переходил бы от горячности к отчаянию, проклинал тех, кто расхищает время, его терзали бы сомнения: может быть, надо идти другим путем? За минувшие полгода у него выработалось огромное, неуязвимое терпение. Он привык чувствовать себя руководителем, привык подавать пример. Ничего приятного в этой обязанности не содержалось. Ему было бы легче, если бы он мог похныкать, как Новиков, напроситься на чьи-нибудь утешения и послать к черту того, кто отрывает его в разгар работы.

Свойственная его натуре восторженность находила выход в мыслях о Марине. Он знал: стоило протянуть руку к телефону, и он услышит ее голос. Это придавало ему уверенность, на душе сразу становилось спокойнее. Раза два он даже набрал ее номер. Она ответила сразу, — наверно, телефон стоял у нее на столе. Несколько раз она повторила: «Я слушаю». Потом сказала: «Вы из автомата? Нажмите кнопку». Когда слышались короткие гудки, Андрей улыбнулся и осторожно положил трубку на рычаг. Однажды он ответил ей. Почему-то он старался изо всех сил, чтобы голос его прозвучал спокойно, даже небрежно: вот, мол, вспомнил и позвонил, пойдете погулять... Неожиданно для него Марина сухо отказалась. Она занята. И завтра, и в ближайшую неделю. Может быть, она всегда занята? Нет, почему же, пожалуйста, звоните...

После этого он придумывал десятки предлогов, под которыми мог бы случайно встретиться с ней. Но всякий раз, когда дело доходило до того, чтобы действовать, он назначал себе новый срок. История с Ритой болезненно отзывалась на его самолюбии. Он тщательно перебирал в памяти немногие фразы Марины, вспоминая выражение ее лица, пробуя из этого скудного материала слепить ее образ. Судя по всему, она переживала горе и это было связано с тем молодым человеком, Вадимом, у которого Андрей впервые ее встретил. За что она разлюбила его? И разлюбила ли? На совещании во дворце она была совсем другая. Следовательно, она справилась со своим чувством.

По вечерам Андрей стал заходить к Фалееву, вытаскивая его гулять, причем в центре их маршрута обязательно оказывался переулок, где жила Марина. Оттуда они выходили на людную набережную. Вдоль гранитного парапета тесно, борт о борт, стояли военные корабли, рыболовецкие траулеры, катера, речные пассажирские электроходы. Матросы играли в волейбол. На кораблях запускали мощные радиолы. Кругом стайками гуляли девушки. Мальчишки блаженно взирали на моряков, споря о калибрах пушек, радиолокаторах и золотых нашивках.

На набережной Андрей становился разговорчивым. Он развивал Фалееву свои идеи о тактике морской войны, и поскольку оба они в этом вопросе были профанами, их удовлетворяли только коренные, грандиозные реформы. Когда они возвращались через переулок Марины, Андрей умолкал, и все становилось ему неинтересным.

Наконец они встретили ее на набережной. Она шла медленно, отдыхая, держа в руке рулон чертежей, — по видимому, возвращалась с работы. Андрей, оставив Фалеева, подошел, поздоровался.

Марина вспыхнула, глаза ее блеснули радостью и, как показалось Андрею, уличающим смешком. Они разговаривали всего несколько минут. Марина посмотрела на Андрея, потом на ожидающего поодаль Фалеева, как бы спрашивая: «Вас ждут? Вам обязательно идти с ним?» Разумеется, Андрей мог распрощаться с Фалеевым и проводить ее до дома, но он сказал, что его действительно ждут. Марина, придерживая локтем чертеж, протянула ему руку. Андрей спокойно попрощался и отошел, чувствуя, что Марина смотрит ему вслед. Зачем он наказывал себя? Самолюбие его было удовлетворено, но сердце страдало. У них не было ничего общего, ни общих знакомых, ни общих деловых интересов, ничего, кроме тончайшей ниточки, протянувшейся меж ними в первый вечер. И эту ниточку он сам рвет...

Андрей оправдывал себя тем, что они встретятся, когда он доконает эти проклятые искажения. «Тебе хочется ее видеть, вот и чудесно, — убеждал он себя, — заслужи это право». Он мечтал явиться перед ней победителем. Он расскажет ей все.

Эта предстоящая награда придавала ему новые силы. Так Марина незаметно вошла в его работу, помогая ему в трудные дни.

Только поскорее бы разделаться с этими искажениями. Значительную часть их удалось устранить, несколько остроумных приемов предложил Новиков, кое-что добавил Саша; схема получилась настолько сложной, что Андрея это совершенно не устраивало.

— Будем собирать факты, чтобы появились идеи, — предлагал Усольцев, но от этой осторожности пахивало Тонковым. После случая с переключателем Усольцев осмелел, но ему еще не хватало дерзости, а здесь нужна была именно дерзость, какое-то необычное, отважное решение.

— Будем проверять идеи, появятся факты, — предлагал Новиков. И это заманчивое предложение тоже не устраивало Андрея своим легкомыслием. Откуда брать идеи? Высасывать их из пальца?

Как-то ночью Андрею приснилось, что он нашел простой способ уничтожить искажения. Он проснулся, сел на постели, пытаясь понять, в чем заключается этот способ, но с ужасом убедился, что ничего не помнит. Он уткнулся в подушку, пробуя скорее заснуть, снова увидеть тот же сон, — ничего. Ничего, только ощущение необыкновенного и утраченного счастья!

Наутро сияющий Усольцев внес предложение добавить к схеме еще один фильтр. Саша быстро напаял по его указаниям все, что нужно. Макет запустили. Искажения действительно стали меньше. Маленькие бесцветные глазки Усольцева потемнели от удовольствия. Андрей молча сидел верхом на стуле, положив подбородок на его спинку. Никто не мог добиться от него ни слова. Зеленые всплески на экране отражались в его неподвижных, немигающих глазах. Затем он встал, выключил рубильник, надел пиджак. Несколько минут, не обращая внимания на болтовню Новикова, он ходил по комнате, поглядывая на схему, потом попросил у Саши папиросу, закурил и приказал разобрать всю установку.

Саша изумленно поднял брови.

— Все это слишком сложно, чтобы быть правильным, — хладнокровно сказал Андрей. — Ну чего ты уставился? Воронье гнездо получается, а не схема.

Назвать вороньим гнездом двухнедельный труд, когда они уже кое-чего добились, когда искажения по-

шли на убыль! Саша демонстративно отошел к Новикову и Усольцеву. Он все еще надеялся, что Лобанов одумается.

Отказываясь от достигнутого, Андрей ничего не мог предложить взамен. Он знал одно — путь, избранный ими, неверен. Достаточно посмотреть на схему: она была сложной, уродливой и, значит, чем-то порочной. В технике красота и изящество — верный признак зрелости. Он пытался передать свое ощущение словами, но Новиков, Усольцев и Саша ничего не хотели слышать. Они устали искать.

— К черту! — воскликнул Новиков. — Я лучше сделаюсь простым техником, пойду к главному инженеру и скажу ему прямо...

Они не желали понять, что для того, чтобы начать мыслить по-новому, надо сжечь за собой все корабли, свернуть с проторенной и безнадежной дороги. Они не понимали, что Андрею это сделать было еще труднее, чем им, потому что он взваливал на себя всю ответственность за розыск нового решения. А ведь нового решения могло и не быть, оно могло и не появиться.

Саша яростно кусал губы. При чем тут труд, как будто он отказывается! Трудиться — это не значит разрушать. В течение двух недель он подыскивал детали, ломал себе голову, как защитить спайки, куда и что ловчее присоединить. В конце концов, он тоже кое-что понимает.

Понимает? Ох, и влетело ему за это слово! Лобанов сорвал на Саше всю свою досаду. Как назло, в это время принесло в комнату Нину, она что-то искала в шкафу, и Саша видел насмешливые морщинки в уголках ее глаз. Почему, когда тебя хвалят, никого нет рядом, а когда ругают, кругом всегда толчется народ?

В работе ученого наступают периоды, когда воображение иссякает и нет никаких способов пробудить его. Иногда это длится днями, иногда — годами. Сознание того, что решение близко — достаточно одного усилия, одной счастливой мысли, чтобы найти его, — гнетет мучительно.

Андрей больше ничего не мог извлечь из себя. После двух недель бесплодных попыток он снова начинал с нуля. Сперва он почувствовал себя свободным, потом несчастным.

Оставаться в лаборатории он не мог, здесь ему все напоминало о его бессилии. Саша громыхал плоскогубцами, разбирая схему. Новиков и Усольцев мрачно следили за ним. Андрей поднялся в библиотеку, безразлично перелистал журналы, прошелся по коридорам, зашел в диспетчерскую.

Возбужденное оживление, которое всегда царило в этом большом зале, несколько рассеяло его. В диспетчерскую сходились нити со всех концов города, со всех станций и подстанций системы. Огромные планшеты вдоль стен показывали, какая линия передачи включена, где какой генератор в ремонте. На приборах можно было увидеть, как работает станция за сотни километров отсюда. Непрерывно вспыхивали лампочки на коммутаторе, несколько инженеров — помощников диспетчера — отдавали приказания включать и отключать агрегаты, принимали сводки, переговаривались со станциями. Слушая этот нестройный шум, обрывки фраз со знакомыми названиями заводов, учреждений, Андрей хорошо чувствовал, как бьется пульс огромного города. Он любил наблюдать за работой диспетчеров, требующей мгновенной сообразительности, колоссальной памяти и железных нервов.

Сегодня дежурил Степин. Каждый диспетчер обладал своим стилем. Степин отличался непроницаемым благодушием. По его мешковатой, лениво-небрежной позе невозможно было представить, что сейчас случилась авария: один из двух высоковольтных кабелей, питающих большой текстильный комбинат, пробился, и часть цехов пришлось отключить. Высланные на линию измерители сообщали, что найти место повреждения кабеля не удастся.

Притиснув трубку к толстому красному уху, Степин неторопливо объяснял:

— Делаем все, что можно, товарищ директор. Повреждение сложное. Обещать трудно... Может быть, часа два, может, и больше... Прекрасно понимаю, товарищ директор, приняты все меры.

Опираясь на локоть, он, полузакрыв глаза, выслушивал очередной взрыв возмущения. Толстая шея его чуть багровела, но лицо сохраняло спокойную благожелательность.

— Попробуй культурненько со всеми, — сердито сказал он Андрею. — Политика вазелина. А мне на ком

отвести душу?.. Звонят сюда от мастера до райкома. Там-тарарам. Дай я на тебе отыграюсь.

— Попробуй.

— Когда локатор кончишь?

Андрей рукой махнул — и не спрашивай.

На диспетчерский пункт зашел главный инженер, строго выслушал рапорт.

— Полторы тысячи рабочих стоят, — сказал он.

Степин одернул пиджак, ничего не ответил. Вспыхнула лампочка коммутатора. Степин поднял трубку, слышно было, как трещит мембрана под раскатами грозного баса. Лоснящееся безбровое лицо Степина скривилось, он приложил трубку к другому уху.

— Кто это? — спросил Дмитрий Алексеевич.

Степин прикрыл микрофон рукой:

— Главный инженер комбината.

— Дайте мне.

Степин с облегчением протянул трубку, крепко потер ухо ладонью.

— А-а, Ираклий Григорьевич. Выкипаешь? Здравствуй. Добился своего? Дофильтровался. Не злорадствую, а проверяю крепость твоих убеждений. Комбинат ни при чем? Ну, знаешь, комбинат тоже виноват, зачем терпит таких руководителей...

Андрей незаметно вышел. Через полчаса он был на комбинате. Он поехал туда без всякой цели, смутно надеясь чем-нибудь помочь измерителям и зная, что ничем помочь не сможет.

На большом дворе среди красных кирпичных корпусов был разбит цветник. Трава поблекла, последние осенние цветы осыпались. Асфальтовые дорожки, газоны были покрыты легкими, снежными пушками хлопка. По двору, разбившись на группы, гуляли работницы. У бетонного фонтана пели девушки. Многолюдней всего было возле подстанции. Там стоял синий автобус измерителей. Сквозь застекленные окна автобуса виднелась укрепленная на щитах аппаратура, глухо гудели выпрямители. Неподалеку, на низкой ограде палисадника, сидело человек шесть кабельщиков. Они ждали показаний измерителей, а пока что беззлобно и ловко отбивали сыпавшиеся на них шуточки ткачих.

Андрей обрадовался, заметив мастера Наумова. Он привык к наумовской бригаде, знал в ней почти всех. Вот и Якушев, с которым он плавал в бассейне... Андрей питал к кабельщикам особую привязанность. Вместе

с высоковольтниками они больше всех нуждались в его локаторе. А кроме того, они сами по себе были интересные, бывалые люди. По роду работы им приходилось бывать на всевозможных предприятиях, повсюду, где потребляли электроэнергию. Они сталкивались с телефонистами, дорожниками, газопроводчиками, со всей трудовой армией, обслуживающей подземное хозяйство города. Они знали породу грунта на каждой улице, первыми входили в курс новостей своего района, — без них никто не имел права строить, сажать деревья, ремонтировать мосты. Им первым показывали трассы новых улиц, новых бульваров; они знали, где и какой строят новый цех. Они изучали каждый дом: какая там нагрузка, хорошее ли там напряжение, даже какой там управхоз. Из этих бесчисленных сведений складывалось здоровье и целостность вверенных им кабелей: достаточно было малейшего недосмотра, и вколотенный где-нибудь на заднем дворе кол мог пробить кабель и вызвать аварию. Профессия заставляла их общаться с разными людьми больших и малых должностей — директорами и дворниками, энергетиками и милиционерами. Дочерна загорелые, обветренные, целый день работая на открытом воздухе, они действовали клином и кувалдой, разбивая глыбы мороженого грунта; они умели, стоя по колено в жидкой грязи, произвести ювелирно-тонкую, химически чистую пайку маленькой гильзы. Это были неунывающие, любознательные, готовые ко всяким неожиданностям мастера своего дела.

Наумов не торопясь рассказал Андрею, что поврежденный кабель имеет длину около двух километров, муфт на нем видимо-невидимо, а повреждение...

— ...Кто его знает! Вот Малинин колдует второй час, — заключил Наумов, чего-то не договаривая.

— Ну, а все же? — допытывался Андрей.

Наумов носком сапога поковырял мокрую землю, достал из глубины ватника алюминиевый портсигар, на крышке которого был выцарапан Пушкин с пистолетом в руке.

— Угощайтесь, своей набивки.

Андрей закурил, политично похвалил табачок.

— Муфты надо вскрывать, — вздохнул Наумов. — Способ дедовский, зато категорически верный. Тут у меня две муфточки по своим анкетным данным на подозрении.

— Чего ж вы ждете?

— По правилам безопасности, Андрей Николаевич, пока испытание идет, на линии нельзя работать.

— Но измерение можно прекратить, если вы уверены, что дело в муфтах.

— А я разве сказал, что уверен? — покачал головой Наумов. — Поручиться нельзя. Муфту вскрыть — на два часа работы. А вдруг окажется — не угадали? Вслепую играть — проиграть можно.

— Вскрывайте обе сразу.

— А может, я зря на них грешу. — Мягкое лицо Наумова сморщилось. — Напрасно вы меня пытаете, Андрей Николаевич. Есть у нас измерители — где покажут, там копать будем.

Андрей посмотрел на гуляющих без дела работниц и сердито сказал:

— Ответственности испугались?

— Вы меня ответственностью не корите. — Наумов не умел сердиться и стыдился этого. — Думаете, нам не совестно перед людьми сидеть тут и загорать?

Андрей пошел к машине. Вслед ему кто-то из кабельщиков сказал:

— Называются ученые. Учат их, учат — все без толку. Никакой помощи.

Молодой, ломкий голос Якушева тихо возразил:

— Не туда бьешь.

Андрей поднялся внутрь измерительной машины. Две трети ее занимала испытательная установка. В узком промежутке между задней стенкой и пультом сидел молодой техник Малинин. Насвистывая сквозь зубы, он смотрел на стрелки приборов.

— Свистишь? — спросил Андрей, пожимая протянутую руку.

— Успокаивает, — объяснил Малинин. Он, не оборачиваясь, ткнул пальцем в сторону двора. Остекленный кузов машины невольно притягивал глаза людей, на ней сосредоточились сейчас все надежды. В ней горели выпрямительные лампы, тихонько гудели трансформаторы, среди вынужденного безделья сотен людей, среди притихших фабричных корпусов это был единственный островок, где шла напряженная работа.

Молодые ткачихи в халатах, облепленных обрывками пряжи, в туго завязанных косынках, проходя мимо автобуса, насмешливо осведомлялись у Малинина:

— Эй вы, молодой человек... Москву поймали?

— Не мешайте ему, девчата, видите, товарищ занят — никак заснуть не может.

— Молодой человек, а вы не сделаете нам электрическую завивку своим аппаратиком?

— Хоть бы занавески были, — поежился Малинин, — а то словно стекла зажигательные на меня наставили. Дымиться начинаю...

Проверив запись и убедясь, что Малинин сделал все возможное, Андрей понял, что ему надо уйти, но уйти, ничего не сказав, было стыдно. И чем дольше он оставался, бестолково топчась на месте, тем труднее было уйти и тем виноватее он себя чувствовал. Никогда ни на одной аварии он не испытывал такого удушающего бессилия. У него не получалось с локатором — эти проклятые искажения! — он во всем виноват. Малинин и Наумов имели полное право упрекать его. Для чего он примчался сюда? Толкается, мешает, с умным видом задает вопросы и ничем не может помочь.

В стекло постучали — горбоносый мужчина в наспех накинута на плечи пальто манил Андрея пальцем.

— Главный инженер, — пробурчал Малинин и без видимой надобности стал перебирать рукоятки на пульте.

Андрей вышел из машины и попал в объятия главного инженера. Тот откуда-то уже узнал и звание, и должность Лобанова, беспокойная надежда мерцала в его глазах. Андрею стало горько и смешно оттого, что главный инженер заботливо взял его под руку и, заглядывая в лицо, спрашивал, как обстоят дела. Так обращаются с врачом, когда тяжело болен близкий.

Выслушав неутешительный ответ, молодой усатый технолог, который шел рядом со своим начальником, сказал возмущенно:

— Да понимаете вы, что цеха стоят! Мы программу срываем. Каждая минута — это сотни метров тканей!

— У них голова не болит! — сказал кто-то сзади.

— За что ж им государство денежки платит?

— Странно, — продолжал технолог, вызывая Андрея на спор, — странно, попробовал бы у нас инженер не знать, почему станок испортился.

— Мы бы такого инженера на тачке вывезли, — пробасила пожилая ткачиха.

— Ираклий Григорьевич, что ж людей держать, может быть, отпустим?

— Тогда придется, товарищи, в воскресенье работать, — останавливаясь, громко сказал главный инженер.

Работницы зашумели, слышались сердитые возгласы по адресу Лобанова, в нем видели сейчас виновника всех бед. Андрей растерянно оглядывался и повсюду встречал гневные лица. Ираклия Григорьевича оттеснили, он смешливо сморщился: «Повоюй-ка, дорогой ученый, с бабами».

— На воскресенье я из-за вас, товарищ начальник, не останусь, — кричала Андрею большеротая чернобровая бабенка. Она с силой тянула его за пуговицу тулупа, заставляя обратить на себя внимание. — Третий выходной штурмуем. Мне муж и так разводом грозит. Вы, что ли, будете за меня белье стирать?

Андрей осторожно высвободил пуговицу, но женщина сейчас же схватилась за другую и затараторила еще быстрее. Толпа вокруг Андрея увеличивалась.

— Аварийщики! — кричали ему. — Несознательные люди!.. Написать про них!

— Что за шум, а драки нет? — весело поинтересовался Наумов, пробиваясь на помощь Андрею. Чувство профессиональной солидарности взяло у него верх над недавней обидой. Кабельщики помогали своему мастеру с тыла:

— Ну и голоса, как это у них пряжа не рвется с таких голосов.

— Эти бабы что горшок: что ни влей — все кипит...

Внушительный рост Лобанова и то, что его вел под руку главный инженер, все это до сих пор несколько сдерживало женщин. Зато с тем большей злостью они взяли в оборот Наумова, с ним можно было не церемониться:

— Ты нашей пряжи не касайся, мы свое дело справляем.

— Не то что вы, загорать сюда приехали!

— Небось в наших штанах ходишь!..

Кабельщики подошли, защищая своего мастера, пуская в ход нехитрые испытанные шутки.

Андрей выбрался из толпы и, стараясь не попадаться на глаза главному инженеру, завернул в первый попавшийся цех.

Это была упаковочная. Пожилой маляр не торопясь, со вкусом надписывал на ящиках адреса. Из-под

кисточки тянулась черная вязь букв: «Запорожье. Горторг».

— Им сколько всего? — спросил один из плотников.

— Пять.

— Не выйдет. Больше готовых нет.

За верстаком плотник строгал доску. Что-то привлекло внимание Андрея, некоторое время он стоял, не понимая, что же именно заставило его остановиться. Желтая стружка завивалась вокруг рубанка, завивалась и спадала пышными буклями. Стружка... что-то связанное с этой стружкой...

Андрей потер висок.

Сзади кто-то окликнул его. Это был молодой технолог с усиками.

— Повреждение нашли, товарищ Лобанов! Все в порядке. Там вас спрашивают, — быстро говорил он, подходя к Андрею. — Никак вы производством нашим интересуетесь? Так вы сюда смотрите. Какая ткань! Синевато, а? Мягкий, глубокий цвет, мы над ним бились... — Он увлек за собой Андрея, приветливый, сияющий, безостановочно говорливый. Напрасно Андрей пытался вернуть недавнее томительно-напряженное ожидание, мысли его сбились.

У выхода они обогнули маленький строгальный станочек. Резец замер посередине пути, врезавшись в металл. Застигнутый в разгар работы, устремленный вперед, он был еще полон движения. Тонкий завиток стружки крутился у носика резца. Стружка, самая обыкновенная, в сиреневых отливах перекала, мокрая от мыльной воды, она косо торчала, скрученная в виток. Еще немного, еще последнее усилие — и деталь готова...

Андрей остановился, положил руки на мокрую холодную станину. Технолог продолжал что-то радостно рассказывать.

— Подождите, пожалуйста, — умоляюще попросил Андрей.

Он отломил стружку. Острые кромки впились в кожу. Андрей потянул стружку за концы, они сжимались и разжимались, пружиня, они напоминали ему броню кабеля. Он растягивал стружку, пока она не сломалась; тогда он нагнулся и поднял целый ворох колючих стружек. Лицо Андрея слегка побледнело. Технолог смотрел на него с интересом.

...Открытие всегда наступает внезапно. Сколько бы ни ждать, ни стремиться к нему, сколько бы раз оно ни

появлялось в мечтах, все равно в тот миг, когда оно возникает, единственное настоящее, оно подобно ослепительному взрыву. За какие-то секунды мозг Андрея представил стружку в виде специальной обмотки, которую вот таким же способом можно растягивать, изменяя характеристику. Если подключить такую катушку, то искажения скомпенсируются; он мысленно прикинул по формулам, как все изменится, — и все, все стало поразительно простым и ясным. Тут же, не выпуская из рук стружки, он принялся возбужденно объяснять технологю:

— Вы понимаете? Догадался! Вот здесь. Смешно! Как это просто. Тут и емкость, и индуктивность. Сделать вот такую катушку. Включить ее в разрез... А мы бились, бились...

Испуг, и радость, и недоверие горели в его глазах. Он говорил не умолкая. Вместе с технологом они поднялись к Ираклию Григорьевичу.

— Уже знаю, нашли, — сказал главный инженер, — у меня информация налажена.

Андрей растерянно заморгал:

— Откуда вы знаете?

— Порча найдена пятнадцать минут назад, — официально подтвердил энергетик, стоявший у стола главного инженера.

— Нет, не то, — рассмеялся Андрей. — Я нашел, как искажения уничтожить. Вы понимаете, там, внизу, у вас в упаковочной... На стружки смотрю. Если скомпенсировать... Понимаете, даже смешно... — И он снова начал повторять ход своих рассуждений.

Вероятно, никто из присутствующих, кроме энергетика, не понимал ни терминов, ни сути открытия Андрея, но все слушали его, сочувственно улыбаясь, поздравляли его и пожимали ему руку.

Он хотел было отодвинуть бумаги, положить перед Ираклием Григорьевичем свои стружки и рассказать все подробно. Потом он опомнился, смутился, отвел в сторону энергетика и, прижимая к груди промасленные стружки, опять стал рассказывать ему, как это все произошло. Он боялся, что ему не поверят, внезапность этой счастливой находки пугала его.

— Смотрю на стружку, и вдруг меня осенило, — возбужденно повторял он.

— Поздравляю, — рассеянно сказал энергетик. — Вот полюбуйтесь. Наш Ираклий сидит довольный.

А разобраться, так это он виновник аварии. Не хочет подстанцию строить. Ну, ничего, даром ему это не пройдет. Теперь мы ему организуем такой шурум-бурм...

Андрей вспомнил разговор с Дмитрием Алексеевичем.

— А что? Правильно, — засмеялся он. — Так и надо вашему Ираклию.

Он вышел в приемную и попросил у секретарши разрешения позвонить по телефону. Сперва он позвонил в лабораторию, а потом набрал номер Марины.

Он договорился приехать за Мариной на работу. Она сослалась было на дела, но он категорически заявил: «Мне во что бы то ни стало надо увидеть вас».

На площадке широкой мраморной лестницы Архитектурного управления Андрей столкнулся с тем самым молодым человеком, которого он впервые увидел с Мариной. Андрей обрадованно поздоровался. Он не обиделся даже на безразличный кивок, которым Вадим ответил ему, — ничто сейчас не могло нарушить его счастливого настроения. Высокие сводчатые коридоры, и бронзовые фигурные ручки тяжелых дверей, и толстая любопытная дама, которая помогла ему найти комнату Марины, — все казалось удивительно приветливым.

Ему пришлось подождать, пока Марина освободится: двое каких-то солидных мужчин — судя по разговору, строители — доказывали ей, что гранит для облицовки задерживается в пути.

Андрей сел в сторонке, наслаждаясь возможностью беспрепятственно наблюдать за Мариной. Никто не обращал на него внимания. Кроме стола Марины, в комнате было еще два стола, за ними работали сотрудники отдела, около них тоже сидели посетители. На стенах были развешаны эскизы проектов новых зданий, на подоконниках стояли какие-то деревянные модели. Все, что имело какое-то отношение к Марине, было ему важно и дорого.

Марина читала бумаги, которые совали ей строители. Солнце отсвечивало на ее медных волосах, и дымная тень от них падала на щеку. На ней был полосатый джемпер с короткими рукавами и глубоким вырезом на груди. Андрей впервые мог при дневном свете не торопясь разглядывать Марину и не упускал ни одной мелочи. Каждая минута приносила ему новые открытия.

Оказалось, что в ее грудном голосе могли звенеть повелительные нотки, что когда она сердилась, то волжское оканье усиливалось и пальцы быстро вертели карандаш. Еще он заметил впадинки по краям губ, — впадинки появлялись, когда она улыбалась, и были похожи на запяты.

Когда он вышел с Мариной на улицу, ему стало почти жаль, что он так мало ждал ее.

Звонок Андрея и обрадовал, и встревожил Марину. Она с удовольствием отвлеклась бы от своих горьких мыслей, но Андрей вкладывал какую-то излишнюю серьезность в их знакомство. Ее обрадовала их встреча, но она не понимала и боялась своей радости. И когда Андрей с жаром стал рассказывать о каком-то локаторе, искажениях, стружках, она успокоилась, и в то же время легкая досада уколола ее.

— Почему вы так долго не звонили? — спросила она. Равнодушие к его открытию расстроило Андрея.

— Я обиделся, — хмуро напомнил он, — а теперь... я был так рад, что не удержался.

Значит, все это время он хотел ее видеть. Это неуклюже скрытое признание, такое виноватое и неохотное, тронуло ее. Она была не прочь вызнать подробности, однако внутренний предостерегающий голос остановил ее.

Пока что она чувствовала себя с Андреем спокойно, хотя где-то в глубине бродила озорная мысль: а может ли его волновать что-нибудь, кроме приборов?

— Вы не торопитесь? — Она взглянула на часы. — Я обещала заглянуть на стройку.

Андрей не понимал, как можно спрашивать о таких вещах. Она повела его через мост и площадь к строящемуся дому. Андрей вспомнил, как он увидел здесь Марину.

— Да, я тут бываю, — сказала она. Строительство этого дома под ее контролем. Один из наиболее трудных объектов. — Между прочим, проект архитектора Хотинского. Не знаете такого? А Вадима помните?

— Как же, помню. — Ни малейшего недовольствия не отразилось на его лице.

Тогда она нарочно сказала:

— Чрезвычайно талантливый архитектор. А вы интересуетесь архитектурой? Надо будет вас познакомить.

— С Хотинским или с архитектурой?

— С обоими. — Марина засмеялась

— Вы... вы помирились? — внезапно спросил он.

Она ответила ему таким строгим молчанием, что он испугался.

Они подошли к стройке.

— Можно мне с вами? — попросил Андрей.

Они забрались на леса. Доски, поскрипывая, гнулись под ногами. Широкие плечи Андрея задевали перекладины, он перемазался известкой и был рад, что Марина не обращает на него внимания. Ступив на узенький переход на высоте третьего этажа, она закричала:

— Прора-аб! Никита Е-евсеи-ич!

Ей откликнулись сверху. Она попросила Андрея подождать, а сама полезла выше, гибкая, ловкая, бесстрашно перескакивая узкие, без оград настилы, похожая на рыжую белку.

Через четверть часа она спустилась с прорабом, продолжая на ходу спорить.

— Полюбуйтесь, — возмутилась она, подзывая Андрея. — Как они изуродовали фасад этими трубами!

Среди решетки лесов Андрей не рассмотрел ни фасада, ни труб, но был убежден, что фасад действительно обезображен, и удивился, как прораб мог противоречить Марине.

— А перегородки! — Она прыгнула через оконный проем в комнату. — Опять ставите кособокие перегородки.

— Тут уж мы ни при чем, Марина Сергеевна, — сердито сказал прораб. — Такие нам привозят с завода.

— А что ж вы принимаете?

«Умеет она их брать в оборот», — с удовольствием отметил Андрей.

Он никогда не задумывался, из чего складывается красота здания. Слушая Марину, он перебирал свои скудные, отвлеченные познания в архитектуре: цветовой колорит, выразительность силуэта, ансамбль... Он признавал свою безграмотность, отсутствие вкуса, и от этого ее работа представлялась ему недостижимой. А приборы... что ж, приборы может делать всякий, у кого есть терпение и знание. В глубине души он по-прежнему гордился своей сегодняшней находкой, но рассказывать об этом Марине было, конечно, глупо.

Она спускалась вниз расстроенная. У прораба тоже есть своя правда. Легко сказать: не принимай кривые перегородки. Ну хорошо, отошлют назад, а рабочие тем временем стоять будут?

— Вы не должны поддаваться, — горячо сказал Андрей, немедленно приняв ее сторону.

Его искреннее участие было приятно Марине.

— Значит, вас можно поздравить, теперь у вас все в порядке, — сказала она.

Андрей усмехнулся и промолчал.

Ей понравилось это молчаливое несогласие. А все же она была первой, к кому он спешил со своей радостью.

Ей было приятно думать об этом, идти вот так свободно, не под руку, не подыскивать слова, не обижаться на молчание.

Был теплый серенький день. Грустный и спокойный. Где-то на путях часто гудели паровозы. Цветочницы продавали бледно-зеленые букетики вьюнка. Марина не хотела говорить ни о чем... Она вдруг почувствовала, что боль, которая мучила ее так долго, исчезла... И Андрей покорно довольствовался ее молчанием и был рад, что видит ее, идет рядом. Он спрашивал, любит ли она гулять, нравятся ли ей стихи Пастернака, что она делает по вечерам.

Эти мальчишеские вопросы отвлекали Марину от тяжелых раздумий, связанных с Вадимом. В этом осенне-неярком, мягком, теплом дне было что-то схожее с тем, что творилось в ее душе. Впервые за последнее время ей было спокойно, тепло и по-доброму грустно.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Она сказала: «Значит, теперь уже все в порядке. Поздравляю». Рассказать бы ей, как далеко еще до конца... Тебе представилось в эту минуту все, что еще ожидает тебя и твоих товарищей, и ты промолчал. Только стиснул зубы и усмехнулся. Разве все расскажешь. Да и кому это интересно. Со стороны, конечно, кажется, что самое трудное позади. Принцип открыт, расчеты сделаны, узлы изготовлены, надо собрать макет, испытать его — и конец. Никаких особых событий, ярких страстей, опасностей, приключений. Чем тут хвастаться! Впереди вереница однообразных рабочих будней. Кропотливый и скучный с виду труд, уже без взлетов вдохновения, без всяких открытий, — тот труд, о котором не поют песен, не пишут стихов. Труд самый обыденный, черный, пахнущий потом, труд делания, труд-долг...

И все же сколько в нем радости и мучений. Взять тот же макет...

Художник, прежде чем писать картину, набрасывает этюды, он ищет в них, как бы убедительнее выразить свой замысел. Для этой же цели служит исследователю макет. Это грубый набросок, скелет твоей идеи. Здесь все еще подвижно, зыбко. Ты проверяешь по нему свои догадки, сомнения, тревоги.

Макет сделан, как со вкусом выражается Новиков, «на соплях». Прикручено, наляпано, бросовые детали — все кое-как, лишь бы держалось. Болтается изоляция, торчат концы проводов, детали соскакивают — этот обнаженный дрожащий уродец и есть, оказывается, воплощение твоей мечты. Такой ли она тебе представлялась?

И в довершение всего макет не работает. Говорят, что не было еще макета, который бы сразу заработал. У него слишком много для этого возможностей, и он жадно использует каждую. Кажется, устранены все причины, но он бездействует. Постепенно ты приходишь к мысли, что так и надо, что вообще все неверно, и ничего не выйдет, и зря ты морочил людям голову, тебе надо все бросить и пойти служить дежурным монтером. Ты завидуешь спокойствию окружающих. Тебя возмущает, что они могут смеяться, что у них есть аппетит, что они не собираются отказываться от нелепых предрассудков: спать хотя бы семь часов в сутки, изредка ходить в кино, думать о своих семейных делах... И это в то время, когда макет не работает! Для тебя это дико. Характер у тебя становится несносным. Общаться с тобой, утверждает Кривицкий, такое же удовольствие, как прикасаться к проводу с напряжением в тысячу вольт. Впрочем, все понимают — ведь это твой первый прибор. Когда-то и Кривицкий, и Рейнгольд, все они пережили подобное. Пройдет несколько лет, и ты тоже будешь относиться к таким вещам спокойнее и проще. А пока что Саша Заславский безропотно принимает на себя любую вину и даже Новиков прикусит губу, чтобы удержаться от резкого ответа.

Наконец, когда перепробованы все сложные теоретические догадки, обнаруживается виновник — это всего-навсего волосная проволочка. В укромном местечке она незаметно касалась корпуса, а ты в это время рылся в физических справочниках!

Волосок убран — и макет заработал. Он действует только для тех, кто с ним возится. Остальные опасливо косятся на него, как будто это автомобиль с надписью «учебная езда». Поминутно раздаются трески, проскакивают голубые искры, завывает трансформатор, пахнет гарью. Количество пережженных предохранителей перекрывает в эти дни годовую потребность всей лаборатории. Дело кончается тем, что на последнюю пробку наворачивается моток толстой проволоки, и пожарник, извлекая это вещественное доказательство, с уважением пишет в акте не «жучок», а «жук».

Но никакие мелкие неприятности не могут испортить твою радость. Ты тащишь всех сотрудников, своих и чужих, любоваться твоим детищем. Куда смотреть? Что тут надо увидеть? Никто не знает. Наиболее деликатные выжимают из себя пару вежливых фраз и поспешно отходят. К этому времени макет выглядит действительно страшно. Следы всех переживаний, заблуждений, скороспелых догадок запечатлены в каких-то чудом держащихся надстройках. Никто, кроме тебя, никогда не разберется в этом немыслимом клубке проводов, отпаяк, реостатов, блоков. И все же эта взъерошенная, страшная постороннему взгляду грудка работает! Макет живет! Он дышит живым теплом, светятся лампы, тихонько гудят дросселя, движутся стрелки, на экране переливаются зеленые импульсы. Какая-то таинственная, самостоятельная жизнь теплится в глубине связанных мыслью деталей.

Гордый, сияющий, ты приглашаешь начальство.

Существует непонятная, роковая, но совершенно железная закономерность — с приходом начальства макет немедленно перестает работать. Он ведет себя так, как будто он вообще никогда не работал. Это явление имеет даже специальное название — «визит-эффект». Начальству это хорошо известно, вас утешают: «Там, где кончается неудачный опыт, часто начинается открытие». Нет, к черту, с тебя довольно открытий, ты согласен, чтобы неудачи кончились без всяких открытий, лишь бы они скорее кончились. Когда ты остаешься один, тебя охватывает страстное желание растоптать всю эту мертвую кучу мусора. Новиков трясет прибор, дует на него, щелкает по лампам. Ничего не помогает. Проходит час, другой, последние попытки кончились, все сидят понутив голову, пришибленные, не в силах уже ничего понять. Саша вспоминает, что когда макет

работал, было пасмурно, а сегодня солнечный, жаркий день. Это нелепо, бессмысленно, но все, стыдясь друг друга, все-таки завешивают окно. Ты тупо смотришь, как Саша приносит ту же табуретку, на которой он сидел вчера, включая прибор, хотя ни табуретка, ни солнце не могут играть тут никакой роли и все это смахивает на какое-то шаманство, мистику и никакого отношения к науке не имеет. Ты молчишь, потому что предложить тебе нечего, и невольно смотришь на стрелку, не произойдет ли чуда. Стрелка холодно поблескивает вороненой синевой, никакие заклинания не могут сдвинуть ее с места.

Через два дня выясняется причина — редчайшая, уникальная, как хором заявляют все специалисты, — провисла нить в лампе. Эта нить нигде и никогда не провисала, кроме как в твоей лампе. Это даже очень интересно узнать, почему она провисла, рассуждают специалисты. Но тебе наплевать и на нить, и на ихние интересы. Макет работает. Ты включаешь его десять, сто, тысячу раз — и он безотказно действует. На экране мерцает зеленый всплеск... После стольких неудач нужен, обязательно нужен успех, хотя бы кратковременный, крохотный, нужен не только для тебя, но и для твоих соратников. Усталость, раздражение разом пропадают. С той минуты, как на экране заструилась зеленая волна, голоса начинают звучать по-другому, и каждый жест кажется особенным. Изменяется все вокруг, вся лаборатория, все люди словно возносятся на гребне этой изумрудной волны, преобразенные ее мерцающим счастливым светом.

Ты оглядываешься кругом — оказывается, уже глубокая осень, по ночам подмораживает. Днем небо яркосинее, холодное, и лишь к полудню солнце чуть пригревает. От этого прощального тепла, от горького запаха палых листьев грустно и тревожно. Забытые чувства и заботы медленно возвращаются к тебе. Задумчивая печаль ранних вечеров, когда час зажженных фонарей наступает все раньше, сердитая бодрость пронзительного, упрямого ветра. Вздутые осенние реки, закрытые сады. По улицам тянутся вереницы грузовиков с картошкой, пожелтелыми кустами для осенних посадок. Хочется надеть русские сапоги, поехать с Мариной за город, шагать по гулким дорогам, провожать улетающие косяки журавлей. Надо готовиться к зиме — привезти дрова, купить отцу валенки. Ты обнаруживаешь, что

давно открылись театры, Борисов справил себе новое пальто, а Новиков договаривается о свидании уже не с Олечкой, а с Зоенькой.

Жизнь снова стала чудесной. Начинается наиболее увлекательная часть работы — воспитание прибора, формирование его характера. Он не должен бояться помех, он должен стать чутким и независимым, неприхотливым и надежным.

Сперва обнаруживается, что прибор слишком чувствителен. Чуть тронул ручку — и стрелка мчится в конец шкалы. Уменьшил чувствительность — пропала устойчивость, добился устойчивости — снизилась мощность, и так изо дня в день. К прибору относятся уже как к отроку, пряча свою нежность за суровой требовательностью. Похожий на докучливого дядьку Усольцев обеспечивает прибор на всевозможные случаи жизни, добавляет туда всякие амортизаторы, предохранители, фильтры. Новикову нравится украшать прибор эффектными, только что выпущенными сопротивлениями в виде нарядных крохотных трубочек, он опробывает на приборе замысловатые ультрановейшие детали, схемы. При этом он постоянно мурлычет какую-нибудь смешную песенку, составленную из первых пришедших на ум слов, обращенных к прибору:

Еще такой ты неуклюжий
И косолапый,
И каждый может
Тебя обидеть.
А вот катушечка,
Ее сейчас
Мы здесь заменим,
И сразу станешь
Ты покладистой
И не будешь хныкать,
Что тебе слишком мало
Напряжения.

На разных этапах власть переходила из рук в руки. Теперь же все объединились, стремясь выжать из макета все, что можно. Это момент величайшего напряжения «умственного глаза», как говорил когда-то Одинцов.

После завершающего испытания макета ты чувствуешь себя опустошенным и, кажется, не способен на малейшее усилие мысли.

Приходит конструктор. Чувствуется, что ему наплевать на работу прибора, зато с нудным ожесточением он

допытывается, почему этот контур помещен справа, а не слева. Ты и сам не знаешь. Тебе всегда это казалось абсолютно безразличным. Мало этого. Он покушается на размеры дросселя. Ему, видите ли, надо уменьшить высоту дросселя. Этому сухарю нет никакого дела до твоих формул, и вообще он считает, что никакой высшей математики не существует, а есть на свете лишь размеры, габариты.

— Это разве прибор, — высокомерно морщится он. — Колтун это, а не прибор. Да-а, и вот из этой протоплазмы я должен сделать нечто конструктивное.

Он убежден, что самое трудное выпало на его долю. Разгорается торговля за миллиметры и граммы. Все ваши замыслы, волнения приносятся в жертву ради какого-то косячка или болта.

Но вот Усольцев приносит из КБ первые чертежи — и ты видишь, каким стройным, ладным стал твой прибор. Раздоры забыты, придирчивый конструктор принят в вашу семью. С ревнивым удовольствием вы замечаете, как растет в нем привязанность к прибору.

И вообще конфликт с конструктором кажется тебе чепухой по сравнению с тем, как встречают тебя в мастерских. Народ там бывалый, склонный все жизненные явления упрощать. Вместо эбонитовой прокладки обязательно всучат тебе гетинаксовую, поскольку, видите ли, гетинакс легче обрабатывать. Речь о важности заказа они слушают чуть прищурясь — слышали, мол, все заказы важные. Эх, стоило ли грызться с конструктором о форме какого-нибудь каркаса катушки, если все равно мастер будет ставить стародавний каркас, который завалился у него от прошлогоднего заказа. Всякие твои мечтания тут быстро «заземляют», переводят их на грубый язык расценок и нарядов, и оказывается, что великолепный переключатель Усольцева — невыгодная, «прогарная» работенка, которую никто не хочет брать.

Неожиданно, в первый раз, судьба слабо улыбается тебе: Саша в соседней лаборатории обнаружил новенький пластмассовый каркас, тот самый, о котором все страдали. Соседи встречают тебя с леденящей вежливостью. Сашин визит, твои необычно горячие рукопожатия вселяют в их души мрачные подозрения. Ты напоминаешь старшему инженеру о взятых у тебя таблицах — ничего, если надо, пожалуйста, пользуйтесь, — ты нахваливаешь нестерпимо желтую кофточку лабо-

рантки. Затем, как бы случайно, ты замечаешь каркас. Твоя рассеянная небрежность великолепна. «Забавный каркасик. Мы такой же заказали в мастерской». Хозяева ядовито усмеваются. Но ты стойко выдерживаешь независимый тон. «Он, пожалуй, нам подойдет. А как мастерские сделают, мы вам вернем». — «Знаем, как вы возвращаете, — отвечают хозяева. — Лампы брали, так и не вернули». Ты намекаешь, что вскоре у вас в лаборатории будет пущена вакуумная установка. «А нам она теперь ни к чему».

Торг длится долго. Уходишь. Возвращаешься. Опять уходишь. Берешь измором. Владыки каркаса выдвигают жесткие условия: помочь им в таких-то измерениях, вернуть взятые лампы, поставить на время к себе два баллона с кислородом, потому что у них нет места. Согласен на все. Все же сразу отдать каркас им обидно. Дают на неделю, хотя знают, что каркаса им больше не видать. Он торжественно уносится в мастерскую. Туда забегаешь каждую свободную минуту. Забегаешь просто так — приятно посмотреть, как делается прибор. Порядок в мастерских строгий — вмешиваться не позволяют, но беспокойство твое чувствуют. И как бы Кузьмич ни ворчал на твое нетерпение, все же оно ему больше по сердцу, чем спокойная, никем не тревожимая работа над «заказом-сироткой», которым никто не интересуется.

Однажды под вечер звонок из мастерской. «Зайдите». — «В чем дело?» — «Зайдите», — повторяет Кузьмич с такой угрожающей убедительностью, что, бросив все дела, немедленно являешься. У верстака стоит угрюмый конструктор и молча смотрит на разложенные в строгом порядке детали. Узел не работает. Вообще его даже не собрать, но если кое-как составить, то он не работает. Что же делать? «В кулек надо», — отвечает Кузьмич. Он тоже расстроен, и поэтому лицо его ненатурально приветливое. Ему несколько не жаль ни тебя, ни конструктора. То есть как это в кулек? «Не знаете, что такое кулек?» — ласково переспрашивает Кузьмич. Он берет газету, ловко сворачивает ее фунтиком. Вот вам кулек, положите в него детали и ступайте себе с богом...

Только теперь ты начинаешь понимать. Дело не в том, что вы где-то что-то напутали. Вместо того чтобы расписывать важность и срочность заказа, надо было собрать народ и объяснить им, как прибор действует, для чего он предназначен. Стоит это сделать — и мастерская из исполнителя превращается в соучаст-

ника. С тобой не заговаривают уже о расценках и рублях, и подаренный кулек отберут назад... Если сумеешь задеть за живое смекалку людей, то тебе подскажут такое, о чем самому никогда не догадаться.

Последний день, когда прибор стоит в сушильной камере, — самый тяжелый. В лаборатории все готово к приему долгожданного гостя. Старый макет поставлен на полку. На завтра утром ты приходишь в мастерскую и застаешь у закрытых дверей всю свою группу.

Получив прибор, вы уже не можете оторваться от него, пока не запустите. Бесполезно обращаться к тебе в эти дни с какими-нибудь делами. Скапливаются нераспечатанные письма, неподписанные бумаги, умолкают безответные телефонные звонки.

Локатор работает с перебоями, захлебываясь. Вы оба словно привыкаете друг к другу. Доделок много, мелких, досадных, но за это время локатор обрел множество друзей — приходят рабочие из мастерских, приходит конструктор, приходят даже бывшие владыки каркаса. Все они охотно помогают, теперь никто не отказывает прибору, никому ничего не жаль, лишь бы локатор как следует работал.

А какой он красавчик! Полированные панели свежо пахнут лаком. Все сияет, блестит никелем, краской. Серебристо-морозные кожухи экранов, выпуклые глазки сигнальных лампочек. А как умело расположены крохотные конденсаторы, как аккуратно выгнут каждый провод. Рукоятки настроек вращаются с плавностью почти нежной...

В конце дня прибор отказывает. Окончательно. Бесповоротно. Все это уже было, и от этого страшно, как будто чья-то неумолимая рука сбросила тебя вниз, и надо начинать все снова, как будто все вернулось к началу. Нет, больше у тебя нет никаких сил. Это какой-то кошмар. Всякий раз, когда кажется — вот-вот конец, все срывается и летит, все пропало. Отвращение к себе, к работе, к своей работе переполняет тебя. Но это минутная слабость. Дни прошлых отчаяний и неудач не прошли бесследно. Сейчас главное — в горячке чего-нибудь не напутать. Ты прогоняешь всех домой, и сам тоже уезжаешь. Дома выясняется, что уехал ты зря. Ни отдыхать, ни спать невозможно. Оперетта, которую транслируют по радио, — пошлая, подушка слишком жесткая, папиросы горькие, а в голове, как клещ, неотвязная, сосущая мысль — не проверил того, не испро-

бовал этого. Ночь проходит в полудреме — все проверяешь и проверяешь. Нет, вроде все правильно, нигде нет ошибки...

Утром Саша конфузливо признается: он в спешке поставил старую батарею. Она валялась, забытая, уже много лет и, наверное, только от изумления в первые часы дала несколько вольт. Даже некогда сердиться. Потому что, как только старушку сменили, прибор начинает работать безупречно. Вот когда он появляется в полном блеске своих качеств. Он позволяет выделять с собой любые трюки, он преодолевает любые препятствия. В каждом его действии проявляется выдумка, вложенная всеми, начиная с тебя, еще в те далекие дни, когда возник принцип действия, и вплоть до Валерки — ремесленника-краснодеревца, смастерившего на удивление всем хитроумный футляр с ловким потайным запором.

Над стендом, где стоит прибор, — полка, и на ней запыленный макет. Ты смотришь на него — и словно оглядываешься назад, на долгий путь, проделанный вместе с этим прибором. Каждый из вас отдал ему кусок своей жизни, и в нем отпечатался и твой характер, и что-то от Новикова, от Усольцева, от Саши.

И на всем этом пути с трудом вспоминаются одно-два ощущения счастья. И то они длились минуты, их тотчас заслоняла тревога новых поисков, новые заботы, препятствия. Кажется, что не то что счастья — никакой настоящей радости вовсе не было. Ради чего ты тратил столько сил? Так стоило ли?.. Подожди, а *получать* — стоило? С каждым новым контуром, новым узлом ты ведь что-то получал, что-то прибавлялось и к тебе самому. Сколько появилось у тебя новых идей, замыслов. Тебе хочется исследовать новую систему возбуждения, ты придумал новый принцип автоматизации котлов... Ты тоже стал сильнее, опытнее, ты уже никогда не будешь раскаиваться в своем призвании. Разве Сашу сравнишь с тем наивным, разбросанным, не нашедшим себя пареньком, который начинал с тобой составлять первую схему? А Усольцев?..

Пройдет пятнадцать, а может быть, десять лет. Где-то по шоссе едет аварийная машина. На сиденье, поглядывая в окно, сидит Саша, теперь уже инженер Александр Евгеньевич Заславский. Волосы его поредели, на переносице морщинки. Рядом с ним какой-нибудь конопатый, вроде Пеки, парнишка. Идет дождь. За ли-

монной дымкой осеннего леса чернеют голенастые опоры линии передач. Ткнув носком сапога твой облезлый, серийного выпуска локатор, каких уже сотни на всех линиях и станциях, этот незнакомый тебе паренек ворчит:

— И когда мы наконец выкинем это старье? Пора смонтировать телелокатор на главном пульте — и делу конец. А то тащись тут в такую слякоть. Уже атомных станций настроили, а мы тут все еще с локатором шаманим.

А Саша, Александр Евгеньевич, смолчит, улыбнется, вспомнив, как это было. Вот уже и локатор — старье. Ну что ж, молодость по-своему права...

Приближалось первое полное испытание локатора. Через всю лабораторию от стены к стене протянулись туго натянутые медные провода. К полудню под поздним октябрьским солнцем они вспыхивали ярко-оранжевым блеском. Толстые черные кабели, извиваясь, ползли между столами. Саша натирал, чистил, снова натирал сияющий никелем локатор — уже не макет, а первый образец. Распоряжения Лобанова он выполнял с небывалой стремительностью. Отрапортовав, ждал нового приказа, готовый сорваться, лететь, нести, пасть — все, что угодно, с нетерпеливой надеждой, что это конец. Как назло, по мере приближения долгожданной страшной минуты движения Лобанова становились все более медлительными; посвистывая, он лениво прохаживался из угла в угол, руки в карманах, участливый ко всему, кроме локатора. Саша несколько раз, будто случайно, оказывался у него на пути, Лобанов обходил его с той же осторожностью, с какой обходил лабораторные столы. Усольцев поминутно сморкался, Саша знал за ним эту смешную привычку. Другие, волнуясь, курили или потирали руки. Новиков жевал одну за другой ириски, а Усольцев вынимал большой полосатый платок и сморкался.

— Что-нибудь надо еще, Модест Петрович? — спрашивал его Саша.

Усольцев смотрел на него как бы издалека:

— Перестань вертеть паяльник, сломаешь.

Саша даже не обиделся. Узкий человек этот Усольцев.

Саше хотелось вот так же, как Лобанов, ходить вперевалочку и насвистывать «Кари глазки», но при всем желании он не мог заставить себя сохранять спокойствие. Вчера Нина с преувеличенным безразличием завела разговор о локаторе. Вероятно, Саша хватил лишку в своем рассказе, потому что она довольно едко проехала насчет его роли в предстоящем испытании. Правда, он не растерялся: «Во всяком случае, ваш Тонков скоро будет иметь бледный вид». — «Посмотрим», — сказала она. Тогда и он сказал: «Посмотрим». — «Напрасно стараешься, — сказала она. — Только в книжках пишут, что нравится тот, кто план выполняет или чего-нибудь там изобретает. На меня лично такие достижения не действуют». Он хотел было спросить, кого она имеет в виду, но Нина поспешно отошла, оставив за собою последнее слово. Женские маневры! После поездки в лесопарк Саша держался с Ниной сожалеюще-покровительственно. Ничто другое не могло сильнее уязвить ее самолюбие. Она выходила из себя, но он мужественно выдерживал принятый тон. Обычно их столкновения заканчивались ссорой, и все-таки она каждый раз первая выискивала повод снова заговорить с ним.

Сегодняшнее испытание должно было многое решить. Он заготовил неплохую фразу: «Конечно, что касается романов, ты, Нина, права, только все же человеку интересна та девушка, которая верит в него».

Новиков и Усольцев последний раз проверили, — как будто ничего не забыто, остается включить рубильник и повернуть рукоять настройки. Усольцев спрятал платок в карман.

— Ну что ж, — сказал Новиков, — начнем, пожалуй!

Андрей остановился перед локатором, и все четверо несколько секунд молча смотрели на прибор.

Новиков незаметно толкнул Андрея в бок и показал глазами на Сашу. Андрей кивнул.

— Включай, Саша, — сказал Новиков.

На мгновение Андрея охватило желание отвернуться или выйти в другую комнату.

Посредине молочно-серебристого экрана вспыхнула трепещущая зеленая змейка. Саша медленно повернул рукоять настройки. Острый изумрудный всплеск становился все более четким. Дрожание замирало. Саша нарочно медлил — ему хотелось подольше насладиться,

растянуть эту чудесную минуту. Еще один поворот, теперь можно прочесть деления.

Острие зеленого пика точно указало расстояние до места повреждения.

Саша поднялся. Ему казалось, что сейчас все начнут кричать, обниматься, соберут митинг. «От имени комсомольцев и беспартийной молодежи мы поздравляем маленький коллектив группы Лобанова, который...»

Вместо этого Усольцев оглушительно высморкался и сказал:

— Расхождение всего на одну сотую.

А Лобанов, как будто ничего не произошло, как будто они производили самый обычный опыт, усталым голосом предложил проверить, не отклоняется ли пик с течением времени. Он взял у Новикова ириску, сунул ее за щеку, и они стали подсчитывать на линейке. Подошел Рейнгольд и посоветовал еще что-то проверить. Никого не обнимали, никто не плакал, никто не кричал «ура».

Оставались частности, кое-какие грешки, которые надо было устранить, «довести». В период «доводки» локатора как-то само собой получилось, что основную работу прибрал к рукам Усольцев. У него появилась самостоятельность, он настаивал на своем, ни в чем не уступая Новикову и убеждая даже Лобанова. Он сумел увлечь Андрея своими ненасытными поисками совершенства, стремлением отделать каждую мелочь. Опытный и осторожный, Усольцев отучал Андрея от пренебрежения к деталям. Фантазию Усольцева питал Рейнгольд, время от времени он подсказывал какое-нибудь новое хитроумное испытание, заинтриговывая и Усольцева, и Андрея.

Эти бесконечные оттяжки раздражали Новикова, он требовал немедленно перейти к полевым испытаниям. Лобанов отказывался. Между ними все чаще вспыхивали споры.

Однажды, подбирая конденсаторы, Новиков получил редкой формы и величины разряд при низком напряжении. Несмотря на свою беспорядочность, легкомыслие, Новиков обладал качествами, без которых немислим ученый: острым, наблюдательным глазом и страстным любопытством к трудно объяснимым фактам. Сперва он решил, что этот разряд — случайность, проделал новый опыт — повторилось то же самое. Лобанов не сумел дать

никакого толкового объяснения. Новиков перерыл литературу и ничего не нашел.

Лобанов признавал, что обнаруженное явление может представлять интерес для науки, и тем не менее категорически запретил Новикову заниматься дальнейшими исследованиями. Нельзя было распылять силы. Он посоветовал Новикову сообщить о своих наблюдениях в институт — пускай теоретики разберутся. В конце концов, лаборатория — это не Академия наук, следует придерживаться разумных границ. Его доводы не подействовали на Новикова. Отказаться от такого блестящего случая ради тягомотины, которую развел Усольцев вокруг локатора, — как бы не так! Новиков кровно обиделся на Лобанова. В глубине души Андрей жалел его, но твердо стоял на своем. В их работе можно достигнуть цели, только беспощадно отсекая все постороннее, каким бы заманчивым оно ни казалось. Его самого не раз подмывало исследовать какую-нибудь схему. Но он закрывал глаза, уши, гнал непрощенные мысли, заставлял себя думать об одном, только об одном.

Размолвка с Лобановым усиливалась не только оттого, что Лобанов не позволял заниматься «великим открытием», но и оттого, что Новикову изрядно наскучила работа над локатором. Яркие моменты встречались все реже, чаще процедура была невероятно скучная: снимать характеристики, строить по точкам кривые, выяснять, почему этой точке вздумалось прыгнуть куда-то в сторону. Иногда два дня уходило на то, чтобы переместить точку на какой-нибудь миллиметр, а Усольцев сиял, как будто им удалось невесть что. Эта мышинная возня, эти восторги Усольцева выводили Новикова из себя. Саша Заславский разделял его нетерпение. А Усольцев придумывал все новые проверки. По мере того как приближалась пора выезда на линию, им овладевал страх оторваться от привычного распорядка лабораторных опытов. Ему казалось, что можно еще что-то улучшить, еще что-то переделать; он прерывал работу, заставляя возвращаться назад, несмотря на ожесточенное сопротивление Новикова.

Просторная площадка во дворе перед лабораторией превратилась в склад. По требованию Усольцева сюда привозили все новые барабаны кабеля всевозможных сечений и марок: обвитые пахучим смолистым джутом, голые, в синеватой стальной ленте, в тусклой свинцовой

оболочке, толстые, толщиной в руку, и тоненькие — в палец.

Недовольство медлительностью Усольцева нарастало. Приближалась отчетно-выборная партийная конференция, и Борисов хотел закончить к открытию конференции ряд работ, и в первую очередь — локатор.

— Они не понимают, что осторожность — лучшая часть мужества, — жаловался Усольцев Андрею.

Эта формула понравилась Андрею. Он вдруг перестал торопиться. Чего он ждал? Сообщения Григорьева о том, как прошло испытание его схемы в опытах с дугой? Но Григорьев уехал в командировку, и в НИИ у Тонкова никто не мог ответить Андрею, каковы результаты испытаний. Может быть, Андрею не хватало внутренней уверенности? Но чем дольше он медлил, тем больше сомнений у него появлялось. Мало ли какие неожиданности могут встретиться в реальных условиях. Вероятно, виною всему была его усталость. Он очень устал.

Единственным человеком, кому он мог признаться в своей слабости, была Марина. Но и она не знала, что посоветовать. Она понимала, что ему надо отдохнуть. Как-то сама пригласила его в театр. Прогулки их стали продолжительнее.

Но держалась она по-прежнему настороженно. Всякая попытка Андрея к откровенности заставляла ее сжиматься.

Она боялась откровенности Андрея. Боялась и не хотела, потому что самое страшное для нее было бы сейчас новое разочарование.

Она могла порвать с Вадимом, однако продолжала встречаться с ним, мучилась, еще любила в нем свою первую большую любовь. В тот вечер на даче, когда появился Андрей, для нее многое определилось в отношениях с Вадимом. Это было начало конца. И Андрей тут был ни при чем, да и сейчас он был ни при чем. Она никак не могла забыть той убийственной фразы Вадима: «Ну, разумеется, я люблю тебя», его лениво-спокойного тона: «Ну, разумеется...»

Этот человек, талантливый, интересный, острый, был лишен самого главного — пылкого сердца. Он только принимал радость, ничего не отдавая взамен. Такова была его натура, блестящая и холодная, способная на увлечение, но не способная на любовь. Марина понимала это, ей было еще труднее. Порой ей казалось, что вообще

не существует той прекрасной, огромной любви, которой она хотела. Может, так и бывает, что сперва мужчина ухаживает, добивается близости, а потом принимает как должное завоеванное чувство? Если так, то не нужно ей ничего. Она поняла, что на ее месте могла оказаться и другая женщина. И в то же время она знала, что Вадим готов жениться на ней.

Андрей, сам не зная того, помог проявиться в ней этим мыслям и чувствам.

Марина инстинктивно противилась серьезным и тревожным отношениям, в которые тянул ее Андрей. Он не догадывался об этом. Она никогда не рассказывала ему о Вадиме. А он видел, что исчезает всякая надежда изменить характер отношений с Мариной. Ему казалось, что дружеское внимание входит у нее в привычку, и становилось страшно, что ничего другого между ними быть не может. Это убивало в нем последнюю уверенность в себе. У него не хватало сил для последнего рывка. Состояние нервной неуверенности словно пропитывало все его чувства, проникая в работу.

С прежним упрямством он отклонил все доводы Борисова ускорить окончание работы над локатором. Он назначил медлительного Усольцева своим заместителем по группе, восстановив против себя и Новикова, и Сашу. Долго так продолжаться не могло. Рано или поздно должен был произойти взрыв.

Они все слишком устали от напряженной, сумасшедшей работы.

Это случилось в тот день, когда Андрею принесли новый прибор для измерения емкостей. Куском замши он стер легкую пыльцу с поверхности стекла.

— Вот это точный прибор, — сказал из-за плеча Усольцев. — Не чета старому. С ним мы можем уточнить кое-какие данные локатора.

— Правильно, — подтвердил Андрей.

— Начинается, — громко сказал Саша. — Министерство оттяжек и проволочек заработало.

— Как вы сказали? — медленно, угрожающе переспросил Андрей.

Новиков выступил вперед, отодвинув Сашу:

— Удивительно, Андрей Николаевич, сколько можно толочь воду в ступе? Усольцеву дайте волю, он будет еще год ковыряться.

— Поработайте с мое... — начал Усольцев и полез в карман за платком.

Новиков махнул рукой:

— Старая песенка! — Он повернулся к Лобанову. — Я уверен: если бы вы сами вникли как следует в смысл наших последних работ, вы бы давно прекратили их.

Неприятно улыбаясь, Андрей сузил глаза:

— Так, так. Выходит, я перестал разбираться, что к чему?

— Во всяком случае, — напряженно сказал Новиков, вытягивая шею и весь приподнимаясь, чтобы смотреть Андрею прямо в глаза, — во всяком случае, Усольцев командует вами, как ему вздумается.

— Мною? — Ноздри Андрея задрожали. — Не ваше дело, кто кем командует. Он мой заместитель. Выполняйте его распоряжения. Вы слишком много рассуждаете.

— А вы... вы мастер с других спрашивать. — Новиков побледнел и, подчеркнуто сбавив тон («Я сдержался, заметьте»), сказал: — Андрей Николаевич, мы так сорвем все сроки.

Демонстративная сдержанность Новикова привела Андрея в бешенство:

— Не ваша забота! Пока что за работу отвечаю я.

— Почему это не наша забота? — срывающимся голосом вмешался Саша.

— Вы слишком много берете на себя, Андрей Николаевич, — снова вытянул шею Новиков. — Мы не ваш прибор делаем.

— А чей же? Ваш? Вы его изобрели? — крикнул Андрей, чувствуя, что он уже говорит не то.

Распаленные накипевшей обидой, они заговорили уже не слушая друг друга, не обращая внимания на окружающих. Борисов попробовал вмешаться, Андрей сверкнул на него глазами.

— Слушай, ты еще... Критикой можешь заниматься на собраниях. Здесь я приказываю.

— А я отказываюсь выполнять такие... — Новиков скрипнул зубами, но все поняли, какое слово он хотел произнести, — ...приказания. Никаких измерений больше не нужно. Понятно? И я докажу это!

— Это займет у вас еще неделю, — с трудом улыбнулся Борисов.

Андрей изо всей силы ударил кулаком по столу:

— Довольно! Ни в каких доказательствах я не нуждаюсь. А вы, товарищ Новиков, если отказываетесь, то прошу... подавайте заявление. Обойдемся! — И добавил

с наигранным спокойствием:— Товарищ Усольцев, сегодня же начинайте измерения.

Он повернулся и пошел к себе. Молчание провожало его до дверей кабинета.

Четыре шага в один угол, четыре в другой. Так шагают, наверное, по своей камере заключенные. Новиков будет его учить! Нашелся наставник!.. Подходя к дверям, он невольно прислушивался. Из «инженерной» доносился обычный приглушенный говор, шум отодвигаемых стульев. Подаст ли Новиков заявление? Ничего, найдем на его место. Усольцев — тот, наверное, струхнул, не знает, куда податься. Помощничек... Андрей был уверен, что стоит ему выйти из кабинета в «инженерную», и там сразу же возникнет враждебная тишина. А наплевать ему на их настроения. Он уверял себя, что ничто не мешает ему выйти из кабинета, проверить, как идет работа; наоборот, неудобно должен себя чувствовать Новиков, Саша, да все они! Он сел, пробовал заниматься, снова вставал, ходил, четыре шага в один угол, четыре в другой.

Закурив, он прислонился к косяку дверей. Слышно было, как в «инженерной» Нина сказала:

— У них не допросишься.

Очевидно, жаловалась Майе на Сашу Заславского. Сама избегает просить Сашу — и жалуется. Те тоже хороши. Сколько раз он предупреждал Новикова и Сашу: не жадничайте, просят — давайте, подумают, нарочно мешаете Устиновой.

Андрей собирался было толкнуть дверь, в это время слышались громкие быстрые шаги.

— Дочка!— крикнул в «инженерной» Ванюшкин.

Андрей улыбнулся, за дверью тоже раздался смех, поздравления.

— Три двести!— Это снова Ванюшкин.— Родилась в девять часов двенадцать минут. Не мало? Майя Константиновна, а что можно нести в передачу?

— А как здоровье?

— Все в порядке. Шоколад можно? Я купил пять плиток и кило винограду.

— Шоколад можно,— важно сказала Нина,— виноград нельзя.

— Откуда ты знаешь? Не слушай ее, Ванюшкин,— сказала Майя.— Виноград можно.

— Ну, я побежал, — заторопился Ванюшкин.

Андрею всегда казалось, что в его кабинете тихо и ничего не слышно из соседней комнаты.

Нина предложила послать жене Ванюшкина цветы.

— Что за смысл, — хозяйственно сказал Краснопевцев. — Дарить — так вещь.

— Ерунда. Подарок должен быть абсолютно бесполезный, — сказал Кривицкий. — Такие подарки дольше всего хранятся.

— Тогда купим контрабас, — сказал Новиков. — Конгениально.

Андрей отошел от двери. Его возмущало, как это Новиков может острить, словно ничего не случилось, а остальные смеяться. Они все заодно. Все оправдывают Новикова и осуждают его, Лобанова. И Кривицкий, и Борисов — тоже вместе с ними. И Краснопевцев. Все товарищи, хорошие товарищи... Снова, как тогда в разговоре, он чувствовал, что говорил не то, не теми словами, так и сейчас, лезли какие-то ненужные, обидные и жалостливые мысли. Он снова подошел к двери. Там спорили, какую надо купить новорожденному коляску, и собирали деньги.

Неужели его не пригласят участвовать в подарке?

Несколько раз он выходил, проходил насквозь все комнаты лаборатории, не решаясь нигде задержаться, надеясь, что его остановят, спросят...

В обеденный перерыв Нина и Майя пошли покупать коляску, а у него денег так и не попросили.

Работалось плохо. Почему не идет Борисов? К черту, никаких объяснений. Андрей позвонил Марине. К сожалению, сегодня вечером она занята. Он не собирался ей ничего рассказывать, но стоило ему узнать, что они не увидятся, как ему отчаянно захотелось поделиться с ней своими неприятностями. Почему так скверно все складывается?..

Борисов зашел вечером после конца работы. Андрей не поднял головы от стола, озабоченно продолжая писать.

— Послезавтра партбюро, — сказал Борисов, не сядя, как обычно, и не ожидая, пока Андрей кончит писать.

— Прорабатывать меня собираешься?

— Будем обсуждать ход работы над локатором.

— Докладывать буду я?

— Нет. Докладывать будет Новиков.

Андрей тяжело засопел.

— По какому это праву он будет докладывать? Пусть сначала научится работать, а потом докладывать.

— Новиков твое приказание выполнил, — сказал Борисов.

— То-то, — буркнул Андрей.

Борисов пригладил волосы и вдруг спросил с любопытством:

— А что, трудно перепрыгнуть через это самое? — Он повертел пальцами в воздухе.

Прекрасно понимая, о чем идет речь, Андрей пожал плечами:

— Через что? Куда прыгать?

Он ждал, что Борисов смутится, начнет оправдываться, уговаривать Андрея одуматься... Но Борисов только молча двинул бровями. Угловатое лицо его с нависшим большим носом было полно такого неприступного, спокойного превосходства, что Андрею стало не по себе. Постояв и как будто убеждаясь, что Андрей ничего другого сказать не может, Борисов повернулся, закрыл за собою дверь, и Андрей слушал, как, постепенно замирая, звучали его шаги по лаборатории.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЯТАЯ

В тот же вечер Андрей на улице Восстания встретил Марину. Она шла под руку с Вадимом Хотинским. Андрей рванулся было в сторону, потом передумал и, поскверкивая исподлобья глазами, пошел навстречу. Без тени смущения Марина издала кивнула головой, потом вдруг озорно и отчаянно усмехнулась, остановила Андрея и познакомила его с Вадимом. Она смотрела, как они пожимают друг другу руки: Вадим — не скрывая насмешливого изумления, Андрей — мрачно выпятив челюсть, ошетинаясь, посапывая.

— Пройдемтесь с нами. — Марина взяла Андрея под руку и незаметно сжала его локоть, как бы упрашивая не противиться.

Втроем они медленно двигались среди гуляющей вечерней толпы. Свет витрин падал на тонкий профиль Вадима. Острый вырез ноздрей придавал его лицу презрительно-высокомерное выражение. Рядом с ним Андрей чувствовал себя грубым, неотесанным верзилой. Лицо широкое, скуластое, рот огромный, высоченная

нескладная фигура... Он страдал при мысли, что Марина, вероятно, сейчас тоже сравнивает.

— Свернем в этот кабачок, — предложил Вадим.

Следовало распрощаться и уйти — и шагать по мокрым улицам навстречу моросящему дождю, горько наслаждаясь своим одиночеством. Выпадают ведь в жизни такие несчастливые дни. И все-таки он пошел с Вадимом и Мариной, хотя знал, что ставит себя в ложное положение.

Низкий душный зал кафе был тесно заставлен столиками. На маленькой эстраде в углу играл оркестр. Они шли вдоль обитых синим бархатом лож — впереди Вадим, за ним Марина, за ней Андрей. Вадим искал свободный столик, он пересекал зал ленивой походкой, никого не обходя, не уступая дороги, в полной уверенности, что его пропустят, кому-то улыбнулся, непринужденно помахал рукой. Любопытные взгляды он принимал как должное. Пожалуй, он был бы удивлен, если бы на него не обратили внимания. Он выбрал столик, привычным жестом открыл меню, подал Марине.

— Что будешь пить? — спросил он.

Он был с ней на ты. С холодным отчаянием Андрей копил приметы их близости.

Прижимаясь плечом к Марине, Вадим рассказывал веселую историю об артистах, сидевших напротив. Его влажные губы были совсем близко от щеки Марины. Искоса поглядывая на артистов, она улыбалась, словно не замечая угрюмого молчания Андрея.

Вадим разлил вино по рюмкам. У него все получалось красиво.

Вадим не обращал внимания на молчание Андрея, его не обижало, что Андрей не смеется его шуточкам. И Андрей чувствовал за всем этим презрение к себе за то, что он не восхищается им, не умеет так элегантно одеться, не остроумен. И это презрение подавляло Андрея, еще сильнее сковывало его.

Чокнулись. «За дружбу», — предложила Марина. Вадим посмотрел, как бы снисходя, в глаза Андрею, влажные губы его изогнулись в улыбке. «Ах да, вы здесь, — говорила его улыбка, — ну что ж, вы мне не мешаете и не можете помешать».

Андрей залпом выпил рюмку, поспешно поставил ее, сунул руку под стол, крепко сцепив пальцы.

Если бы Вадим чувствовал опасность, ревновал, чем-то старался выиграть в глазах Марины, все это было бы

понятно. Но он относился к Андрею с равнодушной вежливостью человека, бесконечно уверенного в том, что Марина принадлежала и принадлежит ему. В истинном характере их отношений Андрей теперь не сомневался. И в то же время он отчетливо видел, что этот равнодушный человек не дорожит близостью, скорее позволяет любить себя, чем любит сам. И вот это-то больше всего разъяряло Андрея. Он до бешенства был оскорблен за Марину.

Тягучие звуки скрипки мешались со стеклянным звоном бокалов.

Зайчик от лезвия ножа вспыхивал в черных глазах Марины, никогда еще она не выглядела такой красивой, как в этот вечер.

— Отчего вы скучаете? — мягко спросила она Андрея.

— Хочу есть, — сказал Андрей. — Яичницу долго не несут.

Вадим улыбнулся, не пытаясь скрыть притворность этой улыбки. Марина посмотрела на Андрея, словно ожидая, когда же он наконец придет в себя.

— Вы помните, Андрей, того прораба на стройке? — вдруг сказала она. — Карнизы-то он переделал!

— Так и надо, стойте на своем, — угрюмо отозвался Андрей.

Вадим иронически улыбался, скучая смотрел по сторонам. Извинившись, он встал, подошел к соседнему столику и о чем-то заговорил со знакомыми. Потом, обернувшись, позвал Марину. Она подошла, он представил ее, завязался шутливый разговор; мужчины, улыбаясь, разглядывали Марину.

Марина вдруг покраснела и быстро вернулась на свое место. Возвратился и Вадим. Он снова разлил вино, мечтательно поднял рюмку.

— Подождите, — неожиданно попросил он, словно прислушиваясь к чему-то. Он поставил рюмку, рассеянно погладил лоб кончиками пальцев, осторожно, не меняя позы, достал большую, переплетенную в кожу, записную книжку, карандаш и начал стремительно рисовать. На бумаге возник силуэт сельского коттеджа с башенкой на крыше, с большим эффектным арочным окном.

— Простите меня, — весело сказал Вадим. — Тебе нравится, Марина? — Он вырвал лист и протянул ей. Рисунок действительно был выразителен.

— Мило. Очень мило, — задумчиво сказала Марина. Андрей ожесточенно заскреб вилкой по сковородке, подбирая остатки яичницы. Теперь его интересовало одно: каким образом Марина избавится от него и уйдет с Вадимом? В том, что она сделает это, он не сомневался.

Выйдя из кафе, они миновали проспект и пошли по слабо освещенному бульвару. Было холодно, сырой ветер толкал их в спину. Пахло прелыми листьями и дождем. Марина подняла воротник, сбоку Андрей видел лишь кончик ее носа.

— Поэзия падающих листьев. — Вадим запрокинул голову. — Полюбуйтесь: черное небо, и на нем светло-лиловые разрывы облаков. А вот еще более густая чернь деревьев. Любопытно, способен ли человек, далекий от искусства, почувствовать все богатство оттенков этой, казалось бы, непроглядной тьмы?

Марина вдруг засмеялась.

— Ты что? — спросил Вадим.

— Так... А вам, Андрей, нравится такая ночь?

— Чего хорошего, слякоть, мерзкая погода, — зло ответил Андрей. Наступило неловкое молчание.

— Зачем же так сурово, — сказал Вадим. — Надо уметь отовсюду извлекать красоту. — Он усмехнулся. — К сожалению, для многих из нас мир лишен красок. Мы становимся полуслепыми, видим только черное и белое. Как будто у нас атрофировался орган поэтического восприятия жизни. — Он повернулся к Андрею, но смотрел не на него, а на Марину. — Теплота женской кожи, краски вечерней зари, музыка бесхитростной речушки — некогда воспринимать эти тонкости. Вот температура раскаленной болванки или, как его там, напор гидростанции — это нам ближе.

— Лет тридцать назад, — сказал Андрей, — один английский философ тоже взывал: слезы Вертера или белый уголь!

Вадим обошел лужу с плавающими палыми листьями.

— Конечно, Вертер для нас пережиток, — досадливо сказал он, стараясь снова попасть в ногу. — Любить так, как он, мы, к сожалению, уже не можем. К дню рождения мы преподносим любимой таблицы логарифмов.

Марина, не мигая, смотрела прямо перед собой, над краем воротника блеснули уголки ее глаз.

Андрей выдернул свою руку из ее руки, остановился, расставив ноги, преграждая дорогу Марине и Вадиму. Они стояли перед ним вдвоем, Марина продолжала держать Вадима под руку. Славная парочка! Как в детской игре — третий лишний. Все беды этого дня, сплавленные в один ком, заворачались у него в груди. Андрей нащупал в кармане старую пуговицу, стиснул ее так, что она переломилась, обломки больно впились в ладонь.

— Послушайте, вы... — сказал он, смотря на подбородок Вадима.

Вадим, холодно усмехнувшись, перебил:

— У вас, конечно, больше лошадиных сил.

Он держался храбро, и Андрей на мгновение устыдился, но затем вспомнил о всех унижениях этого вечера.

— Да, лошадиных сил у меня больше, — сказал он, вертя в кармане обломки пуговицы. — Поэтому... — он неожиданно усмехнулся, — поэтому я могу с вами как со слабым. То есть доказательно. Вы тут насчет поэзии красок. А известно вам, что такое цвет? Вы сколько различаете цветов? Двадцать? Сто? А я больше. Существует, к вашему сведению, спектроскоп, и человек давно уже может этим спектроскопом различать тысячи оттенков. Человек не слеп! Я понял ваши колкие «мы», кого вы имели в виду. Нас, технарей, жалеть нечего. Человек научился видеть в глубине стальной болванки и изучать рельеф на Марсе. Он ощупывает радиоволной Луну. А эти закаты и ручейки... над ними вздыхал и средневековый кавалер... Что же, выходит — дальше ни черта? Что же, мы беднее его? По-вашему, поэзия осталась для исключительных личностей? Черта с два! Поэзии теперь в тысячу раз больше. Только другая у нас поэзия, новая. Я тоже могу любоваться ручейком, но для меня куда прекрасней стихия реки, укрощенная волей моих товарищей. Скажем прямо: убогое воображение у этих ваших личностей средневековья. Они разве способны представить себе, что кругом нас, вот здесь, — Андрей раскинул руки, — бушуют радиоволны, кричат на всех языках дикторы, гремят оркестры. Слышите? Сколько, по-вашему, весит луч солнца?

— Луч солнца? — переспросила Марина.

— Да, был такой физик Лебедев, и он взвесил луч солнца. Вот кто был настоящий поэт.

Марина стояла, уткнувшись в воротник. Лицо ее окаменело. Андрею она показалась чужой. Стоит чужая женщина, и рядом с ней этот противный, ненавистный человек. Он вдруг замолчал, чувствуя, что наговорил не то, не теми словами... Если бы он умел так красиво говорить, как Вадим! Ну как выразить все, что теснилось у него в душе! Проклятая немота!..

— Какой пафос! — деланно усмехнулся Вадим.

Андрей не слушал его. На душе у него стало пусто и спокойно.

Дальше все трое шли молча. На трамвайной остановке Марина вдруг сказала:

— Простите меня... У меня что-то голова болит.

Она не оглядываясь побежала и вскочила в трамвай.

Андрей и Вадим остались вдвоем. Они постояли, не зная, о чем говорить, не чувствуя ничего, кроме неловкости. Вадим пожал плечами и направился к стоянке такси. Андрей повернул назад.

За ширмой спала пятилетняя дочь Софочки, поэтому Марина и Софочка говорили вполголоса, и это мешало Марине. Ей сейчас все мешало. Скинув туфли, она забралась с ногами на тахту, обхватила колени, потом подвернула правую ногу под себя, потом легла лицом на руки, — она никак не могла найти удобной позы.

Софочка перед зеркалом расчесывала волосы.

— Чем же все-таки тебя так восхитил Андрей? Что он такое говорил? — спросила она. — Вот уж трудно представить...

— Про свою физику... В общем, я не могу повторить. — Марина закрыла глаза. — Ты бы видела, какое у него было лицо. Я не подозревала, что он такой... Знаешь, он словно приоткрылся...

— Не понимаю все-таки, чем тебе Вадим плох?

Марина вскочила, стиснув вышитую подушечку:

— Ты знаешь, когда у меня так скверно было на работе, меня уволить хотели — я отказывалась акт по приемке подписывать, — я приехала к нему. Ничего мне не надо было, только несколько теплых слов. Какое-то участие почувствовать. Что ты на свете не одна... А он... предложил остаться переночевать. Ты знаешь, во мне как будто что-то хрустнуло и сломалось.

Они долго в зеркале смотрели друг на друга. Софочка медленно усмехнулась:

— Глупая ты девчонка. Да они все такие.

— Он холодный. Он не любит. Он просто не способен любить. Он хочет только брать, ничего не давая.

— Ну, милая моя,— рассудительно начала Софочка,— это все блажь. Где у тебя гарантия, что и Андрей не окажется таким же?

— Не может быть... Нет, нет!

— Волосы лезут,— вздохнула Софочка. Она швырнула гребенку и резко повернулась к подруге.— Когда на мужиков смотришь как на женихов, все по-другому выглядит. Я смотрю на вещи трезво. Андрей, конечно, милый, но ведь таких инженеров тысячи. А у Вадима блестящее будущее. Он чертовски талантлив. И не бабник. «Холодный», «холодный»,— передразнила она.— Никто с тобой весь век, обнявшись, не просидит. Его к рукам прибрать, он будет послушный, как теленок. Чего тебе еще надо?

— Как ты ловко смирила... Тебе легко рассуждать,— запальчиво сказала Марина и тут же осеклась. Софочка закинула руки за голову. Кукольное личико ее сразу постарело.

— Да, мне легко. Потому что меня никто замуж не возьмет. Кому я нужна с ребенком?

Марина прыгнула с тахты, в одних чулках подбежала к Софочке, обняла ее.

— Я дуреха... Прости меня... Ну не надо...

Дернуло же ее за язык!

Студенткой техникума Софочка вышла замуж за своего однокурсника. Муж ее кончил техникум, поступил в институт. «Ничего,— говорила она,— дочь отдадим в детский сад, сама пойду на службу, как-нибудь проживем». Он был очень раздражителен, ее Костя, он не терпел ни малейшего шума. Иногда, когда ребенок капризничал, она, чтобы не мешать мужу заниматься, уходила с дочкой на улицу и часами сидела в садике. Особенно тяжело приходилось зимой. Временами он утешал ее: «Дотяну до диплома, ты тоже начнешь учиться, все будет хорошо». Ему нужно было приличное пальто, костюм, она брала на дом чертежи. Она подурнела, измоталась, начала прихварывать. Когда Костя защитил дипломный проект, он сказал ей: «Посмотри на себя, в кого ты превратилась. Меня такая жена не устраивает». Банальная история, как говорила Софочка.

— ...А я теперь и сама не пойду замуж,— сказала Софочка.— Думаешь, я не могла бы найти кого-нибудь? Сколько угодно! Только я, Мариша, теперь умненькая.

Так — пожалуйста. Чем мне плохо? Вольная птица. Вот только... — Голос ее надломился. — Зойке отец, конечно, нужен. Но отца — его труднее найти, чем мужа.

Они долго сидели, обнявшись, молча.

— В Вадиме... я к нему... привыкла. Я знаю, какой он, — нерешительно сказала Марина, — а может, все наладится, Софочка?

— Вот видишь.

— Да, Андрей — совсем другой... Я сама не знаю, что в нем... — Марина легла лицом на подушку. Бисер царапал ей лицо. Софочка осторожно гладила ее по голове.

— Я думала, любовь — это так, — сказала Марина, — захватит и понесет, и думать не надо, все само...

— По любви нам, бабам, выходить вредно, Маринка, — тихо сказала Софочка. — Заездят...

— Андрей, он даже боится дотронуться до меня. Ты знаешь, он под руку меня не решается взять. И это так хорошо.

— Пропадешь, как и я.

— Что ж теперь будет? — Марина подняла голову, на лбу, на щеке ее горели красные вдавлилки от бисера.

— Не слушай ты меня. — Софочка вдруг всхлипнула. — Это я все по себе меряю. А ты люби. Все равно.

Они легли спать вдвоем на тахте. Ночью Марина проснулась. За окном стучал дождь. В разбавленной уличными фонарями синеве мелькали блески капель. Марина вытянулась, достав ногами холодный край простыни. «А все-таки я люблю его», — сказала она, и некому было спросить ее — кого.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ШЕСТАЯ

Прослышав о конфликте между Лобановым и его группой, Долгин предложил Борисову перенести разбор дела в партком. Борисов наотрез отказался от такой помощи. Ни за что он не позволит устроить расправу над Лобановым. Сами разберемся, сами, на заседании партбюро лаборатории.

Впервые он почувствовал себя сильнее Лобанова. Происходило это не только потому, что Андрей был неправ, но и потому, что на стороне Борисова, Новикова и Саши оказался весь коллектив. Лобанов остался один

и, несмотря на свою гордость и упрямство, был довольно беспомощен.

Однако по мере приближения заседания бюро Борисов все больше волновался. Хватит ли у членов бюро духа осудить Лобанова, сумеют ли они противостоять его воле, его авторитету? Взять, к примеру, механика Жукова. Студент второго курса заочного института, для него каждое слово кандидата наук Лобанова — закон. Да и другим непросто идти наперекор начальнику. Из членов бюро одна Майя Устинова открыто настроена против Лобанова, но ей как раз выгодно поддержать его стремление затянуть работы — тогда ее группа получит возможность вырваться вперед. Словом, Борисову было отчего тревожиться.

Бюро началось сообщением Новикова. Он начертил диаграмму, показав на ней, какие результаты достигнуты в работе над локатором за последние два месяца.

Кривая резко шла вниз, падая до нуля. Новиков так и сказал: «Практически выход новых данных равен нулю». Приводил он одни факты, не касаясь поведения Лобанова во время их стычки, не показывая своей обиды. Факты выглядели убийственно. Андрею было бы нетрудно признаться — ну, погорячился, наговорил лишнего, — тут же его били в самое чувствительное место. Виновником этой хитрой и безжалостной тактики он считал Борисова.

Каждый из членов бюро был, в сущности, подчиненным Андрея, каждому он мог приказать, и привык к тому, что они исполняли его приказания. Но здесь никто из них не подчинялся ему, они осуществляли волю партии, они были властны над ним. Признавая их силу и власть, он сейчас боялся ее, но в то же время радовался ей, потому что, как бы его ни ругали, в чем бы его ни обвиняли, он больше не был одинок. Отвратительное состояние одиночества, которое он испытывал эти три дня, казавшиеся ему месяцами, — это состояние сейчас кончалось. Как никогда он ощущал сейчас себя членом партии, и уже одно это исключало мысль об одиночестве.

И все же самолюбие заставляло его упорствовать: прибор молодой, беззащитный, любая случайность может скомпрометировать всю работу, поэтому надо десятки раз примерить, прежде чем выпустить его на линию и даже на полевые испытания.

Жуков говорил наклонясь, то и дело подтягивая начищенные голенища сапог, мучительно подыскивая самые мягкие слова:

— Никто вашего от вас не отнимет, Андрей Николаевич. Люди, наоборот, беспокоятся, а вы их отпихиваете. Мое. Опять же самокритика у вас не на уровне жизни. Это самое «мое», вот оно-то и связало вас. Будь вы какой командир, а без солдат... сами знаете. Дисциплина у нас, конечно, сознательная, только ведь и с другой, то есть с вашей, стороны, Андрей Николаевич, тоже сознательность требуется. — Он все теребил голенища сапог, стараясь не смотреть на Лобанова. А Лобанов писал и писал в блокноте и все на одной строчке.

Борисов встал и сказал:

— Андрей Николаевич позабыл, кто делал локатор. Вся лаборатория. Десятки людей помогли нам. И Григорьев, и Любченко, и главный инженер, и мастерская. Ты сам старался пробудить инициативу у Новикова, у Заславского. А когда самостоятельный ход их мысли пошел вразрез с твоим собственным, тебе это не понравилось. Так выходит? Сцена с Новиковым была безобразной. Никакими нервами тут не отговоришься. Коммунист обязан считаться с мнением коллектива. А ты о своем авторитете беспокоился и сам его наполовину уничтожил. Вот сейчас что ты возражал Новикову? Это ведь жалкий лепет!..

Борисов знал: если бы он сейчас, на бюро, стал добиваться от Лобанова признания своей ошибки, тот ни за что не сделал бы этого. Дело не в словах, а в том, чтобы Лобанов извлек для себя урок, перестал тянуть волюнку с локатором. В этом Борисов не сомневался.

Майя Устинова не выступала. Когда читали решение, она спокойно поправила:

— Не вообще ускорить, а пусть составят себе точный график.

— Такие указания партбюро не может делать, — вяло вскинулся Лобанов. — И так уж...

Майя продолжала смотреть на Борисова, как будто не слыхала возражения Андрея. Чистые серые глаза ее глядели твердо и строго. В эту минуту Борисов простил ей все грехи последних месяцев: и враждебную замкнутость, и непримиримые отношения с Лобановым, и союз с Потапенко, Долгиным и всей их компанией. Понимал ли Лобанов всю принципиальность, партийность ее поведения?

И Майя, и Жуков, и Новиков — все они, со своими слабостями, недостатками, здесь, на партийном бюро, превращались в несколько иных людей. Ответственность и доверие коммунистов как бы подымали их над собственными слабостями, очищали их от мелкого, личного. Всякий раз, наблюдая и испытывая на самом себе эти превращения, Борисов переживал радостное удивление.

Решением бюро Лобанову указали на неправильное поведение с Новиковым и Заславским и обязали перестроить работу по локатору.

Обстановка сразу разрядилась. Правда, Андрей сохранял вид человека несогласного и вынужденного подчиниться, но в глубине души был доволен, и прежде всего тем, что отношения его с сотрудниками сразу восстановились, невидимая перегородка исчезла.

Единственный, на кого он продолжал сердиться, был Борисов. И не то чтобы он сердился, — ему не хотелось самому делать первый шаг к примирению.

Это и раздражало, и развлекало Борисова, его позиция была неуязвима, рано или поздно Андрей должен сознаться в этом. Однако, зная самолюбивую натуру Лобанова, Борисов избегал, что называется, переживать. Так можно надломить в Лобанове ту, пусть иногда резкую, опасную и все же привлекательную, независимость суждений, которая составляла его силу.

По средам Лобанов и Борисов посещали Университет марксизма-ленинизма. Обычно они встречались ровно в половине восьмого на автобусной остановке у театра и ехали вместе. На этот раз, не желая навязывать Лобанову свое общество, Борисов пришел на четверть часа раньше. На остановке стоял Андрей. Они одновременно взглянули на освещенные висячие часы, потом друг на друга и улыбнулись — Борисов весело, Андрей нехотя.

— Думал успеть еще конспект перелистать, — хмуро, как бы оправдываясь, сказал Андрей.

— Я тоже, — великодушно поддержал Борисов.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ СЕДЬМАЯ

В полутьме грязной лестницы сверкали лунные глаза кошек, из раскрытых дверей валил кухонный чад, запахи менялись от этажа к этажу, где-то жарили рыбу,

потом запахло щами. На каждой двери висело по несколько почтовых ящиков и длинные расписания звонков. Андрей думал о том, как много надо еще строить, чтобы избавиться от этой скученности. В коммунизм не въедешь с коммунальной квартирой.

Было удивительно, что он мог спокойно думать о посторонних вещах, совершенно не волнуясь оттого, что с каждой ступенькой приближался к Марине. Впрочем, с той минуты, как он решил увидеть ее, он холодно и спокойно приготовился к самому худшему. Она любит Вадима. Ну что ж, Андрею надо услышать это от нее. Он не мог больше жить в этом тяжелом состоянии неопределенности.

На большой шумной кухне никто не обратил на него внимания, — хозяйки спорили о каких-то веревках на чердаке.

И грязная лестница, и спор о веревках несколько не оскорбляли сейчас Андрея, все это как нельзя более подходило к тому состоянию беспощадной трезвости, в котором он находился.

Выбрав удобный момент, он спросил, как пройти к Марине Сергеевне. Та, к кому он обратился, неприязненно осмотрела Андрея.

— По коридору направо, вторая дверь.

Он прошел сквозь строй любопытных глаз, невесело усмехаясь своей бесчувственностью.

Это была большая, в два окна, комната; несколько кроватей отгорожены ширмами; посередине, под низким пышным абажуром, стоял массивный стол, за ним, разложив на клеенке тетради, занимался пятнадцатилетний мальчик, брат Марины, похожий на нее разрезом таких же, чуть скошенных глаз. У окна, поставив на подоконник зеркало, брился пожилой мужчина в подтяжках. Мать Марины расставляла в буфете посуду. Толстая, низенькая, она с живостью обернулась к Андрею, исподтишка встревоженно посмотрела на дочь, окинула взглядом комнату, поправила ногой половики и сдернула с плеча мокрое полотенце.

Марина сидела на скамеечке, подвернув под себя ногу, и перебирала бруснику. Рядом на полу стояли большая корзинка и тазик, куда она ссыпала очищенные ягоды. В руке у нее был стакан.

Увидев Андрея, она замерла. Он поздоровался и, стоя в дверях, комкая кепку, сказал:

— Я вам звонил на работу. Вас все не было. Проходил мимо, решил узнать, не случилось ли что с вами.

— Я болею... на бюллетене, — проговорила Марина, продолжая сидеть все в той же позе, давя в руке ягоды. Оба они словно оцепенели.

По дороге сюда все казалось Андрею простым и ясным. Он войдет и скажет... Но теперь, когда он увидел ее, все стало сложным и непосильным. Он объяснил себе это тем, что они не одни. Но это была пустая отговорка. В сущности, он не замечал в комнате никого кроме Марины. Он был уверен, что его приход рассердит или по крайней мере удивит ее.

— Марина, что же ты, — сказала мать. — Раздевайтесь, пожалуйста.

Андрей вопросительно посмотрел на Марину. Она вскочила, подошла, держа на весу мокрые руки с прилипшими листиками брусники. Пока Андрей разделся, подошел к каждому поздороваться, он сумел успокоиться. Марина снова села на скамеечку. Он пристроился рядом, на стуле. Зачерпнув пястку ягод, он перекатывал их на своей широкой ладони, сосредоточенно выискивая соринки, чувствуя себя хорошо оттого, что руки заняты. Можно было подумать, что он пришел сюда ради того, чтобы перебирать бруснику.

— Чего вам пачкать руки? — сказала Марина.

— Нет, нет, пожалуйста, — настаивал он.

— Тогда уж бросайте в стакан, а не в миску.

— Почему в стакан?

— А чтобы знать, сколько стаканов, — раздраженно сказала она. — Сахар ведь по счету надо класть.

Ее возмущало его спокойствие. У нее самой все трепетало внутри, она не замечала, что внешне она кажется такой же спокойной и сдержанной, как он. И оттого, что ей было трудно, а ему легко, ей хотелось смутить его.

Она решила спросить, зачем он пришел, но сразу же подумала, что это будет слишком.

Она поймала встревоженный взгляд матери и вдруг подумала, что Андрею, который видел ее до сих пор в совершенно другой обстановке, наверно, смешно видеть ее в переднике, с измазанными руками.

— Неравноправие было и есть, — сердито сказала она. — Изобретают всякие приборы и реактивные самолеты, а женщины моют посуду и перебирают бруснику, как сто лет назад. Вот вы, ученые, что вы сделали, чтобы освободить женщину?

— То есть как это... Электрический утюг... концентраты... — неуверенно перечислял он.

Она рассмеялась и вдруг поняла, что ему сейчас тоже очень трудно.

— А кто вам мешает? — сказал отец Марины, намыливая щеку. — Изобретайте сами, у нас, слава богу, ученых женщин хватает.

— Ну конечно, — сказала Марина, досадуя, что разговор стал общим. — По-вашему, женщина только и способна изобретать картофелечистку.

Понимая ее досаду и радуясь этой досаде, Андрей заговорил тише. Она стала отвечать ему тоже тихо. Они одновременно взглянули друг на друга и вдруг покраснели. И с этого мгновения все, о чем они говорили, уже не имело никакого отношения к тому действительному, понятному только им одним смыслу, который они вкладывали в свои слова.

— Я опять бросил в миску, — волнуясь, сказал Андрей, и это означало: «Вы еще сердитесь на меня?»

— Ну ничего, я прибавляю к счету, — улыбнулась Марина, и это означало: «За что же на вас сердиться?»

— Вы серьезно болели? («Почему же вы мне-то не позвонили, если не сердились?»)

Она поняла его, но побоялась ответить на этот вопрос.

— Я, кажется, сбилась со счета, — сказала она. — Не то девятнадцатый, не то двадцатый.

— Это я виноват, — он посмотрел ей прямо в глаза: «Мне не надо было приходить».

— Ничего подобного, — тихо сказала она.

— Вы... вы не ждали меня? — со страхом, почти беззвучно спросил он, но ей казалось, что все в комнате слышали; она жарко покраснела и громко, сердито сказала:

— Сколько все-таки времени уходит на эту пустую работу.

Он не смел поднять глаз, смотрел на ее мокрую, в розовых пятнах ладонь, на стакан, зажатый между ее колен.

«Если она выкинет сейчас эту черную брусничинку, — загадал он, — тогда все это правда».

Что значила эта правда, он даже страшился подумать. Это было что-то такое огромное, непонятное, прекрасное, к чему невозможно было прикоснуться даже в мыслях.

— Марина,— сказал он.

И в ту же секунду их окружила непроницаемая тишина. Они больше ничего не слышали. Руки ее вздрогнули и опустились на колени. Андрей с усилием, как-то рывками поднял голову. Сперва он увидел ее шею, с ямочкой у груди, потом круглый подбородок, потом глаза, ждущие, неестественно застывшие. «Не надо,— говорили они,— не надо, не сейчас». — «Я тоже боюсь,— отвечали его глаза.— Но я не могу больше. Вы понимаете?»

— Я понимаю...

Роняя ягоды с колен, она молча встала, вышла из комнаты. В длинном коридоре она зашла в темный тупичок, где стояли старые сундуки. Казалось, еще совсем недавно она с девчонками забиралась сюда. Они рассказывали страшные истории и болтали про мальчишек.

Слезы быстро, маленькими горячими каплями показались по щекам, она ловила их, выставив нижнюю губу, сдерживая дыхание, чтобы не разрыдаться. Почему она плакала — она не знала. Ей было очень хорошо и грустно. Она жалела, что так скверно все сложилось, что она больна и ей нельзя выйти на улицу и остаться с Андреем вдвоем. Ей стало обидно, что она не может выслушать его признания, как он ее любит...

А вдруг все это ей показалось? Ведь, в сущности, ничего не было сказано.

«Ну и ладно,— успокоенно подумала она.— Пускай Ничего так ничего...»

Она вдруг рассердилась на Андрея за то, что он такой несмелый, хотя там, в комнате, она смертельно боялась, чтобы он не сказал ничего такого.

Никакие законы акустики не могли объяснить Андрею, почему, когда Марина вернулась в комнату, все, о чем он говорил с отцом, с братом Марины, разом выключилось, как будто он перестал их слышать. Вежливо улыбаясь, он быстро кивал, повторяя: «Да, да, конечно». Отец Марины стоял, держа в руках флакон одеколона; на шее у него шевелилась кожа с засохшими пленками мыла, он открывал и закрывал рот, но Андрей слышал лишь, как Марина за ширмой шуршала платьем.

Она вышла из-за ширмы без передника, в темном платье. Почему-то у нее покраснели веки, и она улыбалась Андрею. Он опять начал все слышать и сказал:

— Подождите-ка, Сергей Куприяныч, я не согласен. Строить так строить. Каждой семье отдельную квартиру. И никаких компромиссов.

Они ощущали особую, как казалось им, не видимую никому связь, которая возникла в этот вечер. Встречаясь с Андреем глазами, Марина принимала равнодушно-деловой вид, боясь, чтобы Андрей не выдал себя, и в то же время сердясь за то, что он так хорошо держится. Каждую минуту, даже не глядя на Андрея, она с точностью могла сказать, смотрит ли он на нее и какое у него сейчас выражение лица. Это незримое общение отделяло их от всех людей и делало их счастливыми.

Перед уходом Андрей спросил, когда они увидятся. Она вспомнила свои слезы в коридоре.

— Когда?.. На той неделе.

— Сегодня среда, — недоуменно сказал он.

— Ну вот. В понедельник позвоните на работу.

Они стояли у дверей возле вешалки. Андрей держал в руках пальто. Он взглянул Марине в глаза и вдруг тихо и весело сказал:

— Мы увидимся послезавтра. В пятницу. После-завтра.

— А если нет?

Андрей спокойно повесил пальто на вешалку:

— Тогда... сяду и буду ждать в коридоре.

Она не сомневалась, что он так и сделает, и от этого почувствовала себя совершенно счастливой.

— Хорошо, — недовольно сказала она. — И пятницу, только ненадолго.

То, что происходило затем в течение сорока восьми часов, не имело никакого отношения к Андрею. Он ходил на работу, что-то делал; обедал, и ел с аппетитом; спал, и спал крепко, но внутри у него все замерло. Он давно примирился с тем, что стрелки всех часов остановились; ему казалось непонятным, как это когда-то он мог жаловаться на быстротечность времени. Теперь он мечтал об одном — заснуть и проспать все эти сорок восемь часов.

Он проснулся 26 октября в семь часов вечера. Была пятница. Рядом шла Марина. Падал первый снег. Крупный, мокрый, он быстро падал и таял, касаясь асфальта.

Этот вечер состоял из каких-то кусков, бессвязных впечатлений, точно выхваченных из тьмы.

Облокотясь на перила, они стояли перед огромной витриной книжного магазина, и Андрей говорил:

— Я теперь ничего не могу без вас... Куда идти, что делать? Я никогда не знал, что это такое... Я способен сейчас...

Марина впитывала каждое его слово. А Андрей запомнил лишь, что она просила:

— Ну еще... говорите...

И почему-то запомнил в витрине книжку в желтом переплете, на котором было написано: «Ядовитые и съедобные грибы».

Потом они очутились на людной привокзальной площади. Снег пошел сильнее, и они укрылись в высоком мраморном вестибюле вокзала.

— Что вы подумали, когда встретили меня с Вадимом?

— Я подумал, что он образованнее, красивее... интересней...

— Самое ужасное, что все это верно, — засмеялась она, — и я дура.

Андрей расстегнул пальто. Толпа пассажиров вынесла их на перрон. Они дошли до самого конца длинного дощатого перрона. Там было темно. Марина поднялась на цыпочки, Андрей увидел совсем рядом ее узкие глаза, ему стало больно от их света, он зажмурился и поцеловал ее.

Никто не обращал внимания, мало ли целуется народу на перроне, но им казалось, что все смотрят на них.

— Что же мне теперь делать? — бессмысленно спрашивал Андрей. — Как же мне... Ты уйдешь домой. А я?

— Я люблю тебя, — сказала Марина.

— Этого не может быть. Меня не за что любить.

— Я люблю тебя.

— А я еще тогда... помнишь, на той платформе, ты ходила...

Они раскрывали свои тайны, рассказывали, как это началось, что они думали друг о друге, какими видели друг друга, о чем мечтали, на что сердились. Они изумлялись, как они могли сомневаться...

В этот вечер все поезда только приходили, все люди только встречались, все поцелуи были только поцелуями радости, и казалось, что так будет всегда.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВОСЬМАЯ

Предлагая Рейнгольду свое соавторство, Виктор преследовал две цели: во-первых, прекратить разговоры о том, что Потапенко затирает работу Рейнгольда; во-вторых, и это было главное, соавторство помогло бы ему упрочить свою техническую репутацию. В глазах руководства и в министерстве он стал бы одним из тех руководителей, которые не только умеют администрировать, но и сами не перестают работать творчески.

Зная характер Рейнгольда, Виктор не мог предположить отказа. Очевидно, дело не обошлось без участия Лобанова. Могли возникнуть неприятности. Пришлось с помощью Долгина срочно уволить Рейнгольда. Прибегать к помощи Долгина было неприятно. Виктор побаивался какой-либо зависимости от этого человека. Стоило Долгину почувствовать шаткость положения Потапенко, и он бы не задумываясь начал топить его. Поэтому, когда Андрей поднял шумиху, Виктор счел за лучшее поехать к Ковалевскому и вступить за Рейнгольда. Это помогло отвести от себя удар. Правда, досталось Долгину, но Виктор дал ему прямо понять: пока я чист, я всегда защищу тебя, а вот если меня стукнут, тогда, брат, за тебя уж никто не заступится.

До поры до времени, руководствуясь этим принципом, Виктор умело переключал критику со стороны Захарчука и других молодых инженеров отдела на Долгина. Но с некоторых пор Захарчук начал все смелее обвинять самого Потапенко в пренебрежении к новой технике, в зажиме инициативы, в неверном направлении работы отдела. Анкетные данные Захарчука были безупречны — фронтовик, коммунист, учится в заочной аспирантуре, дело свое знает, — ни к чему не придерешься. Разумеется, Захарчук подсигивал Виктора из зависти, надеялся выдвинуться, заработать авторитет, никаких других причин Виктор не видел. У каждого руководителя есть враги и завистники — это закон. Каждый доволен своим умом, способностями и недоволен своим положением.

Виктор попытался заикнуться Дмитрию Алексеевичу о переводе Захарчука на станцию, но главный инженер категорически отказал. Чутье подсказало Виктору, что продолжать разговор рискованно. За этим отказом скрывалось что-то нехорошее для Виктора. Вообще отношения с Дмитрием Алексеевичем испортились, он все

меньше считался с мнением Виктора. Проверая его распоряжения, случалось, советовался непосредственно с Захарчуком.

— Не понимаю вас, Виктор Григорьевич, — говорил главный инженер. — У вас чуть что — виноват Долгин, так в чем же дело — гоните его. Что вы за него держитесь? Свято место не будет пусто.

Виктор вступился за Долгина, ссылаясь, как он всегда ссылаясь в этих случаях, на занятость Долгина в парткоме. Ясно, что Дмитрий Алексеевич собирался выдвинуть на место Долгина Захарчука. Такой заместитель Виктора не устраивал. Долгин не конкурент, а Захарчук рядом с Виктором мог навести кое-кого на всякие нежелательные сопоставления.

Словно бы ничего угрожающего еще не чувствовалось, Виктора принимали на станциях с прежним уважением, его внимательно выслушивали, ему несли на подпись бумаги, но сам Виктор испытывал нарастающую тревогу.

Взять ту же электролабораторию. Освободясь от «шефства» Потапенко, лаборатория давала одну конструкцию за другой. И этого не могли не видеть. Краснопевцев с Фалеевым закончили регулятор и устанавливали его на котлах Комсомольской. Калмыков на одном совещании прямо бросил Виктору: «Вот видишь, а ты на техсовете был против». Лабораторные испытания локатора прошли успешно. У Тарасова на Октябрьской наладили автоматику, и теперь Тарасов — до чего ж бесхарактерный человек! — повсюду со смехом рассказывает о своих первых столкновениях с Лобановым. А этот старый болтун Тонков, и Устинова, и вся ее группа, как назло, не могут добиться обещанных результатов. Сейчас бы показать всем — вот они, плоды инициативы Потапенко! Это он, Потапенко, инициатор договора о содружестве с Тонковым. Эх, если бы были конкретные результаты налицо! Уж кто-кто, а Виктор, да и Тонков сумели бы преподнести это достаточно эффектно. Лобанов — тот шляпа: организовал такое успешное содружество Краснопевцева с Фалеевым и молчит. Ну и слава богу, что молчит, подсказывать ему Виктор не собирается. Давно прошло то время, когда он надеялся еще как-то поладить с Андреем. Идиот! Не устранил вовремя Андрея со своего пути. Противно вспоминать о своей мягкотелости.

Он вызвал к себе Майю.

— Вы до сих пор ни черта не добились. Все сроки сорваны. Где результаты?

Она пыталась возражать. Кое-что они получили. Но Тонков не оказывал никакой помощи. Многие из его расчетов не подтвердились.

— Вы порете чушь! — оборвал он ее. — При чем тут Тонков? Если вам кто-нибудь мешал, так это Лобанов.

— Лобанов? Он мне не мешал.

— Как же не мешал! Что ж, он помогал вам?

— Не помогал. Но и не мешал.

— Вы сами не понимаете, куда вы гнете. Вспомните трудности с приборами, с людьми — трудности эти создавал Лобанов.

— Послушайте, Виктор Григорьевич, — медленно сказала Майя, — чего вы добиваетесь?

— Не стройте из себя дурочку! — закричал он. — Вам же будет хуже. Я для вас стараюсь. Если Лобанов вам не мешал — значит, вы сами виноваты. Пеняйте на себя. Вас взгреют так, что от вас клочья полетят.

Потемневшие глаза ее смотрели не мигая. Куда девалась его полная скрытых волнующих намеков любезность? И ей казалось, что этот человек ухаживал за ней...

— Так мне и надо, — сказала она. — Потому что я идиотка. Я считала, что вам интересна наша работа...

Неблагодарные люди. А он заботился о ней. Виктору стало обидно. Женщина готова простить все, что угодно, пока ты делаешь вид, что она тебе нравится. Лиза — та умнее, ее на такие побрякушки не купишь... А эта... Пожалуй, он все-таки пережал с ней. Надо придумать что-то другое.

Тонков, очевидно, тоже оценил положение; он попросил для ускорения работы откомандировать бригаду Устиновой к нему в институт. Виктор согласился.

— Учтите, — бесцеремонно сказал он Тонкову, — нужны результаты. Результаты. Понятно? Иначе лока-тор дискредитирует вашу работу.

Тонков прикрыл короткими веками глаза и сказал:

— О себе я как-нибудь сам позабочусь.

Его интонация заслуживала размышления. Неужели и он уже что-то почуял? Страх, тайный страх, которым ни с кем нельзя поделиться, охватывал Виктора.

После долгих мучительных размышлений Виктор решил, пока не поздно, перейти в наступление. Добиться перевода Дмитрия Алексеевича в министерство

(слухи об этом переводе возникали не раз) или снятия его с работы — все равно, — и самому стать главным инженером системы. Пришло время, когда надо вырваться вперед, сделать бросок, какой делает бегун, чтобы оторваться от настигающих соперников.

Задача не из легких и достаточно рискованная. Но иного выхода нет.

На хозяйственном активе он неожиданно для всех выступил с резкой критикой работы главного инженера. Пусть теперь Дмитрий Алексеевич попробует тронуть его.

Приближались перевыборы парткома, и Виктор все силы направил на подготовку к выборам. Ему надо было во что бы то ни стало войти в новый состав парткома. Это сразу его реабилитирует и укрепит его положение. Это позволит ему бить Дмитрия Алексеевича и по партийной линии. Это — основное условие успеха.

Виктор круто изменил свою политику внутри отдела. Прежде всего он постарался нейтрализовать Захарчука и его сторонников. Они требовали массового введения автоматики на станциях, перевода котлов на высокие давления и тому подобных новшеств. (Им легко требовать, никто из них не несет ответственности.) Как бы там ни было, он давал им обещания, сочувствовал, возмущался вместе с ними и наиболее ретивых сажал разрабатывать предложения. Когда он станет главным инженером, ему не придется отвечать за всю эту возню. Главный инженер найдет с кого спросить, кому перепоручить, — сам хозяин...

В середине ноября позвонил Тонков. Бархатистый голос его был тягуче-сладок:

— Виктор Григорьевич, будьте добры подослать ко мне курьера, хочу преподнести вам свой труд.

Посыльная привезла тщательно запечатанный пакет. Виктор запер дверь кабинета, вскрыл конверт, там лежало несколько оттисков статьи за подписью Тонкова и Григорьева. Оттиски пахли типографской краской, страницы слиплись. Виктор нетерпеливо пробежал глазами текст, рисунки. Электрическая дуга. Новая теория дуги. Все не то. Ага, вот! Фамилия Лобанова. Авторы писали, что применение схемы Лобанова в исследовании дуги дало ошибочные результаты, а схемы Тонкова — точные. Вслед за тем вскользь намекалось на несостоятельность локатора для других измерений. Тем самым работа Лобанова бралась под сомнение. За вели-

чаво-небрежным стилем этих абзацев звучал многозначительный подтекст: «Мы могли бы привести цифры, доказательства, но стоит ли тратить время и место на явно некорректную методику».

Виктор, улыбаясь, закрыл глаза. Наконец... Вот оно самое. Правду говорила ему мать, что он родился в сорочке.

Начиная с этой счастливой минуты вся деятельность его приобретала другое направление.

Он мог с полным правом заявить: «Я предупреждал. Зря Дмитрий Алексеевич поддерживал Лобанова».

Эта история создавала Виктору научный авторитет.

Как бы между прочим, он показал отчеркнутые красным карандашом абзацы оттиска кое-кому из наиболее болтливых сотрудников Управления. На совещании у управляющего, в присутствии представителя министерства, он снова горячо и бесстрашно обрушился на главного инженера:

— Подобные методы руководства устарели... Нам нужен новый подход, иные связи... Теперь пришла пора перестроить все, сверху донизу.

Во внутреннем кармане пиджака он чувствовал шуршащий оттиск статьи.

В фактах, подобранных им, было много справедливого. Слова его звучали искренне. Так мог говорить человек, уверенный в своей правоте. Его убежденность производила впечатление. Кое-кто начал посматривать на Дмитрия Алексеевича как на человека временного. Иначе трудно было объяснить неслыханную резкость Потапенко.

Сам Дмитрий Алексеевич, огорошенный, отмалчивался. Лишь раз, криво усмехаясь, он сказал Виктору: «Не держался за гриву, а за хвост не удержишься».

Виктору стало стыдно, но он успокаивал себя тем, что успеет проявить принципиальность, когда станет главным инженером. Да, тогда он сможет быть принципиальным; он не будет зажимать даже Лобанова, он создаст ему все условия для работы; вместо Долгина поставит у руководства техотделом молодых инженеров. Тогда Виктору будут нужны действительно знающие, инициативные помощники.

Следовало заручиться поддержкой горкома. Подбрав в качестве предлога несколько важных дел, Виктор поехал на прием к Савину.

Разговор сначала шел о текущих вопросах. Относительно торфа секретарь горкома тут же связался с управляющим трестом, договорился и записал в простую клеенчатую тетрадь, когда проверить исполнение. Писал он испорченной вечной ручкой, макая ее в чернильницу, и Виктора интересовало, что́ это — для «пущей демократичности» или случайно? На большом письменном столе, кроме тетрадки, не было никаких бумаг, только с краю лежала перевернутая вниз заголовком книжка. Она невольно привлекла к себе внимание. «Пришвин», — прочел Виктор на корешке. Это что-то об охоте. Виктор подумал, что у себя на столе надо положить тоже что-нибудь подобное, и тоже неожиданно лирическое, теплое. Это создает известный стиль, какую-то внеслужебную, человеческую близость с посетителями.

Савин захлопнул тетрадь, откинул набок волосы и спросил, как она вообще, жизнь.

Собственно, в расчете на этот вопрос и было задумано посещение секретаря горкома Виктором. Он знал живой, любознательный характер Савина и поэтому, расстроенно махнув рукой, долго отнекивался.

— Разрешите мне быть откровенным? — наконец сдался он.

— А чего вы боитесь? — спросил Савин.

— Я не из тех, кто боится, — сказал Виктор, — просто неприятно говорить плохое о себе.

Он нарочно употребил это выражение, чтобы его рассказ о борьбе с главным инженером, о недостатках в работе системы выглядел не жалобой, а криком наболевшей души, собственным горем и бедой.

Он говорил темпераментно, бросал фразы неоконченными, позволял себе сбиваться. Он знал, что Савин любит страстных людей, такой стиль должен ему понравиться. Слушая себя, он сам начинал переживать, в порыве чувств даже встал, стукнул кулаком, но тут же разжал его, потому что кулак у него был маленький и этот жест мог показаться смешным.

Порой Виктор удивлялся себе: с рабочими он умел быть простым, без наигрыша, с посетителями — внушительно твердым, среди детей — мальчишкой, с женщиной — влюбленным (нравится ей решительный — пожалуйста, нравится ей робкий — извольте). Ему доставляло удовольствие приспосабливаться к людям,

и он не ощущал никакого неудобства от этих превращений.

Словно нехотя, он вынул оттиск статьи и показал отчеркнутое место. Дело не в провале локатора, — частности характеризуют общую политику в области техники со стороны руководства.

Услыхав фамилию Лобанова, Савин улыбнулся, но смолчал. Он внимательно прочел абзац, отчеркнутый красным карандашом, перелистал остальное.

— Журнал еще не вышел? — спросил он. Виктор кивнул. — Где же дарственная надпись авторов?

На какое-то мгновение Виктор смешался, но тут же взял себя в руки и пояснил, что получил оттиск, будучи у Тонкова в институте. При этом он подумал: успел ли Савин заметить его замешательство?

— Ну, а как Лобанов отнесся?

— Лобанов?.. Лобанов еще не знает.

— Чего ж вы... таскаете повсюду с собой, а ему не показали?

Во всем их разговоре только эти слова оставили у Виктора неприятное ощущение. Зато последующее получилось весьма удачно. На вопрос, какого он мнения о Лобанове, Виктор отказался что-нибудь отвечать. «Он мой старый товарищ, и мне неудобно...» Это выглядело очень, очень положительно, даже благородно, и вряд ли после этого можно было думать, что Потапенко специально возит с собой показывать статью.

В общем, Виктор возвращался довольный собой. В машине он полузакрыв глаза и попросил Федю ехать медленнее. Ничего определенного Савин не сказал, но, во всяком случае, он призадумается. Недаром он попросил оставить оттиск. Несомненно, Виктор в целом произвел выгодное впечатление. Во время разговора у Виктора вертелась фраза: «Если министерство и впрямь отзовет Дмитрия Алексеевича, то, пока будут подыскивать нового главного инженера, я надеюсь провести кое-что из задуманных мероприятий». Хорошо, что он так и не произнес эту фразу, она могла показаться чересчур навязчивой. Очевидно, все же у Савина возникли кое-какие сомнения, иначе зачем бы он спрашивал об отношении парторганизации к выступлениям Потапенко? Да, быть избранным в партком совершенно необходимо. Это первоочередная задача.

Виктор вдруг улыбнулся.

— Федя, а ты ЗИС-110 водить сможешь? — спросил он. ЗИС-110 был у главного инженера. Шоферы — народ болтливый и сообразительный. Если Потапенко, выйдя из горкома, спрашивает про ЗИС, значит, быть ему главным инженером, и сегодня же об этом станет известно всему Управлению. Ну и отлично: как говорится, идея, овладевшая массами, — это сила.

Виктор не ошибся, секретарь горкома был любопытен и в тот же день вызвал к себе Лобанова.

Когда Лобанов вошел, Савин стоял у окна и ел яблоко.

— Десять минут уж наблюдаю за этой особой, — сказал он здороваясь. — Упорный характер.

Внизу, в садике, освещенном фонарем, взбиралась на снежную горку четырехлетняя лыжница. На середине горы лыжа у нее соскочила с ноги и покатилась вниз. Девочка попятилась, потеряла равновесие, упала, съехала вниз на животе, подобрала лыжи, надела и снова начала взбираться вверх.

— Четвертый раз! — с досадой вздохнул Савин.

Рабочий день в горкоме кончился. Савин сел на диван, как бы подчеркивая неофициальность их разговора.

— Первым делом признавайтесь, почему вы тогда на городском совещании сбежали от меня?

Мальчишески курносое лицо Савина с закинутой набок челкой, с яблочной крошкой на губе располагало к доверию и было полно откровенного, бесхитростного любопытства.

— Да стоило мне тогда помедлить, — сказал Андрей, — я был бы теперь самым несчастным человеком. А сейчас... — Он засмеялся и покраснел.

Савин, не улыбаясь, кивнул:

— Я все-таки подглядел тогда. Рыжие волосы!

...Отчеркнутое место в статье Тонкова и Григорьева Лобанов перечитал несколько раз. Позабыв о Савине, он скомкал оттиск, швырнул на стол и сел, упираясь локтями в широко расставленные колени, положив голову на руки.

Тонков — понятно: он способен на любое, но Григорьев? И как они смеют так обобщать! Допустим даже, что с той специальной схемой, которую Андрей дал Григорьеву, ничего не получилось, при чем здесь лока-тор? Ведь все последние испытания, проведенные самим

Андреем, дали хорошие результаты. Понятно, они хотят окружить локатор недоверием... Но Григорьев? Не может быть, чтобы он участвовал в этой подлости.

— Поговорите с ним.

— Нет Григорьева в городе, — сердито ответил Андрей. — Уехал в какую-то командировку.

И вдруг рассмеялся. Оказывается, до этого он, сам не замечая, несколько минут рассуждал вслух о Тонкове и Григорьеве.

— Одно из двух, — хмуро глядя в его улыбающееся лицо, сказал Савин, — или вы здорово уверены в своем локаторе, или излишне беспечно настроены.

Уверен-то он уверен, но, пожалуй, правда и то, что эта статья, в сущности, как-то мало затронула его. Все-таки он очень изменился за последний год. Непрестанная борьба основательно его закалила. А кроме того, то удивительно счастливое состояние, в котором он находился со дня объяснения с Мариной, делало его нечувствительным ко всякой беде, какая-то неистощимая уверенность в своих силах окрылила его.

«Обойдется, — думал он. — Какое это имеет значение? Локатор работает и будет работать. Приедет Григорьев, все выяснится. Разве в этом главное?»

Савин покачал головой.

— Советую вам смотреть глубже, — сказал он, как бы угадывая мысли Андрея. — Эта статья в ловких руках превращается в рычаг скверного рода.

Андрей посерьезнел, взглянул на новенький оттиск и впервые подумал о том, каким образом могла эта статья попасть сюда, в горком партии? Чья рука услужливо подчеркнула место, касающееся локатора?

— Помните, я вам предлагал устроить обсуждение работы? — спросил Савин. — Я считаю: немедленно надо провести самую широкую дискуссию.

Они договорились о подробностях. Записывая себе в тетрадь, Савин вдруг спросил:

— Скажите, может Потапенко быть главным инженером?

Андрей удивленно уставился на него:

— Потапенко?

— Ну да, что вы удивляетесь?

— Нет, не может.

— Почему?

Андрей наморщил лоб:

— Да... потому, что он слишком стремится занять это место.

— Ну знаете, это ни о чем не говорит. Может быть, он считает себя достойным.

Лобанов вскипел и начал говорить о Викторе все, что он думал о нем.

Слушая горячую речь Лобанова, Савин время от времени вставлял замечания, и Андрей возражал на них или соглашался. Он чувствовал, что невольно идет туда, куда его ведет Савин. Из всего, что знал Андрей о Потапенко, о его работе, о работе всей Энергосистемы, Савин умело отбирал главное, и постепенно Андрей начинал видеть Потапенко по-новому, начинал понимать скрытую от него до сих пор сущность этого человека.

— Затирает новую технику? — спрашивал Савин. — Ну, это бывает в какой-то степени с каждым руководителем... Дача? Машина? А вы бы отказались от дачи и машины?.. Дело Рейнгольда? Вот это уже ближе. Как вы думаете, противоречат его интересы интересам дела?

Савин прошелся, встал за спинку своего кресла.

— Вот все согласны, что противоречат, — в раздумье продолжал он, — но ведь и у вас, у каждого случается такое противоречие.

Андрей понял его намек на случай во Дворце Советов и усмехнулся.

— То-то и оно, что *случается*, — твердо сказал он. — А у Потапенко вся его работа служит его собственным интересам. Он *никогда* не думает о деле, а *всегда* о себе. Работа для него только средство выдвинуться, укрепить свое благополучие, получить еще бóльшую должность.

Савин выпрямился, откинул волосы со лба:

— Предположим, вы где-то возле правды. Но, думается, что не вся правда, Андрей Николаевич, в этом. Я тоже часто размышляю: почему это нам порой так трудно разобраться в подобных людях? Вот и вы, хорошо знаете Потапенко, а не разобрались: так... чувствовали... и все.

Андрей задумчиво потер щеку:

— А по-моему... пережитки капитализма, ну, всякое воровство, взяточничество, оно бросается в глаза, всем видно, а вот... — Он остановился, вопросительно посмотрел на Савина. — Понимаете, такие, как Потапенко, они не воруют... Они иначе действуют. Партия нацеливает на план — он использует борьбу за план. Требуют критики — он использует критику... Внешне все как

будто правильно... А на деле это жажда власти. Вот что испортило Потапенко. Честолюбие, карьеризм. Он ведь был отличным парнем...

— Откуда же появляется такое? — спросил Савин.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ

Отчетно-выборное партийное собрание шло второй день. Выдвигали кандидатов в новый состав парткома.

Виктор Потапенко сидел в первом ряду, у дверей. Минувшая неделя была для него заполнена напряженной подготовкой к собранию, переговорами с возможными противниками, тонкой дипломатической игрой, построенной на неуловимых намеках на то, что будет, когда Потапенко станет главным инженером. Обычно Виктор любил психологические расчеты и комбинации, но сейчас он испытывал усталость и безразличие.

Перед началом заседания заместитель управляющего Ивин, похлопывая его по плечу мясистой рукой, поспеивался: «Быть тебе в парткоме. Не отвертись. После голосования едем к тебе. Так и знай. Как там твоя Елизавета, шампанского приготовила?»

Виктор вздохнул и с несвойственной ему откровенностью признался:

— Эх, брат, какое там шампанское! У меня дома такая идет холодная война, лучше не спрашивай.

Ему вдруг неудержимо захотелось позвонить домой, к Лизе, позвонить просто так, чтобы она сказала: «Витек, все будет хорошо, ты мой умница, замечательный» — или что-нибудь в этом роде, бестолково, тепло, как умела говорить одна Лиза. Казалось, что прошло много-много лет с тех пор, как она в последний раз говорила с ним так. И может, среди многих его надежд на сегодняшние выборы самой дорогой и тайной была надежда на то, что Лиза признает его правоту. Раз его выбрали — значит, его любят, ему верят, и все, что он делал и делает на работе, — правильно. Лиза раскается, и они опять заживут по-старому. Если бы сидящие в зале знали, как важно ему войти в партком, хотя бы ради мира в его семье, ради дома...

Он беспокойно оглядывал зал. Через несколько рядов, позади, расположились молодые инженеры его отдела. Вероятно, ему следовало сесть среди них, чтобы предупредить возможные разговоры или даже выступ-

ления. Но сейчас пересаживаться было поздно. Он слишком долго протоптался возле телефона, так и не решившись позвонить Лизе.

Он увидел инженера Полякова и успокоился. Сегодня утром он дал понять Полякову, что если обстоятельства изменятся, то Поляков станет начальником инспекции. Поляков был молодой, энергичный инженер, начальник инспекции его затирал, и Виктор, вспоминая свои слова, по сути справедливые и идущие на пользу дела, снова испытал удовлетворение.

Неподалеку от Полякова сидели Лобанов, Борисов и несколько коммунистов из лаборатории. Виктор подумал о статье Тонкова и Григорьева и посмотрел на Андрея как на обреченного.

Встретившись глазами с Борисовым, Виктор отвернулся, скрывая усмешку. Вчера Борисову так и не дали слова. Долгин, который сидел в президиуме рядом с председателем, отодвинул Борисова в самый конец списка записавшихся. Потом, за поздним временем, прения решили прекратить, и последнему, перед секретарем райкома Ковалевским, предоставили слово Виктору.

Он выступил самокритично, признал многие упреки. В отличие от других выступавших, Виктор говорил не по бумажке, и это понравилось. Он растрогал собрание воспоминаниями о суровых днях войны и ослепительными перспективами будущей работы. Умело затронул болезненное место — беспорядки со спецодеждой. По поводу одного резкого выступления он удачно заметил, что боязнь подхалимажа у некоторых товарищей доходит до того, что они обязательно стараются нагрубить каждому начальнику. Виктору аплодировали, и даже Ковалевский одобрительно и звучно похлопал в ладоши.

Сегодня председательствовал Долгин. И, прислушиваясь к его жестяному, гремящему в репродукторах голосу, Виктор с надеждой ловил признаки того, казалось, незыблемого распорядка заседания, который они тщательно продумали с Долгиным.

Первые две предусмотренные кандидатуры были названы сразу же. Третьим должны были выдвинуть Виктора. Но, опережая Полякова, в разных концах зала поднялось несколько рук. Долгин скользнул по ним невидящим взглядом и дал слово Полякову. Было заметно, что Долгин нервничает. Ощущение слабости и тревоги с новой силой охватило Виктора.

— Безобразие, — сказал кто-то рядом, — я ведь раньше просил слова...

Но Поляков уже быстро поднимался на трибуну. Виктор облегченно вздохнул.

С той минуты, как выдвинули кандидатуру Потапенко, Майя насторожилась. Неужели никто не видит, что происходит? Она оглянулась. Нет, нет, вокруг нее так же хмурились и беспокойно переговаривались. Она посмотрела на своих соседей: у Лобанова проступил темный румянец на скулах, который она хорошо знала, так же как и угрюмый огонек в синих глазах Борисова.

Выступить? Выйти и сказать: «Что же тут творится? Знаете ли вы, кто такой Потапенко? Неужели неясно?..» Ее должны поддержать. Она не одна.

Борисов высоко поднял руку и попросил слова. Не обращая на него внимания, Долгин торопливо продолжал называть фамилии выступающих. Они выходили на трибуну и предлагали кандидатов. Однако в зале с каждой минутой нарастало возмущение.

— Я дам отвод Потапенко, — сказал Андрей.

Борисов уперся в него злым взглядом:

— Не только Потапенко. Видишь, и Зорина выдвинули. Опять Долгин хочет за его спиной хозяйничать... Понимаешь, куда гнет... — Он стиснул зубы и снова поднял руку.

— Борисову слово! Борисов просит! — крикнули почти одновременно Андрей и Майя Устинова и посмотрели друг на друга обрадованно и почему-то смущенно.

Плоские глаза Долгина метнулись поверх голов, потом на бумажку, которую он держал в руках.

— Слово имеет товарищ Марченко, — поспешно сказал Долгин.

Марченко, который еще не успел поднять руки, растерянно встал. Раздались смешки. Борисов побледнел. Он вскочил и, не дожидаясь разрешения, побежал к сцене, обогнав Марченко.

Долгина обмануло то, что Борисов направился не к трибуне, а к столу президиума. Наклонясь к Ковалевскому, Долгин стал ему что-то говорить. В это время Борисов остановился перед Долгиным, спокойно взял лежавшую на столе бумажку, подошел к трибуне.

— Товарищ Марченко,— срывающимся голосом проговорил Борисов, глядя в бумажку.— Не торопитесь. Я за вас могу сказать — вам поручено было предложить кандидатуру Степина? Правильно?

Марченко остановился посреди прохода, потер ухо и неохотно сказал:

— Это верно.

— А вы его хорошо знаете? — спросил Борисов.

— Видал,— сказал Марченко и, пожав плечами, сел на свободное место.

— Товарищ Виноградова! — крикнул Борисов.

Поднялась молодая работница.

— Товарищ Виноградова, а вы должны выдвинуть Долгина? Вы что, с ним работали вместе? Учились? — подавшись вперед, спрашивал Борисов.

Виноградова покраснела, шевельнула губами, но ее слов никто не услышал.

Борисов продолжал читать список. Шум в зале нарастал. Долгин что-то быстро говорил Ковалевскому.

Борисов наклонился к микрофону:

— Товарищ Долгин вроде как все заранее предусмотрел — и весь состав парткома и кто кого выдвигает...

— Подготовочка! — иронически крикнул ломкий, молодой голос. В задних рядах привстали.

— Товарищ Борисов,— сказал Долгин,— я не давал вам слова!

— Пусть говорит! — тотчас понеслись выкрики.

Ковалевский, морщась, отстранил Долгина, встал, успокаивающе протянул руку. Разом наступила тишина.

— Чего вы хотите, товарищ Борисов? Чтобы наше собрание шло без руля, без ветрил, по воле божьей? Да здравствует полная анархия, и пусть в партийное руководство попадают случайные, никому не известные люди? Возможно, ваши товарищи тут несколько увлеклись, но партком имеет право предлагать своих кандидатов. Вы что, всех выдвинутых людей отвергаете?

— Зачем? — несколько растерялся Борисов.— Тут много достойных товарищей.

— А раз так,— подхватил Ковалевский,— извольте выступать конкретно, с отводом отдельных лиц. Вам никто не запрещает. Я полагаю, товарищи, вопрос ясен,— твердо закончил он.

— Нет, не ясен! — крикнули из зала. С места поднялся член парткома, длинный сутуловатый плотник из хозотдела, и, сложив руки рупором, пробасил:

— Кто этих людей подбирал?

— Мне тоже интересно, — сказал Борисов, — откуда у вас, товарищ Долгин, эти кандидатуры?

— Собрание готовил партийный комитет, — нервно ответил Долгин.

— Я не могу поверить, чтобы партийный комитет подготовил собрание таким образом, — сказал Борисов, помахав списком.

Плотник, который так и не сел, развел руками:

— Товарищи, в чем дело, мы ни Зорина, ни Потапенко, ни Долгина не рекомендовали, — я тоже член парткома. Я об этом списке знать ничего не знал.

Долгин поднес колокольчик к микрофону и оглушительно зазвонил. Когда шум в зале стал стихать, Долгин, как ни в чем не бывало, предложил лишить Борисова слова и закончить выдвижение кандидатур.

— Вы злоупотребляете властью председателя, — спокойно сказал Борисов. — Проголосуйте.

— Товарищи, учтите, так мы не успеем сегодня кончить, — пригрозил Долгин.

— Ничего, задержимся! — крикнул кто-то.

— Ишь, нашел чем купить! — возбужденно сказал Андрею Новиков.

Долгин был вынужден поставить вопрос на голосование. Большинством голосов Борисов получил право продолжать.

— Мы знаем, — сказал Борисов, — что всякое собрание готовить необходимо. Нет ничего плохого, если партком внимательно обсудит и предложит нам достойных кандидатов. А Долгин не только искажил смысл подготовки партсобрания, но нарушил основу нашей партийной жизни — принцип коллективного руководства. Что получилось, товарищи? Вот Долгин поручил Марченко выдвинуть кандидатуру Степина. А Марченко работает у нас без году неделя и Степина совсем не знает. Я три раза просил слова, хотел выдвинуть того же Степина. Пятнадцать лет мы с ним работаем вместе, я знаю, что он отличный коммунист. Мне слова не дали, побоялись, вдруг я назову кого-нибудь неугодного Долгину. Подготовка собрания, товарищ Долгин, состоит

в том, чтобы привлекать к участию каждого коммуниста, пробуждать инициативу. Надо, чтобы люди себя хозяевами чувствовали, а вы стараетесь наоборот... Не выйдет! Мы бережем авторитет нашей партии, а тут, — он поднял кулак, — находятся люди, которые крадут этот авторитет для своих личных целей. Задуманный сценарий, не случайность. Все эти ухищрения, нарушения норм сделаны ради того, чтобы протащить в партком таких деятелей, как Потапенко, провести самого Долгина...

— Мы сейчас не обсуждаем кандидатов, — прервал его Долгин.

— Хорошо, — согласился Борисов, — ваших кандидатов обсудим отдельно.

Глухой гневный шум перекатывался по рядам и вдруг прорвался ожесточенными аплодисментами. Борисов, унося с собою злополучный листок, спустился в зал. За столом президиума посовещались, микрофон придвинул к себе один из старейших коммунистов, Кузьмич. Его любили, уважали за прямоту, многим из сидящих в зале он давал рекомендацию в партию, поэтому, когда он, приглаживая редкие седые волосы, занял место Долгина, его встретили одобрительной тишиной.

— Насчет подготовки, товарищ Ковалевский, вы правильно говорили, — сказал он. — А вот о том, что в партком неизвестные люди проникнут, это вы зря беспокоились. Кому ж они неизвестные? Кому, как не нам, судить о своих людях? Мы ж свой партком выбираем...

Борисов сел рядом с Майей, глубоко дыша, вытирая пот. Из заднего ряда к нему перегнулся главный бухгалтер:

— Вы, Сергей Сергеевич, совершенно правильно выступали. Давно пора...

Борисов обернулся, сверкнул на него глазами:

— Что вы мне тут шепчете? Выйдите и скажите всем с трибуны.

«А я? — презирая себя, подумала Майя. — Возмущалась, а не хватило мужества выйти и сказать...»

Настроение людей резко изменилось. Раздражение и тревога уступили место чувствам озабоченности и ответственности.

Список кандидатов рос медленно. Собрание временами умолкало, напряженно и трудно раздумывая.

— Вот видите, полная дезорганизация, — сердито сказал Ковалевский Кузьмичу.

Кузьмич в микрофон, так, чтобы все слышали, проговорил:

— Ничего, думайте, товарищи, не стесняйтесь. Нам отвечать.

Перебирали в памяти достойных, советовались, сравнивали. Зал, где слаженно работали сотни людей, наполняло спокойное многоголосое жужжание.

Набралось пятнадцать кандидатов. Часть из них значилась в списке, который был у Долгина. Но теперь это были кандидаты, названные самим собранием. В их числе был и Борисов. Каждую кандидатуру обсуждали горячо, подробно.

Зорина почти единогласно отвели. Долгина совсем не выдвинули, тем не менее главный инженер выступил и сказал:

— Товарищи, я тоже был членом парткома и отвечаю за то, что сегодня случилось. Получается, вроде и незачем Долгина обсуждать. Но он мог попасть, и поэтому я скажу о нем, — он одернул пиджак и выпрямился. — Давайте начистоту: в последнее время в парткоме, по существу, хозяйничал один Долгин. Все вопросы он решал сам, в так называемом рабочем порядке, всячески отстраняя нас. Зорина по лености устраивало это... Были у нас трудные времена, вот надо было поддержать электролабораторию, товарища Лобанова. Но разве придешь к Зорину за советом?.. Он обязательно увильнет, передоверит Долгину, а тот... — Дмитрий Алексеевич махнул рукой. — Вот Долгин и принялся хозяйничать бесконтрольно. Мы тоже, конечно, отвечаем за это... Мы ему позволили, отошли в сторонку... Он действовал якобы от нашего имени и делал что хотел. Сегодняшний случай — хороший урок. Достаточно каждому из нас сказать с трибуны то же самое, что мы говорим, сидя в зале или после собрания, и эти долгины никогда не появятся здесь в президиуме.

Никого не смущало, что собрание отвлеклось в сторону и занялось Долгиным. Вспомнили историю с Рейнгольдом. Решено было поручить новому составу парткома разобрать вопрос о Долгине.

После этого разгорелись споры вокруг кандидатуры Потапенко.

Инженер его отдела, Захарчук, через каждые две-три фразы отпивая воду из стакана, рассказал, как Потапенко зажимает критику, трусит перед новым, годами маринует предложения, избегает новой техники, поэтому отыгрывается на рукавицах и спецодежде. За последний год он с помощью Долгина расправился с двумя сотрудниками, которые осмелились выступить против него. Окружил себя подхалимами. Человек способный, он, к сожалению, попал под влияние Долгина.

Кончил Захарчук так:

— В общем — Потапенко любит это слово, — в общем, ему самому надо крепко подзаняться собою. Боюсь, что ответственная обязанность члена парткома будет отвлекать его от этого занятия.

— Понапрасну черните человека! — крикнул Поляков.

Но сразу же на него требовательно обрушились:

— Тише!.. Иди выступай!.. Нечего из угла выкрикивать!

Кузьмич только улыбался. Собрание само устанавливало железную дисциплину. Оно сломало и отбросило весь, казалось бы, до мелочей продуманный Долгиным и Потапенко ход заседания. За всеми их предложениями люди почувствовали административный окрик, пренебрежение к воле, желаниям, инициативе рядовых коммунистов, как будто бы им было все равно, кого выбрать, кому доверить дело.

Виктор втиснулся в кресло, боясь обернуться, чувствуя спиной, затылком, всем существом десятки глаз, устремленных на него. Четкая гипсово-неподвижная улыбка застыла на его лице.

Он встретился глазами с Долгиным, продолжавшим сидеть в президиуме, и постарался удержать на лице улыбку: ничего страшного не случилось — меня еще могут выбрать, я еще стану главным инженером, я выполню свое обещание, я назначу тебя начальником техотдела. Еще все обойдется, лишь бы меня выбрали. Если я буду в парткоме, я тебя спасу. Долгин посмотрел на него изучающе-спокойно, потом взял блокнот и что-то быстро записал. Продолжая улыбаться, Виктор вдруг подумал, что если он не попадет в партком, то Долгин,

не колеблясь, начнет его топить, писать на него заявления, чтобы как-то удержаться самому. Значит, надо обезвредить Долгина, опередить. Да-да, в крайнем случае придется пожертвовать Долгиным, чтобы спасти положение. В конце концов, если убрать Долгина, это пойдет на пользу делу.

Виктор не заметил, как на трибуне оказался его давний знакомец Борис Зиновьевич — мастер с Комсомольской ГЭС. Говорил он скверно. Сухонький, маленький, он не доставал до микрофона, и голос его пропадал, тем не менее слушали его внимательно.

— В прошлом году случилась у нас авария на подстанции, — сказал он. — Виктор Григорьевич разрешил скрыть эту аварию. Чтобы, значит, не портить показателей. У нас нашлись такие, нечего греха таить, обрадовались. Премияльные получим, и все такое... А что из этого выходит? А то, что раз все в порядке — средств нам на переоборудование не дали. А следовательно, в прошлом месяце опять авария произошла, а третьего дня несчастный случай. Да... монтер обгорел. Подстанция тесная, не повернуться...

За ним выступило еще несколько человек. Они говорили уже совсем не о Потапенко, а о недочетах в работе Управления, досталось и управляющему, и главному инженеру, и начальникам отделов. Как будто снова обсуждался отчетный доклад, и никого это не смущало.

— А чего смущаться? — сказал Кузьмич. — Значит, вчера плохо обсуждали.

Затем взял слово Ивин и куда осторожнее, чем собирался, стал доказывать необходимость ввести в партком талантливого, растущего организатора Потапенко. Довольно ловко он обрушился на Бориса Зиновьевича: надо соблюдать технику безопасности, а не валить грехи на начальство, эта спихотехника не заменяет техники безопасности.

Шутка успеха не имела. Незначительным большинством кандидатуру Потапенко оставили в списке для тайного голосования.

Борисова выдвинул мастер Наумов.

— Любит Борисов людей, вот главное его партийное качество, — взволнованно сказал Наумов. — А также товарищ он мужественный... принципиальный человек.

Поглядывая на красного от смущения Борисова, Андрей обсуждал с Новиковым и Жуковым, хорошо ли

будет, если Борисова изберут в партком. Чего доброго, еще сделают секретарем, а для лаборатории это ощутимая потеря.

— Ну, а ты сам как? — приставали они к Борису. — Рвешься?

Он отмалчивался. Андрей поднял руку.

— Ясно, чего там! — закричали кругом, но Кузьмич откашлялся и усмешливо сказал:

— Не могу отказать. Мой начальник просит.

Из президиума зал выглядел огромным. Горячий воздух, дрожь, подымался к опрокинутым куполам люстр. Сотни лиц ожидающе смотрели на Андрея. Откровенно говоря, он шел сюда с намерением дать отвод Борису. Он боялся, что Борисова могут взять освобожденным работником в партком, и не мог себе представить, кто в это трудное время заменит Борисова в парторганизации лаборатории.

Но, взойдя на трибуну, он увидел Новикова, Жукова, всех коммунистов лаборатории — их было так мало по сравнению с громадой всего коллектива, что Андрей понял вдруг: он не вправе лишать этот огромный коллектив одного из самых достойных вожаков.

— Ко всему хорошему, что здесь говорили о Борисове, — услышал он свой неузнаваемо усиленный репродуктором голос, — я добавлю одно: у Борисова есть талант к партийной работе. Я сужу хотя бы по тому, как он меня скрутил, когда это следовало. Для него партийная работа... Душа у него вся в этом... Да это просто его призвание. А ведь, честное слово, товарищи, это более чем существенно. Вот Зорин работал по обязанности, и получилось плохо...

Виктор вышел из зала. Ходил по пустым коридорам. Курил, затягиваясь жадно и глубоко, так, что закружилась голова. Может быть, все же выберут?.. Нет, надо было взять самоотвод. Мало того, что его провалят, все будут знать, сколько голосов против... Почему так несправедлива к нему судьба? Ему-то нужнее всех быть выбранным. Для него в этом — будущее. Если бы они понимали... А в крайнем случае... Нечего падать духом. Как можно скорее убрать Долгина. Еще есть в запасе статья Тонкова. Мы еще посмотрим. Потапенко себя еще покажет!

Но за этими словами было пусто.

ГЛАВА СОРОКОВАЯ

Встреча с Савиным, а затем партсобрание, провал кандидатуры Потапенко, избрание Борисова секретарем парткома не прошли бесследно для Андрея. Со свежими силами он вернулся к тому кругу мыслей и забот, которые до сих пор составляли главный интерес его жизни.

Через неделю должен был состояться его доклад в Доме ученых. На обсуждение приглашались представители всех заинтересованных институтов и предприятий города. Сам доклад не тревожил Андрея, полевые испытания локатора шли успешно, морякам чертежи были отосланы, но, в связи со статьей Тонкова — Григорьева, Андрею все же хотелось обязательно провести хотя бы одно испытание в естественных условиях. Определить повреждение при настоящей аварии. Это позволило бы ему сказать — локатор уже эксплуатируется. Тонкову было бы нечем крыть.

Проходил день за днем, но ни одной подходящей аварии, ни одного повреждения на линиях не случалось. Новиков и Саша молчали, и Андрей чувствовал их немой укор: не затяни он тогда волынку с бесконечными доделками, давно бы уже локатор опробовали.

Утром в день доклада позвонил Степин и сообщил, что вчера вечером пробился кабель, питающий три больших дома, и измерители точного места повреждения указать не могут.

— Доклад? Вот и хорошо! — воскликнул Степин. — Вечером поднесешь первую ликвидацию аварии. Полюбуйтесь, не какие-нибудь там опыты. Протокольчик! Роскошь!

Почувствовав на губах неудержимую глупую улыбку, Андрей рассердился на самого себя, на хитрого Степина, на этот коварно-услужливый случай.

— Подумаю, — буркнул он.

Думали всей группой.

— А вдруг это самое... ну, мало ли... осрамимся? — покачивал головой Усольцев.

Новиков тоже побаивался. Какой-нибудь пустяк... зачем рисковать? Главное — перед самым докладом. В конце концов, это чисто научный доклад...

Диспетчерский телефон звонким многоточием прервал их размышления.

— Андрей Николаевич, здравствуйте. Наумов. Мне Степин сказал, вы сомневаетесь, ехать ли к нам.

— Так авария на вашем участке?

— На моем. Выручайте.— Выслушав опасения Андрея, Наумов вздохнул.— Оно так. Да, как на грех, студенческое общежитие впотьмах. Студентам совсем зарез без света.

— Студенческое общежитие...— повторил Андрей, глядя на товарищей.

— Мы без вас, может, еще сутки продержим их,— продолжал Наумов.

— Сутки... Это Степин тебя подбил?

Наумов смущенно замаялся. Андрей подумал, что Степин, наверно, слушает их через коммутатор, и сказал:

— До чего ж нынче утомительный диспетчер пошел. Особенно Степин. За двумя зайцами гонится...

— Поедемте, Андрей Николаевич!— попросил Саша.

Андрей, морщась, смотрел в микрофон.

— Ладно, едем.

Новиков отчаянно махнул рукой. Эх, была не была! И все заулыбались, просветлели. Черт с ней, с чистой наукой! Это, наверно, такая же безвкусная и даже вредная вещь, как дистиллированная вода.

Зимой попадают в городе забытые безлюдные уголки, где не слышно ребячьего гама, где нетронутая снежная целина лежит, словно на лесной поляне. Того и гляди выскочит из-под кустов заяц, стряхнет сверху снежный ком рыжая белка. Воздух здесь кажется чище, небо голубее, чем там, за низенькой оградой, на людной улице.

В один из таких садилов, у старой закрытой церкви, они и приехали. Серенькая тропка тянулась через сад к трансформаторной будке. Пока из машины выгружали прибор, налаживали установку, Наумов повел Андрея по трассе кабеля.

Обманчивое, с виду туго натянутое полотно снега рыхло проваливалось под ногами. Шаг Андрея — крупный — никак не попадал в след Наумова. В своих латаных разношенных валеночках Наумов скользил впереди, как на лыжах. На ходу он рассказывал Андрею о кабеле, словно двигался Наумов под землей, вдоль

этого кабеля, и видел вот здесь вставку, сделанную лет десять назад, а здесь кусок, изъеденный ржавчиной. Наумов обладал не просто хорошей памятью, — за долгие годы у него выработалось внутреннее зрение. Он и сам не всегда мог сказать, откуда у него берется эта уверенная зоркость. Он физически ощущал, где кабелю плохо лежать, где ему тесно, где жарко.

К удовольствию прохожих, они перелезли через железную ограду; следуя трассе, пересекли улицу и завернули под арку многоэтажного студенческого общежития.

— Ну скоро вы, копатели? — приветствовала Наумова дворничиха. Он виновато поправил кепочку и попробовал отшутиться.

— Скажи на милость, он еще шутки шутит, — изумилась дворничиха. — Люди впотьмах сидят, а ему смешно! Сессия у них. Понимаешь — сессия!

Возле них остановились юноша и девушка с сумками через плечо.

— Странно, — пожал плечами юноша, — какими способами они ищут повреждение?

Наумов терпеливо пояснял — кабель измерили, но случай трудный. Обычные приборы показали порчу в промежутке плюс-минус пятнадцать метров. Точнее не дается. Копать наугад в мороженом грунте — гиблое дело. Сперва почву отогреть надо.

— Какая отсталость, — с чувством сказал паренек, — при нынешнем уровне электротехники...

Андрей осмотрел концы кабеля на стене и подошел к студентам.

— ...уверен, если воспользоваться прецизионным мостом, — горячился студент.

— Вы с какого курса? — спросил Андрей.

— С третьего, электромех... А что?

Студент критически оглядел этого широкоплечего парня в синем ватнике, в заснеженных бурках, похожего на бригадира.

— При чем тут курс? Дело в научном подходе. Вот сегодня, например, в Доме ученых доклад о методах отыскания порчи. Вашему начальству полезно бы...

Наумов засмеялся.

— Мудрят всегда эти ученые, — сказал Андрей, уступая озорному желанию подучиться.

Студент горестно улыбнулся своей спутнице:

— Называется связь науки с производством.

— Вы сами-то пойдете на доклад? — спросил Андрей.

— Обязательно. И пристыжу докладчика. Внедрять надо быстрее.

...В трансформаторной будке заканчивали приготовления. Андрей проверил схему и дал команду. Новиков привычно защелкал выключателями. Наумов расстегнул верхнюю пуговицу ватника.

— Сто шестьдесят метров, — провозгласил Новиков.

— Это, выходит, у часовни, — раздумчиво произнес Наумов. — Там есть старая муфта...

— Сомневаетесь? — задорно спросил Саша.

— Измерители нам совсем в другом месте показали. У ограды, напротив дома.

Андрей напряженно всматривался в экран. На отметке, соответствующей ста шестидесяти метрам, импульс был четкий, острый. Но и на отметке двести восемьдесят метров, примерно там, куда указывали измерители, тоже вздрагивал маленький зеленоватый всплеск. Что это могло значить?

Новиков вместе с Наумовым вышел в сад. Отмерив сто шестьдесят метров, Наумов воткнул в снег палку. Рабочие стали откидывать сугробы. Воздух заискрился сухой снежной пылью. Подъехал компрессор, и вскоре первый отбойный молоток, стрекоча, ударил в звенящую, промерзлую землю.

Когда Новиков вернулся в будку, Лобанов и Усольцев обсуждали, что означал маленький пик на отметке двести восемьдесят и откуда могло взяться такое большое расхождение между показаниями локатора и показаниями измерителей.

— Бросьте вы, Усольцев, смущать наши души, — весело сказал Новиков. — У нас ошибки быть не может. — Он привел десятки возможных причин появления маленького импульса вблизи отметки двести восемьдесят: тут могли влиять и утечки, и блуждающие токи, и многое другое.

— Нет, нет. Лучше отказаться, пока не поздно, — убеждал Андрея Усольцев. Завязки меховой ушанки испуганно тряслись под его подбородком. Андрей перевел глаза на разруганного от мороза Новикова в зе-

ленной велюровой шляпе, лихо сдвинутой на затылок, и несколько успокоился. Но, так или иначе, надо было немедленно принимать какое-то решение.

— Мы ничего не узнаем, пока не найдем повреждение, — задумчиво сказал он. — Черт его знает, что там на двести восьмидесятом метре!.. Но локатор показывает сто шестьдесят!.. В общем, даем сто шестьдесят, у часовни.

В конце концов, уверен он в своем локаторе или нет? И, подавляя остатки сомнения, сказал, глядя на мерцающий экран:

— Все равно надо выяснять, в чем тут дело. Да, сто шестьдесят — это факт.

Новиков отвел Усольцева в сторону и угрожающе сказал:

— Ему доклад делать. Там бой будет. А вы тут каркаете. Плач Ярославны. Мы его подбодрить должны.

Доклад в Доме ученых был назначен на семь часов вечера, поэтому Андрей, не дожидаясь конца раскопок, уехал вместе с Усольцевым, оставив на месте работы Новикова и Сашу. Договорились, что они привезут ему сообщение о результатах раскопок и протокол прямо на заседание.

Пока Усольцев развешивал в гостиной Дома ученых схемы и диаграммы, Андрей прошел в зимний сад, чтобы немного собраться с мыслями. В большом аквариуме медленно скользили золотистые рыбы. Влажный воздух был насыщен терпким запахом оранжерейных цветов. Андрей стоял за зеленой занавеской плюща, смотрел на рыб и старался не думать о том, что творится сейчас в глухом садике у края растущего котлована... Он нахмурился, заметив вдруг, что выводит пальцем на стекле аквариума «160», «280». Эти две цифры надоедливо вертелись в голове, мешая сосредоточиться.

Сбоку, за плотной зеленой стеной плюща, кто-то сказал:

— Нет, я неверующий. Во-первых, эта статья...

— Но Тонков... — начал было женский голос.

— Тонков — да, а Григорьев?

— Говорят, он приедет сегодня, — сказала женщина.

— В общем, этому молодому чудаку готовят усекновение.

— Грустно. Я так рассчитывала на его локатор. Для наших сельских сетей это крайне важно.

— Вы знаете, когда я попал в институт, я буквально ожил. Во-первых, тишина, после завода поражает тишина.

— А во-вторых?

— Простите...

Женщина рассмеялась:

— У вас все во-первых.

Андрей отошел. Услышанный разговор освежил его. Какой любитель тишины нашелся! «Чудак», я тебе покажу «чудак»!

Маленький зал быстро наполнялся народом. Андрей встретил Марину и усадил ее в конце зала. Ему вдруг захотелось остаться рядом с ней. Сидеть и слушать чей-нибудь доклад, подавать реплики, тихонько переговариваться.

— Иди,— сказала Марина. Не обращая внимания на окружающих, она взяла его руку в свои и медленно провела ладонью по ней.

Крепко прижимая локтем пухлую, затрепанную на сгибах лиловую папку, он шел к председательскому столу, здоровался, улыбался, а в голове настойчиво вертелось: а вдруг на сто шестидесятом метре нет повреждения? Что же тогда показал локатор? Нет, глупости, сто шестьдесят и ничего другого... А может быть, повреждения в обеих точках?

Председатель научного общества, пока рассаживались, шепнул Андрею:

— Смотрите, Тимофей Ефимович приехал.

В первом ряду, возле Одинцова, сидел грузный старик с взлохмаченными черно-седыми волосами. Обе руки его лежали на суковатой палке, зажатой между колен.

Со школьной скамьи образ этого человека сопровождал Андрея. И в общих курсах электротехники, и в газетных статьях, и в толстых научных журналах он читал о нем и о его работах. Переходя с курса на курс и потом, в аспирантуре, Андрей изучал его труды, всякий раз открывая для себя новое. Человек этот при жизни стал легендой. Круг его интересов охватывал всю электротехнику. Это был один из последних представителей старой гвардии электротехников, знавших Доли-

во-Добровольского, Попова, один из создателей плана ГОЭЛРО. От тех далеких лет, когда вся электротехника, вместе с радио и телефонией, умещалась в одном курсе лекций, он сохранил хозяйское чувство ко всему новому, что рождалось на его глазах. Уже давно радиотехника выделилась в специальную науку, разветвилась на десятки новых отраслей, уже специалисты по трансформаторам не могли оставаться универсалами и занимались либо малыми, либо большими трансформаторами, а Тимофей Ефимович, озабоченно постукивая своей знаменитой палкой, шагал из одного раздела в другой, уверенно распоряжаясь своими необъятными владениями. За что бы он ни брался, в какой бы области ни работал, он щедро давал смелые идеи, над которыми трудились и будут еще трудиться целые коллективы. Из тех, кто сегодня сидел в зале, многие были либо его учениками, либо учениками его учеников. И вот сегодня Тимофей Ефимович пришел на его, Андрея, доклад. Держись, Андрей!

Рядом с Тимофеем Ефимовичем — Одинцов. Лицо непроницаемо. На поклон Андрея ответил сухим кивком. Как чужой. Послушаем, мол, чего ты там намудрил, Андрей Николаевич, бывший мой аспирант. Прав ли ты был, что ушел из института? Помнишь — парк, осеннюю дорожку, дом, где живет старик? Больше года прошло с того дня, как захлопнулась дверь подъезда... Держись, Андрей!

Ряды, ряды... Знакомые, полужнакомые и совсем незнакомые лица. Анечка сидит почему-то вместе с Любченко. Они, улыбаясь, смотрят на Андрея и о чем-то переговариваются. Нина, Кривицкий, Рейнгольд, Краснопевцев... Инженеры лаборатории в полном составе. Нет только Борисова. Андрей по-прежнему считает его сотрудником лаборатории. У Борисова сегодня бюро райкома, дает там бой по поводу жилищного строительства. Утром он забежал в лабораторию и сказал: «Держись, Андрей! Сегодня мы с тобой должны выиграть».

Говорить начал Андрей спокойно. Спустя минут десять вошел Тонков. Он остановился в дверях, поглаживая свою черную, словно приклеенную, бороду, как бы раздумывая, стоит ли ему оставаться. Ему услужливо освободили место, и он сел подле Смородина. Андрей перехватил их взгляды — взгляды соумышленников.

Вокруг Тонкова расположилась вся его группа — аспиранты, ассистенты, научные сотрудники. Там же сидела и Майя Устинова. Последний месяц Андрей ее почти не видел, она была откомандирована в институт к Тонкову. Совсем приобщилась к лику тонковцев.

Тонков продолжал раскланиваться направо и налево, оделяя всех своей ослепительно белозубой улыбкой. К нему оборачивались, в зале стало шумно, председатель взял карандаш и символично коснулся графина, не решаясь сделать замечание.

В упор глядя на Тонкова, Андрей повысил голос. Поведение Тонкова бесило его, сам того не замечая, он поддался соблазну спора с Тонковым. Слова его начали звучать излишне полемично. Он напал, и аудитория, где тонковцы составляли меньшинство, невольно начала обороняться. Неосознанное чувство самозащиты породило у слушателей дух противоречия.

Андрей услышал предупреждающий кашель Одинцова. Точно так он покашливал, сидя на пробных лекциях Андрея, когда тот излишне увлекался, уходил в сторону; этот негромкий носовой кашель был отлично известен и сидящему тут же Фалееву, и Зое Крючковой, и Андрею.

И впрямь, разве ради Тонкова делал Андрей доклад? Сюда собрались люди, которые ждут от него не ошибок и промахов, а заботливые и строгие друзья и те, кто могут стать его друзьями. Связисты, трамвайщики, радисты — всем им нужен был локатор для кабелей, линий передач.

И, покорясь их дружескому вниманию, он постепенно успокаивался, раскрывал тайники своих сомнений; забыв о Тонкове, сам подсказал возможные возражения.

— Взяв за основу мысль, что я был не прав по всем пунктам, я решил подтвердить это исследованиями...

Губы Одинцова дрогнули в одобрительной улыбке, но Андрей не видел ее. Если бы ему удалось увлечь и воодушевить всех, кто сидел в зале, — во сколько раз возросли бы его силы! Сознавая, что он допускает, с точки зрения Тонкова, грубейшую оплошность, он не утаивал ни одного недостатка локатора, выдавал то, о чем многие и не догадались бы. Он словно отходил от кафедры, подсаживался к каждому и советовался, что тут можно еще надумать.

Слушатели постепенно втягивались в поток его поисков. Они думали вместе с ним, по-хозяйски озабоченные. Находились, разумеется, и разочарованные: коли ты не того, так и я не того.

О статье Тонкова — Григорьева он решил упомянуть в конце доклада, надеясь, что к тому времени подъедет Новиков с результатами измерения. Тогда Андрей скажет: «Что же касается опубликованной статьи, то лучшим ответом на нее может служить этот протокол». Если же Новиков не успеет, то Андрей сошлется на полевые и лабораторные испытания, а протокол зачитает в заключительном слове.

Чуть скрипнула дверь, Андрей поднял глаза и увидел входящего Григорьева.

Тонков обернулся, удивленный и недовольный, — чувствовалось, что приход Григорьева был для него неприятной неожиданностью. Он настойчиво поманил Григорьева, приглашая его сесть рядом с собой. Лицо Григорьева болезненно скривилось, он осторожно потрогал щеку.

— Матвей Семенович, — вполголоса позвал Тонков.

Григорьев опустил глаза и бочком пробрался к Тонкову.

Странно, но еще тогда, у Савина, прочитав статью, Андрей не испытал никакой враждебности к Григорьеву, было только неловко и стыдно. И сейчас Андрею стало неловко, ему некогда было думать, что означала короткая сцена, которая сейчас произошла между Тонковым и Григорьевым. Он старался просто не смотреть на Григорьева, но, куда бы он ни смотрел, ему все время мешало это старание не смотреть на Григорьева.

Он вдруг раздумал говорить что-либо по поводу статьи. Конец доклада получился скомканным.

Пришло несколько записок. Спрашивали, сколько будет стоять локатор, можно ли по этому принципу определять разрывы в газопроводах и так далее.

Любченко спросил с места:

— Чем вы объясните, Андрей Николаевич, неудачу вашего локатора в опытах Тонкова и Григорьева?

— Вы, очевидно, имеете в виду статью, — сказал Андрей. — Здесь присутствуют авторы. Я надеюсь, они расскажут нам.

В перерыве к Андрею подошел Одинцов.

— Доклад неплохой,— строго сказал он,— но я тысячу раз говорил вам: поменьше формул.

И Андрей почувствовал, что Одинцов простил его. Снова он почувствовал себя учеником Одинцова, этого на всю жизнь близкого, родного человека.

— Не принимайте слишком близко к сердцу то, что будут говорить в прениях,— советовал Одинцов.— Теория, заслуживающая доверия, устоит при любых нападках. Живите на год вперед.

В его словах таилось предчувствие разгрома. Для сведущих людей, знающих силу Тонкова, положение Лобанова выглядело безнадежным, особенно после тех нападков на Тонкова, которые позволил себе Андрей.

Андрей вышел с Мариной на лестничную площадку. Внизу стоял Усольцев, он смотрел сквозь оконные стекла на улицу.

Подошел Смородин, весело протянул Андрею руку, ясными глазами бесцеремонно ощупывая Марину.

— Как понимать, Андрей Николаевич, ваш ответ Любченко? Вы что же, идете на мировую с моим шефом?— спросил Смородин, продолжая с интересом разглядывать Марину.

— Вы скверный разведчик,— сказал Андрей.— И вообще, Смородин, я вас давно раскусил.

Смородин беспечно рассмеялся:

— Ну и чудесно. Когда вас попросят из лаборатории, приходите к нам, чего-нибудь для вас подыщем. Между прочим, Кунина-то шеф мой съел. А? Слыхали? Вот вам, Кунина!— Смородин вдруг повернулся к Марине.

— Ну, не буду вам мешать. Мы, кажется, незнакомы.— Он представился, пожав ей руку.

Андрея поражала неуязвимость этого человека. Никогда не удавалось Андрею смутить его.

— Понравился?— спросил Андрей, когда Смородин отошел.

— У него потные руки,— брезгливо сказала Марина.

Прения начались хорошо организованной атакой тонковцев. Ассистент Тонкова, черненький, с маслянистым голосом, с маслянисто-скользкими движениями, плавно водил указкой по чертежам:

— Откуда взялась такая точность? Сомневаюсь. Правдоподобны ли такие диаграммы? Сомнительно. Явно недостаточно количество замеров.

Вся схема локатора была подвергнута разъедающему сомнению. Тонковцы не приводили никаких доказательств, они просто расставляли повсюду вопросительные знаки, и, как всякая голословность, их слова звучали неопровержимо. Пренебрегая фактами, они лишали сторонников Лобанова возможности спорить.

Выступающие один за другим тонковцы опирались на сомнения предыдущих, как на факт: ах, раз предпосылки сомнительны — значит, выводы неверны. Они забирались на плечи друг другу, забрасывая подозрениями прибор, перекидывая огонь на самого Лобанова.

— Договаривайте до конца. Выходит, мы подтасовывали данные? — вспыхнул Андрей во время выступления Смородина.

— Желаемое часто принимают за действительное, — отпарировал Смородин. — Этим грешат даже крупные ученые.

«Смородин, отрицая достоверность точки *B*, тем самым...» — Андрей не мог дописать фразы.

«Тем самым, — повторял он про себя, пытаюсь вернуть спокойствие, — они не брезгают никакими средствами. Им наплевать на пользу, которую может принести локатор, они заботятся о себе...»

Один из выступавших, инженер-«дальник» — так называли среди связистов работников дальней связи, — недоуменно развел руками: стоит ли практически ставить вопрос о локаторе, если в нем так много недоработок. Конечно, принцип интересен, но...

Сбитый с толку предыдущими выступлениями, он бесхитростно выражал разочарование той части слушателей, которые пришли сюда, надеясь получить новый прибор для своих нужд. Из доклада Лобанова они поняли, что прибор готов. Они готовились к разговору о практических вещах: во сколько обойдется такой прибор, как его эксплуатировать, как приспособить для телеграфных и других линий. А тут, оказывается, и то не то, и это не так, и сам Лобанов чуть ли не обманщик, и вместо делового обсуждения получается какой-то отвлеченный научный спор.

«Дальник» напрямик спросил:

— Что же, в конце концов, локатор лучше остальных приборов или нет? Можно пользоваться локатором, действует ли он?

На Андрея смотрели ожидающе, сочувственно, встревоженно.

Где Новиков, где протокол? Почему они задерживаются? Он снова подумал: «Сто шестьдесят или двести восемьдесят?» И, подавляя в себе эти малодушные мысли, громко сказал:

— Локатор действует, пользоваться им... — Но председатель прервал его. Председатель вел себя как клапан: он не препятствовал сторонникам Тонкова и мгновенно захлопывался, когда пытался протестовать Андрей.

Андрей посмотрел на своих. Они сидели притихшие. Маленькие сонные глаза Краснопевцева умоляюще смотрели на Андрея. И вдруг Андрей почувствовал: все, что здесь творится, касается не его лично, а всех, кто работает над локатором и кто заинтересован в этом приборе. И Новиков бесконечно прав: локатор — прибор не Андрея Лобанова, а детище и Краснопевцева, и Кривицкого, и Любченко, и всех их, и он, Андрей, обязан защищать не себя, а их всех, они доверили ему это право, и он не смеет сдаваться.

Эта простая мысль взбодрила его. Не обращая внимания на председателя, не ожидая больше Новикова, он ринулся в драку, в которой уже, чувствуя себя безнаказанными, брали верх тонковцы.

Ответы его стали быстрыми, находчивыми. Там, где ему не хватало фактов, он действовал убеждением.

— Я ручаюсь за эти показания, — говорил он.

Или:

— Нет, вы докажите, докажите, что это не так.

И, как ни странно, такие реплики, не имеющие ничего общего с настоящим обсуждением, к которому стремился Андрей, действовали на его противников и на слушателей. Он сам переходил в наступление и стойко защищался даже там, где противник оказывался сильнее. Только в одном случае он упорно отмалчивался — когда речь заходила о статье Тонкова и Григорьева.

Какой-то перелом в ходе прений, несомненно, произошел, и этот перелом был в пользу Андрея. Несколько инженеров, пробиравшихся к выходу, остановились.

Тогда председатель предоставил слово Тонкову.

Стоя за кафедрой, Тонков несколько секунд задумчиво молчал. Тишина нарастала. Точно уловив ее предел, Тонков сказал:

— Тот, кто с самого начала в научных исследованиях задается узкой практической целью, ожидая извлечь немедленную пользу, часто обречен на неудачу. Лягушечья лапка Гальвани завершилась в конце концов электростанцией, а кто мог считать тогда, что это имело какой-то практический интерес? Признание ученым бездны неизвестного требует скромности и отучает от скороспелой заносчивости.— Он посмотрел на стенографистку, подождал, пока она запишет, и продолжал:— На протяжении многих месяцев я тщетно пытался предостеречь нашего молодого коллегу от его поспешных выводов. Сегодня мы с вами стали свидетелями его научного фиаско. Напрасно я искал в его докладе, в прениях каких-либо фактов, которые позволили бы мне помочь ему. С грустью приходится признать — слишком мало опытов, экспериментальный материал беден. Нужны еще годы и годы лабораторных исследований. Но нужны ли они?— Он сделал паузу, вздохнул.— Я не так самоуверен, как Андрей Николаевич, и вместо «нет» говорю «пока нет». Нас хотят свернуть с пути, освященного традицией величайших русских ученых. Методы, которые пытается зачеркнуть Андрей Николаевич, зачинал еще на заре отечественной электротехники Лачинов!

— Нашли чем хвастаться!— буркнул Тимофей Ефимович. Его насмешку услышало несколько человек, сидевших поблизости; шепотом они передали эти слова соседям, и этот шепоток, возбуждая улыбки, пошел гулять по залу, добираясь до задних рядов. Пользуясь случаем, Андрей прервал Тонкова:

— Скажите, пожалуйста, в каком году был введен ваш метод?

— К вашему сведению, в тысяча девятьсот тридцать пятом году,— язвительно сказал Тонков.— Не мешало бы вам...

— Позвольте, это почти пятнадцать лет назад, а прибавьте еще Лачинова, так все шестьдесят наберется.

Тимофей Ефимович одобрительно кивнул, как припечатал.

Председатель тронул графин.

— Отрицать старое — не значит еще создавать новое,— закончил Тонков этот мимолетный спор и далее,

подведя философскую базу, обвинил Лобанова в отступлении от законов диалектики. Нужно копить факты скромно и осторожно. Собирать факты, а не высасывать из пальца идеи, подобно идеалистам в физике.

— Признаться, я не собирался сегодня выступать. Мне трудно добавить что-либо к той картине, которая ясна всем. Если тут и есть кое-что ценное, — он обвел рукой диаграммы, — то все портит предвзятость и жажда быстрого успеха.

Так можно было говорить, когда сущность вопроса решена и остается только оценить события. Тонков, не стесняясь в средствах, силой присоединял большинство к своим союзникам, очерчивая вокруг Андрея запретный круг отчуждения.

— ...Поскольку Андрей Николаевич просил высказаться авторов статьи, то я могу сообщить следующее. Испробовав вариант схемы локатора, предложенной Лобановым, мы убедились в некачественности этой схемы. — Он улыбнулся, придавая своим словам оттенок зловещей двусмысленности. — И в дальнейшем опыты шли по моей схеме...

— По какой? — быстро спросил Андрей, подавшись вперед.

— ...Естественно, это задержало ход исследования, но нет худа без добра.

Андрей встал:

— Еще раз прошу сообщить, как выглядит ваша схема?

Андрей подошел к Тонкову, протянул ему мел.

Тонков посмотрел на его руку: она дрожала.

— Пока схема не опубликована, я не считаю удобным... — Снисходительная степенность его слов подчеркивала всю бестактность просьбы Андрея.

В зале росла и росла тишина.

Не спуская глаз с Тонкова, Андрей взял свернутый в рулон чертеж.

— Вот схема локатора, которую я предложил профессору Григорьеву для его измерений, — он развернул чертеж, поднял его перед аудиторией. — Будьте добры показать, в чем тут, по-вашему, порок?

Тонков скользнул глазами по схеме и тотчас настороженно повернулся к залу; он уже приготовился было произнести очередную убийственную фразу, но его опередил высокий, натянутый до предела женский голос.

— Товарищи!— По проходу почти бежала Анечка. Она остановилась перед Андреем, спиной к залу.— Андрей Николаевич! Ведь это же не ваша схема. Как вам не стыдно! Это схема профессора Тонкова. Мы по ней работали. Мы на ней получили все замеры.

Лист бумаги жестяно зазвенел в руках Андрея.

— Удивительное совпадение,— бесчувственно сказал Андрей, смотря на Григорьева.

— Настолько... удивительное, что я не вижу смысла продолжать,— торопливо сказал Тонков и направился к выходу.

— Подождите!— Навстречу ему поднялся Григорьев. Цепляясь за стулья, он медленно шел к кафедре. Красные пятна вспыхивали и меркли на его щеках.

Одергивая криво застегнутый пиджак, он напомнил Тонкову, как он, Григорьев, сообщал ему схему Лобанова.

— А потом вы сказали мне, что по схеме Лобанова ничего не получается и замеры сделаны по вашей схеме. Как же так? Выходит, у вас своей схемы не было?

— Вы что-то путаете, Матвей Семенович,— твердо сказал Тонков.

Григорьев, ошеломленный, втянул голову в плечи, пристыженно-беспомощно переводя глаза с Андрея на Анечку.

В маленьком, ярко освещенном зале все было хорошо видно, но многие почему-то привстали.

— Наша схема,— раздался голос Майи Устиновой,— то есть схема профессора Тонкова, оказалась недостаточной. Я лично ее опробовала...— Майя говорила тихо, тем не менее каждое слово звучало отчетливо.— Мы никак не могли на ней добиться точности, которую обещал профессор Тонков. Мы отказались от этой схемы...

Андрея поражала не низость поступков Тонкова, открывшаяся ему сейчас во всей скандальной неприглядности, а то, что рассказала о ней Майя, Майя, для которой работа с Тонковым стала делом престижа, чести. С этой работой Майя связывала все свои надежды, она была ее оправданием, ее верой... Бледное, чистое лицо Майи словно окаменело. Двигался только ее рот. Андрей вспомнил почему-то партийное бюро, потом отчетно-перевыборное партсобрание, выступление Борисова

и почувствовал какую-то крепкую внутреннюю связь между всеми этими событиями и тем, что творилось сейчас.

— Вы утверждаете, профессор Тонков, что ничего не знали о моей схеме,— сказал Андрей.— На каком же основании вы писали в статье, что она не годится?

— Это что, допрос?

— Нет, опровержение,— раздался негодующий голос Кривицкого.

— Значит, вы...— Анечка напряженно смотрела на Тонкова.— Как вам не стыдно! И мы...— Глаза ее заблестели, она резко повернулась и вышла в боковую дверь...

Григорьев с силой потер щеку, оставляя на ней белые полосы.

— Андрей Николаевич, я не имел права...— тихо начал он.

— Громче!— потребовали в зале.

Григорьев повернулся к аудитории, уперся глазами в толстую спину уходящего Тонкова и, торопясь, чтобы Тонков услышал, вдруг закричал, размахивая руками:

— Вы опозорили мое имя, мою честь... Все, что угодно, но фальсификация научных данных — это... я не знаю... За это судить надо! Да, да! Я сам виноват, я сам преступник, я поверил, слепо верил Тонкову.— Этот лысый, щуплый человек был сейчас страшен в своем гневе.— Принцип локатора правилен. Практически не берусь судить, но, во всяком случае, я верю теперь Андрею Николаевичу, а не профессору Тонкову.

Встал Тимофей Ефимович. Андрей подумал, что он хочет уйти, но старик, постукивая палкой, направился к столу, поднял на лоб очки, сразу стал похожим на старого мастера.

— Михаил Фарадей перед смертью писал,— сказал он:— «Постоянный опыт показывает, что наша осторожность чаще распространяется на ошибки прежних лет, чем на наши собственные». Я всегда склонен объяснять поступки моих коллег высокими побуждениями. Неоднократно, впрочем, я наставлял себе синяки за подобную наивность. Сегодня тоже. Кроме той осторожности, против которой восставал Фарадей, сегодня проявилась другая. О ней предупреждал Ленин. Он как-то говорил, что когда новое только родилось, то старое остается некоторое время сильнее. Тогда-то и происходит издевательство над слабостью нового, этаким деше-

вый интеллигентский скептицизм. Насколько я разобрался в обстановке, против Лобанова особо яростно ополчились ученики и соратники профессора Тонкова. Почему? — Даже стенографистка замерла, остановив свой быстрый карандаш. — Престиж свой бояться утратить! И разные льготы и выгоды. Их интересуют не поиски истины, а безопасность своего положения в науке. Появился конкурент — дави его, уничтожай любыми средствами! Подобные люди рады уничтожить всякий талант, который может как-то соперничать с ними. — Он стукнул палкой. — Вот мы и увидели их голенькими.

Освежающим гулом прокатились аплодисменты. Никого не смущала их неуместность в этой деловой обстановке.

— Когда чувствуешь, что силы начинают иссякать, — тихо говорил старый ученый, — то единственным утешением служит возможность помочь тем, кто придет после нас и будет бесстрашно идти по тому пути, который мы смутно предвидим.

Аплодируя вместе со всеми, Андрей выронил записку, которую давно уже машинально вертел в руках. Он поднял ее, развернул и прочел:

«А. Н.! На 160-м порчи не оказалось. Как быть? Новиков».

Новиков, стоя в дверях, видел, как лицо Лобанова словно опустело. Ничего не осталось — ни боли, ни испуга, ничего.

Новиков вышел в соседнюю комнату. Там, поджидая его, из угла в угол ходил Усольцев. Махнув рукой, Новиков зашагал по другой диагонали. Встречаясь, они останавливались, прислушивались к голосам из-за полураскрытой двери и вновь расходились.

Когда Тимофей Ефимович кончил, Андрей извинился и направился к выходу. Стоя у дверей, он коротко, шепотом обсудил с Новиковым и Усольцевым положение. Кабель на сто шестидесятом метре был цел, никаких повреждений на нем нет. Наумов с бригадой ждет указаний.

Новиков и Усольцев смотрели на Андрея умоляюще, ожидая чуда. И вдруг Андрей улыбнулся большой, спокойной улыбкой. Это действительно было похоже на чудо. Бог знает, каких трудов ему стоила эта улыбка. Он положил руку на плечо Новикова. Есть единственный

выход — вызвать сейчас Майю Константиновну и попросить ее произвести замер своим методом. Может быть, ей удастся хоть на пять-шесть метров уточнить место этого злосчастного повреждения.

Новиков схватился за голову:

— Позор! Андрей Николаевич, это же капитуляция!

— Да... — грустно сказал Усольцев.

— Ответственность за ход ремонта легла на лабораторию, — быстрым шепотом сказал Андрей. — И бросьте паниковать. Подумаешь, катастрофа!

Новиков отчаянно зажмурился:

— После всего, что было, я не могу просить Майю Константиновну. Режьте меня. Не могу!

Из зала доносился голос моряка — начальника конструкторского бюро:

— ...Точность, достигнутая локатором, перекрывает остальные методы...

Андрей наклонился к сидящей у двери Нине и попросил вызвать Майю Константиновну.

Новиков и Усольцев отошли в глубь комнаты. Невыносимо было слушать сейчас выступающих. Торжество победы казалось горше всякого поражения.

В двух словах Андрей объяснил Майе суть дела. Майя медленно подняла голову, посмотрела ему в глаза. В сухом, горячем блеске ее чистых глаз смешались раскаяние, радость, дружеское сочувствие и благодарность за то, что Андрей поверил ей в эту трудную минуту.

Она хотела что-то сказать и не могла справиться со своими губами. Только глубоко вздохнула и изо всех сил пожала Андрею руку. Она позвала Нину, подбежала к Новикову и Усольцеву, и все четверо бегом уже спускались по мраморной лестнице.

Андрей печально посмотрел им вслед.

Отказаться от заключительного слова? Трусость. А вдруг ошибка локатора не случайность?

— Заключительное слово предоставляется докладчику, — объявил председатель.

Андрей подошел к кафедре. Положил перед собой протокол испытаний. Синими чернилами (вечная ручка Новикова) было написано: «Повреждения на 160-м метре при осмотре кабеля не обнаружено». Подписи.

Сейчас он прочитает протокол, и завоеванное с таким трудом доверие к локатору рухнет. В тысячный раз он спрашивал себя, верит ли он сам в свой локатор, и

в тысячный раз отвечал — верю. Никакие протоколы не разубедят его. Могло произойти любое недоразумение. Так должен ли он сейчас читать протокол, или нет?

Между тяжелыми складками пунцовых занавесей блестели черно-синие стекла окон. Там, далеко, в заснеженной мгле работали его товарищи. Наверное, уже заехали в лабораторию, Майя взяла свои приборы. Едут к котловану. Сидят в машине, молчат. Наумов со своей бригадой передвигают компрессор поближе к двухсотвоьмидесятому метру, к ограде. Но где копать котлован — за оградой, до нее? Наугад, вслепую искать в промежутке двадцати — тридцати метров. Если бы Майе удалось хоть немного уточнить. А здесь... Смородин сидит сейчас присмиривший. Тихо вошла Анечка, глаза заплаканы. Кривицкий настороженно уставился. Догадывается? Фалеев подмигивает: «Крой их, наша взяла!»

Это верно, независимо от локатора важно разоблачить Тонкова и его школу. Пусть люди еще раз услышат правду о нем. Андрей поднял голову, расправил плечи, руки его в карманах сжались.

— Что представляет собою последняя книга профессора Тонкова? Двадцать страниц к вопросу о случаях, встречающихся раз в сто лет. На пятнадцати страницах профессор дает теорию случаев, которые бывают раз в двести лет. Наконец, на десяти страницах случаи, которых вообще никогда не было. Вы найдете в этой книге все, вплоть до того, что произойдет, если на изолятор сядет ворона, и что изменится, если сядет воробей. Нет в ней только одного: честной оценки существующих методов, того, как сегодня надо бороться с авариями. Профессор Тонков имеет так называемую школу. За несколько лет все его ученики успешно защитили диссертации и написали около двух десятков книг. Но кто из сидящих здесь пользуется этими книгами? Никто. Профессор Тонков понимает, что практика, производство может вывести на чистую воду его устарелые методы. Поэтому Тонков решил прибрать к рукам производство. Но, как видите, ничего из этого не вышло...

Потом Андрей быстро начал отвечать на замечания в прениях. Инженер-«дальник» удовлетворенно кивал головой. Остатки сомнений растворялись в неумолимой логике слов Андрея. Потом Андрей согласился с замечаниями, отмечающими недостатки локатора, и с разбега, так было легче, сказал:

— Относительно практического применения лока-тора. К сожалению, первая наша попытка оказалась неудачной. — Он поднял протокол испытаний и начал читать. Против воли голос его изменился. Вздых разочарования прокатился по аудитории. Смородин и остальные тонковцы оживились. На них зашикали, но как-то растерянно. Что-то надломилось в людях, слушавших до этого Андрея с возрастающим доверием.

Все, что затем делал Андрей, он делал чисто механически. Отвечал, говорил, что это недоразумение, случайность; выслушивал утешения, кому-то давал телефон. Одинцов и Тимофей Ефимович утверждали, что без подобных ляпсусов не обходится ни одна серьезная работа, и Андрей пристыженно благодарил их за участие. В то же время он видел, как уныло расходится большинство слушателей. Вокруг Смородина собралась большая группа людей, и он что-то громко, бодро доказывал. Поодаль, тихо переговариваясь, стояли инженеры лаборатории. Андрей подумал, что надо бы подойти к ним. Но все еще чувства и желания были какими-то приглушенными, тусклыми. Единственное, чего ему хотелось по-настоящему, остро, сильно, — это скорее уйти, взять с собой Марину и уйти, остаться с ней вдвоем.

ГЛАВА СОРОК ПЕРВАЯ

Накануне заседания Андрей предупредил Марину, что если все обойдется удачно, то вечером у него соберутся товарищи по лаборатории и они отпразднуют победу. Он взял с нее слово, что и она придет. Марина сама мечтала познакомиться с друзьями Андрея, войти в ту его жизнь, которая до сих пор оставалась закрытой для нее.

Но после заседания Андрей повез ее куда-то в Заречье, к скверу, где при свете аккумуляторной лампочки люди копали котлован, стучал компрессор, стрекотали отбойные молотки. Всю дорогу Марина приставала к Андрею с расспросами, она должна была разобраться в происходящем, чтобы как-то утешить его. Андрей отвечал безучастно, и от этой странной безучастности ей стало не по себе.

Андрей побежал на котлован. Марина ходила по льдистому тротуару, у нее мерзли ноги, хотелось есть, а главное — было больно оттого, что она ничем не может

помочь. Она посмотрела на часы — было без десяти десять. Андрей совсем забыл о ней. Ну и хорошо, она готова ходить здесь до полуночи, всю ночь. И хорошо, что у нее мерзнут ноги, что она голодная, это хоть как-то приобщает ее к общей беде.

В четверть одиннадцатого она не вытерпела, стыдясь самой себя, забежала в магазин на углу. Там было тепло. Стоя перед прилавком, она растерла руки, от тепла заломило пальцы. Она купила черствый пирожок с повидлом. На улицу выходить было страшно, но именно поэтому она не позволила себе больше ни минуты задержаться в магазине.

Там, где они расстались, прислонясь к стене дома стоял Андрей и перед ним девушка в сером затаканном ватнике с чужого плеча.

— За что нам спасибо... Вы только не расстраивайтесь, — умоляюще говорила она.

Заметив Марину, она замолчала. Потом пристально посмотрела на нее и крепко пожала Андрею руку. Он молча взял Марину за локоть, и они пошли.

— Как там? — спросила она.

— Повреждение на двести восемьдесят первом метре. — Он больно сжал ее кисть. — Но я по-прежнему не верю. Тут что-то не то. Локатор не мог ошибиться. Принцип-то правилен? Верно?

— Знаешь что, пойдём к тебе, — предложила Марина. — Ты посидишь, разберешься.

Люди в горе становятся эгоистами. Андрей принял ее слова как должное, не поблагодарил, не обрадовался.

...Нина стояла грязная, измученная, провожая глазами Андрея, идущего с другой. Та женщина держала его под руку. Та женщина утешала его. Нина вынула из кармана платочек и устало начала вытирать мокрые ладони. Саша издали следил за ней. Он понимал, что с ней творится, и ему было жаль ее и обидно за нее. Никогда еще он не видел ее такой поникшей, и никогда еще он не любил ее так, как сейчас. В эту любовь входило все — и ревность, и горе от неудачи с локатором, и самолюбие, — все разом обнимала эта любовь, она была над всем. Ему казалось, что, если бы Нина узнала, как он ее любит, она не была бы так несчастна.

Он пошел проводить ее.

— Андрея Николаевича жаль, — говорил он. — Надо же было... как назло...

— Найдутся жалельщики без нас,— зло сказала она.

Саша серьезно и печально покачал головой:

— Зачем ты мне врешь?

Когда они подходили к ее дому, Нина сказала:

— Мне теперь все равно. Я в институт поступаю.

Саша вдруг с тем твердым спокойствием, какое появлялось у него в крайние минуты жизни, сказал:

— Ты знаешь, что я тебя люблю?

— Знаю,— грустно и ласково сказала она.

Они долго стояли, опустив головы.

— Понятно,— сказал Саша.— Конечно.

Она протянула ему руку. Он бережно перебирал ее холодные, перемазанные землей пальцы.

— А в Осиновке новый лыжный трамплин построили... Нина, неужели ты... Неужели для тебя это не кончилось?... Несправедливо это.

Она хотела что-то ответить. Промолчала. Он понял, что она не жалеет ни о чем.

Она взяла его за плечи, притянула и поцеловала в щеку. От такого поцелуя можно было заплакать.

Так ли Марина мечтала вступить в его дом! Впрочем, она никогда не думала о том, как это случится. Но сейчас, когда они молча поднимались по лестнице, она ясно представила, как это могло быть, представила совсем другое молчание, не гнетущее, а волнующее.

— Вот познакомься, папа: Марина,— рассеянно сказал Андрей. И это тоже произошло бы не так. Он смутился бы, и все было бы как-то значительно и прекрасно. Отец Андрея не скользнул бы глазами по ней, не стал бы сразу расспрашивать Андрея, что случилось, а почувствовал бы, что значила эта девушка для его сына.

И Андрей не оставил бы ее одну в комнате, не ушел бы с отцом и сестрой в столовую. Он робко ввел бы ее к себе, и все в его комнате казалось бы им наполненным особым смыслом.

Обидно. Новизна этих минут никогда не повторится. Будет другое, конечно, хорошее, счастливое, но этого уже не будет.

«Невеста»,— горько усмехнулась она, готовая заплакаться.

Но она не имела права сейчас даже на свое горе.

Прошел час. Они были вдвоем. Андрей ходил по комнате, садился, заглядывал в бумаги, опять вскакивал, ходил.

— Не может быть,— повторял он,— не может быть, все правильно.

— Попробуй отвлечься на минутку,— сказала Марина.— Неужели ты так легко поддаешься отчаянию?.. И потом... хорош хозяин.

Он как бы опомнился, побежал в кухню, принес консервы, хлеб. Достал бутылку вина из припасенных к сегодняшнему вечеру. Марина ела с аппетитом и оживленно рассказывала о своих впечатлениях об Одинцове. Андрей налил вина, они чокнулись за здоровье старика.

— Я не успел тебя познакомить с ним. Хочешь, как-нибудь пойдем к нему вместе? Он обрадуется.

— Обязательно пойдем. Вы будете опять целый вечер заниматься своими импульсами.

Они выпили, и Андрей посмотрел на Марину долгим, тяжелым взглядом.

— Послушай, Марина, ты веришь мне?

— Верю,— просто и серьезно ответила она.

Но ему этого было мало.

— Они все ушли разочарованные. Они... они-то не верят... Как это теперь все восстановить?.. Но я убежден,— он стукнул кулаком по столу.— Головой отвечаю!— И сразу же вопросительно посмотрел на нее.

Она почувствовала себя сильнее. Она утешала его как могла — неумело и горячо, обижая своей жалостью и страстно заглаживая эти обиды. Она была счастлива уже тем, что он нуждался сейчас в ней, в ее бессвязных, глупых словах.

— Ты придумаешь что-нибудь... Может быть, даже завтра,— говорила она ему, как маленькому.— Осенит. Догадка всегда осеняет... Ну, чего ты расстраиваешься? Не ты же один делал прибор. Была бы ошибка — другие тоже бы заметили. Вот увидишь, все будет чудесно, и тебе совестно будет вспоминать, каким ты был плаксо́й...

Раздался телефонный звонок. Андрей вышел в коридор. Слышно было, как он хриплым голосом что-то переспрашивал, все громче, громче. Через несколько минут он вернулся в пальто, в шапке.

— Марина, звонил Наумов. Там что-то случилось. Я пошел. Ты подождешь меня?

Она покраснела.

— Марина, я тебя очень прошу. Я, наверно, скоро вернусь.

— Я не останусь, как ты не понимаешь...

Не слушая ее, он побежал. Хлопнула дверь в парадной.

Некоторое время Марина сидела, устало вытянув ноги, закинув руки за голову. Потом встала, прошлась по комнате. Она трогала стулья, полки, как бы убеждаясь в их реальности. Присев на кончик стула, она зажгла настольную лампу и попробовала представить себе, как Андрей занимается здесь. Взяла перо, логарифмическую линейку, нахмурилась... Внезапно она заметила на зеленой бумаге, которой был накрыт стол, несколько женских профилей, нарисованных пером. Она засмеялась. Нос, пожалуй, слишком вздернут, на самом деле он почти прямой. И подбородок не такой уж полный, но главное в очертаниях лица — ее лица — схвачено правильно.

А рядом был записан ее телефон.

Вещи в комнате точно ожили, наперебой рассказывая о себе. Старенький перочинный ножик выставил открытое лезвие, измазанное сгустками засохших чернил. Блестела кривая толстая игла, воткнутая в катушку черных ниток. Только мужчина способен управляться с такими уродами.

Странное дело, комната почему-то не была чужой. Мысленно она переставляла мебель, вешала занавески на окна, поставила цветы.

На письменном столе стояла фотография девушки, кидающей мяч. Фотография была запылена, Марина вытерла ее и равнодушно поставила на место.

Эта комната, в которой угадывались привычки Андрея, его характер, вдруг как-то приоткрыла ей будущее.

Может быть, вот так она будет сидеть и ждать Андрея. Он будет забывать о ней ради своей работы. Он уступчив, деликатен, мягок, пока у него все идет хорошо. Он любит и будет безропотно, с радостью подчиняться во всем. Но если ты будешь ему мешать, он пройдет как танк, не пощадит и тебя. Об этом ли ты мечтала? Будешь ли ты счастлива? Выдержишь ли ты? Да, отвечала она. Но зачем мне это нужно? Почему я должна все понимать? Почему я должна мириться?

Я сама хочу быть такой. Это самое трудное и самое дорогое в жизни. А впрочем, так ли уж это трудно, когда любишь?

Никогда она еще так не любила. Но проходили минуты, и чувство обиды, уязвленное самолюбие подмывало уйти. Где эта, казалось, завоеванная уже радость? Уйду. Вот уйду, и пусть тогда...

Андрей бежал по пустынным улицам. Не хватало дыхания, он переходил на шаг, опять пускался бежать. Он забыл надеть галоши, подошвы скользили, один раз он упал. Как назло, не попадалось ни одного такси.

Наумов и Якушев ожидали Андрея в трансформаторной будке. От нагретого кожуха трансформатора исходило усыпляющее тепло. Якушев, сидя на деревянной решетке, всхрапывал открытым ртом. Андрей обил у порога снег с ботинок и вошел, ничем не выдавая своего нетерпения. Таков был нерушимый обычай, — поспешность среди энергетиков считалась недопустимой.

Наумов, как водится, учтиво предложил папирос собственной набивки, закурил сам и в промежутках между затяжками сообщил, что кабель отремонтирован, включен. Дома со светом.

Андрею это было известно, но он сказал:

— Быстро вы управились.

Наумов довольно усмехнулся:

— Быстро-то быстро, да только одно сомнение появилось. Перед ремонтом я замерил изоляцию в обе стороны от порчи. На одной стороне изоляция хорошая. А на другой так себе. Не такая, чтобы очень, а все же... жить с такой изоляцией можно; вот видите, кабель включили, и он нагрузку держит. Изоляция слабая как раз в той стороне, где локатор показывал.

— Котлован уже засыпали? — спросил Андрей.

— Нет, я не велел засыпать котлован. Люди устали, завтра утром засыпят.

— Но ведь вы осматривали, кабель в том месте цел?

— Кабель здоровый, — подтвердил Наумов. — На внешность здоровый.

Андрей нахмурился.

— Может, еще раз посмотрим? — неуверенно начал он.

— Смотрел я. Всех отпустил, залез и осмотрел,— сказал Наумов.— Потом вам и позвонили. Небось с постели поднял?

— Где там, мне не до сна было,— спокойно сказал Андрей.

— Земля-то в котловане вроде сдвинута. Тянуло кабель земель в этом месте.

Андрей терпеливо молчал. Наумов изогнул козырек кепочки почти острым углом.

— Может, Андрей Николаевич, это самое — резануть кабель?— тихо спросил Наумов.

— Резанем,— блеснув глазами, сказал Андрей.— Вскроем и посмотрим, а вдруг? Верно, Наумыч, а вдруг там и есть разгадка? Мало ли что может быть.

— Так-то так... Да только резать здоровый кабель... за такие вещи меня по головке не погладят. Вставку потом придется делать.

— Кабель для вставки есть?— спросил Андрей.

— Уже приготовил,— усмехнулся Наумов.

— Дом придется снова отключить. Ах черт, я позабыл! Как же тут быть?

— Об этом не беспокойтесь,— улыбнулся Наумов и вытащил свои большие часы.— Я предупредил коменданта. С часу ночи выключим их снова, до утра.

Оказалось, что Наумов все предусмотрел и подготовил. Не хватало только людей. Андрей послал Якушева позвонить Новикову: пусть немедленно приезжает и по дороге заедет за Сашей и за Усольцевым.

Наумов выключил кабель, они взяли лопаты и пошли к ограде. Взошла луна. Снег был зеленым, земля синей. Чтобы вырезать кабель и сделать вставку, котлован пришлось расширить. Лопаты звенели о мерзлую землю. Андрей вскоре скинул пальто, повесил на ограду.

Работали молча. Якушев вернулся и ломом стал разбивать закаменелые комья. Новиков, Саша и Усольцев приехали вместе на такси. Усольцев был заспанный и ворчливый. Новикову этот ночной аврал, это вдохновенное тревожное ожидание нравились.

— А как вы думали, Усольцев? Таковы гримасы науки! — приговаривал он, потрясая лопатой.— Вот этим мы защищаем истину. Копайте, копайте. Она там, на дне.

Якушев разжег костер, поставил в огонь припой для монтажа. Желтый свет пламени играл на их потных

красных лицах. Они по очереди стали мокрыми. Предусмотрительный Усольцев приехал в старых высоких сапогах. Было два часа ночи, когда Наумов взял ножовку и, сидя на дне котлована, начал отпиливать кабель. Все стояли, опираясь на черенки лопат, и слушали, как визжал раздираемый зубьями пилы металл.

Отпиленный кусок кабеля, упругий и теплый, отнесли в будку. Наумов снял стальную ленту брони, осторожно удалил смоляные волокна джута. Свежий запах далеких лесов наполнил воздух. Тускло блеснул свинец. Наумов ножом ловко разрезал свинцовую трубку, разогнул ее, вынул запеленатый в желтую бумагу кабель, поднял его к свету. Толкая друг друга, вытянув шеи, все они смотрели на вощеную поверхность бумаги.

— Оно! Вот! Есть! — разом тихо и громко произнесло несколько голосов. Посредине кабеля на желтой бумаге черной кляксой обозначалась подпалина. Она проходила насквозь через десятки слоев бумаги до медных жил кабеля, отсасывая электронный поток в землю. Это и было место утечки. Процесс разрушения только начинался. Подобно язве, он омертвлял здоровые клетки изоляции. Кабель был обречен.

— Через две-три недели он бы пробился, — мрачно определил Наумов.

— Значит, локатор показал правильно, — закричал Новиков. — Правильно! Колоссально!

Он хлопнул Наумова по плечу, схватил Андрея за руку обеими руками.

— Андрей Николаевич! — замирающим голосом сказал Саша.

Счастье на миг осветило их лица. Наумов снял кепочку, ее измятый козырек неспособен был выразить такое ликование. Они пожимали друг другу руки, захлеб вспоминали события сегодняшнего вечера. Просто им попался редкий случай: сразу два повреждения. Локатор показал ближайшее. Они наперебой объясняли, почему там, на двести восьмидесятом метре получился такой маленький всплеск... Держись, Тонков! Милый, голубчик локатор не подкачал... А кто надумал проверить? Наумов. Ай да старик! Подумать только, что было бы, если бы не Наумов, — тогда доказывай, что ты не верблюд!

Только теперь они заметили, какие они перемазанные, выходной синий костюм Андрея был весь в земле.

Надо было монтировать вставку. Наумов убеждал,

что он справится сам с Якушевым, но, разумеется, все отправились на котлован помогать им.

Андрей зашел в будку, присел на корточки перед развороченным кабелем.

— Что ж это получается... — бормотал он сухими губами.

— Он встал, вышел в сквер, не разбирая дороги, по снегу зашагал к костру. Снова взял лопату. Усольцев начал что-то выговаривать ему насчет мокрых ног и простуды, он отмахнулся.

— Подожди-ка... Подожди-ка, — повторял он, бросая землю в котлован. — Подожди-ка.

Он так ушел в себя, что не заметил, как котлован закидали землей, его остановил общий хохот. Оказалось, что он нес на лопате землю из котлована обратно, в отвал.

Андрей стоял на грязном, затоптанном снегу, держа на весу лопату с комьями рыжей земли.

— Подожди-ка, — сказал он громко. — Если так, то что же получается? Выходит, локатором можно определять повреждения, которые еще только... Будущие повреждения? Факт! Чего же вы молчали?!

Как они не догадались? Это же было ясно всем, даже сонному Якушеву. Зависть, отчаянная зависть больно кольнула Новикова — почему он не сообразил такую очевидную вещь? Простофиля.

Простота, да к тому же очевидная, наиболее сложное дело в науке. Она появляется в самом конце долгого и извилистого пути. Электрическая лампочка несравненно проще первых дуговых фонарей. Понадобились сотни лет, чтобы от громоздких водяных колес перейти к маленькой гидротурбине.

Была половина третьего ночи, когда Наумов включил кабель. На темной стене студенческого общежития вспыхнуло несколько окон.

— Свети, — сказал Андрей. — Свети спокойно.

— Пропустить бы теперь в порядке профилактики грамм по двести, — сказал Наумов.

Они почувствовали, как иззябли и продрогли.

— Друзья, — предложил Андрей, — пошли ко мне. У меня, кстати, кое-что приготовлено.

И тут он впервые вспомнил о Марине. Неужели ушла? Да, да... Она что-то говорила. Ну, конечно... Как же я мог так? Ну и пусть. Я не мог иначе.

Редкие фонари качались на холодном ветру. Трамвайщики сваривали рельсы. Высокий свет сварки упирался в облака. В глубине сада тускло светили ночники в окнах больницы. Гудели печи в ярко освещенных корпусах хлебозавода, и веселый запах свежесвеженного хлеба наполнял улицу. Даже глубокой ночью небо над городом было высветлено тысячами электрических огней. Ночь бессильно отступала перед ними. Их были миллионы. Где-то во Владивостоке они сейчас передавали свою вахту слепящему утреннему солнцу. Они светили на снежных просторах страны, в ее больших и малых городах, в деревнях, на границе, в шахтах...

Отныне пусть спокойно идут поезда метро, пылают электропечи, крутятся моторы. Пусть спокойно работают турбины электростанций, провода донесут их силу. Пусть будет спокоен труд этой могучей и доброй страны, — страны, которая, подобно невиданной электростанции, творит энергию и свет для всех тружеников Земли.

По темной улице шли шесть человек, знавших, что так будет. Они выиграли сегодня решающую битву за свет. Никто из них не произносил красивых и выспренных слов. Они мечтали обогреться и выпить водки. Они хлюпали носами и засовывали поглубже в карманы грязные красные от мороза руки.

Пока гости раздевались в передней, Андрей побежал к себе в комнату. Марина спала, свернувшись клубочком на диване. Спросонок она долго не могла ничего понять. Потом она просветлела, крепко обняла Андрея, поздравила и в ужасе отпрянула, узнав про гостей.

— Ты с ума сошел. А я? Я пойду сейчас же домой...

Никакие оправдания и доводы не успокаивали ее, Марина со страхом прислушивалась к голосам из передней.

Она скрылась в кухню, чтобы привести себя в порядок, и вошла, когда все уже умылись и, жадно поглядывая на бутылки в руках Андрея, дымили папиросами.

Лицо ее было свежо и припудрено, губы плотно сжаты. Она вошла настороженная и подчеркнуто надменная.

Ее встретили смущенным молчанием. Она не знала никого из присутствующих, и никто не знал ее. Новиков

поспешно застегнул пиджак и привстал — как всегда с женщинами, — галантный и оживленный.

— Знакомьтесь, товарищи, Марина Сергеевна, — Андрей взял ее за руку, лицо его слегка побледнело, — моя жена.

Новиков поперхнулся и встретился глазами с Сашей. Простодушный Усольцев сказал:

— А я думал, Андрей Николаевич, что вы холостяк.

Марина выдернула руку и принялась хозяйничать у стола. Ее блестящие глаза, все отражая, сами не выражали ничего, они были как два черных зеркала. Мужчины, не дожидаясь бутербродов, выпили первую за ее здоровье.

Пожалели, что нет с ними Борисова. Вторую выпили для «профилактики».

— Безобразие, ночью ввалились, хозяйке хлопоты, — сокрушался Наумов.

— Ничего, я привыкла, — усмехнулась Марина.

— Счастливчик вы, Андрей Николаевич, — сказал Усольцев. — Моя бы выставила нас за дверь.

Марина подкладывала в тарелки еду, шутила, улыбалась, избегая ищущего взгляда Андрея. Говорили о событиях сегодняшней ночи. Майя Константиновна на измерениях вела себя по-товарищески. Никакого торжества, никакого злорадства. Нина Цветкова кое-что не преминула съязвить. Но в основном это было направлено против Саши.

— При чем тут я? — Саша пожал плечами.

Все засмеялись, а Новиков сказал:

— Свадьбу замотаешь? По примеру некоторых товарищей?

— Замотаю, — глухо сказал Саша.

— Устинова-то дала результат довольно точно, — вспомнил Наумов. — Плюс — минус три метра.

Великодушно согласились, что ей действительно кое в чем удалось усовершенствовать метод Тонкова.

— По сравнению с нами — ерунда, — сказал Саша.

— Что ж, Андрей Николаевич, получается, — рассуждал Наумов. — Не только место порчи можно определять точно, но и аварии предсказать?

Саша тормозил сонного Якушева:

— Ты пойми, на всех линиях поставят наш локатор. Знаешь, какое значение это будет иметь? Линии передач построят на тысячи километров...

Мечты ширились. Телеграфные линии, телефон... Приборы будут просматривать обмотки электрических машин. Великолепие будущего кружило их усталые головы.

Андрей заговорил о том, что надо немедленно развернуть исследования новых свойств локатора.

Новиков вздохнул:

— Начинается. Снова муки. Снова ругайся с техотделом. Опять ломай голову над формулами. Опять неприятности и заботы.

— Модест Петрович, завтра же садитесь составлять план,— сказал Андрей.

— Не завтра, а сегодня,— вздохнул, поднимаясь, Усольцев.

Гости ушли. В комнате было накурено и душно. Андрей открыл форточку. Морозный воздух белыми клубами валился на подоконник. Марина неподвижно стояла у книжного шкафа. Андрей медленно подошел к ней, осторожно взял ее руку, наклонился и поцеловал в ладонь.

— Марина, спасибо тебе,— сказал он, все еще не смея взглянуть на нее.

Голос его дрогнул. Марина видела, как на склоненной шее часто билась жилка.

Он стоял в смешной, неудобной позе, согнувшись, прижимая ее ладонь к своей колючей горячей щеке.

— Как ты смел...— начала она заготовленную фразу и остановилась, не понимая, зачем это говорить.

Он хотел выпрямиться, но Марина положила свободную руку ему на голову, боясь, чтобы он не увидел ее лица, боясь, что не выдержит и заплачет.

— Все-таки это безобразие,— сказала она, собрав остатки гнева. Ее только и хватило на эту фразу.

Он поднял голову. Она встретила его взгляд, счастливая, и пристыженная, и сердитая.

— Ну, а... как же мне быть перед твоими, перед всеми?

Он отвечал смеясь:

— Мы завтра с утра поедem в загс. Мы с тобой будем ездить из загса в загс и регистрироваться... десять... двадцать раз...

— Ты думаешь, это самое главное? Как у тебя это все просто и легко... Ты понимаешь, что самое трудное у нас впереди? Кто знает, как оно все получится...

— У нас-то получится...— убежденно начал он.

— О чем ты?

Андрей покраснел.

— Так... Все не могу забыть. Ты заметила, как ухмылялся Смородин? Попробуй им все теперь доказать. И Борисова нет рядом.

Они долго молчали, следя за седыми клубами воздуха, которые все падали и падали из синего квадрата форточки.

— Я так и знала,— задумчиво сказала Марина.

Андрей засмеялся, бережно взял Марину за плечи:

— Ну и хорошо. А все-таки мне повезло.

— Может быть,— не сводя с него глаз, серьезно, без улыбки сказала Марина.— Наверное мы узнаем об этом потом...

И это было последнее, что можно передать из их разговора. Все остальное было лишено всякого смысла для всех, кроме них двоих.

*Ленинград
1951—1954*

Повести и рассказы

Эссе

РАЗМЫШЛЕНИЯ ПЕРЕД ПОРТРЕТОМ, КОТОРОГО НЕТ

1

Никто не знает, как он выглядел. «Его портретов не осталось», — написано в монографии о Василии Петрове. Не сохранилось его писем, дневников, его личных вещей. Нет воспоминаний о нем. Есть только его труды. Есть еще послужной список, всякие докладные записки, отчеты, отзывы — то, что положено хранить в архивах, тот прерывистый служебный след, какой остается от каждого служивого человека.

Последние десятилетия личностью Петрова занимались многие историки науки. Первым всерьез заинтересовался им академик Сергей Иванович Вавилов. Вместе с А. А. Елисеевым он собрал основные материалы о деятельности Петрова. Два физика всю жизнь занимали Вавилова — Ньютон и Василий Петров. Судьба их несравнима. Но ценность ученого для будущих поколений определяется не только его трудами...

Обстоятельную монографию о Петрове написал и сам А. А. Елисеев. Как добросовестный историк, он избегает в ней домыслов о личности Петрова, поскольку материалы отсутствуют. И вместо портрета помещена в книге фотография титульного листа знаменитой книги «Известия о гальвани-вольтовых опытах». В самых разных курсах истории физики среди портретов великих, гениальных, выдающихся, среди бюстов древних греков, гравюр, первых фотографий с лицами напряженно-торжественными, среди этих знакомых со школы физиономий — слепым пятном выделялась напечатанная старинным шрифтом обложка. Нынешние, особо наши недавние анкеты и автобиографии дают куда больше сведений, чем то, что осталось о профессоре математики и физики Медико-хирургической академии Василии Владимировиче Петрове.

К 1802 году, когда В. Петров открыл электрическую дугу, ему был сорок один год. У него уже вышла книга «Собрание физико-химических новых опытов и наблюдений», где он рассматривал проблему горения, подтвердив своими опытами закон сохранения масс. «Просвещенной публике», как выражался «Северный вестник», было известно имя В. Петрова, который «беспрестанно возвышает физику своими открытиями». А. Елисеев подробно рассказывает, как В. Петров организовывает в Медико-хирургической академии физический кабинет — гордость нашей отечественной физики, первую подлинно исследовательскую лабораторию, какое в ней было оборудование, приборы. Сохранились все описи и перечни, докладные, ничего не сохранилось только о самом Петрове. Каким он был? Мы ничего не знаем о его характере, увлечениях, подробностях его семейной жизни, о его взглядах, друзьях, противниках, о том, что составляло его внутреннюю жизнь, — всего того, из чего складывается образ человека. Вряд ли в истории науки XIX века есть еще пример знаменитого ученого, о котором мы бы так мало знали. Почему так получилось? Что ж это, случайность?

Даже про наружность его ничего не известно. Если бы можно было увидеть его лицо, глаза... Снова, как в молодости, мне кажется, что все же существует какая-то связь между личностью человека и внешностью. Наполеон не мог быть высоким и тощим, а Вольтер толстым и усатым. В Ленинграде в Литературном музее висит портрет герцога Лерма. Мрачное, резкое лицо, как принято выражаться, со следами сжигавших страстей. Так Михаил Лермонтов представлял своего предка и написал этот портрет воображения, странно конкретный — будто с натуры.

Глядя на обложку книги В. Петрова, я тоже попытался составить его портрет. Набросать, так сказать, в общих чертах, легким пером. Не внешний, так внутренний. Но не получалось. Чем больше я вдумывался в судьбу этого человека, тем более противоречивым, загадочным казался его облик.

2

...В те годы мы мечтали стать великими учеными, мы читали биографии Араго, Ломоносова, Ампера, Фарадея, Пастера, Кеплера. Мне тоже хотелось понять, как

становятся великими. Я примеривал на себя их жизни. Меня изумляло, что Лаплас был тщеславен и завистлив, что Ньютон, гениальный Ньютон, лукаво и осторожно лавировал среди придворных короля Иакова II, зазря обижал Гука, что Декарт был иезуит и порядочный лентяй, а князь Борис Голицын, замечательный геофизик, — драчун. Трудно было вывести какую-нибудь общую формулу из всех этих жизней.

Чего стоила одна автобиография Араго, его невероятные похождения!

Жизнь его похожа на увлекательный авантурный роман. Можно подумать — что ж, искатель приключений, но научные труды Араго составляют основы новой оптики, он же закладывает основы электродинамики, создает важнейшие оптические приборы. Его можно принять за кого угодно — и за кабинетного ученого, и за отчаянного авантюриста. В разгар работы по определению скорости света он становится военным, а затем морским министром Франции.

Или, например, полная противоположность ему — жизнь Кавендиша — нелюдимого, замкнутого, тайнственного и замечательного ученого, который вообще не публиковал своих лучших работ.

Или размеренная, сосредоточенная жизнь Фарадея, лишенная эффектности, ушедшая в глубины духа.

Или Ломоносов, с его бурным, яростным, всеобъемлющим гением...

Не только жизни их бесконечно рознились, но и то, как они совершали свои открытия, механизм их творчества, способы их мышления — все, все было несхоже.

Существовала удобная и назидательная школьная схема, где все начиналось с пытливого, наблюдательного мальчика: он мучил взрослых вопросами, читал тайком научные книги, задавался великой проблемой и носился с ней с неслыханным упорством («гений — это непрестанный труд»). Никто не верил в его идею, но «разочарования и неудачи не могли сломить его». Предыдущие корифеи опровергали, критиковали и не признавали его, а он искал новых доказательств, пока наконец на голову его не падало яблоко («Случай идет навстречу тому, кто его ищет»), и гениальная догадка осеняла его лавровым венком. Он сам становился корифеем и восхищал современников и последующие поколения своей скромностью, бескорыстием, позволял себе чудачества, презирал славу, играл на скрипке... Самое

забавное, что находились корифеи, которые добровольно укладывались в эту схему. Они действительно были упорны, одержимы единой страстью, подобно Кеплеру, годами неуклонно шли к задуманной цели. Зато другие... Другие, легкомысленно шутя, совершали находки на любых дорогах. Паскаль в шестнадцать лет написал выдающийся трактат о конических сечениях, а Дарвин выпустил свое «Происхождение видов» в пятьдесят лет. Галилей — один из лучших итальянских писателей, создатель итальянской прозы; великий индийский математик, выдающийся математик современности Романуджан — полуграмотный. Они появляются передо мной такие разные — благочестивый настоятель монастыря Георг Мендель и страстный республиканец, оратор Эварист Галуа...

Много позже я уяснил себе: гениальность — это как раз то, что не укладывается ни в какие правила. Но тогда я свято верил словам Томаса Юнга: «Всякий человек может сделать то, что делают другие». Тем более что Юнг с легкостью доказывал это своей жизнью: захотел — и стал ходить в цирке Фанкони по канату, захотел — и стал давать концерты на скрипке; он расшифровывал египетские иероглифы, занимался историей; трудно сказать, что было для него главным — создание волновой теории света или, например, музыка. Казалось, он и впрямь в любой области мог стать одинаково великим. И в истории русской науки немало людей блестящих, с неожиданными характерами. Взять современника Петрова — А. А. Мусина-Пушкина, его работы по химии, его военные подвиги, его знаменитую семью. А Павел Шиллинг? А Эйлер? А Марков?

Жизнь Василия Петрова привлекала меня не тем, что известно, а скорее наоборот — своей безвестностью, своими пробелами. Мне казалось, скудость фактов дает право довоображать. Никто не сможет меня уличить, я не буду привязан к мелким подробностям. Свобода для биографической повести казалась весьма заманчивой. Конечно, такая повесть не будет иметь ценности достоверности, она скорее представит «вариации на тему».

Там могла быть горькая, неудачная любовь, любые переживания и злключения, связанные с бурными событиями наступающего XIX века. Великая французская революция. Смерть Екатерины. Сорокадвухлетний гатчинский узник в 1796 году восходит на престол. На-

чинается короткое путаное царствование Павла I. Спустя пять лет мартовская ночь в Михайловском замке, убийство Павла и коронация Александра, который шел, по выражению госпожи Бонней, «предшествоваемый убийцами своего деда, сопровождаемый убийцами своего отца и окруженный своими собственными убийцами». Это время годилось для сильных страстей и ярких походов. Я представлял себе В. Петрова смешливым и увлекающимся человеком, отнюдь не одержимым, лакомым до жизни со всеми ее радостями и неожиданностями. Он был равнодушен к званиям и почестям. Его огромные способности не находили себе выхода. Наука никогда не занимала его целиком, пока не наступил 1800 год.

Сюжеты под такой характер подкладывались просто, наверное, слишком просто, и, может, поэтому я вскоре оставил свои попытки. Однако в судьбе этого человека было что-то странное, что заставляло меня время от времени возвращаться к ней. Последующая история электротехники сделала историю открытий Петрова драматичной. Однажды я нашел в его книге фразу, показывающую, что и сам он отлично сознавал — как бы это назвать? — несвоевременность своей работы. Он вышел слишком рано. Он это понял. Его предвидение поразило меня. Я пытался проследить судьбу идей Петрова, как развивались, ветвились, расходились его мысли, как передавались они, гасли и вновь оживали в трудах следующих поколений. История науки — это история мысли, ее приключения, и они бывают не менее увлекательны, чем приключения отдельного человека. История электрической дуги, открытой Петровым, — один из примеров такого развития мысли. Можно видеть, словно при замедленной съемке, как из зерна прорастает стебель, росток, как расходятся во все стороны новые побеги, наращиваются кольца, стволы. Ветер далеко разносил семена, и уже не дерево, а древо, целое генеалогическое древо раскинулось над местом давно сгинувшего зерна.

Достоевский выбрал эпиграфом к «Братьям Карамазовым» слова из Евангелия: «Если пшеничное зерно, падши на землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода». Каким зерном было открытие Петрова? Ведь он знал, что оно не успеет прорасти. Мог ли он поступить иначе, чем он поступил?

Первой датой в цепи событий можно считать 20 марта 1800 года, когда Александр Вольта отправил из Павии письмо президенту Лондонского королевского общества Джозефу Бенксу, описав открытый им новый источник электрического тока. Интересно, с какой быстротой воспринимается это сообщение. С письмом сразу ознакомились друзья президента — Никольсон, Карлейль и Дэви. Они как бы получили фору в несколько месяцев перед остальными физиками и энергично использовали ее, немедленно начав изготавливать «вольтовы столбы». Сделав столб из 17 пар пластинок в мае 1800 года, они обнаруживают способность электрического тока разлагать воду. Письмо Вольты было доложено 26 июня 1800 года. В сентябре Риттер из Германии сообщает о своих опытах по электролизу. Крюкшенен разлагает соляные растворы, в сентябре Дэви посылает свои сообщения об электролизе. В ноябре Вольта приезжает в Париж и выступает с докладами во Французском национальном институте. На докладах присутствует Наполеон, который предлагает учредить две премии за работы в этой новой области физики. 16 сентября 1801 года А. А. Мусин-Пушкин, почетный член Лондонского королевского общества, демонстрирует в Петербурге на заседании конференции Академии наук опыты с «вольтовым столбом» из 150 элементов — величина огромная для того времени.

Примечательна во всех этих строках не только быстрота информации, но и быстрота освоения совершенно новой техники. Мусин-Пушкин, пользуясь описанием, немедленно строит батарею, отлаживает ее, производит опыты. Не забудем, что все это происходит в начале XIX века, когда сообщения доставляются на перекладных, почта из Петербурга в Москву уходит два раза в неделю, научные журналы везут на попутных парусниках... Нет еще железных дорог, нет телеграфа.

История науки полезна уже тем, что отрезвляет и сбивает спесь с чересчур заносчивых потомков.

По всей вероятности, В. В. Петров присутствовал на опытах Мусина-Пушкина. В конце 1801 года Мусин-Пушкин строит батарею из 300 пластинок, и одновременно В. Петров приступает к изготовлению батарей в 2100 пар медно-цинковых элементов!

Интерес В. Петрова к новым явлениям был вызван, как и у большинства физиков, работами Гальвани и Вольты, их знаменитой дискуссией.

В 1791 году Вольта начинает изучать явления «животного» электричества, открытого Гальвани пять лет назад. Довольно быстро Вольта пришел к выводу, что лапки лягушки в опытах Гальвани не являются источником электричества, никакого «животного» электричества не существует. Истинным возбудителем электричества в этом случае служит контакт разнородных металлов. Сами же лапки лягушки играют роль чувствительного электрометра.

«Я считаю себя вправе приписывать все новые электрические явления металлам, — уверенно писал Вольта, — и заменить название «животное» электричество выражением «металлическое» электричество».

Между сторонниками «животного» электричества и «контактного» происходят горячие дискуссии. Сторонники Гальвани полностью исключают из своих опытов металлы. Альдини — племянник Гальвани — получает электрические сокращения в цепи, составленной только из частей животных. Но Вольта довольно быстро добивается того, что электричество возникает при соприкосновении металлов без всякого участия органических веществ. Вскоре даже Альдини вынужден признать доводы Вольты убедительными. Гальвани умирает в 1798 году с горечью поражения; тем не менее до конца дней его не покидает убежденность в своей правоте. Спустя год после его смерти Вольта создает свой столб из кружков серебра и цинка, разделенных картоном. Теория «металлического» электричества торжествует, и идея Гальвани вроде бы полностью ниспровергается.

Нильс Бор всегда считал, что все глубокие истины характеризуются тем, что противоположные им по смыслу высказывания также являются глубокими истинами. Время показало: в споре Гальвани — Вольта оба были правы. Истинную природу явления на том уровне знаний раскрыть было невозможно. Категорические заявления, подобные утверждению Вольты, — вещь крайне рискованная в науке. Существовало и то, и другое электричество. Вольта действительно открыл новый источник электричества, хотя его объяснение оказалось неправильным. Но все это выяснится гораздо позже. Пока же «вольтов столб» стал, по словам Араго, «самым замечательным прибором, когда-либо изобре-

тенным людьми, не исключая телескопа и паровой машины».

Это не преувеличение. Наоборот, удивительно, насколько прозорливы оказались современники Вольты. Примитивный, жалкий на вид столбик, даже по тем временам неказистое сооружение, вроде бы никак не давал увидеть ослепительное, через много десятилетий наступившее царство энергетики. И ведь то были не случайные прорицания, тогдашние физики десятилетиями мечтали о постоянном источнике постоянного тока — и вот наконец свершилось. Человечество получило такой источник — пока слабенький, плюгавый по сравнению с большими, эффектными электростатическими машинами... Природа этого нового электричества по сравнению с электричеством электростатической машины была еще неизвестна, и тем не менее какой-то интуицией значение электричества батарей Вольты сразу оценили.

«Вольтов столб» стал высшим и, в сущности, последним достижением ученого. Прожив еще двадцать пять лет, А. Вольта больше ничего не создал. Некоторые биографы объясняют это страхом уронить себя в глазах физиков менее значительными работами. После такого успеха опасение довольно реальное. Вообще такого рода «шок славы» — болезнь довольно распространенная и поныне. Но думается, что тут могло быть и другое. Спор Гальвани и Вольты был подлинно научным спором, он требовал от Вольты максимального напряжения творческой энергии, как бы возбуждал способности, воображение — все умственные силы. Существуют умы, проявляющие себя, когда надо опровергнуть, ответить на возражения. Без оппонента они бездействуют. Им нужен другой полюс, чтобы пошел ток; невольно хочется сравнить натуру Вольты с его же батареей: Вольта действовал, пока существовала пара Вольта — Гальвани, она была как серебро и цинк, как металлы разных проводимостей.

Любопытно, как история впоследствии распределила по-своему лавры: ток, получаемый с помощью электрических батарей, называли гальваническим. «Вольтов столб» превратился в «гальванический элемент». Почти сто лет подряд имя Гальвани прикладывалось ко множеству понятий: гальванический ток, гальванизм, гальванометаллургия, гальванометры, гальванопластика, гальванопроводность и т. д. Именем же Вольты называли

дугу, которую сам Вольта никогда не получал и не видел, так она и осталась вольтовой дугой.

Василий Петров отдавал должное обоим физикам, он назвал и батарею гальвани-вольтовой, и электрический ток — гальвани-вольтовой жидкостью.

4

Батарея, которую принялся сооружать В. Петров, располагалась в деревянных ящиках общей длиной в 12 метров — это уже было действительно внушительное сооружение. Она не шла ни в какое сравнение со всеми существовавшими тогда в мире батареями. Стены деревянных ящиков, перегородки Петров покрывает сургучным лаком. Он делает изоляцию из воска, из лака для проводов, он подбирает провода. Он применяет параллельное соединение проводников. Все это впервые. Впервые возникали понятия — параллельное соединение проводников. Может быть, поэтому так трудно оценить сделанное Петровым и представить сложности, с которыми он столкнулся. Это очень трудно — восстановить незнание, представить себе, чего мы не знали.

Все происходило, как в первый день творения. Петров выбирал провода и уже в процессе работы устанавливал, что надо их толщину подбирать в соответствии с силой тока. Но закон Ома еще не был открыт и не существовало понятия сопротивления проводников. Очень хочется привести целиком фразу Петрова из его книги «Известия о гальвани-вольтовых опытах»: «И поелику серебряная книпель часто бывает столь тонка, что она составляет только четвертую или пятую долю линии, то и надобно свивать ее вчетверо и даже вшестеро для получения снурка в одну только линию толщиною, каковая нужна для всех опытов, требующих сильности действия и весьма скорого движения гальвани-вольтовой жидкости: поелику я заметил, что при всех прочих одинаких обстоятельствах происходит весьма великое различие в следствиях опытов, тогда когда гальвани-вольтовская жидкость протекает по металлическим проводникам большего и меньшего состава».

Тут приведено первое в физике указание на соотношение «сильности действия», «весьма скорого движения гальвани-вольтовой жидкости» и сопротивления.

Не существовало никаких измерительных приборов, поэтому он не мог **выразить** этого соотношения количественно. Ему помогала **лишь** наблюдательность, какое-то поразительное **чутье**, **ибо** он столкнулся с действием вещества невидимого, нематериального, неуловимого. Представьте себе сегодня положение экспериментатора, лишенного всяких измерительных приборов...

С началом своих опытов Петров вступил в соревнование с довольно большой группой ученых разных стран. Во Франции исследованием гальванического электричества занялись Фуркруа, Воклен, Тенер, Симон. В Англии — Вилькенсон, Бенкман, Анонц, Кадберстон. В Германии — Штенберг, Пфафф, Джильберг, Громсдорф. В России одновременно с Петровым строит большую батарею академик Крафт. Это не считая тех ученых, которые уже упоминались и которые начали свои исследования до публикации письма Вольты. Я с удивлением обнаруживал новые и новые имена в старых научных журналах. Рушились мои представления о медлительной, независимой жизни ученых-одиночек начала прошлого века. Писали друг другу письма, сообщали, как идут опыты, делились размышлениями. Элемент сотрудничества был куда сильнее, чем казалось. В той Европе, перегороженной шлагбаумами княжеств, герцогств, разделенной религиозными распрями, национальными предрассудками, столько было всяких заслонов, страхов, а ученые общались. Они поверх всего из страны в страну устанавливали свои коммуникации. Они не желали считаться с общепринятыми правилами. Во время войны Франции с Англией знаменитый английский химик Гемфри Дэви приезжает из Лондона в Париж, чтобы сообщить о своих последних работах, и получает награды от Французской академии.

Наверное, мы слишком любим отделять свое время от прошлого. Время, в котором располагаются наши жизни, кажется нам исключительным. Мы убеждены, что современная наука не сравнима с наукой прошлого, тем более если это прошлое отстоит на полтора века. На самом деле метод науки изменяется вовсе не так быстро, как нам бы хотелось.

И успехи современной науки вряд ли можно отнести на счет «повышения степени умственного развития людей» (де Бройль). Говоря проще — умнее ли стали современные ученые, чем их предшественники? Интересно

было бы поместить современного физика в условия В. Петрова, лишив его всяких измерительных приборов и методов измерения, знаний каких-либо законов, привычного оборудования, — на положении такого физического Робинзона мог ли бы он сделать больше, чем В. Петров?

На одной дискуссии писатель-фантаст утверждал, что современная наука, в отличие от прошлого, лишена наглядности, поэтому понимать ее чрезвычайно сложно, то ли дело раньше, во времена Ньютона. Закон всемирного тяготения было легко себе представить. Каждый мог вообразить, что планеты ходят вокруг солнца, как коза на веревке. «Но веревки-то нет и не было, — заметил ему известный историк науки Б. Г. Кузнецов, — потому и не существовало и во времена Ньютона никакой наглядности. Это теперь мы можем вообразить веревку. Веревка сплетается десятилетиями или даже столетиями».

Грандиозным был самый замысел Петрова — создать батарею такой величины. Скачок от 150 до 2000 пар элементов был разителен.

Петров, конечно, и не мог знать, что он получит от новой батареи.

Когда Гершель строил свой зеркальный сорокафунтовый телескоп, он хотел увидеть дальше и больше, чем видно было в старых телескопах. Ему хотелось рассмотреть планеты. Батарея Петрова была тоже электрическим телескопом. Петров не знал, что он может получить, построив такую батарею. Им двигало лишь предчувствие экспериментатора.

5

И вот наступил день, когда в руках у Петрова вспыхнула электрическая дуга.

После разных предварительных опытов Петров берет угли — не просто угли, а угли, способные к проведению светоносных явлений, — присоединяет их к полюсам батареи и получает между этими углями дугу. Петров раздвигает угли на расстояние «от одной до трех линий», то есть от 2,5 до 7,5 миллиметра, и дуга вздувается и горит поразительно ярким светом. Это было явление неожиданное, непредвиденное. Природа огня была непонятна, ничего подобного физики нигде и никогда

еще не получали. Что это был за огонь, откуда он взялся, что горело? И когда через десять лет, повторяя, по сути дела, опыты Петрова, не зная о них и независимо от него, такую же дугу получили Дэви, а затем Био, — они тоже стали в тупик перед природой происходящего. Био писал недоуменно и осторожно: «Исключительно трудно, чтобы не сказать невозможно, объяснить происхождение этого светового явления и нагревания при подобных условиях. Следует ли их объяснить сжатием веществ, на которые действует электричество? Но в таком случае давление должно было бы обнаружиться однажды при самом начале опыта, так как ток идет непрерывно; тогда за счет этого давления можно было бы отнести разве только первую вспышку света, но никак не дальнейшее его существование. Не порождается ли свет обоими электрическими началами непосредственно при их столкновении?»

Человеческий глаз не видел еще ничего подобного: впервые зажегся электрический свет — не искра, искра была известна, — а именно свет, «коим темные покои могут быть освещены», как писал Петров. Гальванический огонь, «коего ослепляющий блеск на больших вольтовых батареях и на угольях подобен бывает солнечному сиянию», — вот куда дотянулся человек. «Да будет свет!» — и стал свет.

Мы не знаем точной даты, когда это произошло, — где-то в начале 1802 года. Свои опыты Петров производил ночью. Окна его лаборатории в Медико-хирургической академии выходили на Неву. Еще известно, что помощников у него не было, он был один, когда впервые увидел этот свет. В течение месяца каждую ночь в окнах лаборатории вспыхивал странный, дрожащий, непонятный еще миру свет, освещая берег замерзшей Невы с редкими масляными фонарями.

Тысячелетиями человек боролся с тьмой. История света, хотя бы всего лишь в рисунках, восхищает неистощимой выдумкой. Чадили факелы легионеров, потрескивали лучины, курились греческие масляные светильники; зажигали свечи, восковые, сальные, стеариновые, и газовые фонари, и керосиновые лампы. И всюду, в сущности, горел тот же огонь, сохраненный от первобытного костра. Цивилизации, сменяясь, передавали его как эстафету, которой, казалось, не будет конца.

В жизни человечества, по выражению Стефана Цвейга, есть звездные часы. Решающие пики времени, когда события, вызванные гением одного человека, определяют судьбу цивилизации, ход развития будущего. Таким звездным часом был и тот миг, когда на набережную Невы упал первый электрический свет. Фактически он ничего не изменил, но он стал началом отсчета.

Наука имеет немало таких вдохновенных звездных часов. Порой они сохраняются, эти точные даты открытия. Известны часы откровения, породившие таблицу Менделеева, догадку Пастера, открытие Фарадея. История науки полна прекрасных легенд, начиная от Архимеда, от его победного крика «эврика!», с которым он мчался по улицам Сиракуз. Порой приукрашенные, они венчают долгие скрытые усилия, невидимую никому цепь разочарований, неудач и тысячи отвергнутых вариантов. Вдохновение концентрируется и разряжается ослепляющей, часто эффектной вспышкой, которая попадет в хрестоматию. Но задолго до этого никому не ведомые предыстории складывают личность ученого.

Архимед стал Архимедом до того, как он воскликнул «эврика!». Индивидуальны только поиски и ошибки. Самое открытие обезличено. Законы природы существуют независимо от их выявителей, так же как Америка существовала независимо от Колумба. Закон Архимеда не носит в себе отпечатков его личности. Америка не изменилась, если бы ее открыл другой. Скорей она открыла Колумба.

А вот ход поисков, путешествие — у каждого свое. Сомнения, неудачи, заблуждения, изгибы мысли ученого — тут все зависит от личности, от свойств таланта, и характера, и работоспособности.

Так многие трудности, ошибки, повторные опыты Фарадея объясняются плохой его памятью, особенно во второй половине его жизни.

Само открытие приходит, как правило, с неумолимой неизбежностью. Радио создал Попов, но если бы не было Попова, радио создал бы Маркони или еще кто-либо. Любое открытие неизбежно. Все, чем обладает сегодня человечество, должно было появиться. Личности лишь меняли сроки событий. И большей частью не очень значительно. Независимо от гения Эдиссона, электрическая лампочка стала бы сегодня такой же. И не «почти такой»

же», а именно такой же. История с дугой Петрова убедила меня в грустной строгости этого правила. Выражение «человечество обязано научному гению такого-то» означает совсем иное, и это очень верно уловил Эйнштейн: «Моральные качества замечательного человека имеют большее значение для его поколения и для исторического процесса, чем чисто интеллектуальные достижения. Эти последние сами зависят от величия духа, величия, которое обычно остается неизвестным».

В самом деле, чем волнуют нас образы великих ученых? Отнюдь не своими научными достижениями, а тем, как они добивались этих успехов. Большинство людей не очень-то разбираются в теории относительности, в свойствах пространства, но они знают нравственное величие Эйнштейна, у них существует облик этого человека. Жизнь и подвиги Джордано Бруно, Эдиссона, Ломоносова, Мечникова, Николая Вавилова, Галилея существуют поверх подробностей их научных работ. Достижения Джордано Бруно укладываются сегодня в несколько строчек. Многие в работах прошлого устарело, они существуют как пройденная ступенька в лестнице прогресса, но нравственная история подвигов этих людей жива, ею пользуются, она учит. Костер, на который взошел Джордано Бруно, светит из мглы средневековья и жжет человечество до сих пор.

Был ли у Петрова свой костер? То есть свой подвиг, жертва, необходимость выбора... В этом смысле Петров, пожалуй, единственный из ученых XIX века, чья личность для нас, подробности, переживания, связанные с его открытием, остались тайной. Внешне все обстояло вполне заурядно-благополучно. Однако великие открытия требуют величия духа, о котором упоминал Эйнштейн. В чем заключалось оно?

Я пытался вообразить, что происходило в те ночи в физическом кабинете Петрова. Пламя гудело, выдувалось, дрожало, слепило глаза, сила его и жар устрашали, и природа была неведома. Оно воспринималось как чудо. Вначале было чудо. Может быть, даже страх перед вызванной силой. Вначале было изумление. Все остальное — сотни опытов; ночи и дни, проведенные в лаборатории, были *преодолением чуда*, борьбой с изумлением. Он породил чудо, и он же уничтожал его. Он удалялся

от чуда, по мере того как опробовал, сжигал в его пламени все, что могло гореть, плавил то, что могло плавиться.

Не было материалов, способных устоять перед этим огнем, температура его превышала все известные до сих пор источники теплоты. Постепенно, шаг за шагом, Петров исследовал свойства нового явления. Напряжение батарей 1700 вольт могло представить серьезную опасность для экспериментатора. Если Петров и не сознавал ее в полной мере, он не мог не ощущать грозной силы добытого им огня. Личная опасность не останавливала его. Но подобное «рабочее» мужество — вещь сама собой разумеющаяся для каждого ученого. Другое требовало величия духа.

Чудом было, когда Левенгук увидел в микроскоп то, что происходит в капле воды, и чудом был свет, добытый Петровым. Он его именно добыл, он его похитил у природы. Он был Прометеем, и Зевс разгневался на него...

Жаль, что мы не знаем подробностей, какими сопровождалось открытие Петрова. История каждого открытия полна необычайных деталей, случайностей.

Первое, что сделал Рентген в тот день, когда обнаружил действие X-лучей, — он протянул руку между трубкой и экраном и увидел на экране кости своей руки с черной полоской на пальце. Он не сразу догадался, что это было обручальное кольцо.

Первое слово, которое передал по радио Попов, было «Герц». А Джон Флеминг, который долго работал над радиолампой и вдруг нашел в старом журнале листок с описанием эффекта Эдиссона, — и идея первой двух-электронной лампы сразу сложилась. Можно было бы составить увлекательный и поучительный свод подобных историй, где неповторимо сочетаются наблюдения, случайное вдохновение, сны, слово, оброненное женой, облака над Парижем, которые помогли Беккерелю открыть радиоактивность, дамы, выходящие из экипажа, которые вдруг осенили математика Анри Пуанкаре, паутина, поблескивающая на солнце...

Текст «Известий о гальвани-вольтовских опытах» — это суховатое описание опытов, описание итоговое, отжатое, очищенное от эмоций. В книге не осталось следов тех чувств, которые обуревали ученого. В них нет и того, что сохранилось в лабораторных дневниках Фарадея. Недоумение, поиски, сомнения. И лишь по слабым при-

мерам можно догадываться об азарте, который охватил Петрова. Впервые вспыхнувшее неведомое пламя осветило целый мир новых явлений, материи, которых еще никто не видал, во все стороны простирались неосвоенные таинственные земли.

Петров и так и этак пытается определить, что же представляет собой электрическое пламя; он заменяет угольные электроды металлическими; он опускает в пламя дуги золото, серебро, олово, цинк — металлы плавятся. Он помещает дугу под воздушный колпак, откачивает воздух — металлы плавятся и без воздуха. Он сует в пламя бумагу, сухие дощечки, порох, спирт, мятное и гвоздичное масло. Увлеченно он пробует все, что есть под руками. Вспыхивают водород, пучки соломы, трава, разные сорта бумаги. Опыты эти порой наивны, хаотичны. Но поток случайных материалов, который сыплется в огонь, вдруг обрывается, и начинается исследование. Сгорают уже не просто сухие дощечки, в дощечке проделано небольшое отверстие. Дощечка ставится между электродами, и лишь в этом случае тела сгорают «с желанным результатом»...

6

Он снова ищет свет. Всячески видоизменяя опыты, он выманивает эту неуловимую гальвани-вольтовскую жидкость.

Меняет формы электродов: один электрод — шар, другой — плоскость; один — игла, другой — плоскость; он зажигает дугу между иглой — шаром, иглой — иглой, перебирает все возможные сочетания. Надо еще попробовать менять материал электродов. Плоскость — дно серебряного стакана, игла — медь, а если игла — железо, а если игла — серебро, а если плоскость — уголь? А теперь проверим все эти комбинации в «безвоздушном месте». Как истекает эта таинственная гальвани-вольтовская жидкость с разных форм электродов. Опять же, исключительно чутьем, Петров нащупывает зависимость характера разряда от полярности. Но ведь еще не существует такого понятия — «полярность». Есть только медные и цинковые пластинки. Смысл этого опыта оставался многие годы незамеченным. Только через тридцать пять лет можно было понять, что означало это описание:

«...я заметил, что свет, сопровождающий течение гальвани-вольтовой жидкости, сильнее сказывается тогда, когда тот батарей полюс, посредством коего не отделяется газ, при разложении воды, например, каким-нибудь металлом, бывает сообщением с медною оправой колокола, напротив того другой полюс, с помощью которого образуется газ, сообщаем бывает с какой-нибудь медной частью воздушного насоса».

Что значит полюс, с «помощью которого образуется газ»? При электролизе воды на одном из полюсов бурно выделялся водород; сейчас-то мы знаем, что водород выделяется на катоде, то есть на электроде, соединенном с цинковой пластинкой. В те времена Петров не имел представления о направлении тока, не было деления на положительный и отрицательный полюсы, Петрову надо было найти какое-то свое разделение, и он находит признак, имеющий внутренне неизменное качество полюсности, — полюс, у которого выделяется газ, и полюс, у которого не выделяется газ.

В 1838 году Фарадей обращает внимание на подобную же зависимость, когда-то найденную Петровым: влияние полярности электродов разной конфигурации на потенциал пробоя. Фарадей понятия не имеет о работах Петрова, но он как бы подхватывает их, продолжает в том направлении, какое казалось Петрову наиболее важным. Изучая разряд при низком давлении, Фарадей обнаруживает темное пространство (оно получило название «Фарадеево темное пространство») между тлеющим свечением у катода и положительным столбом.

Конечно, преемственность Петров — Фарадей — мнимая, воображаемая. Найдя ее, я мог лишь соразмерить талант Петрова и ощутить горечь от того, как сложилась судьба его открытий. От каждой новой серии опытов Петрова эти чувства досады, и восхищения, и горечи возрастали.

Как заправский электрометаллург, Петров производит плавку металлов в пламени дуги. Получает окислы, восстанавливает металлы из этих окислов.

Его занимает, как меняется световой эффект дуги в зависимости от разрежения, от расстояния между электродами.

Фантазия его неисощима. Ему удастся охватить своими опытами почти весь комплекс явлений, которые потом будут разрабатываться в течение почти сотни лет:

сварка, плавка металлов, освещение, разряд в газах, теория пробоя...

Ему не с кем было советоваться, обсуждать результаты. Он зашел слишком далеко вперед. Никто не был заинтересован в его исследованиях. Никто не торопил, не ждал...

Его не ждали также ни награды, ни слова, и он это знал. В чем черпал он силы, ведя свой одинокий поединок с природой?

Одиночество Петрова было безвыходным, вынужденным. Во Франции в это время работали совместно замечательные физики — Араго, Гей-Люссак, Био, Френель, Лаплас, Фуркруа, Воклен, Тенер, Симон. Вскоре после революции они получили возможность свободно общаться с английскими коллегами, с немецкими, итальянскими. Это живое общение, энергичная циркуляция идей, фактов создавали колоссальные преимущества. В России к началу века страх перед революционной крамолой окончательно заглушил начинания Петра I.

В России ученые, даже масштаба В. Петрова, были отрезаны, изолированы от живого общения с европейской наукой.

7

Описание опытов по световым явлениям Петров заключает знаменательной фразой: «Я надеюсь, что просвещенные и беспристрастные физики *по крайней мере некогда* согласятся отдать трудам моим ту справедливость, которую важность сих последних опытов заслуживает».

Единственный раз сквозь научный сухой текст провалось у Петрова что-то личное. Вот эта-то фраза и привлекла мое внимание.

Подводя итоги своим исследованиям, он понял, что вряд ли в ближайшие годы результаты его работ получат какое-либо продолжение. Источники тока были слишком несовершенны. Предстояла многолетняя работа по созданию установок из сильных батарей. Только затем можно всерьез думать об использовании дуги. В его предвидении звучит трагедия человека, осознавшего, что все сделанное им сделано слишком рано, обречено на забвение. Когда-нибудь физики отдадут спра-

ведливость... Он не помышляет об использовании результатов. Он знает беспощадные правила науки — все будет открыто заново, когда жизнь подойдет вплотную к этим проблемам. Теоретическим работам легче выжить, сохраниться. Экспериментальные достаются историкам. Он был прав. Так оно и получилось.

Значит, все было впустую? Все поиски, хитроумные приспособления, находки? Конечно, такие вопросы можно считать бессмысленными. Конечно, ученый меньше всего задается ими. Тяга к познанию, просто любопытство сильнее всяких соображений о пользе, о результатах. Сам факт открытия новых явлений — награда, и то, что Петров получил в своих опытах, доставляло ему удовлетворение. С той минуты, как ему пришла мысль о постройке мощной батареи, он уже не мог остановиться. Он должен был пройти свой путь до конца. И все же...

«Известия о гальвани-вольтовых опытах» вышли в 1803 году на русском языке. В 1812 году Г. Дэви получил, возможно, независимо от Петрова, электрическую дугу и описал ее в книге «Элементы философии химии». Петров знал об этом. Он дожил до 1834 года, продолжая успешно заниматься другими вопросами физики, но нигде и никогда не пытался отстаивать свой приоритет. Не напоминал о своем первенстве. Почему?

Есть в этом какая-то олимпийская безучастность к заботам о славе. Нечто вроде пастернаковского

Быть знаменитым некрасиво,
Не это поднимает ввысь,
Не надо заводить архива,
Над рукописями трястись.
Цель творчества — самоотдача,
А не шумиха, не успех...

Поэту следовать этой заповеди, конечно, проще. Будущее рассудит. Стихи, картина, статуя не устареют. Новые поколения художников не отменяют ни Праксителя, ни Державина. Мусоргский не обесценивает Баха. В науке же, и тем более в технике, несколько иначе. Вместо элемента Даниэля приходит элемент Граве, его сменяет элемент Бунзена. Специалист, который сегодня изучает электрическую дугу, откроет самую новую монографию, а не книгу Петрова. Приоритет — единственная возможность хоть как-то удержать свое имя в бурном, все смывающем потоке научного прогресса.

История науки, история техники полны ожесточенных споров о приоритете. Громкие судебные процессы, долголетние тяжбы, шумная полемика в печати, споры историков сопровождают чуть ли не большинство крупных открытий. Увы, это неизбежно. Как известно, идеи возникают одновременно, они носятся в воздухе. Пресловутое ньютоновское яблоко падает, созрев, когда стучат яблоки во всех садах. Совпадения бывают поистине удивительные. Микрофон изобрели почти в одни и те же дни Давид Юз и Томас Эдиссон. 23 марта 1895 года Рамзай сообщил французскому академику Бартело, что им открыт гелий на Земле. А через две недели швед Лонглей сообщил тому же Бартело про свое открытие: он тоже добыл гелий, и тоже из клевейта.

Грэхем Белл сделал заявку на «говорящий» телефон в полдень 14 марта 1876 года. Через два часа подобная заявка поступила от другого изобретателя — Элиши Грея.

Имя Г. Белла увековечено как творца современного телефона. Фирма Белл стала одной из ведущих, имя же Элиши Грея осталось для историков примером курьезной неудачи, хотя таланты обоих изобретателей, в сущности, равноценны.

Такие совпадения вовсе не редкость, но и помимо них все равно оказывалось, что другие ученые находились где-то рядом с первооткрывателем. К открытию Х-лучей, то есть лучей Рентгена, одновременно с ним были близки Тесла и Ленард. «Наука — это не монолог», — писал Шредингер в статье, самое название которой примечательно: «2500 лет квантовой механики».

До сих пор окончательно неизвестно, кто изобрел термометр, часы с маятником, телескоп. Критическая история технологии, по замечанию Маркса, обнаруживает, как мало какое-либо изобретение принадлежит одному лицу. Казалось бы, для прогресса науки все равно, кто первый сказал «а». Новым поколениям ученых вроде бы безразлично, от кого они получили формулу, конструкцию, схему, прибор. Но собственный приоритет всегда будет заботить ученого. Дело тут не только в личной заинтересованности. Пусть жажду справедливости не всегда можно отделить от тщеславия, но есть еще и законное чувство патриотизма, национального престижа.

Петров в этом смысле исключение. Впрочем, не единственное. Известно еще несколько случаев, всегда привлекавших внимание своей загадочностью.

Несколько месяцев спустя после того, как Фарадей открыл электромагнитную индукцию, к нему пришло письмо с чертежами и описанием генератора. Это был фактически первый в мире синхронный генератор. Вместо подписи в конце письма стояли латинские буквы «Р. М.». Проект чрезвычайно заинтересовал Фарадея. Решив как-то заставить автора откликнуться, Фарадей направил проект в журнал, где его и опубликовали в 1832 году с сопроводительным письмом Фарадея. Автор действительно откликнулся и спустя полгода прислал в журнал второй, улучшенный вариант генератора. И на этот раз письмо было подписано «Р. М.». Так он и остался неизвестным. «И человечество до сих пор, несмотря на тщательные розыски историков электротехники, — пишет историк, — остается в неведении, кому оно обязано одним из важнейших изобретений».

Лорд Кавендиш, тот вообще не считал нужным публиковать многие свои открытия. Среди них были весьма значительные. Спустя почти сто лет после Кавендиша Максвелл, разыскав рукописи Кавендиша, напечатал их. Оказалось, что в семидесятых годах XVIII века Кавендиш открыл закон отталкивания и притяжения электрических зарядов, который через несколько лет во Франции сформулировал на основании собственных опытов Шарль Кулон. Причем у Кавендиша результаты были точнее.

Самое легкое — объяснить такие примеры чудачеством. Кавендиш был, конечно, чудаковат, но в чудачестве его блеснит лезвие вызова тем, кто смотрит на науку исключительно как на источник технологических и военных ценностей. И тем, кто поддался ажиотажу узкого практицизма — скорей, скорей опубликовать, застолбить, лишь бы выиграть в конкурентной борьбе. Получить степень, ухватить тему понадежней, с перспективой, спросом, чтобы оказаться в центре внимания фирм, — мало ли нынче возможностей! Во времена Кавендиша ученый был свободнее не потому, что науку больше уважали, наоборот, скорее потому, что власти были к ней безразличны: она казалась очень далекой от практических дел. Конечно, и тогда честолюбие и соревнование играли немалую роль. В то время поведение

Кавендиша вызывало разные толки: «Ради чего стоит заниматься наукой?», «Существует ли чистая наука?», «Имеет ли право ученый не думать о применении?», «Ради чего вообще человек начинает заниматься наукой?».

9

...А может, ради удовлетворения души, как это делал Кавендиш? Пусть делал он это в крайней, парадоксальной, почти нелепой форме, лишая себя радости быть полезным. Но даже в этой абсурдности Кавендиша заключен протест против удушающего прагматизма современного отношения к науке.

Стремление к познанию заложено в натуре человека. Эта потребность сильнее любых страхов.

Прометей похитил огонь, принес его людям, боги жестоко и навечно наказали его за это. Адам и Ева вкусили яблоко с древа познания, и уже новый библейский бог так же жестоко и навечно приговорил их к мукам. Легенда повторилась. Познание наказывается и требует жертв. Знание надо оплачивать. Приобретая понимание природы, власть над ней, люди чего-то лишаются, не временно, а навсегда, это потери вечные, приносящие муки и страдания. Познание таит в себе горечь, отраву, оно несовместимо с раем. Знания меняют структуру человеческой души, но человек не в силах отказаться от этих мук. Змей-искуситель сделал человека человеком. Не бог, а змей! Человек, сделанный богом, ничем не отличался от множества иных тварей. Изгнанный из рая человек сохранил в себе вкус познания, он и змея-искусителя сохранил в себе не меньше, а может, и больше, чем бога. Языческие и библейские легенды не так уж религиозны.

Человек выделился как человек в процессе познания природы. Познавая ее, он осуществлял себя как мыслящее, творящее существо. Познание доставляло подлинное удовлетворение. Именно удовлетворение, наиболее полное, гармоничное, может быть, потому, что познание природы есть приобщение к ней и к вечности. И потому, что познание происходит через творчество, человек открывает новое, создает. Он творец, он создатель, он бог, человечество было сформировано не императорами, жрецами, полководцами, а теми, кто создал топор, коле-

со, самолет, кто нашел знаки, следил за звездами, кто открыл железо, полупроводники, радиоволны.

Когда человек, наблюдая за звездами, постиг огромность мира, он испытал сознание своего ничтожества. Безмерность Вселенной обескуражила его краткостью собственной жизни. Когда он открыл, что молния — это всего лишь электрический разряд, он испытал разочарование: еще одним чудом стало меньше.

Петров не надеялся при жизни вкусить, если так можно выразиться, результаты своих исследований, увидеть их продолжение и развитие, он понимал, что свет, добытый им, зажжется позднее. Он понимал, что огромная работа, выполненная им, серия изобретательных опытов, наблюдений — все обречено на забвение, во всяком случае на длительное забвение; наука и тем более техника не могли использовать его работы, продолжить их было некуда. На каком-то этапе исследования он осознал случившееся, но остановиться уже не мог. Он должен был дойти свой путь до конца, исчерпать круг доступных ему задач. Дрожащий голубоватый свет дуги раздвинул тьму, открыл совершенно новые предметы, явления, и Петров обязан был все это осмотреть, описать, прежде чем свет погаснет, и, как он понимал, погаснет на многие годы, потому что страна, в которую он забрел, не могла быть освоена, так же как не могли ничего дать людям в те годы Антарктида или Северный полюс.

Вслед за Петровым дугу «открывали» неоднократно. «Открывали» ее, к вящей славе Петрова, порциями, робко, и речи не было о комплексном исследовании.

В 1803 году англичанин Пенес наблюдал, как два соприкасающихся угля плавилась, а будучи разведенными, накалялись докрасна.

Спустя пять лет после открытия Петрова, в 1807 году, другой англичанин, Катберстон, проведя серию опытов, достиг следующего результата: «...один конец древесного угля в виде острия приближается к другому углю. В этом случае либо появляется свет, либо уголь будет охвачен пламенем. Требуется весьма внимательное управление, чтобы произвести этот опыт. Свет, когда надлежащим образом управлять, превосходит всякий другой искусственный свет».

Даже открытие Дэви в 1812 году не вызвало интереса среди физиков. Никто не знал, как применить дугу, как использовать ее. Природа явления была неясна. Оно

смущало своим эффектом, огромной температурой, оно было подобно молнии. «Исключительно трудно, чтобы не сказать невозможно, объяснить происхождение этого светового явления и нагревания при подобных условиях», — писал Био в 1824 году! Тот самый Жак Батист Био, знаменитый французский физик, который вместе с Ф. Саваром измерил магнитное поле электрического тока и обосновал известный закон электродинамики, вошедший навсегда во все учебники физики.

Если бы Петров мог общаться со своими коллегами, французскими физиками, английскими, встретиться с великолепной плеядой современников — Ампером, Араго, тем же Био, Дэви, Эрстедом, если б он мог лично участвовать в бурной, насыщенной дискуссиями научной жизни тех лет, когда закладывались основы электрохимии в спорах о природе химических и электрических сил, где участвовали Дэви, Барцелиус, Барро и впоследствии Фарадей. Если бы он публиковал свои работы и в иностранных журналах, на французском, на английском, насколько бы выиграли от этого и мировая наука, и русская физика. Тем не менее работы Петрова лишены провинциализма, он сумел не только оставаться на мировом уровне заблуждений, это были заблуждения современной ему науки.

Он провел, в частности, серьезные исследования по люминесценции, где ему удалось, по словам С. И. Вавилова, «разделить хемилюминесценцию от фотолюминесценции». В цикле гальвани-вольтовых опытов он провел первые исследования по электролюминесценции. Он занимался и практическими вопросами метеорологии и гидрологии. Нет, он не был отшельником духа, таким Фаустом. Даже по официальным документам видно, как с годами обострились его отношения с тогдашними управителями Академии наук — Крафтом, Фуссом, Уваровым. Последний, будучи президентом Академии, а затем министром просвещения, особенно недолголюбивал Петрова, борьба которого за передовую русскую физику грозила осветить «темные покои» императорской Академии наук. Василию Петрову отказывали в средствах на переоборудование физической лаборатории, на экспериментальные работы, все начинания его встречали отказ, его отстранили от преподавания, затем от работы в Академии, имя его стали замалчивать, вычеркивать.

Безвестность в науке, безвестность в жизни, безвестность в Европе, безвестность в России — безвестность поглощала его, как тьма. Безвестность добровольная и безвестность насильственная, сработанная прочно таким мастером, как Уваров.

Здесь я не могу отказать себе в удовольствии привести характеристику Уварова, сделанную замечательным русским историком Соловьевым. В ней есть тот квит, расчет, о котором, наверное, не раз мечтал В. Петров. Мы считаем, что «история заклеяет», «история расквитается», «история воздаст», и хочется в рассказе о Петрове свершить хоть в малой мере это отквитание Уварову:

«...Это был слуга, получивший порядочные манеры в доме порядочного барина (Александра I), но оставшийся в сердце слугой; он не щадил никаких средств, никакой лести, чтобы угодить барину (Николаю I); он внушил ему мысль, что он, Николай, творец какого-то нового образования, основанного на новых началах, и придумал эти начала, т. е. слова: православие, самодержавие и народность; православие — будучи безбожником, не веруя в Христа, даже и по-протестантски; самодержавие — будучи либералом; народность — не прочитав в свою жизнь ни одной русской книги, писавший постоянно по-французски или по-немецки. Люди порядочные, к нему близкие, одолженные им и любившие его, с горем признавались, что не было никакой низости, которой бы он не был в состоянии сделать...»

Петров умер в 1834 году. Последние пятнадцать лет своей жизни он видел нарастающие успехи гальванизма. Одно за другим, начиная с 1820 года, следуют открытия Эрстеда, Араго, Ампера, Зеебека, Ома, Стэрджена, появляются первые работы Фарадея, Ленца, Шиллинга. Возникает электротехника, которую зачинал Петров, электрофизика, электрохимия — науки, которыми он один из первых занимался, но имя его нигде не приводилось, на него никто не ссылался. Правда, дуга, электрические разряды в газах, то есть непосредственно его работы никто не продолжал, но все же он имел право считать себя одним из создателей этой новой науки... Что чувствовал он, уже больной, измученный гонения-

ми, отлученный от работы старик, в эти последние годы своей жизни? Испытывал ли он горечь или, наоборот, удовлетворение?

Ведь он и прежде не искал в науке признания и славы. У него были своеобразные отношения с наукой. Например, в 1800 году он провел немало опытов, занимался электризацией металлов при трении и подтвердил возможность такой электризации. Ему было это интересно, он выяснил этот вопрос и, как замечает А. А. Елисеев, «не собирался сообщать о своих опытах в печати».

Только когда во Франции появились обратные утверждения, он, задетый за живое, провел новые опыты и выпустил книгу «Новые электрические опыты» (1804), доказав, что от трения все металлы могут «соделяваться» электрическими.

Наука давала ему внутреннюю свободу, перед этой свободой, независимостью духа, личное, переходящее становилось незначительным. Цели, которые он себе ставил, стремление охватить природу вещей заставляли его иначе смотреть на окружающее. Он владел истиной, и никакие вельможи, сановники и чиновники науки не могли у него это отнять.

Историки науки отмечают, что Петров сознательно писал на русском языке. Свободно владея немецким, французским, английским, он тем не менее считал необходимым прежде всего познакомить читателя русского с достижениями науки.

В какой-то мере действия Петрова оправдались. Русские гимназисты по учебнику «Начальные основания физики» изучали с 1807 года гальваническое электричество на уровне последнего слова науки.

Но книги Петрова на Западе оставались неизвестными. С его трудами физики ознакомиться не могли. Ученые разных стран обычно посылали свои сообщения в английские, французские журналы. Париж и Лондон были центрами физики того времени. Так сложилось, и, будь работы Петрова опубликованы в одном из этих специальных физических журналов, русская наука только выиграла бы. «Известия о гальвани-вольтовских опытах» могли бы стать достоянием мировой физики.

Повлияло бы это как-нибудь на развитие учения о гальванизме? Не знаю. Интересно вообще изучить, насколько зависит научный, технический прогресс от

достижений отдельного ученого. Роль, так сказать, личности в науке.

Если в данном случае процесс был достаточно неукошнительным, все равно досадно, что заслуги Василия Петрова приходилось спустя столетие восстанавливать, доказывать, защищать. Он при жизни имел полное право войти в число общепризнанных создателей электродинамики.

В 50—70-х годах прошлого века работы, да и само имя Петрова были уже прочно забыты, новые поколения русских электротехников ничего не знали о нем. Казалось, судьба его стала достоянием историков; когда-нибудь они докопаются и будут приводить в примечаниях — а вот, мол, в России этими же опытами еще раньше занимался некий В. Петров. Казалось, все сделанное сгинуло бесследно, пропало впустую. Но вот одна за другой вспыхивают в России лампы накаливания новых, невиданных миру конструкций — дуговые лампы Шпаковского, Чиколева, электрическая свеча Яблочкова.

Свет тлеющего разряда, свет раскаленного проводника, свет электрической дуги — все три возможных способа электрического освещения, полученные в начале века Петровым, вдруг спустя пятьдесят — семьдесят лет начинают воплощаться именно русскими электротехниками. Они оказываются одними из первых. В России, где и газового освещения, давно освоенного Европой, не успели как следует ввести, в России, на удивление миру, загораются электрические фонари — в Казани, в Москве, в Петербурге.

Конечно, с точки зрения строгого историка, Петров тут ни при чем. Никакой связи тут не может быть, скорее не должно быть. Но, может, мы просто не в силах ее проследить?

Два крайних противостоящих типа ученых издавна привлекали внимание писателей: Джордано Бруно и Галилей.

Первый — как выражение непримиримости, нравственной стойкости, героизма. Второй — как ученый, который ради возможности продолжать свое дело, ради своей науки готов пойти на любые компромиссы. Опре-

деления эти упрощенные, схематичные, но в какой-то мере они отражают «искомую разность» обликов и в то же время два, что ли, типа преданности науке.

Восемь лет тюрьмы, угроз, уговоров, пыток не могли склонить Джордано Бруно к отказу от своих идей. Непреклонно отстаивал он учение Коперника, свои мысли о бесконечности Вселенной, он не поступился ничем. Его осудили к сожжению, он заявил инквизиторам: «Вы более испытываете страха, произнося мой приговор, чем я, его принимая».

Верность истине была ему дороже жизни. Это не фанатизм. Отречься значило для Бруно предать науку. Взойдя на костер, он защищал свободу мысли. Вряд ли он мог надеяться что-то изменить своей гибелью. Инквизиция была слишком могущественна, народ на площади Кампо де Фиори безучастно взирал на смерть никому не ведомого еретика. Бруно не мог поступить иначе. Так он понимал долг ученого. Он не мог сказать, что Земля — центр Вселенной, если это было неправильно и не соответствовало его взглядам. Личная мораль была неотделима для него от его научных убеждений.

Через 33 года после гибели Бруно, честно исчерпав все способы открытой и тайной борьбы, Галилей перед лицом инквизиции торжественно отрекается от учения Коперника, объявляет движение Земли «ненавистным заблуждением и ересью». Загнанный в тупик, он всячески выкручивается, лицемерит, изворачивается, признает все, что от него требуют. Двуличный, покорный, хитроумный, то извиваясь, то припадая к земле, он движется к своей цели. А цель его — тоже борьба за учение Коперника, за возможность работать, продолжать исследования. Опять же во имя науки, во имя истины он жертвует своей честью, своим именем. Он согласен перетерпеть позор инквизиционного процесса, потому что ему важнее любых унижений возможность продолжать свой труд. Он отрекается на словах, но никогда на деле. Он отделяет себя от науки, которую создает.

Метод его борьбы кажется более доступным, даже более действенным. И Галилей доказывает это своей жизнью. Оставшиеся ему до смерти семь лет он продолжает добивать аристотелевскую физику. Невозможно требовать от Галилея больше, чем он сделал. Но он не мог одолеть Бруно. Правда «сожженного» включала в себя нечто большее, чем только правду науки. Нравственный спор Бруно — Галилей продолжался в новых

поколениях. Он обрастал новыми примерами, аргументами. История выдвигала новых героев, таких, как Мария Кюри, Жюлио-Кюри, Курчатов, или фигуры трагические, такие, как Оппенгеймер, Эйнштейн. И снова спор возвращался к своим истокам, и снова вставал древний вопрос об этическом смысле науки.

Судьба не ставила Петрова перед выбором Бруно или Галилея. Его исследования не были насущными, они не волновали общество, не потрясали мировоззрение. Даже в случае успеха они имели частное значение.

Петров оказался в положении ученого, который, начав работу, обнаруживает, что кончить ее он не сумеет, потребуется труд нескольких поколений, чтобы завершить ее и получить результаты. Ему не дожить и не узнать, как на Адмиралтействе вспыхнет, освещая Невский проспект, первая дуговая лампа, как дуговые фонари осветят улицы Петербурга, Парижа, а потом их сменят электролампы, а их — лампы дневного света, высокие лучи прожекторов; не узнать про пламя электросварки, сварочные автоматы, дуговые печи — всего, что создал XX век из его опытов.

Хотя и не было вроде никакой преемственности.

Многое из того, что кажется пропавшим, забытым, живет в науке по своим особым, неучтенным законам, передается изустно, ненароком:

«Когда-то, кто-то, кажется, это уже делал».

«Говорят, что где-то такое получалось».

«Была такая идея...»

Была... у кого? А это и не суть важно, нет ни имени, ни облика, ни портрета. Осталась мысль, какие-то сведения, туманные, как предания, где-то они тлеют до поры до времени, передаются в том научном фольклоре, который и составляет внутреннюю жизнь науки.

Василий Петров вел свои исследования, как ищут истину — без всяких условий, даже без условия воплотить ее и быть ее глашатаем. Ему важен был сам процесс нахождения, наградой было удовлетворение от того, что он прикоснулся к неведомому, что оно, это никому еще не известное, неожиданное, затрепетало в его руках.

Считается, что наука не может не заботиться о пользе, и это правильно, но есть ученые, которые изучают природу не потому, что это полезно, «а потому, что природа прекрасна», как писал Анри Пуанкаре.

И это чувство, наверное, необходимо для науки. Есть нечто более ценное, чем добыча результата, и даже важнее, чем поиски истины, — это сам процесс творчества, самоотдача.

Исследования Петрова были скорее светоносны, чем плодоносны. Он опередил время, а время, подобно пространству, имеет свои пустыни. Такая пустыня окружала его. Но это ни на минуту не поколебало, не устрасило его. Он мужественно продолжал делать свое дело. Мужественно, потому что он был очень одинок, он даже не имел противников, у него не было возможности бросить вызов, бороться. У него не было соперников, никто не аплодировал его победам, не огорчался его неудачами.

Наука не может состоять из подобных альтруистов. Над ними посмеиваются, а в наше время альтруизмом упрекают. Чистая наука — это звучит подозрительно. Вместо слова «ученый» все чаще слышится — научный работник. Времена Петрова кажутся странными, нечто вроде средневекового рыцарства. Романтика одинокого исследователя стала историей, красивой и наивной. Новая романтика оперирует тысячами талантов, корпусами лабораторий, гигантскими средствами. Что-то пропало, утратилось... И тем не менее потребность в таких, как В. Петров, оставалась и — надеюсь — остается. Ученые, подобные Петрову, создавали нравственный климат науки. Независимо от нарастающих успехов науки, к этим людям хочется возвращаться; они нужны, как камертон, в них сохраняется нестареющая мера чистоты, бескорыстия и поэзии...

Однажды в мастерской у художника Владимира Сергеевича Васильковского я увидел альбом, куда он рисовал людей 30-х годов. По памяти. Взрослые тети и дяди из его детства. Я листал страницы и узнавал. Рисунки ожили, задвигались, из памяти стали появляться одетые в костюмы тех лет знакомые, как будто художник подсмотрел мои воспоминания. Наши улицы, наш двор, извозчиков... Это был город, в котором прошло детство нас обоих. Владимир Сергеевич помнил окружающее зрительно так, что мог изобразить его, я же помнил чуть иначе, тоже зримо, так, что мог лишь рассказать словами. Впрочем, и Васильковский сопровождал свои рисунки пояснениями. Когда вспоминают двое, то вспоминают больше. А главное, я вспоминал еще и разные вещи, которые тогда были, а теперь их нет. Одни вещи стали ненужными, другие изменились, третьи, может быть, вернутся. И все это вместе составляет картину города, которого уже нет, нашего Ленинграда первой пятилетки. Впрочем, не только Ленинграда. То же самое происходило и в других городах, например в Новгороде, где мы тоже жили в те годы. Города эти не повторятся. Быт, нравы, обычаи — все сменилось, вся городская жизнь стала иной.

На Невском, у Литейного, постоянно толпились одни и те же компании ребят. А на углу Садовой и Невского были уже другие компании. Тогда не сидели в кафе, тогда топтались на Невском, гуляли по Невскому, шли «прошвырнуться», встречая знакомых, приятелей... Я пытался вспомнить язык тех лет, и вдруг оказалось, что не так-то это просто. Никто толком не записывал те словечки, и песни тех лет, и всякие истории и легенды, которые ходили по городу. В песенном нашем репертуаре отражалось время, еще взбаламученное, где все пе-

реплелось, соседствовало — романтика гражданской войны, блатное, пионерское и нэповское: «Юный барабанщик» и «Вот умру я, умру, и не станет меня», «Там вдали, за рекой, догорали огни» и «Кирпичики». Распевали песни из первых звуковых фильмов: «Златые горы», «Встречный», «Путевка в жизнь»...

Одна Лиговка чего стоила с ее жаргоном, ее героями. Лиговка — обиталище гоп-компаний. Обводный канал с его барахолками. А первые танцзалы, первые Дворцы культуры — Выборгский, Нарвский... В этом городе шла жизнь, не похожая на нынешнюю. Носились мальчишки-газетчики с «Вечерней Красной газетой», на дачу уезжали в Сестрорецк или Тарховку. Не было ни метро, ни троллейбусов. Было много деревянных домов, которые в блокаду разбирали на дрова... Нет, это был во многом другой город, черты его утрачены, а жаль, потому что всегда хочется иметь фотографии своей молодой жизни.

Вот тогда мы решили собрать все, что сохранилось у нас в памяти: художник нарисует, а я расскажу, чтобы как-то запечатлеть облик той реальности, потому что у нас, к сожалению, почти нет музеев истории нашего советского быта. Такие музеи, конечно, будут, но есть вещи, которые в эти музеи не попадут, их туда невозможно поместить, — например, треск березовых поленьев в печке...

Собственно, наша книга — это тоже своего рода музей.

Или возьмите мостовую, составленную из деревянных черных шашек-торцов. Ими была вымощена Моховая улица, даже Невский проспект. Ну как в музее передать звонко цокающий звук подков по сухой торцовке? Как повторить смолисто-дегтярный запах, что курился в летнюю жару на улицах, выложенных просмоленными шашками, запах, напоминающий мне лесосеки, где работал отец, смолокурни, добычу живицы. Осенью торцы становились осклизлыми, лошади шли по ним бесшумно.

Художник изобразил людей того времени. Однако я попросил другого художника нарисовать и вещи, которыми они пользовались. Обстановку, среди которой жили. Потому что все это тоже исчезло, да так подобралось, что многие теперь ничего не знают про эти вещи — как они выглядели и зачем были нужны.

Спросите, например, про гамаши. Мало кто знает и объяснит, что это такое, их давно не носят. А носили на ботинках и туфлях, прикрывая ими шнуровку. Художник их нарисовал серенько-мышинного цвета с черными пуговицами. Зачем нужны были гамаши, этого в точности мы сами не помним, поскольку мы были тогда детьми и гамаши видели только на ногах у взрослых.

Стал натягивать гамаши —
Говорят ему, не ваши.
Вот какой рассеянный
С улицы Бассейной!

Тут они сохранились, гамаши, у Маршака, в его стихах «Вот какой рассеянный».

Вообще в детских стихах много хранится старых вещей. У Чуковского в «Мойдодыре» главный начальник кто? Мойдодыр. А кто такой Мойдодыр?

Умывальников начальник
И мочалок командир.

Он сам умывальник. Вроде понятная вещь, от слова «умывание». А все же — что это за штука? Умывальник — это ведь не раковина с краном. Умывальник, он к водопроводу не привязан, он существо самостоятельное, поэтому он мог гнаться за грязнулей. В Ленинграде в 30-е годы уже умывались из водопровода, а вот в Новгороде, в Старой Руссе, куда мы часто приезжали, — там еще стояли умывальники. Это были сооружения из мрамора, с зеркалом, а сзади в цинковый ящик наливалась вода, впереди был краник либо сосок. Внизу под раковиной стояло ведро, куда стекала грязная вода. Умывальники были весьма солидные, отделанные бронзой, полированным деревом, а были и железные, простенькие. Воду наливали кувшином. Кувшин специальный — белый эмалированный.

Умывальник — сооружение громоздкое, хлопотное, не сравнить с нынешней раковиной, что стоит в ванной. Один кран холодной воды, другой — горячей, лей сколько хочешь, плескайся, мойся, и никаких забот: не надо принести воду, унести воду. Но между прочим, в этом-то «принести-унести» было и преимущество старого умывальника: воду в нем тратили экономно. Столько, сколько нужно, чтобы умыться. Лишнего не лили, подставляли ладошки, пальцев не растопыривали. Каждое ведро требовало труда. Так что все затраты бы-

ли разумны, и умывальник заставлял соблюдать режим экономии.

Одни вещи исчезают вместе со своими названиями, поскольку названия не живут сами по себе, осиротелые. Другие вещи отдают свои названия. Холодильник был еще во времена Пушкина — ведро со льдом, куда ставили бутылки вина. И теперь в хороших ресторанах подают такое ведро. Но его уже не называют холодильником. Имя это отобрал себе электрический холодильник. Что такое «пресс-папье»? А то еще — «клякс-папир»? Многие не знают этих слов, пресс-папье не продается, не употребляется, нет и названия такого. Пресс-папье сейчас ни к чему, ибо чернилами не пишут. Раньше же повсюду имелись пресс-папье: на почте, в конторах, в институтах на всех письменных столах стояли десятки, наверное, даже сотни тысяч простеньких, дешевых, массивных, дорогих, каменных, художественных, отделанных бронзой; все они полукруглые, снабженные розовыми, белыми промокашками, ими сушили — промокали написанные бумаги.

У моей мамы были щипцы для завивки волос. Щипцы нагревали на огне, затем накручивали на них волосы. Это было самое распространенное женское оборудование. Такое же, как позднее бигуди. Эти щипцы стали электрощипцами. А самовар стал электросамоваром, утюг — электроутюгом, лампа перешла от керосиновой к электрической.

Вещи сменяются все быстрее. Раньше они жили подолгу, переходили от отцов к детям, годились и внукам, их оставляли в наследство, они считались фамильной гордостью.

Возьмем ту же керосиновую лампу. Вы знаете, когда появилась керосиновая лампа? В 1853 году! В 30-е годы XX века она уже покидала города, я застал ее в деревне и в провинциальном городке, она доживала свой век.

О керосиновой лампе я расскажу подробнее, потому что имел случай познакомиться с человеком, который собрал большую коллекцию таких ламп. У него их больше сотни. Да плюс десятки керосиновых фонарей. Кстати, попросим художника нарисовать фонарь, вроде того, с которым отец ходил вечером в сарай, на сеновал, — это был фонарь с закрытым пламенем, известный как «летучая мышь». А почему он так назывался, никто у нас не знал. Я спросил у коллекционера, он показал мне старинный немецкий фонарь, на стекле которого

было выпуклое изображение летучей мыши, отсюда и пошло.

Керосиновые лампы, начищенные, ухоженные, выстроились рядами на полках. Большие, маленькие, с абажурами венецианского стекла, с фарфоровыми расписными чашками на фигурных бронзовых подставках — каких только тут не было ламп! С голубыми стеклами. Лампы модерн, лампы рококо и совсем простенькие — маленькие жестяные. Старина, ушедшая от нас безвозвратно, — вот с каким чувством я рассматривал их. И в то же время умиленно, потому что при свете этой лампы прошла бóльшая часть жизни отца в лесничестве. При желтом свете таких ламп он и учился, и читал, и составлял свои бесконечные ведомости, отчеты, сводки по лесозаготовкам, раскуривал свои самокрутки над ламповым стеклом в токе раскаленного воздуха... Но хозяин коллекции увлек мои мысли в другую сторону. Оказывается, не что иное, как керосиновая лампа, способствовала развитию нефтяного дела. Он утверждал, что нефтяная промышленность, нефтедобыча, нефтепереработки, заводы по перегонке нефти — все обязано изобретению керосиновой лампы. Она подтолкнула, возбудила погоню за нефтью, она, эта старушка, вызвала к жизни, родила нынешнюю мощную индустрию нефти. Лампа, снабженная воздухоподдувочными каналами, давала сильный ровный свет, не сравнимый с масляными лампами, и с этого времени потребовался керосин, поэтому начались бакинские нефтепромыслы, американская нефтяная горячка. Других-то потребителей не было, автомобили еще не появились. Шли 60-е годы XIX века. Керосиновая лампа быстро и победно воцарялась в домах Европы, в городах и селах России...

Он показывал мне лампы — первыши и поздние, лампы с плоскими фитилями, лампы с круглыми, связки фитилей разных размеров. Лампы восьми-, десяти-, пятнадцатилинейные. Различной формы стекла у ламп, колпаки, отражатели. Лампы на все вкусы, их было не меньше, чем сегодня светильников, бра и торшеров, люстр и настольных ламп. Были даже керосиновые лампы с рубиновым стеклом для фоторабот. Мы зажгли маленькую лампу-ночничок и рядом огромную керосиновую лампу, на которой можно было подогревать пищу. Она давала одновременно и свет, и тепло.

Когда-то это была целая промышленность, широкое техническое направление, которое создало эпоху нового освещения вместо свечного. Потом пришло электричество, появилась электролампочка и все это керосиновое хозяйство стало ненужным, некоторое время его еще держали про запас, а потом выкинули и быстро забыли. Впрочем, мой коллекционер не желал признавать керосиновую лампу умершей. Он показал мне корабельный компас, который и по сей день имеет две маленькие керосиновые лампочки. На всякий случай, для надежности. В ленинградской блокаде тоже пользовались керосиновой лампой. И до сих пор, утверждал он, во многих семьях хранятся керосиновые лампы как семейные реликвии. Я вспомнил, что в одном ленинградском доме висит на бронзовом кронштейне лампа. По семейным праздникам ее заправляют керосином и зажигают. Она досталась от прадеда, сельского врача. Он делал при ее свете операции. С тех пор она переходит наследникам, обрела родословную и обросла множеством преданий.

Семейные реликвии достойны уважения. Я люблю дома, где сохраняют увесистые бархатные альбомы с семейными фотографиями. Ларцы с письмами и открытками, написанными прабабушками. Картины, литографии, может, и невесть каких художественных достоинств, но зато они висели и у родителей, и у родителей родителей. Люблю семейные портреты, старые сервизы, старые книги, которые читали еще предки. Мне всегда как-то пусто в доме, где все новенькое, блестящее, приобретенное только что. Дом нуждается в старых, пускай малонужных вещах, которые переходят к детям. Керосиновая лампа — реликвия трогательная, мягкий золотой свет ее уводит в прошлое, когда по вечерам он собирал под свой круг всю семью, родных, тех, о ком вы знаете понаслышке, из семейных преданий...

Собрание моего коллекционера, может, единственное в Ленинграде. Хорошо, что находятся такие чудачки, подбирающие, казалось бы, никому не нужное старье. Хорошо, что кто-то любит и ценит эти отслужившие предметы, как бы возмещает людскую черствость.

Человечество смеясь расстаётся со своим прошлым, заметил Маркс. Это верно, и расставаться надо не жалея, но в этом смехе есть и что-то неблагодарное.

Старые лампы мой собиратель выпрашивал у знакомых, выменивал, спасал от уничтожения, подбирал на помойках. Чего только не находит он на помойках. На-

шел старинную турецкую кофемолку. Приделал к ней ручку, и она охотно заработала. Вот найденный там же телефонный аппарат с двумя кнопками «А» и «Б». Группа А и группа Б — так разделялись все абоненты. Нажимаешь кнопку — отвечает барышня. Телефонисток называли «барышня» вместо нынешнего «девушка».

Городские помойки для истых коллекционеров все равно что антикварные магазины. На них находят старинные бутылки, бисерные вышивки, погребцы, даже шкафы, этажерки, трюмо, тумбочки... Благо печей нет и сжечь так называемое барахло нет возможности. Это с конца 70-х годов старинную мебель стали ценить, а до того расправлялись с ней без пощады. Конторка — предмет сегодня малопонятный. Когда-то она стояла в магазинах, лавках; конторкой пользовались писатели, журналисты, люди много пишущие. За конторкой удобно было работать стоя. Собственно, что значит *было удобно*? Как будто теперь неудобно, как будто что-то изменилось в человеческом организме. Но почему-то конторок не изготавливают. Может быть, потому, что большинство пишущих людей сегодня не пишут, а стучат на машинке. Для машинки конторка не приспособлена. В 30-е годы я еще видел конторки в книжном магазине и в столярной мастерской, где за ней стоял мастер.

Мир вещей обновляется все быстрее, заступают новые и новые марки электроплит, холодильников, телевизоров, автомобилей, пылесосов. Куда-то деваются старые, появляются усовершенствованные. Фасоны обуви, детские игрушки, лыжи... Все сменяется, и уже не раз и не два в жизни одного поколения. Светильники, поезда, дома, самолеты... Что уж тут говорить об одежде или шляпках.

Шкафы сменились стенками. Плащи-болонья — куртками. Вместо патефонов — проигрыватели. Вместо проигрывателей — магнитофоны. Вместо ручек — фломастеры. Вместо радиоприемника — транзистор. Вещи мелькают, появляясь на короткое время, сменяются другими. Мастикой полы натирать нет смысла, если паркет покрыт лаком. Ванные колонки долой, заменим их газовым водогреем. Водогрей долой, заменим его теплоцентралю. Водогрей в металлолом. Туда же старенький «Ундервуд», швейную машинку «Зингер», электроплитку... Поломались? В утиль! Чего с ними во-

зиться. Это же не старина, ценности не имеет. Старинные вещи — тем почет и уважение. Подзорные трубы, шпаги, камзолы, фисгармоний — с ними обращение бережное. Их в музей, руками не трогать, под стекло. Про них рассказывают экскурсоводы. За ними охотятся коллекционеры. Их в каталоги вносят.

Вещи же нашего детства еще не стали стариной. Став ненужными, они не стали старинными и болтаются бездомно в чуланах, кладовках, всем мешая, пока их не выкинут на свалку.

Духовой утюг, или, как его еще называли, угольный. Портняжничая, мать моя пользовалась им. Надо было размахивать этим утюгом, раздувая положенные туда угли, и тогда багровый свет являлся оттуда, из поддувал, похожих на жаберные отверстия, потом разгорался до алого, утюг раскалялся и можно было гладить. Сладко-угарный дымок мешался с влажным запахом горячей шерсти. Утюг был высокий, с деревянной ручкой. Подрастая, я помогал матери, сам размахивал утюговой тяжестью. Угли в нем стеклянно бренькали. Не помню: откуда брались угли? Из печки? А может, от угольщика. Ходили угольщики, продавали уголь специально для самоваров и утюгов. Угольщики черные-пречерные. Ими пугали. И трубочистами пугали. Те ходили со щетками, метелками, ложками, подпоясанные широкими ремнями — какие-то черные витязи. Их теперь почти не встретить, они исчезли вместе с печками.

В комнатах стояли круглые железные печки. Высокие, как башни, забранные в ребристое железо. И не было ничего слаще, как, придя с мороза, прильнуть к округлым бокам печки, к ее живому теплу. На кухне пылала плита. Большущее сооружение, выложенное кафелем. Круги конфорок, духовка, вьюшки; на плите варилось, жарилось, урчало, шипело. Там калились по пояс в огне чугуны — пузатые, черные; грелись горшки, латки, медные тазы. К праздникам они начищались и сияли. Были дома, где блистали изразцовые печи. Кое-где они уцелели до сих пор, они украшают комнаты. Белый изразец, темно-зеленый изразец, фигурные изразцы, внизу сверкает латунная дверца. Рядышком тоят кочерга, щипцы. Изразец держал тепло долго. У каждой печки был свой нор, своя тяга: одна печь растапливалась легко, другая капризничала в ветреную погоду.

Угольщики, трубочисты... Были еще лудильщики.

Они заходили во дворы и кричали: «Лужу! Паяю!» Они лудили медную посуду. Во дворы заходили самые разные мастеровые люди, громко объявляя о себе. Стекольщики, полотеры... Приходили старьевщики, собирали изношенные галоши, тряпье. Им выносили диковинные для нас, ребят, предметы вроде розовых корсетов, старорежимных шляпок со страусовыми перьями, мундиров. Старьевщиков почему-то звали «халатами». «„Халат“ пришел!» Образовалось «халат», возможно, от слова «хлам», которое старьевщики, в большинстве татары, невнятно выкрикивали. А может, оттого, что ходили они в стеганых халатах. Они носили полосатые мешки из матрацной материи, и нас взрослые пугали: «Сдадим тебя «халату», он заберет в мешок». Это было действительно страшно. Потому что мы видели, как этот мешок поглощал всякую всячину. Куда она, эта всячина, девалась, что из нее делали?

«Костейтряпок, бутылбанок!» — кричал старьевщик, входя во двор. А другой насчет тряпья кричал еще замысловатей — белым стихом, из окон высовывались хозяйки, спускались к нему, или он поднимался к ним, и начиналась купля-продажа, торговались отчаянно, хотя мне непонятно было: если вещь никудышная, то зачем торговаться, куда девать ее?

Вещи в ту пору жили подолгу. Многие из них дремали в сундуках, пересыпанные нафталином. В начале лета их вынимали, вывешивали во дворе проветриться. Мы, дети, сидели возле них, стерегли. Чего там только не висело: тулупы, шали, шелковые платья, френчи, как будто мода ничего не могла поделать с этими прочными сукнами, бостонами, плюшами, с чесучовыми пиджаками, габардиновыми плащами. Они и в самом деле носились годами, десятилетиями, надевали их по праздникам, тогда костюмы делились на выходные и будние, были пальто выходные и обувь праздничная — штиблеты, баретки, джимми, хромовые сапоги...

После праздника все снималось, пряталось до следующего. Так что износу не происходило и справленное пальто носилось годы. Жили экономно, к вещам относились бережно. Было это и от бедности, и оттого, что доставалось все большим трудом. На пальто, на костюмы копили деньги, откладывали с каждой получки, как копят теперь на автомашину, на квартиру.

Все это имущество, развешанное на веревках, чистили и выбивали. Били специальной сплетенной из

прутьев выбивалкой. Шлепающие мягкие удары звучали во дворе все майские дни. Смолкали тогда, когда приходил шарманщик, певец со скрипкой, музыкальный дуэт, а то и трио. Ходило артистов много, даже после войны приходили с баянами, с аккордеонами, пели «Девушка в серой шинели», «Синий платочек», всякие окопные романсы. А из довоенных помню одного низенького скрипача, с ним приходил слепой певец с сильным красивым голосом. Он пел «Очаровательные глазки», «Живет моя отрада», «Полюбил всей душой я девицу». Мать моя любила эти романсы, знала их множество. Однажды, будучи во дворе, она стала подпевать этому певцу, увлеклась, запела в полный голос. Получился у них дуэт, такой дружный, что раздались аплодисменты. Из окон все повысовывались. Скрипач уговаривал мать сходить с ними в соседний двор. И мать вдруг согласилась. Может, ей попеть хотелось в полный голос да еще под аккомпанемент? А дома, в коммунальной нашей квартире, не распоешься. И она, к ужасу моему и восхищению, пошла с этими бродячими музыкантами. Конечно, я увязался за ними. Пошли в соседний двор, с которым мы враждовали. Было такое мальчишеское понятие «двор». Во дворе водились разные компании, но все они объединялись против чужого двора. Чужой двор был плохой, свой был хорош. Впервые я попал в чужой двор. Мать и слепой пели, им кидали из окон мелочь, завернутую в бумагу. Медяки и серебро. Накидали больше, чем у нас. Мать напелась вволю и была счастлива.

Более всего трогали грустные напевы шарманки. На одноногом нарядном ее ящике сидел попугай и вытаскивал клювом записочки с «судьбой». Вы разворачивали бумажную трубочку, и там крупным косым почерком было начертано, что вас ожидает. Все ваше будущее — с непременными успехами, с любовью, разлуками, коварством и трудным счастьем, с болезнями и выздоровлениями, с находками и путешествиями... В 70-х годах в Японии я увидел на шарманке маленькую обезьяну. Она вытащила мне красный парчовый мешочек, в котором тоже была «судьба». Но — напечатанная в типографии. Там говорилось о том же, теми же словами, что у нас во дворе, но я не поверил. Был не тот возраст. Но скорее всего потому, что записка была отпечатана в типографии.

Двор составлял неотъемлемую часть жизни городского дома. Во дворе знали и обсуждали жильцов... Двор складывал мнение. Двор осуждал пьяниц, хулиганов, во двор приходили женщины жаловаться на своих мужей и детей... Наверное, это держалось на том, что была некоторая общность дворовая: общая прачечная, в доме жили свои домовые дворники. Двор соединял хозяйственными делами.

Во дворе имелась помойка. Немаловажное большое сооружение с чугунной крышкой на блоках. Оно помещалось в полутемной нише. Туда сносили помои. Мусор, тот большей частью сжигали в печках. От помойки воняло, там пировали бродячие коты, водились крысы. Приезжала телега с высоким зеленым ящиком. Мусорщики очищали помойку. В это время двор пустел, закрывались окна. Все спасались от удушающе-липкой вони. Если бы можно было исследовать состав мусора, отходов той помойки 30-х годов и нынешних мусорных баков, то получилась бы заметная разница. Археологи не брезгают изучать отходы древних поселений. Для науки вообще не существует чувства брезгливости, если есть возможность что-либо узнать о жизни минувшей.

Во дворе сушилось белье, развешанное на веревках. Валил пар из прачечной. Там, в тумане, наши матери кипятили, стирали, полоскали белье. День, когда подходила очередь на прачечную, был день Большой Стирки — тяжелый день, когда мы все помогали матери носить дрова, развешивать тяжелые мокрые простыни. Их синили. Для этого имелись ярко-синие шарики «синьки». В прачечной стояли корыта, баки, чаны; женщины приносили с собой стиральные доски из гофрированного оцинкованного железа. Только теперь я понимаю, какой тяжелейшей работой была стирка. Зимой или в дожди белье тащили сушить на чердак. Чердак был помещением таинственным, обителью неясных страхов. Там стоял сухой легкий запах сажи, дымка из прокопченных печных стояков, что-то в косой железной полутьме по-свистывало, дышало. Чудилось, что кто-то ходит и прячется за балками среди кирпичных проемов. Даже мать боялась ходить на чердак одна и всегда брала кого-нибудь из нас в провожатые. Мы считали, что если в нашем доме сохранились с дореволюционных времен домовые, черти и прочая нечисть, то жить они могли

только на чердаке. Неслышно бродили коты, появлялись ломаные шкафы, кресла. Однажды там появился складной черный стол; когда складень раскидывался, то открывалась столешница, обтянутая зеленым сукном. Мать объяснила, что это ломберный стол. Что такое «ломберный», она не знала, но предназначался он, по ее словам, для карточных игр. Здесь, в чердачных сумерках, представала огромность дома. Его пространство, не разделенное комнатами, коридорами, чуланами, перегородками, терялось во мгле. Костяк дома, с его неоштукатуренными кирпичными капитальными стенами, с проемами, выявлялся незнакомо, под ногами шуршал мелкий песок, из слуховых окон открывалась даль ребристых красных крыш с дымами труб, чистые скаты кровель, еще не заставленные палками антенн.

Противоположностью чердаку были подвалы, в подвалах было скучно, сыро, там, разделенные на клетушки, хранились семейные дрова. Возня с дровами отнимала уйму времени. Покупали их на дровяных складах. Тщательно выбирали, чтоб не сырые были, чтоб березы или ольхи побольше. Березовый швырок стоил дорого, поэтому комбинировали: столько-то березовых, столько-то сосны, осины, судя по средствам. Вычисляли, сколько кубометров уйдет за зиму на наши две печки, плюс кухонная плита, плюс прачечная. Затем нанималась телега и дрова везли. Все это лучше делать летом, загодя, чтобы дрова подсохли. Их складывали в подвале, в нашем отсеке. Кому места в подвале не хватало, складывали дрова во дворе, поленницами. Метили, обшивали досками. Тут же во дворе пилили, кололи. Кто не мог таскать дрова на верхние этажи, нанимал дворника. Дворникам платили с вязанки. А вязанку мерили на специальной мерке. Стояла во дворе общая мерка для вязанки. За печкой, дома, сушились дрова для растопки. Правильно истопить печь — целое искусство. Надо было умело поставить дрова и так поместить в самой их середине бересту, лучину, бумагу, чтобы огонь, подхваченный тягой, загудел, охватил поленья, чтобы потом не ворошить, а лишь подкладывать уже недосушенные. Сколько раз бывало: печь угаснет, и мать потом перекладывает поленья, обжигая руки, дует, дует, раздувая растопку, браня меня за бестолковость. А в конце топки надо уследить, чтобы выгорело все одновременно, чтобы

не осталось головешки, из-за которой печь выстуживается. Головешку приходилось вытаскивать кочергой, ухватывать щипцами и бежать с ней на кухню топить в ведре. Она шипела, фыркала. Иначе печь выстудишь, важно вовремя закрыть трубу. Как только прозрачно-синие бегущие огоньки на углях сникнут и угольный жар подернется пеплом, так закрывай вьюшку, сберегая тепло. Цель-то в том заключается, чтобы дров потратить меньше, а нагреть печь побольше. Закроем чуть раньше — страдаем от угара. Угорим — голова разламывается, были угары, что тошнило, а бывали и вообще печальные исходы. Так что топка печей требовала непрестанного внимания, отнимала множество времени. Зато какое счастье было сидеть в наплывающих сумерках у раскрытой печи и смотреть на огонь. Там разыгрывались сражения, происходили катастрофы. Зрелище пылающей сцены завораживало. Поленья стреляли, брызгая крупными искрами. Стоял треск, золотисто-красные царства рушились, рыжие орды огней совершали новые набеги. Фантазия разыгрывалась, чего только не сочинялось, не виделось в сладостной отрешенности этих, не поймешь, минут или часов. Жар накалял лицо, отблески пламени вовлекали в представление комнату, тревожные тени металась по стенам. Всадники скакали сквозь пожары. Плыли корабли. Воображение в том возрасте умело отбрасывать все препоны. Раскрытая дверца печки светилась, как окно в мир чудес, телевидения-то не было.

...Ходили, естественно, дровосеки, пыльщики, но почти в каждой семье имелся топор, пила, да еще колун, чтобы раскалывать большие кругляки, которые топором не возьмешь. А раз топор есть и пила, то надо было их точить. Ходили по улицам точильщики — пожалуй, самая красивая из всех бродячих профессий. Станок у точильщика с разными круглыми камнями — розовые, серые, совсем темные, тонкие и толстые. Жмет он ногой и прикладывает металл к точилу, оттуда несутся кометными хвостами искры разных цветов, как фейерверки. Точило жужжит, поет — на лезвиях появляется узкий чистый блеск отточенной стали. Топоры, портняжные ножницы, секачи, бритвы, огромные ножи — чего только не несут точильщику. Несли такие вещи, как сахарные щипцы, чтобы сахар колоть, ножи кухонные,

которыми, между прочим, лучину щепали для самоваров...

Конечно, работа с дровами была одна из наиболее обременительных в том городском быту, о котором сейчас знать не знают, а те, кто знали, охотно позабыли. Центральное отопление сняло все эти проблемы, по крайней мере в крупных городах страны. Мы не очень-то и заметили, как, когда это произошло, и, только оглядываясь назад, на ту печно-дровяную эру, вдруг осознаешь, как облегчился наш быт, какой комфорт создали эти незаметные батареи вдоль стен, квартиры без печей, без плит, без вьюшек, угарного газа, дыма. Был, конечно, уют горящего огня, была вентиляция через топку, была независимость, но любой сменяет все это на удобства нынешней системы отопления. Было, однако, преимущество печей, о котором следовало бы помнить, — это опять же экономия. Печное тепло берегли. Печи топили по мере нужды, поэтому и окна на зиму замазывали тщательно и утепляли все, что можно: и двери, и подъезды. Сберегали свои собственные усилия. Бережливость эта утеряна, смысл ее как бы исчез при круглосуточной даровой теплоотдаче батареи. Между рамами закладывали вату, ставили блюдца с кислотой, посыпали блестками, клали для красоты какую-нибудь игрушку. Несмотря на все старания, окна замерзали. Стекла покрывались ледяными мохнатыми узорами. Мороз выращивал ветвистые папоротники, хвощи. При солнце все это начинало сверкать, переливаться мелкими колючими огнями, и я надолго, как зачарованный, застывал перед этой красотой. Я попадал в ледяные джунгли. И самое чудесное заключалось в том, что тропические эти леса заслоняли обычный вид на двор, на проспект, как будто они выросли там, за окном. Не было города, наш дом стоял в морозной чаще...

Имелась каталка: на деревянный валик наматывалистираное белье и рубчатой деревянной каталкой катали его на столе. В детстве я не вникал зачем — то ли вместо глажки — опять же экономия дров, — либо еще почему. Самое же милое было дело выправлять стиральные простыни. Они после сушки дубели, сморщивались, мы с матерью с обеих сторон ухватывали простыню за уголки и разом встряхивали так, что получался хлопок

о воздух, гулкий, сильный, как хлопает парус. Хлопали несколько раз, и полотно расправлялось.

У женщин были совсем иные материи в ходу — маркизет, ситчик, файдешин, пике, крепдешин, креп-жоржет. У мужчин был габардин, бобрик, коверкот... Старики донашивали суконные френчи, чесучовые пиджаки кремового цвета.

...А еще были экраны — низенькая такая ширмочка, которой заслоняли жар камина. В спальнях же стояли настоящие высокие складные ширмы. За ширмами одевались, раздевались, переодевались. Ширма стояла у моей старшей сестры, отгораживая кровать. Ширма была буржуйская, случайно затесавшаяся в общежитие, где сестра жила. Обтянутая черым шелком — на шелке вышиты цапли, китайские пагоды и маленькие китайцы с плоскими зонтиками, — эта ширма была сама как ди-ковинная птица, залетевшая из дальних стран. Ширмы были и попроще — деловые, были резные, были длинные, были короткие, трех-, даже двухполотные.

Во многих городских квартирах мебель стояла закрытая чехлами. Кресла, стулья, диваны, даже рояли облекались холстинными чехлами. Снимали чехлы по большим праздникам, а то и вовсе не снимали. У одного из моих приятелей мы никогда не видели дома, чтобы мебель была расчехлена. Да думаю, что и сам он толком не знал, что за обивка у этих стульев, стоящих вдоль стен, и дивана, на котором мы играли. Чехлили многое, вплоть до чемоданов. Большие и малые так называемые фибровые чемоданы носили в аккуратных чехлах, обшитых красной тесьмой. Странное это было стремление — все зачехлить. Может, вызывалось оно бережливостью, желанием сохранить, сберечь дефицитные в те трудные годы предметы, избавиться от хлопот. Чехлы можно было стирать, считалось, что с чехлами чище... В этом ли их смысл? Честно говоря, не знаю. Нынешние наши догадки неполны, потому что мы не знаем всего сцепления причин и следствий, в которые были погружены наши родители. Так же как и наши дети не знают многого про нас.

В 50—60-е годы автомобилевладельцы тоже ездили с чехлами, защищающими сиденья. Я сам, приобретя «Москвичок», сразу же приобрел чехлы. Автомобиль мой сносился, кузов проржавел, зато сиденья остались

новенькие. Увидев их нетронутую чистоту, я поразился глупому этому обычаю. Чего ради столько лет беречь обивку, сидеть на заношенных, грязных чехлах?..

Отец мой, как и все тогда, брился бритвою. Потом, когда появились безопасные бритвы с лезвиями, ее стали называть опасной. У него была старенькая, сточенная до узенькой полоски бритва, которую он ценил за высокое качество стали. На черенке бритвы стоял знак: два человека — «близнецы». Я, как сейчас, вижу эту бритву, и помазок отца, и его чашечки. В детстве с вещами устанавливаются особые отношения, интимные. В детстве вещи разговаривают, живут. Любые вещи, вплоть до рисунка обоев, половики, копилки имеют свои физиономии, свой нрав... Многие из них помнятся всю жизнь, они хранили наши тайны, мы разговаривали с ними.

Ритуал бритья нравился мне чрезвычайно. В нем заключалась, как я полагал, возможность поскорее стать взрослым. В черной чашечке отец взбивал пену. Для этого он строгал мелкими стружками мыло. Обычно хозяйственное мраморное — кубические куски с синими прожилками. Бритву отец ловко правил сперва на гладкостертом в середине оселке, потом отбивал на ремне, звучно шлепая бритвой по кожаному натягу. Доводил жало бритвы до впиваемости. Жесткий волос все равно трещал под лезвием. Зрелище бритья меня завораживало: из-под мыльной пены появлялась гладкая загорелоблестящая щека, свободная от рыжеватой щетины, отец молодел, становился светлее, красивей.

В наборе бритвенных принадлежностей были квасцы. Прозрачно-светлый камешек этот прикладывался к порезу, чтобы унять кровь. Квасцы помнятся кислохолодным вкусом. Наверное, я пробовал их на язык. Многие другие предметы тоже помнятся вкусом, например, сладковато-опасный вкус химического карандаша. Когда его слюнявишь, то он начинает писать ярко-лилово. Язык же становится страшновато-фиолетовым.

У отца из кармашка пиджака торчал набор карандашей в железных наконечниках. Красно-синий, черный, простой, химической. От лацкана тянулся кожаный ремешок. На ремешке висела луковица часов. Позже появилась еще ручка с зажимом. Вечная ручка, толстая, от нее на пальцах всегда чернильные пятна.

До вечной ручки были вставочки с металлическими перьями. Имелся набор перьев на любой вкус и почерк. Одни писали пером «рондо», другие — «уточкой», третьи — 86-м номером. В те времена все еще обращали внимание на почерк. Это были последние годы некогда великого искусства чистописания. Писарское умение еще ценилось. Учителя писали на доске каллиграфическими почерками — косыми, классическими, кудрявыми, острыми.

У отца в лесничестве не было пишущей машинки, все бумаги «наверх» и «вниз» писали от руки. Требовалось, чтобы почерк был четкий, понятный, у него был к тому же красивый.

Чернильницы стояли на столах стеклянные, металлические, каменные. Мы носили чернильницы с собою в школу. Фарфоровые невыливайки. Клей назывался «гуммиарабик». Были ножи для разрезания книг. Были спичечницы, пресс-папье, чернильницы для нескольких сортов чернил — лиловые, зеленые, красные, — все это хозяйство соединялось в письменном приборе.

Приборы выглядели внушительно, высились на столе как крепостные сооружения. Чугунного литья, резные по камню, они снабжались львами, грифонами, Гименеем или другим богом. В старомодных письменных приборах имелось блюдо для визитных карточек, бювар, чистилка для перьев, точилка для карандашей. Все это основательное, затейливо украшенное...

После революции визитные карточки исчезли. В 30-е годы они считались буржуазным пережитком, и, пожалуй, их ни у кого не было.

Спустя 30 лет, в 60-х годах, они возродились. Оказалось, что визитка удобна и уважительна...

Вечная ручка часто подтекала. Прежде чем начать писать, ее следовало стряхнуть. В конторах полы пестрели чернильными пятнами.

Вещи разделялись не по стоимости, скорее по соответствию: кому что положено. Кому парусиновый портфель, кому — кожаный. Кому — кепка, кому — фуражка, кому — шляпа. Кому положено кастрюлю супа на стол ставить, а кому перелить этот суп в супницу специальную. Тут не столько имущественное положение влияло, сколько продолжали действовать как бы сословные правила. У инженера за столом одно полага-

лось, у мастерового — другое: другие ножи, другой буфет...

Если говорить о памяти вкусовой, то лучше всего помнится вкус сластей тех лет. Сидели бабки с корзинами и продавали самодельные сласти. Во-первых, маковки, варенные в меду, во-вторых, тянучки. Их и впрямь можно было вытягивать в длинную коричнево-сахаристую нить. Продавали семечки. Семечковая лузга повсюду трещала под ногами. Постный сахар, мягкий, всех цветов радуги. Шоколадные треугольные вафли. Их почему-то называли «Микадо». В кондитерских магазинах имелись помадки, пастилки, цветные лимонные корочки. Все это ныне тоже исчезало, хотя лакомства эти никак не назовешь ненужными. Были еще разных цветов прозрачные монпансье в круглых жестяных коробочках. Летом появлялись тележки с мороженым. В тележках, среди битого льда, стояли бидоны с розовым, зеленым и кофейным мороженым. Его намазывали на формочку и зажимали в две круглые вафельки. На вафельках красовались имена: Коля, Зина, Женя...

На праздничных базарах и ярмарках имелось на выбор множество забавных игрушек: глиняные свистульки, надувной пищащий чертик «уйди-уйди», «тещин язык», китайские фонарики, трещотки. Они тоже помнятся на вкус потому, что все эти вещи обязательно в детстве пробовались на язык: вкус резины, целлулоида, остро-кислый вкус контактов от батарейки. И вкус шнурков от ботинок, и вкус медного пяточка.

Во что мы играли? Почему-то вспоминаются прежде всего «казаки-разбойники». Одни — казаки, другие (самое желанное!) — разбойники. Ловят, берут в плен, бегут, кто-то кого-то выручает, устраивают засады... Бог знает, как дожила эта игра, видно по названию: игра дореволюционная, до 30-х годов, но и наши родители играли в нее. Так же досталась нам от старших «лапта». Играли в нее черным мячиком, который назывался «арабский», мяч был маленький, крепкий, «пятнали» им довольно ощутимо. Лаптой надо было забить его как можно дальше, да так, чтобы противник не поймал его в воздухе, то есть без «свечки». В «лапту» играли на школьном дворе, там же в укромных уголках, за поленницами, дулись в «выбивку». Эта игра была незаконная,

потому что на деньги. То есть играли деньгами-монетами. Копейки, три копейки, выбивали их тяжелым медным пятаком, такие ходили тогда в обращении — тяжелые из настоящей багровой меди монеты. Выбить — значило ударить так, чтобы монеты с «решки» перевернулись на «орла». Игра имела строгие правила, свои хитрости, приемы, своих мастеров и настоящих игроков, азартных, способных проиграть все деньги на завтрак. Взрослые называли ее по-старому «орлянка». Наверное, «выбивка» и «орлянка» были схожи. Мы догадывались об этом, поскольку, таская нас за уши, взрослые жаловались друг другу: «Ишь поганцы, в «орлянку» дуются!»

Но были у нас и свои новые игры. В младших классах наряду с «казаками-разбойниками» соседствовали игры в «красную кавалерию». С криками «ура!» конники-рубачи скакали на деревянных конях, рубились деревянными саблями, трубили в дудки-горны. Были счастливцы, у которых сохранились отцовские буденовские шлемы. Настоящие буденовки, не то что сейчас, детские. Сражения наши происходили во дворах, но главным образом в саду у Спасской церкви. На самом деле это был Спасо-Преображенский собор, но для нас это была церковь у Спасской улицы, так что Спасская церковь. Вокруг нее имелся церковный сквер, где росли дубы. У входа в сквер на диабазовых постаментах стояли две турецкие пушки — военные трофеи русско-турецкой кампании 1828—1829 годов. Внутри сквера у стен церкви стояло еще несколько пушек. Пушки были настоящие, на лафетах, обтертые нашими штанами до бронзового блеска — лучшее место для игр, которое я когда-либо видел. Сюда приходили играть со всех соседних улиц. Вокруг пушек, на самих пушках шли с утра до вечера сражения, не утихала пальба. Какие командиры, какие полководцы тут блистали! Пушки были и кораблем, и крейсером, и гимнастическим снарядом, и крепостью. Ограда собора была тоже сделана из орудийных стволов, цепей — все это из трофейного оружия той победной для России турецкой кампании. Возле пушек лежали пирамидки из чугунных ядер. А с дубов падали желуди — лучшие из снарядов для рогаток и самострелов. Говорили, что поначалу вокруг собора было установлено двенадцать пушек и два едино-

рога. Но я застал всего шесть пушек, каждую помню до сих пор. Внутри храма висело много трофеев — бунчуки, знамена. У задней стены был похоронен генерал — «В. Скобелев, герой кампании 1877—78 гг».

Пушки были непростые, имели свою историю, которую нам однажды рассказал учитель обществоведения. Оказывается, после победы над турками эти пушки Николай I подарил Польше. Подарил с тем, чтобы украсить ими памятник королю Станиславу, погибшему под Варной в сражении с турками. Посреди Варшавы хотели поставить такой памятник. Однако неблагодарные поляки вместо памятника стали стрелять из этих пушек во время восстания 1831 года. Пушки были второй раз взяты нашими войсками, и гвардия, которая как бы была приписана к этому собору, установила их там.

Ныне осталась только ограда, пушки куда-то исчезли, но ограда стоит, сделанная из той же трофейной турецкой артиллерии.

У девочек шла своя, особая, малоинтересная для нас игра в куклы. Настоящие куклы были дорогими, тогда только входили в обращение куклы из розового целлулоида. Большей же частью нянчили матерчатых матрешек, возились с бумажными куклами, которых они сами рисовали и вырезали с ручками, ножками и вырезали им платья разных фасонов. Самый интерес был создать наряды, целый гардероб платьев, раскрасить их цветными карандашами — платья, о которых мечтали наши матери, и такие, о которых и мечтать не могли. Да еще пальто, шубы, манто — фантазия пировала, тут соревновались на равных, у кого вкус лучше, воображение богаче.

Дома играли в лото, дома мастерили всякого рода кораблики, змеи, с годами начинали строить радиоприемники. В то время всеобщей радиофикации увлечение радио было повальным, и стар и млад собирали детекторные радиоприемники, мотали катушки, клеили конденсаторы.

Еще была игра младших в фантики. Обертки от конфет складывали, как складывают бумажки для порошков, это были фантики, ими играли. Ценились фантики красивые, от дорогих шоколадных конфет. Некоторые богачи обладали коллекциями в сотни фантиков.

Играли в «индейцев», потому что из любимых авто-

ров того времени были Фенимор Купер, Майн Рид с их романами о свободолюбивых, справедливых индейских племенах.

А буры, смелые буры, воевавшие с англичанами! Была такая книга, которой зачитывались: «Питер Морис, юный бур из Трансвааля». Читали много. Не было телевидения, кино было лакомством, и все свободное время уходило на чтение. Кроме известных книг Джека Лондона, Александра Дюма, Диккенса, Киплинга любимыми авторами были писатели ныне забытые, малоизвестные — прежде всего, Сергей Григорьев («Тайна Ани Гай», «С мешком за смертью») и П. Бляхин («Красные дьяволята»). Затем «Майор следопыт» — автора не помню, еще Сергей Ауслендер — «Дни боевые», ну конечно, Кервуд с его романами «Южный крест», «Бродяги Севера», Алтаев с историческими романами вроде «Под знаменем башмака», книги Беляева, Луи Жаколио, Луи Буссенара — «Капитан Сорвиголова», книги капитана Марриета... Некоторые книги помнятся только по их названию, по внешнему виду, например «Пятый класс свободной школы» или «Корабль натуралистов». Царило радиоувлечение, и соответственно зачитывались книгой, кажется американской: «Как мальчик Хьюг построил радиостанцию».

Попадалось тогда немало книг дореволюционных, роскошно изданных в «Золотой библиотеке». Крепкий красный переплет с золотым тиснением, меловая бумага. Печатались там, правда, вещи сладковатые: «Серебряные коньки», «Маленькие женщины», «Маленькие мужчины». Впрочем, все это хоть и читалось, но вскоре перечеркивалось как дребедень. Авторов в детстве знают редко, к чему они? Читали журналы «Всемирный следопыт» и «Мир приключений». Еще ходили по рукам старые, затрепанные романы Лидии Чарской вроде трогательных «За что?» или «Княжна Джаваха». Не представляю, можно ли их ныне читать, но тогда доброе и благородное начало, заложенное в них, казалось написанным вполне художественно. По крайней мере, по нашим ребячьим понятиям. Книги ведь тоже выходят из моды, как вещи, и некоторые книги стареют вместе с вещами быстро и необратимо.

Разумеется, и тогда, как и теперь, девочки прыгали через скакалку, играли в «классы», расчерченные на

тротуаре, — все это передается из века в век, к счастью, в неприкосновенности.

Зимою на коньках катались повсюду, то ли зимы были крепче, то ли снег не убирали на мостовой. Наверное, так оно и было, потому что ездили же на санях, значит, и на коньках могли, а уж про лыжи и говорить нечего. Лыжи тогда были простейшие — сосновые, березовые доски, коричневатые от протравы, крепления — ремешки с резинками либо же — классом выше — роуфеллы, жесткие. Палки деревянные, с деревянными колечками. О клееных лыжах мы не слыхали. Надели на валенки и — на улицу. К тем же валенкам прикручивали коньки-снегурки. Потом уже появились специальные ботинки с металлическими пластинками. Санки были почти в каждом доме, в каждой семье. Очень помогли ленинградцам эти детские санки во время войны, в блокадные зимы. На них возили воду с Фонтанки и Невы, возили продукты, возили дрова. Везли на них и ослабевших от голода людей.

Самым роскошным подарком моего детства был пугач. Теперь таких попугайных револьверов не видно. Из серебристого какого-то оловянного сплава, рукоятка красная, зеленый барабан, заряжался он пробками и стрелял оглушительно, с дымом, огнем. Дыма было много, никакого сравнения с пистонами. Это потрясало. Пугачи стоили дорого, и владелец пугача ходил гордый, он имел реальную власть: он давал «стрельнуть».

В музее ненужных, забытых предметов я бы обязательно поместил такую штуку, которая в те школьные годы причиняла нам множество неприятностей и огорчений; теперь штука эта, кажется, безвозвратно ушла из школьного быта. Ее нельзя назвать ни вещью, ни предметом. Что ж это такое? Почти как загадка. А это знаменитая Клякса. Каждый из нас, кто учился писать чернилами, вставочкой с пером, а не шариковой ручкой, оставил в тетрадях немало клякс. Я имею в виду большие, серьезные кляксы, не какую-нибудь мелочь. Большие кляксы надо было осторожно осушать промокашкой. Высасывать, пока клякса не опадет до пятна. Труднейшая операция! Мокрый блеск ее исчезнет, и тогда ее можно приклепнуть мохнатым листком промокашки, а затем стирать резинкой. В результате усилий на месте кляксы большей частью появлялась дыра.

Происходило естественное развитие кляксы, подобно переходу куколки в бабочку. Бабочка-клякса улетала сквозь эту дыру. Кляксы были врагами всех диктовок, сочинений, они падали и расплывались не на полях, а обязательно в середине текста. Она соскальзывала с пера незаметно и шлепалась причудливым пятном. Из кляксы можно было нарисовать жука, головастика, осьминога. Важно было увидеть. Иногда и не дорисовывая ножек, ручек, сама клякса принимала вид чудовища, оттуда высывались сабли, языки, рога. Если кляксу расплющить, она заполняла всю страницу. Так что от клякс, если относиться к ним дружелюбно, можно было получать удовольствие.

Когда я кончил институт, у меня из кармашка пиджака торчали: вечное перо, затем карандаш (автоматический! — так его называли) с выдвижным грифелем и, наконец, логарифмическая линейка. Почему-то все это носилось напоказ: обозначение деловитости, образования. Теперь этот кармашек пуст. Тоненький мой фетровый фломастер переместился во внутренний карман. Грифель у него не ломается, чернила не растекаются, не надо носить для него точилку или перочинный нож. Никаких беспокойств. Никакого за ним ухода. Мы все время избавляемся от забот, связанных с вещами. Когда появились шариковые ручки, то появился ремонт шариковых ручек. Открылись специальные мастерские, где израсходованные стержни снова набивали пастой. Сегодня такое занятие покажется смешным. Опустевший стержень выбрасывают, заменяют новым. Чаще всего выбрасывают пластмассовую посуду, чтобы не мыть ее, выбрасывают бумажные скатерти, часы, которые ходят полтора года, потом их выбрасывают. К вещам не успеваешь привязаться, подружиться. Примерно то же самое происходит во всем нашем быте. Легкие стулья, легкие столы, непрочная мебель. На то и расчет. Зачем прочность, если мебель скоро выйдет из моды. Сейчас не покупают ее в расчете на наследников.

ПРОДАЕТСЯ ЖЕЛЕЗНАЯ КРОВАТЬ С ПРУЖИННЫМ МАТРАЦЕМ

Железные кровати, украшенные никелированными шарами, — эти кровати были предметом роскоши, во всяком случае, благополучия. Они стояли украшенные вышивками, горой подушек, покрывалами — одно-

спальные, полуторные, двухспальные. Кровати-сооружения, кровати-украшения. Они поисчезали незаметно, беспамятно.

В свое время мы тоже старались избавиться от старой мебели. Как мы уговаривали мать выкинуть комод. Само название «комод» отзывалось мещанством. Комод — пузатый, с массивными ручками, с тяжелыми крепкими ящиками, он был капитальный, несокрушимый. Все кругом менялось, а он расположился у нас на века, оплот отвергнутой жизни, его основательность раздражала, она была вызовом, она была признаком обывательщины.

Старые вещи всего лишь знаки, оставленные прошлой жизнью. Иному кажется, что они торчат как ненужные пни, но для внимательной души годовые кольца хранят размах тенистых крон, что шумели тут, треск морозов, иссушающий зной давнего лета.

Мальчишечья наша жизнь вспоминается через вещи ярко и предметно.

От тех же копотных керосинок ноздри наши становились к вечеру черными, нас заставляли мыться на ночь, и матери, проверяя, вертели полотенцами в наших носках. Вообще-то смотрю за нами было немного. Во всяком случае, со школьными своими делами мы управлялись самостоятельно. Отметками родители занимались разве что к концу года, да и особой погони за отметками не было. А вот кружков в школе работало множество, кипела самодеятельная, нами же созданная общественная жизнь. Мы ходили по улицам с плакатами МОПРа, собирая пожертвования в помощь политзаключенным в капстранах. Ставили спектакли, выпускали журналы.

Орденоносцы были еще редкостью, на них мы смотрели почтительно и готовы были все сделать для них. Даже значкисты ГТО казались нам героями. К значкам была зависть: ого, «Ворошиловский стрелок»! А у этого значок ГТО второй ступени!

В седьмом классе велосипед имелся у трех человек. Велосипед называли *машиной*. «У него есть машина!» Зато многие обладали самокатом. Для колес добывали эбрезиненные ролики из шахт лифтов, поскольку лифты тогда бездействовали. Кабины лифтов были из красного дерева, но кабины мы не трогали. Лестницы многих домов сохраняли мраморные каминьы, обивку, кованые

фонари, медные ручки. Никто их не отвинчивал, не выламывал на цветной металлолом. Не было принято — вот главное объяснение. Не пакостили, не разрушали. Почему? Да скорее всего потому, что знали: нельзя. Откуда бралось это НЕЛЬЗЯ? По-видимому, воспитывалось. Нельзя — без всяких объяснений, нельзя — потому что нельзя.

Предметы наших завистей, наших мечтаний вызывают сейчас улыбку. Или недоумение. Например, завидовали пьексам. Финские пьексы — лыжные ботинки с загнутым носком. Мечтали о лыжных штанах, о металлических лыжных палках!

Понятие «дорого», «слишком дорого» останавливало нас на каждом шагу.

Не было денег на кино, дорого выписать «Пионерскую правду», а уж «Вокруг света» тем более. Котлеты мясные — дорого, пирожное — событие, а крабы, икра — это могли позволить себе легче, тем более что не пользовались они спросом и в магазинах висели плакаты: «Всем попробовать пора бы, как вкусны и нежны крабы!»

В девятом, десятом классе любимыми нашими книгами стали «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок» Ильфа и Петрова. Оттуда наизусть цитировали большие куски.

Мы любили тогда Маяковского, Светлова, Тихонова, Сельвинского.

Собственных книг в доме имелось немного. Книга, особенно детская, представляла драгоценность. Жюль Верн, Джек Лондон, всякие приключения — их брали друг у друга почитать, обертывали бумагой. Книга жила долго, ее переплетали любовно и красиво. Пользовались мы повсюду библиотеками. В библиотеках стояли очереди на руки давали не больше двух-трех книг.

Что нас более всего захватывало и привлекало, так это путешествия, полеты, экспедиции. Эпопея челюскинцев, Чкалов, экспедиция Нобиле, полет Амундсена... В разные годы, но одинаково волнующие события. Переполненный, как никогда, Невский проспект в день возвращения челюскинцев. Толпа ликующих ленинградцев. Медные громы оркестров. Сыплются сверху листовки. И общий, соединяющий всех восторг. Такой же стихийный праздник достался нашим детям

в счастливый апрельский день 1961 года, когда все высыпали на улицу, пели, обнимались, кричали: «Ура Гагарину!», несли самодельные плакаты: «Мы в космосе!»

Мы хорошо знали имена профессоров Визе, Самойловича, летчиков Коккинаки, Громова, радиста Кренкеля, разумеется Папанина. С тех лет навсегда отпечатались в памяти портреты чернобородого Отто Юльевича Шмидта, сухощавое лицо Роальда Амундсена, улыбчивые Марина Раскова, Полина Осипенко, Валентина Гризодубова. Стоит закрыть глаза, и они появляются из глубины детства отчетливо и неизменно.

Был у меня еще и отдельный любимец, свой герой, Томас Эдисон, книжек о нем, его портретов тогда было множество. Он был один из «хрестоматийных мальчиков», которых мы себе выбирали в пример. Мне нравилось, что Эдисона учителя считали тупицей, а он в подвале дома сделал лабораторию, потом продавал газеты, потом выпускал газету — ему было тогда четырнадцать лет, — потом опять в вагоне поезда создал лабораторию. В двадцать два года он изобрел телеграфный аппарат, и с этого пошло-поехало, изобретение за изобретением.

Существовали и другие «великие мальчики», хрестоматийные истории, наивные, легендарные, но горячо любимые, как нельзя более нужные в том возрасте. Крестьянский сын Михайло Ломоносов, который идет пешком в Москву учиться. Все было не совсем так, но легенда эта помогала поколениям русских мальчиков, согревала она и нас. Так же как легенда о парижском мальчике Гавроше или о голландском мальчике, который заткнул рукой отверстие в плотине... Одна за другой легенды эти воспринимались жадно, доверчиво, и почему-то никогда позже душа не отталкивала, не осмеивала их.

Рано или поздно от старых вещей избавляются. Отвергают власть одних вещей, чтобы попасть под власть других. Освободился от подсвечников — стал искать красивые абажуры и люстры. Все это естественно. Неестественно другое — когда выбрасывают старые бумаги. Это печально и непоправимо. Документы, дневники, фотографии, письма, вырезки из газет — все, что годами собирали наши родители, дедушки, бабушки, после их смерти большей частью выкидывают, сжигают, сдают в макулатуру.

Семейные архивы — это не прошлое, это всегда завтрашнее. Семья должна иметь свой архив — почетные грамоты дедов, отцов, историю их заслуг, их труда, историю рода, фамилии. Когда-то нашей жизнью интересуются внуки точно так же, как и к нам подступает с годами интерес к облику наших предков, к тому, как они жили, как любили...

Уличная толпа в 30-е годы была куда разномастнее, пестрее, больше было в ней контрастов. Профессии людей легче узнавались по их одежде, по приметам. Врачи, например, ходили с кожаными саквояжами. У инженеров были фуражки со значком профессии: молоток с разводным ключом. Инженерное звание было редкостью и внушало уважение, однако форменные фуражки напоминали что-то офицерское, и это не нравилось. Так что вскоре фуражки исчезли. Как вспоминает В. С. Васильковский, ношение остатков формы было даже запрещено, и наряженное в форму горящее чучело шествие пронесло по Васильевскому острову. Не нравилась и шляпа.

Пожарники ехали в сияющих медных касках, звонили в колокол. По мостовой шествовали ломовые извозчики, в картузах и почему-то в красной суконной жилетке, перепоясанные кушаком. А легковые извозчики были в кафтанах. Парттысячники ходили в куртках из бобрика или же в кожанках, брюках из «чертовой кожи». Женщины — в красных кумачовых косынках. Это работницы, дамы же щеголяли в шляпках, носили муфты. Была модна кепка, одно время — тюбетейка. Кепки были мохнатые, были с длинными козырьками. Рабочие носили косоворотки, толстовки. Шествовали отряды со знаменем, барабанщик впереди отбивал дробь, трубачи трубили... Милиционеры летом стояли в белых гимнастерках с красными петлицами. По мостовой кроме извозчиков ехали тележечники — везли мелкий товар. Дробно позванивали велосипедисты. У каждого сзади, под седлом, имелся желтый жестяной номер. Все велосипеды регистрировались, они считались транспортом, как машины и телеги. На велосипедах ездили служащие с портфелями, студенты. Милиция ездила на лошадях. Конная милиция во время демонстрации обеспечивала порядок. Милицейские лошади, ухоженные, блестящие, удерживали толпу и вели

себя очень деликатно: никогда не было, чтобы миллицейская лошадь лягнула, наступила кому-нибудь на ногу.

Мостовые большей частью сохраняли булыжник, тротуары же светились квадратными серыми лещадными плитами. Дожди отмывали панельную гладь до светло-серых оттенков, и каменное это разнообразие было приятнее глазу, чем асфальт.

17 СЕНТЯБРЯ 1934 г. БУДУТ ПРОДАВАТЬСЯ
С ПУБЛИЧНЫХ ТОРГОВ,
ИМУЩЕСТВО, ПРИНАДЛЕЖАЩЕЕ ЗАВОДУ «ВЕНА»,
ЗАКЛЮЧАЮЩЕЕСЯ В
ДВАДЦАТИ ОДНОЙ ЛОШАДИ, ДВУХ ПИШУЩИХ МАШИНКАХ,
КОЖАНОГО КАБИНЕТА ИЗ ВОСЬМИ ПРЕДМЕТОВ

Судебный исполнитель
«Вечерняя Красная газета», 1933 год

По мостовой громыхали телеги. На телегах возили товары, даже заводские изделия. Внизу, под телегой, бренчало ведро. Ломовые лошади («ломовые» значит для возки тяжестей) ступали степенно, мощные, толстоногие. Лошадей было много. На улицах пахло конским навозом, мирно-деревенский запах мешался с запахом бензина от машин, которых в городе все прибывало. Шофера носили кожаные перчатки с раструбами. Машины сигналили, трамваи тренькали, извозчики покрикивали, зазывали к себе торговки. Улица была шумной, говорливой, пахучей.

РОСКОНД ПРИНИМАЕТ НА РАБОТУ
ЭНЕРГИЧНЫХ ЛОТОШНИКОВ И ЛОТОШНИЦ

«Вечерняя Красная газета», 1934 год

У ворот дежурили дворники в белых фартуках, с железной бляхой на груди. Летом дворники поливали улицу из кишки, зимой убирали снег и топили его на жаровнях. На ночь дворники закрывали подъезды на ключ, запоздалые жильцы звонили дежурному дворнику в дворницкую. У всех ворот были звонки. В подворотне висели списки жильцов всего дома, кто в какой квартире живет.

Дворники были для нас высшей властью. Они указывали, где можно играть, где нельзя, разнимали дра-

чунов. Они знали нас по именам, наставляли, им были известны наши убежища, и они помогали матерям нас разыскивать.

Осенью надевали макинтоши. Это прорезиненный плащ, серенький, непромокаемый, тяжелый. Вообще одежда была тяжелой. У всех на ногах блестели галоши. Их снимали в раздевалках, в гардеробе и входили в дом без уличной грязи. Боты, галоши, глубокие, мелкие, дамские на каблуках, толпились в передней у вешалки. Внутри они были выложены малиновой байкой. Чтобы опознать свои галоши, владельцы прикрепляли изнутри к ним металлические буквы — свои инициалы. Однажды, в гостях, по наущению хозяйского мальчишки мы тихонько переставили буквы, создав невыразимую путаницу в передней.

Начальники тогда в автомобилях не ездили, разве что самые большие, узнать начальников можно было по большим портфелям, по кожаным коричневым крагам на ногах. Краги блестели, как латы. Над крагами вздувались галифе. Краги застегивались ремешками. У нас в доме жил один такой молодой деятель в галифе и крагах, вызывая наше восхищение этими атрибутами мужества. Может, он и не был начальником, впрочем, как и другие крагоносцы; мы сами наделяли его властью. Мелкое начальство, конечно, старалось утвердить себя, отличить себя хотя бы внешне, наверняка имелось немало таких, обуянных комчванством. А рядом шли в гольфах, в гетрах «недобитые нэпманы». меховые шубы, бобровые шапки уже не считались шиком, вызывали подозрения. НЭП кончился. Очевидно, в 20-е годы толпа была еще пестрее, социальная разнородность была резче. Но и в 30-е кое-что оставалось. Улица была общительнее, была охочей до происшествий, готовой обсуждать, выяснять...

ПО ПИСЬМАМ ЧИТАТЕЛЕЙ

ЗАВ. БУЛОЧНОЙ № 308 ЕГОРОВ ПРИ ПРОДАЖЕ
ХЛЕБА ПОПЛЕВЫВАЛ НА РУКИ ЕГОРОВ ПЕРЕВЕДЕН
В ПРОДАВЦЫ С ОБЪЯВЛЕНИЕМ ВЫГОВОРА

«Красная газета», 1930 год

Существовали кустари, существовал тип «процветающего человека», как точно изобразил его художник. На улице можно было встретить священника в рясе, военного со шпорами, разряженную даму в манто, с

муфтой, ридикюлем, в фетровых ботиках и рядом рабфаковку или рабфаковца в юнгштурмовке, перетянутого ремнями. Эти ребята попадались все чаще, в руках учебники, связанные ремешком. Ботинки с обмотками казались в те годы одеждой несовременной, но уважаемой. Их носили от бедности, однако бедность эта была пролетарской, в ней не было стыдного. Щегольство началось несколько позже. Но в первые месяцы войны обмотки вызывали у нас, новобранцев, ярость, столько возни они причиняли, такая военная негодность была в них. Всеми правдами и неправдами спешили мы сменить их на кирзовые сапоги.

В школе, в старших классах, мы щеголяли в полосатых футболках, носили брюки клёш, тупоносые ботинки «бульдоги». Бытовали слова, которые сейчас не услышишь: очаг (детский сад), гопник (хулиган), лишенец (лишенный избирательных прав), стахановец, шамать, шамовка, жироприказ (квитанция на уплату за квартиру), заборная книжка (по которой давали продукты). Говорили «голкипер» вместо «вратарь», «аэроплан» вместо «самолет», «кинематограф» вместо «кино».

Вечернее время в семье проводили вместе: в лото, например, играли всей семьей, газету читали вслух, радио вместе слушали, на детекторный приемник ловили Ленинград. Приемник был с пружинкой, которой надо было коснуться кристаллика, — выпрямляющее устройство. У соседей появился ламповый приемник. На черной эбонитовой панели имелось множество ручек, больших и малых, — черные, круглые с белыми делениями — вариометры, выключатели, рубильники. На ламповые приемники ловили Москву. Их можно увидеть в Музее связи вместе с бумажными тарелками первых репродукторов.

Трамвайщики сохраняют трамваи тех лет — с открытыми площадками, с резиновым шлангом сзади (это называли «колбасой»). Цепляясь за нее, катались бесплатно мальчишки (их звали «колбасники»).

На углу сидели чистильщики сапог, стучали щетками по подставке. Чистильщики были ассирийцы, уса-тые, веселые.

Со стремянками ходили маляры, с книгами — книгоноши. С большой железной бочкой ездили по окраинам керосинщики. Они становились на перекресток

и трубили в рожок. Керосин привезли! Из подъездов выбегали хозяйки с жестяными бидонами...

Трубили в фанфары пионеры. Кричали газетчики, торговки, извозчики... Утром перекликались заводские гудки. По праздникам далеко разносился благовест, далеко и высоко, на самых верхних этажах слышен был колокольный перезвон Спасской церкви. Во дворе мерно звенела пила... Город был куда шумнее, чем нынче. Шумный, дымный, пыхтящий.

С Литейного моста открывался вид на Выборгскую сторону, всю в черных полотнищах заводских дымов. Тогда это было красиво, сегодня показалось бы безобразным. Так же как безобразными кажутся нам двери коммунальных квартир, увешанные перечнем звонков — кому сколько: три, четыре, два коротких, один длинный и так далее. Несколько почтовых ящиков, на каждом наклеены заголовки газет и фамилия владельца. В 30-е годы такие двери воспринимались как нечто нормальное, нормальным был и весь быт коммуналки: множество электросчетчиков, расписание уборки мест общего пользования, общий телефон в передней и исписанные вокруг него обои, понятие «съемщик».. В больших коммунальных квартирах происходили собрания жильцов, выбирали квартуполномоченного. Дверь коммунальной квартиры следовало бы тоже поместить в наш музей со всеми ее наклейками, ящиками, звонками. Такие двери скоро исчезнут, и мы спохватимся, потому что прошлое — это происхождение, бытие поколений, в том числе и бедность, которая связана с историей народной и которая достойна того, чтобы не прятать ее, не стыдиться. Да я и не знаю, что в истории народной жизни следует замалчивать, — наверное, ничего, потому что вся история должна принадлежать народу.

На праздники в витрине часового магазина в нашем доме электролампочки обертывали красной бумагой и выставляли портреты вождей, увитые хвоей. Флаги вывешивали и в такие даты, как Февральская революция или 18 марта — День Парижской коммуны. Вывешивали картинки с фотографиями парижских баррикад и героев Коммуны.

Попасть на демонстрацию, дойти до Дворцовой площади было радостью. Мы шли, пели, выкрикивали ло-

зунги, мы проклинали происки лорда Керзона и славили Стаханова, Бусыгина, Марию Демченко, мы знали имена первых ударников первых пятилеток лучше, чем имена киноартистов, поэтов, певцов.

У ворот нашего дома остановился первый советский автомобиль «НАМИ». Вокруг него собралась толпа. Шофера качали. Автомобиль выглядел хлипким, по сравнению с «фордом», но зато он был советский! Потом появились «эмки». И появились длинные американские «линкольны» с гончей собакой на радиаторе. Новое появлялось отовсюду, стремительно. Рабфаки, ФЗУ, техникумы... Реконструкция требовала инженеров. Кадры, кадры — вузы перешли на непрерывную работу. Заводы тоже перешли на непрерывку. Всюду устанавливали радио, появился пинг-понг, проводились школьные реформы. Но эта часть жизни не обозначена вещами и предметами обихода...

В витринах парикмахерских стояли бюсты красавиц в париках и молодых людей, модно стриженных под «бокс», «полечку», «полубокс». В парикмахерских не только стригли, но и брили. Кроме того, в витринах парикмахерских выставляли портреты приезжающих в город на гастроли артистов. Например, певицы Липковской или джаза Цфасмана. Рядом с этими парикмахерскими пестрели вывески магазинов: ЛСПО, ОРС, кооператив ЗРК (то есть Закрытый Рабочий Кооператив), РОСКОНД, МОЛОКОСОЮЗ, ТОРГСИН, к магазинам тянулись очереди. Длинные хвосты очередей стояли за пальто, за сахаром, за сапогами, за макаронами, за чулками. На дефицитные вещи давали ордера, но и по ордерам были очереди. В очередь становились с ночи. В очередях стояли семьей, сменяя друг друга.

У очереди были свои законы, свой быт, свой жаргон, свой контроль, свои верховоды... Ах, эти очереди, сколько часов, дней простояли в них наши родители, доставая нам самые обыденные по нынешним временам вещи. Стаканы и чашки, калоши и ситец, кепки и картошку. Сколько слез и огорчений доставалось им: кончилось перед самым носом, не хватило. Образовались специалисты «втираться» без очереди, ловкачи-скандалисты, а то и умельцы стоять одновременно в двух, трех очередях.

Очереди отнимали силы, часы, недели, но было это неотъемлемой частью жизни тех лет. Наверное, бесчестно делать вид, что это несущественно, нетипично, что, мол, не это характерно для тех лет.

К портрету молодого человека 30-х годов следует, как правило, пририсовать значки. Их висело по несколько на пиджаке. У каждого свой набор. Значки МОПРа, общества «Друг радио» (ОДР), «Друг детей» (ОДД), «Долой неграмотность» (ОДН). Были даже общество «Долой рукопожатие», «Общество смычки города с деревней». Ну, разумеется, ОСОАВИАХИМ — его значки, увеличенные, вешали на дома, когда весь дом вступал в члены общества. Все эти общества сыграли свою роль, работали активно, и членство в них — это я помню по работе отца — было совсем не формальным.

УСТАНОВЛЕНЫ КОЛОНКИ ДЛЯ ВОДОПОЯ ЛОШАДЕЙ
ПЯТНАДЦАТЬ КОЛОНОК ПО СЛЕДУЮЩИМ АДРЕСАМ ..

«Красная газета», 1930 год

У рынков стояли телеги, возы, к лошадиным мордам были подвязаны торбы с овсом. Лошади жевали, потряхивая торбой. Зимой по городу ездили на санях. Извозчики на санях. Ломовики на санях. Сани шипели железными полозьями. Кроме прочего на них возили неведомую ныне поклажу: лед. Для ледников. Обозы зеленых параллелепипедов льда двигались от набережных. Посреди Невы рубщики вырубали из скованной реки ледяные глыбы. Лед был чистый, яркий, крепкий — не чета нынешнему. Потому не чета, что промышленные стоки были куда меньше, река замерзала ранее нынешнего и замерзала разом, ровным полем, без торосов. По ее ледяной, запорошенной глади всю зиму шло катание на лыжах. Ходили на лыжах до самого залива и дальше по заливу. Мы подкатывались на лыжах к ледорубам, смотрели, как ловко, до черной воды, отрубали куски зеленого льда и грузили скользкие льдины на сани.

23 ФЕВРАЛЯ БУДУТ ПРОИСХОДИТЬ ТОРГИ НА НАБИВКУ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ ЛЬДОМ

«Вечерняя Красная газета», 1930 год

Летом в тележке мороженщика я видел осколки этого льда; на нем крутился, скользил бачок с розовой пастью земляничного мороженого.

Встречались на улицах молочницы, крепкие, краснощечие тетки, тащили большие бидоны молока, корзины с творогом. Они приезжали каждое утро из пригородов и разносили молоко по квартирам. На улицах можно было встретить нищих, сидящих с протянутой рукой. Беспризорники болтались возле рынков, у толкучки, среди скопления народа; улица была хоть и пестрее, разнообразнее, но в целом еще плохо одетой и обутой.

ПРОДАЮТСЯ ЛАКИР С ЗАМШЕЙ № 42.

ТЕЛ № 24-56 С 6 ВЕЧ.

«Красная газета», 1930 год

Чтобы вылечить и вымыть
Старый примус золотой,
У него головку снимут
И нальют его водой.
Медник, доктор примусиный,
Примус вылечит больной,
Кормит свежим керосином,
Чистит тонкою иглой.

В этом детском стишке «Примус» Осипа Мандельштама сегодня мало что понятно юноше читателю. Начиная с названия «Примус». Непонятно, почему золотой, зачем снимать головку и что это за головка, что это за профессия — медник, что он чистит иглой...

Между тем примус — это эпоха; выносливая, безотказная, маленькая, но могучая машина. Примус выручал городскую рабочую жизнь в самый трудный период нашего коммунального быта. На тесных многолюдных кухнях согласно гудели, трудились примусные дружины. Почти два поколения вскормили они; как выручали наших матерей, с утра до позднего вечера безотказно кипятили они, разогревали, варили немудреную еду: борщи, супы, чай, каши, жарили яичницы, оладьи. Что бы там ни говорилось, синее их шумное пламя не утихало долгие годы по всем городам, поселкам, в студенческих и рабочих общежитиях, на стройках... Теперь, выбросив примуса, мы не хотим признавать их заслуг. Скорее всего из-за того, что в нашей памяти примус связан с теснотой переполненных, бурливых коммуналок, кухонными ссорами, бедностью... Все так, но примус-то чем виноват? Конечно, судя по нынешним мер-

кам, доставлял он немало хлопот. Разжечь его требовалась сноровка: надо было налить в чашечку денатурат, поджечь, спирт нагреет головку, тогда надо накачать, и пары керосина уже образуют шумный венчик пламени. Ниппель головки засорялся. Его прочищали специальной иглой. Портился насос. Перегорала головка...

Имелись керосиновые лавки. Там, в цинковых чанах, плескался желтоватый керосин. В бутылках продавали лиловый ядовитый денатурат. У поэта примус золотой потому, что он делался из латуни и, начищенный, сиял во всю мочь. Существовала целая сеть obsługi примусного хозяйства: ремонтные мастерские, медники, запчасти... Примусов-то пылало в стране сотни тысяч. После появления газовых плит, электроплит они отступали, отдавая город за городом, и сейчас примуса остались лишь для походной жизни туристов.

А были еще тихие керосинки. Они горели, как керосиновые лампы, но пламя их шло не столько на свет, сколько на подогрев. Керосинки вели себя смиренно. Примус, тот мог взорваться, керосинка только виновато коптила и пахла керосином.

Примус и самовар по своему нраву казались родственниками. Самовар тоже было непросто разжечь. Ему нужны были лучины, угли, шишки. Труба, которую в городе вставляли во вьюшку. Зато когда он разгорался, то начинал урчать, шуметь, насвистывать, пар бил из него, а кипяток вырывался разъяренный, аж захлебываясь от гнева. За самоваром тоже надо было следить в оба: он не взрывался, но мог распаяться, тогда отваливался краник, никла труба, блестящие бока его чернели. Он не мог жить без воды. Интересно, что самовары возродились как электрические. Возродились и керосиновые лампы, хотя от них осталась лишь форма, а внутри горит электрическая лампочка. Впрочем, свет ее можно уменьшать, увеличивать, как это было у настоящих керосиновых ламп.

...Я любил следить, как одевается в гости отец. Это была целая процедура, все равно как лошадь запрягать. Рубашки отца имели пристежные воротнички. Для удобства. Воротничок пачкался, его меняли. Воротничок надо было пристегнуть спереди и сзади. Для этого имелись специальные металлические пристежки. Я помню

рубашки отца — две серые и белую. Свои не помню, а его рубашки помню. В уголках воротничка были петельки, сквозь них продергивалась металлическая держалочка, чтобы галстук не сбивался. Концы галстука тоже прикреплялись к рубашке специальным зажимом. Манжеты тоже бывали пристежные. Кроме того, они скреплялись запонками. Вся эта мелочь амуниции хранилась у отца в деревянной коробочке, и почему-то эти невидные предметы, похожие на насекомых, я помню и на вид, и на ощупь. Помню всю его одежду: кальсоны с завязками, треух, белое трикотажное блестящее кашне, парусиновые туфли, чищенные мелом, сандалии. Однажды его премировали бурками. Белые, отороченные кожей, с отворотами, роскошные бурки напоминали средневековые ботфорты. Отец стеснялся их надевать, и они стояли как украшение. Я уверен был, что все помню из отцовских вещей, из немудреного его гардероба. Но вот недавно коллекционер старых вещей, Иван Александрович Фоминых, случайно в разговоре вспомнил металлическую решеточку, которую носили на ручных часах, и меня жаром обдало. От чего? Да от счастья: сразу вспомнились отцовские часы с этой решеткой. Нет, конечно, что-то было связано с этим счастливым, дорогое. Я увидел большую отцовскую руку в рыжих волосиках, я брал ее и смотрел, как там за решеткой, такая, бежала секундная стрелка. Часы были переделаны из карманных на ручные. Стекло на них большое, и его защищали стальной решеточкой. Но было что-то еще, связанное с часами, с этой решеточкой. Куда-то мы шли, шагая с ним по шпалам. Шли долго, далеко, и что-то с нами приключилось дорогой... Траченный временем, но все же выплыл этот прекрасный день из тьмы...

«Для этого я и собираю старые вещи,— сказал мне Иван Александрович Фоминых.— Люди вдруг что-то вспоминают. Запах или цвет. Что-то открывается, и человек на несколько минут возвращается в детство. Рыбалка, допустим, мать, дядя — мало ли что, и получается прилив радости. Обязательно хорошо, потому что и в печали той, детской, есть потребность. Прикоснуться к ней приятно».

У него собрано обширное хозяйство старых механизмов, пишущих машинок всех марок, мотоциклы,

граммофоны, первые счетные машины. Он постоянно устраивает выставки во Дворцах культуры, в клубах: «Комната учительницы до революции», «Мастерская механика начала века». На острове Голодай в старом доме у него есть квартирка, которая, в сущности, представляет музей быта. Две ее комнатки, кухня и передняя — все набито старыми вещами. При входе висят на вешалке картузы, цилиндры, стоят старинные сапоги, на стенах кружки для пожертвований, первой модели электросчетчик, и далее уже не счесть, не пересказать. Тут и альбомы, и копилки, и подсвечник, сделанный из турецких пуль, старые дореволюционные пеналы, поварешки. Электрическая лампочка — у нее на самой макушке острый стеклянный носик. Картонка — круглая, большая коробка, в ней хранили женские шляпки:

Дама сдавала багаж:
Диван, чемодан, саквояж,
Картину, корзину, картонку...

На носу у дамы было пенсне со шнурочком. Что-то узнаешь, чему-то удивляешься, а иногда такие радостные встречи происходят, как будто самых близких друзей увидел, которых и живыми-то не числил. Они толпятся, напоминают о себе, позабытые знакомцы, спутники детских игр, друзья дома, друзья твоих родителей...

Целое сборище ножей для разрезания книг: металлические, деревянные, костяные. Сейчас все книги выпускают с разрезанными страницами, а тогда многие книги были как бы закрыты. В самый разгар повествования страницу перевернуть было невозможно, ее надо было разрезать, и это нетерпение, треск разрезаемой бумаги составляли цепь перерывов сладостных и досадных, которые входили в работу чтения. Книга проверялась: неразрезанные страницы свидетельствовали о скуке, о книге никчемной, а может, непонятой.

Я чуть не вскрикнул, увидев коллекцию переводных картинок, тех самых, которые я выменивал, добывал... Эта квартира набита воспоминаниями. Фоминых собирает их и хранит в виде старых вещей, которые он добывает по разработанной им системе. Вызывает про дома, предназначенные на капитальный ремонт. Людей рас-

селяют, и они наконец решаются расстаться со старыми вещами. Большинство даже пользуется случаем избавиться от барахла. Для Фоминых это барахло — сокровища. Он знакомится на улицах с бабками, оставляет им свой телефон: может, захотят что отдать. «Не выбрасывайте, не уничтожайте старое, — твердит он, — старое не значит ненужное, не значит бессмысленное, лишнее».

Зимой 1981 года, будучи в Западном Берлине, я пошел на выставку «Вещи и товары 50-х годов». О выставке этой ходило много разговоров, попасть на нее было трудно. Устраивал ее «Музей культуры XX века».

Под выставку отвели какую-то квартиру на верхотуре обычного дома. Мы приехали в девять вечера. В комнатах еще теснился народ. Выставка напоминала лавку уцененных и подержанных товаров 50-х годов. Пластмассовые обручи — что это такое? А, да это хулахуп! А что это? Господи, они не знают что это — хулахуп! Его же вертели во всех странах, как ошалелые дергая задом, вертели мальчики и матроны, на эстраде и во дворах, хула-хуп! Но джинсовые ребята посмеивались над глупейшим занятием их родителей. А посмотрите на эту пластмассовую вазу, лебедино изогнутую, на пластмассовый сервиз — тогда их считали чуть ли не шиком. Ха, что за автомобили, какие дурацкие формы. Боже мой, рубашки с отложным воротничком — и это считали красивым, какая безвкусица! Киногерои в таких апашах, с зализанными проборами — до чего ж у них идиотский вид, им только и сидеть за тонконогими столиками, на этих креслицах, где пол застлан линолеумом, это у *них* считалось роскошью, эпоха Мерилин Монро и первых пылесосов.

Играла музыка тех лет — буги-вуги и прочее старье. Пластинки тяжелые, бьющиеся. Иголки надо сменять. Молодые посетители веселились, примеряя на себя шляпы, пальцем показывали на игрушки тех лет: Бемби, слоненок Джумбо или герой приключенческих фильмов — Ник Книтертон с трубкой и клетчатой кепкой (а у нас когда-то были в моде сыщики — Ник Картер и Нат Пинкертон). Все, что здесь было: платья, кошельки, кофточки, чашки, кинозвезды, игры, бестселлеры, — все вызывало хихиканье, гогот. Некогда красивое превратилось в пошлятину, модное — в безвкусицу,

дорогое — в дешевку, избранное — в мещанство, в кич. Почему именно 50-е годы породили такую безобразность? Не десять, не двадцать отдельных вещей, а каждая смешила, одна безобразнее другой, порождала выскомерие, в лучшем случае — снисхождение к примитивности папаш и мамаш, которые могли восторгаться изделиями из пластмассы, могли вешать в своих комнатах красоток, сделанных рельефом на меди, то, что у нас называлось медной чеканкой. Они потешались, не зная о том, что синие их джинсы появились в эти 50-е годы. Что джинсы были тогда восстанием, так же как восстанием был рок-н-ролл, то есть «качаться и крутиться», то есть свобода движений в танце. Примерно тогда же их мамы стали надевать брюки, это была уже революция. Тем не менее мамы и папы — посетители постарше — смущенно переглядывались. Они чувствовали себя сконфуженно. Далеко не все из этих 50-х покрылось пошлостью, стало смешным и уродливым. Неужели именно 50-е годы выделились из всех прочих? Почему? Ведь когда-то эти вещи казались желанными, с какой радостью покупали этот ужасный пластмассовый торшер в виде лилии. Ради него могли выбросить бронзовую лампу со стеклянным абажуром. Выйдя из моды, вещь теряет престиж, она действует против хозяина. «Вот он какой отсталый, э-э-э, да он, по-видимому, лишен вкуса, а может, у него и денег нет купить модное...» И хозяин спешит избавиться от вещей, уличающих, принижающих его. Пройдет еще лет сорок-пятьдесят, и для бывших детей, которые росли под этим торшером, он обретет трогательность. Если они, конечно, где-то встретят его. Неужели, однако, он кроме милых воспоминаний способен тешить ласковой прелестью старины? Сегодня, глядя на него, представить это невозможно. И тем не менее это происходит из века в век. Модное, дорогое становится дешевым, теряет привлекательность, покрывается налетом пошлости. Со временем пошлость переходит в уродство, оно растет и делается смешным. Затем забавным... Удивительным... Любопытным... Романтичным... Дорогим... Иногда для этого нужны десятилетия, иногда века. В живописи есть похожие примеры. Картины Беклина, более всего «Остров мертвых», в репродукциях и копиях висели в начале века повсюду: и в Германии, и в России. Пока не стали обозначением

мещанского вкуса. Тогда они исчезли. Начисто исчезли. Теперь, спустя три четверти века, в этом модерне появились красота и романтика. Беклина смотрят с удовольствием, так же как Шишкина.

Бьет час, и старую, никому не нужную трость принимают в антикварный магазин. Ставят рядом с когда-то обыкновенным сундуком и тумбочкой. Вдруг оказывается, что старинные вещи похорошели, среди них не видно уродцев. Медный выключатель 20—30-х годов уже стал соблазнительно мил, в парижских витринах выставлены новенькие старинного вида телефоны в деревянных коробках, какие висели на стене довоенного сельсовета.

Я бы поместил в музей лакированных розовых коней с каруселей, всю пестроту вывесок магазинных, рыночных, кустарных мастерских; коврики с лебедями и замками, клеенчатые коврики, расписанные рыночными художниками...

Вещи могут вернуться. С прошлым не стоит окончательно прощаться. Детство рано или поздно напомним о себе. Дело не в ностальгии. Мы возвращаемся к детству за добром, нежностью, за радостью дождя и восторгом перед огромностью неба. Конечно, вернуть те чувства нельзя. Зеркала беспамятны. Из их глубины не извлечь былых отражений. Зеркала не стареют, стареют их рамы. Память должна разрешиться воспоминанием, как мысль словом. Ей нужны слушатели, бумага с пером, наконец, какой-то предмет. Она должна на что-то натолкнуться, от чего-то отразиться.

Город 30-х годов. За ним последовал город войны, блокады, город 40-х годов, тоже чье-то детство. Сегодняшний Ленинград когда-нибудь окажется трогательным и наивным, расцвеченным колдовским туманом детских воспоминаний. Какими предстанем там мы, взрослые и пожилые? Как подсмотреть будущие воспоминания? Незаметно, украдкой детская память творит их из наших слов, наших улиц, из нас самих. Они могут выплыть благодаря какой-нибудь ерунде — песенке, подстаканнику, в пыльной невнятице случайных находок, через десятки лет. Зеркала будущего отразят вещи нашего обихода с праздничной растроганностью. В музее отживших вещей наш потомок наткнется на мотоцикл, сверкающий древним никелем, положит руки на

рогатый руль... Смутная грусть передастся ему от извечной невозможности понять ушедшее.

Город 30-х годов сохраняется памятью бывших мальчишек и девчонок. В этом заповеднике он акварельно обольстителен. Там всегда сияет желтое солнце с толстыми лучами и идут демонстрации. На самом деле этот город не был так хорош, но есть в нем черты узнаваемые, неповторимо пылкие. Воодушевление и зов... С тех пор прошло полвека. Город стал куда красивей, богаче, поздоровел, раздался в плечах. Почему же мы вновь и вновь вглядываемся в его облик, отыскивая в нем прежде всего то, совсем не такое уж благополучное и тем не менее счастливое, прошлое?..

БРАТЯ ЕЛИСЕЕВЫ

Магазин «Гастроном» на Невском, у Театра комедии, до сих пор называют Елисеевским. Всегда так называли, сколько себя помню, — «к Елисеевскому», «у Елисеева». Никакие события не могли избавить ленинградцев от этой привычки. Так же как Невский продолжали называть Невским, хотя на табличках появилось «Проспект 25 Октября». Так же как Литейный Литейным. И в Москве гастроном на улице Горького тоже остался Елисеевским. Коренной ленинградец, я-то знал, что «Елисеевский» происходит от бывших владельцев братьев Елисеевых. Кто они такие — понятия не имел. Кроме Елисеевых помнились еще Филипповские булочные, Апраксин двор, Зингер... Сохранилось с моих детских лет, когда еще не могли отвыкнуть от старых названий, от владельцев, зарекомендовавших себя. Были еще «братья Чешурины», «Конроди», «О'Гурнэ»... Следующие поколения нэповские названия забыли, оставили только Елисеевский, наверное потому, что сохранился сам магазин, сохранился и в Москве, и в Ленинграде, причем, что интересно, удерживал все три четверти века первенство, как главный магазин обеих столиц. Оставался к тому же самым красивым, роскошным магазином. Его нарекали «Номер один», «Центральный», но он оставался Елисеевским. Последующие реконструкции, безвкусные, неумелые, не могли до конца истребить его первозданной красоты. Высокий, в зеркалах, отделанный мрамором, изразцом, огромнейшей витриной своей, он и внутри, и снаружи до сих пор отличается от всех других магазинов. Гастрономами можно было называть все эти новые, и старые, и самые новые универсамы, стандартные, достаточно безликие торговые точки, магазин же у Театра комедии язык не поворачивался назвать гастрономом,

он оставался Елисеевским, долгое время он сохранял первенство и в смысле разнообразия продуктов. За стеклом его отделов как-то особо аппетитно выглядели колбасы, сыры, отличались разнообразием вина, было множество сортов конфет, с каким-то умением и вкусом продавцы выкладывали в плетеных корзинах фрукты. Елисеевский — это была марка, качество... Придется тут остановиться, поскольку не об этом рассказ. А о том рассказ, как однажды раздался телефонный звонок, и женский голос, молодой, чистый, спросил, нельзя ли повидаться со мной, не заинтересует ли меня история Елисеевых, тех самых, бывших владельцев, и их потомков, я, такая-то, внучка Елисеева... Несмотря на завалы срочной работы я согласился, и сразу. Сработало исконно питерское, но не любопытство, а та приверженность старому городу, которая не дает покоя ленинградцам тем больше, чем больше огорчений приносит им город нынешний.

В назначенный день и час мы встретились с Анастасией Григорьевной Елисеевой. Она оказалась отнюдь не молодой, и даже не средних лет, но затем все двинулось вспять, она стала как бы молодеть, возвращаться к своей прежней красоте, к своему звонкому голосу, и темперамент, с каким она повела свой рассказ, и энергия ее лишней раз доказывали, что молодость — это никак не возраст.

Передо мной лежали документы, старинные фотографии, вырезки. Она принесла огромный юбилейный альбом в честь столетия фирмы Елисеевых, где были представлены все филиалы фирмы, служащие, рабочие, 1813—1913 годов. Купеческая, торговая Россия появлялась несколько иной, чем мы привыкли читать и видеть у М. Горького или А. Островского, — деловые мужчины, умные, степенные лица. Цеха, техника, прилавки.

История елисеевского дома началась с одного застолья у графа Шереметева — так повествует семейная легенда. На этом застолье, зимой 1812 года, гости дивились свежей крупной землянике, и так нахваливали ее, и так расспрашивали хозяина, что он приказал позвать садовника, мастера выращивать в морозы такую ягоду. Им оказался Петр, сын Елисеев. Граф решил отблагодарить его, спросил, чего бы тот пожелал; разумеется, Петр Елисеевич попросил себе вольную. Граф должен был сдержать слово, и вот к лету того же года пришел в Петербург ярославский мужичок Петр Елисеевич.

Стал торговать с лотка, сам тем временем приглядывался к столичным порядкам и вскоре открыл лавочку у Полицейского моста. Называли ее Елисеевская лавка. Место было бойкое, торговля пошла. К 1821 году Елисеев, человек предприимчивый, смекалистый, занял уже магазин, склады, ввозит из-за границы партии вин, становится известным оптовиком. Репутация порядочного, честного купца сопутствует ему. Малограмотность не помеха, торговые операции он проводил умело и оставил своим трем сыновьям в наследство вполне солидное торговое предприятие. Сыновья хорошо продолжили дело, торговля расширилась. С 1843 года братья Григорий и Петр Елисеевы стали именовать свою фирму «Братья Елисеевы», и с этого времени она обрела, как писал журнал «Нива», «известность во всем торговом мире».

Фирма начала с капитала в 7,8 миллионов рублей. За короткое время благодаря трудолюбию и коммерческому таланту Г. П. Елисеева фирма установила отношения с крупнейшими торговыми домами Европы — французскими, английскими, немецкими, итальянскими, испанскими. Для перевозки вин и «колониальных товаров» Г. П. Елисеев обзавелся собственным флотом — быстроходные с хорошей грузоподъемностью пароходы. Елисеевы приобрели винные подвалы на острове Мадера, так же в Бордо, Хересе, Опорто. Оборот ширился; в середине прошлого века, еще до отмены крепостного права, эта петербургская фирма создала себе мировую репутацию прежде всего своей точностью и «торговой корректностью». Ее ставили в пример как надежного партнера. Были годы, когда фирма скупала за рубежом весь урожай ряда винодельческих районов Франции. В Петербурге один за другим выстроены были обширнейшие винные подвалы; помимо виноторговли росла и торговля фруктами, кофе, кондитерскими изделиями, сырами. Строились собственные цеха конфетные, рыбных изделий. Ввозились продукты из всех стран мира. С 1903 по 1913 год было уплачено только пошлин государству 11 миллионов рублей! Так развернулась лавочка бывшего крепостного Петра Елисеева.

Признаюсь, я понятия не имел о подобных международных размахах русских торговых фирм. Ведь наверное Елисеевы были не исключением. Например, в Петербурге они считались вторыми после Апраксиных.

Когда Г. П. Елисеев умер в 1892 году, фирмой стали заправлять его сыновья Александр и Григорий Елисеевы. Впоследствии единоличным руководителем фирмы стал Григорий Григорьевич Елисеев, дед Анастасии Григорьевны. Он достойно вел дела, стал развивать отечественное виноделие, закладывал плантации в Крыму.

Что меня интересовало в деятельности фирмы, так это размах ее благотворительных дел. На Большой Охте было построено огромное здание благоустроенной богадельни, рядом церковь «во имя Казанской божьей матери», великолепный храм в византийском стиле, к сожалению снесенный в 1929 году.

Все три елисеевских магазина — в Петербурге, Москве, Киеве — построенные к 1906—1909 годам, для того времени представлялись явлением невиданным в России; может, не только в России, судя по прессе, нигде в Европе не было еще ничего подобного по размаху, удобству, комфорту, по ассортименту товаров и, наконец, по культуре обслуживания.

Я просматриваю юбилейный альбом, принесенный Анастасией Григорьевной, старые фотографии, отлично выполненные, показывали просторные вспомогательные цеха магазинов, склады, подвалы, ледники. Конфетные цеха, варку карамели. Передо мною, как в анатомическом атласе, открывались внутренности этого могучего организма, то, что обеспечивало его силу, ассортимент, качество товаров, первенство в борьбе за покупателя. На огромное хозяйство работали свои мастерские, транспорт, гужевой, автомобильный, по-видимому на высоком для того времени уровне техники; может быть, даже фирма в этом смысле лидировала. Она чувствовала себя все уверенней на международном рынке. В 1912 году Елисеев предложил своему старшему сыну Григорию Григорьевичу взять миллион, плюс неограниченный кредит и отправиться в Америку, в Соединенные Штаты, чтобы открыть там сеть елисеевских магазинов. Уже под силу было вступить в соревнование с заморской торговлей, хватало и капитала, и опыта, а главное, технологии, чтобы показать преимущества елисеевских магазинов. Кто знает, как развернулись бы Елисеевы, если бы старший сын (отец Анастасии) согласился. Но он в то время кончал Военно-медицинскую академию по специальности хирурга, был увлечен медициной и наотрез отказался ехать в Америку. «Мое дело лечить людей, это мое призвание, а не торго-

вать», — доказывал он отцу. Второй сын учился на востоковеда, третий на юриста, четвертый на инженера, пятый еще был мал... Ни один не пожелал идти работать в фирму, по стопам отца. Сказалось то отношение, которое господствовало в те годы среди русской интеллигенции к купеческой, а заодно и к промышленной деятельности. Смотрели свысока, пренебрежительно на всех этих тит титычей, толстосумов. Как только ни поносили молодую русскую буржуазию: Молох-кровосос, буржуи проклятые; добро бы народ, но запевалами были писатели, и поэты, и журналисты, никак не приветствуя новый класс. Хотя история именно русского искусства многим обязана таким торговым людям, как Мамонтов, Третьяков, Морозов, Бахрушин, Юдин, Алексеев...

Как-то мне достался футляр с грамотой, пожалованной одному русскому изобретателю «Обществом содействия успехам опытных наук имени Х. С. Леденцова». Грамота роскошная, отпечатанная золотом, но кто такой Х. С. Леденцов, узнать было нельзя ни в одной энциклопедии. И только недавно опубликованы были материалы об этом замечательном вологодском купце, промышленнике. Его стараниями был создан «Музей содействия труду», затем в Москве это самое общество. Он внес анонимно сто тысяч рублей на помощь изобретениям и исследованиям, впоследствии завещал свое огромное состояние этому обществу. С 1909 года общество это начало действовать под руководством Совета, в который вошли крупнейшие ученые России. Оно помогало Н. Жуковскому, К. Э. Циолковскому, П. Н. Лебедеву, И. П. Павлову, Д. И. Менделееву. Конечно, всякие были купцы и промышленники, но вот были и такие, подобные Христофору Семеновичу Леденцову.

Далеко не все хищничали, плутовали — наоборот, поняли уже, что выгоднее хозяйничать добросовестно, строить разумно, на века, будь то фабрика, дом, мост. Дорожили честью, добрым именем, основывали больницы для бедных, приюты, народные университеты. Мы мало что знаем о промышленниках, заводчиках, банкирах тех предвоенных лет, а были среди них люди яркие, талантливейшие, с заслугами немалыми... Тот же Елисеев определял детей своих служащих в училища, старых служащих пристраивал в дом призрения, построенный специально фирмой. Конечно, главной его заботой оставалось преуспевание торговли. В одном только Петербурге было уже построено им семнадцать много-

этажных доходных жилых домов; в Орловской губернии — конный завод, в Крыму разведены виноградники, огромные плантации, где культивировали лучшие сорта. Наверняка глава фирмы нашел бы в большой семье своей преемника, заставил бы, прельстил, да и сам он еще был в полной силе, но тут вмешалось нечто иное, сила, можно сказать, высшая — глава фирмы влюбился. И до этого известны были его увлечения, то прославленной певицей, то актрисой; новый же роман, однако, отличался страстью нешуточной. Его любовь была супругой довольно крупного ювелира, так что ее, может, и не следует подозревать в корысти. Позднюю эту любовь — а Елисееву было много за пятьдесят, имел уже внуков — не могли остановить ни дела, ни семья. В конце концов дошло до того, что Елисеев явился к жене своей просить развода. Любые отступные деньги предлагал, она не соглашалась. Она тоже была, судя по всему, женщина с характером незаурядным, дочь владельца пивоваренных заводов, привыкшая управлять большой семьей; она, видно, продолжала горячо любить своего мужа. «Ни за какие деньги любовь свою не продам!» — заявила она и пригрозила покончить с собою. Елисеева это не остановило. Он ушел к своей «авантюристке», как окрестили ее в семье. Жена бросилась в Неву — ее спасли. Вскрыла себе вены — опять спасли. С тех пор ее не оставляли одну. Дети дружно осудили отца. Все это происходило в 1914 году, буквально накануне первой мировой войны. Старший сын Григорий отказался от роскошной двенадцатикомнатной квартиры, подаренной отцом, снял скромную квартиру, по средствам врача; братья переехали вместе с ним. Скандал разрастался, в те дни все столичные газеты судили-рядили об этой истории, в которой безвыходно сшиблись любовные страсти. Грянула война, но и она не могла разорвать намертво сцепленного треугольника. Признаюсь, давняя эта любовная трагедия плохо вязалась с привычными представлениями о коммерческом человеке, у которого главное в жизни — стремление к наживе, расчет, а тут война, распад семьи, уход детей. Россию трясет. Сына Григория отправили в действующую армию. Нет, ничто не могло образумить Елисеева, ничто не пересиливало его безумного безумия. И для брошенной его жены — тоже.

Сколько сил потрачено было на получение дворянского звания. Как блюли добропорядочность семьи, ще-

петильную честность в делах, в обращении с клиентами и наконец добились: пожаловано было личное дворянское звание Г. Елисееву, главе фирмы, и торжественно украшены гербом ворота его дома. И вот все насмарку, под откос, все в распыл, ничего не жаль, все в жертву любви своей.

Для брошенной жены все стало тоже ни о чем; ни в детях, ни в доме утешения не находила, белый свет померк, жить нельзя, и умереть не дают.

Как Елисеев упорен был в своей страсти, так и она упорна была в отчаянье. Однажды исхитрилась, улучила момент и на полотенцах повесилась. Так узел был разрублен ценой ее жизни. Все сыновья, похоронив мать, публично отказались от наследства, а отец спустя две недели после погребения жены обвенчался со своей любовницей и укатил с ней в Париж.

С того времени внучке Настеньке постоянно внушали, что дед такой-сякой, нехороший, и — внушили. Вошло это в плоть и кровь. До сих пор она не может одолеть той детской неприязни и осуждения.

После Февральской революции уезжают за границу Сергей Елисеев — востоковед, затем Николай — юрист. К 1917 году из Елисеевых в Петрограде остается самая младшая, Мариэта. Ей было 17 лет. Вскоре после революции она обвенчалась со своим женихом Андреем, молоденьким юнкером; его через месяц арестовали, поскольку юнкер, и он погиб на барже вместе с другими юнкерами. Мариэта осталась одна, беременная, Григорий еще не вернулся с фронта...

— Но, может быть, эта часть вам уже не интересна? — прерывает себя Анастасия Григорьевна.

Со школьных лет усвоено мною, что история всякой буржуазии кончается с революцией, — так мы привыкли воспринимать прошлое, времена царской России, начисто отрубленные Октябрем. Так нас учили — все начинается заново после революции, счет идет с нуля, как от Рождества Христова. Черта была подведена, но жизнь людей не прервалась, она могла лишь продолжаться, и жизнь Елисеевых тоже продолжалась.

— Нет, нет, что вы, очень интересно, — говорю я решительно.

Анастасия Григорьевна наверняка понимает, что это всего лишь вежливость, но ей надо досказать, для нее дальше-то и начинается самое главное. Грустное по-

вестование о наследниках со всеми злоключениями, которых мы наслушались вдоволь за последние годы.

В 1918 году отец Анастасии Григорьевны вернулся с фронта. Поселились на квартире у крестного, в одном из елисеевских домов на Фонтанке. Отец пошел работать хирургом в больницу, и зажили, не печалась, не горюя о потерянном богатстве, жили, как все питерцы в те годы, бедствуя, как все, радуясь, как все. Такое отношение к своему положению было в те первые годы Советской власти довольно типично. Так А. А. Любищев, сын крупного домовладельца, совершенно спокойно отнесся к потере наследства после революции, «даже с облегчением», любил повторять он. Русская интеллигенция, та, что приняла революцию, принимала подвижнически, готовая жить «по справедливости, вместе с народом и для народа». Жена Григория Елисеева, мать Анастасии, тоже из состоятельной семьи — Хамеров, ведущих свой род от петровских немцев, она тоже легко и просто приняла условия новой жизни.

Так они жили до 1934 года, до убийства С. М. Кирова, а затем отца Анастасии и дядю Петю схватили, как Елисеевых, и выслали в Уфу. Никакой вины у них не было, кроме того, что это Елисеевы, сыновья того самого. Неважно, что они отреклись от отца, отказались от имущества, неважно, что сделали они это до революции, важно было другое — они Елисеевы, то есть сыновья, то есть по своему происхождению принадлежат к классу буржуазии. А от происхождения не отречешься. В то время уже существовал, укрепился вопрос во всех анкетах: твое социальное происхождение? Из мещан, из дворян, из священнослужителей, из буржуазии, или из рабочих и крестьян. То есть из какого ты класса. Это все определяло, потому что у нас классовое общество, в котором идет борьба классов, борьба эта обостряется, в ней нет места состраданию, пощаде, поскольку перед нами оказывается не жена, не ребенок, не заслуженный врач, а представители враждебных классов. И тут ни при чем талант, заслуги — все качества отринуты классовой принадлежностью. Социальное происхождение было как тавро, клеймило человека навсегда. Он рождался с этим самым происхождением и никуда не мог от него деться. Социальному происхождению придавалось значение генетическое. Примерно так действовала проблема арийского или неарийского происхождения в гитлеровской Германии.

В Уфе Г. Г. Елисеев устроился в медицинский институт. Очевидно, он был не только выдающимся хирургом, но и блестящим лектором, аудитории у него были переполнены, студенты по окончании курса преподнесли ему какую-то особую чернильницу. Любовь студентов, она зачастую вызывает настороженность, а тут особенно — кто такой? оказывает влияние? Высланный! Последовала команда. Уволили. Пошел в больницу хирургом. Там тоже он быстро отличился, завоевал популярность. Беда его была в том, что он был слишком хорошим хирургом. Так что из больницы его тоже уволили — не годится, чтобы сосланный, да еще из бывших, подавал пример своей работой.

Пришло письмо из Франции от отца, просил прощения; сын не мог простить и не ответил.

А в 1937 году явились и взяли его. И младшего Петра Елисеева тоже взяли. «Перед уходом отец обнял маму, поблагодарил за всю их жизнь, и распрощались; сказал, что больше уже не увидимся. Через несколько дней взяли и маму».

Он был прав, больше они не увиделись.

Анастасия Григорьевна писала прошения, хлопотала, однажды даже пробились к «самому Бочкову, который был прокурор после Вышинского». Она помнит огромный кабинет, на другом конце человек за столом что-то писал, поднял голову, кивнул и сказал: «Знаю, знаю, ваш муж тяжело болел и умер». «Я про отца», — сказала она, ничего не понимая. «Ах да, да, это ваш отец», — сказал он.

Только потом она сообразила, что ни в какие бумаги он не смотрел, нигде не справлялся. А к матери ей удалось съездить в лагерь в 1939 году. И дядя Петя умер в лагере. Мариэта умерла в Москве...

Что же было с главой дома? Он благополучно жил до 84 лет во Франции и скончался в Париже в 1942 году. Похоронен он на русском кладбище св. Женевьевы под Парижем, там же появились могилы его сыновей Николая, затем Сергея, их жен. Они так и не примирились, не простили отца. Анастасия Григорьевна, будучи в Париже, приходила на это кладбище к своим дядям. Отца-то могилы на родине нет; ни точной даты смерти, ни места захоронения, ничего не известно. Здесь среди русских могил ухоженного этого кладбища хорошо горюется, вспоминается, можно постоять перед деревянными крестами деда и его «обольстительницы», своих

дядей и теток; все словно бы вновь сошлись одной семьей, примиренные этим кладбищем. Ей вспоминается семейный склеп Елисеевых, что был на Охте у церкви, примерно на том месте, где сейчас Красногвардейская площадь.

Во Франции дядья ее преуспели, один стал известным японистом (теперь сын его тоже востоковед), другой дядя проработал юристом. Она вспоминает, как отца ее командировали перед первой войной в Германию, в клинику, и как он вернулся раньше срока — наскучило на чужбине; как отца уговаривали в годы гражданской войны уехать на юг, а братья уговаривали уехать за рубеж...

— Вот как получилось, — заключает она недоуменно. Я понимаю невысказанный ее вопрос, один из тех вопросов, на который не ждешь ответа, но от которого невозможно отвязаться до конца дней.

Отпрыски рода Елисеевых ныне живут во Франции, в Швейцарии, в США, никто из них не знает почти ничего о своих предках, не интересуется ими. Одну лишь Анастасию Григорьевну мучает, не дает покоя история своей родословной. Может быть, потому, что она единственная сегодня, кто помнит и знает хотя бы краешек того, что скрыто за горизонтом революции. А может, то чувство долга перед памятью отца, так жестоко обездоленного судьбой. Очнулось ощущение прошлого, утаенного, запертого за семью печатями. Тот повальный интерес, который ныне, в конце восьмидесятых, охватил всех... Впрочем, не всех. Как-то перед поездкой к родным во Францию Анастасия Григорьевна, по нашему обычаю, стала готовить гостинцы. Чем можно порадовать заграничных людей, кроме надоевших матрешек и ложек. Первое, что приходит в голову, — русской черной икрой. Тоже не ново, но, по крайней мере, всегда деликатес. Да разве достанешь? Кто-то надоумил ее зайти к директору Елисеевского магазина. Она отправилась и простодушно изложила свою просьбу: так, мол, и так, хочется из Елисеевского магазина привезти потомкам... Директор безучастно кивал, потом сообщил, что помочь ничем не может, ибо дефицит идет по списку для заслуженных товарищей и имеющих на это право. Тут Анастасия Григорьевна стала предъявлять ему ветхие удостоверения о своей медали «За оборону Ленинграда» — она ведь блокадница, — медали «За трудовую доблесть», «За победу над Германией» и прочие почет-

ные справки, скромный набор, накопленный десятилетиями, проведенными на сцене, фронтовыми поездками, гастролями, с которыми моталась по стране, отрабатывая свои сто двадцать рэ актерской зарплаты. Что могли значить эти бумажки для директора, необозримое могущество которого Анастасия Григорьевна вряд ли признавала? Можно предположить даже, что документы эти своей обыденностью произвели на него совершенно обратное впечатление, потому что он вдруг с мягкой усмешкой спросил: «А чем вы можете доказать, что вы та самая Елисеева?» Вопрос был, конечно, неотразим, Анастасия Григорьевна растерялась, директор развел руками, тонко улыбнулся — так-то вот, любезная, ничем помочь не могу.

Она привела этот случай, смеясь, как забавный анекдот: впервые призналась, что внучка Елисеева, ради баночки икры, и то вот опозорилась.

Самоирония прелестное, редкое в нашем обиходе качество. Анастасия Григорьевна с легкостью подшучивала над собой, над своими промахами и над заслугами. Глядя на нее, стало жаль этого директора, упустившего счастливый случай, который однажды представился ему. И впрямь «мы ленивы и нелюбопытны». Ну, безразличие к людям — это мы уже проходили, но безразлично ему и происхождение этих витражей, причудливых светильников — магазин, где он работает! — высоких шкафов красного дерева, панелей, всей отделки, исполненной в стиле модерн начала века, бронза и дерево; после тщательной реставрации это сейчас заблистало во всей красе. Для таких людей, как тот директор, нет прошлого, впрочем, так же как и будущего. Это почасовики — распространенная порода временщиков, они появляются и исчезают, не оставив о себе ни сожаления, ни памяти. И сами они чувствуют свою временность, мимолетность, ни к чему не прилепляются душой.

Фотографии на толстых картонах старинные, коричневатые, сепией; фотографии фронтовые, любительские, пожухлые, театральные, в костюмах Баядерки, Марицы, — молодые, белозубые, поющие, полные движения, музыки. Фотографии заграничные цветные, там пальмы, незнакомые улицы; пожилые женщины за столиком — это заграничная родня. Среди вороха снимков внимание мое вдруг зацепил один — там Анастасия Григорьевна стояла вместе с сыном в воротах дома. В их

позах не было случайности. Они стояли посреди темного проема ворот, и что-то это все должно было означать, какой-то неведомый замысел — «Я здесь стою и не могу иначе»... Может, ведомый только ей, Анастасии Григорьевне, потому что это она настояла, чтобы они снялись у этого дома, бывшего елисеевского дома на Васильевском острове. Наверху, над ними, на дуге подворотни различался герб с буквами «ГПЕ». Простенький герб пожалованного личного дворянства: «Григорий и Петр Елисеевы», фирма «Братья Елисеевы». Чудом сохранившийся герб над чудом сохранившейся веточкой когда-то могучего рода. Они пришли сюда, ни на что не претендуя, но и не отрекаясь, и не чувствуя себя виноватыми... Было это за несколько лет до того, как сын уехал в США. Ей хотелось, чтобы на память... Кому — на память? Ей? Нам? Во всяком случае, пока что не ему. Его тогда начисто не занимали эта генеалогия с геральдикой. Он хороший сын, хороший биолог, но это прошлое — зачем оно ему? Он не взял его с собою. Что с ним делать? От этого прошлого, как из черного проема ворот, несло холодом старых бед, материнских страхов, безвестных лагерных могил... Для него это было иное прошлое, чем для матери. Снимок был для нее, для нее он что-то значил — поклон своим предкам, запоздалая дань их жизни, не такой уж бесцельной. Что-то там, в минувшем, стало яснее...

МИМОЛЕТНОЕ ЯВЛЕНИЕ

РАССКАЗ

Я застал его тогда, когда с ним почти не общались. Он жил в Ленинграде, изредка бывал в Доме писателей, то есть заходил, но как-то украдкой, избегая людей; с ним здоровались и с озабоченным видом спешили мимо. Словно чувствовали себя виноватыми. Некоторые сторонились на всякий случай. У каждого имелись свои опасения. Потом, когда мы познакомились, он с присущей ему деликатностью старался снять это чувство. Но оно все равно оставалось. До сих пор оно пребывает у меня среди прочих грехов и угрызений, что накопились за годы нашей путаной жизни.

Может, из-за этой виноватости я продолжал разыскивать стенограмму одного выступления Зощенко, и вот, спустя много лет, раздобыв ее, могу написать о том собрании в 1954 году.

Я уже был членом Союза писателей, но впервые пришел на общее писательское собрание. Как-то оно называлось: навстречу чему-то или о подготовке к чему-то... Этого запомнить невозможно, хотя собрание в тот июньский жаркий день запечатлелось, казалось, в мельчайших деталях, как след в бетонной плите.

Доклад, и прения, и все прочее были увертюрой к тому, что предстояло, а предстояла проработка Зощенко за его заявление на встрече с английскими студентами. Все понимали, что именно из-за этого на собрание приехали из Москвы К. Симонов и А. Первенцев. До этого в газетах заклеили поведение Зощенко перед иностранцами, разумеется, буржуазными сынками, бранили, не стесняясь в выражениях. Отлучали, угрожали, старались превзойти определения, которые употреблял о нем Жданов в своем докладе.

Итак, был июнь 1954 года. Год с небольшим назад умер Сталин, терминология оставалась прежней, монументы Вождя стояли незыблемо, в лагерях продолжали сидеть многие тысячи отлученных от жизни. Все сказанное корифеем оставалось священным. Он покоем в Мавзолее рядом с Лениным в полной сохранности на веки веков. История только готовилась к прыжку. Что-то, конечно, сдвинулось, подобралось, воздух потеплел, где-то подспудно зажурчало, показались проталины. Неведомо как, только что опубликовали эренбургскую «Оттепель», но сразу же на нее накинута стража вечной мерзлоты.

Большой зал Союза был переполнен. Набились приглашенные на экзекуцию — журналисты, газетчики, публика литературных предместий, предвкушающая, возбужденная. Я с трудом протиснулся в проход и так и простоял до конца у стенки.

Докладчик — В. Друзин — бубнил о том, как с каждым годом усиливается все больше и больше мощь советской литературы, увеличивается процент хороших произведений.

Зал в лад ему монотонно гудел, переговариваясь. Примолкли лишь, когда Друзин принялся раздавать нагоняи и заушины — прежде всего по «Оттепели», это полагалось ритуально, затем шли местные нарушители — предупредил Веру Панову за то, что с романом «Времена года» она «пошла не туда», Ольге Берггольц пригрозил за стихи о любви; он поучал и раздавал колотушки, уверенный в своем праве на это. Как же — главный редактор журнала «Звезда», уже выпоротого, умытого, стоящего в строю примерных после знаменитого постановления о журналах «Звезда» и «Ленинград» 1946 года.

Помню, как читал я это постановление на уличном газетном щите на Литейном. Стоял в намокшей от дождя танкистской куртке, еле разбирая печать на темном сыром листе. По солдатской привычке считал, что раз постановили, значит, нужно, зря не будут. Но уж больно яростно ругали, злобились не по размеру: «беспринципный, бессовестный хулиган» — это про Зощенко, и еще покрепче, а про Ахматову почти нецензурно... как будто в самую последнюю минуту заменили на «блудницу». Принял бы и это, если бы не Жданов. Еще

со времен Ленинградского фронта все связанное со Ждановым не шло. Тогда еще запало, что призывал он, требовал, упрекал, а сам ни разу за месяцы блокады на передовой не побывал, во втором эшелоне и то его у нас в армии не видали.

Винили и Ольгу Берггольц, и Владимира Орлова, и Юрия Германа за то, что они *раздували* авторитет Зощенко и Ахматовой, *пропагандировали* их писания. Получалось, что как раз занимались этим лучшие ленинградские писатели, наиболее талантливые, что Зощенко поддерживал и Евгений Шварц, и Михаил Слонимский, и Михаил Дудин...

Прошло семь лет, и грянула эта злосчастная встреча с английскими студентами. Теперь я переживал, болел за Михаила Михайловича: на кой он ввязывается, уж ему-то это ни к чему, и так хватило с лихвой, сколько мучали, мордовали, так нет, зачем-то опять вляпался в эту историю... Примерно так же досадовали многие из знакомых мне писателей. Подождал бы, поостерегся. 1954 год был годом ожидания. Ждали перемен, теперь уже благоприятных. Пришел первым секретарем ЦК Н. С. Хрущев. Что-то происходило, какое-то потепление ощущалось. И вдруг эта новая кампания против Зощенко. Она всех насторожила, напугала. Неужто опять начинается, опять поднимут на борьбу... Кто-то паниковал — какого черта он вылез, не надо было провоцировать, что это только на руку сталинистам.

Мне припомнилось, как у нас на фронте, под Ленинградом в октябре 1941 года, мы дали из орудий несколько выстрелов по немцам и получили втык от начальства — что вы там тревожите противника, вон они какую пальбу в ответ подняли, а у нас снарядов нехватка. Сидите тихо, не провоцируйте.

Суть, как я понял из доклада Друзина, сводилась к тому, что месяц назад, в мае на встрече с английскими студентами, они спросили Ахматову и Зощенко про их отношение к критике в докладе Жданова. На это Зощенко ответил, что с критикой в докладе он *не согласен*. Это ахнуло, как взрыв, посыпалось, затрещало... Ответ его прозвучал во всей западной печати, что было, конечно, «на руку классовому врагу». Как сказал Друзин, поведение Зощенко вообще стало «классовой борьбой в открытой форме».

Правда, его больше классовой борьбы уязвило, что иностранные студенты сфотографировали Зощенко, тогда как никого из других участников встречи не фотографировали.

— И никому другому не аплодировали! — уличающе провозгласил он.

«Не согласен» — это, конечно, и на нас произвело впечатление ошарашивающее — как так сказать, что не согласен с мнением секретаря ЦК!

Доклад Друзина, если чем и запомнился мне, то исключительно тем, что на этом собрании произошло с Зощенко. И то запомнилось потому, что мне все было в новинку. Впоследствии, кого я ни спрашивал, никто не помнил тот доклад, да и самого Друзина уже не помнят на том собрании, помнят одного Зощенко, его выступление. Я же запомнил Друзина еще и потому, что он казался мне фигурой загадочной. Большой, рыхлый, влажный, он производил впечатление значительного деятеля. Что он написал, чем прославился, какими трудами — никто не мог назвать. Я ничего не понимал — почему же в таком случае он командовал журналом «Звезда», почему поправлял, указывал, да еще с такой величавой уверенностью? Почему слушались его?

В нужных местах зал аплодировал, в нужных — возмущался. Все двигалось слаженно. Верноподданные старались показать себя, либералы старались успокоить начальство, пусть видят, что организация «здоровая», «правильно расценивает». Чтобы не усугублять. Будет хорошо, если собрание «даст отпор». Важно для начальства, которое присутствовало. В свою очередь, начальству это было важно для Москвы, для их начальства. Словно бы все старались для кого-то незримого. Еще недавно этот незримый имел имя, существовал, ныне было непонятно, кто он, но ритуал неукоснительно соблюдался.

После Друзина выступали малоизвестные мне писатели и осуждали Зощенко. Говорили про него: «пособник наших врагов», «подобно буржуазным писакам», «холуйское поведение на потребу...», «потерял достоинство советского человека». Я знал, что Зощенко сидит в зале. Где-то в первых рядах. Я не представлял, как можно такое в глаза, прилюдно говорить человеку. Если

б еще в запале, а то произносили это спокойно, по бумажке, с какой-то холодной жестокостью. Поднялось несколько непредусмотренных рук. Вел собрание первый секретарь Ленинградской писательской организации В. А. Кочетов. Он посоветовался с К. Симоновым и предложил: поскольку вопрос ясен, осталось заслушать товарища М. Зощенко.

Зощенко поднялся на сцену. В зале произошло движение, устраивались поудобнее, подались вперед, приготовились.

Я впервые видел Зощенко. Небольшого роста, в темном костюме, коричневатой рубашечке с черным галстуком, очень аккуратный, «справный», как определял наш старшина, напряженно-изготовленный. Узкое его смугловатое лицо привлекало какой-то старомодной мужской красотой. Деликатность и твердость, скорбность и замкнутость соединялись в его облике. Не знаю, каким он был раньше, до всех этих событий, до войны и еще раньше, в годы «Серапионовых братьев», была ли в нем всегда эта холодноватая настороженность.

Рядом с Симоновым, с тяжелым рыхлым Друзиным, с грузным усатым Саяновым, со всеми, кто сидел в президиуме, он выглядел хрупким и слабым. Трибуна закрыла его тщедушную фигурку. Он вынул листки, разложил их, взялся за край трибуны. За ним следили в полном молчании, где больше было враждебного, чем сочувствия. Аудитория была достаточно подготовлена, отвергающий настрой был задан.

Зощенко оглядел лица знакомых ему годами, десятилетиями людей, жадно уставившихся на него.

— Очень трудно говорить в моем положении. — Голос его оказался тонким, ломким.

Стало ясно, что бы он ни сказал, все будет не так: «неискреннее покаяние», «вынужден признать», «разоблаченный в двурушничестве» — обязательно как-то его сформулируют.

— ...Я не умею формально говорить. И на что вам мое формальное признание в ошибках?

А именно это требовалось от него. Ничего больше. Для этого и приехал «сам Симонов» и Первенцев. Пусть формально, но дело надо было закрыть. Пусть сочтут его признание недостаточным, неважно, меры приняты, можно доложить.

— ...Я буду говорить так, как я думаю, только тогда можно полностью понять, что собой представляет человек.

То, что он волновался, было правильно, это могло понравиться собранию, но откровенность, искренность, это настораживало, это могло завести слишком далеко. Говорить то, что думаешь, — этого никогда не требовалось, надо говорить то, что положено.

— Я начну с последних событий. В газете было сказано о том, что я скрыл мое истинное отношение к постановлению Центрального Комитета и не сделал никаких выводов из указаний партии. Я не скрывал моего отношения. Я написал в 1946 году товарищу Сталину, что не могу согласиться с критикой всех моих работ, не все они таковы.

Теперь он читал ровно, спокойно, без всякого выражения, бесцветным голосом. Волосы его были расчесаны на безукоризненный пробор. Чинность его и холодок можно было принять за высокомерие.

— В моем заявлении с просьбой восстановить меня в Союз я написал, что во многом ошибался, делал оплошности, но я не согласен с тем, что я не советский писатель и никогда им не был. Это было основное обвинение и в докладе — именно о том, что я не советский писатель, — и опять повторил четко: — *Не могу согласиться!*

— Зачем подчеркивать несогласие? — прошептал кто-то рядом. — Не стоит.

— Все прошлые семь лет у меня было подавленное состояние и я главным образом занимался переводами с финского. Было выпущено несколько книг, помимо того, я закончил книгу, начатую еще до постановления — о ленинградских партизанах...

Он перечислил рассказы, фельетоны и то, как в последний год начал работать для журналов. Происходил процесс возвращения, медленно, с трудом он оправлялся от того удара.

— Мне казалось, что я крепче и здоровее, а после семи лет, когда несколько ослабели мои нервные вожжи, я проболел несколько месяцев и ощущал чрезвычайную трудность физическую.

Кочетов усмехнулся, переглянулся с Первенцевым, это запомнилось потому, что потом имело место продолжение.

— ...Все же некоторые рассказы и фельетоны мои были не плохи. По одному моему рассказу, как вам известно, был изменен режим продажи водки. Стало быть, не так уж оторваны были мои вещи от жизни, стало быть, я учитывал и принял все указания партии, какой должна быть литература.

Во всех кабинетах еще висели портреты Сталина, еще носили его имя заводы, колхозы, улицы и проспекты, на Первомайской демонстрации несли изображения Ленина и Сталина. Никому и в голову не приходило, что можно как-то покуситься не то что на постановление, даже на доклад Жданова, ибо он был Соратником, ибо доклад был одобрен, положен в основу...

— Да, было немало вещей у меня в прошлом и аполитичных, и безыдейных — это так. Отчасти это была дань давнему времени — двадцатым годам. Я ведь начал работать в двадцать первом году, мой рассказ «Аристократка» был напечатан в двадцать третьем году, тридцать с лишком лет назад. Грех некоторой аполитичности, который, несомненно, в какой-то степени присутствовал, — это существенно. Но сейчас, повторяю, этого нет... Сказано было еще, что я скрыл свое отношение к постановлению. В злополучный вечер с англичанами, о котором идет речь, даже слова не было сказано о постановлении. Речь шла только о докладе Жданова. Именно этот вопрос задали английские студенты: «Ваше личное отношение к докладу Жданова?» На любой вопрос я готовился ответить шуткой. Но в докладе, где было сказано, что я подонок, хулиган, где было сказано, что я не советский писатель, что с двадцатых годов я глумился над советскими людьми, — я не мог ответить шуткой на этот вопрос. Я ответил серьезно, так, как думаю.

Голос его окреп, поднялся. Последние слова прозвучали пугающе. Тишина стала звенящей, словно всем перехватило дыхание.

Зощенко взял листок и отдельно прочитал свой ответ английским студентам, ответ, точность которого, как он сказал, можно сверить по стенограмме.

— Я не согласился с докладом потому, что не согласился с критикой моих работ, сделанных в 20—30-х годах. Я писал не о советском обществе, которое тогда только возникало, я писал о мещанах, порожденных

прошлой жизнью. Я сатирически изображал не советских людей, а мещанство, которое веками создавалось всем укладом прошлой жизни...

Всенародно он утверждал свое явное несогласие. Прямо-таки вызов. Первое открытое несогласие с высшими властями, которое я услышал в своей жизни.

— ...Закончил мой ответ так: сатира — сложное дело. Мне казалось, что я писал правильно, но, может быть, я ошибался. Но так или иначе, все мое литературное дарование я полностью отдаю Советскому государству, советскому народу. Я понимаю, я должен был более четко политически выразиться. Я должен был бы, вероятно, отделить доклад в целом, идейное его содержание и отношение критики к моей работе. Я не видел в моем ответе непатриотизма, ничего предосудительного... А что я мог ответить? Как я мог сказать? Анна Андреевна Ахматова сказала: «Я согласна». У нее были другие обвинения. Вероятно, на ее месте я бы так же ответил. А что я мог ответить, когда меня спрашивают, согласен ли я с тем, что я не советский писатель, что я... подонок?

Меня порадовало, с какой тактичностью он оправдал Анну Андреевну, ее все время противопоставляли ему: вот-де она вела себя достойно, как патриотка, она не заигрывала с этими прохвостами... Постановление связало их, двух замечательных писателей, лучших из тех, что были тогда в Ленинграде. Их постоянно упоминали вместе. На этом повороте пути их разошлись. Зощенко остался один, на него были наставлены все прицелы, все мушки.

— Что я мог ответить?

Вопрос этот вдруг неотвратимо стал передо мной. И перед другими. Перед каждым. Что можно было ответить? Что?.. Соглашаться, какой может быть разговор, ведь это же не чье-то мнение, а слова Жданова, секретаря ЦК, не о себе надо думать, не о своей чести, а о том, чтобы не потакать классовому врагу, не осрамить нас перед иностранцами. У других вопрос Зощенко вызвал мучительный разлад. Только в этот момент я понял, в каком невыносимом положении очутился Зощенко, через какую черту он не мог в тот миг переступить. И сейчас не может, не в силах.

Пытался. Потому что страшно было остаться одному за той чертой, против всех, снова подвергнуться осуждению, снова пройти адовы круги... Сил-то уже не было. Он спрашивал себя, нас — может, этот вопрос был провокационный, продуманная акция?

Он пробовал вовлечь нас в поиски выхода.

— ...И только дома я догадался, что должен был ответить: передо мною юная аудитория, вам двадцать лет, доклад был семь лет назад, что вы можете помнить? Кто из старших вам подсказал задать этот нетактичный вопрос? Вот как я должен был ответить!

— Нет, это не ответ! — тотчас, торжествуя, настигая его, крикнул кто-то и даже привстал, чтобы его заметили из президиума. Я видел лишь его бритый розово-жирный затылок. Загудели вразброд, громче всех те, кто решил, что он хочет увильнуть, и они поймали его на этом. Им даже не нужно было его покаяние, их охватил азарт погони: поймать, ухватить на том, что хочет вывернуться, уличить, разоблачить! Охотничий, беспощадный дух толпы, настигающей, окружающей, торжествовал в зале.

Он словно ничего этого не понимал, продолжал что-то там твердить на своем языке доверия. Он надеялся, что ему удастся перешагнуть через все условности этой гражданской казни. Теперь, когда не стало ни Жданова, ни Сталина, ему казалось, что среди своих товарищей, коллег можно добиться понимания, надо лишь найти слова, надо рассказать все, как есть, открыть свои сокровенные чувства, не может быть, чтобы его не поняли.

— ...Только через несколько дней мне пришел в голову правильный ответ: я должен был с политической точностью отделить идейное содержание доклада и резкую критику его обо мне. Но я не нашелся. Быть может, потому, что не умею политически мыслить... Я не малограмотен по политической части. Нет, я много читал, я читал почти все, что написано товарищем Лениным, я читал двенадцать томов товарища Сталина...

Перечитывая стенограмму, я вспомнил свое чувство досады на него. Не надо было оправдываться, не помогут эти двенадцать томов, не подействуют, он только усугублял; может, надо было говорить с этим залом по-другому, на языке этих крикунов, нахрапистых, наседающих на него.

— ...существует какой-то дефект моего писательского мозга: я не умею мыслить политическими формулами! Они не приходят мне сразу в голову.

Какой же это дефект, когда это особенность, отличие настоящего художника, а то, что мы умеем, научены мыслить политическими формулами, то, что нас натренировали в этом бесконечные собрания, встречи, интервью, семинары, газеты, радио, то достоинство ли это? Слишком часто перед лицом бумаги я ощущаю это как свой недуг, как тяжелый груз времен.

— ...да, это мой промах в том, что я не сразу разобрался в этом вопросе, я ответил не совсем точно, и я готов понести наказание. Я считаю, что в этом я повинен.

— Только в этом? — ехидно выпалил Друц.

Я знал, что это Друц, потому что перед этим он выступал против Веры Федоровны Пановой, поддерживал статью В. Кочетова. Что он за писатель, я не знал, ни про одну книгу не слышал, но выступал он ядовито, яростно, а вслед за ним Неручев, такой же неведомый мне, но активный, ловкий выступатель. На трибуне большей частью появлялись известные, опытные, громкоголосые ораторы, правда как писатели они были менее известны, но это их не беспокоило. Они были равноправные члены Союза, что Панова, что Друц и Неручев.

— ...я знаю, что означает статья, которая порочит меня такими словами, как «скрывал свои истинные убеждения...». Я знаю о затрудненных отношениях с издательствами, надменные взгляды редакторов. — Здесь Зощенко оторвался от бумаги, поднял голову, посмотрел на ряды, и все увидели его. Это был тот самый человек, который много лет смешил всю страну, чьи фразы повторяли, цитировали. В самые тяжелые времена, в самые неприглядные годы он давал возможность людям передохнуть, повеселиться. На всех эстрадах читали Зощенко, хохотали до упаду. Смеясь над чужой глупостью, учились смеяться над собой. Они видели себя со стороны не так, чтобы обидно, потому что автор в общем-то сочувствовал им и печалился о них, они, то есть мы, опознавали пошлость, которую Зощенко, как никто другой, умел обозначить. Маленький человек на трибуне смотрел на нас с такой скорбью, так измученно.

Господи, неужели это он годами был источником смеха и что все здесь сидящие, и тот же Друзин и Друц, всех их он смешил, все они обязаны ему многими часами радости.

Он обвел глазами всех этих людей, голос его напрягся:

— Но все равно! В моей сложной жизни, как это для меня ни тяжело, но даже и в этом случае я не могу согласиться с тем, что я был назван так, как это было сказано в докладе.

Он словно почувствовал облегчение, и зал тоже почувствовал облегчение — и те, кто был против, и те, кто не знал, как вести себя, и те, кто втайне страдали за него.

— Вот уже восемь лет мне трудно, почти невыносимо жить с этими наименованиями, которые повисли на мне, которые так унизили мое достоинство...

И дальше он пунктами зачитал опровержения на каждое из обвинений, предъявленных ему в докладе Жданова. Как я понял, впервые у него была возможность публично *ответить*. Ведь все, что происходило со времен постановления 1946 года, было безответно, на него возводили всякого рода поклепы, небылицы и не давали возможности оправдаться, его обзывали и не позволяли возразить. В глазах же людей выходило, что он отмалчивался.

— Я никогда *не втирался* в редакции, как мне предъявили в докладе. Я не желал *лезть* в руководство. Было наоборот. Кто смеет мне сказать, что это было не так? Я бежал как черт от лаdana от всяких должностей, я умолял, чтобы меня не включали в редколлегию «Звезды».

Про рассказ «Обезьянка», из-за которого якобы разгорелся сыр-бор, он объяснил то, что я, например, и не представлял, во всяком случае для нас, молодых, это было совершенное открытие.

— ...Этот рассказ был напечатан еще в 1945 году в журнале «Мурзилка» для дошкольников. Он был напечатан до неурожайного года, когда даже не могла возникнуть мысль о пасквиле. И *без моего ведома был перепечатан этот рассказ*. Я узнал об этом много позже. Почти фатально сложилось. Да, конечно, я никогда не вынул бы этот рассказ из серии других рассказов и не

дал бы в толстый журнал. Да, в толстом журнале он мог бы выглядеть странно. У меня самого мелькнула бы мысль: что автор хотел этим сказать? Это было действительно для дошкольников написано, и никакого подтекста — я клянусь! — не вложил в него.

По поводу того, что он *окопался* в войну в Алма-Ате, что он *трус*, что *не захотел* помочь Советскому государству в войне:

— Я дважды воевал на фронте, я имел пять боевых орденов в войне с немцами и был добровольцем в Красной Армии. Как я мог признаться в том, что я трус?

Михаил Леонидович Слонимский рассказывал мне, как храбро М. М. Зощенко командовал взводом в первую мировую войну, был награжден двумя георгиями, был отравлен газами, дослужился до штабс-капитана, был ранен, командовал батальоном, получил еще два ордена, а после революции командовал пулеметной командой в Красной Армии.

— Кто здесь может сказать, что я из Ленинграда бежал? Товарищи знают: я работал в радиокомитете, в газете, я начинал вместе с Евгением Шварцем антифашистское обозрение «Под липами Берлина», это обозрение шло во время осады. Они находятся сейчас здесь, в Ленинграде, они живы: Акимов, который ставил спектакли, Шварц, с которым мы писали. Это происходило в августе — сентябре 1941 года. Весь город был оклеен афишами и карикатурами на Гитлера... Я не хотел уезжать из Ленинграда, но мне предложили...

Насчет упреков в отъезде из Ленинграда, много позже, в конце семидесятых годов, когда мы с Адамовичем работали над «Блокадной книгой», нам с документами и цифрами доказали, как важно было вовремя, еще до сентября месяца 1941 года провести массовую эвакуацию ленинградцев. Не сделали этого. Поэтому так много горожан осталось в блокаду в Ленинграде, поэтому так много погибло. Не упрекать надо было, а хвалить тех, кто уехал вовремя. Между тем создали обстановку, при которой уезжать из города считалось позорным. Пагубная эта ложнопатриотическая идея бытовала еще долго после войны. Миллион ленинградцев, которые погибли от голода и обстрела, словно не могли никого переубедить. Вот и для обвинения Зощенко Жданов использо-

вал тот же прием — бежал из Ленинграда! Использовал, пытаясь таким косвенным путем снова как бы оправдать очевидную уже собственную вину в том, что эвакуацию стали по-настоящему организовывать лишь по настоянию ГКО, когда кольцо блокады замкнулось, лишь в конце января 1942 года, когда голодная смерть косила всю.

— ...Я не был никогда непатриотом своей страны. Не могу согласиться с этим. Не могу! Вы здесь, мои товарищи, на ваших глазах прошла моя писательская жизнь. Вы же все знаете меня, знаете много лет, знаете, как я жил, как работал, что вы хотите от меня? Чтобы я признался, что я трус? Вы этого требуете? По-вашему, я должен признаться в том, что я мещанин и пошляк, что у меня низкая душонка? Что я бессовестный хулиган?

Что-то изменилось в состоянии зала. Трибуна поднялась, нависла над рядами. Оказалось вдруг, что Зощенко не обороняется, не просит снисхождения, он наступал. Один против всей организации с ее секретарями правления, секциями, главными редакторами. Против кочетовых и друзиных, которые были не сами по себе, а представляли власть, необозримые силы аппарата, прессы, радио... Его пригласили на трибуну, чтобы публично склонил голову и покался. Никому в голову не приходило, что он осмелится восстать. Тем более ныне, низверженный, растоптанный, кажется, уж чего более претерпевший, доведенный до полного изничтожения. Сил-то у него никаких не должно было оставаться, ни сил, ни духа.

— Этого требуете вы? Вы! — Крик его повис и сорвался.

Взгляд его толкнулся в меня, в каждого. Это была тяжелая минута. Не знаю, сколько она длилась. Никто не шелохнулся, никто не встал, не крикнул: «Нет, мы не требуем этого!» Жалкое это молчание сгущалось чувством позора. И общего позора, и личного. Головы никто не смел опустить. Сидели замерев. Зощенко ждал с какой-то отчаянной, безумной надеждой, потом произнес прыгающим голосом:

— Я могу сказать — моя литературная жизнь и судьба при такой ситуации закончены. У меня нет выхода. Сатирик должен быть морально чистым челове-

ком, а я унижен, как последний сукин сын... Я думал, что это забудется. Это не забылось. И через несколько лет мне задают тот же вопрос. Не только враги. И читатели. Значит, это так и будет, не забылось.

Он медленно сложил листки, сунул в карман. Обвел еще раз одним долгим прощальным взглядом этот зал с богатой лепниной, где развились пухлые гипсовые купидоны, где радужно сияла огромная хрустальная люстра.

— У меня нет ничего в дальнейшем, — ровно и холодно произнес он. — Ничего. Я не собираюсь ничего просить. Не надо мне вашего снисхождения, — он посмотрел на президиум, — ни вашего Друзина, ни вашей брани и криков. Я больше чем устал. Я приму любую иную судьбу, чем ту, которую имею.

Он вышел из деревянной пасти трибуны, он стал словно бы еще меньше ростом, бледно-желтое лицо его было наглухо замкнуто, но сквозь захлопнутые ставни словно пробивался непонятный свет.

Спускался, словно уходил от нас в небытие. Не раздавленный, отнюдь, он сказал то, что хотел. Отныне это будет существовать.

Оказалось, все эти годы проработок, анафем, отлучения ничего с ним сделать не смогли, и как только ему предоставили слово, он отстоял свою честь. Впервые кто-то осмелился выступить против одного из Верных Учеников Продолжателя. Еще не было XX съезда. И слово каждого из них не подлежало сомнению!

...Это была победа. Ясно было, что она дорого обойдется ему. Но цена его не занимала. Его уже ничто не останавливало, впечатление было такое, словно он отплывал куда-то — невесомый, легкий, без привязи, скрепы рухнули, и нечем было остановить его. Те, кто только что угрожали ему изгнанием, смотрели ему вслед с неясным еще предчувствием великой потери...

Раздались аплодисменты. Хлопали два человека в разных концах зала. Аплодисменты были, в сущности, неуместны, можно сказать, нелепы, но все поняли, что в них была поддержка, сочувствие, какой-то протест.

Одного из аплодирующих я увидел, это был писатель Меттер.

Поднялся Кочетов, всмотрелся в зал — кто это позволяет себе, — предупреждающе покачал головой. По-

том он перешептался с Симоновым. Надо было сбить впечатление от речи Зощенко. Друзин сидел, изображая как бы горделивую усмешку. Как будто его позабавил выпад Зощенко, даже польстил ему, как будто получалось, что он, В. П. Друзин, был главным противником, главным обличителем... На самом деле для Зощенко он был символом посредственного, если не сказать бездарного, руководителя.

Сколько этих друзиных, напыщенных, вельможных неведомыми путями пробиралось на редакторские, издательские должности: руководили, указывали, проводили линию, учили нас. Не вспомнить уже фамилий их, когда-то шумных и грозных.

Впрочем, Друзин, этот ортодоксальный, унылый гонитель всякой «крамолы», именно всякой, какую укажут, какую нынче следует, такую и будет выводить, так вот, этот Друзин имел свой секрет. Приоткрылся этот секрет мне случайно. Год спустя после того собрания, с Зощенко, случилось мне ехать в Карелию на съезд писателей. Достался мне билет в одном купе с В. М. Саяновым и В. П. Друзиным. Саянов, человек компанейский, прихватил с собой выпивку, раздобыли кой-какую закуску, и после нескольких чоков Саянов стал читать стихи. Сперва свои, потом чужие. Память у Саянова была редкостная. Читал со вкусом, но самое удивительное было, как он завел на стихи Друзина, и тот тоже принялся читать, да как, куда подевалась его гнусавость, читал звучно, артистично. Завязался турнир, кто кого: они читали Михаила Кузмина, Бенедикта Лившица, Вячеслава Иванова, Цветаеву, Гиппиус, Надсона, Белого, — поэтов отвергнутых, запретных в ту пору, во все мне не ведомых. Читали упоенно, без усталости, я забрался на полку и заснул, сморенный... А днем, в Петрозаводске, на писательском съезде, этот же В. П. Друзин выступал и уныло крошил молодого поэта Марата Т. за формализм, модернизм и прочие грехи.

Фразу «не надо мне вашего Друзина» запомнили крепко. Спустя десятилетия я пытался опрашивать писателей, свидетелей того давнего летнего собрания. Как водится, никто ничего не записал. Воспоминания были смутны, обрывочны. Восстановить по ним текст выступления М. М. Зощенко было невозможно. Но что любопытно, все повторяли мне: «Не надо мне вашего

Дружина!» Запомнили дословно эту заключительную фразу.

Первым взял слово Кочетов. Он тоже старался усмехаться.

— Мы не будем преувеличивать значение того выступления, которое вы выслушали от товарища Зощенко. Не будем преувеличивать всей этой истории, такие истории происходят на паперти церквей. Это было кликушеством, и меня удивляет, кто аплодировал ему, что за люди.

И паперть, и кликушество было грубо, но все равно не действовало, люди медленно оправлялись от пережитого, не слушая его, завздыхали, задвигались, зашептались.

— Это была изворотливая речь...— настаивал Кочетов.— Почти весь Союз писателей возмущался после того, как произошло высказывание Зощенко перед студентами, большинство увидело здесь страшный антипатриотический поступок!

Он говорил убежденно. Он не понимал, почему зал не принимает его слов. Только что «Правда» опубликовала его разгромную статью о романе Веры Пановой «Времена года», его должны были бояться, тон его обрел металлическую звонкость, он был щитом и одновременно мечом разящим. Его действительно боялись, но с этого и началось его расхождение с писательской общественностью, которое кончилось тем, что его провалили на перевыборах правления. Он был уверен, что на него ополчились за его идейную непримиримость, за то, что он борется с «гнилой интеллигенцией». Впрочем, он особо не переживал, мнение массы его мало интересовало, в глазах же начальства он пребывал жертвой, пострадал, отстаивая основы.

Его убежденность меня всегда озадачивала. Приспособленцем, во всяком случае, считать его нельзя. И то, что он сказал дальше, было тоже его искренним убеждением. Почему вы все придаете такое значение выступлению Зощенко и самому Зощенко? Кто такой Зощенко, чего мы носимся с ним?..— таков был смысл его слов. Но они соскальзывали, никого не задевая, даже не возмущая, люди еще находились под сильным впечатлением речи Зощенко и другого волнения не воспринимали. И так и этак пытался он пробить безучастность зала, не мог и тогда рубанул, ожесточаясь:

— Зощенко — это единица, это явление мимолетное!

Ну, был такой, сочинял рассказы на потеху нэповским обывателям, стоит ли о нем жалеть. Что у нас, мало идущих в ногу? Это только враги раздувают из него фигуру.

Но и это не подействовало. Встрепенулись только, когда объявили Константина Симонова. Столичному представителю полагалось выступать в конце, заключать, кого надо подправить, все привести в соответствие с установками, известными лично ему. Выступления Симонова ждали, приехал не просто один из секретарей Союза, а К. М. Симонов, который мог совершать независимые действия, похерить то, что тут наговорили дружины и все остальные, и мнения местных инстанций могли разбиться о его несогласие. На его пиджаке горели ряды орденских планок, на другой стороне лауреатские значки. Тогда было принято носить их. Любимец маршалов и генералов, наш брат-фронтовик. Я смотрел на него с надеждой. С Кочетовым было все ясно, но Симонов-то был настоящий писатель, любимый поэт нашей окопной военной жизни. Он был красив, молодеват, кавказски чернели его маленькие усики. Совсем иная судьба, чем у Зощенко, досталась ему, но объединяла их талантливость, я тогда свято верил в братство талантливых людей, их так мало, так им трудно в одиночку, как же им не защищать друг друга.

Держался он мягко, просто, пожурил снисходительно — что же вы тут, бедолаги-ленинградцы, опять натворили, хочешь не хочешь — приходится порядок наводить.

...Советский писатель, принятый заново в Союз писателей, говоривший о том, что понял ошибки, и нате вам, апеллирует к буржуазным щенкам. Срывает у них аплодисменты.

Я понимал, это всего лишь вступление, так сказать, обязательная передовица, никуда от нее не уйдешь, но дальше он выйдет на справедливость, которая наконец прояснилась.

— Незачем, конечно, делать из этого историю, — как бы поддержал он Кочетова и тут же поднял палец.

И поморщился.

Затем строго постучал по трибуне, предупреждая о непреходящем значении постановления насчет «Звез-

ды» и «Ленинграда»; оно действует, никаких перемен не будет, и дискуссий на эту тему тоже. Что касается вопроса, который здесь поставил товарищ Зощенко, то почему ж на него не ответить, зачем же обходить острый вопрос. Надо работой снимать то, что ты литературный подонок, только работой можно избавиться...

— Мы же недавно напечатали в «Новом мире» его партизанские рассказы, поверили товарищу Зощенко и напечатали. Что же изображать из себя жертву Советской власти? Как вам не стыдно?

Немецкий поэт Стефан Херmlin впоследствии рассказал мне:

— То было еще при Сталине, кажется, в последний год его жизни, у нас с Симоновым зашла речь о Зощенко, и Симонов твердо сказал мне: «Пока я редактор «Нового мира», я буду печатать Зощенко, я не дам его в обиду». Помню, как меня поразила храбрость его высказывания.

У Симонова это бывало: держался, держался и в самый последний момент скисал, не выдерживал давления, а давление на него, конечно, было огромное.

Первую любовь не забываешь, первое разочарование тоже. Не раз потом встречаясь с Симоновым, я убеждался, что благородного, порядочного в нем было куда больше, чем слабостей. Но долго еще присутствовало при нашем общении свернутое калачиком, упрятанное вглубь воспоминание о том собрании. Спросить его напрямую не хватало духу. Да и что он мог ответить? Легко судить тем, кто сидел в сторонке, ни за что не отвечал, домашние чистюли, которые сами ничего не отстаивали, не участвовали, не избирались, не выступали... В те годы деятельность мешала блюсти душевную гигиену.

Однажды при мне к Симонову обратились студенты Ленинградского пединститута с просьбой выступить у них. Он отказался. Как-то излишне сердито отказался. Они удивились — в чем дело, почему? Он пояснил, что это к ним не относится. Вообще не хочет выступать. «Врать не хочу, — запинаясь, сказал он, — а говорить, что думаю, не могу. Вот так». Признание это в какой-то мере приоткрыло тяжкий труд его совести, и что-то я понял, далеко не все, но понял хотя бы, почему прощаю ему так много.

Мне казалось, что это только я, новобранец, так болезненно воспринял это собрание, так глубоко засело оно у меня в памяти. Немало ведь смертельных проработок происходило и в прежние годы в этом же зале. Изничтожали формалистов, космополитов, сторонников Марра, Веселовского, еще каких-то деятелей, отлучали, поносили за преклонение, за связь с «ленинградским делом»... Однако то собрание с Зощенко потрясло и бывалых ленинградских писателей.

...На сцене стоял большой портрет М. М. Зощенко, под портретом корзины цветов. Я открывал торжественное заседание, посвященное его юбилею, и речь у меня не получалась, мешало воспоминание. На вечере выступали Валентин Катаев, Сергей Антонов, Леонид Рахманов, рассказывали о давних молодых проделках «Серапионовых братьев», о вещах веселых, трогательных. Это был тот же зал ленинградского Дома писателей. Наверху, под потолком, резвились гипсовые амурчики, такие же пухлые, кудрявые, нестареющие. Зал был битком набит, стояли вдоль стен, толпились в дверях.

Никого из тех, кто проводил то собрание, не было уже в живых. Почему так бывает, думал я, что, когда приходит время, устыдиться уже некому и спросить не с кого...

Из выступлений получалось, что те известные события доконали М. М. Зощенко и в последние годы он был сломлен, раздавлен. Я пытался показать, что это было не совсем так. Пробовал процитировать его выступление. И тут я обнаружил, что текст, который, казалось, навсегда врезался в память, неразличимо расплылся, осталось впечатление.

После юбилея я обратился в архив, в один, в другой. Стенограммы выступления Зощенко нигде не было. Числилась, но не было. Она была изъята. Когда, кем — неизвестно. Очевидно, кому-то документ показался настолько возмутительным или опасным, что и в архивах не следовало его держать. Копии нигде обнаружить тоже не удалось. Сколько я ни справлялся у писателей — как водится, никто не записал. Понимали, что произошло нечто исключительное, историческое, и не записали по российской нашей беспечности.

Однажды, сам не знаю почему, я рассказал знакомой стенографистке, что тщетно много лет разыскиваю такую-то стенограмму. Моя знакомая пожала плечами —

вряд ли, не положено ведь оставлять себе копии, особенно в те годы это строго соблюдалось. На том кончился наш разговор. Через месяца два она позвонила мне, попросила приехать. Когда я приехал, ничего не объясняя, она протянула мне пачку машинописных листов. Это была та самая стенограмма выступления Михаила Михайловича. Откуда? Каким образом? От стенографистки, которая работала на том заседании. Удалось ее разыскать. Стенографистки хорошо знают друг друга.

К стенограмме была приложена записка: «Извините, что запись эта местами приблизительна, я тогда сильно волновалась, и слезы мешали». Подписи не было. И моя знакомая ничего больше рассказывать о ней не стала, да и я не стал допытываться. Я пытался представить не известную мне женщину, которая тогда на сцене сбоку, за маленьким столиком работала, не имея возможности отвлечься, посмотреть на Зощенко, на зал, вникнуть в происходящее. И, однако, лучше многих из нас поняла, что Зощенко не мимолетное явление, что речь его не должна пропасть, сняла себе копию, сохраняла ее все годы.

ДО ПОЕЗДА ОСТАВАЛОСЬ ТРИ ЧАСА

Они не знали, где тут центр, но спрашивать не хотелось.

Шли куда глаза глядят, разморенные сытным обедом в привокзальном ресторане, глаза на витрины, на незнакомый город, высвеченный легким осенним солнцем.

Последние две недели они работали как проклятые, исправляя всякие недоделки нового пульта. Объект находился в лесу, километров за двести отсюда. Ночевали в переполненном общежитии на раскладушках и теперь, когда все осталось позади, испытывали приятную расслабленность.

Филенков шумно зевнул, он предпочел бы вместо этой прогулки растянуться на скамейке в зале ожидания. Гуреев этого не понимал. Гуреев был молод и любопытен и считал, что надо пользоваться каждым случаем, чтобы осматривать новые места и расширять кругозор.

Перейдя мост, они очутились на людной площади, заполненной экскурсантами, туристскими автобусами. Гуреев отщелкнул футлярчик фотоаппарата и принялся снимать площадь, выложенную белыми плитками, и Филенкова на фоне какой-то башни. Потом Филенков фотографировал его, потом попросил проходившую мимо девушку щелкнуть их обоих. Девушка эта, в круглых черных очках, в модно расшитой куртке, выглядела совершенно недоступной, и Гуреев с любопытством наблюдал, как уверенно Филенков заговорил с ней. На заводе Филенкова считали сухарем, малообщительным, угрюмым, у женщин успеха он не имел. Сейчас самого Филенкова несколько удивила собственная развязность. С ним давно этого не бывало. Гуреев подстрекающе толкнул его в бок, и Филенков все с той же уверенностью, даже лениво-нахальной, попросил показать им

город. Осматривать город он не собирался, куда с бóльшим удовольствием прошелся бы по магазинам, но удержаться он уже не мог. Ему приятно было щегольнуть перед Гуреевым своей удачливостью.

Надменность, с которой эта девица оглядела их, нисколько его не смутила. Он лихо, заговорщицки подмигнул ей, и она вдруг фыркнула, сняла очки, и глаза у нее оказались голубенькие, в коротких желтых ресничках.

— Поля,— представилась она, протянув пряменькую, щепочкой, ладонь.

Она повела их в узенькие старинные, мощенные булыжником улочки с каменными тумбами, настенными фонарями. Дома здесь не имели подъездов. Во дворах цвели громадные лопухи. Поддразнивая Гуреева, Филенков взял Полю под руку. Уютный, теплый сгиб ее локтя почему-то располагал Филенкова к шуткам, и все шутки у него получались, ему помогала какая-то веселая беспечность, терять было нечего: да — да, нет — нет. Он даже подумал, что вот ничем не отягощенная, неизбежная краткость таких знакомств и привлекает женщин. Так было всегда, со времен входящих в город эскадронов улан или гусар, всяких путешественников, купцов, а сейчас их заменяют командированные люди, и он с Гуреевым тоже вроде гусар. Гусары-телемеханики. Он рассмеялся.

— Что вы?— спросила Поля.

— Так.

— Смешинка в рот попала? И совсем вы не слушаете меня.

Они шли кривой улочкой, где узкие, стиснутые дома дышали друг на друга кухонным чадом. Варились щи, жарился кофе, пахло тушеным мясом, луком, в чреве домов вкусно урчало, шипело, и Филенкову нравилось различать эти запахи, и было приятно, что он — грузный, лысеющий, которому уже за сорок,— удачливее молодого, пижонистого Гуреева.

Улочка непредвиденно виляла. Филенков загадал, куда она выведет. Почему-то он представил не площадь, не проспект, а каменную арку и за ней — угол белого собора. Теперь они шли гуськом. Гуреев — впереди, за ним — Поля и Филенков. В подворотне розового дома одна створка ворот была притворена. Гуреев остановился, рассматривая кованые узоры ворот.

— Художественная работа,— сказал он.— Что значит старые мастера!

Его круглое личико с длинными рыжеватыми баками показалось Филенкову напыщенно смешным.

— А канализации небось нету,— сказал Филенков.— Уборная во дворе. Старина, брат, хороша в музеях.— И он усмехнулся Поле.

Она с готовностью согласилась.

— Давайте я вам лучше новый выставочный зал покажу.

— Вот это правильно,— сказал Филенков.

Улочка еще раз свернула и внезапно оборвалась низкой каменной аркой. Сквозь ее полукружье Филенков, замирая, увидел острый угол, вернее, уступ собора. Расположение, вся картина точно сходилась с тем, что Филенков загадал. Правда, собор был не белый, а желтый с коричневым, но все равно такого совпадения быть не могло. Он видел это где-то, когда-то он видел это место...

— Спасский собор,— сказала Поля.— Его восстановили. Когда я в школе училась, мы тут шампиньоны собирали во дворе.

«Да, да,— повторял про себя Филенков,— Спасский».

Он осторожно посмотрел влево: вниз под гору сбегал переулочек, усыпанный палым листом, и там в конце холодно блестела река. И это он тоже знал. Он видел это, казалось бы, впервые, и тем не менее знал, что тут есть улица, которая спускается к реке.

— Да, да,— произнес он вслух.

— Что это с вами?— спросил Гуреев.

— Подожди,— буркнул он.

Они о чем-то заговорили между собой, Поля и Гуреев, а Филенков растерянно оглядывался, ничего не понимая.

Внезапно его лицо, шею охватило жаром: господи, да ведь он жил здесь! Когда-то. В детстве. Название этого города вдруг совместилось с полузабытыми рассказами матери. Родители привезли его, когда ему было полгода, и они жили тут с год, а то и больше. Мать, еще девушкой, часто жила здесь у родных, и здесь произошел ее роман с отцом: они случайно встретились. Она была совсем девчонкой, а отец был женат — сколько ж ему было? Он бросил свою семью и остался с ней, нет, не то, он увез ее. Или остался? А потом, когда родился сын,

они приехали сюда и поселились, затем что-то произошло с матерью, отец запил. Затем еще что-то случилось, и они уехали отсюда и больше не возвращались. Что же случилось, что-то очень важное, — когда родители вспоминали об этом, отец брал мать на руки, и они чему-то смеялись. «Кошкины вы дети!» — кричал дядя Тетя... Господи, ведь был же дядя Тетя, пузатый, перепоясанный ремнями старик.

Филенков ужаснулся тому, что только сейчас вспомнил этого человека, который без конца с ним возился, сразу вспомнился его огромный мягкий живот и как они ползали по его животу вместе с Ленкой. О Ленке он тоже никогда не вспоминал, она умерла совсем маленькой... Беззубый рот... И голубенькие глазки, как у Поли.

Он всматривался в соседние дома, как бы примериваясь. Если это место сохранилось в памяти, значит, они жили где-то здесь, поблизости, может, на той кривой улочке, и там еще остались люди, которые знали его родителей. Но как их найти? И спросить не у кого. Когда-то, давным-давно, пришло письмо о смерти тетки, маминой сестры. Кажется, отсюда пришло. А может, и не отсюда. Сейчас не вспомнить. Ему всегда было это ни к чему...

Он стоял, боясь пошевелиться, — смутные, зыбкие фигуры каких-то родственников, отцовских друзей появлялись перед ним, еле уловимые очертания, чьи-то пахнувшие тмином губы, чья-то холщовая косоворотка с орденом, высокие белые бурки... Может, кто-то из них еще жив, но он, Филенков, никого не знает, все они потерялись в его детстве. Не осталось ни одной фамилии. Как же это так, ведь было же столько народу, всегда в доме шумели, пели, кто-то ночевал, спали на полу, на стульях, откуда-то приезжали какие-то военные, какие-то полярники в длинных блестящих шубах...

Поля дернула его за рукав.

— Что же вы, ругали старину, а сами оторваться не можете, — подколола она и хихикнула, и Гуреев тоже усмехнулся.

— Вот и не угадали, — рассердился Филенков, — я совсем о другом размышляю, пора снести эти развалюхи. — И тотчас стало стыдно, он не мог понять, зачем он врет, зачем он идет с ними в этот выставочный зал, вместо того чтобы остаться здесь.

— Вот мой дом, — показала Поля.

— Ваши родители живы? — спросил Филенков.

— Конечно.

— А они всегда здесь жили?

— Нет, раньше мы жили за мостом, а еще раньше — где-то на хуторе. Не знаю, я была совсем маленькая. А что?

Филенкову нечего было ответить, и он похвалил выставочный зал, оттуда они спустились в кафе, долго сидели там. Филенков томился, не понимая, чего ради он тут сидит, почему не может встать, вернуться к собору, спуститься к реке. Все равно они через час уедут, и вся их игривая болтовня с Полиной лишена смысла.

— Я ведь тут жил, — вдруг сказал он. — Когда был маленький.

Они посмотрели на него и почему-то засмеялись.

— Как же вы забыли? — без интереса спросил Гуреев.

— Начисто, — смущенно сказал Филенков.

Гуреев и Полина переглянулись.

— Да, бывает, — сказал Гуреев снисходительно. — Постфактум.

— При чем тут... а впрочем, это как в одном анекдоте... — И Филенков стал рассказывать старый анекдот, рассказывал он плохо, у него уже ничего не получалось, он злился, стараясь вернуть тот легкий, беспечный настрой, и не мог.

По дороге к вокзалу Филенков сказал:

— Вы идите, я вас догоню.

Он свернул в магазин, переждал и, когда они скрылись, поспешил к собору. Времени оставалось в обрез. Вдобавок путаница переулков увела его в сторону. Колокольня собора, освещенная вечерним солнцем, выныривала то слева, то справа. От быстрой ходьбы у него закололо сердце. Лицо вспотело, он видел кончик своего носа — тускло-белый, парафиновый, понимал, что следует передохнуть, но не останавливался — будь что будет, так ему и надо... Глупо все получилось, на кой черт ему эта выставка, надо было не торопясь, одному осмотреть дом за домом на кривой улочке... Теперь уже поздно.

У собора стояло такси, Филенков сразу сел в машину и попросил водителя немного постоять.

Он снял кепку, вытер пот, без особого чувства посмотрел сквозь пыльные стекла на каменную арку, на спуск к реке, ожидая, что снова что-то внутри приоткроется, начнут появляться другие забытые подробности.

Но он слышал лишь, как громко кровь стучала в голове, а снаружи, обгоняя этот стук, бешено тикал счетчик такси. Ничего не отворялось, и он понимал, что вряд ли подобное когда-либо с ним повторится. Теперь хотелось немногого: всего лишь узнать дом, где они жили. Кажется, там был каменный колодец. А может, он путает... Он взглянул на часы.

— Поехали...

И закрыл глаза. Как глупо, глупо, повторял он, сколько раз он мог приехать сюда с матерью, пока она была жива. Ничего не стоило приехать, она бы показала и этот дом, и колодец, и все остальное... Кто знает, может, это что-то изменило бы в его жизни. Ему казалось, что он стал бы лучше, больше бы в нем сохранилось от отца.

Впервые он ощутил как потерю годы, не заполненные тоской по матери, воспоминаниями детства. Прошное никогда не занимало его, он выбрасывал его, как выбрасывают старые календари, прошлое было бесполезно, имело смысл заниматься только будущим.

Теперь, когда он попробовал вернуться назад, там оказалось пусто. Все заглохло, заросло, не осталось никаких следов. И это непоправимо — вот что ужасно.

На перроне вдоль мокрых, только что обмытых синих вагонов прогуливались Гуреев и Поля. Рука Гуреева лежала у нее на талии, он наклонялся и что-то шептал, прижимаясь к ее щеке.

Вокзал был старый. Стеклянные своды темнели в вышине несмываемой копотью. Висел бронзовый колокол. Филенков представил, как мать здесь провожала отца, они так же прогуливались, и мать боялась, не верила тому, что он вернется. Почему-то он никак не мог вообразить их обоих молодыми, а видел странно: отца — молодым, с браво закрученными усиками, а мать — седую, с распухшими ногами. От этого сочетания его томила жалость к ним, особенно к матери.

И вдруг он почувствовал, как любит мать. То есть любил. Нет, именно любит так, как прежде не любил. Сейчас любит, когда матери нет и ничего исправить нельзя. В том-то и тоска, что ничего не изменишь, и запоздалое это чувство будет только напрасно саднить душу, — он все это понимал и в то же время боялся, что оно — это чувство — пройдет.

В поезде Гуреев со вкусом рассказывал, как Полина приглашала заходить, когда они еще раз приедут, дала телефон и вообще... если бы времени было побольше...

— Но лично я предпочитаю новые места,— заключил он.

Филенков лежал на полке, прислушиваясь к своему сердцу. Боль уходила медленно, неохотно. «Беречь себя надо, беречь»,— думал он.

...Когда в следующий раз нужно было проверить новую серию пультов, Гуреев упросил послать их не на прежний объект, а под Новгород, там монтировали большой комбинат на берегу Ильменя и можно было хорошо порыбачить. Филенков не возражал, тем более что он никогда не бывал в тех местах.

1971

...И тут вдруг он перестал слышать, что говорит Усанков. Басовитый, раскатистый голос отдалился, неразличимо вошел в звук работающего мотора. Произошло это, когда они свернули на Фонтанку, въехали в белую ночь. Оказывается, в городе уже наступили белые ночи. Между гранитными стенами набережных покоилась сияющая полоса воды, она была светлее, чем небо. Вода была серебряно-гладкой, неподвижной, от нее шел свет. На набережной никого. Теплынь. Все замерло, только на мостах бесшумно перемигивались светофоры.

Зелень в этом году распустилась рано. Лета еще не было, а было то счастливое время, когда все согревается — дома, реки, земля; когда все очистилось, отмылось от зимы и приготовилось...

Как всегда, в пору белых ночей Сергей Игнатьевич испытывал душевную сумятицу, так бывало и в молодости, и сейчас — тоска оттого, что вот еще одна прекрасная весна уходит, и печаль, и восторг от этого негаснущего высокого неба, когда свет льется не поймешь откуда, легкий, белесый. Все украшения, выступы на фасадах проступают четко и без теней. Каждая мелочь как будто специально высвечена. Красота эта не могла быть просто так, она должна была чему-то соответствовать в жизни Сергея Игнатьевича Ильина, но ничего в этой жизни не происходило. Жизнь его размеренно катилась, подрагивая на стыках лет и давно уже пропускала мимо ушей эти неясные призывы. В студенческие годы он, не будучи в силах заснуть, долго бродил по светлым набережным, выходил на Фонтанку, на Неву, встречал таких же одиноких, растревоженных белыми ночами прохожих. Ждал, что с ним что-то произойдет. Кого-то он встретит, кто-то обратится к нему, что-то

не поймет, или откроется что-то поразительное. Ничего такого не произошло, и теперь уже ясно, что ничего не произойдет. Ему еще не было пятидесяти, когда-то молодое студенческое время выглядело смешным, теперь же — милым, романтичным. Все годы оно отдалялось, стиралось из памяти и лишь теперь остановилось, даже стало приближаться. «Признак старости», — подумал Сергей Игнатьевич и поехал медленнее, чтобы Усанков тоже мог любоваться белой ночью. Усанков был московский начальник и приятель Сергея Игнатьевича.

Только что они увлеченно обсуждали, как лучше употребить материалы, полученные сегодня Усанковым от бывшей жены их шефа. С мстительной памятью она сообщила, какие он брал подарки, что преподносил другим, какие ковры, шкатулки, отрезы; не стеснялся брать деньгами. Глухие толки о Ф. Ф. Клячко ходили давно, прежде всего он славился своим невежеством. Дошел до замминистра под девизом — «А зачем мне это нужно?». Ничего нового не пускал. из-за него КБ Ильина год за годом латало старую технологию, кидало мелочовку, верняк. Его терпеть не могли, и боялись, и поносили заглазно. Единственным, кто решился на борьбу с ним, был Усанков. Действовал он скрытно, со всеми предосторожностями, поскольку Клячко был хитер и безжалостен. И вот подвалило, повезло. Усанков не мог успокоиться — прохвост, лицемер, ловчила, хапуга, жулик... Немалый свой набор Усанков обогатил еще словарем бывшей супруги шефа, которая дала подробные определения его мужским качествам, а также гигиеническим сведениям, накопленным за годы совместной жизни.

— Копаться в этой грязи противно, — признавался Усанков. — Но ведь иначе не достанешь Клячко. А здесь его ахиллесова пята, здесь мы его ухватим.

Сергей Игнатьевич кивал, говорил: «Надо так надо», «Ну и ну, кто бы подумал, вот ведь подонок», но все это машинально, как машинально следил за дорогой, переключая скорости. Чувства же его были заняты этими светлыми пустынными улицами. Ему хотелось остановиться, побыть в тишине, услышать, как течет вода... Вместо этого он должен был вникать в борьбу, затеянную Усанковым, быть на его стороне, сочувствовать ему.

Окна верхних этажей слепо блестели. Нигде не горел свет. Женщина в платке стояла на одном из балконов и смотрела в небо.

Вдруг он подумал, что с тех пор, как ему осточертело спорить с министерством и он махнул рукой на свою работу, перестал читать литературу, его все чаще отмечали премиями, репутация его как исполнительного руководителя поднялась, уже год, как его назначили начальником конструкторского бюро. Получалось, что наверху не довольны его безразличием. «Карьера безразличных», — он усмехнулся и сказал:

— А вот это Шереметевский дворец.

— Да, да, замечательно, — подтвердил Усанков с некоторым недовольством. — Помнишь, как наш физик говорил: у нас теперь будут не белые ночи, а черные дни! Так и я...

На площади у цирка неба стало больше. Стенки голубых фургонов были разрисованы пумами, тиграми.

— Ты что меня не слушаешь? Имей в виду, я на тебя ссылаюсь, тебя вызовут.

— Я что, я пожалуйста, — сказал Сергей Игнатьевич. Получилось равнодушно, и он горячо добавил: — Ты молодец, давно пора кончать с ним.

Машина выехала на аллею к Михайловскому замку. Впереди тускло чернела огромная фигура бронзового Петра. Постамент растворился, исчез на фоне серого камня дворца, и всадник шествовал в воздухе, а за ним двигался словно бы строй, плотная масса полков, и тоже над землей. Призрачное освещение создавало этот эффект или что-то другое, Ильин сбавил газ... Когда-то, в школе, у них преподавал историю Тим Тимыч. Он возил их сюда, этот памятник Петру нравился ему больше Медного всадника; он показывал барельеф, где рядом с Петром изображен Алексашка Меншиков — единственный ему почет, рассказывал происхождение надписи, про отношения Павла с матушкой своей, Екатериной... У Тим Тимыча история состояла из неразгаданных происшествий, заговоров, похищений. Вчерашний фаворит куда-то исчезал, разумный проект вдруг рушился, секретные бумаги пропадали...

Сергей хотел стать историком. Долго школьная эта мечта сопровождала его; вспомнив о ней, он попробовал представить несостоявшийся вариант своей судьбы. Ис-

торик... архивы... документы... связки бумаг... Неведомая жизнь историка показалась куда интересней унылой вереницы прожитых лет, которые потрачены на расчеты, проекты, согласования. Большая часть впустую, пухлые тома, что пылятся во тьме шкафов. Списаны по акту, неосуществленные, отмененные, не вошедшие, ныне ни на что не годные... А собственно, почему он не решился тогда, после школы? Отец не разрешал? Тетка отговаривала?..

— ...Тут все средства хороши,— сказал Усанков.— Дело-то правое.

Замок приближался, наверху багровый, внизу серого гранита, насупленно-неприступный. Мостовая, выложенная диабазом, глянцеви́то блестела. Черный этот поток вытекал из мглы ворот, спускался к памятнику.

«Неужели жизнь разыграна неудачно,— думал Сергей Игнатьевич,— и теперь все поздно, поздно даже чувствовать себя несчастливым. Не те годы... Ошибка была в дебюте. Надо было жертвовать, рисковать. Ходы сделаны. Обрато ходы не берут». Он попробовал улыбнуться, растянул губы, но внутрь улыбка не проникла, примирение не состоялось.

Печаль мягко прильнула к нему, и он не отталкивал... не собираясь возвращаться к хитросплетениям Усанкова, его расчетам и комбинациям.

Словно щель приоткрылась и он увидел зеленую долину, куда он побоялся спуститься,— холмы, за ними море... Ничего уже не изменить в своей жизни, и надо доживать... А так ли это?— вдруг прозвучало строптиво. Откуда прозвучало, что означал этот вопрос?

Надо было свернуть влево на Садовую. Ильин машинально кинул взгляд на боковое зеркало, и то, что он увидел, заставило его затормозить. Три человека, один за другим, пересекая его дорогу, направлялись к замку. На головах у них были треуголки, зеленые длинные мундиры блестели золотыми пуговицами, широкие, песочного цвета отвороты и обшлага, лакированные башмаки отбивали шаг по мостовой. Трое гуськом прошагали перед самой машиной, не обращая на нее внимания, глядя вперед. Под треуголками болтались белые косички париков. Шпаги торчали между фалдами мундира. Ильин остановил машину, замер, любуясь ими,— так романтично и прекрасно было появление их в этом месте, в эту минуту, как будто он приготовил сюрприз для Усанкова.

— Смотри, смотри. — Усанков толкнул его в бок. — Как идут!

— Это павловские офицеры.

Были видны их молодые сосредоточенно-отрешенные лица. Последним шел бледный, худенький, совсем юный офицер, тонкая шея его болталась в слишком просторном алом воротнике, он шагал, чуть поотстав, озабоченный, хмурый, держа руку на эфесе шпаги. Что-то примечательное показалось Сергею Игнатьевичу в изгибе его крепко сжатых губ, в том, как бодливо он наклонял голову, так что треуголка наползла ему на глаза. Не оглядываясь, прошагали они прямо в распахнутый темнеющий проем ворот. Нитяные чулки их были забрызганы грязью, кроме того, Ильин запоздало отметил некоторую обтрепанность их мундиров и косо стоптанные каблуки у замыкающего.

— Киносъемка, — определил Усанков.

Насчет киносъемки Ильину тоже пришло в голову; когда же это произнес Усанков, показалось странным, почему кругом не было ни души, ни машин, ни аппаратуры. В глубине подворотни не произошло никакого движения.

Ильин подъехал к воротам, поставил машину на тормоз, предложил пойти посмотреть. Усанков отвалился на сиденье, зевнул.

— Сходи сам, если что интересное, позови.

Пройдя глубокую подворотню, где среди мраморных колонн слабо горели лампочки, Ильин остановился перед замкнутым светлым многоугольником двора. Ему всегда нравилось это геометрически правильное пространство, такое симметричное, четко равнозначное. Ряды окон тянулись одинаково темные, нигде ни огонька, в стеклах отражалась бледная заря. В этом-то и особенность белых ночей — светит все небо, отовсюду. Укрыться во дворе было негде, камень, плиты, ни тени, ничего — ровная пустая площадь. У самого входа стояла застекленная вахтерская будка. В глубине ее сидела женщина в красном берете, черная шинель накинута на плечи. Сергей Игнатьевич постучал ей в стекло. Женщина открыла окошечко.

— У вас тут что, съемки? — спросил он.

— Какие еще съемки?

— Кино... Или телевидение, — добавил он.

— Ничего не знаю.

— А куда прошли те трое?

Она сняла берет, помотала головой, длинные рыжеватые волосы ее рассыпались по плечам.

— Все закрыто,— сказала она.— У нас не разрешается.

— Послушайте, мы же видели,— строго сказал Сергей Игнатьевич.— Вошли трое, в таких костюмах.

Вахтерша улыбнулась, у нее были очень белые маленькие зубки. Улыбка была быстрой и неясной.

— Каких костюмах? Вот вы попробуйте...— Но она не кончила, резко и требовательно прогудела машина, еще и еще раз.

— Вас зовут? Идите, я ворота запираю буду.— Она захлопнула дверцу и вышла из будки.

— Вы что-то начали... Вы сказали «попробуйте».

Она оказалась грудастой, приземистой, совсем не молодой. Ничего не ответив, стала тянуть огромную створку ворот.

— Нет, серьезно, они мне нужны,— сказал Сергей Игнатьевич.

— Зачем?— Она спросила так всерьез, что Сергей Игнатьевич растерялся.

— Видите ли, там один из них...— Он запнулся, в это время снова раздался гудок протяжный, хлопнула дверца машины.

Женщина рассмеялась.

— Нетерпеливый.

Навстречу ему шел Усанков.

— Сколько можно?

— Извини... Не разбери-поймешь. Вроде нет никаких съемок.

— Нет — и не надо,— сердито сказал Усанков.— Чего тебе приспичило?

— Она знает и не отвечает.

— Значит, не так спрашиваешь. Я вижу, тебе лишь бы уклониться.

Ильин, кротно вздохнув, поспешил заверить Усанкова в готовности поехать вместе с утра к бывшей жене Клячко.

Ворота медленно закрывались за ними. Машина шла уже по мосту через Неву, когда Ильин, не выдержав, перебил Усанкова:

— Куда ж они могли деться?

Чем дальше они отъезжали от Михайловского замка, тем больше занимало его появление этих трех офицеров. Множество предположений, самых простейших и самых

фантастических, возникало у него, он хотел обсудить их с Усанковым, но тот увлечен был своими планами кампании против Клячко.

Машина шла по Кировскому проспекту, прямому, ровному. Дома выстроились как на параде, отборно подтянутые, щеголеватые. Перекрестки, мосты, блеск трамвайных рельсов, кошка, идущая через улицу, красного кирпича церковка Мальтийского ордена, где-то в глубине, за ней дворец Павла, самого несчастного русского императора, как жалеючи называл его Тим Тимыч.

Он довез Усанкова до гостиницы, и там долго Усанков не отпускал его и все яростно доказывал, и Сергей Игнатьевич послушно кивал, даже что-то советовал, хотя вся эта опасная интрига перестала его занимать.

Дома, лежа в постели, Ильин вспоминал неуместную улыбку вахтерши, надо было расспрашивать настойчивей, напрасно он послушался Усанкова. Трое офицеров проходили перед ним снова и снова, вполне отчетливо, он рассматривал их, как на экране, каждую подробность, пытаясь понять то странное, что было в их обличье.

Через два дня Усанков уезжал в Москву. На вокзале Усанков, прохаживаясь по перрону, был возбужден, тугое щекастое его лицо потно блестело. Факты на замминистра удалось получить, как он выразился, «обжигающие». Теперь надо было с умом пустить их в ход.

Вдоль вагонов «Красной стрелы» стояли проводники в белых перчатках. Пахло угольным дымком. Прошел негр в меховой шубе вместе с высокими японцами. Сергей Игнатьевич задумчиво смотрел, как Усанков говорит, — челюсти его двигались равномерно, словно он пережевывал каждую фразу.

— Я выяснил у киношников, никаких съемок в замке не было, — вдруг сказал Ильин. — В театрах тоже ничего исторического не шло.

Усанков не сразу сообразил, о чем это он.

— А-а-а, те ряженые... Ну и что?

— Надо же выяснить, — сказал Ильин. — Нельзя же так оставить.

Усанков обвел глазами округлую, рыхлую фигуру Ильина так, что тот смутился.

— Лично у меня хватает чертовщины и без этого, — сказал Усанков. — Мало ли что бывает. Охота тебе...

— Значит, по-твоему, пускай разгуливают привидения в центре города?

— Заяви в горисполком. Их дело за порядком следить. Тебя-то что зацепило? Привидения, тем более военные, не относятся к нашему министерству.

— Ты помнишь того третьего? Самого молоденького? Он последним шагал, петушком таким...— Ильин допытывался, сохраняя шутливый тон, но это ему не удавалось. Случившееся не давало ему покоя. Особенно воспоминание о том младшем. Перед тем как ехать на вокзал, он вытащил старый чемодан с антресолей, достал оттуда пакет, завернутый в пожелтевшую «Вечерку». Среди старых фотографий нашел наклеенную на картон фотографию девятого класса. Вот что ему было нужно. Сережка Ильин в курточке, в кедах, волосы длинные, сидел на полу, скрестив ноги, в первом ряду, перед восседавшим над ним Тим Тимычем.

Вот эту фотографию он сейчас показал Усанкову.

— Тебе не напоминает этот пацан его?

Усанков вгляделся, пожал плечами.

— Это кто?

— Я.

— А тот?.. Он кто?.. Мало ли кто на кого похож. Что из этого следует?

— Нет, ты посмотри,— настаивал Ильин.

Усанков решительно отстранил фотографию.

— Послушай, Серега, кончай. У меня от твоих фантазий кислотность повышается... И вообще, о чем ты?— с укоризной сказал он.— Все качается, трещит, эти гады того и гляди ринутся на нас. Действовать надо, действовать! А ты... Чем ты занят, разве можно себе позволять...

В начале июня Ильин отправил семью на дачу к родителям жены. Опустелая квартира стала большой, гулкой.

Всю ночь горел закат, в середине алый, дальше золотой. Густое это золото плавилось, растекалось далеко по небу. Ильин открыл окна. Сквозняк вздувал занавеси, качал абажур. Под утро Ильин встал, не зажигая огня подошел к зеркалу, долго вглядывался в лицо, освещенное молочным светом. Он щурился, сунул нос, пытаясь отыскать среди заплывших черт прежний молодой рисунок, тот, с чего начинался Сергей Ильин.

Размеренная жизнь с мелкими неудачами и мелкими радостями опутала его лицо морщинками, мягкими складочками, щеки обвисли, залысины уходили высоко. Потеря шевелюры доставила Ильину много страданий; впрочем, и с этим пришлось примириться, как примирился он и с другими потерями.

Не без труда восстанавливал он воспоминания о себе молодом. Наконец в глубине зеркала что-то сместилось, и возник тот русский офицерик с длинной шеей, с упорно-хмурым взглядом.

С утра Ильин отправился в Публичную библиотеку. Воскресный народ толпился во всех отделах. Ильина посылали от одного сотрудника к другому. Не могли понять, что ему надо. Объяснял он слишком общо и уклончиво. Первые дни, когда он пытался заинтересовать домашних тем случаем у Михайловского замка, все хмыкали и тут же обрадованно выкладывали свои истории про экстрасенсов, телепатов куда удивительнее, чем явление трех офицеров. Однажды в компании, когда он опять принялся за свой рассказ, он поймал испытующий взгляд жены. По дороге домой она сказала, как бы между прочим: «Надо бы тебе выкинуть это из головы».

Что-то в ее тоне насторожило его. Рассказывать он перестал. Но история эта жила в нем, не находя разгадки. Отвязаться от нее оказалось не просто, да он и не хотел, она уже не мучила, она скорее грела его.

В читальных залах за письменными столами сидели люди с отрешенными сосредоточенными лицами. Шелестели страницы, шуршали карандаши, воздух был наполнен сдержанно-напряженным гулом.

Дежурная пыталась вникнуть в смысл его путаной просьбы. С мученической терпеливостью она допытывалась, какую эпоху ему надо, фотографии или рисунки, описания или историю. Сзади росла очередь. Ильин вспотел; ему казалось, что за спиной посмеиваются. Он боялся, что замороженная эта въедливая женщина не выдержит и спросит, зачем, собственно, ему нужно все это. Он извинился, забормотал, что не стоит беспокоиться, он придет в другой раз, он уточнит; но тут она расправила лицо, сделав вид, что все поняла, и вручила его какой-то грузной усатой женщине; та, не дослушав, повела его в хранилище, затем по чугунным витым ле-

сенкам, переходам и определила в какой-то закуток между книжными шкафами.

— Вам что нужно — описания оружия, уставы, формы, истории полков?..

Она вытягивала ответы, задумчиво изучая его потную физиономию. Наверное, было что-то странное, может, подозрительное в его бестолковости. В сущности, он был невежда. Он понятия не имел об армейских прическах, париках, косах, о металлических знаках, об отличии гвардии от армии. Чего он приперся? Что он понимает занятых людей своим бредом, пустяковиной?

— Это что, для театральной постановки?

Он обрадовался.

— Вроде этого.

— Спектакль?

— Нет, кино, — соврал он, по-видимому, для значительности.

— Что за фильм?

— Художественный... «По дороге к замку»... Но это условно, — добавил он.

Она сморщилась, словно от его вздора.

— Подождите.

Он остался один; шкафы, красного дерева, с толстыми зеркальными стеклами, уходили под потолок. Корешки с золотым тиснением. Тысячи книг, которых он никогда уже не прочтет. Прекрасные старинные книги. Он вдруг подумал, что те старые книги, какие ему попадались, всегда были интересные. Наверное, среди них было меньше глупых, чем нынче. Так же как старые дома. Они всегда были красивы. Не то что новые. В старые времена были люди и поумнее, и поталантливей. Его удивила эта мысль.

Женщина принесла два альбома и несколько книг. Один альбом был большой, тяжелый, второй поменьше, книги в зеленоватых кожаных переплетах с оттиснутой короной.

— Можете заказать фотографии. — И эта усатая женщина стала пояснять, как надо оформить заказ.

Наконец он остался один. Рисунки были исполнены в красках. Формы офицерские, генеральские, солдатские, красная епанча, или, как там было написано, «эпанча». Шарфы через плечо, плюмажи с белыми и красными перьями. Усатые, бравые, плечистые... Усы торчали то пиками в стороны, то лихо подкручивались вверх. Шаровары сменились лосиными брюками, потом

просто брюками. Солдатики горбились под тяжестью ранцев, больших ружей, выпрямлялись, утоньшались, затянутые в узкие мундиры, узкие шинели, ремни — то черные, то белые. Он искал лакированные башмаки, эполеты, галуны. Формы менялись круто. Ильин не знал почему. Перед ним, словно на параде, проходили полки пехоты, артиллерии, маршировали гренадеры, ехали гусары, уланы, кирасиры, драгуны. Зимние формы, парадные. Послушно шагали куда-то, стояли на часах, выносливо держа на головах высокие кивера, похожие на перевернутые ведра, и меховые шапки, несли алебарды, шпаги болтались сбоку, длинные сабли, палаши. Они смотрели на него, как живые. Нарисованные простенько, вроде безлико, они тем не менее различались — то ли форма придавала им характер, повадку, то ли припудренные парики, букли меняли выражение лиц. Он сравнивал, любовался, примеривал, по-детски захваченный игрой в солдатики. Время от времени среди картинок мелькало знакомое, не поймешь что. Воспоминание?.. Но очень слабое, оно поднималось из каких-то глубин и гасло, не дойдя. Как будто когда-то он их видел или слышал про них.

Он откидывался на спинку стула, смотрел в потолок. Среди пыльных лепнин, вместо того бледного мальчика под тяжелой треуголкой возникала щекастая улыбка Усанкова. Форма разных полков имела небольшие различия, память никак не могла их уловить. Треуголка, кажется, имела кокарду. На ногах скорее всего были чулки с подвязками. Фалды мундира были. Воротники, обшлага — их имелось множество схожих, разница в мелочах — цвет, канты, — поди разберись. Воспоминание размывалось этим подобием, этой обманной близостью. Единственное, что он понял, что форма относилась к павловскому правлению. Позже мундиры становились короче, упразднились плащи, а на тех были плащи. Полой плаща тот, последний, скользнул по дверце машины. Коснулся стекла.

В альбоме офицеры выглядели испытанными вояками. Суровые, мужественные командиры. Ильин тоже расправил плечи, насупился. Мягкий подбородок его отяжелел. Где-то далеко-далеко запиликала флейта, отозвался барабан, по зеленому лугу шли полки... Откуда он знал этот старинный марш?

Он открыл глаза. Перед ним у стола стоял старичок, скособоченный, заросший изжелта-седенькими волоса-

ми, словно пухом. Горло его было замотано шарфом. Сквозь толстые очки смотрели неприятно увеличенные светло-серые глаза с огромными черными зрачками.

— Могу ли я быть вам полезен? — осведомился старичок.

От его голоса Ильин вздрогнул — понял, что старик этот не привиделся ему.

— Вам какой период требуется?

— Да я просто так, не беспокойтесь.

— Отчего же, для меня труда не составит, я же вижу, вы в затруднении, поэтому и осмелился. — Он произвел какой-то приглашающе-галантный жест рукой. Пальцы у него были желтые, прокуренные, и лицом он тоже был темно-желт. — Да вы не извольте церемониться со мной, я только рад...

И он одним глазом подмигнул, поклонился. Любезное это движение, старомодная его речь успокоили Ильина.

— Видите ли, у меня вопрос несколько... — Он нерешительно замолчал.

— Если насчет форм обмундирования, то можете мной располагать. — Старичок, наклонив голову, шаркнул ногой. — Альберт Анисимович, историк, архивист, ныне музейный сотрудник, сам почти экспонат. — Он хихикнул,дохнул на Ильина табачищем, заглянул в раскрытый альбом. — Павловские мученики? Им эти панталоны все промежности натирали. — Он приблизился к Ильину, заглянул ему в глаза. — Можете меня, старого дурня, высмеять, но я полагаю, что ни семеновцы, ни преображенцы не рвались защищать государя-императора из-за этих панталон. Сил не было больше выносить их. У офицеров, у тех лосины. Вы знаете, как называют лосины? — Он вновь захихикал. — Тоже муки адовы.

Длинным нечистым ногтем он тыкал в рисунках на ремни, пряжки, воротники, рассказывал, чем они отличаются у разных батальонов.

— Превосходно, что вы стараетесь уточнить. У нас сейчас кошмарные ляпы повсюду. Смотрю фильм про екатерининского генерала, а на нем эполет. Каково?

И, не найдя потрясенности у Ильина, сказал с отчаянием:

— Представьте, если бы вам показали на экране, как железнодорожник командует парадом!

Посмотрев на вялую улыбку Ильина, он вздохнул и как-то разом, потеряв интерес, извинился и исчез так же бесшумно, как появился.

Некоторое время Ильин тупо смотрел в лежащий перед ним альбом, затем вскочил. Как он и ожидал, Альберта Анисимовича он разыскал внизу, в курилке.

— Слава богу, я боялся, что вы совсем ушли, обиделись,— сказал ему Ильин.— У меня такое дело, не знаешь, как подступиться. Надо выяснить, а что... мне не важно, поверите вы, мне другое надо...

Ему помогало, что Альберт Анисимович слушал рассеянно, попыхивая папиросой, словно бы его отрывали от дела. Ильин попросил у него папиросу, закурил. С отвычки голова кружилась, темное лицо старика поплыло, закачалось. Удерживая его, Ильин взял Альберта Анисимовича под руку. Про тех трех офицеров у него выходила какая-то нелепица, дичь; получалось, что это офицеры, никакие не ряженые. Он заметил, что говорит об этом с уверенностью, но поправляться не стал. Будь что будет. Альберт Анисимович кивал, ничего не спрашивал.

— Если б я был один,— сказал Ильин,— тогда конечно, но нас было двое, почудиться обоим не может. Верно?

Альберт Анисимович не отвечал, невидяще смотрел в его сторону.

— Мы с Усанковым вполне трезвые, так сказать, ответственные товарищи. Мне самому странно, даже как-то не по себе.

— Отчего же?

Ильин оглянулся, снизил голос:

— Я думаю, что это была их собственная одежда. Доказательств у меня нет, предъявить не могу. Каблуки стоптаны...

— Каблуки,— повторил Альберт Анисимович, бросил папиросу в урну.— Пойдемте!— И потащил Ильина по лестнице, по переходам, обратно в тот закуток, к оставленному альбому.— Показывайте, в чем они были.

— В том-то и штука,— сказал Ильин.— Я запутался.

— Когда это было? Точно, если можно, какого числа?

Подумав, Ильин сказал, что девятнадцатого мая. Альберт Анисимович пожевал губами, что-то вычисляя. Близорукие глаза его смотрели на Ильина в упор.

— Они шли без солдат?

— Без.

— Втроем. В плащах. Спустил полтора месяца... — бормотал он. Почесал за ухом. Поцокал языком. Перевернул несколько страниц, задержался на одном листе, где беседовали поручики, капитан и, кажется, полковник, ткнул пальцем. Длинный его желтый ноготь пришелся на короткий распахнутый плащ поручика, под плащом виднелся темно-зеленый мундир.

— Они?

Рисунок мало чем отличался от соседних листов. Ильин вгляделся.

— Да, они, — подтвердил он тихо.

— Любопытно. Весьма... — Альберт Анисимович отошел и зашагал туда-обратно вдоль стола. — Ночью?

— Около двенадцати было.

— Несли чего-нибудь?

— Не заметил. Вроде нет.

— Ничего не говорили?

— Я... то есть мы ехали в машине, так что было не слышно. — Ильин виновато пожал плечами.

— Жаль, — строго сказал Альберт Анисимович.

— И потом, мы сами разговаривали.

Альберт Анисимович молча шагнул. Потом спросил:

— Это о чем?.. Говорили вы о чем?

Ильин хмыкнул, почесал голову, сказал удрученно:

— Так, о мерзостях нашей жизни... Мне кажется, они шли по делу.

— Почему так полагаете?

— Не знаю... Они озабочены были.

— Н-да-а, немного.

— Они никакого внимания на нас... И в замке не было никого. Хотите, я попрошу, мой товарищ пришлет свое описание. Он москвич, будет еще свидетельство.

— Давайте, давайте, пусть пришлет... — Альберт Анисимович посмотрел на Ильина подозрительно. — Свидетельство чего?

— Что все так и было.

— Тш-ш-ш, — зашипел Альберт Анисимович, словно бы к чему-то прислушиваясь.

Ильин подождал, потом сказал:

— Еще надо добавить, они шагали в ногу.

Альберт Анисимович поднял палец, застыл с полукрытым ртом, затем лицо его осветилось, сияние пошло от всей его сухонькой фигурки.

— Вполне возможно. Одни смотрят, другие видят. Само провидение привело вас в эту точку. Почему, это другой вопрос. Вы увидели. На слепого очки не подберешь, верно? Теперь мы с вами поддержим Собедкова!— Он ударил кулачком по воздуху.— Я был прав! Имелись и среди них порядочные люди.

— Вы про них?

— Я давно подбирался,— торжествуя, сказал Альберт Анисимович.— Это наш старый спор. И тогда им совестно было. Стыдно. Совесть — зерна творца, это вневременное, она живет по вечным законам.

— По-вашему, они кто?

— Э-э, любезный, не суть важно. Полк вам известен.

— Я ведь, честно говоря, не для кино ищу. Я для себя. Мне надо... Тут такое странное совпадение.

— Да бросьте вы оговариваться.— Альберт Анисимович улыбнулся ему всем своим лицом, множеством мелких морщинок.— Не бойтесь прослыть, не бойтесь странного.

— Но разве такое бывает?— с осторожностью, не уточняя, спросил Ильин.

— Бывает, что и вошь кашляет.— И Альберт Анисимович хохотнул.— Все бывает: привидения, пророчества, чудеса, откровения.— Он быстренько оглянулся.— Материалисты этого лишены.

— Поскольку вам вопрос прояснился...

— Тьфу, тьфу, тьфу,— суеверно поплевал Альберт Анисимович через левое плечо.— Искать и проверять еще надо, любезный.

— Я в том смысле, если бы найти персонально... Чтобы установить фамилию.

— Э-э, зачем вам? Важен факт.

— Но вы же сами подчеркнули, что, может, я не случайно оказался. Я поэтому хотел.

— Правомерный ваш вопрос,— перебил его Альберт Анисимович с некоторым нетерпением.— Участвует в этой случайности и ваша личная составляющая.

— Какая?

— Откуда мне знать? Чужая душа потемки, в своей и в той окошка нет. Вы, голубчик, сами должны разобраться. Однако, прошу прощения, мне пора.— С этими словами Альберт Анисимович отвесил церемонный, по-

чти театральный поклон и исчез бы, не ухвати его Ильин за рукав.

— Погодите, так нельзя, как же я узнаю?

— Вы здесь бываете?

— Нет, откуда... да и где вас искать. Я вам самого главного не сказал. — Ильин крепко держал его. — Произошло совершенно невозможное совпадение. — И с разбегу рассказал о сходстве своем с тем третьим.

Никакого удивления у Альберта Анисимовича не появилось, он согласно кивал, приговаривал: «Прелестно... любопытно».

— Позвольте осведомиться, что вас, собственно, беспокоит? — спросил Альберт Анисимович.

— Да как что, да как это может быть.

— Я полагал, вам важно, что сие было. Также что сие явление означает. А как да почему, это увольте, это не по моей части. — Все это Альберт Анисимович произнес строго, разъясняя Ильину, как бестолковому посетителю.

— Так ведь поверить невозможно, — воскликнул Ильин, — вы требуете от меня суеверия.

Альберт Анисимович покачал головой сочувственно и даже опечаленно.

— Несчастное ваше поколение.

И этот тоскливый взгляд, и эта жалость были знакомы Ильину; у него самого появлялось похожее, когда приходилось иметь дело с очередным «чайником» — чокнутым изобретателем. Все происходящее дурацки перевернулось — этот полоумный старичок жалеет Ильина, считая его неполноценным. Это было нелепо, но Ильин хотел, чтобы старик высмеивал его, разубеждал. Нельзя было отпустить Альберта Анисимовича просто так, чтобы все оборвалось. Телефона у него, как он заявил, не было, Ильин заставил его записать свой служебный и домашний. Сделал это Альберт Анисимович неохотно, на папиросной коробке.

— Вы же потеряете, — сердито сказал Ильин.

— Зачем же.

— У нас все так, обещают, лишь бы отцепились.

Серенькие глаза Альберта Анисимовича потемнели.

— Это у вас обещают. — Голос его похолодел. — А у нас не так. — И вдруг, легко высвободив свою руку, попятился, свернул за шкаф. Шаги его там сразу оборвались.

— А фамилия ваша?— крикнул Ильин, рванулся за ним, обнаружил тупичок, выгороженный книжными стеллажами.

Усанков не соглашался под таким документом ставить свою подпись. Смешно. Имя его кой-чего значит, с какой стати рисковать своей репутацией. Тем более сейчас, вообще не с руки. Разговор шел по междугороднему телефону, и Усанков перешел на обиняки, недомолвки, условный язык, из которого явствовало, что Клячко откуда-то пронюхал про собранный на него материал и принимает меры. Закопошились совершенно непредвиденные люди. Самый что ни на есть змеюшник вспугнули. Похоже, связи тянулись далеко. Те, кто обещали помощь,— притихли. Насчет Усанкова, по-видимому, Клячко что-то вычислил, Ильин же вне подозрений. Он, Усанков, отступать не намерен, даже если его засветят, он пойдет до конца. Сейчас помог бы сигнал откуда-то со стороны, например, если б появилось письмо из Ленинграда, на другом материале. Насчет некомпетентности, пьянок, застолий. Не обязательно подпись ставить. Ни слова «письмо», ни слова «аноним» Усанков не произнес, но все было понятно. Что он себе позволил, так это пошутить: ему подпись не нужна, не то что Ильину.

— Одно другого не касается,— сказал Ильин, отклоняя намер.

— Касается,— жестко отрезал Усанков.— Нынче действует обмен: ты мне — я тебе. Твою чушь подтвердить, кроме меня, никто не может. Кстати, тебе куда этот документик?

— Одному экстрасенсу... Он духами занимается.

— Духами? Смотри, Серега... Пускай духами, только никаких публикаций! Идет?.. Ты мне продиктуй.

Нет, Ильину было важно, чтобы Усанков сам описал все, как видел у замка,— может, он припомнит такое, чего Ильин не заметил. Усанков же категорически потребовал, чтобы грамотку сегодня же отстукал, время дорого.

Голос звучал, как всегда, напористо, не впервые Ильин слышал еще и унылые нотки, никак не свойственные Усанкову. Когда-то они вместе кончали курсы усовершенствования. С тех пор Усанков преуспел, и справедливо, он имел хорошую голову, завидную уве-

ренность, напор. «Обойдется!» — приговаривал он. И обходилось. Неприятности каким-то чудом всегда огибали его. А тут он сник.

После работы, отпустив всех, Ильин вышел в пустую приемную, сел на место секретарши за пишущую машинку. Сидеть было удобно, стул обложен подушечками, рядышком цветы, в ящичке резинки, карандаши, зеркальце, клеевой карандаш, целое хозяйство. Оттого, что письмо анонимное, он выражений не выбирал, фразы не строил, получалось коряво — тем и лучше. Всего плохого, о чем наслышан был про Клячко, не перечислишь. Оно бы надо проверить, что сплетня, что факт, а тут ложилось без разбору; слухи — те даже охотнее лезли под руку, пристрой у них был, что ли, лучше. Клячко, кроме бестолковых шумных наездов, с пустыми совещаниями, указаниями невежественными, любил, когда ему устраивали провожание в ресторане, тосты в его честь произносились, чтобы славили его, в конце допытывался, что с него причитается, настаивал, «чтобы по справедливости», и вносил шесть, а то и семь рублей, больше ему никогда не позволяли. Кроме денег, ему власть нравилось показывать, напоить до скотства, поссорить, сравнить друг с другом... Постепенно Ильин разошелся, приятно было писать все как есть, без оглядки, не выбирая выражений, не заботясь о том, что последует. Вспоминалось многое из того запрятанного, о чем шушукались. Сколько раз хотелось ему выступить и показать ненужность проектов, которые они делали, сдавали досрочно; отжившие машины, которые покупали за валюту по дешевке, которые тянули за собой отжившую технологию. Ильин пытался изменить порядки. Но всех и наверху, и в бюро рутина устраивала, все получали исправно премии, ездили в нехлопотные командировки. У него накопились выступления, которых не было, произнесенные речи. Он составлял их по ночам, перед коллегией, или же после, мысленно оттачивая фразу за фразой. То были блестящие речи... Теперь кое-что из них всплывало в памяти. Он стучал, не заботясь о логике, с трудом поспевая за собой.

Пальцы его, отвычные от машинки, тоже вспоминали, набирали скорость. Креслице было окружено устойчивым запахом духов. Машинка электрическая, почти бесшумная. Горшки на подоконнике, а за окном светло.

Солнце летнее, незакатное. Цветы — какие-то выюнки, кактус цветет карминовым фонтанчиком. Десять раз на дню проходил он приемную и не замечал этой уютной мелочи, которая помогала чувству свободы.

Получилось пять страниц. Он заклеил их в конверт, копию сунул в карман. Письмо в ближайший ящик не бросил, прошел еще два квартала до почты. Там опустил, оглянулся, встретил чей-то взгляд, сразу же зашагал прочь. Как будто его выследили. Вспомнил, как на него приходили анонимки и кадровик пытался по почтовым штемпелям найти автора. Приезжали комиссии, выматывали душу. Понимали, что клевета, но все равно копались, некоторые с удовольствием: премии подсчитывали, командировочные, на какие денежки купил машину. Однажды на собрании, выступая, он вдруг сорвался. Среди этих лиц, в зале, где все знакомы, сидит как ни в чем не бывало анонимщик, из-за него подозреваешь честных людей, из-за него никому не веришь, а для него это радость, вместо краски стыда у него румянец здоровья. Через несколько дней в Москву пришла новая анонимка: «Все выступления против себя Ильин считает клеветой»; «Даже собственная совесть давно уже не смеет спорить с ним». Фраза эта почему-то уязвила Ильина и запомнилась.

Анонимщика так и не нашли. Письма почему-то прекратились. Где он, тот трусливый пакостник, что с ним, может, теперь Ильин его устраивает? Кроме видимой жизни рядом с каждым человеком попутно идет невидимая, неизвестная ему жизнь, в которой знакомые люди о нем судят иначе, сообщают по-другому, имеют совсем другие физиономии, что-то творят с его судьбой.

Интересно, что, размышляя об этом, Ильин никак не считал себя анонимщиком. По отношению к Клячко у него не было ни обиды, ни злобы, им двигала справедливость. В этом он видел отличие себя от того своего анонимщика. Правда, было тут одно обстоятельство, которое смущало, — если бы он подписался, то спрашивается: смог бы он писать так же свободно? Вряд ли. Так что в интересах истины анонимность... На этом месте он запнулся. Конечно, подпишись он — и весь удар придется на него, ему бы приписали переговоры с бывшей женой Клячко, сбор сведений, даже если бы сняли Клячко, все равно считали бы Ильина интриганом. Значит, без имени потому, что это не опасно, — вот отсюда и происходило смущение. Успокаивало то, что Усанкову

лучше знать, что к чему. Усанков предложил анонимность. Ильин исполнил. Сверху виднее. Исполнительность избавляла от лишних забот. Он давно убедился: чем меньше барахтаешься, предлагаешь, споришь, тем спокойнее. Такое поведение оправдывало себя; все равно при нынешней политике ничего исправить было нельзя, так, чтобы заняться настоящим делом. Никому это не нужно. Остается действовать с минимумом огорчений и неудач. С тех пор как Ильин перестал особо проявлять себя, все пошло своим путем, как в хорошо смазанном механизме.

Заподозрить автором письма Ильина — не могли. В тексте он упомянул, как однажды Клячко со своими клеветами пировали в сауне, чуть пожар не устроили, среди участников перечислил и Ильина, назвал его прихлебаем, не без удовольствия назвал.

Опять был поздний вечер, такой же светлый, исполненный запахом липы, нежного тепла, стука каблучков по сухому асфальту. Полыхал закатный пожар, пылали от него верхние этажи домов, плавилась стекла. Все было похоже на ту ночь, когда Ильин вез Усанкова. Каким ничтожным казался тогда их разговор перед чудом белой ночи. Никак он не мог вернуть то сладкое чувство. Вот он идет, вроде свободный, может любоваться, отдыхать, так нет, что-то мешает, как будто кто-то следовал сзади, подсматривал. Ильин даже несколько раз оглянулся, потом круто свернул с Невского, вскочил в автобус. В автобусе было пусто. Он сел к окну. На Садовой, когда автобус стоял перед светофором, Ильин увидел на углу Альберта Анисимовича. Наверное, он шел из Публичной библиотеки. Белая панамка сидела набекрень, черный зонтик в руке, широкие спадающие штаны. Он выглядел странно в вечерней летней толпе. Почему-то никто не обращал на него внимания. Ильин застучал в окно, закричал ему. Вряд ли в уличном шуме можно было услышать, но Альберт Анисимович поднял голову, посмотрел прямо на Ильина. Ильин помахал рукой, потом стал пальцем как бы крутить телефонный диск, прикладывая трубку к уху. На это Альберт Анисимович сперва никак не отозвался, продолжал смотреть на Ильина, рассеянно ожидая, что он там еще выкинет. Потом кивнул неохотно. А почему неохотно — неизвестно. Автобус тронулся, надо было выскочить, попросить водителя открыть дверцу; вместо этого Иль-

ин все смотрел, как Альберт Анисимович отдалялся, исчезал за срезом оконной рамы.

Через день со служебной почтой пришло письмо от Усанкова. Деловито, тоном милицейского протокола описывал он появление тех троих у замка — в чем они были, как прошли прямо в ворота и скрылись там. Новое заключалось в том, что все «трое, одетые в старинные мундиры, прошествовали мимо машины, почти вплотную к ней, не посмотрев на нее, так что С. И. Ильин вынужден был резко затормозить». Этого Ильин не запомнил. «Возможно, они были в нетрезвом состоянии, — писал Усанков, — потому что держались подчеркнуто прямо». Перед глазами Ильина вновь возникло это шествие, чистое, прозрачно-бледное отрешенное лицо младшего, и то, как они коснулись машины, действительно не обратив на нее никакого внимания. Никто из них не обернулся, не покосился, будто ее и не было. А ведь, наверное, тормоза-то взвизгнули, хоть и тихий ход, но должны были скрипнуть. Нельзя было не испугаться. Любой пешеход вздрогнет, дернется.

Письмо было вроде официальное — «Уважаемый Сергей Игнатьевич...» — и в то же время частное, написано от руки, почерком, однако, четким, прямым, без обычной усанковской размашистости, подпись почти печатными буквами выведена, однако с припиской «Ныне вполне трезвый», что как бы чуть снимало серьезность.

Ильин позвал секретаршу.

— Если меня будет спрашивать Альберт Анисимович, старенький голос такой, немедленно соедините, не будет меня — разыщите.

Секретарша чуть подняла брови.

— Я помню, вы уже предупреждали.

— Да!.. Не могу дожидаться, — признался Ильин.

— А ему позвонить нельзя?

Он посмотрел на ее голубые веки и вздохнул.

— То-то и оно... — Ему хотелось поделиться с ней наблюдением Усанкова.

Она прибирала бумаги на столе.

— Ладно, идите, — сказал он.

Мешала привычка не откровенничать с подчиненными. Слушать других — пожалуйста, сам же он никогда не позволял себе.

Альберт Анисимович позвонил поздно вечером домой. Звонок в пустой квартире прозвучал пугающе

громко. Ильин так и подумал, что это Альберт Анисимович, сразу узнал дребезжащий голосок:

— Я еще кое-что уточняю... поэтому не докучал вам. Общая картина, конечно, ясна.

— Что именно ясно? — поинтересовался Ильин. По телефону разговор звучал обыденней, и он спросил это строго, требовательно.

— Моя давняя идея. Весь заговор, убийство царя и тогда выглядели непристойно. Порядочные люди не могли принять, их возмущало... Да будет вам известно, порядочные люди имелись в самые безумные времена, — с вызовом сказал Альберт Анисимович. — В данном случае они искали доказательств, они хотели опровергнуть казенную версию.

— Кто такие, удалось узнать?

— Примерно. Остается еще ряд моментов сомнительных.

— Кто эти трое?

— Они вызвались, но были и другие.

— Я письмо получил от товарища, — сказал Ильин. — Помните, я обещал. Он подтверждает.

— Да дело не в нем, я и без него...

— Нет, нет, там есть важная деталь. Вам срочно надо ознакомиться.

— Право, мне сейчас нет нужды.

— Нет уж, я все равно должен вас увидеть. Мне узнать надо про этих офицеров, пусть примерно.

Альберт Анисимович откашлялся и заговорил с неожиданным волнением:

— Сергей Игнатьевич, вы мне сильно помогли. Я вам обязан. Поэтому осмелюсь просить вас — оставьте сию встречу без внимания. Не вникайте. Забудьте, если можете.

— Это почему? Вы точно как Усанков. Тот самый, с кем мы видели.

— Не знаю ваших обстоятельств, но полагаю, что у вас налаженная жизнь, стоит ли вам... Это крайне опасно, уверяю вас.

По-видимому, он говорил из автомата, потому что пискнул сигнал конца разговора.

— Я вас прошу, — заторопился Ильин. — Завтра я буду ровно в пять в Публичке. Там же, в курилке. — Он закричал, начальственно перекрывая новый писк. — Никаких отговорок. Договорились?

Голосок Альберта Анисимовича екнул протестующе и оборвался частыми гудками. Ильин ходил из комнаты в комнату, ждал. Молчащий телефон лежал на столе, свернувшись черным комком.

Ильин надел кепку, вышел. У голубого фанерного ларька толпились мужики, те, вечерние последки, что спешат хватануть пивка перед закрытием. Кто добавить, кто запить. После первой кружки Ильина включили в «треугольник», разлили «малыша», добавляя в тепло-ватое жигулевское, — чокнулись и поехали. Говорили про своих жен, про баб. Ильин захмелел быстрее обычного, потому что хотел захмелеть.

Посреди ночи он проснулся. Кто-то явственно позвал его: «Сергей Игнатьевич!» И еще раз. Он открыл глаза, сел на кровати, свесив ноги. Изредка внизу проезжала машина. Слабые отсветы обегали комнату. В жидкой мгле взблескивали стекла шкафа. То там, то тут поскрипывал паркет, словно кто-то ходил по квартире. От легких занавесей на окнах колыхался неверный сетчатый свет.

«Не стоит, не вникайте», — прозвучал в памяти голос Альберта Анисимовича. Почему не стоит? Это как понимать — угроза? Совет? «Стоит ли вам?» Стало заметно подчеркнутое — вам. Значит, именно ему, Ильину. А что он может знать про Ильина? Кто, что знает про Сергея Ильина?

Словно бы со стороны он увидел себя голым, в трусиках. Ильин удивился тому, какой он обрюзгший, совсем не тот, подтянутый, еще молодцеватый, что изнутри. Печалась, он рассматривал свое тело, давно утратившее спортивную форму, отвисший животик, лысеющую голову. Жалость охватила его — впервые перед ним предстал этот человек, который носил его имя, отдельно от него самого, — это существо, которое не было уже он сам, потому что он удалился из него и теперь парил, обозревая как бы сверху свое состояние. Видно было, в какую дурацкую историю врезался этот субъект. Он чувствовал, как надвигается нечто темное, опасное, от чего может сломаться весь его с трудом налаженный, обустроенный ритм службы, отпусков, вечерних часов у телевизора, за книгой, поездками в Москву и на Урал...

Тот, на кровати, потер голову, встал, зашлепал на кухню к крану. Голова болела, во рту было гадко. Ильин все это чувствовал, но издали, как бы сверху смотрел на

этого бедолагу и видел разом робкую его жизнь, где всегда было стремление к порядочности, прямоте, на самом же деле приходилось юлить, помалкивать, много врать, постоянно обманывать и своих инженеров, и начальников, таких как Клячко, чтобы и они могли обманывать; соглашался поддерживать и выдвигать нагледцов, подлипал, в обмен на более или менее способных, которых хотелось сохранить. Давно уже ум его заполнился многоходовыми комбинациями, причем ничего не делалось просто так, потому что все должно было приносить личную пользу. Так поступали все люди кругом, многие поступали куда хуже.

Когда-то он разработал серию моторов, экономичных, надежных, — маленькие сильные моторчики, красивые и легкие, как игрушки. Вскоре выяснилось, что никому это не нужно. Он получил большую премию, но главный энергетик сказал ему: «А что я буду иметь, если поставлю твои моторчики? Ни-че-го! Чем больше я потребляю энергии, тем легче мне экономить. Смекаешь?» Надежность не нужна. Меньше металла — никому не нужно. Дешевизна — по боку... История с электроприводом была частью абсурда. Огромный Абсурд возвышался над работающими людьми, словно языческое божество, которое они никак не могли ублажить, ненасытное, бесплодное божество.

Цель жизни, которая когда-то в молодости была, куда-то подевалась, казалась теперь глупой, он старался о ней не вспоминать. Но Ильин отсюда, с высоты, видел и ее, и она вовсе не была глупой, скорее глупой оказалась та жизнь, которой он занимался, и та система, которой он служил.

Альберт Анисимович появился откуда-то из густого сизого дыма курилки. Он оглядел Ильина, покачал головой.

— Все же пришли... Мое дело было предупредить.

— Чем таким нынче пугают? — спросил Ильин весело.

Альберт Анисимович смотрел с жалостью. Молчал.

Письмо Усанкова поднес к очкам так близко, что водил носом по бумаге.

Ильин ждал, позабыв на лице своем улыбку. Спал он плохо; что с ним происходило ночью, не помнил, но какое-то мучительное состояние, как после страшного сна,

не отпускало его. Он ничем не мог заняться, подписывал бумаги, говорил по телефону, но все это механически, не участвуя, а то, что было им, не могло найти себе место.

Ильин принадлежал к тем многочисленным у нас людям, которые не думают о своей душе, потому что никогда не сталкиваются с ее проявлением. Будучи материалистом, Ильин не признавал, что у него может существовать что-то помимо мозга с его полушариями и что это что-то способно предчувствовать, прозревать, отделяться и где-то витать независимо от организма. Как здоровый человек, не умеющий болеть, тяжело переносит всякое недомогание, так и он, Ильин, маялся от какого-то мучительного разлада, а чего с чем — не понимал. Вот и сейчас, глядя на высохшие до прозрачности руки Альберта Анисимовича, на его хрупкую, ломкую фигуру, Ильин не видел, чего тут опасаться: еле, как говорится, душа в теле, дунешь — и рассыплется.

— Что ж, естественно, — сказал Альберт Анисимович. Он поднял голову, устремил на Ильина мерцающий взгляд голубоватых преувеличенных глаз. — Им не до вас было. — Он обошел Ильина кругом, сунул ему в карман письмо.

— Берите, берите, мне ни к чему. Не будем клясться словом учителя!

И, уже не обращая внимания на Ильина, продолжал, как бы заканчивая с кем-то спор, что после убийства императора Павла дворец-замок был закрыт. Несколько недель спустя караулы перестали выставлять, этим и воспользовались офицеры-преображенцы. Отправились в замок искать улики цареубийства.

Прокуренные желтые зубы Альберта Анисимовича то открывались, то закрывались, жестяной голос шел откуда-то сверху.

— А улики можно было найти! Они имелись! — торжествовал он.

— Вы мне фамилии их обещали, — сказал Ильин.

Альберт Анисимович досадливо скривился. Есть, конечно, примерный круг лиц, возмущенных столь незаконным дворцовым переворотом. Будучи отнюдь не высокого мнения о Павле, они осуждали действия заговорщиков. Убийство бесчестило русский трон...

— Кто-то же входит в этот круг?

— В данном случае я ограничил себя преобразованиями.

— И что?

Ильин ждал, хмуро смотря на него в упор.

— В моих списках никаких Ильиных не значится, — произнес Альберт Анисимович как бы официально.

— Чем же объяснить такое сходство?

— А может, вам показалось?

— Я же видел его, — сказал Ильин твердо.

— Не могу знать.

— Да знаете вы прекрасно, — сказал Ильин. — Вы меня о чем предупреждали, а?

Альберт Анисимович окутался сизым папиросным дымом.

— Молчите? Чуть что — нельзя, запрещено, предупреждаем. И вы тоже? Нет уж, будьте любезны, сообщите мне, что вообще значит это явление. Если б мое расстроенное, допустим, воображение. Но у меня свидетельство имеется. — Ильин хлопнул себя по карману. — Что же получается? Невозможное, да? А было? Но ведь это же абсурдно, согласитесь.

Альберт Анисимович хмыкнул.

— И небываемое бывает, как возвестил Петр Великий, разгромив шведский флот.

— Мы с вами не о том, — сказал Ильин, еле сдерживаясь.

— Сергей Игнатьевич, не хочу брать грех на душу. — Альберт Анисимович приложил руку к груди. — У вас щита нет, дружочек. Погибнете.

— Это мой вопрос, — сказал Ильин.

Альберт Анисимович снял очки, долго протирал стекла, глазки его стали крохотными.

— Вам этого знать не положено.

Ильин подождал, когда он нацепит очки, крепко взял его за отворот пиджака.

— Нет уж извините... Выкладывайте! Все как есть! Сухонькое тело тряпочно замоталось в его руках.

— Как вам будет угодно, — согласился Альберт Анисимович и стал рассказывать про свойство Времени сворачиваться рулоном. События могут накладываться, соединяясь через века, недаром существует прапамять, когда кажется, что все это с нами уже происходило. Настоящее — это мостик между прошлым и будущим, огонек, на котором сгорают наши усилия. Его светом пользуются астрологи, пророки. Прошлое может повторять-

ся, его изображение приходит как свет погасшей звезды, и привидения появляются среди нас.

Слова его убаюкивали Ильина, он понимал, что это не то, совсем не то, чего он ждал, и не о том. Пласты дымаплыли сквозь оболочку Альберта Анисимовича, черты его плавилась. Ильин боялся, что старик растает и исчезнет. Он встряхнулся.

— Погодите, а кто там в ваших списках самый молодой из офицеров?

Альберт Анисимович на минуту задумался.

— Пожалуй, поручик Немировский-младший. Тимофей.

— Немировский...— повторил Ильин, вслушиваясь.

— После той истории их всех разослали по захолустным гарнизонам. Его, кажись, в Демянск. Или в Опочку?

— И дальше что с ним?

— Не знаю.

— А потомство у него было?

Альберт Анисимович пожевал губами.

— Вам лучше обратиться к Витяеву. Он у нас специалист, кто, откуда, куда,— древознатец.

После долгих уговоров Альберт Анисимович, вздыхая и ворча, повел его в маленькую комнатку где-то на верхотуре. Среди стопок каталожных карточек, наваленных книг, рукописей, на высоком табурете работал скрюченный бородатый мужичок. Из маленькой лохматой головки топырились большие уши, делая его похожим на летучую мышь.

Выслушав Альберта Анисимовича, он закашлялся, затрясся весь, пока наконец из него вырвался хриплый смешок.

— И этот тоже ищет себе предков дворянских.— Он говорил брезгливо, не глядя на Ильина.— Модно стало. Недавно отрещивались, отрекались от них... Немировский? Род вполне достоин. Служили в гвардии, на флоте, были дипломаты... Они достойны, а мы не достойны. Никого из них не достойны. Над ними шпаги ломали, их званий лишали. За что? Да у нас за это и выговора не схлопочешь.

Альберт Анисимович попробовал было урезонить его:

— Ты же не знаешь человека.— Но только хуже сделал. Витяев воспламенился, закричал:

— Мне и знать не надо. Никто честным остаться не

мог. Честные все сгнили в лагерях. Остался мусор... Труссы и соглашатели. Машина по отбору работала семь десятилетий. Кого отобрали? Кого?

Все это время он листал книги, перебирал карточки, хмыкал, сморкался, внутри него клокотало, хрипело.

— Тимофей Немировский... в седьмом году попал в опалу, перевели в Новгородскую губернию, в артиллерийский полк, в десятом году услали в Нарву, в двенадцатом году участвовал в кампании, отличился, убит под Шевардиным в чине ротмистра. Сын Иван, сын Яков, дочь Анфиса, впоследствии Карташова.

— Карташов служил тоже в Преображенском и был по тому же случаю уволен в отставку, — сказал Альберт Анисимович. — Он из той же группы — Воронцов, Карташов...

Витяев открыл алого бархата переплет рукописной книги, пропустил листы между пальцами с ловкостью кассира, открыл в нужном месте.

— Карташovy... Неплохо... Герб с тремя птицами... Они люди были, а мы щепки. Лес вырубili. Осталась щепа. Вместо леса бараки да общественные нужники. Ни дворян, ни разночинцев, ни кулаков, ни купцов, никого не осталось. Голь озверевшая. Все, что накопили стоящего, все изничтожили. Теперь хотят за счет предков облагородиться. — Он с ненавистью воззрился на Ильина. — Оставьте их в покое!

Ильин водил рукой по корешкам книг, говорил, удивляясь своей твердости:

— Не могу. Оставил бы, так они меня не оставляют. Да и потом, чего тут плохого — люди, может, хотят опереться.

— Как же, опереться! Прилепиться вам всем надо! Прикрыть срам свой! — закричал Витяев. — Не позорьте родов российских!

Ильин лишь улыбался, ему хотелось подойти, погладить эту ушастую лохматую голову.

— Все правильно, все верно! — чуть было не сказал этого, но почему-то удержался. Словно тяжкий груз свалился с него, теперь только он почувствовал, как ему было тяжело; он даже расправил плечи, поднял голову.

Спускаясь по витой железной лестнице, Альберт Анисимович говорил:

— Гневный человек наш Витяев, от него всем достается.

— Из пострадавших?

— Наоборот. Отец его в трибунале заседал, мясорубку вертел. Сын вот таким образом страдает.

— Но злоба какая. Страдаешь, так добрым будь.

Альберт Анисимович остановился, не оборачиваясь сказал:

— Вот оно, действует... Вы не цыкнули на него. Раньше бы цыкнули.

В вестибюле, прощаясь, он смотрел на Ильина изда-лека, откуда-то из своей астрономической дали.

— Правильно. Люди мучаются, когда у них есть выбор. А у вас выбора нет. Чем сильнее вера, тем меньше выбор... — Это было непонятно и не очень беспокоило Ильина.

— Радует ли? — угадал Альберт Анисимович. Затем вздохнул: — Может, и обойдется, дай-то бог, чтобы миновало.

Нет уж, хватит с нас намеков и предсказаний. Ильин не стал расспрашивать. Для него все прояснилось, все вновь стало просто. Он шел по Невскому летящей молодой походкой, разглядывал встречных женщин — верный признак свободы и довольства.

На заседании техсовета, посреди доклада руководителя проекта, Ильин поднялся и вышел из зала. На лице его оставалось участливое внимание; он прошел к себе в кабинет, набрал номер телефона в Боровичах. Мачеха была дома. Ильин спросил ее, как девичья фамилия его матери. Мать умерла, когда ему было пять лет. Мачеха усыновила его, и он привык считать ее матерью.

— Зачем тебе? — обеспокоенно спросила мачеха, и этот пересохший от волнения голос вызвал из небытия старые-престарые страхи.

Мачеха появилась в их доме спустя полтора года после смерти матери. Она мало что знала о прошлых их горестях, не хотела знать, она была из-под Пскова, на-терпелась в оккупации, да и после, так что у нее хватило своих бед. В детской памяти Ильина смутно хранилось, что мать выслали из Ленинграда, сделали лишен-кой, что как-то потом они вернулись через Боровичи, где у отца жили родители. Подробностей той истории он никогда не знал, о матери вспоминать избегали, это была запретная тема. Не осталось ее фотографий, лица ее Ильин не помнил. Мачеху он всегда называл мамой, про мать же думать забыл.

Мачеха фамилии матери не знала, не то чтоб забыла, никогда не знала и не ведала, попробует написать шурину — может, он помнит, да вряд ли.

— А что, у тебя неприятности? Да когда ж это кончится... — И она заплакала. Он еле успокоил ее. Прежние страхи накинудись на нее, собственные и отцовские страхи, которыми он заражал всех. Он боялся говорить о политике, но оказывалось, что и все другое могло быть использовано как политика, его тревожили то хмурый взгляд парторга, то какой-то посторонний вопрос начальника смены. Как будто ему впрыснули страх. Высокий, большерукий, он сутулился, стараясь не выделяться, стать незаметнее. Стыдно сказать, он просматривал газеты, которые нарезал для уборной, чтобы там чего не попало... Среди больших и малых страхов, что поднимались у Ильина, словно пузыри со дна памяти, появился один рисунок красно-синим карандашом, что-то из туманной дали. Ложка серебряная с монограммой, которую он старательно срисовывал. Отец увидел, перепугался, разорвал рисунок, ложку куда-то убрал. То, что это была монограмма, Ильин сообразил только сейчас. Среди алюминиевых перекрученных ложек, почернелых, облупленных железных вилок, ложка эта выделялась приятной тяжестью, блеском, ему казалось, что он до сих пор помнит ее телесную прохладную гладкость. В ней было ощущение другой жизни, не похожей на их прокуренное скандальное общежитие, и ту комнату с раскладушками, где они жили впятером. Ложка лежала в фанерном ящике стола вместе с точильным бруском, пробками, кухонным ножом, продуктовыми карточками, струнами гитары... Стол был накрыт зеленой клеенкой... Он попробовал расширить пространство, этот круг, высвеченный памятью, — не удавалось. Какие там на черенке буквы сплелись — не вспомнить. Может, ему когда-нибудь приснится эта вязь, сцепление инициалов...

Где эта ложка?.. У него даже мысли не было послушаться отца, спросить, потребовать объяснений. Он не отца боялся, он боялся отцовских страхов. Нельзя и нельзя. Вполне вероятно, что подсознательно он был доволен стараниями отца создать чистую анкету. Это было выражение отца — обеспечить «чистую анкету». Выпивши отец однажды разнежился, заерошил ему волосы и вдруг сказал: «У тебя они как у матери». Больше ничего. Сергей сразу понял, что это о той, первой, родной

матери. Это был необычный для отца и тон, и голос, вырвавшийся откуда-то из сердца. Страх начисто сожрал любовь, все сожрал в отце. Впервые он подумал об отце как о несчастном человеке. Разве что челочка, да еще берет — вот и все, что он позволял себе, все отличие, все, что осталось от его молодости. Ильин вспомнил, что к бабке и деду на кладбище ездили в родительскую субботу, а к матери — никогда; где ее могила, он не знал. И спросить уже некого. Где они, люди его детства, отцовские кореша, тетки, свояки? Моряк с аккордеоном, дядя Коля, его жена Нюся, певунья? Где те волосы Сережкины? Он усмехнулся, погладил свою залысину. Зато анкета чистая, образцовая анкета передового гражданина, надежного, примерного, достойного доверия, ибо не привлекался, не участвовал, плохих родственников не имел, ни в чем не замешан. Весь как на ладони, никаких заусениц, чист как стеклышко, прозрачен, так прозрачен, что его самого и не видно. Может, его и не было. Не был, не состоял, не существовал. Челочка осталась в памяти от отца. И берет остался. Большой серый берет, набок сдвинутый. Тогда редко кто носил береты. А отец носил. Выглядело смешно, особенно под конец жизни. Седеющая челочка над красным носом и этот старомодный берет с претензией. Возможно, это был способ отстоять себя, хотя бы так. На подоконнике лежала толстая красная книга «Вопросы ленинизма» и висела вырезанная откуда-то картина «Сталин и Ворошилов в Кремле». И все же лихо сдвинутый берет. Получается, что отец имел некоторое преимущество. Живи, как все, делай, как все. Сергей Игнатьевич Ильин — у тебя ни берета, ни челочки. Вместо челочки пролысина, учрежденческая лысина. Широкая блестящая поверхность между двумя пышными пучками волос на висках. Никого не задев, не зацепив, доехал он до этого кабинета. Его уверяли, что это результат его способностей, каких ни есть, но способностей, но он-то знал, что это результат не проявления способностей — чем выше он поднимался, тем меньше требовалось, тем больше следовало помалкивать, повторять и развивать чужие мысли. У него не было отцовских страхов, кошмаров, все они вошли в плоть и кровь, стали чувством на уровне инстинкта — было естественным опасаться того-то, избегать таких-то вещей, не обострять, помалкивать. Почему он не запомнил монограммы? Не было уверенности, что это мать? Или забыл, потому что не следовало

помнить? Скорее всего что так. Он предпочитал не знать. Подростком не допытывался, никогда не спрашивал, где находилась мать, как она умерла, отчего умерла. Может, что-то и говорили, но он не запоминал. Чувствовал, что это ни к чему. Потому и забывал. Наверное, если бы он раньше спохватился, можно было еще что-то подобрать в развалинах памяти. Теперь все там выветрилось, осыпалось. Не докопаешься.

И не стоит... Вот тут его настигло презрение, которое было в словах Витяева. Запоздалый стыд, который обдал его жаром, так что Ильин вспотел, сидел весь потный, красный, закрыв глаза.

Комиссия нагрянула как бы внезапно. На самом же деле Ильина предупредили о ее приезде, о составе, для того и существуют свои люди в министерстве. В последний день, однако, вместо Усанкова возглавил комиссию сам Клячко Ф. Ф. — замминистра. Усанков, который приехал вместе с ним, успел предупредить Ильина на всякий случай, чтобы не поддавался, если этот тип «на фуфло будет дергать».

С утра комиссия направилась на комбинат смотреть новую машину в работе. Клячко, как всегда, разносил, придирался к окраске, к дизайну, к рукояткам — тут он был на коне. Все понимали, что в машине он не разбирается, и соглашались с ним, обещали исправить, учесть, обещали горячо, как полагается в таких случаях обещать, чтобы начальству было приятно, что оно приехало не впустую и навело порядок. Ильин шествовал в свите поодаль. Усанков уже тогда обратил внимание, что держится он, словно посторонний. Не хватало располагающей ильинской готовности к улыбке, всегдашней внимательности. На некоторые рассуждения Клячко он позволял себе отмалчиваться. Усанков ткнул его в бок, чтобы привести в чувство. Ильин посмотрел на него долгим задумчивым взглядом, значение которого Усанков не понял. И одет был Ильин слишком вольно — какая-то курточка с молниями, под ней трикотажка без галстука.

Клячко, маленький, толстый, ходил, переваливаясь вокруг машины, собачил инженеров, матерился, поносил начальство, в смысле дирекции, главка, подмигивал рабочим — показывал, что заодно с ними против всяких начальничков. Прием был груб, мало на кого действо-

вал, но Клячко было наплевать. Когда на стенде испытатели прижали его насчет реконструкции, он заявил, что уже выделил нужные средства, показал на директора — с него требуйте! — все это, глазом не моргнув, с полным бесстыдством. И Усанков понимал, что директор не станет отказываться, уличать, слишком дорого ему обойдется. Это был обычный прием Клячко. Преспокойно называть несуществующие цифры, приказы, докладывать о выпуске машин, еще проектируемых, лишь бы выкрутиться. Не терялся, громовым голосом, да еще с укором, давая отпор всяким критиканам.

По дороге в Ленинград Усанков кое-что обнаружил. Ехали в «Красной стреле», в одном купе с Клячко. Это уже потом, обдумывая случившееся, Усанков понял, что билет ему в одном купе с Клячко взяли не случайно. Мирно попили коньячку, и уже перед сном, укладываясь, Клячко, протяжно зевая, вдруг сказал расслабленным голосом:

— Значит, копаешь под меня.

Он сидел напротив Усанкова, коротенькие ножки, сатиновые черные трусы, маечка, белый животик вывалился, физиономия красная от выпитого коньяка, брылья висят, глазки — мышки, улыбчивые, сонные. Еще раз зевнул:

— Напрасно ты, Усанков, надеешься, свалить меня трудно. Я видишь какой кругленький.

Была пауза, затем Усанков протянул, вроде шутливо, вроде скрывая огорчение:

— Эх, Федор Федорович, легковверный вы человек, это нас сравнить хотят.

Погасили свет. Клячко улегся, хихикнул в темноте:

— Напугался? Признавайся, ты на кого надеешься? — И, не дождавшись ответа, захрапел с нежным присвистом.

Позвякивали ложки в стаканах. Иногда занавески пробивало мелькающим светом. Усанков лежал с открытыми глазами. Ему было стыдно оттого, что Клячко угадал его испуг. Ничем вроде не выдал себя, и все же Клячко почувствовал. Усанков с ненавистью слушал его безмятежный храп. Новые идеи, разработки, все, что Усанков выдвигал, Ф. Ф. Клячко из них отбирал наиболее простые, шумные и преподносил от своего имени. За эти годы и Усанков, и другие наработали ему славу специалиста, инициативного руководителя. Никто наверху не знал, что доклады ему сочиняли, правили его

безграмотные обороты, его д и ф о р м а ц и ю, и н ф а р м а ц и ю... что на самом деле он никудышный инженер, откровенный хам, невежда, лгун... Почему они все, куда более знающие, толковые, должны работать на этого жлоба? За что это, за какие такие заслуги Клячко командует ими? Именно такие жлобы и вылезают наверх. Ему давно уже пора было на пенсию, но он и не собирался уходить. В войну он каким-то образом увернулся от армии, пристроился в партийной школе. Заочно кончил пищевой институт и стал карабкаться. Сам Клячко в минуты откровенности признавался приближенным: «Я лично никого не спихивал, я этого не разделяю, при той качке, что была, хватайся, когда подкинет, за то, что рядышком, не упускай, и вся хитрость». И он вытягивал руки, разводил толстые пальцы. Кроме наглости была в нем и другая сила, темная, злая, которую Усанков определить как следует не умел. Исходила эта сила не от Клячко, а от таких же, как он, только еще выше стоящих начальников, таких же дуболомистых, таких же дремучих и цепких мужиков. Они составили как бы незримое сообщество. Соединила их скорее ненависть к «интелихенции». Себя они считали народом. Сообщество это придавало Клячко уверенность, министр и тот избегал связываться с ним, про него Клячко открыто говорил: «Не наш человек, не коренной».

Спал Усанков плохо, встал рано, оделся, раздвинул занавески. За окном мчалась солнечная, вся в бегучем росяном блеске, зелень. Проплывали деревни, окутанные низким туманом. Клячко храпел, жидкие седые волосы его сбились, бабье лицо распустилось, потеряло значительность. Открылось такое пустое, мелкое, что Усанков успокоился. Стало обидно, сколько сил и внимания отнял у него этот ничтожный человек. Так или иначе, уход Клячко из министерства был предрешен, но именно в эти последние месяцы он мог наделать немало бед, Усанкову в особенности, такую подножку подставить, спутать все расчеты... Он смотрел на него и представлял, как можно сейчас придушить Клячко подушкой. Оказывается, он, Усанков, мог бы это сделать с удовольствием и нисколько не мучиться. Вот до чего дошло, думал он о себе, не то с удивлением, не то с опаской. Тут какая-то другая, посторонняя мысль, связанная с Ильиным, промелькнула, но так быстро, что Усанков не мог разобрать, что это было; промелькнула

и исчезла, оставив беспокойство. Ныне, глядя на Ильина, на его отсутствующую физиономию, его снова толкнуло беспокойство, связанное с той ускользнувшей мыслью.

После обеда поехали в КБ. В машине Клячко ошеломлен, был благодушен, пообещал Ильину увеличить штаты, рассказывал анекдоты про чукчей. Рассказывал он хорошо, все смеялись, даже водитель, даже Ильин, необычно хмурый, улыбался, как бы досадуя, что его смешат. Усанков давно знал весь репертуар Клячко, но смеялся — ему казалось, что все так же, как он, притворяются.

В вестибюле их встречали главный инженер, начальники отделов, Ильин представлял каждого. Церемония соответствовала правительственному визиту. Клячко следил, чтобы все было как у больших.

— Гимна не хватает, — тихо сказал Усанков Ильину, но тот и глазом не повел.

Держался почти безразлично, никак не стараясь «подать» свое хозяйство. И внешне Ильин изменился. Пухлые щеки его втянулись, обычно уютно-мягонький, сутулый, он словно бы распрямился, а вернее сказать, натянулся, похудел, все в нем подобралось, исчезла его приветливая улыбка, приятная застенчивость. Пояснения давал главный инженер, сам же Ильин был молчалив, держался отрешенно, холодно, так что Клячко к нему и не обращался.

Шествовали вдоль кульманов, мимо развешанных проектов. Время от времени Клячко тыкал пальцем в чертеж:

— И сколько еще будете возиться? Разве это темпы? Не вижу сдвигов, отстаете. Мн-да, работнички...

Люди краснели, терялись, тогда он хмыкал уличающе:

— То-то, голубчики, думали мне слепить горбатого. Не пройдет! Вам, сукиным детям, лишь бы начальство облапошить, лишь бы показуху всучить...

Всерьез разоблачать он не собирался, его дело было припугнуть, чтобы виноватыми себя почувствовали, — они тут все виноваты, все ловчат, нарушают, приписывают; бей, не ошибешься, все они рвачи и бездельники...

Усанков двигался в свите, чувствуя, как позади остаются недоумения, обиды.

Самого Ильина Клячко не задевал, порой подчеркивал: «Плохо вы исполняете указания Сергея Игнатье-

вича, вы что же, подвести хотите вашего начальника?» Главный инженер пробовал перечить, не то чтобы спорить, а просил доказательств. Это был крепкий, высоченный парень, с черной курчавой бородой, похожий на библейского пророка. Чуть наклонясь над Клячко, он попросил разъяснить, что именно не устраивает замминистра в техническом проекте. Вопрос звучал невинно, но с этой минуты сонливость Клячко пропала, голос металлически зазвенел, серенькие глазки обрели опасный блеск, теперь он двигался и говорил нацеленно на этого молодчика, который к тому же был не в пиджаке, а в клетчатой рубашке и джинсах.

— НИИ виновато, да? Министерство виновато? А вы тут для чего торчите? — гремел Клячко.

Главному бы промолчать, Усанков делал ему знаки, но тот не унимался, стал цитировать приказы министерские, обещания — в одном одно, в другом наоборот, в одном — как здоровому лечиться, в другом — как хрому бегать; не давая себя перебить, приводил фразы, где была полная несусветица, абракадабра.

Клячко по-кошачьи зажмурился, руками развел: ну какой умник, ну и память. На министерство хочет свалить. Удобно? Ты запомни, раздолбай: обещать — дело министра, а выполнять — дело инженера, и не лезь со своим длинным носом... Наставил палец, стал выдавать этому парню (лично ему, грамотею), незаметно, ловко, отделяя его от КБ, припомнив командировку в Англию (у Клячко всегда имелось что-то про запас):

— Ездили, чтобы увидеть, как у нас все плохо? Вот на что валюту тратим. Любо по заграницам шастать. А может, лучше вам вообще уехать? А? Так сказать, на землю ваших предков? Теперь можно, вы не стесняйтесь.

Наступила тишина. Усанков увидел, как главный, этот могучий парень, растерялся, сочные красные губы его в бороде побледнели, Усанков отступил в толпу. Было стыдно и гадко.

А Клячко как ни в чем не бывало шествовал дальше, осматривал новенький заграничный ксерокс, потом отправились в мастерские. Идти надо было через двор. Лил дождь, первый летний дождь, с солнечными просветами, шумный, быстрый. Усанкову дали зонтик на двоих с Клячко. Цветастый дамский зонтик был маловат, и Усанков держал его больше над Клячко. Ильин,

который шел впереди, вдруг обернулся, окинул их взглядом, как бы соединив, выразительно усмехнулся. Усанкову это не понравилось. В мастерской он, не стряхивая намокший пиджак, взял Ильина под руку, сказал на ухо:

— Ты чего из себя целку строишь? Не понимаешь, чего мне все это стоит?

Ильин ничего не ответил.

— Разбердай ты.— Усанков выругался ожесточенно, длинно, но легче не стало.

Членов комиссии Клячко разослал по отделам, сам остался в кабинете Ильина с хозяином, задержал и Усанкова, ничего не объясняя. Развалился в кресле, ослабил галстук, вытер платком шею.

— Жарко, хомут... Да, хомут у меня тяжелый. А если из хомута, да в ярмо, а?— Он подмигнул им.— Дела да случаи, слышали небось?— Он подождал, осмотрел каждого.— Вы же дружки-приятели? Так вот, анонимочку на меня состряпали. Серьезную. Из Ленинграда прислали. Судя по фактам, предполагаю, что из твоего бюро, Сергей Игнатьевич. Погоди, знаю, что не ты, ты от меня ничего кроме хорошего не видел. Вот твой еврей этот, прорезался он сегодня. Похоже?

— Не думаю,— сказал Ильин.

— Он, он, я чую. Матерьяльчик собирал. Цитатки. Что им нейметя. Доверили — твори, старайся. А они? К жене моей бывшей подобрались, ну что за люди пошли, ни совести, ни чести. Схватился со мной. Совсем обнаглел, ну ничего, горшку с котлом не биться...

Он разошелся, слюна летела изо рта, он ораторствовал, набирая скорость, разбегаясь как для прыжка. Усанков искоса следил за Ильиным, чтобы тот чем-то не выдал себя, в таких делах Ильин опыта не имел, не искушен; стоит чуть дрогнуть, Клячко учует, нюх у него звериный, с него всякое станет; может, про главного нарочно блесну закинул.

Пока что Ильин держался невозмутимо, стоял посреди кабинета, руки в карманах, лицо гладкое, чужое, неприятно чужое, выдержке его можно позавидовать, но что-то тревожило Усанкова, было в спокойствии Ильина что-то лишнее.

— ...мы этого анонимщика на место поставим, раз навсегда отобьем охоту! Надо тебе, Сергей Игнатьевич, со всей решительностью ответить на его письмо. Опро-

вергнуть! И так вдарить, чтобы неповадно было, — без всякой подготовки, неожиданно выпалил Клячко.

— А если это не он? — произнес Ильин равнодушно.

— На него и не ссылайся. Ты по фактам бей. На каждый факт есть другой факт... Стесняться нечего с такими подонками. Усанков тебе поможет. Поможешь, Усанков? — И крепко ухватил Усанкова взглядом с прищуром, еле заметным, предупреждающим.

Усанков зашагал по кабинету, стал к окну, не оборачиваясь сказал:

— Надо бы ознакомиться сначала.

— С кем? Со мной? Значит, ты мне незнакомщик? — задробил по спине короткий с угрозой хохоток. — Клячко.

Внутри Усанкова жарко рванулась злость. Но тут же осаждало, притормаживая, устройство, которое умело подавлять любые эмоции. Оно срабатывало автоматически. Прекрасное предохранительное устройство, мгновенно просчитывающее все «за» и «против», устройство, отлаженное годами службы. Благодаря ему он продвигался, восходил. Но он и не представлял, какую оно набрало силу.

— Не крутись, Усанков. Эх ты, бедолага... Я вам проектик ответа заготовил. Саму анонимочку мне позже раздобудут. — Поясняя, он отщелкнул клапан своей кожаной папки, достал бумагу. Усанков взял, стал читать. Текст ответа был наглый, грубый.

И хорошо, соображал Усанков, чем хуже, тем лучше, такое только поддержит анонимку. Если бы Ильин согласился подписать...

— Берите за основу. Можете не стесняться, меняйте, добавляйте, — пояснял Клячко.

Ильин бесшумно ходил по ковровой дорожке, круто, по-военному поворачиваясь в конце, не обращал ни на кого внимания.

— Ведь проверять будут, — предупредил Усанков.

— Не твоя забота, каждый проверщик кому-то подчиняется, верно? Вот комиссия наша приехала, можно туда ее повернуть, а можно сюда. — Клячко со значением подмигнул Ильину. — Вы учтите, други двуногие, моя рубаха не в этой стирке. Ясно? Эх, знали бы вы, что они там наворотили. Форменные гниды. Давить их. Бородач твой, это определено он!

Убежденность его успокоила Усанкова, пусть валит на главного. Усанков протянул бумагу Ильину. Это бы-

ло совсем не обязательно. Позже, вспоминая случившееся, он всякий раз останавливался на этом своем дурацком жесте. Нечего было торопиться. Видать, слишком его раздражала отрешенность Ильина, полная его безучастность.

Бумагу Ильин взял двумя пальцами, держа на вытянутой руке, смотря на нее сбоку.

— Да ты читай, читай, — нетерпеливо потребовал Клячко.

— Зачем?

— А как же, подписывать придется, — ласково протянул, почти пропел Клячко. — Дорогой ты мой, Сергей Игнатьевич, ты же умный мужик.

Ильин продолжал держать бумагу двумя пальцами брезгливо, подальше от себя. Можно было подумать, что ему наплевать на Клячко. Но такого не могло быть. Он всегда боялся Клячко. Усанков это знал. Все боялись Клячко. Даже он, Усанков, и то боялся Клячко. Клячко был еще опасен, ранен, но опасен, тем более опасен, сейчас надо самим не подставиться, время, время надо выиграть. Ильин прекрасно это все понимает, учитывает, он всегда был осторожен. Непонятно, что с ним происходит, какую игру он ведет.

Следовало как-то встряхнуть Ильина, чтобы он очнулся, увидел настороженность Клячко. Ночной разговор в купе не давал покоя, Усанков, как говорится, был под колпаком, и действовать ему теперь надо весьма осмотрительно. Должен же Ильин понять, что придется пожертвовать главным инженером, подписать эту поганую бумагу, любые затраты оправдают себя. Лишь бы Клячко ничего не заподозрил раньше времени. Иначе начнет рыть и докопается, до всего докопается, он упорен, как кабан.

— Сделаем, Федор Федорович, выполним интернациональный долг, — как можно веселее сказал Усанков и прищелкнул пальцами, показывая, что есть подходящая идея.

Ильин никак не отзывался.

— Верно, Серега? — продолжал Усанков тем же тоном, подошел к Ильину, чтобы хлопнуть его по плечу, но не решился, что-то помешало. Наткнулся на невидимую стенку. Это было странно. Он привык командовать Ильиным не задумываясь, подсказывать, заставлять...

Маленькие выпученные глазки Клячко соединили их обоих оценивающе, кресло заскрипело под его тяжестью.

— А мне все равно, — вдруг пропел он. — А мне все равно, а мне все равно. — Он поднял пухлую руку и серьезно, по-доброму сказал: — Это я вам даю шанс, земляки.

В кабинете стало душно. Неподвижный воздух сгустился. Усанков оперся о мраморный подоконник, положил руки на прохладный камень. Солнце жарко блестело в тяжелой бронзовой люстре.

КБ помещалось в старинном особняке. Кабинет сохранял красного мрамора камин, на котором стояла китайская ваза. Дубовый потолок имел резные карнизы, наборный паркет повторял рисунок потолка. Новенькая мебель, желтенькая, фанерная, тонконогая, показалась Усанкову хилой. И Клячко, и все они не соответствовали этому кабинету.

Ильин разнял пальцы, последил, как бумага, плавно кружась, опустилась на стекло.

— Акция была бесчестной, — произнес он, ни к кому не обращаясь. — Кем бы ни был царь...

— Чего? — не понял Клячко. — Ты про что?

Ильин дернул головой, осмотрелся.

— Позвольте заметить, там все соответствует.

Клячко рассердился:

— Где там?

— В анонимке.

— Тебе что, показывали?

Ощущение опасности подступило к Усанкову, сердце застучало, он оторвался от подоконника. В это время Ильин сказал мягче:

— Это я ее писал.

— Анонимку? Ты? Кончай трепаться. — Клячко с облегчением повалился обратно в кресло.

Усанков вышел вперед.

— Выручить он хочет своего главного, вы разве не видите, Федор Федорович. Посмотрите на его героическую физиономию. Пострадать от начальства, самое наилучшее, если от министерского...

— Не мельтеши. — Клячко махнул рукой, отстраняя Усанкова. — Так ты серьезно, Сергей Игнатьевич? И доказать можешь?

— А зачем мне доказывать? — удивился Ильин.

— Почему же анонимка?

— Побоялся подписать, — отчеканил Ильин бравым, совершенно не подходящим для этих слов голосом.

— Теперь что, не боишься?

— Теперь нет.

— Ишь ты, куда ж твоя боялка делась?

— Долго рассказывать. — Ильин махнул рукой, неподвижное лицо его вдруг растопила улыбка. — Не беспокойтесь, Федор Федорович, я то же самое напишу от себя.

Клячко встал, оперся обеими руками о стол. шея его багрово надулась.

— А почему признался?

Буквально на глазах внешность Ильина менялась неузнаваемо. Никогда Усанков не видал его таким стройным, рослым.

— Потому что хватит! — И голос был не Ильина, молодой, свежий. Лицо его разругалось, похудевшее, оно вытянулось, освободилось от дряблой мягкости, стало бледным и чистым.

— Почему написал, могу понять, — хрипло соображал Клячко. — Сейчас все пишут. Поднажали на тебя. Решил, что кончается Клячко. А вот признался почему? Уж до конца открывайся. Нет, не верю, ты меня разыгрываешь.

— Зачем же, — весело сказал Ильин. — У меня второй экземпляр имеется. — Он показал на сейф. — Показать?

На лбу у Клячко выступили набухшие вены, глаза налились, все в нем раздулось, лилово потемнело.

— Верю. Я-то тебе верю, всегда верил, я к тебе всей душой был. Что тебе Клячко плохого сделал? За что ему плюнул в душу? Свои люди! Я тебя вытащил, поднял, орден дал, я тебя в коллегия назначил... — От обиды ему перехватило горло. — В открытую пошел на меня. Значит, я даже анонимки не достоин. Перчатку мне бросил. За что?

Он всхлипывал и стучал кулаком по столу, не столько даже от поступка Ильина, сколько от непонятного его признания, от этой безбоязненной веселости. Должна же быть какая-то причина. Клячко твердо усвоил, что в действиях каждого человека за красивыми словами стоят самые простенькие причины — зависть, погоня за деньгой, должностью... Анонимка — это Клячко понимал, анонимку он и сам мог написать, но признаться?

На то должна быть причина серьезнейшая, и причину эту разгадать было необходимо.

— Я же тебя на дерьмо сведу. Всю жизнь будешь ходить в клеветниках, не отмоешься. Ты, может, думал, что объявиться выгоднее, да кто тебя защитит, кто?

Оттого, что Ильин не пугался, стоял руки в карманы, смотрел благодушно, от этого Клячко кипел, задыхался, его вполне мог хватить удар. В другое время Усанков бы сжалился, поднес бы старику воды, но тут и не шевельнулся. Шевельнулась даже мыслишка: «И хорошо, чтобы удар». Но больше его занимало то превращение, что на глазах происходило с Ильиным, он все более кого-то напоминал, что-то раздражающе знакомое появилось в нем. Какая-то свобода и решительность, и счастье этой свободы, как будто он только что получил и все время опробовал движениями: хочу — улыбаюсь, хочу — суплюсь, лицевые мышцы не напряжены, принимают то выражение, какое им нравится, не согласовывая с предохранительным устройством; нет противного ощущения застывшего жира на лице и этой постоянной готовности согласно кивнуть. А самое наибольшее счастье — посреди разговора повернуться и уйти, просто так, свободный человек, скучно стало слушать вашу ругань, Федор Федорович, ваши угрозы, скучно, и вся недолга. Повернулся и вышел, как сейчас Ильин, а ты, Усанков, стой и слушай, тебе деваться некуда, ты переминайся с ноги на ногу.

— Вернуть его! Ильин! — закричал Клячко, но вдруг опомнился, уставился на Усанкова. — Он что, блаженный? А может, у него лапа появилась? На что он надеется? Тебе, небось, известно. Взял и засветился, с чего это? Тут что-то не то, а?

Разговаривать Клячко не умел, так чтобы на равных, слушать, отвечать, он привык спрашивать и говорить. То есть сообщать и требовать. Он говорил — его слушали, ему начальство говорило — он слушал. Так было на всех этажах и всегда. С ним не разговаривали — и он не разговаривал.

Никакого разумного объяснения случившемуся Клячко найти не мог. И, видно, Усанков, за которым он цепко следил, тоже подрастерялся. Ильин, мужик осмотрительный, равнодушный, с чего он взвился? За добро не жди добра, старая эта истина хоть как-то утешала Клячко своей горечью, она позволяла не щадить ни Ильина, ни Усанкова, никого не жалеть, тогда тебя

будут чтить и даже любить. С этим Ильиным, выходит, он обманулся. Пострадал. Но это не было ошибкой. Он, Клячко, не совершал ошибок. Все, что он делал, было правильно. Не он ошибся, а ошибся Ильин, поспешив высунуться. В сущности, это он, Клячко, выманил Ильина своим предложением. Подсознательно выманил, инстинктивно, потому что у Клячко безошибочных.

— Как я его раскусил? Я ведь вас насквозь вижу, — объявил он Усанкову. — Волки вы, хищники. Накидываетесь, как только учуете, эх вы... — От сочувствия к себе слезы выступили у него на глазах. Зрелище было необычное.

— Ну что вы, Федор Федорович, это у Ильина какой-то срыв, какой он хищник.

— Срыв?.. С ним что, бывает?

— В каком смысле?

— А ты мне рассказывал про этих... вчера... — как бы безразлично напомнил Клячко.

Брови Усанкова поднялись, и лицо его остановилось.

— Господи, он похож на того... поручика, — пробормотал он и рванулся к двери, но Клячко с неожиданной ловкостью опередил его, преградив дорогу...

Ильина он нашел у главного инженера. Усанков вошел без стука. Они стояли у окна. Лицо, лоб у главного инженера были в красных пятнах.

— Кто там? Нельзя, — сказал Ильин.

Усанков не обратил на это внимания. Тогда Ильин подошел, взял его под руку, вывел из кабинета. Они спустились вниз. Ильин посмотрел на часы.

— Мне в Спасскую церковь надо, — сказал он.

Усанков не удивился.

— Я тебя провожу.

Шли молча, быстро, через какие-то проходные дворы, разрытые проулки. Две молодые цыганки закричали им со смехом: «Сергей, иди ко мне скорей!» По бульвару шествовала процессия старух с собачками.

Усанков никогда не понимал этот город. Во всех остальных городах он чувствовал себя столичным жителем, всюду царила провинциальность; ленинградцы тоже, при всем их гоноре, плохо разбирались в движениях Власти, но провинциальной жажды быть в курсе, все

знать, приобщиться — не было. Каким-то образом они уберегли независимость.

Старинные дома, обшарпанные, в ржавых подтеках, сохраняли былую красоту. Черты былого можно было заметить в балконных перилах, в кованом узоре полуманых ворот, где-то под крышей выступали остатки герба, облупленные львиные головы. Бывая в Ленинграде, Усанков ощущал какой-то упрек. Вот и сейчас, шагая за Ильиным по площади к белому раскидистому собору, с зелеными куполами, отгороженному странной оградой от пушек и цепей, он испытывал смутную виноватость перед этим городом, перед высокомерной его красотой, недоступностью. В сущности, Усанков всегда оставался здесь чужим. Нигде не был чужим, а здесь был, здесь ощущал себя деревенщиной.

На паперти перед ними невесть откуда появился сухонький сгорбленный старичок в зеленом вельветовом пиджачке. Вид у него был обтрепанный, как у той нищей братии, что побиралась у входа. Отличали его толстые очки и бесшумная легкость, невесомость. Ильин почтительно поздоровался с ним за руку, представил как Альберта Анисимовича. Усанков назвал себя, буркнул фамилию, но старичок сказал дребезжаще:

— Весьма приятно, Игорь Андреевич, — и церемонно наклонил голову в беленьком пуху.

Усанков слушал, как они заговорили о каком-то Витяеве, который посылал фотографию с портрета какого-то Немировского. Ильин удивлялся и радовался тому, что это Витяев, нетерпеливо развязывал папку, где была фотография, никак не мог справиться с тесемками, а открыв, застыл испуганно.

— Ему тут лет тридцать, — обратился он к Альберту Анисимовичу неуверенно.

— Думаю, это перед кампанией.

Потом Ильин протянул фотографию Усанкову. В овале резной рамы был портрет офицера с крохотными усиками и длинными курчавыми бакенбардами. Выгнутые тонкие брови придавали его лицу наивность и мягкость.

— По-моему, похож? На меня?

Усанков смотрел то на портрет, то на Ильина — те же вздернутые губы, тот же нос; пытался вспомнить, каким был Ильин лет двадцать назад, двадцать с лишним, когда они познакомились. Они сидели в номере у Тимофеева — шикарный был номер-люкс с тиснены-

ми обоями,— они трепались, пели песни, а Ильин распевал частушки, срамные, а кроме того, они ругали Клячко... Бог ты мой, уже тогда был Клячко! Министры сменились трижды, Тимофеева похоронили, а Клячко сносу нет.

— Ничего общего,— ожесточенно сказал Усанков.— Не похож, не та порода. Какой из тебя гусар!

— Нет, ты сравни.

— Сравниваю, у тебя брюшко, у тебя плешь, сутулый, куда вы, папаша, лезете? А в те годы ты совсем был тюха-матюха. Это теперь понабрался номенклатуры.

— Врешь ты все,— сказал Ильин.— А как по-вашему, Альберт Анисимович?

— Смотря какое сходство вы ищете,— помолчав, неохотно ответил старик.— Все люди, да всяк человек сам по себе.

— Вы, папаша, напрасно эту тему раздуваете,— сказал Усанков угрожающе.— С какой целью?

Альберт Анисимович слушал его, склонив голову, изображая робость и послушание, однако глазки его посматривали из-под бровей с насмешливым интересом.

— Ищет человек, спрашивает, вот я и осмелился дорогу показать. Хотя и предупреждал.

— Куда показываете? Куда? Да и почему берете на себя? Какой из вас указчик?— уже совсем грубо одернул его Усанков.

Тогда старик отступил в сторону, галантно махнул рукой, поклонился, как бы уступая путь.

— Не могу перечить вам, тем более вы лицезрели поручика самолично...

— ...Допустим, нарушали законы,— вдруг заговорил Ильин, продолжая всматриваться в портрет.— Подлейшим образом проникли, враньем, обманом и прикончили. Все на лжи было. Позор. Согласен. Возникает другой вопрос: почему на Сталина ни одного покушения не было? Никого не нашлось. С собой кончали от ужаса, от стыда. Стрелялись. От страха. А на диктатора руку не осмеливались поднять. На царя, помазанника божьего, не побоялись. Правда, скопом навалились. И то стыдно, и это опасно.— Он говорил негромко, словно бы сам с собой.— Что ж это — ни одной души отчаянной, чтобы восстать...

— Дошло! Добралось! — воскликнул Альберт Анисимович. — Правильно. Всякому своя пора должна быть стыднее. Ведь и в Ленина несколько раз стреляли. А как же... Резонно. Война. Резон! Из гвардии в гарнизон! А потом дошли до рабства подлого.

— Извините, Альберт Анисимович, нам пора, — сказал Усанков. — У нас правительственная комиссия. Горячка.

— Разумеется. Какой может быть разговор.

— Вы мне позвоните, — сказал Ильин.

Альберт Анисимович поправил очки, слабо покачал головой.

— Вряд ли. Времени у меня не осталось.

— Как же так? — забеспокоился Ильин. — Мы с вами должны еще выяснить. У меня ведь прямых доказательств нет.

— Вы уж меня простите. — Альберт Анисимович подошел к Ильину, заговорил с ним тихо, почти шепотом и, поклонившись Усанкову, удалился в приоткрытую дверь собора.

— Надо мне дождаться его, — сказал Ильин.

Усанков посмотрел на часы.

— Невозможно.

— Это для меня очень важно.

— Что еще случилось?

— Мне надо узнать про свою мать, про себя.

— Шеф уже в гостинице, он рвет и мечет. Нам торопиться надо, пока он...

— ...от этого многое зависит, — продолжал, не слушая его, Ильин, — если она была правнучкой...

— ...не стал вызывать твоих хлопцев и обрабатывать их, среди них быстро найдутся...

— Мне надо узнать, кто я такой.

— Могу сказать: ты мудака, ты идиот, если ты до сих пор не понял это.

— Мне наплевать на твоего шефа и на все его приготовления.

— Послушай, Серега, ты, конечно, герой, ты смельчак, но поехать надо, я тебя прошу.

— Зачем?

— А затем, что мы приедем и ты подпишешь бумагу, которую он сочинил, — отдельно, чеканя каждое слово, проговорил Усанков. — И порядок. Все будет забыто.

— И потом? — спросил Ильин. — Что будет потом?

— Ты погонишь в шею всех этих иллюзионистов, артистов, священников, мошенников.

— Какие артисты, это не артисты, ты знаешь.

— Это были артисты, артисты, — упрямо повторил Усанков.

Ильин посмотрел на него с интересом.

— А ты боишься признать.

— Я за тебя боюсь.

— За меня?

— Ты помнишь, как сделали Алешу Курочкина?

Он не мог не помнить. Сперва Курочкину приписали склоку, потом клевету. Курочкин не унимался и доказывал, что министерские заправки заключают невыгодные договоры с австрийцами не случайно, они получают за это подарки... Однажды вызвали санитаров, тут же в министерстве связали его, вкатили укол и увезли. С тех пор он мыкается по психушкам.

— Думаешь, Клячко постесняется? Он состыковал твою выходку и твои привидения и понял, что на этом можно сыграть. У него нет запретов.

Страх должен был вылезти. Сколько бы ни хорохориться, у каждого из них внутри укоренился страх, родимый, с которым они выросли. Тот самый, липкий, потный, что накинудся на Усанкова ночью в купе.

— Откуда он узнал про поручика и прочее?

— Я рассказал. Сидели, болтали в поезде. В порядке анекдота.

— Значит, я тебе обязан. Спасибо.

— Кто же знал?

— Ты его не разуверил? Чего ж постеснялся? Ты-то мог подтвердить.

— И что? Артистов принял за привидения — смешно. А дальше не смешно. Утром резвился, к обеду взбесился. Ты сам разбудил чертей. У него теперь одно объяснение — псих. И выход один — упечь тебя в больницу... Поступки нелогичные, нес чушь. Все это, конечно, если не пойдешь на мировую...

— Не упечет, — сказал Ильин спокойно.

— Почему же?

— Ты не позволишь.

— Я? Я ему не указ.

— Ничего, ты постарайся.

Усанков заложил руки за спину, крепко сцепил пальцы, тон Ильина удивил его нагловатостью, вроде никак не свойственной их отношениям, где всегда командовал Усанков.

— Ишь ты, как уверен.

Ильин похлопал себя по карману куртки.

— Забыл про свое свидетельство? Так что если в дурдом, то вместе отправимся.

Усанков от души расхохотался.

— Молодец, Серега! Отличный шантажист из тебя получился!

Разгадка удручала своей простотой и в то же время обрадовала Усанкова. Потому что страх не мог никуда деться, он сидел у Ильина в печенках, селезенках, в самом нутре, а вот то, что он, Усанков, недооценивал Ильина как противника, это факт. Никогда Ильин не был в противниках, и сейчас Усанков по-новому как бы просчитывал Ильина: доверчив, долго сопротивляться не может, умен, но душевно ленив, инертен...

Белые двери церкви скрипели и хлопали, когда приоткрывались; оттуда доносилось пение, и волна нагретого свечного воздуха обдавала Усанкова знакомым сладковатым запахом.

— А тебе не надоело? — вдруг спросил Ильин.

Он сразу понял, о чем это; он не привык к таким вопросам, он вообще не любил отвечать, он предпочитал спрашивать. Он нахмурился. Ильин смотрел на него с такой участливостью.

— Надоело, — сказал он. — Еще как надоело, — и тотчас оборвал себя. — Все равно надо возвращаться.

— Зачем тебе это?

— Не мне, а тебе.

— А тебе зачем?

— Мне... — Усанков подумал. — Иначе смысла не будет.

— Смысла в чем?

— Если отступить, смысла не будет во всей нашей борьбе, — ответил он скорее дежурно, чем уверенно, потому что объяснить это было невозможно.

В том-то и беда, что никому не объяснишь. Один лишь Клячко мог его понять. Потому что Клячко знал всю мерзость сделок, лжи, обманов, все, в чем участвовал он, Усанков. И то Клячко не все знает. Потому что

были и собственные интриги, сговоры, потому что надо было сохраниться. Не просто сохраниться, надо было добраться до ступени, с которой можно было начать действовать. Чем выше он поднимался, тем больше перед ним открывалось низости, тем больше приходилось в них участвовать. Два года назад ему доверили поехать на юг заказать ковер с вытканым портретом супруги крупнейшего человека. Потом доверили докладывать про завод, который досрочно построен, хотя его еще и в помине нет, — и все получили за него награды. Когда-то он поклялся себе уничтожить всю эту кодлу во главе с Клячко. Теперь, когда они зашатались, когда еще не много, и эта клика падет, нельзя отступить. Чего ради? Нельзя дать уйти Клячко тихо, спокойно на союзную пенсию, с почетными проводами, с дачей в Жуковке, со всеми наградами. Не выйдет, он добьет Клячко в назидание всем его дружкам, лишь бы не промахнуться, ударить наверняка. Отказаться от этого удара? Тогда вся пакость, в которой он участвовал, не получит оправдания. Тогда действительно прощения ему не будет. Останется он карьерист, хапуга, лжец, пособник Клячко, такой же преступник.

Ничего этого Усанков не мог изложить. Он не привык откровенничать, тем более разбираться в своих переживаниях. Не было в этом надобности. Со своими чувствами он умел справляться, они гасли внутри, надежно прикрытые его иронично-озабоченным видом. «Технарь!» — посмеивалась над ним жена. Технарь был удобный образ, имидж, как называют американцы. Технарь — значит поглощенный делами, проектами, никаких сомнений в себе. Его психика работала безупречно, на нее не влияли настроения, семья, погода, политика и тому подобные помехи. Он следил за своим организмом: теннис, бассейн, лыжи, не переедал, был в хорошей форме. Они с Ильиным одноклассники, а выглядел Усанков всегда лучше. ...Тон Усанков выбрал сочувственный, произошла глупость, с кем не бывает, не сдержался, Клячко спровоцировал, все понятно, Ильин считал, что благородно поступает, признался, очистился и всякое такое. На самом же деле он подыграл Клячко, выручил его. С анонимкой бороться сложно, если же автор известен, тогда все проще, можно его оклеветать — мол, мстит, склочник, псих, распутник. Метод

отработан. Станут заниматься не письмом Ильина, а самим Ильиным. Анонимщик, тот неуязвим, его не ухватишь, не опорочишь. Теперь, когда Ильин подставился, в ход пойдут самые подлые средства. Клячко бандит, он признает только силовые приемы...

Получалось логично, убедительно, но Усанкову казалось, что все его слова безразличны.

— Поскольку мы ввязались в войну, то надо уметь и отступать. Сплошных удач не бывает.

— На войне тоже должны быть правила, — сказал Ильин. — Их нельзя переступать.

— Раньше ты мог. Написал ведь анонимку. И неплохую. Две недели назад. И нате, все испортил. Чего тебя укусило?

— Стыдно стало. Мне теперь все чаще стыдно. Стыдно и то, что раньше стыдно не было. — Ильин ожил. — Куда ни погляжу — стыдно. Как мы разговариваем между собой. Как врем. Кого ни слушаю — стыдно. Кругом ненависть. Главного моего обидел Клячко. Понятно. Он ненавидит Клячко. Клячко — его. Ты — Клячко. У тебя борьба с Клячко стала целью. Все борются, все готовы на все идти. Все жаждут отомстить, разоблачить, и чем дальше, тем злее. Это же капкан.

В их среде считалось неприличным заводить такие разговоры. Интеллигентская дребедень, стыд, совесть, не похоже все это было, не свойственно Сергею Ильину, который для Усанкова был человеком дела прежде всего. Их гордость и преимущество состояли в том, что они не выступали с речами, не занимались политикой, философией, они вкалывали. Плохо ли, мало ли, но они оборудовали цеха, обеспечивали электропроводом, моторами, двигателями бумажные комбинаты, печатные машины...

Он вспомнил свой недавний разговор с американским фирмачом. Обсуждали условия стажировки. Усанков, несмотря на свой плохой английский, понимал этого красноногого верзилу с первых слов, все решилось просто, быстро, куда проще и приятнее, чем со своими министерскими боссами. Американец говорил «о'кэй», как прихлопывал печатью свою подпись, и Усанков понимал, что этого «о'кэй» совершенно достаточно. От американца исходило добродушие и дивное ощущение

хозяина, он сам распоряжался собою, своим делом, и это был не просто хозяин своего небольшого бизнеса, это был еще и главный человек страны, потому что такие, как он, хваткие практичные люди, были в чести, от них зависела деловая жизнь, и они могли выложиться во весь свой талант, показать всю свою силу, ловкость, сообразительность. А мы возмемся друг с дружкой, барахтаемся, связанные по рукам и ногам, и кичимся своими нравственными терзаниями, без них ты не интеллигент.

— ...высший суд существует не только для верующих. Для нас тоже. Суд потомков, это же загробный суд.

— Ты что, верующим стал?

Ему хотелось смутить Ильина, но Ильин ответил доверчиво:

— Стал бы, да не получается.

Женщина, рыжеволосая, гладко зачесанная, сойдя с паперти, обернулась, трижды перекрестилась. Низкое солнце вспыхнуло в ее волосах, словно огнем обдало и осветило тайную красоту ее лица. Усанков подумал, что вот так крестились и сто, и триста лет назад, когда не было этого собора, не было еще Петербурга, и через сто лет люди будут так же истово креститься, несмотря на космические станции и компьютеры.

— Зайдем? — сказал Ильин, и Усанков неожиданно согласился.

В церкви было немного народу. Служба кончалась. Наверху было светло, внизу горели свечи, в притворах темно поблескивало серебро окладов, белели кружевные салфетки. Священник читал молитву, и этот хрипловатый голос, запах ладана, каменные плиты пола всколыхнули что-то давнее, детское в душе Усанкова, чья-то рука ему припомнилась, рука на его плече и такой же голос, он ребенком стоит, ему ничего не видно, только когда все кланяются, опускаются на колени, открывается золотое сияние. Невесть когда это было и невесть где — может, в их деревенской церкви, но что-то очнулось в нем, какая-то теплая печаль, как сожаление об этом забытом детском чувстве восторга и какого-то благоговения, когда он тоже молился вместе с бабкой, о чем молился? Просил ли он что, просто повторял таинственные слова или шептал, поверяя что-то свое... «Гос-

поди, как давно это было», — ужаснулся Усанков и увидел свою жизнь законченной и время, когда не будет ни Ильина, никого из друзей, ни жены, и самого его не будет. Время это выглядело странным, пустынным, что-то в нем должно было, конечно, остаться от Усанкова, как от деда остались в памяти наигрыш на балалайке и несколько частушек, ничего больше детская память не сохранила. Почти от каждого что-то остается. Правнукам достанется смутное предание о чиновнике, который с кем-то там боролся, с каким-то прохиндеем, потратил на это годы и сам погряз. Гордости от такого предка не будет. Ничем он не прославился. Интриги, пустые хлопоты, в общем и целом сочтут, что все те деятели друг друга стоили, довели страну до ручки. Все лгали, обманывали, сцепились — не разобрать, кто за что, кто прав, кто виноват, одна шайка-лейка. А ведь того Игоря Усанкова природа кое-чем наградила, да все так и пропало.

Впереди у колонны стоял Ильин, каменно-неподвижный, ушедший в себя. Голову наклонил, смотрел в пол, словно на похоронах, словно в почетном карауле застыл.

Высокие женские голоса пели «Господи помилуй». Голоса были слабые, и это было чем-то трогательно, «Господи помилуй», — повторяли они то часто и быстро, то протяжно, вкладывая в слова эти мольбу и надежду. «Господи помилуй», — невольно стал повторять Усанков, представляя свои похороны, гроб, обитый шелком, кружевами, впрочем бумажными, да и шелк не шелк, только цветы настоящие. Гражданская панихида, речи, все то же искусственное, потому что никто не будет знать об истинном замысле жизни Игоря Усанкова, так и не успевшего... Как детективный роман без развязки. Все заподозрены, все под следствием... «Господи помилуй!» — повторял Усанков, ужасаясь несправедливости такого конца. «Господи помилуй», — уже всей душой обращался он, глядя в пронизанную дымными лучами высоту купола.

Нагретый свечами воздух струился, темные лики икон дрожали, шевелились как живые. Опрятно начищенная бронза отражала крохотные огни, все кругом золотисто мерцало. «Господи, помилуй меня, пока не свершится задуманное!»

Рядом явственно кто-то шептал: «Господи всемогущий, спаси нас!»

Это не мог быть Ильин. По лицу Ильина видно было, что он ни о чем не молил, не просил, он слушал это песнопение, вдыхал эти запахи, куда-то уплывал, растворяясь в этом неярком блеске.

Усанкову стало жаль и его, Ильина, не понимающего, что его ждет. «Господи, помилуй и его,— подумалось Усанкову,— помилуй и вразуми. Именно вразуми.— Ему нравилось это слово.— Пусть Господь вразумит его, иначе придется его убрать с дороги. Хоть бы он убоялся...»

Они спустились в церковный садик. Тонкую ограду украшали стволы старинных пушек. На одном из дубов чирикали, верещали воробьи. Все ветки были усыпаны ими. Ильин смотрел на это кричащее дерево, блаженно улыбаясь.

— Ну как, поехали?— сказал Усанков.— Время-времечко идет.

— Ты помнишь того поручика?— спросил Ильин.

Усанков помедлил, разгадывая смысл вопроса.

— Помню,— сказал он решительно.

— И считаешь, что я не похож?

— Нисколько.

— Да... Слишком поздно мы встретились с ним,— добавил Ильин.

— Он к тебе не имеет отношения.

— Может быть... Теперь это не важно,— сказал Ильин. Он порылся в кармане, извлек смятый конверт.

— Бери.

Усанков сразу узнал свое письмо, вспомнил, как не хотел писать его, словно предчувствуя.

Жест, с которым Ильин протягивал ему письмо, выглядел барственно, словно милостыню подавал. Надо было бы пожать плечами, тоже свысока. Вместо этого схватил его, будучи не в силах удержаться, тут же развернул, проверяя, не копия ли,— все это поспешно, постыдно-обрадованно.

— Чего-то вы раздобрились, ваше благородие,— сказал с ненавистью к себе и еще больше — к Ильину.

— Бери, бери. И не бойся. Ничего с тебя не спрошу.

— Ах ты, благодетель грошовый, что ты из себя строишь. Я-то знаю тебе цену, распиндьяй ты...— Усанков выругался, не сумев сдержать себя.— У тебя и вправду мания. Кто боялся, кто? Ты боялся, слабак

ты, себе не поверил. Без моего письма не мог. Свидетель тебе нужен был. Дохлая у тебя вера, на моей бумажке заторчала. — Он с яростью стал рвать письмо, складывал и рвал, складывал и рвал. — Все! Другого свидетельства не будет.

— Вот и хорошо, — равнодушно сказал Ильин.

Они молча и быстро ходили вдоль паперти. Усанков старался справиться с собой. Обижаться, ссориться — все это давно не применялось в деловых отношениях, это была непозволительная роскошь, да и бесполезная. В конце концов, Ильин заслуживал благодарности.

— Ладно, Серега, меня бабка учила: бесы в воду — пузыри вверх. Что означает: давай мириться. — Усанков пригладил волосы, вздохнул — словом, сбросил с себя ношу. — Давай так, ничего не было, никого мы не видели, все позабыли.

— И все можно начинать сначала. Кончили одно вранье, начинаем другое. А если это был знак?

— Кому? О чем?

— Мне... напоминание, — с запинкой сказал Ильин. — А тебе... тоже.

— Чушь это все собачья! Астрологи! Экстрасенсы! Предсказатели! Исцелители! Расплодилась нечисть, как мухи вьются над гнилью. Верный признак разложения нашего общества.

— Передо мной что-то приоткрылось, — сказал Ильин. — Я решил поверить и пойти до конца.

— Куда? — насмешливо спросил Усанков. — Серега, понимаешь, что ты горишь синим пламенем. Тебе спастись надо. Если не дурдом, то все равно он тебя доконает. Это мы с тобой тут лялякаем, а он времени не теряет. Он твоих гавриков обрабатывает сейчас, чтобы они на тебя строчили. Он тебя ославит так...

— Меня Клячко больше не интересуется.

— Тебя выгонят. Сперва снимут, а потом станут доводить.

— Это уже не имеет значения.

— А что, что имеет значение?

Перед ними вдруг очутился Альберт Анисимович. Откуда он взялся, Усанков не заметил, скорее всего из той толпы старушек и калек, что были на паперти. Приоткрыв рот, он застыл, как бы вспоминая что-то, затем произнес нараспев:

— Горстку вечерних чувств, что нам осталось, истратим на уход туда, где мир продолжается без людей!

— Я вас все же прошу,— сказал Ильин.— Вы мне обещали еще в самом замке показать.

— Да, они там кое-что нашли... Но увы, голубчик, мне бы успеть закончить свои земные дела, помирать не люблю на ходу.— Он сказал это весело.— И вам не рекомендую.

— Вот и чудненько,— сказал Усанков тоном председательствующего.

— Замолчи,— оборвал его Ильин.— Вы не должны меня сейчас оставить, Альберт Анисимович.

Альберт Анисимович, наклонив голову набок, поптичьи осматривал их обоих.

— Позвольте спросить, кто ваши предки,— неожиданно спросил он.— Был такой священник Усанков в здешнем приходе.

— Мы из мужиков. Из псковских,— язвительно сказал Усанков.— Так что не клейте мне.

— А вы ведь слукавили насчет портрета.— Темное морщинистое веко его за стеклом подмигнуло. И, не дожидаясь ответа, он повернулся к Ильину.— Оставить вас, наверное, грех. Но и уводить вас грех.

— Все равно,— сказал Ильин.— Хватит. Все равно я уже не участник.

— Чего ты не участник?— спросил Усанков.

— Тараканьих бегов ваших.

— Уже ваших?.. А ты откуда вылупился? У нас, значит, мерзость, вранье, суета. Где ж это можно нынче жить по чести? Адресок имеешь? С этими вот, бомжами? За чей счет вы жить изволите, а? И соблюдать чистоту? А я вот не соблюдаю. Не в состоянии. По уши в грязи, да-с!— Он весь изогнулся, искривился, руками завертел, галстук его бордовый и тот винтом свернулся.— Я бы тоже хотел, а вот должен вернуться, и если ты не согласишься подписать бумагу, ту самую, если не соизволишь анонимочку оставить анонимочкой, то сяду сочинять акт комиссии на тебя и твое бюро. Будем смешивать тебя с дерьмом. Я ему формулировочки буду подсказывать. Обязательно буду. Такие заверну, чтобы ты не отмылся никогда. А как же. Что, не хорошо? Так ты же правды хотел. Вот и получай, чего кривишься. Буду угодничать, тебя продавать, чтобы сохраниться.

Вот, дорогой Альберт Анисимович, как оно отрыгнется...

Никогда не позволял себе так откровенничать. Защитное устройство, со всей блокировкой, предохранителями, не срабатывало. Сигналы доходили, а он продолжал выворачивать себя наизнанку, получая удовольствие.

— ...Ты у нас за всех стыдишься. Стыдильник всеобщий. А за себя тебе не стыдно? Почему же? Ведь это ты заставляешь меня продолжать, да не то чтоб продолжать, это я из-за тебя должен буду на брюхе выползать, по дерьму елозить. Мне некуда укрыться — ты себе предков придумал, а у меня нету!..

Ильин кивал мелко и холодно. Они проходили улицу шумную, магазинную, людную. Альберт Анисимович шел впереди, он не мог слышать их разговора, но тут он обернулся и сказал:

— По вашему однофамильцу, священнику, я могу вам документы оставить. Презабавнейшие!

Усанков махнул рукой грубо, раздраженно — не путайся, мол. Старик этот вызывал чувство тревоги, как будто он знал про Усанкова что-то неизвестное самому Усанкову.

— Разве дело в Клячко, — сказал Ильин. — Будет другой, много ли изменится. Даже если ты займешь это место. Все это самообман.

Удар был чувствительный. Конечно, Усанков имел что возразить, но его больше всего уязвило чувство превосходства, с каким это было сказано, и кем, Сергеем Ильиным. Что он мог знать? В сущности, мелкая провинциальная сошка. Таких в подчинении Усанкова десятки. Что он сделал, чтобы так чваниться и поучать его, Усанкова, попрекать его, который, выбиваясь из сил, тащит этот воз, единственного, может, во всем управлении, который бьется, чтобы обеспечить страну моторами, аппаратурой... В результате и от Клячко удары, и от этих презрение. Один в поле воин. И перед ним возникла картина из детской книги о Дон Кихоте, смешной рыцарь с тазиком вместо шлема, на тощей кляче, пустынная равнина, длинное тяжелое копье. Сзади Санчо Пансо, хоть был Санчо, здесь же полное одиночество, никого не осталось.

Перейдя мост, они очутились перед знакомой Усанкову красной громадой замка, что поднималась за моло-

дой зеленью лип. Блистала облупленная позолота шпиля. Замок показался Усанкову еще выше и суровей, чем в прошлый раз. На набережной Альберт Анисимович остановился, отдышался, прислонился к чугунным перилам.

— Где-то здесь тот анекдот с нами случился, — сказал Усанков, оглядываясь.

— Анекдот? — Ильин поднял брови.

Пока Альберт Анисимович отошел за дерево, пытаясь прикурить на ветру, Ильин объяснил, что у старика тут в замке, в архиве хранятся его работы насчет убийства Павла, разыскания про офицерские заговоры, записки об истории порядочности в России. Он хочет кое-что передать из этого Ильину и еще показать в замке некоторые странные закоулки.

— Пойдем? — предложил Ильин.

— Нет, с меня хватит.

— Ты не заметил в нем что-то особенное? Я думаю, он способен видеть... — Он не кончил, потому что Альберт Анисимович, дымя, подходил к ним.

— Все же любопытно узнать, — обратился он к Усанкову, — вы отвергаете, несмотря на личное свидетельство, в силу сомнений, есть у вас доводы, либо же действует идеология, то есть вы вообще не верите?

— Во что? — зло отозвался Усанков. — Во что я должен верить?

Альберт Анисимович молча смотрел на него.

— Послушайте, мы же с вами образованные люди, — сказал Усанков.

— И что же?

Теперь Ильин тоже смотрел на него с ожиданием. Усанков мог бы отделаться ловким ответом, как-то вывернуться. Вопрос задавался о тех офицерах, что привиделись им, только о них, но в том-то и дело, что каким-то образом все вдруг сместилось в иное, о чем он не обязан был отвечать. «Господи помилуй, господи помилуй», — запели женские голоса часто, а потом протяжно, забираясь все выше и сладостно замирая где-то под сводами купола.

— Я с полным уважением, но сам, извините, — он растянул губы в усмешке, — не верю. Ни во что такое не верю, — заклинал он. — Ни в преисподню, ни в небеса. — Он услышал, как внутри него что-то щелкнуло, будто дверь захлопнулась.

Взгляд Альберта Анисимовича погас.

— Между прочим, привидения, миражи, джины и лешие к церкви не относятся, — с вызовом сказал Усанков.

— По-видимому. Но она признает чудо. Мир без чудес ужасен. Верить — значит верить и в чудо.

— Какие чудеса вы могли бы нам показать? — язвительно поинтересовался Усанков.

— Прекрати.

Властность, с которой Ильин произнес это, возмутила Усанкова.

— Почему же? Таким, как я, надо доказывать. Меня тошнит от твоей доверчивости. Желаю успеха, только учтите, гражданин кудесник, вы хоть и верующий, а делаете скверное дело. Куда же вы его тянете? Так ведь в самом деле рехнуться можно. Серега, очнись. — Теперь он обращался к Ильину без особой надежды и без особого сожаления. — Не заметишь, как переступишь. И каюк, сойдешь с катушек.

Показалось ему или нет, что Ильин вздрогнул, волна страха исказила его лицо. Затем все ушло, взгляд его прояснился, и Ильин молча покачал головой.

— Романтика... а все равно вернешься, — сказал Усанков. — Если успеешь, конечно. Придешь. Куда денешься? Деваться-то некуда.

Ильин поднял молнию куртки до отказа, невесело засмеялся:

— Деваться некуда, это верно. Но и возвращаться нельзя.

— Пропащий ты человек.

— Вот я и хочу пропасть, — тихо и серьезно произнес Ильин.

Усанков облизнул пересохшие губы.

— Да, лучше будет, если ты пропадешь.

Тяжелое вечернее солнце отражалось в зеленовато-желтой воде Фонтанки. От воды несло гнилью. Усанков шел по мосту. Старомодные фонари блестели бронзой. Не было конца этому дню с его негаснущим небом в паутине проводов, в бензиновом перегаре. Тусклые окна старых домов, угрюмая толпа, ободранные машины и ненужная этому городу устаревшая белая ночь.

Там, за его спиной, что-то происходило. Он не разрешал себе обернуться. Он чувствовал груз своего шага, чувствовал пространство, которое натягивалось и рва-

лось. Перейдя мост, он поднял руку, голосуя. Его ждал Клячко, ему надо было подготовиться к встрече, как-то пояснить, представить... Садясь в тесненький «Запорожец», Усанков так и не обернулся. И только когда машина, урча и стреляя выхлопом, тронулась, что-то обдало его холодком, словно плащом махнуло, пытаюсь удержать. Стоило чуть задержаться, шагнуть в сторону от исхоженной тропы, согласиться. Тайна подавала знак, она прошла совсем рядом. Возможность необычного представилась ему раз в жизни, одному из миллионов... Нет, он не имел права предаваться этим фантазиям. Ему предстояла тяжелая схватка с Клячко. Придется кое-чем пожертвовать. Ильин выбыл из игры. Анонимку лучше оставить анонимкой. Душевное расстройство и всю эту бредовину приберечь, не раскрывать... Постепенно его машина расчетов, это прекрасное устройство ожило, заработало, набирая скорость, возвращая его к истинной жизни, ужасной и единственной, которую он признавал.

Угол улицы Пржевальского и Гражданской; я стоял, поджидая товарища. И только потому, что нечего было делать, вдруг заметил вмурованную в стену мраморную доску: «Уровень воды 7-го ноября 1824 года». И черную черту. Доска была старая, тех лет. И рядом вторая, с той же надписью по-немецки. Дом был старый, тот самый, в котором жил Раскольников, Родион Раскольников, в своей каморке под крышей. Дом, описанный со всеми подробностями в «Преступлении и наказании», выисканный Ф. М. Достоевским, а затем, спустя многие годы, опознанный внуком Достоевского — Андреем Федоровичем. Он-то и показал мне этот дом, водил меня по его лестницам, но и он не видел этих досок.

Почему метка наводнения оказалась именно на этом доме, стоящем далеко от Невы? Черная черта вдруг перечеркнула все случайности и стечения обстоятельств и соединила для меня, в который раз, Пушкина с Достоевским, Евгения с Раскольниковым, два Петербурга, двух любимых моих писателей, две великие вещи, созданные ими. Они соприкоснулись на углу этого дома, встретились неожиданно, помимо всяких литературоведческих сопряжений.

Прямая — кратчайшее расстояние между двумя точками. По этой прямой самым кратчайшим, наглядным образом столкнулись и два Петербурга: Петербург «Медного всадника» и Петербург «Преступления и наказания», самая петербургская вещь Пушкина и самый петербургский роман Достоевского.

Разумеется, можно всячески обыгрывать, в сущности, случайность, окутать ее поэтическим, а то и полумистическим туманом, вода поднялась так высоко, что на поверхности осталась лишь игра случая. Тайный

смысл, внутренние, скрытые законы, связи, которые, цепляясь друг за друга, изгибались отнюдь не по прямой, — все было скрыто, и я лишь ощущал их. В чем?

Формулы, формулы... Всякий раз их ищут, добиваются, чтобы потом опровергать их. В том-то и мучение, и радость, что обе вещи эти — истинно гениальные, не умещаются в формулы. Они многозначны, и многозначности их хватило на толкования уже несколькими поколениями русских читателей.

Как только не определяли идею «Медного всадника». Какие только толкования не предлагали разные эпохи и разные ученые. И не только ученые — Брюсов предлагал, Мережковский, Антокольский. И все толкования были правильны. Интересны. Глубоки. Аргументированы. И разные. Сейчас иные из них кажутся устарелыми, упрощенными, но тогда они выглядели весьма убедительно. Это про «Медный всадник». А про гоголевские «Записки сумасшедшего» — как их по-всякому разгадывали, а «Портрет», «Нос»? А «Смерть Ивана Ильича»? А Достоевский? А у Лермонтова — его «Фаталист», его драмы? А Блок? А «Пиковая дама»? А «Мастер и Маргарита»? Странная это литература. Что хотел сказать автор? Может, то, а может, совсем другое. Все реально, и все двух-, трех-, четырехсмысленно. А кроме того, за всем брезжит еще не разгаданный смысл, который один раз увидится так, а другой раз иначе. И обязательно что-то у каждого читателя непонятное остается. Какая-то смущаемость, неуверенность — так ли я понял и понял ли до конца? Являлась ли Германну старая графиня, откуда он узнал про карты, что это все означает? Странно. Но эта странность влечет, заставляет вновь мысленно возвращаться, и всякий раз заходишь все дальше и никогда не можешь добраться до конца. Всегда что-то остается. Что-то непонятное, таинственное, и опять можно заходить с другого бока, поворачивать по-иному. Все формулы годятся, и все они недостаточны для этой странной литературы.

На берегу пустынных волн
Стоял он, дум великих полн...

Если б я мог начать о «Медном всаднике» вот так же сразу, с самого главного. Труднейшее это искусство — начал. Никто, пожалуй, не умел так начинать, как Пушкин. «Гости съезжались на дачу» — как это восхи-

щало Толстого. А «Пиковая дама» — «Однажды играли в карты у конногвардейца Нарумова». Что может быть проще, деловитей, необходимей. Действие начинается как бы до первой фразы. Подобное начало действует как музыкальный ключ — «Гости съезжались на дачу», — и Толстой, прочитав «невольню, нечаянно, сам не зная зачем и что будет, задумал лица и события, стал продолжать, потом, разумеется, изменил, и вдруг завязалось так красиво и круто, что вышел роман («Анна Каренина») ...».

На берегу пустынных волн
Стоял он, дум великих полн...

С детства это вошло в сознание картиной, зримой и красочной, — берег, и на нем фигура огромного, в распахнутом кафтане, с непокрытой головой, Петра — облик, сложенный из всего множества картин, фильмов, книг.

Так же как с детства усвоился образ пушкинского Петербурга, вернее, Петербурга «Медного всадника». Только с той разницей, что Петр, существующий у каждого, как бы привносился в поэму, а Петербург выносился из поэмы и прикладывался к панораме Невы, к набережным, дворцам. Красота города выражала себя через пушкинские строфы. Они произносились сами собой, невольно возникая на улицах среди тишины белых ночей, на Марсовом поле, перед этими улицами города, прелесть которых и уяснить себе нельзя иначе, как через эти нестареющие стихи. Вряд ли существуют другие стихи, которые были бы так известны и так часто повторялись. Кажется, что мы никогда и не заучивали их специально, мы просто знали их, словно обживали вместе с городом, неотъемлемо, как Петропавловку и Адмиралтейство. Мы наслаждались музыкой, звучанием этих слов, давно уже не вдумываясь.

И вдруг эта метка на доме Раскольниковова.

Словно вспышка осветила поэму, и сквозь школьные мои представления увиделись, как водяные знаки, скрытые смыслы. Наверное, каждое поколение по-своему читало «Медного всадника». И следующее поколение прочитает его иначе, чем мы. Было бы поучительно проследить историю таких толкований. Но я не историк, не литературовед. Я просто перечитывал поэму заново, для себя. Как всегда в таких случаях, обстоятельства сбегались навстречу. Была осень. Ветер с залива подни-

мал воду в Неве, и в субботу к вечеру она вышла из берегов. Все было как в поэме:

...над ее берегами
Теснился кучами народ,
Любуясь брызгами, горами
И пеной разъяренных вод.

Университетскую набережную залило. Трамваи остановились, машины поворачивали. Вода хлестала из люков, мчалась по улицам. Мальчишки носились, перепрыгивая через мутные потоки на мостовых. Затопило Петропавловские пляжи. На островах аллеи скрылись под водой. Плыли скамейки. Исчезали берега. Уровень воды был куда ниже, чем тогда, при Пушкине, но достаточен, чтобы вообразить, как все это происходило. На другом берегу огромной, вспухшей, яростной Невы возвышался Медный всадник, за ним тяжелая громада Исаакия. Мощь Невы столкнулась с каменной мощью города. Стихия разбушевавшейся воды влекла, восхищала, и в то же время было стыдно за это любованье, потому что я представлял все бедствия, наносимые городу. И представлял отчаянье Евгения. И его беспомощность.

В поэме тоже было двоение чувств.

И двоение мысли.

Все в ней вдруг стало расщепляться. И тогда сразу появились:

Два Петра: Петр живой и Петр — Медный всадник, кумир на бронзовом коне.

Два Евгения: заурядный, бедный чиновник, покорный судьбе, мечтающий о своем нехитром счастье, и Евгений безумный, взбунтовавшийся, поднявший руку на царя. Даже не на царя — на власть.

Два Петербурга: Петербург прекрасных дворцов, набережных, белых ночей и внутри него, рядом с ним, бездушье чиновничьей столицы, жестокий город, в котором будет жить Раскольников.

Две Невы...

Расщепление проходило сквозь всю поэму, через весь ее образный строй.

Двойственность распространялась в любые стороны, она, как соседние грани, смыкалась каждый раз под новым углом. Раздваивается фигура всадника — один Петр на вздыбленном коне во время наводнения, когда город затоплен, за ним второй всадник — Евгений вер-

хом на льве. Они вдвоем остаются над водой, над затопленной столицей. Тонет город, о котором мечтал Петр, — окно в Европу, порт, выход на простор для России, все флаги в гости. И всплывает Петербург — губитель, убийца, город, в котором гибнут Параша, Евгений, пожитки бедноты, Петербург, не предвиденный Петром, изнанка его мечты, город, где царствует не Петр, а Медный всадник. И снова двуликость, как бы две точки, двоение. Но история — это не тетива, натянутая между двумя точками. Да и тетива лишь спущенная становится прямой. А тетива в «Медном всаднике» круто взведена, поэтому так далеко летит стрела нашего воображения.

Тот Петр, который появляется на берегу пустынных волн с первых строк поэмы, это живой государь, любимец Пушкина, он еще продолжение того Петра, который был в «Полтаве», — прекрасного, стремительного, и того, что в «Арапе Петра Великого», — высокого, в зеленом кафтане, с глиняной трубкой во рту, работника, которого Пушкин изучал, к которому часто возвращался.

«Медный всадник» (не опубликованный при жизни Пушкина) лежал у него в столе, а Пушкин собирал материалы об истории Петра Великого, продолжая как бы жить с Петром, со своим последним Петром — последней своей поэмы.

Интерес к Петру был у Пушкина не случаен. России, несомненно, повезло с Петром. Не только в отечественной истории — в истории Европы трудно найти фигуру деятеля, соразмерную Петру. Как личность Петр был гениальным человеком. России повезло в том смысле, что тут совпало все — редкие способности и возможности, самобытность, воля, исторический перекресток, на котором очутился Петр, на котором был выбор, и он этот выбор осуществил.

Из всего поразительного многообразия деятельности Петра Пушкин выбрал для поэмы одно-единственное, не позволяя себе говорить ни о каких других реформах и заботах Петра. О чем думает Петр в «Медном всаднике»? Построить порт, «ногою твердой стать при море...» — вещи практические, необходимые для России. Среди них есть одна, выраженная образом знаменитым, ставшим поговоркой: Петербург — «окно в Европу».

«В Европу прорубить окно» — это окно надо было не открыть, а прорубить, и прорубить изнутри. Прорубить — означало не только тяжесть строительства ново-

го града на низких, топких берегах, не только деньги, усилия, муки России, закрепление военной победы над шведами. В этом слове перекликаются, отдаются и другие толкования, идущие с тех петровских лет, когда рубился российский флот. Рубили лес для новых дорог, рубили головы стрельцов. Рубились канаты якорей, державших Россию у ветхих причалов, у старых рубежей.

В самом деле, Петербург сначала, с первых своих лет, задуман был как столица. Дело неслыханное в европейской истории. Бывало, что столицы переносились, — здесь же столица строилась. Новая столица древнего государства, имеющего свою столицу — Москву. Эксперимент в те времена единственный, без примеров. Но, кроме исторической новации, это означало и нравственный переворот для самой России.

Трудно сейчас представить себе, как воспринялся русским человеком перенос столицы и с нею понятия центра государства российского из Москвы белокаменной, привычной, Москвы-матушки, из Москвы сорока сороков, из Москвы, где в Архангельском соборе покоились почившие цари, из Москвы — собирательницы России в место никому не известное, болотное, на краю страны, в гиблое, чуждое, неосвоенное. Это была катастрофа вековых понятий, покушение на саму систему пространственного мышления, так живо и прочно развитого в русском человеке.

Города на Руси складывались по давно заведенному порядку, вокруг крепостей, укреплений, либо же селились подле монастырей; к монастырю, к святым местам подтягивался, пристраивался город.

Здесь же зерна не было, оно не прорастало, не за что было зацепиться на этой топи. Было лишь сознание необходимости, нужды для России, нужды истинной и давней, которую Петр угадал и осознал если не первый, то во всяком случае наиболее отчетливо, и была воля Петра. Воля, а не произвол. Белинский точно замечает: «Произвол не производит ничего великого... Произвол не построит в короткое время великого города: произвол может выстроить разве только *вавилонскую башню*, следствием которой будет не возрождение страны к великому будущему, а *разделение языков*».

Воля Петра была поистине гигантской потому, что тот переворот в привычных понятиях, о котором говорилось, должен был произойти прежде всего в самом

Петре. Такой поступок, просто говоря, требовал огромной личной смелости. Петр не побоялся объявить об этом боярам, дьякам, всей России. Можно было начинать строить Петербург как порт — нет, он начал его строить как столицу. Упреки, несогласия, возмущение, недовольство, обвинения — он ничего этого не убоился. Он обрубал привычные связи, скрепы, понятия. Может быть, в этом акте большого личного и государственного мужества Петра, этом повороте, совершенном Петром, еще есть много недооцененного историей. России нужно было море. Из всех морей России нужнее всего была Балтика. «Окно в Европу» рубили не для того, чтобы ходить на поклон, а для того, чтобы сблизиться, — «все флаги в гости будут к нам».

В поэме мысли Петра выражены такими литыми формулами истории, которые под стать гению Петра. Так он мог думать.

И вот мечта Петра исполнилась, замысел осуществился, с размахом большим, может быть, нежели ожидал Петр.

Прошло сто лет, и юный град,
Полночных стран краса и диво,
Из тьмы лесов, из топи блат
Вознесся пышно, горделиво...

Окно в Европу прорублено, все флаги — в гостях, город, стройный и прекрасный, раскинулся по берегам Невы, стал столицей Российской империи, столицей вполне европейской...

А посреди столицы, там, где он стоял на берегу пустынных волн, поднялся Медный всадник, кумир на бронзовом коне, простерший руку в вышине. Достойная дань потомков. Все прекрасно, дело Петра торжествует. Откуда же в этой праздничной картине возникает мучительное ощущение разлада? Какое-то несоответствие между Петром — и Медным всадником, между Петром, полным великих дум, — и неподвижным кумиром, простершим руку в вышине. Человек — и памятник ему. Живая, мыслящая плоть — и бронзовая копия. Нет, не из этой очевидности возникает расхождение. Медный всадник не просто славное прошлое, воспоминания, память, памятник; он — превращение Петра, он действующее лицо поэмы, он действует, живет той исторической жизнью, которую претерпел Петр и его дело за минувший век. Облик Петра изменился, и, может, тра-

гически изменился — перед нами кумир на бронзовом коне.

Они сидят друг за другом — кумир на бронзовом коне и за его спиной, скрестивши руки, на мраморном льве Евгений. Кумир простер руку, Евгений скрестил руки на груди, а все остальное затоплено водой.

Кумир, божество языческое. Языческие боги страшны. «Ужасен он в окрестной мгле!»

Петр-человек знал, чего он хотел. Кумир — сила непонятная, действующая по законам, не ведомым человеку. Что там в медной голове идола?

Какая сила в нем сокрыта!
А в сем коне какой огонь!
Куда ты скачешь, гордый конь,
И где опустишь ты копыта?

Живой Петр, царь-плотник, шкипер, тот, кто, возвращаясь по Финскому заливу, помогал, по пояс в воде, спасать со шлюпки солдат, Петр этот в часы наводнения действовал бы, воюя со стихией, отстаивая свой затопленный парадиз. Натура Петра деятельная, непокорная року, невозможно представить, чтобы он мог произнести подобно Александру в поэме: «С божией стихией царям не совладать». Но кумир выше этого, он вне этого, он обращен спиной к Евгению, он воплощение идеи незыблемой, вечной. Разбушевавшаяся стихия уляжется, успокоится, Нева спадет, минует буйная дурь, все вернется в русло, утомится наглым буйством.

Живой, мыслящий гений Петра, его просвещенные замыслы, его реформа стали бронзой, кумиром — то есть идолом, требующим не мысли, не развития, а слепой веры и поклонения.

В поэме живой Петр занят лишь благом, его замыслы самые светлые, праздничные, его идеи благородные, просвещенные, он просвещенный монарх.

У кумира же идеи нет, кумир требует жертв во имя себя, во имя своей милости — жертв бессмысленных...

Отлитый в бронзу Петр скован, он не в силах ничего изменить, он используется как принадлежность столицы, ее украшение, ее оправдание, а может, ее устрашение.

Ужасен он в окрестной мгле!
Какая дума на челе!
Какая сила в нем сокрыта!

Ничего общего нет у него с тем Петром, который «могущ и радостен, как бой», который прекрасен, «весь как божия гроза». Они не просто разные — они противоположны друг другу.

Медный Петр на коне, на гранитной скале — олицетворение власти, символ, уже не человек, не царь, не личность, а металл, нечто стоящее над ним самим, движущееся в Истории независимо от его желания: конь несет Петра. Тот конь, которого Петр поднял на дыбы, теперь самоуправно скачет сам, конь — хозяин, а не всадник.

Что думал живой Петр, Пушкин мог себе представить. Но этот Петр — воплощение государственности — непостижим, как непостижим он был бы и для самого Петра. Непостижимо, уродливо и страшно превращение, происшедшее за столетие с делом Петра. И с самим Петром, превратившимся в кумира. Медный всадник грозен, но и бессилен, он прекрасен и страшен. Он строитель чудотворный, но он и губитель. Он — Медный всадник. А Петр? Петр — жертва? Впрочем, если уж жертва, то особая. Двоится Медный всадник, но двоится и Петр. Трагедия возникает не только спустя столетие, трагична жизнь самого Петра, его борьба, противоречивость его целей и средств. Он способен к милосердию, но он жесток, он стремится к реформам, но пишет историю кнутом.

В двадцатые годы Петр для Пушкина — еще идеал просвещенного монарха. Если и не идеал, то во всяком случае пример.

В 1826 году Пушкин надеялся на то, что Николай I будет продолжать петровские традиции. Он обращался к нему:

В надежде славы и добра
Гляжу вперед я без боязни.
Начало славных дней Петра
Мрачили мятежи и казни.

Надежды не оправдались. Напрасны были примеры петровского размаха, мудрости, незлопамятности. Мерка Петра оказалась слишком велика для Николая. «Государь не рыцарь, — убедился Пушкин, — в нем много от прапорщика и немного от Петра Великого». Куда там прапорщик: вскоре оказалось, что на троне фельдфебель, сыщик, который способен тайком, вместе с шефом жандармов, читать письма поэта к жене. Коронованный

создатель III отделения уничтожал надежды Пушкина на какой-либо прогресс. Мстительность, жестокость этого лживого правителя окончательно отделили его от дела Петра, от европейского просвещения, от всего начатого, замысленного Петром. Дело Петра изуродовано николаевской монархией и предано. Прекрасный памятник Фальконе — всего лишь одна из принадлежностей мрачного безвременья, ничего общего с Петром не имеющего, но прикрывающегося именем Петра. Николай обожал, чтобы его сравнивали с Петром, считал себя продолжателем петровских дел.

Вера поэта рухнула. Осталось ощущение стыда, позора уступок, понимание, что так нельзя, что все это гнусно. Было несогласие, отрицание и, как всегда в такие эпохи, нежелание более считать себя удобренным, ибо человек живет «не для воплощения идеи... а единственно потому, что родился, и родился... для настоящего», как писал Герцен. «Пока мы живы... мы все-таки сами, а не куклы, назначенные выстрадать прогресс или воплотить какую-то бездомную идею».

Евгений не с историей сводит счеты, не с Петром, не с прогрессом, он восстает на власть, на медную самодержавную власть.

Евгений — это не Пушкин, но Евгений — это и не просто пример жертвы, некая условная фигура, нужная для раскрытия сложности исторического процесса.

Есть творение Петра, град Петров, а есть Петербург Медного всадника. Евгений не в состоянии до конца разделить их, но Пушкин требует, чтобы мы-то их разделяли — творение Петра и столицу николаевской империи с ее хвостовыми, булгариными, уваровыми, бенкендорфами.

«Люблю тебя, Петра творенье», — громогласно, с вызовом и пылом юношеских лет признается тридцатичетырехлетний Пушкин в этой последней своей поэме.

Он отбирает самое прекрасное, что есть в этом городе. — его белые ночи, набережные, его зимнюю красу, дворцы, просторы Невы, мосты, Адмиралтейство — все лучшее, что было в пушкинском Петербурге. Он славит *творение Петра*.

Любовь к Петру не самодержцу, а творцу, творческой личности, и любовь к городу, воплотившему творческое начало петровской эпохи, сливаются

в гимн — любованию чудом, совершенным за каких-нибудь сто лет из этой пустынной топи блат.

Да, город выстроен на гиблом месте, под морем, затопляемый, но Пушкин любит его безоговорочно, он принимает, оправдывает, защищает замысел Петра, надежды, связанные с Петербургом.

Красуйся, град Петров, и стой
Неколебимо, как Россия...

Ну а как же судьба Евгения? Что же, его несчастье, его гибель исторически оправданы? И, значит, Пушкин присоединяется к этому оправданию во имя идеи Петра? Или же он остается в стороне, всего лишь летописец, и раскрывает перед нами диалектику истории, ее неразрешимое, неизбежное противоречие? Но ведь очевидно, что Пушкин на стороне Петра, что дело Петра для него не подлежит сомнению и оговоркам. Что же, пусть гибнут такие, как Евгений? Но нет, он явно сочувствует страданиям своего героя. Что же такое эта поэма — «поэма-вопрос», безответный вопрос, поставленный перед историей?

А может, сложность в том, что он, Пушкин, на стороне Петра, и он, Пушкин, на стороне Евгения? Он с Петром против Медного всадника, и он с Евгением против Медного всадника. Евгений восстанет не на дело Петра, его несчастная судьба вовсе не отрицает творенье Петра.

Но и Медный всадник — это не просто апофеоз самодержавия. Великолепный памятник славил юную мощь России, восходящую кручу истории... Расщепление продолжается. Отношение Пушкина к личности Петра раздваивается. Петр имеет два лика. «Достойна удивления: разность между государственными учреждениями Петра Великого и временными его указами. Первые суть плоды ума обширного, исполненного доброжелательства и мудрости, вторые нередко жестоки, своенравны и, кажется, писаны кнутом». Но и в поэме, кроме Петра — творца, создателя, строителя чудотворного, есть Петр-самодержец. Тот самодержец, от которого нынешний Пушкин отказывается, отвергает. Пусть даже в облике такого просвещенного монарха, преобразователя, как Петр, — все равно самодержавие оказывается бесчеловечным. В любой форме самовластье неприемлемо. Оно не может быть ничем оправдано, никакими целями. Самый просвещенный абсолютизм ги-

белен. Трагедия Петра в том, что самодержец, каковы бы ни были его устремления, не способен поступиться своей властью в пользу «вольности частной», как писал Радищев. Самовластье не может оправдать себя, достигнуть гармонии, ибо в нем неизбежны произвол, насилие, рабство, уничтожение человека.

Русский царизм, самодержавие, с детства воплотился для меня в облике Николая I. Никакой другой царь, даже Николай II, не вызывал такого гнева и злости, как именно Николай I. Конечно, это было связано и с Пушкиным. Николай убил Пушкина — в детстве все ясно, всегда знаешь, кто виноват.

Он здесь, жандарм! Он из-за хвой леса
Следит упорно, взведены ль курки...

Царь — фат, актер, лицедей, он был первым и главным врагом Пушкина; не Дантес, не Бенкендорф, не Булгарин, не Уваров, — в нем, в Николае I, сосредоточилась вся мальчишеская, а потом и юношеская ненависть и жажда отмщения. Николай I — усмиритель восстания декабристов, вешатель декабристов. Как они медлили! Оттого, что они так неразумно вели себя, упускали минуты, часы, я еще больше ненавидел Николая. Декабристы, убийство Лермонтова, ссылка Шевченко, казнь и ссылка Достоевского — все это был он, Николай I.

Но был и другой, особенный, непонятный царь — который противостоял Николаю I, и невольная симпатия к Петру смущала меня. Он тоже был царь, представитель царизма, самодержавия — как же он мог нравиться? Где, как родилась моя приязнь, трудно установить. В Летнем саду стоял маленький памятник царю-плотнику. Петр с засученными рукавами ладил бот. В Петропавловской крепости в каменном павильоне хранился этот бот, сделанный Петром. Петр не только не был похож на других царей. Петр проходил через всю жизнь, так или иначе встречаясь на просторах России. За Петрозаводском на Минеральных источниках висели правила пользования Марциальными водами, написанные Петром. Петр встречался в Архангельске, в Старой Руссе, в Воронеже, на каналах Мариинской системы, в замысловатых станках Нартова, и все это был ум, руки, смекалка удивительного царя. Мне нравился склад его ума, инженерно-технический. Мы повторяли его хлесткие фразы, мы любили ходить в его

дворец, так не похожий на дворец, — домик в Летнем саду. И домик на Петроградской. И, наконец, памятник ему, Медный всадник, был, разумеется, самым любимым памятником и гордостью ленинградской. Он никогда не был для меня тем кумиром, ужасным и грозным, каким увидал его Евгений. Восприятие Евгения — Пушкина, ракурс, в котором вдруг предстал Медный всадник, необычен, редкостен. Памятник воспринимался только как прекрасная скульптура. Но был день, когда я вдруг увидел этот памятник глазами Евгения, — это было до войны, я шел пешком от Исаакиевской площади мимо памятника Николаю I, мимо памятника Екатерине, до площади Восстания, на которой стоял памятник Александру III — Трубецкого, и это расстояние от Петра на коне до Александра на коне, от Петра с непокрытой головой, в крестьянской рубахе до Александра, затянутого в мундир, с шапкой городского, от Медного всадника до Пугала, памятника не менее замечательного, чем памятник Фальконе, — это расстояние вдруг обнажило для меня то, что разглядел Пушкин. Конь Петра опустил копыта, теперь он стоял на четырех ногах, тупая сила, уже никуда не летящий и ничего не преодолевающий.

Я шел как бы от Евгения до Раскольников, через Петербург «Медного всадника», «Шинели», «Портрета», «Преступления и наказания», Петербург Некрасова, Щедрина... Как изменялся облик этого города в истории русской литературы, как вылезало наружу нутро его страшных колодцев, где гибли и уродовались человеческие судьбы.

Обезумел Евгений, город уничтожил и отнял у него все, но обезумел и Акакий Акакиевич, для которого все это была шинель. И снова бунт. И снова вызов Раскольникова, вызов, рожденный в камерке петербургского чердака.

Ничто не может поколебать этого кумира, царящего надо всем. Но нет, может; оказывается, может. Оказывается, есть сила, способная испугать этого кумира, заставить его помчаться по пустым улицам. Чего ж он испугался — полубессвязной фразы безумного человека? А что было в этой фразе?

«Добро, строитель чудотворный!.. Ужо тебе!..»

Не обличенье, не программа, всего лишь — «ужо тебе!». И это оказалось страшнее разбушевавшейся стихии.

Кругом подножия кумира
Безумец бедный обошел
И взоры дикие навел
На лик державца полумира.

Силы-то какие несоразмерные. «Державец полумира», кумир, горделивый истукан на высоте — и бедный безумец, который всего-то шепчет. Для этого бунта нужно безумие. Впрочем, это не бунт, это отрицание, это угроза. Может быть, именно потому, что он безумец, он так опасен. Опасны безумцы. Для власти всегда опасны безумцы. Безумцы с точки зрения власти. Горделивый истукан мгновенно почувствовал опасность в этой угрозе. Великий царь, овеянный славой, строитель чудотворный — все эти понятия, привычные и славные, окружавшие облик Петра, вдруг переворачиваются, возбуждают злобу и протест. Какое право имел этот кумир принести во имя своей идеи в жертву счастье пусть даже одного человека? Тот самый вопрос, который усмотрел Достоевский в «Евгении Онегине». «Позвольте, представьте, что вы сами возводите здание судьбы человеческой с целью в финале осчастливить людей, дать им наконец мир и покой, — говорит Достоевский в своей речи о Пушкине. — И вот, представьте себе тоже, что для этого необходимо и неминуемо надо замучить всего только лишь одно человеческое существо, не Шекспира какого-нибудь... И вот только его надо опозорить, обесчестить и замучить, и на слезах этого обесчещенного старика возвести ваше здание! Согласитесь ли вы быть архитектором такого здания на этом условии? Вот вопрос».

Любопытно, что слова эти Достоевский взял почти дословно из спора Ивана Карамазова с Алешей — знаменитая сцена бунта Ивана Карамазова. Уже не власти бросает свой вызов Иван Карамазов, а еще выше — религии. На бога он возлагает ответственность за весь хаос, творящийся на земле.

Бунт, начатый Евгением перед статуей Медного всадника, словно бы ширится, разрастается. Достоевский как бы продолжает его в «Братьях Карамазовых», по-своему осмысливая, развивая вопрос, поставленный впервые Пушкиным.

Этот вопрос тревожил не одно поколение русской интеллигенции, немало способствуя нравственным поискам и росту ее самосознания.

Мы иногда недооцениваем Пушкина как философа. В четырехстах шестидесяти пяти строках «Медного всадника» заключены проблемы важнейшие, всеобщие, которые долго еще будут волновать человечество.

Тем-то и замечательна русская литература, если уж пытаться определить ее отличие, ее традиции, что она, начиная с Пушкина, бесстрашно поднимала наиболее социально сложные и значительные, главные темы человеческого бытия.

В этом смысле «Медный всадник» сравним лишь с «Легендой о Великом Инквизиторе». В поэме «рассуждений», прямых «философских споров» нет. Поэма порождает мысль, размышления.

Кому бросает вызов Евгений? Почему он так опасен? Почему государственная машина, то бишь Медный всадник, срывается, мчится за ним?

И во всю ночь безумец бедный
Куда стопы ни обращал,
За ним повсюду Всадник Медный
С тяжелым топотом скакал.

Мания преследования! А может быть, наоборот — мания преследовать? Мания видеть во всем покушение на основы и немедленно пускать в ход всю государственную машину. Ни стихии, ни бедствия народные не трогают кумира, к ним он обращен спиной, «в неколебимой вышине». Но слова, одного слова угрозы достаточно, чтобы сорвать его с места, заставить мчаться, преследовать. Страх, воспаленный, поистине маниакальный, гонит по ночным улицам не столько Евгения, сколько Медного всадника в этой погоне за бедным и одиноким безумцем.

Безумец? Но безумие перестало быть понятием чисто медицинским.

Тогда и писатели выводили героев-безумцев, которые могли говорить и думать то, что не позволялось нормальным людям. Тема безумия, рассказы о сумасшедших не случайно появляются с конца двадцатых годов. Рассказы Одоевского, повести Гоголя, поэмы и повести Пушкина; безумным объявляли Чацкого, а за ним и живого Чаадаева.

Самого Пушкина считали безумцем. Жуковский в 1834 году раздраженно пишет Пушкину, что ему «надо бы пожить в желтом доме». Еще бы, сколько раз Пушкину предлагали жить в мире с царем, со всем окружением, примириться, смириться. Чего он хочет, на что надеется? С точки зрения двора, он ведет себя как безумец.

Ну что ж, так и Радищева можно считать безумцем. Его поступок — «действие сумасшедшего», писал Пушкин, не правда ли: «Мелкий чиновник, человек безо всякой власти, безо всякой опоры, дерзает вооружиться противу общего порядка, противу самодержавия, противу Екатерины!»

Радищев один, подчеркивает Пушкин, у него ни товарищей, ни соумышленников — безумец!

Но сколько сочувствия и скрытого восхищения этому безумию Радищева!

Статья о Радищеве написана после «Медного всадника», тема словно бы продолжается — человек, крохотный перед огромным памятником Екатерине, перед тушей императрицы и свитой ее генералов, советников, фельдмаршалов, — мелкий чиновник против этой государственной громады, вооруженной армией, полицией, законами, судами. Но теперь не «ужо тебе!», и не шепотом...

Впрочем, памятника Екатерине в те годы еще не существовало. Зато, кроме Медного всадника, была совсем недавно торжественно открыта Александровская колонна, и перед ней «вослед Радищеву» поднимается Пушкин. Уже не мелким чиновником, не камер-юнкером, а народным поэтом. Его «непокорная глава» возносится выше этого гранитного столпа Александру I. Он больше, он сильнее, он просвещенней, не монархи, а он, поэт Пушкин, стоял на защите милосердия и свободы. Перед ним, перед его громадой отступает и далеко внизу остается вся официальная чернь, все памятники царям, их мнимая слава и могущество.

Ненапечатанный «Медный всадник» словно прорвался в предсмертном вызове «Памятника». Николай и его шеф жандармов не поняли, что ненапечатанные, запрещенные вещи иногда страшнее и действеннее напечатанных.

Они безумцы, эти редкие люди, время от времени встающие поперек дороги. Их глас вопиет в пустыне. Они лишние люди, чуждые обществу тридцатых — со-

роковых годов. Протестующий был одинок, отчужден от всей системы медного коня государственности. Смутный шум тревоги гнал этих безумцев все дальше, порывал скрепы, связывающие с понятиями родины, отчизны и даже народа. Потому что и понятия «народ», «народность» были захвачены николаевской кликой.

Два Петербурга: Петербург — творение Петра и Петербург — создание империи, Петербург, увенчанный Медным всадником... Они сталкиваются не так явно, как два Петра, они сосуществовали один в другом, два начала, растущие совместно: «громады стройные», «узор чугунный»; иногда эти начала сталкиваются, иногда примиряются, иногда дополняют друг друга: «однообразная красивость», «недвижный воздух».

Два Петра, два Евгения, две Невы — краса города и угроза ему. Но всю эту стройность, симметричность поэмы нарушает некая посторонняя, идущая наперерез, наискось сила стихии. Она пересекает все эти двоения, все раздвоения. Стихия наводнения, общий враг и Петра, и Евгения, обоих Петербургов, всех и всего, и порядка, и безумия.

В слепой силе разбушевавшейся Невы есть то, с чем боролся Петр, — те темные силы, топь, которую заковывали в гранит набережных, та косная ненависть ко всему новому, идущему с Запада, большие бороды Москвы, крики и проклятия царю-антихристу. Эта сила не вызвала сочувствия у Пушкина, это буйство наглое, бессмысленное, одушевленное лишь пафосом уничтожения и разрушения, слепой, нелепый разбой, уничтожающий без разбора пожитки бедноты и дворцы, — впрочем, бедность и тут страдает больше.

Гневаться на этот взрыв стихийных сил нелепо. Евгений, потерявший рассудок, обретает иное зрение, он видит Медного всадника иначе. Он, Евгений, оказывается вдруг третьим лицом в борьбе между двумя началами. Над ним занесены копыта Медного всадника, на него обрушилась слепая стихия, либо под тем, либо под другим он должен погибнуть. Либо под копытами империи, либо в волнах слепого бунта. И то и другое смертельно. Но бороться можно только с одним, и он бросает вызов тому, с чем действительно можно бороться.

Петр живой, думающий, со всем тем конкретным историческим, что возникает у любого русского читателя при имени Петра, и затем второй Петр — отлитый в бронзу — Медный — обезличенная сила, действующая под именем Петра по своим нечеловеческим законам. Евгений, наоборот, вначале существо максимально обезличенное, типовое. Из черновиков видно, как тщательно Пушкин изгонял индивидуальное в судьбе Евгения, в обстановке, в быту, окружавшем героя. Ничего своеобразного, личного. Обычайнейший, зауряднейший чиновник, с историей самой распространенной. Родовое имя его забыто, служит он где-то, живет в Коломне, где живет великое множество будущих Родионов Раскольниковых. Не осталось никаких примет от обстановки его жилья. «Стряхнул шинель, разделся, лег» — и все.

О чем же думал он? о том,
Что был он беден, что трудом
Он должен был себе доставить
И независимость, и честь;
Что мог бы бог ему прибавить
Ума и денег. Что ведь есть
Такие праздные счастливы,
Ума недалекого ленивы,
Которым жизнь куда легка!
Что служит он всего два года;
Он также думал, что погода
Не унималась; что река
Все прибывала; что едва ли
С Невы мостов уже не сняли
И что с Парашей будет он
Дни на два, на три разлучен.

И положение его, и желания самые что ни на есть незначительные, заурядные, ничего в них нет необычного.

Личность Евгения проявляется и возникает лишь с катастрофой. Он личностью становится, когда становится безумцем. Страдания делают его судьбу отдельной. Отныне он не похож ни на себя, ни на всех иных безликих Евгениев, он отделен от них мятежным шумом Невы и ветров, что раздается в его ушах. Он отделяется и выделяется из окружающего мира, теперь он полон ужасных дум, теперь он свету стал чужд. Шум внутренней тревоги не дает ему покоя. Ужасные думы, пусть безумные, с точки зрения окружающих, делают его личностью, и именно появление личностного неизбежно приводит его к столкновению с Медным всадни-

ком. Это странное перемещение, которое происходит в поэме, обезличенного и личностного, создает ритм удивительный, порождает какое-то особое сцепление, когда одно входит в другое, как пальцы сомкнутых рук.

Личность всегда была опасна самодержавию. Но куда опаснее личность, которая осмеливается произнести что-то. Слово — вот чего боялось русское самодержавие. Пусть даже произнесенное шепотом, пусть отпечатанное всего в 650 экземплярах, как «Путешествие из Петербурга в Москву» Радищева, слово произнесенное внушало страх. Нигде его не преследовали так, как в России. Кто еще из великих поэтов подвергался такой унижительной, невежественной, удушающей цензуре, как Пушкин? История создания самого «Медного всадника» как будто отразилась в поэме.

Вернувшись из Болдина, Пушкин представил через III отделение только что написанную поэму на рассмотрение своего высочайшего цензора. Спустя пять дней его вызвали в III отделение и вручили поэму с пометками государя. Их было вроде бы и немного. Царь требовал изъять сцену Евгения у памятника, слова его. Отчеркнуты были слова «кумир», «горделивый истукан», стихи о Москве. По количеству строк, по словам — весьма немного — но, пользуясь выражением Пушкина, делало это «большую разницу». Казалось бы, ничего страшного — заменить одно слово: кумир. Или выкинуть слова Евгения: «Ужо тебе!..» И Пушкин пытался это сделать. Ему нужны были деньги. Ему хотелось напечатать поэму, ценность и значение которой он отчетливо представлял. Лучшую свою поэму. Он искал замену. Кумир — седок, ездок... Нет, невозможно. Не получалось. Невозможно было заменить даже одно слово. Оказалось, что именно в отчеркнутых строках сосредоточилась та доля сокровенного, пожертвовать которой нельзя без ущерба для смысла поэмы. В истинно поэтических произведениях, где все необходимо, есть какие-то несущие узлы, выраженные иногда одной фразой, одним словом, убрать их — и все исказится, рухнет. Примечательно, что Николай I, отнюдь не ценитель и знаток поэзии, сумел отыскать в поэме эти важнейшие опорные ее точки. Второй лик Петра и второй лик Евгения — эти вторые опаснейшие лики, которые как бы начинали реакцию расщепления, — их Николай I обна-

ружил и вычеркнул. Он учуял их тем особым нюхом на крамолу, обостренным у ревнителей самовластья.

Как Пушкин ни нуждался в деньгах, он не мог согласиться на требования своего цензора. Сколько он ни брался за поэму, всякий раз переделанное отвечало не замечаниям царя, а его собственной жажде совершенства, поэма становилась еще емче, лаконичней и, может, еще более трудной для печати.

«Ужо тебе!..» — это ведь, мне кажется, обращалось и к самому Евгению. Он сам был частью государственного механизма, против которого он восставал. Это был бунт против себя — детали этой машины, чиновника мелкого, покорного, бедного. Он был лишь часть —

Каких встречаете вы тьму,
От них нисколько не отличных
Ни по лицу, ни по уму.

Он был никем, обезличенная принадлежность, отштампованная бедностью. Бедность заменяла ему характер; мы не знаем, каким он был — злобным, вспыльчивым, мягким: он был лишь беден. Нет денег — значит, нет и дворянства, неважно, что когда-то предки его были записаны в «Истории» Карамзина. Бедность уничтожила и характер, и ум, сделала ничтожными его мысли и мечты. Он еле осмеливается просить:

...мог бы бог ему прибавить
Ума и денег...
...он желал,
Чтоб ветер выл не так уныло
И чтобы дождь в окно стучал
Не так сердито...

Так начинался вековой путь бедного чиновника через всю русскую литературу: Поприщин, Акакий Акакиевич, Деушкин, герой «Записок из подполья», бедный чиновник Чехова.

Сидя на льве, Евгений следует за Медным всадником, его жалкая копия, еще не отделенный от своего грозного вожатого, еще ничтожный, он принимает все покорно, как и все частицы этой машины, вплоть до живого царя Александра, который тоже покорно взирает с балкона на разбушевавшуюся стихию.

Безумие преображает Евгения — он больше не тень, не безликий чиновник. Он отделяется от окружающего мира. Страстные чувства вспыхивают в нем, изменяя внешний облик, все его существо.

...взоры дикие навел
На лик державца полумира.
Стеснилась грудь его. Чело
К решетке хладной прилегло,
Глаза подернулись туманом,
По сердцу пламень пробежал,
Вскипела кровь. Он мрачен стал
Пред горделивым истуканом
И, зубы стиснув, пальцы сжав,
Как обуянный силой черной...

Он стал достойным и, может, страшным противником. Ему уже нечего бояться. Устои рухнули, ничего не осталось. Этот Евгений рожден безумием, а безумие рождено страданием. Он был беден и был безлик, он лишился всего, у него все отняли, и он стал личностью. Он появился — не бедный чиновник, а человек. Не лоб, а чело у него, чело, приложимое лишь к великим мира сего. Чело, достойное Человека, которого так определял Даль — «высшее из земных созданий, одаренное разумом, свободной волей и словесной речью».

Не правда ли, какое удобное и четкое получилось противопоставление? Все расположилось как нельзя выгоднее для всяких толкований. Ничтожный, жалкий, бедный чиновник превращается в героя, бунтаря, в личность значительную, опасную, мыслящую. Он был никем — он стал всем. Почти что так. Контраст соблазнительный, и я поначалу охотно поддался ему. Но что-то смущало меня, какая-то симпатия или сочувствие к тому, первому Евгению, смутная симпатия, которой я пренебрег в угоду своей схеме.

О чем же думал он? — повторял я себе. О том,

Что был он беден, что трудом
Он должен был себе доставить
И независимость, и честь...

Да что же тут ничтожного, мелкого? — вдруг спросил я себя. Разве это не благороднейшее стремление — «независимость и честь»? Не об этом ли мечтал и сам Пушкин? «Счастье независимости» — вот что с годами ста-

новится идеалом жизни Пушкина. «Зависимость, которую налагаем на себя из честолюбия или из нужды, унижает нас. Теперь они смотрят на меня как на холопа, с которым можно им поступать как им угодно. Опала легче презрения. Я, как Ломоносов, не хочу быть шутом ниже у господа бога». Так писал Пушкин о себе. Независимость и честь — не так ли может повторить о себе каждый? И почему надо считать жалкими мысли Евгения, тревогу его о Параше? И уже совсем иначе я прочел последнюю строфу ночных дум Евгения:

Так он мечтал. И грустно было
Ему в ту ночь, и он желал,
Чтоб ветер выл не так уныло
И чтобы дождь в окно стучал
Не так сердито...

Первоначальное, не подчиненное схеме чувство вернулось ко мне — близость, понимание и даже сочувствие Евгению, к неутолимой тоске человеческого сердца по простому счастью, к той обыкновенности, которой полна жизнь каждого из нас. Эта обыкновенность, эти простые ценности человеческого существования дороги Пушкину, он защищает их, он понимает, сколь велико горе их утраты.

Схема — она была во мне, в моем подходе, в неискоренимости школьного «разбора литературных произведений». Схему ту действительно можно разобрать. А подлинную литературу можно лишь разодрать, убив в ней живое и, значит, бесконечно сложное, противоречивое, изменчивое.

Я чувствую, что мне не удалось избежать противоречий. Законченной, стройной системы не получилось. Но если раскрылись противоречия истинные, а не надуманные, то, может, это лучше всякого сведения концов с концами.

Несмотря на обезличенность Евгения, он все же не превращен в некое условно-типовое обозначение, в нем сохранилось живое начало, которое за два года его службы еще не стерто омертвляющим чиновничьим аппаратом.

Может, от незатоптанной окончательно искры и разгорается пламень, что бежит по его сердцу.

От этого бегущего по сердцу пламени вскипает кровь. Человек распрямился, обрел чувства, гнев, силу,

и слова его отнюдь не безумны: «Добро, строитель чудотворный!» — и, может, вопреки логике слышится в них вопрос, поставленный спустя полвека: «Согласитесь ли вы быть архитектором такого здания на этом условии?» Впрочем, это так, ассоциации, для Евгения же нет вопроса. В пламени сгорают его идолы и кумиры.

«Ужо тебе!..» — вот когда всадник очнулся и впервые заметил этого человека. Когда перед ним восстал человек, не жертва, не обездоленное, затравленное существо. Человек — вот кто страшен всаднику. И ведь когда восстает Евгений? Не сразу, не обнаружив свое несчастье, а спустя много времени. Это странно и значительно соединяется с картиной торжествующей пошлости, «с бесчувствием холодным» уже ходит народ.

...Торгаш отважный,
Не унывая, открывал
Невой ограбленный подвал,
Сбираясь свой убыток важный
На ближнем выместить.

...Граф Хвостов,
Поэт, любимый небесами,
Уж пел бессмертными стихами
Несчастье невских берегов.

Это та самая пошлость — нажива, барыш, — которая умела приспособиться, прилепиться к петровскому кораблю, эксплуатировала реформы Петра. Та пошлость, которая после Петра воспользовалась его делом, и нынче она использует превосходно все, в том числе и разбушевавшуюся стихию, и будет петь «несчастье невских берегов».

Героем трагедии не может быть трус, ничтожный и жалкий. Евгений, которого мы знали в начале поэмы, не вызвал бы в нас той силы соучастия, сострадания и волнения, и сама картина наводнения, этого буйства, тоже не может вызвать того страха и восторга, которые возникают. Трагедия произошла потому, что несчастье героя соединилось с его бунтом, потому что он стал героем, бросил вызов. Он более не хочет быть дрожащей тварью. Его смелость — безумство, его вызов — также безумство. Но это великое безумство, равное безумству короля Лира.

И есть тут еще один поворот необъяснимый, который я скорее чувствую, чем понимаю. Вызов Евгения — это всего лишь вспышка; впоследствии, проходя мимо всадника, он не смеет и глаз поднять, смиренно снимает шапку, прижимает руку к сердцу. В этом новом повороте есть гениально найденная Пушкиным реальность жизни. Что же, бунт кончился смирением, Евгений побежден, несмотря на безумие, он по-прежнему тварь дрожащая? Может, и так. Но однажды он не был тварью. Пусть однажды, но он был человеком, выше и больше всадника. Человеком, который заставил сойти со скалы эту Медную статую.

1968

СВЯЩЕННЫЙ ДАР

I

С годами меня все чаще тянет к пушкинским стихам, к пушкинской прозе. И к Пушкину как к человеку. Чем больше вникаешь в подробности его жизни, тем радостней становится от удивительного душевного здоровья, цельности его натуры.

Вот, очевидно, почему меня так задел один давний разговор, случайный летний разговор на берегу моря.

Мы гуляли с Н., одним из лучших наших физиков, и говорили об истории создания атомной бомбы, о трагедии Эйнштейна, подтолкнувшего создание бомбы и бессильного предотвратить Хиросиму.

— Злодейство всегда каким-то образом связано с гением, — сказал Н., — оно следует за ним, как Сальери за Моцартом.

— Как черный человек, — поправил кто-то.

— Нет, черный человек — это не злодейство, — сказал Н. — Это что-то другое — судьба, рок; Моцарт ведь исполняет заказ черного человека, он пишет реквием, он не боится... А я говорю о злодействе.

Он знал наизусть «Моцарта и Сальери». Он прочел нам последнюю сцену, и выяснилось, как все мы по-разному ее понимаем.

Что же, гений и злодейство — совместны или несовместны? Дал ли Пушкин окончательный ответ? А как он сам считал?

Среди нас были и филологи, и историки, но все равно мы слушали не их, а Н. Несмотря на всю его самоуверенность, категоричность. Тощий и быстрый, он шагал впереди, размахивая руками. Цветные камешки пляжа летели из-под его подошв. Мы шли за ним и почтительно подбирали его фразы. Ощущение необычности исходило от него. Трудно даже объяснить, в чем

тут дело. Может быть, в том, что он единственный, кто имел право судить о гениях.

Молодые физики в затрепанных джинсах жаждали самоутверждения. Они требовали определить, что такое гений.

— В естественных науках, — сказал Н., — это человек, умеющий видеть мир немного иным. Тот же Эйнштейн. Он просто иначе взглянул на давно известные вещи.

Весьма просто. Соблазнительно просто. Но Н. знал Эйнштейна. И еще он знал, как делалась физика. Слова его запомнились. Перечитывая «Моцарта и Сальери», я вспомнил тот случайный разговор. Моцарт и Пушкин соединились с Эйнштейном, Оппенгеймером, Ландау, Капицей. Хиросима соединилась с Сальери. Реквием Моцарта звучал над печами Освенцима.

— Но вот Ферми, великий Ферми, — сказал Н., — он, в сущности, не противился уничтожению Хиросимы.

— Ферми — это живой человек, — сказал кто-то из физиков, — а Сальери — идея.

Ему возразили. Я уже не помню точно фраз и не хочу сочинять диалог, спорили о том, кто Сальери для Пушкина. Противник, злодей, которого он ненавидит, разоблачает, как он делал, например, с Булгариным, или же это воплощение иного отношения к искусству? Можно ли вообще в этом смысле связывать искусство и науку? А что, если для Пушкина Моцарт и Сальери — это Пушкин и Пушкин, то есть борец двух начал и прочая, прочая?..

От этого случайного горячего спора осталось ощущение неожиданности. Неожиданным было, как много сложных проблем возбуждает маленькая пушкинская трагедия. И то, как много можно понять из нее о нравственных требованиях Пушкина, о его отношении к искусству...

Злодейство было для меня всегда очевидно и бесспорно. Злодейством был немецкий мотоциклист. В блестящей черной коже, в черном шлеме он мчался на черном мотоцикле по солнечному проселку. Мы лежали в кювете. Перед нами были теплые желтеющие поля, синее небо, вдали низкие берега нашей Луги, притихшая деревня, и оттуда несся грохочущий черный мотоцикл. Винтовка дрожала в моих руках... Разумеется, я не думал ни о Пушкине, ни о Сальери. Это пришло куда позже, тогда, на войне, надо было стрелять.

...Особенно меня занимал конец, последние слова Сальери:

Ты заснешь
Надолго, Моцарт! но ужель он прав,
И я не гений? Гений и злодейство
Две вещи несовместные. Неправда:
А Бонаротти? или это сказка
Тупой, бессмысленной толпы — и не был
Убийцею создатель Ватикана?

Вопрос звучал безответно. Он досаждал, точно разговор, прерванный на самом важном месте.

Может, эта вещь не кончена? Но в примечаниях было сказано, что кончена 26 октября 1830 года, напечатана в 1832 году и даже поставлена в театре. И насчет Бонаротти там тоже пояснялось: оказывается, существовало предание, что, когда Микеланджело хотел натурально изобразить Христа, он не посовестился распять одного юношу и воспроизвести его мучения. Далее там было написано: «Отравленная душа Сальери безоглядно верит клевете. Еще бы — ему так нужен этот оправдывающий его пример. Он, как и Микеланджело в легенде, художник-убийца, убийца ради искусства. Здесь вернейший ключ к пониманию «Моцарта и Сальери» — этой глубочайшей трагедии зависти».

Итак, трагедия окончена, и имелся к ней ключ, но и этот ключ не помогал: совместны они — гений и злодейство?

Я возвращаюсь к началу, я учился трудному искусству читать Пушкина. Простота его стихов обманчива. Иногда мне казалось, что я нашел ответ, но всякий раз новые вопросы озадачивали меня.

Могут ли гении совершать злодеяния? Может ли злодей-убийца Сальери быть гением, оставаться гением? Оттого что он отравитель, разве музыка его стала хуже? Что же злодейство доказывает, что Сальери не гений? Но Микеланджело, бесспорно, гений, мог ли он совершить убийство? Во имя искусства? Имеет на это право или оправдание гений? И опять: что такое гений?

Для каждого писателя Пушкин — удивительный пример нестареющего мастерства. Через эту маленькую трагедию хотелось хотя бы в какой-то мере понять этот секрет.

У Пушкина гений — Дельвиг: «Дельвиг милый... навек от нас утекший гений», Державин обладает порывами истинного гения. Для Пушкина гений сохраня-

ет древний смысл души, ее творческую крылатость. Гений — не только степень таланта, но и свойство его — некое нравственное начало, добрый дух.

Слово «гений» ныне обычно связано с великими созданиями, изобретениями, открытиями. Конечно, в законе относительности нет ничего ни нравственного, ни безнравственного. Наверное, тут следует разделить — открытие может быть гениальным, но гений не только само открытие. В пушкинском Моцарте гениальность его музыки соединена с личностью, с его добротой, доверчивостью, щедростью. Моцарт готов восторгаться всем хорошим, что есть у Сальери. Он свободен от зависти. Он открыт и простодушен. Не потому, что он такой хороший, скорее потому, что он богач, ему бы успеть раздать то, что он имеет, то, чем наделила его природа. Такие, как он, могут быть самолюбивы, тщеславны, мрачны, — но завидовать? Чему? Никто не может делать того, что делает он. Конечно, наиболее точно этому соответствует натура Моцарта.

Из всей галереи гениев человечества — ученых, поэтов, художников, мыслителей — Пушкин выбрал именно Моцарта. Выбор, поразительный своей безошибочностью, я бы сказал — единственностью. Слава Моцарта за последний век обрела особый характер, словно бы предугаданный Пушкиным. «Моцартианство» — ныне привычное определение гения, творящего легко и вдохновенно, обозначение «божественного дара», «вдохновения свыше». Гений Моцарта исключителен — он весь не труд, а озарение, он символ того таинственного наития, которое свободно, без усилия изливается абсолютным совершенством. До сих пор музыка Моцарта остается в этом смысле, может, наиболее загадочным созданием.

Моцарт наиболее чисто олицетворяет тот дар, который ненавистен Сальери.

Проще всего было объяснить ненависть завистью. О зависти твердит сам Сальери. Посредственность завидует гению, поэтому ненавидит гения и убивает его. Но Сальери-завистник не интересен ни Пушкину, ни нам. Зависть Сальери скрыта, он прячет ее от самого себя. И так искусно, что это и впрямь уже не зависть. Так ли уж важен для зависти вопрос о гении и злодействе? А ведь вопрос этот не риторический — это мука, ужас самого Сальери.

Если единственный ключ — зависть, то все легко отмыкается, внутри должно оказаться лишь злобное ничтожество, трус, боящийся правды о себе. Ну, пусть не трус, допустим, по-своему сильный, страстный, пусть даже великий в своем злодействе.

Но разве Сальери — лишь завистник? Он смолоду признает чужой гений, он учится у великих, преклоняется перед ними, понимая прошлые свои заблуждения.

...Когда великий Глюк
Явился и открыл нам новы тайны
(Глубокие, пленительные тайны),
Не бросил ли я все, что прежде знал,
Что так любил, чему так жарко верил,
И не пошел ли бодро вслед за ним
Безропотно, как тот, кто заблуждался
И встречным послан в сторону иную?

Подражание — еще не признак посредственности. Многие начинали с подражания.

Сальери был свободен от зависти, это помогало ему, и сейчас, зрелым мастером, он умеет наслаждаться трудами и успехами друзей. Слезы восторга вызывает у него музыка Моцарта.

Зависть всегда жаждет найти недостаток, чтобы обесценить противника. Зависти надо как-то оправдать себя. Это Фаддей Булгарин после доносов на Пушкина пишет в рецензии на седьмую главу «Онегина»: «Ни одной мысли в этой водянистой VII главе, ни одного чувствования, ни одной картины, достойной воззрения! Совершенное падение...»

Впрочем, и зависть Булгарина — не просто зависть бездарности к гению, и для нее есть свое объяснение. Булгарин и Сальери странным образом помогли мне понять один другого.

«Завистник, который мог освистать Дон Жуана, — пишет Пушкин, — мог отравить его творца».

Стоит попробовать точно определить чувства Сальери, и начинает действовать принцип неопределенности, как в физике. Частица оказывается волной. Она и частица, она и волна. Она здесь лишь в прошлом. Невозможно одновременно определить ее место и импульс.

Наступает момент, когда Сальери сам себя определяет как завистника, но как только это происходит, он уже другой.

Сальери велик не завистью. И не одна зависть им движет. Ибо он отнюдь не бесталанен. Жизнь Салье-

ри — это подвиг. Жизнь его героична. Вопрос о гении и злодействе подвергает сомнению задачу, которую решал Сальери всю свою жизнь.

Может ли человек *стать* гением?..

Стать, достичь трудом, силой своего разума, того, что считается божественным даром? Сальери считал, что — да, может. Человек может все. Сальери верил во всепобеждающее могущество человеческой воли, цели, алгебры, науки...

Он родился «с любовью к искусству». Это не талант, в нем не было того, что заставляет с детства безотчетно творить, сочинять. Творчество у Сальери — не потребность, не способ самовыражения, осуществления себя, для него это скорее выбор профессии, цель, и идет он к ней расчетливо, последовательно:

...Труден первый шаг
И скучен первый путь. Преодолею
Я ранние невзгоды. Ремесло
Поставил я подножием искусству;
Я сделался ремесленник: перстам
Придал послушную, сухую беглость
И верность уху. Звуки умертвив,
Музыку я разъял, как труп. Поверил
Я алгеброй гармонию. Тогда
Уже дерзнул, в науке искушенный,
Предаться неге творческой мечты.
Я стал творить...

Он не желает покоряться извечному закону случая, капризу свыше. Почему провидение одних наделяет чудесными способностями, а других обездоливает? За что? Чем заслужили счастливики этот подарок? Гениальность достается кому попало, отнюдь не достойным. Нет, не может быть оправданий такой несправедливости. Разве может быть справедливой лотерея, которую устраивает Создатель? Даже не лотерея, а прихоть. Какая же правда в прихоти? Нет правды на земле, но правды нет и выше! Творец не прав, он совершает свой выбор не по законам справедливости, и Сальери восстает: он не желает смириться, он бросает вызов Судьбе, Провидению, Богу, кому угодно.

Он восстановит справедливость сам, своими силами, своим трудом. Он достигнет!

Ему не нужна милость Всевышнего. Раз правды нет нигде, то надеяться остается лишь на себя.

Им движет не честолюбие, а любовь к искусству, к музыке.

Во имя чего ему надо стать гением? Это другой вопрос. Когда-нибудь и этот вопрос возникнет перед ним. Но сейчас ему важно — *как* достичь. Сейчас его цель — достичь. Он добьется того, чем обделила его природа. И он добивается.

Усильным, напряженным постоянством
Я наконец в искусстве безграничном
Достигнул степени высокой...

Жизнь его стала подвижнической. Он аскетически отрекся от всех радостей, подчинил все свои страсти, силы одной цели. Он жил ради одной, но пламенной страсти к музыке.

Молодость Сальери, зрелость, вся его жизнь возникла для меня как целеустремленная, в каком-то смысле идеальная прямая.

Таким представлялся мне идеал ученого. Настойчивость и ясное понимание, чего ты хочешь. Шлиман десятилетним мальчиком дает себе слово найти, откопать остатки древней Трои. И подчиняет всю свою жизнь этой задаче. Фарадей семь лет подряд пытался обнаружить, порождается ли магнетизмом электрический ток. Он не знал отвлечений от любимой, поставленной перед собой цели — «работать, заканчивать, публиковать». Одержимость своей идеей — вот, как мне казалось, отличительная черта истинно великого ученого.

Сальери тоже одержим. Но идея у него особая — стать творцом. Способность творить ему не была дана, он добывал ее, вырабатывал...

Что-то величественное: даже героичное есть в этом противоборстве человека с Природой, с ее приговором. Может быть, это первый образ человека, не желающего подчиниться извечному закону неба.

Это не слепой бунт, это восстание Разума, вернее Расчета. Разума машинного, вооруженного алгеброй логики, железной рассудочностью, правилами.

...Звуки умертвив,
Музыку я разъял, как труп. Поверил
Я алгеброй гармонию. Тогда
Уже дерзнул, в науке искушенный,
Предаться неге творческой мечты.

Вполне современно. Так же как сегодня занимаются математическим анализом музыки, чтобы построить программу, следуя которой машина сможет сочинить

музыку. Работают над этим не композиторы, а математики. Они пробуют учесть вдохновение, чувствительность гения, подробности жизни. Для этого вводится элемент случайности — «метод Монте-Карло». Они изучают правила, находят параметры, алгоритм синтеза. Подобно Сальери, они «поверяют алгеброй гармонию» tonальной музыки Баха, Глюка, Гайдна, того же Моцарта, вырабатывают гармонический план и т. п.

Такие опыты проводят ныне во многих лабораториях. Но то математики, им интересно уточнить некоторые законы эвристики.

Сальери же ищет правила, по которым он сможет творить; это правила не арифметики, а алгебры, ему мало сочинять — ему нужно научиться создавать великое, то есть то, что создают гении. Механизм гениального, своего рода философский камень; он ищет секрет, *как* делается божественная музыка.

В наше время, задавшись такой целью, он мог бы стать выдающимся кибернетиком. Законы Сальери, «лаборатория машинной музыки имени А. Сальери»...

Но и композитором он стал выдающимся. Слава ему улыбнулась. Музыка его нашла признание. Я говорю о пушкинском Сальери. Напрасно его превратили в некий символ посредственности. Моцарт — гений, Сальери — посредственность, и вся трагедия — это столкновение гения с посредственностью. Если Сальери — посредственность, в чем же его трагедия? Тогда все становится уголовной историей одного убийства. Грубый контраст, система да — нет, черное — белое никогда не создают в искусстве характеров, тем более трагических.

Сальери — злодей, убийца, но Сальери и жертва своей любви к искусству. Зависть сплетена в его душе с любовью страстной, иступленной. Безжизненная логика иссушила его, но он страдает в этой пустыне.

Он добрался до вершин искусства, стал великим музыкантом. Обязан этим он исключительно себе, своему трудолюбию, требовательности, силе воли, если хотите, мужеству настоящего художника.

Нередко, просидев в безмолвной келье
Два, три дня, позабыв и сон, и пищу,
Вкусив восторг и слезы вдохновенья,
Я жег мой труд и холодно смотрел,
Как мысль моя и звуки, мной рожденные,
Пылая, с легким дымом исчезали.

Когда Гоголь сжег вторую часть «Мертвых душ», то эта вторая, *сожженная*, часть подтвердила его гений. Она значила — и значит — в нашей литературе немало.

Сожженные труды Сальери — не доказательство его гения, но разве посредственность способна на такое? Мэру наивысшую прикладывал Сальери к своим трудам. Цель, которую он поставил себе, была дерзновенной, и он шел к ней бескомпромиссно, не щадя себя.

Усилия его достойны восхищения, и результат их грандиозен. В глазах людей, для самого Моцарта Сальери — избранник счастливый, гений, как и Моцарт. Сам Моцарт твердит в счастливые минуты мотив Сальери из «Тарара». Моцарт вовсе не думает льстить: упоминание об этом вырывается непроизвольно. Для окружающих Сальери — один из посвященных. Если б они знали, что он сам сотворил себя, что он не самородок, не алмаз, а уж если алмаз, то искусственный, не чудо, а наука, не дар, а труд. Кто знает, может быть, и впрямь Сальери имеет право на большее уважение, чем Моцарт, которому гениальность досталась даром?

II

Итак, Человек победил, боги повержены. Но не смеются ли боги?

Цель, поставленная Сальери, и то, как он ее достиг, вызывает сочувствие и не может не вызывать сочувствия у каждого человека.

Разумеется, в юности мы тоже знали, что станем великими учеными, путешественниками — не важно кем; важно великими — мы должны были совершить что-то значительное. Мы тоже искали примеры, читали жизнеописания разных гениев, рассчитывая вызнать тайну того, *как это происходит*. Как они становились... По сути, это был тоже сальеризм — тайная мечта разгадать секрет гениальности. Все мы побывали в шкуре Сальери. С годами уяснилось, что, несмотря на наше решение, сие от нас не зависит, и все же иногда честолюбие взрывалось — почему другие, почему Чкалов, Циолковский, Чехов, а не я? Казалось, все отдал бы, чтобы сравняться.

Было даже ощущение обиды, как будто тебя обманули. Ведь еще в школе нам твердили: все гениальные

люди добились успеха своим трудом, усердием. Цитировали изречения авторитетов. Каждый авторитет предлагал свой вариант, и все выглядело так заманчиво-утешающе.

Бюффон утверждал: «Гений не что иное, как дар терпения».

Терпение? Да ради такого дела — сколько угодно!

«Гениальность зависит главным образом от энергии». Это Арнолд. Кто такой Арнолд? Мэтью Арнолд, английский поэт, ну, он, вероятно, знает.

«Всякое произведение гения неизбежно является результатом энтузиазма» — Исаак Дизраэли. Тоже серьезный господин. Масса возможностей и рецептов.

Сальери мог бы тоже преподать немало советов. Прочсть курс: «Как стать гениальным». Вернее: «Как я, Сальери, стал гениальным».

Это вам не совет физика Н. «видеть мир немного иначе». Это целая наука. Ею издавна владели алхимики разных искусств. Они ловко разлагали на составляющие понятие гения. Выясняли его формулу. Колдовали, подменяя неуловимое доступными любому честолюбцу качествами: трудолюбие, память, внимание, наблюдательность...

Призывали на помощь психологию, физиологию, вплоть до кибернетики. С присущей молодой науке самоуверенностью кибернетика поначалу сразу установила, что гений не что иное, как способность отбора, быстрота отбора решений.

Верующие старались. Торопились отбирать решения, добросовестно переписывали, трудились, изучали жизнь, искали важные, актуальные темы, были терпеливы, энергичны, весьма энергичны. Толстой переписывал «Войну и мир» восемь раз? Восемь? Они готовы были переписывать десять, двадцать раз.

Секрет гения пробовали и так и этак. Подсчитывали извилины. Обмеряли мозг, взвешивали. Изучали родословную, черновики, влияние солнечных пятен... При подсчетах после всех извлечений и перегонки что-то всякий раз не сходилось. Реторта была вроде герметична, но что-то улетучивалось. Философского камня не получалось. Гений раздражал своей неуловимостью, нездешним происхождением. К живущим слова «гений», даже «талант» старались не применять. Понятия эти

были ненаучны. Их нельзя было вычислить и обнаружить в осадке.

Было бы, конечно, славно определять гениев по размеру шляп. Или по количеству напечатанного. Навести какой-то порядок. Допустим, отбирать их в раннем возрасте, по тестам, чтобы выводить коэффициент умственного развития.

...Во времена Пушкина имелось множество экспертов, знающих, как создавать талантливое и великое. Лучшие специалисты работали в цензуре и в III отделении.

Писателям рекомендовали — преданность монарху, народность, воспевание побед российского оружия. Прописывались точные рецепты, их заверяли Бенкендорф, Уваров, сам Николай I.

Требования их полны искренности. Они не только охранители, они эстетика. Они знают, как сделать лучше, талантливей, ярче, доходчивей — в общем, они знают *как*.

«Я считаю, что цель г. Пушкина была бы выполнена, если б с нужным очищением переделал комедию свою в историческую повесть или роман наподобие Вальтер Скотта», — пишет резолюцию о «Борисе Годунове» Николай.

Сочиняли же по законам этих предписаний другие писатели, тот же Фаддей Булгарин охотно сочинил роман «наподобие Вальтер Скотта». И получилось. Докажите, что не получилось. Например, роман «Иван Выжигин» имел успех, какой не имела ни одна вещь Пушкина. Какие тиражи! И нарасхват.

Что касается содержания, то давних времен критики с восторгом могли бы написать, что роман Булгарина (позволю себе такое предположение) «...дает суждения не только обыкновенной жизни, но и жизни гражданской и административной. Герой Булгарина, рожденный в низших слоях общества, терпит немало притеснений, и тем не менее в нем торжествует вера в силу справедливости. Перед читателем открывается критическая картина всех сословий. Здесь и крестьяне, и высшие чиновники, и национальные окраины, и отъявленные злодеи воровского мира. Бесстрашно и гневно автор обличает взяточников и казнокрадов. Здоровые силы общества достойно представляют такие люди, как

капитан-исправник Штыков. Нелегкая борьба его является поучительный пример служения отечеству. Оберегатель устоев и принципов, он заслуженно получает повышение — прекрасное доказательство истинной карьеры лучших наших администраторов. А как умело обрисовано положение русской деревни! С одной стороны, запущенное хозяйство Глаздурина, чей произвол и невежество разорили крестьян, а с другой — цветущее хозяйство Россиянинова, который на тех же землях, с помощью разумных забот и науки, привел своих людей к благоденствию. Не случайно, что и в семейной жизни Россиянинов — образец высокой нравственности. Несмотря на некоторую идилличность, образ его воплощает идеал нашего помещика. В романе легко угадываются некоторые известные лица. Это придает чтению особую злободневность и свидетельствует о смелости автора. Бесчисленную пользу обещает это сочинение для блага империи и воспитания народного чувства».

«Иван Выжигин» — показательный образец романа, сконструированного по законам арифметики. В нем пунктуально сосчитано все положительное и отрицательное. Восхваление соразмерено с критикой. На каждого отрицательного героя, на каждого злодея есть свои положительные противовесы. В любой части баланс сходится.

«...Что может быть нравственнее сочинений г. *Булгарина*? — писал Пушкин. — Из них мы ясно узнаем: сколь непохвально лгать, красть, предаваться пьянству, картежной игре и тому под.».

Ей-богу, как образчик, как первое сооружение такого рода роман не так уж плох. Ничуть не хуже многих последующих изделий этого типа.

А почему роман получился? Не потому, что писатель обладает каким-то талантом или гением, а потому, что у него есть качества, действительно необходимые писателю. Качества эти сам Булгарин свел в четкую формулу. По ней не любой, не первый попавшийся может овладеть литературным ремеслом.

Писатели, по Булгарину, это владеющие языком, начитанные, знающие Россию и ее потребности и способные «распространить, изложить, украсить всякую заданную тему...».

Формула, как видите, продуманная, каждый член ее обязателен. Наиболее важное подчеркнуто Булгариным — *заданная* тема. Распространить — то есть облечь в сюжет, в действующие лица; изложить — то есть язык, стиль; украсить — ну это пейзажи, портреты, детали...

Булгарин излагает все это в докладной записке «О цензуре в России и книгопечатании вообще». В эти же майские дни 1826 года Пушкин из Михайловского пишет царю прошение о выезде на лечение «в Москву или Петербург, или чужие края».

Царь читает записку; прежде, конечно, записку Булгарина.

Истинных литераторов, предупреждает Булгарин, соответствующих его формуле, — мало. Большинство были гуляки праздные, свободные и беспечные поэты, слагающие свои песни по вдохновению, по зову совести и музы и прочих неуправляемых субстанций.

Ремесло — вот что было нужно. Побольше ремесла, квалифицированных ремесленников, делателей, готовых мастерить на любую *заданную* царем тему. К середине XIX века их появляется все больше... Разных, по-разному пришедших к своему ремеслу.

Рядом с историей великой русской литературы творилась, варилась история литературы Казенной, Заданной, Восхваляющей, Охранительной. Еще ее называли Лакейской, Рептильной, Полицейской.

III

Ремесло необходимо художнику. Сальери знает цену ремеслу, не стыдится своего ремесленнического умения. Ремесло для него основа, метод его работы.

...Ремесло

Поставил я подножием искусству...

Что можно выстроить на этом подножии? Какую нагрузку оно выдержит? Достаточно ли прочен этот материал? Может ли искусство быть основанным на ремесле? Эти полторы строчки ставят немало вопросов.

У Сальери ремесло — его метод, его технология. Да только ли у него... Странно, что куда понятней моцартовское, пушкинское, то есть недоступное, а не салье-

риевское и даже не свое собственное ремесло — когда муза не шепчет на ухо и слова не бегут сами. Сальериевская художническая жизнь — это совсем иное, не цартовское, состояние, и муки иные, и радости. И ведь что интересно, всегда есть тайная надежда, что результат-то может оказаться тот же. Соната или стих — как они получились? Написались сразу или же терпеливо перебирались созвучия, вариант за вариантом? Тому, кто пришел на концерт, тому, кто читает стихи, — ему наплевать, сколько времени трудился автор, как это происходило. Ему важен результат, *итог*. Рассказ хороший — автор победил. Может, и впрямь в созданном не отличить вдохновения от ремесла...

Впрочем, так противопоставлять нельзя. Ремесло Сальери имеет свои взлеты. Его умение, умноженное на одержимость, на самоотверженность, награждается восторгом и слезами вдохновения. Инерция ремесла, значит, тоже способна рождать вдохновение.

Сам Пушкин знал необходимость ремесла для профессиональной литературной работы. Ремесло — это опыт, сноровка, приемы мастера, которыми приходится пользоваться в повседневной работе. Часы вдохновения — редкость. Вдохновение — праздник мастера. А будни литературного труда на девять десятых состоят из поисков слов, отбора, правки, переделок. Даже Пушкин, даже Лермонтов работали порой мучительно тяжело.

«...мой роман — сплошное отчаянье: я перерыл всю душу, чтобы добыть из нее все, что только способно обратиться в ненависть», — пишет Лермонтов.

У Гоголя порой кажется, что гений его весь словно держится на ремесле, на поисках деталей, точности описаний. Он писал Шевыреву: «Итак, если над первой частью («Мертвых душ». — Д. Г.) я просидел так долго, рассуди сам, сколько должен просидеть я над второй. Это правда, что я могу теперь работать увереннее, тверже, осмелительнее, благодаря тем подвигам, которые я предпринимал к воспитанию моему и которых тоже никто не заметил. Например, никто не знал, для чего я производил переделки моих прежних пьес, тогда как я производил их, основываясь на разуме самого себя, на устройстве головы своей. Я видел, что на этом одном я мог только навыкнуть, производить плотное создание,

сущное, твердое, освобожденное от излишества и неумеренности, вполне ясное и совершенное в высокой трезвости духа... Я, разумеется, могу теперь двигать работу далеко успешнее и быстрее, чем прежде...»

Профессионализм необходим и гению. Плохо, когда, кроме ремесла, ничего другого нет, но плохо, когда талант не обладает ремеслом. Беда многих больших поэтов да и музыкантов была и есть в отсутствии ремесла.

В те чудотворные дни болдинской осени вдохновение не покидало Пушкина. Он полон «тяжким пламенным недугом», стихи, пьесы рождаются сами собой, и «мысли в голове волнуются в отваге».

16 октября — «Моя родословная».

17 октября — «Заклинание».

20 октября — окончена «Метель».

23 октября — окончен «Скупой рыцарь».

26 октября — окончен «Моцарт и Сальери».

Это часть списка, только за десять дней.

Подъем его гения был необычен. Это было высшее выражение «моцартианства» — безудержного полета и размаха вдохновения. Но и в эти часы пиршества духа Пушкин отдает должное ремеслу-труженику, которое еще недавно служило ему подспорьем. Сальери живет, существует в его душе, соседствуя с Моцартом. Оба существуют, казалось бы, непримиримые, крайние и в то же время так дополняющие друг друга.

IV

Кем был для Пушкина Сальери? Вкладывал ли он в этот характер личное, пережитое, свои отношения (но к кому?), свое обличие (но кого?)?

По-видимому, трудно утверждать, что Пушкин в этой трагедии имеет в виду кого-либо из современников. Была ли какая иная, может, более скрытая связь этой трагедии с жизнью Пушкина? Не знаю, но то, что происходило в 1830 году — история борьбы Пушкина с Булгариным, — как-то соприкоснулось для меня с тем, что происходит в трагедии. Это те круги чувств, сравнений, мыслей, которые расходятся при чтении трагедии.

Сальери велик — Булгарин мелок, Сальери боготворит искусство — Булгарин торгует им бессовестно

и корыстно, Сальери способен убить — Булгарин написать донос.

Пушкин относится к Сальери с интересом, сатанинская философия Сальери — достойный противник; Булгарина Пушкин презирает.

Прямые сопоставления тут невозможны. Но роль Булгарина в пушкинской судьбе, особенно в те годы, когда писалась трагедия, была зловещей. Он видится если не убийцей, то одним из тех, кто неотступно травил и преследовал поэта.

Булгарин существовал для меня лишь в связи с Пушкиным.

Сальери остался в истории благодаря легенде, связавшей его имя убийцы-отравителя с именем Моцарта. Не будь легенды, Сальери уцелел бы сам по себе разве как известный *в свое время* композитор, автор таких-то популярных произведений. Легенда стерла его заслуги. Историки спорят лишь о подлинности легенды. Со времен Сальери музыканты мира, словно составив заговор, почти не исполняют вещей Сальери. Он убил Моцарта, но и Моцарт убил его.

Булгарин сохранился всего как враг Пушкина, идейный его противник. Так же как Бенкендорф, фон Фок, Дубельт... Увешанные орденами, звездами, они считали себя вершителями истории. Судьбы людей они, во всяком случае, вершили. Могли ли они помышлять, что в памяти они уцелеют благодаря легкомысленному поэту, крамольному рифмоплету, которого они травили, выслеживали? Бенкендорф — граф, генерал от кавалерии, шеф жандармов, начальник III отделения собственной его величества канцелярии, командующий императорской главной квартирой, — отныне вспоминается лишь как «тот, который преследовал Пушкина».

Булгарин, изничтоженный, высмеянный пушкинскими фельетонами и эпиграммами, остался для нас как полицейский доносчик, автор злобных рецензий на Пушкина, Некрасова, Видок Фиглярин, рептильный журналист. Да еще издатель «Северной пчелы». Сведения мои были самые примитивные, в размере примечаний петитом к пушкинскому собранию сочинений.

Известность Булгарина не соответствует знаниям о нем. Нечто вроде Малюты Скуратова, бабы-яги, Арак-

чеева — в общем, имя нарицательное. О Булгарине слышал каждый сколько-нибудь интересовавшийся Пушкиным, он стал олицетворением фискальства, продажности, он завистник, злобный ругатель всего передового, прогрессивного — словом, совместилище низостей.

За всем этим исчезла личность Булгарина, то есть нечто более сложное, многообразное, чем условный злодей. Вспоминалось его предательство, описанное в «Кюхле» Тынянова... Портрет в воспоминаниях Панаевой.

«Черты его лица были вообще привлекательны, а гнойные, воспаленные глаза, огромный рост и вся фигура производили неприятное впечатление. Голос у него был грубый, отрывистый: говорил он нескладно, как бы заикался на словах».

Рассказывали, пишет далее Панаева, «что Булгарин в своей семейной жизни был точно чужой, как хозяин дома не имел никакого значения, сидел всегда у себя в кабинете. Его жена-немка и ее тетка распоряжались по своему произволу домом, детьми, деньгами. Булгарину давалась ничтожная сумма на карманные расходы, а все доходы от газеты от него отбирались. Булгарин тщательно скрывал от жены свои мелкие доходы, получаемые от фруктовых магазинов, лавочек и винных погребов, восхваляемых им в своей газете».

Все это тоже явно предубежденно. Подобный Булгарин — схематический образ подлеца, у которого все гнусно, начиная от его мыслей, образа жизни и вплоть до внешности — образ этот передавался от поколения к поколению все более избавленным от каких-либо противоречий. Нам он достался в виде карикатуры, назидательным олицетворением мерзости николаевской эпохи, каким егоставляли Белинский, Герцен, Некрасов.

Когда я захотел узнать подробности о жизни Булгарина, я удивился тому, как мало специальных работ о Булгарине. Упоминают его бесчисленно, но почти никто (кроме М. Лемке) не занимался им самим. Словно и тут существует заговор отвращения.

Мемуары, исследования пушкинистов содержат множество отдельных фактов из жизни Булгарина. Сложить из них законченный портрет нелегко. Некото-

рые поступки выпирают, не укладываются в заданную постоянно ясную систему подлости.

Ночью 14 декабря 1825 года Булгарин пришел к Рылееву. Огромный, страшный для заговорщиков день кончился. Восстание было разгромлено. Рылеев жил в доме Русско-Американской компании, где он служил правителем канцелярии. Дом этот сохранился. Он стоит на набережной Мойки. Из окон виден Синий мост, спина памятника Николаю I. Тогда он был не памятником, а царем, кончался первый день его царствования. В нескольких шагах, на Сенатской площади, горели костры, блестели пушки. Полицейские взваливали на сани трупы. Цепи часовых перекликались вдоль Сената, вдоль Зимнего. Вozы с убитыми тянулись к Неве, в проруби спускали зачоченелые тела. Окна ближних к Петровской площади домов были выбиты при стрельбе. В темноте приглушенно стучали молотки, раздавались стоны, окрики. Фонарщики не зажигали фонарей.

Какой крюк проделал Булгарин, пока добрался до квартиры Рылеева? Он бывал здесь часто. Он дружил с Рылеевым. Когда-то они слыли приятелями. Потом рассорились, и Булгарин старался примириться. По-своему он любил Рылеева. И остальных — братьев Бестужевых, Кюхельбекера, Тургеневых. Они печатали его рассказы в своем альманахе «Полярная звезда». Конечно, для Булгарина, только начинавшего литературную карьеру, было важно оказаться в одном альманахе с Жуковским, Пушкиным, Дельвигом, Баратынским, Грибоедовым — все лучшее литературы двадцатых годов было там представлено.

«Его и в то время терпели только как шута балаганного, балагура и площадного остряка — Александр Бестужев бывал у него очень часто, но уже вовсе не из-за его прекрасных глаз», — писал М. Семеновский.

Никто из декабристов в ту пору не считал Булгарина доносчиком, в какой-то мере они доверяли ему, и когда в квартире Рылеева распевали революционные песни, хриплый голос Булгарина звучал громче всех.

Впрочем, и это можно считать уликой. Недаром его не вызывали на следствие по делу декабристов. Каховский показывал, что часто встречал Булгарина у Рылеева, но замечал, что в нем всегда сомневались.

Первые рассказы Булгарина были ужасны, литера-

турно беспомощны. Язык их — пользуясь выражением Пушкина — язык камердинера профессора Тредьяковского. Единственно, что там любопытного, — циничность рассказчика. Никак не спрятать, не заглушить «дух его сочинений». Тот самый «дух», о котором вспоминал Н. Бестужев: «Булгарина я любил как собеседника; часто с ним бранился за дурные его наклонности в журналистике и некоторых частных сношениях с людьми; некоторые статейки его хвалил, но вообще дух его сочинений решительно мне не нравился...»

Но, может, и в самом деле какая-то часть души Булгарина тянулась безрасчетно к отчаянным поручикам. И сочувствовал проектам, и революционные идеи были ему милы. И тут же, вернувшись ночью домой, он писал свои верноподданные проекты Милорадовичу. Утром бежал на поклон — магницким, руничам. А по дороге, встретив Рылеева, лобызался с ним — и все от души, нараспашку... Понимал ли он себя — кто же он, с кем? Бывают такие натуры путаные, вроде и с теми они заодно, и с этими, всюду поддакивают, всюду приняты. Конечно, все можно объяснить тем, что Булгарин страстно жаждал выбиться в люди. Любыми способами, любым путем. Прошное его незавидно. В Петербурге он человек ниоткуда. Ему нужны связи, нужны покровители. Он заискивает перед Аркачеевым и Шишковым. Его «Северная пчела» безудержно льстит властям... Однако и либералы были в силе. Они главенствовали в литературе. Булгарин, «человек деловой и расторопный» (Греч), подлаживается и к ним. И это можно объяснить. Но через несколько часов он совершит бесспорную подлость. И то, что происходит сейчас, и то, что было, все станет двусмысленным.

Итак, теперь Фаддей Булгарин стоит перед дверью квартиры Рылеева. Что привело его сюда? Страх, растерянность? Хотел ли он убедиться, что у заговорщиков нет никаких надежд? Живы они? Что с ними? Не схватят ли его сейчас? В квартире, может быть, уже полиция. Она действительно появилась через час. Приехал обер-полицмейстер, предъявил приказ об аресте...

Булгарин дернул ручку колокольчика. Слуга провел его в комнату. За столом сидели Рылеев, Штейнгель, Бестужев, еще несколько человек. Шумел самовар. Пили чай.

Позже, рассказывая об этом Гречу, он ужаснулся обыденности их поведения. Он ожидал чего угодно, но не этого преспокойного чаепития. Достоверность воспоминаний всегда подтверждают нелепые, казалось бы, немыслимые подробности.

Рылеев встал из-за стола, вывел Булгарина в переднюю.

— Тебе здесь не место. Ты будешь жив, ступай домой.

Несколько недель тому назад, разозленный холуйством булгаринской «Северной пчелы», Рылеев в этой же квартире крикнул ему: «Когда случится революция, мы тебе на «Северной пчеле» голову отрубим». Вспоминались ли им сейчас эти слова?

Через несколько месяцев не Булгарин, а Рылеев будет казнен.

«Ты будешь жив, ступай домой». Он остался жив. Он пошел домой. В своих воспоминаниях он старался забыть этот вечер. Человек, наверное, никогда не может представить, что именно из его жизни окажется интересным для потомков, тем более решающим. Булгарин стыдился непонятного самому себе порыва. К тому времени, когда он будет писать воспоминания, все безотчетное будет в нем вытравлено.

Дверь захлопнулась. Он вышел на набережную. Громада Исаакия, недостроенного, в лесах, чернела впереди, нависая немыслимой своей высотой над двухэтажными домишками.

Захлопнулась дверь в прошлое. Он остался наедине с быстро растущим страхом.

Через несколько часов по требованию полиции он подробно и точно описал приметы разыскиваемого Кюхельбекера.

V

История русской реакции богата и поучительна. У нее были свои традиции, опыт, теории, свои герои со времен Малюты Скуратова и вплоть до Каткова, до Победоносцева.

Граф Федор Ростопчин — яростный защитник рабства. Или Аракчеев, этот ефрейтор, мечтавший превратить Россию в огромную казарму. Или иезуит Жозеф де Местр, один из фанатичных апостолов реакции, оракул

петербургских салонов, «Вольтер наизнанку», как его называли. Невежество было его культом. Он воспевал палача как представителя божественного правосудия на земле. Он пламенно клеймил все университеты и лицеи, которые «угрожают России ужасным злом».

«Наука, — писал он в своих страстных памфлетах, — постоянно подвергает государство опасности, постоянно стремясь доставить государственные должности людям ничтожным, без имени и богатства...»

Это сегодня их высказывания кажутся дикими. Для своего времени они были серьезными противниками революции и прогресса. Любыми заклинаниями они пытались остановить Россию, ослабить ее духовную мощь.

У каждого были свои проекты. Каразин, например, доказывал Александру I необходимость образования для крепостных — разумеется, не для развития их, а для «воспитания в них чувства пассивности и рабской зависимости». Каразин не просто душитель-крепостник. Харьковский помещик Каразин был человек образованный, мало того — ученый. Он разрабатывает оригинальный проект использования атмосферного электричества. И в это же время он пишет другой всеобъемлющий проект — по учреждению системы доносов, искоренения вольнодумства, укрепления монархии.

Что только не делалось, чтобы задержать просвещение, русскую науку!

Тот же де Местр главные свои усилия обращает против естествознания: «Библии совершенно достаточно, чтобы знать, каким образом произошла Вселенная». Правительство должно «стеснять науку разными способами, а именно: 1) не объявляя ее необходимой вообще, ни для каких должностей гражданских или военных; 2) требуя только познаний, существенно необходимых для известных должностей, например математики для инженеров и т. п.; 3) *уничтожая всякое публичное преподавание сведений...* как, например, история, география, метафизика, мораль, политика и проч.; 4) никоим образом не оказывая покровительства распространению знаний в низших слоях народа и даже стесняя (не надо только, чтобы это было заметно) всякое предприятие этого рода...».

В 1819 году в Казанский университет приехал для ревизии Магницкий, рыхлый, бледный молодой чинов-

ник с лицом старой девы. Начал он с того, что выбросил из библиотеки Вольтера, затем приказал сжечь все остальные вольнодумные сочинения, а затем вообще потребовал у начальства публично разрушить университет. Его не отозвали, не посадили в сумасшедший дом. Нисколько. Магницкого назначили попечителем Казанского университета. И там он принялся учинять свои знаменитые реформы. Собственноручно он пишет для преподавателей строжайшие инструкции:

«Профессор физики обязан во все продолжение курса своего указывать на премудрость Божию и ограниченность наших чувств и орудий для познания окружающих нас чудес». «Профессор истории Российской покажет, что отечество наше в истинном просвещении упредило многие современные государства». Преподаватель политических наук должен «прежде всего внушать студентам чувства покорности и повиновения»...

Инструкции и принципы Магницкого быстро распространились и на другие университеты. Рунич, попечитель Петербургского университета, устраивает суд над профессорами, изгоняет таких замечательных ученых, как Арсеньев, Герман, обвиняя их в безбожии и революционности. Реакционеры воспряли и стали увольнять лучших профессоров университетов Москвы, Харькова, Дерпта.

Происходит это в двадцатые годы XIX века, в годы бурного расцвета физики. В Европе публикуются замечательные работы Араго, Дэви, Ампера, Карно, Ламарка. Закладываются основы новой биологии, термодинамики, электрофизики, химии. Да и в России, тут же на берегу Невы, идут знаменитые работы по электрофизике Василия Петрова, Власова, затем Шиллинга, в Дерпте — Паррота, позже Якоби, Ленца.

Как могла среди этих воплей, угроз, преследований существовать русская наука, не только существовать, но и добиваться результатов мирового класса, даже первенствовать в некоторых областях? Мы все же недооцениваем силы отечественной науки, мы часто судим о ее достижениях, не задумываясь об условиях, в которых работали ученые. Мы лишь сопоставляем по датам с тем, что происходило на Западе. Но стоит представить себе, что стало бы с Английским королевским обществом, если бы там хозяйничали руничи, магницкие, шишковы, уваровы.

Дайте Василию Петрову такую лабораторию, как у Г. Дэви, такие средства, научную среду, пусть он встретится с Ампером, Араго, обсудит, проверит, тогда б гений его действительно мог развернуться, создать куда больше, тогда и можно было бы сравнивать...

Идеи реакции развивались.

Через несколько лет после инструкции Магницкого указания звучали иначе. Историкам следовало сопоставлять уже не с Западом, а с прошлым:

«Прошедшее России удивительно, ее настоящее более чем великолепно, что же касается ее будущего, то оно выше всего, что только может представить себе самое смелое воображение...» Слова эти принадлежат Бенкендорфу.

На смену выступают новые герои реакции, и среди них Фаддей Булгарин.

VI

...Его не трогали, арестовывали остальных, ему оставалось лишь бояться. Страх разъедал его. Милорадович, петербургский генерал-губернатор, которому Булгарин писал всевозможные записки о цензуре и укреплении власти, был убит декабристами 14 декабря 1825 года, и некому было заступиться, подтвердить благонамеренность.

«Тон общества менялся наглазно, — вспоминал Герцен, — быстрое нравственное падение служило печальным доказательством, как мало развито было между русскими аристократами чувство личного достоинства. Никто (кроме женщин) не смел показать участия, произнести теплого слова о родных, о друзьях, которым еще вчера жали руку, но которые за ночь были взяты. Напротив, являлись дикие фанатики рабства: одни из подлости, а другие хуже — бескорыстно».

У Булгарина началось со страха, затем пришла подлость, корысть, а затем и бескорыстие, бескорыстная подлость. Он подает проект за проектом. Поскольку общественное мнение уничтожить невозможно, правительство должно им управлять, доказывает он, и лучше всего это делать посредством книгопечатания. Но как? Булгарин разделяет читающих на несколько групп и для каждой группы разрабатывает свои средства воздействия.

Увы, писателей, готовых писать на заданную царем тему, мало, поэтому их следует не раздражать, а привлекать «ласковым обхождением и снятием запрещения писать о безделицах, например о театре и т. п.».

Словно бы и всерьез, и словно бы и глумясь, и не понять, над кем ерничает: «Нашу публику можно совершенно покорить, увлечь, привязать к трону *одной только тенью свободы* в мнениях насчет некоторых мер и проектов правительства».

Что касается грамотных мещан и нижнего сословия, то для них годится «магический жезл» — *матушка Россия...*

Ах, если бы к нему, Булгарину, прислушались, дали б ему право распоряжаться, уж он бы...

Желание оправдаться, заслужить доверие переходит в неподдельное возмущение тупыми чиновниками, так бездарно служащими царю:

«...вместо того, чтобы запретить писать *против* правительства, цензура запрещает писать о *правительстве* и в *пользу* оно́го. Всякая статья, где стоит слово «правительство», «министр», «губернатор», «директор», запрещена вперед, что бы она ни заключала... Один писатель при взгляде на гранитные колоссальные колонны Исаакиевского храма восклицает: «Это, кажется, столпы могущества России!» Цензура вымарала с замечанием, что столпы России суть министры».

После казни декабристов он пишет записку «Нечто о Царскосельском лицее и о духе оно́го», касающуюся непосредственно Пушкина. Сочинение это поразительно по сочетанию лжи и точности, клеветы и наблюдательности. Чего стоят заголовки разделов: «Что значит лицейский дух. Откуда и как он произошел. Какие его последствия и влияния на общество. Средства к другому направлению юных умов...»

Булгарин обличает лицейский дух за то, что этот дух «обязывает» молодежь «порицать насмешливо все поступки особ, занимающих значительные места, все меры правительства, знать наизусть или самому быть сочинителем эпиграмм, пасквилей и песен, предосудительных на русском языке... Пророчество перемен, хула всех мер или презрительное молчание, когда хвалят что-нибудь, суть отличительные черты сих господ в обществе. *Верноподданный* значит укоризну на их языке, *европеец* и *либерал* — почетные названия...»

С эрудицией осведомителя Булгарин разбирает пагубную роль Н. И. Новикова, А. И. Тургенева, порядки в Царскосельском лицее, вред «Арзамаса» — общества, которое, «покровительствуя Пушкина и других лицейских юношей, раздуло без умысла искры и превратило их в пламень».

И далее предлагает ряд мер для истребления лицейского духа. Надо отдать должное Булгарину — на фоне николаевских «идеологов» мысль его выделяется блеском демагогии, гибкостью. Он далеко обошел своих наставников, примитивных «гасителей» типа Магницкого — Рунича. Булгаринские «исследования» производили впечатления на николаевскую камарилью...

И самому Николаю I как нельзя кстати была реакция думающая, способная обосновать, мотивировать всяческое искоренение личности.

На его лощеной физиономии, по словам русского историка Сергея Михайловича Соловьева, были обозначены всегда три слова: «Остановись, плесневей, разрушайся!»

Остановись всякая гражданская мысль. Плесневей общественная жизнь. Разрушайся личность, сколько-нибудь выдающаяся индивидуальность. «Это был страшный нивелировщик... — писал С. М. Соловьев, — до конца он не переставал ненавидеть и гнать людей, выдающихся из общего уровня по милости Божией... Не знаю, у какого другого деспота в такой степени выражались ненависть к личным достоинствам... Он хотел бы... по возможности одним ударом отрубить все головы, которые поднимались над общим уровнем... Он инстинктивно ненавидел просвещение, как поднимающее голову людям, дающее им возможность думать и судить, тогда как он был воплощенное: „Не рассуждать!“»

VII

Сальери ненавидит Моцарта. Но за что? Сальери убивает Моцарта. И опять же — за что?

Казалось бы, Сальери достиг того, о чем мечтал. Он добился славы, признания, он одолел Природу. Тайное тайных открылось ему — секрет создания прекрасного. Его убежденность победила. Он создал себя — осуществив то, что проповедовал Гельвеций еще в XVIII веке:

«Тем, чем мы являемся, мы обязаны воспитанию: большинство людей должны приписывать посредственность своего разума не убедительной причине собственного несовершенства, но воспитанию и обстоятельствам».

И тут вдруг перед Сальери-победителем разверзлась пропасть. Когда уже все преодолено, завоевано, возникает препятствие непонятное, непосильное анализу, неподвластное ни труду, ни терпению: оно отделяет его от Моцарта, как мертвое от живого. Сколь ни искусно сделан робот, оказывается, все же это не человек. Моцарт недостижим. Это иное качество, иное состояние. И, что самое ужасное для Сальери, это качество не поддается вычислению. Сальери может научиться поражать цель еще более метко. Но Моцарт поражает невидимую цель. Сальери может высчитать движение звезд сколь угодно точно. Моцарт открывает новые звезды. Сальери знает, чего он хочет, — у Моцарта получается непредвиденное.

Сальери властвует над своим даром, он может направлять его, совершенствовать — дар Моцарта властвует над ним самим. Пользуясь выражением Шумана: талант работает, гений творит. Моцарт порой не способен выразить, сформулировать то, что он делает. Прислушайтесь, как сбивчиво, невнятно пытается он передать замысел новой вещи:

Представь себе... кого бы?

Ну, хоть меня — немного помоложе;
Влюбленного — не слишком, а слегка —
С красоткой или с другом — хоть с тобой,
Я весел... Вдруг: виденье гробовое,
Незапный мрак иль что-нибудь такое...

Лепет его откровенно беспомощен. Да ему это неважно. Перо гения, как говорил Гете, более умно, нежели он сам.

Поэтому сам Моцарт не в силах был бы объяснить, помочь Сальери открыть свой секрет.

Боги смеются. Борьба Сальери кончилась поражением, Сальери низвергнут, уже не ученик, а мастер, истративший годы, достигший вершин, и на этой высоте он понял всю разницу между собой и Моцартом.

Несправедливость восторжествовала.

Несправедливость вдвойне, ибо мало того, что повержен он, Сальери, служивший искусству беззаветно, но кто же избранник, кто победил? Гуляка праздный.

Легкомысленный, пустой, не боготворящий искусство, не достойный своего дара.

Такова первая статья обвинения.

Знакомые попреки — гуляка праздный. Игрок. Повеса.

«...Присоединяю к моему посланию письмо нашего пресловутого Пушкина. Эти строки великолепно его характеризуют в легкомыслии, во всей беззаботной ветренности. К несчастью, это человек, не думающий ни о чем, но готовый на все. Лишь минутное настроение руководит им в действиях», — писал Бенкендорфу фон Фок, наслаждаясь своим прелестным бисерным почерком и чувством превосходства и презрения.

Вскрывая письма Пушкина, он сообщает еще определеннее: «Пушкин, сочинитель, был вытребован в Москву. Выезжая из Пскова, он написал своему близкому другу и школьному товарищу Дельвигу письмо, извещая его об этой новости и прося его прислать ему денег с тем, чтобы употребить их на кутежи и шампанское. Этот господин известен всем за мудрствователя в полном смысле этого слова, который проповедует последовательный эгоизм с презрением к людям, ненависть к чувствам, как и к добродетелям, наконец — деятельное стремление к тому, чтобы доставлять себе житейские наслаждения ценою всего самого священного. Это честолобец, пожираемый жаждою вожделений, и, как примечают, имеет столь скверную голову, что его необходимо будет проучить при первом удобном случае...» В глазах того общества Пушкин не слыл тружеником. Он не получил достойных званий, не добился положения.

Наверное, все свои обвинения Сальери мог адресовать Пушкину.

Булгарин и булгарины тоже могли бы повторить слова Сальери. Но свои обвинения Булгарин писал в III отделение, поэтому он добавлял и многое другое.

А когда в «Литературной газете» появилась критика булгаринского «Дмитрия Самозванца», Булгарин, приписав ее Пушкину, разразился уже ничем не сдерживаемой публичной руганью. 11 марта 1830 года он печатает в «Северной пчеле» пасквильный «Анекдот», где Пушкин у него (не названный по имени, но всем было понятно, кого он имел в виду) — «природный француз,

служащий усерднее Бахусу и Плутусу, нежели Музам, который в своих сочинениях не обнаружил ни одной высокой мысли, ни одного возвышенного чувства, ни одной полезной истины, у которого сердце холодное и немое существо, как устрица, а голова — род побрякушек, набитый гремучими рифмами, где не зародилась ни одна идея; который, подобно исступленным в басне Пильпая, бросающим камнями в небеса, бросает рифмами во все священное, чванится перед чернью вольнодумством, а тишком ползает у ног сильных, чтоб позволили ему нарядиться в шитый кафтан, который марают белые листы на продажу, чтобы спустить деньги на крапленых листах, и у которого одно господствующее чувство — суетность».

В этой брани взбесившегося Булгарина вопиют, перебивают друг друга — доносчик, завистник, торгаш, почуявший угрозу своим доходам. Булгаринские обвинения: «природный француз», «служащий усерднее Бахусу» — смыкаются с определениями фон Фока:

«Ненависть к добродетелям», «жажда возделений».

Картежник!..

Вольнодумец!..

То, что ходило в тайных донесениях, в пакетах, запечатанных сургучными печатями, прорвалось у Булгарина. Проговорился. Не хватает лишь заключения фон Фока: «Проучить его при первом удобном случае», — все же остальное вполне смыкается с мнениями руководителя III отделения: доставляет себе житейские наслаждения «ценою всего самого священного», «бросает рифмами во все священное», «служит Бахусу», «ни одной полезной истины», «картежник».

Опять же выходит сальериевский «гуляка праздный», да еще «вольнодумец», да еще «плут»!

Булгаринский пасквиль как бы обнаружил, обнарудовал ненависть к Пушкину всего жандармского начальства. Роль Сальери выполняет здесь не только Булгарин, а и фон Фок, и многие другие.

А Пушкин считал фон Фока добрейшим, милейшим человеком. Он принимал его обходительную ласковость с той же доверчивостью, с какой Моцарт принял стакан вина от Сальери.

У Булгарина своя ненависть. Он не просто рупор жандармской николаевской России. Но об этом позже.

Сейчас же примечательно другое — бесстыдство, цинизм, с которым он приписывает собственные качества Пушкину.

«...тишком ползает у ног сильных» — это пишет Булгарин, жизнь которого состоит из самого беззастенчивого холопства. Он, который пресмыкался перед Аракчеевым, Бенкендорфом, Фоком, Дубельтом, перед кем угодно. И как пресмыкался — истово. Он с умилением называет себя Дубельту Фаддеем Дубельтовичем, он пишет ему:

«Отец командир! Я не знаю, как вас называть! Милостивый государь и ваше превосходительство — все это так далеко от сердца, все это так изношено, что любимому душою человеку — эти *условные* знаки вовсе не идут! А я люблю и уважаю вас точно *душевно*! Ваша доброта, ваше снисхождение, ваша деликатность со мною — совершенно поработили меня, и нет той жертвы, на которую бы я ни решился, чтоб только доказать вам мою привязанность!»

Мучила ли когда-нибудь Булгарина совесть за клевету и грязь, которыми он чернил гения России? Представлял ли он величину Пушкина и то, каким он, Булгарин, окажется перед будущими поколениями?.. А если б и представлял — остановило бы это его? Вопросы наивные и бесполезные. Нам всегда кажется, что булгарины, бенкендорфы, дантесы мучаются, совесть их грызет и «мальчики кровавые в глазах». Мы утешаем себя воображаемым возмездием. В том-то и хитрость, что творят они свои злодейства не как злодейства, а как суд, как защиту. Они уверены или уверяют себя, что они осуществляют возмездие, они обвиняют, они защищают и защищаются.

Булгарин оставался верен себе до конца. Он продолжал писать доносы на Белинского, Гоголя, Лермонтова, Некрасова, он никогда не раскаивался, не предавался сомнениям, не мучил себя вопросами о злодействе. Любую мерзость, совершенную им, он приписывал своим противникам. С изощренностью он уверяет всех и самого себя, что это не его качества, а это все Пушкин, это Надеждин, это другие:

«Замечено искони веков, что лучшее средство погубить человека, которого опасаются, есть *клевета*, обложенная в *одежду сплетней*...»

Это пишет Булгарин про Пушкина. Оказывается, его опасается Пушкин и губит сплетней. Булгарин упрекает Пушкина в корыстолюбии. В том, что Пушкина снедает честолюбие. И даже в том, что Пушкин творчески несамостоятелен, что он заимствует у Булгарина, что он «привык искать ошибок в других и вследствие этого не видит собственных».

Технику намеков, зашифрованных, упрятанных в аллегории, Булгарин разработал мастерски. Иногда работы пушкинистов над булгаринскими текстами напоминают скрупулезный труд следователя. Раньше я как-то не представлял глубины и точности исследований наших лучших пушкинистов. И тем не менее роль Булгарина в пушкинской судьбе остается во многом еще не выясненной. Может быть, она была куда более роковой, чем нам кажется.

Итак, Моцарт в глазах Сальери — виновен.

Виновен в том, что священный дар, бессмертный,

...не в награду
Любви горячей, самоотверженья,
Трудов, усердия, молений послан —
А озаряет голову безумца,
Гуляки праздного?..

Статья вторая обвинения. Что дал искусству Моцарт? Полезно ли его искусство? Может ли он, Сальери, великий музыкант, мастер, следовать Моцарту, использовать добытое им?

Что пользы, если Моцарт будет жив
И новой высоты еще достигнет?
Подымет ли он тем искусство? Нет...

Следовать Моцарту нельзя. Потому что он творит не по законам музыки, а в нарушение их. Раскрыть тайну своего гения он не в силах. Следовательно, он бесполезен.

Полезен Сальери, даже Булгарин, Кукольник, Загоскин куда полезнее, чем Пушкин. Для черни, для светской черни. Не нравственность, а нравоучение им надобно, не идеалы, а восхваления.

...Тебе бы пользы все — на вес
Кумир ты ценишь Бельведерский,
Ты пользы, пользы в нем не зришь.

Надежность была нужна. А посредственность — она надежна.

Моцарт вреден, ибо музыка его не вдохновляет таких, как Сальери, а убивает их. Это он, Моцарт, убийца.

Виновен? Да.

Статья третья.

Моцарт не просто бесполезен, бесполезность его опасна.

Что пользы в нем? Как некий херувим,
Он несколько занес нам песен райских,
Чтоб, возмутив бескрылое желанье
В нас, чадах праха, после улететь!
Так улетай же! чем скорей, тем лучше.

Зов волшебной флейты музыканта вызывает у людей смутное и тягостное ощущение собственной бескрылости. Бескрылое желание — непосильное, мучительное — приводит лишь к страданию. Высоты, куда призывает моцартовский гений, заставляют острее чувствовать себя «чадом праха». Человек из земли вышел и в землю уйдет, чего ж искать смысл и какой может быть смысл. Да еще если бога нет. Искусство дано для наслаждения. Помочь человеку забыться, утешить, сострадать. Зачем Моцарт возмущает души, растравляет — он искушает напрасно, как лермонтовский Демон, его музыка лишь бесплодно терзает, оставляя человека среди мерзостей жизни, измученного ненужными, бесполезными желаниями.

Виновен? Да.

Через полвека Великий Инквизитор Достоевского снова изгонит Христа, доказав необходимость изгнания. И, в частности, опять же соображениями пользы. Полезно то, что достижимо: «Клянусь, человек слабее и ниже создан, чем ты о нем думал! Может ли, может ли он исполнить то, что и ты? Столь уважая его, ты поступил, как бы перестав ему сострадать, потому что слишком много от него и потребовал...»

Великий Инквизитор еще раз вернется к той же мысли, вернее, продолжит ее: «Чем виновата слабая душа, что не в силах вместить столь страшных даров?»

А Верховенский в «Бесах», тот напрямик, не стесняясь, обещал: «...мы всякого гения потушим в младенчестве. Все к одному знаменателю, полное равенство... Необходимо лишь необходимое — вот девиз земного шара отселе».

Сам по себе Моцарт — гуляка праздный — безвреден. Он виновен, он обречен, потому что он гений. Его приговаривают к смерти как гения.

Гений возбуждал против себя заговор королей, священников, придворных и просто булгариных и сальери. Его уничтожали ядом, ссылкой, ложью, наградами, лестью. Гений был опасен тем, что открывал истину. А истина, говорил Пушкин, неподвластна царям.

Моцарт должен погибнуть. Он обречен. Черный человек уже заказал реквием, и Моцарт написал его еще до встречи с Сальери.

По всем статьям Моцарт виновен. Сальери осудил его, он выяснил его вину, но кто, кто должен привести приговор в исполнение? Имеет ли Сальери на это право?

Одно дело судить, обвинять — другое дело казнить. Не без колебаний и мучений Сальери решается на это.

Как бы там ни было, ему надо преступить человеческий закон. Не так-то просто лишить человека жизни. И что еще страшнее для Сальери, — погубить свою душу, обречь ее на вечные муки.

Выпив отравленное вино, Моцарт садится за фортепьяно. Он исполняет последнее свое творение, больше никогда и ничего уже он не создаст. Горечь расставания с жизнью звучит в зауспокойной обедне, которую он справляет над собой.

Реквием отпевает, скорбит и над жизнью Сальери. Моцарт играет реквием не только себе, должному через несколько часов умереть. Сальери тоже обречен. Реквием решил и его судьбу. Душа его погибла. Он должен проститься с прошлой жизнью. По-разному оба они были привязаны к ней, она дарила им радости и вдохновение.

Может, где-то здесь разгадка того неожиданного и поразительного, что происходит в эти минуты с Сальери. Он плачет. Любого можно было ожидать, но слезы... И тотчас же ясно, что только так разрешаются в нем ужас, отчаянье, зависть, восторг, жалость. Сколько их, мучительных чувств, столкнулось сейчас в его душе. Слезы его — очищающие. Убил и очистился! Впервые он плачет так, такими слезами...

Эти слезы

Впервые лью: и больно, и приятно.
Как будто тяжкий совершил я долг,
Как будто нож целебный мне отсек
Страдавший член!..

Долг — он выполняет долг, он жертва долга. По крайней мере он так понимает свой долг. Будь черный человек не предчувствие Моцарта, а действительный убийца, Сальери не уступил бы ему права уничтожить Моцарта. Всеми трудами своей жизни Сальери заслужил свершить этот подвиг. Не для себя он убивает — для пользы, которую он, Сальери, лучше всех различает. Он преступает во имя защиты искусства и нынешнего, и будущего, он спасает людей от ненужных страданий...

Нет правды на земле, и выше тоже нет правды. Нет надежды, что Всевидящий покарает виновного. Сальери вынужден свершить это сам. Он принимает на себя страдание, он будет слыть злодеем, и не только слыть, и на самом деле это злодейство, пусть во имя долга, все равно злодейство.

Где-то под всем этим тлеет, наверное, и зависть. И всякие требования пользы — от зависти, и «гуляка» — от зависти, и восхищение и слезы — от зависти. И даже его злодейство — оно и для зависти злодейство, потому что он уничтожает то, чему завидует, он лишает себя своей сладкой и мучительной зависти. Это герой не мольеровской, а шекспировской страсти.

Посредственность всегда завидовала таланту. Зависть к недостижимому становится ненавистью. Чтоб не обнаружить себя, посредственность шумела, била себя в грудь, она заботилась об искусстве, она — первый критик и хулитель... На самом же деле раздел литературных страстей прежде всего проходил между талантом и посредственностью. На одной стороне Пушкин, Вяземский, Дельвиг, на другой Булгарин, Греч, Кукольник... У таланта и у посредственности разные цели в искусстве.

До сих пор логика выручала Сальери, заменяя совесть. Теперь он дошел до той точки, до предела, где логика помочь не в силах, она отступает, обнажая характер. Перед нами возникает структура мышления, особый тип сознания, сальериевский тип.

Он готов пожертвовать своей человечностью, готов страдать, стать злодеем — во имя чего? Раскольникову надо было проверить свою теорию, Сальери не собирается проверять: в нем нет сомнений. Он должен очистить ее, удалить то, что не согласуется с теорией

и угрожает гибелью всем жрецам, служителям, всем сальери. Искусство Моцарта нарушает законы, опровергает пользу, нравственность — значит, оно опасно, ненужно; значит, удалить, отсечь, ампутировать. Как бы ни было больно.

Льет слезы, мучается и убивает. Он злодей рыдающий, сознающий свое злодейство. Он взваливает его на себя, как крест. Это не слепой фанатик и не палач-чиновник — это мученик своего злодейства.

Великий Инквизитор тоже страдает, решив отправить Христа на костер. Но Великий Инквизитор казнит бога Христа, не имея бога. Для Сальери божество — Моцарт. Сальери — высший судья, и убивает он, спасая не веру, а теорию, вычисленную им, логическую догму искусства. Он спасает себя от бога, ибо Моцарт для него божество, явление нездешнее, чудо. Сальери начинал свою жизнь музыканта с того, что убивал звуки и препарировал труп музыки. Он начинает с убийства и кончает убийством.

VIII

Христос в «Легенде» молча поцеловал Великого Инквизитора, ни словом не ответив, не возразив.

Моцарт, казалось бы, тоже ничем не мог бы возразить, тем более опровергнуть неумолимую логику Сальери. Логика — не его стихия, защищаться от обвинений он не станет. Он свободен от них той тайной свободой гения, о которой мечтал Пушкин.

Веленью божью, о муза, будь послушна,
Обиды не страшась, не требуя венца,
Хвалу и клевету приемли равнодушно
И не оспаривай глупца.

Муза! Да, муза, но не художник. Сам Моцарт — человек со всеми слабостями, страстями, в заботах суетного света. Он не чужд суеты, и окружающий мир, и Сальери — реальность для него. Он от мира сего, во все не посланец небес, просто законы борьбы для него другие. Логике злодейства он может противопоставить другое — свою веру в художника. И он противопоставляет. Он, Моцарт, утверждает:

...А гений и злодейство —
Две вещи несовместные. Не правда ль?

Слова его — возражение всем доводам Сальери. Они предостерегают. В них нет доказательств. Они — нравственная программа Моцарта. В них вера и угроза. Выбирай между злодейством и гениальностью. Моцарт не сумел бы опровергнуть логику Сальери, но и Сальери сражен словами Моцарта.

Однажды Анна Андреевна Ахматова спросила меня: «Можете вы вообразить, что Пушкин убил Дантеса? Остался бы он для вас тем же Пушкиным?»

Перестановка показалась немыслимой. Я сжился с трагической судьбой Пушкина. Обелиск у Черной речки, на месте дуэли; квартира-музей и там красный сафьяновый диван, на котором умирал Пушкин, подробности последних суток его жизни — это с детства стало неотъемлемым и непоправимым.

Я не мог представить себе мертвого Дантеса и Пушкина невредимого, уезжающего на санях домой. То есть представить можно и это, но дальше воображение отказывало.

А собственно, почему? Пушкина убивали, но разве он был покорной жертвой, беспомощной мишенью? Нет, он умирал с оружием в руках, отстреливаясь...

Он упал, выронив пистолет в снег. Секунданты бросились к нему. Дантес тоже. Пушкин остановил его, сказав по-французски:

— Подождите! Я чувствую достаточно сил, чтобы сделать свой выстрел!

Дантес подал ему другой пистолет. Полулежа, Пушкин приподнялся, «целился в Дантеса в продолжение двух минут и выстрелил так метко, что если бы Дантес не держал руку поднятой, то непременно был бы убит...», «Геккери упал, но его сбила с ног только сильная контузия... Пушкин, увидя его падающего, бросил вверх пистолет и закричал:

— Браво!

Между тем кровь лила из раны».

Пушкин стрелял в Дантеса, в злодейство. Он погиб в бою, воином, сражаясь...

Вряд ли кто еще так, как Пушкин, мечтал о покое и воле. «Ты царь, живи один». Живи один, отвергая суету, пренебрегая насмешками, клеветой... Но жил он до последнего своего часа бойцом. Это он писал:

«...Я не принадлежу к числу тех незлопамятных литераторов, которые, публично друг друга обругав, обнимаются потом всенародно. Нет: рассердясь единожды, сержусь я долго и утихаю не прежде, как истощив весь запас оскорбительных примечаний, обиняков, заграничных анекдотов и тому подобного».

«Не узнавать себя в пасквиле безымянном, но явно направленном, было бы малодушием. Тот, о котором напечатают, что человек такого-то звания, таких-то лет, таких-то примет — крадет, например, платки из карманов, — все-таки должен отозваться и вступить за себя — конечно, не из уважения к газетчику, но из уважения к публике. Что за аристократическая гордость позволять всякому негодяю швырять в вас грязью».

«Писатели, известные у нас под именем аристократов, ввели обыкновение, весьма вредное литературе: не отвечать на критику».

Он отвечал ударом на удар. И Булгарину он не спускал ни одного выпада. Он отвечал всеми доступными средствами: эпиграммами, пародиями, критическими статьями. Это было для него не только делом чести, но делом защиты литературы. Возможности Пушкина были стеснены. Опальный поэт, поднадзорный, постоянно преследуемый цензурой, окруженный шпионами, он сражался в неравных условиях. Булгарин был не один. Греч, Надеждин, Сенковский, Полевой, Каченовский — так или иначе объединялись против Пушкина.

И в стане друзей не всегда понимали Пушкина; холодно, а порой пренебрежительно встречали лучшие его вещи. Тот же Вяземский признавался Тургеневу, что поэт Козлов вызывает больше чувств и мыслей, чем Пушкин.

«Вероятно, трагедия моя не будет иметь никакого успеха, — пишет Пушкин в 1830 году. — Журналы на меня озлоблены. Для публики я уже не имею главной привлекательности: молодости и новизны литературного имени...»

Порой кажется, что Моцарт и Сальери — это Пушкин и литературная Россия того времени. А Булгарин лишь символ, маска, за которой скрывались и многие другие, «сволочь нашей литературы», по выражению Пушкина. Не хочется ни в малейшей степени оправдывать Булгарина, но многое, очевидно, впоследствии удобно было приписывать ему, списывать на него, пре-

вратить его в свалку всех нечистот, позорных поступков тех лет.

Булгарин был деятель наиболее откровенный, запальчивый, неразборчивый в средствах, отчасти и сам зависимый, подчиненный тем силам, которые он представлял.

Перед Пушкиным стояла задача не простая — надо было ответить на гнусный «Анекдот» Булгарина, не опускаясь до перебранки. Защититься, но достойно. Нельзя же было всерьез возражать на обвинения пасквиля. Пушкин понимал опасность Булгарина, особенно для себя, должного соблюдать правила полицейского режима. Чуть что, его любезно и холодно предупреждали о «ложных шагах». Слог руководителей III отделения, не в пример Булгарину, отличался крайней любезностью.

Булгаринский «Анекдот», кроме всего прочего, угрожал женитьбе Пушкина: и без того репутация его в глазах Гончаровых была не блестящей.

Пушкин вынужден обратиться к Бенкендорфу, он пишет ему о своем положении: «Оно так непрочное, что каждую минуту я чувствую себя накануне несчастья, которого я не могу ни предвидеть, ни избежать» — и далее: «Г-н Булгарин, который, по его словам, пользуется у вас влиянием, сделался одним из наиболее жестоких моих врагов — из-за критической статьи, которую он приписал мне. После гнусной статьи, которую он напечатал обо мне, я считаю его способным на все».

В его положении крайне сложно было найти форму ответа Булгарину так, чтобы изобличить и обезвредить человека, опекаемого III отделением.

Решение Пушкина было неожиданным и смелым. В 1829 году в Париже вышли четырехтомные записки начальника парижской тайной полиции Видока. Пушкин пишет на них как бы рецензию: «О записках Видока». Каждая строчка рецензии имела в виду биографию Булгарина, факты, известные тогда всей литературной обществу. Было ясно, что Видок — это Булгарин.

Полицейский сыщик — вот кто Булгарин, и он судит о нравственности, о литературе, он строчит пасквили, и он охраняет мораль! Пушкин прямо заявляет: подлинная физиономия Булгарина — автора нравственных романов, издателя, литератора — состоит в том, что он тайный сотрудник полиции, доносчик.

Пушкин лез на рожон, ибо речь шла не о мелком шпи́ке, а о наперснике Бенкендорфа, — известно, что Бенкендорф незадолго до этого защищал Булгарина даже перед Николаем. За спиной Булгарина стояли могущественные покровители, да и сам Булгарин имел в своем распоряжении распространеннейшую, почти официальную «Северную пчелу».

Когда Пушкин принес Погодину рецензию, тот испугался печатать ее в своем «Московском вестнике».

«Пушкин давал статью о Видоке, — пишет Погодин, — догадался, что мне не хочется помещать ее (о доносах и о фискальстве Булгарина), и взял».

В том-то и штука, не самого Булгарина боялись — Булгарина в лицо называли подлецом, били его, и, очевидно, не редко. Декабрист Демьян Искрицкий, который был сослан, очевидно, по доносу Булгарина, перед своим арестом избил Булгарина. Греч, который описывает этот случай, замечает: «На другой день явился ко мне Булгарин в синих очках, *которые носил после всякого подобного побоища...*»

Боялись III отделения. В доносах, в связи с III отделением подозревали Булгарина давно, говорили об этом вслух, но лишь Пушкин первый публично, печатно не побоялся обнародовать и заклеить его как человека, «живущего ежедневными донесениями», как шпиона.

Никакие другие разоблачения и характеристики в статье о «Видоке» не смутили Погодина: его остановило главное — «о доносах и фискальстве» Булгарина, — он понимал, что это вызов III отделению.

Статья «О записках Видока» появилась 16 апреля 1830 года в «Литературной газете». Эта статья и последующие фельетоны и эпиграммы нанесли Булгарину удары, от которых он, по словам Дельвига, даже «поглупел».

«О записках Видока», затем «Торжество дружбы, или Оправданный Александр Анфимович Орлов» (август 1831 года), а затем «Несколько слов о мизинце г. Булгарина и о прочем» (сентябрь 1831 года), три эти фельетона или памфлета — шедевры полемической литературы России.

«Представьте себе человека без имени и пристанища, живущего ежедневными донесениями, женатого на одной из тех несчастных, за которыми по своему званию

обязан он иметь присмотр...» — так начинается статья «О записках Видока».

Жена Булгарина известна была довольно широко как особа, выражаясь языком того времени, «отнюдь не строгого поведения», из тех, кто содержал публичные дома на Мещанской улице.

Александр Бестужев в свое время часто посещал Булгарина «вовсе не ради милых глазок последнего». Как пишет его брат, жена и теща помыкали Булгариным, третировали его, по мере своих сил уравнивая зло, причиняемое русской литературе отцом семейства.

«Видок в своих записках именует себя патриотом, коренным французом (*un bon français*), как будто Видок может иметь какое-нибудь отечество!»

Булгарин был поляк. Он служил в русской армии. Затем он стал служить Наполеону во время войны с Россией. Сейчас он служил Николаю. Единственно, кому он не служил, — это Польше, своему народу.

Года не прошло после пушкинских слов, как Булгарину высочайше поручено было составить текст сообщения о начале польского восстания, затем текст прокламаций. Бенкендорф предлагает ему отправиться в Варшаву русским правительственным агентом для усмирения умов. В «Северной пчеле» Булгарин изображает восстание как «дело рук бешеных демагогов».

«Он уверяет, что служил в военной службе...»

В 1811 году, уволенный с русской военной службы за темные дела, Булгарин бежит в Варшаву, оттуда во Францию и участвует в походе 1812 года против России. В 1814 году, взятый в плен, он был пригнан в Россию.

В своем фельетоне «Несколько слов о мизинце г. Булгарина» Пушкин объявляет план своего романа «Настоящий Выжигин» — сатирическую схему биографии Булгарина.

Признаться, пушкинские наименования глав романа и возбудили мой интерес к биографии Булгарина. Каждый заголовок — штрих убийственного портрета. Извивы булгаринской жизни становятся у Пушкина обличающим профилем целой эпохи. Булгаринский «Иван Выжигин» — всего лишь беспомощное подражание плутовским романам; куда интереснее подлинная история его автора; вот где настоящий роман: и взлеты, и падения, и авантурные похождения истинного плута, вот где, оказывается, настоящий Выжигин!

Вряд ли Пушкин всерьез собирался писать подобный роман, но материал для такого романа был налицо. Пушкин выявил этот материал, скомпоновал его, обнародовал. Заманчивая возможность такого романа до сих пор пленяет лихостью пушкинских заголовков, крепко слаженной канвой романа, а главное — документальной точностью фактов: «Глава III: Драка в кабаке. Ваше благородие! Дайте опохмелиться! Глава IV: Дружба с Евсеем. Фризовая шинель. Кража. Бегство...»

Очевидно, подполковник Спечинский рассказывал Пушкину некоторые подробности жизни Булгарина в Ревеле. За пьянство Булгарина разжаловали в рядовые, он опустил, попрошайничал, сошелся со слугой Спечинского Евсеем, украл у него шинель, пропил ее и был на этом пойман. Тут-то и происходит бегство — он бежит. Бежит во французскую армию и в 1812 году в корпусе маршала Удино сражается под Полоцком с русскими войсками.

Итак, это знали и помнили.

По тогдашним законам чести Булгарин заслуживал всяческого общественного презрения. Однако он был не из тех, кого смущают подобные препятствия. Он сумел перебороть мнение света, снискать расположение в разных кругах. Бесстыдство составляло его жизненную силу. Не зная латыни, он издает «Оды Горация», присваивая себе комментарии Ежевского. Он ловко втерся к Аракчееву. Затем к Руничу — попечителю Петербургского университета. В 1822 году Рунич добивается разрешения для Булгарина и Греча издавать «Северную пчелу». К тому времени Булгарин сговорился с Гречем о сотрудничестве. Энергия этого недавно неизвестного человека колоссальна. Шутник, балагур, он составляет впечатление безобидного малого. Он угодничает, прислуживает, льстит, выступает с различными проектами, затевает многотомное описание России, пишет о театре, об истории, о политике, о торговле. Он переводит, издает, рекламирует, организовывает рецензии, занимается историей войны 1812 года. Ему во что бы то ни стало надо пробиться, выбиться в люди. Российский вариант Растиньяка. Бороться обычными средствами — например, запугать его — невозможно. Он не из тех, кто боится оскорбления или пистолетов. Он отказался от дуэли с Дельвигом, заявив, что «на своем веку видел крови больше, чем Дельвиг чернил». Трусость делала его неуязвимым и бесстрашным.

Есть какое-то внутреннее сходство биографий Булгарина, Магницкого, Рунича и им подобных.

Магницкий, например, начинал как соратник Сперанского, разделяя его прогрессивные устремления, а затем, после падения Сперанского, перешел в услужение к Аракчееву. Бывший либерал с легкостью становится крайним обскурантом.

Конец карьеры Магницкого тоже типичен. Через несколько лет его хозяйничанья в Казанском университете было обнаружено разложение студенчества, падение преподавания, нравственности и пр. Но это еще полбеды, это бы простили. Главное же, раскрыта была громадная, даже по тем временам, растрата казенных денег.

Примерно то же произошло и у Рунича в Петербургском университете: растрата казенных сумм, присвоение имущества, взятки. Пришлось и его изгонять. А ведь оба были вроде фанатичные мракобесы, казалось бы, пекутся не за страх, а за совесть. Лишь бы искоренить. И тут же в карман лезут.

И Булгарин, и Греч ревностно защищали устои, а втихаря драли натурой с купцов, с хозяев ресторанов, с лавочников за восхваление их заведений и товаров — вовсю промышляли своей газетой: кто не платил, отказывался — тех поносили, ругали.

Почему-то самодержавие редко могло найти себе честных апологетов. Большая часть этих правоверных, этих ревнителей, гонителей оказывалась хапугами, растратчиками, лихоимцами.

«Он нагло хвастается дружбою умерших известных людей, находившихся в сношении с ним (кто молод не бывал? а Видок человек услужливый, деловой)», — писал Пушкин.

Хвастался Булгарин дружбою с декабристами, и с Грибоедовым, и с Крыловым, и со Сперанским. Истина у него причудливо, а может, и искусно сплетена с беззастенчивой ложью. Рылеева, как известно, он любил, и дружба была, и Грибоедова он подлинно любил, Грибоедов завещал именно ему рукопись «Горя от ума».

Но и тех, кто его презирал и ненавидел, он после их смерти также включил в число друзей, благо мертвые беззащитны, не опровергнут, не возразят. «Иных уж нет, а те — далече».

...«Те» брели по этапу из Читы в Петровский завод. Шел дождь. Была холодина. На привале Михаил Бестужев читал вслух газету — статью Булгарина с описанием петергофского праздника. Ну что ж, Булгарин остался тем же Булгариным. Это было той же осенью тридцатого года. Они давно уже раскусили Булгарина: Александр Бестужев отзывался о Булгарине и Грече как о торгашах, у которых «душа повита на гривеннике». Он писал Полевому: «По радости, с какой печатают они в «Пчеле» историю Видоков-досмотрщиков, не мудрено угадать в них химическое сродство с этими наростами политического тела».

Фраза Пушкина о том, что Видок хвастается дружбой умерших известных людей, оказалась печально пророческой. Спустя десять лет после гибели Пушкина Булгарин и его не постеснялся присоединить к своим друзьям. Он продолжал украшать свою репутацию. Булгаринское мародерство — явление характерное. Великие люди после смерти становились добычей своих врагов. Недавние хулители писали чувствительные некрологи, воспоминания, признавали заслуги мертвецов — оказывается, что именно с ними покойный делился своими замыслами и горестями.

...Ветер и мокрый снег разогнали скудную похоронную процессию, что следовала за гробом Моцарта. Друзья один за другим отставали, покидали похоронные дроги. В конце концов остался один человек. Это был Антонио Сальери — он единственный проводил покойника до городских ворот Вены. Реальный Сальери, придворный венский музыкант, был в этот час как никогда близок к пушкинскому Сальери.

Вряд ли Булгарин останется последним провожатым похоронной колесницы, но надгробную речь он охотно произнесет, и слеза будет звенеть в его голосе. Он не будет каяться и бить себя в грудь. Что за сила неудержимо тянет их к тому, кого они убивали? Они становятся в почетный караул, лица их благочестивы и скорбны, а глаза ясны и чисты. Они уверены, что никто не смеет их прогнать. Лучше всех других они используют смерть.

Сразу после похорон они принимались за работу.

Усопшего гения надо приспособить, привести в вид соответствующий. Изготавливали приятные портреты и трогательные поучительные биографии. Вычеркивали

ненужное, неуместное. Выстраивали из цитат каноны и догмы прочные, как тюремные своды.

В фельетоне «О записках Видока» Пушкин прямо обвиняет, изобличает Булгарина в том, что, пользуясь своим положением осведомителя, он политически расправляется с теми, кто осмеливается критиковать его произведения.

«Он приходит в бешенство, читая неблагосклонный отзыв журналистов о его слоге (слог г-на Видока!). Он при сем случае пишет на своих *врагов* доносы, обвиняет их в безнравственности и вольнодумстве и толкует (не в шутку) о благородстве чувств и независимости мнений...»

Методы булгаринской литературной борьбы, приемы его полемики, способы защиты своих романов предстали перед всеми.

Пушкин заключает статью вопросом: не должна ли власть обратить внимание «на соблазн нового рода, совершенно ускользнувший от предусмотрений законодательств»?

Этим кончается статья о Видоке, и начинается открытая непримиримая борьба Пушкина с булгаринщиной, с «гречами-разбойниками», с теми, кого он называл «сволочью нашей литературы».

IX

Можно подумать, что Пушкин, доказав: Булгарин — злодей, далее доказывает, что он, Булгарин, не гений. Нужно ли это было доказывать? Для Пушкина булгаринский роман — вещь литературно слабая. Но это для Пушкина. Личная ненависть и презрение к этому клеветнику, доносчику не ослепляла Пушкина. Он беспристрастно отмечал читательский успех Булгарина.

И тут Пушкин ставит вопрос, имеющий общее непреходящее значение:

«Скажут, что критика должна единственно заниматься произведениями, имеющими видимое достоинство; не думаю. Иное сочинение само по себе ничтожно, но замечательно по своему успеху или влиянию; и в сем отношении нравственные наблюдения важнее наблюдений литературных. В прошлом году напечатано несколько книг (между прочими «Иван Выжигин»), о коих критика могла бы сказать много поучительного

и любопытного. Но где же они были разобраны, пояснены?»

Вскоре он снова возвращается к тому же: «*Иван Выжигин*, бесспорно, более всех достоин был внимания по своему чрезвычайному успеху. Два издания разошлись менее чем в один год; третье готовится. Г. Киреевский произносит ему строгий и резкий приговор, не изъясняя, однако ж, удовлетворительно неимоверного успеха нравственно-сатирического романа г. Булгарина».

Сам Булгарин жалуется Бенкендорфу, что враги бранят его роман без доказательств.

Говоря о неимоверном успехе, Пушкин не преувеличивал — он, как всегда, точен.

Первое издание «*Ивана Выжигина*» выходит в марте 1829 года. Через неделю уже было приступлено ко второму изданию. За короткое время распродано было семь тысяч экземпляров — количество, огромное по тем временам. Булгарин выпускает продолжение: «*Петр Выжигин*». Начинаются подражания. Выходит «*Новый Выжигин*» Гурьянова, «*Дети Выжигина*», «*Смерть Выжигина*» Орлова, «*Русский Жиль Блаз*» Симони.

«Куда ни приедешь, везде говорят о «*Иване Выжигине*», но редко с похвалой; куда ни взглянешь — в гостиных, в дамских кабинетах, везде увидишь «*Ивана Выжигина*»...» (из письма Мещерской Дмитриеву).

Пушкин призывает критику исследовать нравственные причины успеха этой посредственной, румяной литературы. Учинить критику, литературный разгром такого романа, как «*Иван Выжигин*», нехитрое дело. Важнее понять, почему, откуда возникает потребность в подобном чтиве: отсутствие ли это вкуса, состояние ли это общества, не способного, не желающего тревожить себя мучительными проблемами истинной литературы.

С тех пор немало быстрых и ложных успехов, подобных «*Выжигину*», знала наша литература, и всякий раз возникал тот же пушкинский вопрос, та же потребность нравственных наблюдений.

Х

Той болдинской осенью, в те дни, когда Пушкин заканчивает «*Моцарта и Сальери*», Булгарин сдает в печать двенадцатый (!) том собрания своих сочинений. Пушкин давно не печатается, редко, время от времени,

появляются его стихи. Пушкин был в опале, утверждали, что он исписался, читающей публикой забыт.

На взгляд обывателя той поры, Булгарин имел полное право чувствовать свое превосходство над Пушкиным, и в голову не могло прийти, каким кощунством это будет выглядеть спустя немного лет.

Он имел право негодовать на этих проклятых аристократов литературы, которые молились на Пушкина. Почему он, Булгарин, со всем его успехом и славой, для *них* бесталанный ремесленник? Конечно, сам-то он, Булгарин, знал, что Пушкин — явление исключительное, знал и не желал знать, признавал, и отрекался, и возмущался, а затем возненавидел самой лютой из всех ненавистей, потому что она была безотчетна, самому себе нельзя было признаться в ее причинах. Осознать свою посредственность для него было бы непереносимо.

«У наших доморощенных Вальтер Скоттов, Гете, Байронов, Джонсонов и Аристофанов главный порок в Выжигине тот, что он *продается*, а не тлеет на полках вместе с их бессмертными творениями».

Вот, например, чем он пытается успокоить себя, объяснить, разоблачить — ему завидуют! Все переворачивается. Завистники преследуют Булгарина. Греч выступает на его защиту, он возмущен несправедливостью. «Непостижимо, до каких нелепостей может дойти подстрекаемая завистью посредственность, когда она берется судить об истинном даровании».

Кто ж эти завистники? Да прежде всего они не русские люди. Пушкин — «поэт-француз», затем в следующем пасквиле — «поэт-мулат», предок которого был куплен в одном из портов «за бутылку рома».

Для Пушкина-то как раз не имело значения, что Булгарин поляк:

Не та беда, что ты поляк:
Костюшко лях. Мицкевич лях!
Пожалуй, будь себе татарин —
И тут не вижу я стыда,
Будь жид — и это не беда;
Беда, что ты Видок Фиглярин.

Вот в чем Пушкин обвинял его. Вот что в его глазах есть порок.

Между прочим, прозвище Фиглярин, как отмечает Лемке, впервые дано было Булгарину Вяземским еще в эпиграмме 1827 года:

Фиглярин хочет слыть хорошим журналистом,
Фиглярин хочет быть лихим кавалеристом,
 Не обличу его в лганье;
Но на коне сидит он журналистом,
В журнале рубит смысл лихим кавалеристом
 И выезжает на вранье.

Пушкин не стеснялся заимствовать. И был прав. Под его пером чужие слова обретали новую, может вечную жизнь.

Надо отдать должное — Булгарин парировал удар с иезуитской ловкостью. Эпиграмма Пушкина ходила по рукам. Булгарин берет и публикует ее в «Сыне отечества», заменив последнюю строку:

Беда, что ты Фаддей Булгарин.

Получился злобный глупый стишок. Эпиграмма была убита, обезврежена. Дельвиг просит разрешения напечатать подлинный текст. Дело доходит до Николая. Примечательно, с какой дотошностью Николай влезал во все перипетии литературной жизни того времени. Можно подумать, что он не доверял даже Бенкендорфу. Он сам вмешивался в любую мелочь. По его указанию цензура отказала Дельвигу в просьбе.

Тогда Пушкин пишет новую эпиграмму:

Не то беда, Авдей Флюгарин,
Что родом ты не русский барин,
Что на Парнасе ты цыган,
Что в свете ты Видок Фиглярин:
Беда, что скучен твой роман.

Пушкину не до Булгарина: он готовится к женитьбе. Но Булгарин, кое-как оправясь от ударов, опять нападает, опять все переиначив, подтасовав, опять под видом анекдота о «каком-то поэте», подражателе Байрону, который, исходя от мулата, стал доказывать, что один из предков его негритянский принц. И даже про шкипера, некогда купившего этого негра за бутылку рома.

Спустя лишь месяца два в Болдине, за несколько дней до «Моцарта и Сальери», Пушкин пишет ответ — «Моя родословная». Стихи его, конечно, не были напечатаны. Николай I, как обычно, посоветовал Пушкину отвечать на нападки презрением и не распространять стихи.

Второй вариант пушкинской эпиграммы уязвил Булгарина, может, сильнее первого:

Беда, что скучен твой роман.

Пушкин ударил в самое больное место. Честолюбие мучило Булгарина сильнее всех прочих чувств. Жажду признания не утолял успех на книжном рынке и даже при дворе. Ему надо было признание среды литераторов, и не всяких, а именно этих проклятых аристократов, которых он презирал, на которых доносил, которых травил в своей газете.

Со своими критиками он справлялся любыми средствами. Испытанный прием — обвинить противников в посягательстве на существующий порядок. Критика приводила его в бешенство, он забывал осторожность, кидался в бой, не выбирая выражений, ослепленный ненавистью.

В декабре 1829 года, когда Булгарин готовил к печати своего «Дмитрия Самозванца», вышел роман Загоскина «Юрий Милославский» и сразу получил успех, о нем заговорили даже при дворе. Булгарин в ярости обрушился на соперника, подряд в трех номерах «Северной пчелы» изничтожая роман. Николай, которому понравился «Юрий Милославский», приказал Бенкендорфу унять Булгарина. Получив от фон Фока замечание и предупреждение, Булгарин пишет строптивное объяснение, прикрывая свои истинные интересы, разумеется, чуть ли не государственными интересами:

«Позвольте испросить наставления, какими правилами должны мы руководствоваться в критике? «Северная пчела», по программе, должна критиковать новые книги, замечать в них хорошее и указывать на дурное, чтобы юноши поучались, авторы избегали ошибок в слоге и языке, а публика забавлялась. Наша публика, как всякая другая, требует умственных занятий...»

«...Это наше правило подкреплять критики примерами и выписками из разбираемой книги, критиковать всегда с доказательствами.

Тому ли я подвергаюсь в течение десяти лет? Будучи преследуем в литературной и гражданской жизни двумя литературными партиями и сонмом злоупотребителей, я подвергаюсь в журналах жесточайшей брани и личностям. Бранят, ругают сочинения мои *без всяких доказательств* и вредят мне везде, как могут. Правда, что благосклонность публики и уважение благомыслящих людей с лихвою вознаграждают меня за эти неприятности, но еще никто не вступился за меня за то, что меня бранят в журналах».

На этом Булгарин не остановился. Он закусил удила. Через несколько дней, несмотря на высочайший запрет, он все же напечатал новую статью против Загоскина, не называя его по имени. Николай потребовал принять решительные меры. Булгарин и Греч были арестованы и посажены на гауптвахту.

Через несколько часов их, конечно, выпустили. Спустя месяц вышел «Дмитрий Самозванец»; в знак примирения, прощения Булгарин получил от Николая бриллиантовый перстень.

Нет, он не столь уж покорен. По-своему он тоже боролся с цензурой, хотя часто в этой борьбе цензура выглядит симпатичней и прогрессивней Булгарина. Без страха кидается он в бой с самым всесильным Уваровым. И более того!..

Ему нечего бояться, когда он упрекает Уварова в покровительстве неблагонамеренным (так уж совпало, что неблагонамеренными бывали те, кто мешал Булгарину), в либерализме. С этой вершины он мог обстреливать кого угодно, хоть председателя петербургского цензурного комитета князя Волконского — и князь, мол, поощряет вредные тенденции... Голос Булгарина нарастал: министр преступно бездействует, требую следственной комиссии, я там обличу «Отечественные записки», я защитник веры и престола! Я и царя не испугаюсь! Если государь мне не внемлет, обращусь за границу, к прусскому королю, чтобы помог защитить священную особу государя и его русского царства! «Я не позволю, чтобы на меня, как на собаку, надевали намордник!» — взрывается он, отбросив все хитрости и политиканство.

Надоело. Даже ему душно и тошно от идиотизма царских чиновников, которым он должен служить. Страдания Видока, умного реакционера, верного пса, — они тоже, оказывается, существуют. В свете его презирали открыто, издевались в бесчисленных эпиграммах, фельетонах, памфлетах. Кто только не высмеивал его — Лермонтов, Гоголь, Белинский, Некрасов, Герцен, Вяземский... И хозяева с ним обращались свысока. А то и просто как с лакеем, с дворовым. Орлов мог оттащить его за ухо. Дубельт поставить в угол.

Чего ради он столько унижался, терпел? Чего он добился? Его доносы, его верность в итоге не снискали

ему любви тех, кому он так долго и преданно служил. Это было несправедливо. Мир к нему был несправедлив.

Ах, как превратно толковали его поведение, да и всю его жизнь!

После окончания войны с французами, после того как пленных пригнали в Россию и объявили амнистию, ему пришлось начинать (это под тридцать-то лет!) жизнь заново. Он прибыл в Петербург, не имея ни связей, ни денег, одну лишь запятнанную биографию. Дядя его поручил ему вести процесс с графом Тышкевичем и Парчевским, «или, собственно, два процесса, — как пишет Греч, — один с Парчевским против Тышкевича, другой с Тышкевичем против Парчевского». Греч не щадит своего приятеля.

«Для достижения своей цели он (Булгарин) употреблял все возможные средства: с утра до вечера таскался по сенаторским и обер-прокурорским передним, навещал секретарей и стряпчих, кормил и подкупал их, привозил игрушки и лакомства их детям, подарки женам и любовницам».

В доме Греча он познакомился с Бестужевым, Рылевым, Грибоедовым, Тургеневым, Батенковым; все они были по сравнению с ним баловнями судьбы — образованная обеспеченная молодежь, блистающая талантом, родословной, чинами и званиями.

«Потеряв возможность продолжать с успехом военную службу, он пошел в стряпчие; видя, что можно приобрести литературою известность, а с нею и состояние, он, наконец, взялся за нее, руководствуясь на каждом из тех поприщ правилами — достигнуть цели жизни, то есть удовлетворения тщеславию и любостяжанию».

Попробовали бы все эти «аристократы» очутиться на его месте — чего бы они добились? А он достиг!

К 1845 году, за двадцать пять лет работы, он был уже автором тридцати двух томов романов, повестей, очерков, рассказов. Да еще шесть томов сочинения «Россия в историческом, статистическом, географическом и литературном отношениях». Это не считая пятидесяти шести томов журнала «Северный архив», восьмидесяти томов «Северной пчелы» и многочисленных его проектов, докладных записок в III отделение.

Кто еще столько наработал? Если мерить гения работоспособностью, то он мог считать себя чуть ли не крупнейшим литератором.

Прошное его жены закрыло ему доступ в свет. Он женился на ней, не убоясь осложнить свое и без того непрочное положение, это был подвиг любви, а в него кидали грязью. А чем отблагодарила его семья? Его тиранили, ему не было жизни из-за тещи, да и жена его, он знал, неверна ему.

Л. Ордынский, которого Булгарин устроил секретарем к Бенкендорфу, не только не помогал Булгарину, а, наоборот, стал помыкать им, по словам Греча, «водворился у него в доме и стал хозяйничать и командовать, как у себя. Булгарин не смел пикнуть и предоставил ему делать что угодно. До каких пределов простиралась эта уступчивость, по совести сказать не могу».

Друг его, давний, лучший друг Николай Иванович Греч, и тот конфузливо отрещивался от своего напарника: «Этот пачкун и мерзавец ссорит меня со всеми передовыми людьми, марает меня своим товариществом, но что делать, он человек деловой, расторопный!» Да, деловой, а как иначе было прожить? Благодаря ему, между прочим, и благоденствовал Греч.

Всего, что он имел — славы, положения, денег, — он добился сам, своим горбом. Он сделал себя, он *стал* талантливым.

Б. Городецкий приводит любопытнейшее место из статьи Булгарина. Булгарин сравнивает «грамотного труженика» (имея в виду себя) с «полуграмотным поэтом»: «Вот как мало надобно полуграмотному для достижения того наслаждения, которое грамотный приобретает тяжкими трудами и пожертвованием трех четвертей своей жизни!»

Трудами, тяжкими трудами достиг он и превзошел.

Впрочем, мизантропия натуре его не свойственна. Ненависть его всегда конкретна. И с верностью и постоянством обращена к лучшему, что есть в русской литературе.

«Некрасов — самый отчаянный коммунист, стоит прочесть его стихи и прозу, чтобы удостовериться в этом», — пишет он в одном из своих доносов.

В дни похорон Гоголя он пишет, как бы подытоживая многолетние свои нападки на «Ревизора», на «Мертвые души»:

«Статья в пятом номере «Москвитянина» о кончине Гоголя напечатана на четырех страницах, окаймленных траурным бордюром. Ни о смерти Державина, ни о смерти Карамзина, Дмитриева, Грибоедова и всех вообще светил русской словесности русские журналы не печатались с черной каймой. Все самонаименьшие подробности болезни человека сообщены М. Н. Погодиным, как будто дело шло о великом муже, благодетеле человечества или о страшном Атилле, который наполнял мир славою своего имени. Если почтенный М. П. Погодин удивляется Гоголю, то чему же он не удивляется, полагая, что он так же знаком с иностранной словесностью, как с русской историей?»

Ему уже было шестьдесят три года. Он был так же крепок, говорлив, франтоват. Лоснился бело-розовый жир, серебристо светилась седоватая щетина, блестели лакированные полусапожки — ничего иноземного, он тщательно изображал русофила, русака. Бриллиантовые перстни — награды обожанного монарха — лучились на его толстенных пальцах, и ордена, ордена... Прочная слава окружала его если ни нимбом, то панцирем. Никакие угрызения совести не мучили его. Он оставался жизнелюбом.

«...А шукарь! Честное слово, шукарь! — вспоминает журналист Буркашев. — Вчера это были мы с ним, с Кукольниковым и со всей честною нашею компаниею у М. Ольхина на крестинах. Господи боже мой! Шампанского Фаддей чуть не ушат выпил и почти всю джонку опустошил; а потом сегодня поутру, уж часу так в восьмом, послал за устрицами да за белою помаранцевой ради опохмеления. И как рукой сняло! Молодец! Застал давеча за работою: строгий!»

О чем думал он, читая, допустим, «Моцарта и Сальери»? Приходило ли ему в голову сравнение?.. Вопрос, конечно, наивный, нелепый. Ум его, Булгарина, был устроен так, что скорее он признал бы себя в Моцарте, чем в Сальери.

Среди множества драм у Кукольника есть драматическая фантазия «Доменикино». Это про итальянского художника Доменикино Цампиери, якобы затравленного, даже отравленного завистниками. А возглавляет завистников злобный интриган художник Ланфранко. Так вот оказывается, что себя Кукольник считал Доменикино, а под Ланфранко имел в виду Пушкина. В дневнике он пишет (1836 год!):

«Не хотел бы я жить ужасной жизнью Цампиери... но если того требуют судьбы искусства: да будет! Уже в большой мере судьбы наши сходятся: нам не удалось найти почитателей наших талантов, а только приятелей, любящих в нас людей, с тайной холодностью к нашим способностям; вражда сохудожников с примесью клеветы: и у меня есть свой Ланфранко — Пушкин... Забавные сближения, но они по чувству моему справедливы».

Он убежден, что потомство будет на его стороне.

А мы судим его и ему подобных нашей любовью к Пушкину. И не можем простить Булгарина главным образом из-за Пушкина. Мы не можем простить Сальери, мы не можем простить обществу, которое отравило в ссылку Шевченко, Чернышевского, Достоевского, тем, кто погубил Ван Гога, обрек на нищету Рембрандта, Модильяни, тем, кто мучил Галилея.

Я не могу никогда простить Мартынова, хотя он никакой не злодей, он честно дрался на дуэли.

Нам мало любить, нам найти несправедливость необходимо.

Может быть, это и правильно, может быть, это и есть высший суд, о котором сказал Лермонтов:

Но есть, есть божий суд, наперсники разврата!
Есть грозный судия: он ждет;
Он не доступен звону злата,
И мысли, и дела он знает наперед...

XI

Чем отличается гений Моцарта от негения Сальери? Грань тут неуловима. Нащупать ее современникам нелегко. Голос, который диктует Моцарту божественные созвучия, не слышен окружающим. Для них и Моцарт, и Сальери одинаковы: оба всем своим существом чувствуют силу гармонии, оба страстно любят искусство, могут ценить его, оба жрецы прекрасного, избранные служить своему делу. По-разному они понимают свое служение, ну и что ж, разность эта может быть несходством их художественных натур. Один сух, рационалистичен, другой эмоционален: один может быть Бахом, другой — Гайдном; одного признают сразу, другого — попозже, лет через сто: гении и должны быть разными.

Подняв стакан с ядом, Моцарт провозглашает:

...за искренний союз,
Связующий Моцарта и Сальери,
Двух сыновей гармонии.

Никто из сидящих в трактире не знает, что яд брошен. Оба стакана одинаковы, оба музыканта известны, любимы всеми. До этой минуты оба — и Моцарт, и Сальери — для нас, как и для Моцарта, были равноправные сыновья гармонии.

Но теперь гений отделился, яд разделил их.

Отравленное вино расторгло союз. Последняя реакция, последнее средство отделить подлинный гений от мнимого — это нравственное испытание. Злодейство открыло истинную, темную сущность Сальери. Маска сорвана.

Сущность открывается и самому Сальери. Вместе с ядом начинает действовать и логическая схема: гений для Моцарта не может быть злодеем, а так как Моцарт сам гений, бесспорный гений, то, следовательно, он имеет право судить, и, значит, Сальери не гений...

Если гений и злодейство совместимы, то в чем же назначение гения? Творить зло? Неужели для этого дается божественный дар? А что можно другое творить, если правды нет нигде? Ни правды, ни справедливости. Но гений несет правду, истину, красоту, добро. Значит, они есть, значит, правда есть...

Нравственное начало становится пробой гения. И человечество отбирает для себя лишь тех, кто несет это нравственное начало.

Одно из последних стихотворений Пушкина — «Памятник» — как бы его завещание, где он утверждает высшее назначение поэта. В чем оно состоит?

И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что в мой жестокий век восславил я свободу
И милость к падшим призывал.

Пушкин переосмыслил для себя державинский «Памятник». Все так же, как и у Державина, и все иначе, и в этом иначе и есть собственное пушкинское понимание смысла жизни его гения.

У Державина поэт обязан

Истину царям с улыбкой говорить...

Для Пушкина важнее «милость к падшим» при-
зывать.

Любовь, доброта, милость, милосердие, то есть милость сердца, борьба за свободу и справедливость — вот чем для него измеряется заслуга гения перед народом.

Образ Эйнштейна существует для людей независимо от его работ. Большинство знает Эйнштейна-человека. Духовный облик этого человека, его душевное величие, и красоту, и трагедию. Жизнь Фарадея, и жизнь Менделеева, и жизнь Жолио-Кюри, и Вавилова, и Нансена, и Ломоносова, и Толстого действуют на поколения сильнее, чем содержание работ Фарадея или работ Ломоносова. Периодическая таблица элементов отделилась от Менделеева, стала объективным законом, а история жизни Менделеева, облик его существуют независимо — примером служения науке, истине. Школьные законы Архимеда могли и забыться — что-то насчет тела, опущенного в жидкость, Архимед это открыл или Паскаль, не все ли равно. Но прекрасна и поучительна легенда о радости открытия, то, как Архимед бежал по улицам Сиракуз с криком «Эврика!». И наши деды, и мы задумывались над легендой о его гибели.

И даже Пушкин пребывает для меня зачастую помимо своих стихов. Как человек, как удивительный праздник русской природы, веселое и гармоничное воплощение гениальности, от которой светлее становится на душе.

Казалось бы, ему я мог все простить. Что значит злодейство по сравнению с тем благом, какое он дарит человечеству?

Но в том-то сложность, и невероятность, и красота, что для Пушкина не существует подобных вопросов. Он судит гения высшей требовательностью. Нет и речи о том, чтобы прощать. Он спрашивает не о том, можно ли простить гению злодейство. Он спрашивает, совместны ли они вообще? Можно ли представить их соединенными в одном человеке, в одной душе? Может ли быть, что и Пушкину это не было ясно до конца, до самого категорического предела?

Убийца Моцарта должен был бы вызывать гнев, отвращение, презрение. А этого нет. Пусть Сальери — трагическая фигура, пусть великий злодей, но ведь не чувствуется у Пушкина ненависти к нему.

В каждом упоминании о Булгарине у Пушкина видно возмущение, насмешка, злость, глумление; даже не зная ничего о Булгарине, лишь по пушкинским эпиграммам и фельетонам начинаешь ненавидеть Видока.

У Пушкина не было Сальери — у него было всего лишь Булгарин и булгарины. Художническая борьба была опакощена подлостями, доносами, ввергнута в мясорубку без соблюдения правил чести.

Я вспомнил тот давний спор на берегу моря: что, если Моцарт и Сальери были для Пушкина — Пушкин и Пушкин?

То есть в том смысле, что обе эти силы, оба эти начала он находил в себе и они боролись, волновали, мучили его. И если Моцарт был ему ближе, понятнее, то с тем большей пристальностью он вглядывался в Сальери, выслушивал его голос.

То, что Пушкин может быть Моцартом, это как бы само собой разумеется. Конечно, Сальери у Пушкина — это не трагедия самого Пушкина, это, очевидно, другое понимание искусства, те противоречия, которые одолевались. Из этого рождается решение, выбор, каждое решение — результат выбора, а каждый выбор — это потеря: решая, всегда что-то теряешь. Моцарт и Сальери предстают как вечная борьба между соображениями пользы, расчета — и безотчетного вдохновения, когда душа изливается свободно, не сдерживаемая трезвым рассудком. Между желанием все разложить, логически понять, взвесить законы и невозможностью это сделать. Между той частью души, которой в мечтах подвластны все чувства, слова, образы, звуки, и той, что не в силах выразить себя точными словами, звуками, красками. Это еще и зависть, живущая в душе художника, и стыд перед этой завистью. Может быть, несовместность эта вовсе не означает, что они не могут существовать вместе. Может, она значит совсем иное — что они пребывают в борьбе, и в этой борьбе гений побеждает, он должен победить, в этом его испытание, и в этом его проверка.

Ловкие и соблазнительные эти рассуждения относились скорее к другим примерам нашего спора. Пушкин, как никто, умел и мог выразить себя точно. В этом отражалась цельность его натуры.

Для Сальери нет правды нигде. Для Пушкина правда есть. Он творит суд над злодейством по законам этой правды, истины, суд над убийцами Пушкина.

Его суд над Сальери выше гнева и ненависти. Он может жалеть Сальери, но не может простить его;

Сальери не уголовный убийца, Сальери убивает по делу, из соображений искусства, — это злодейство в искусстве, и значит, предательство искусства, которое служит добру, правде, свободе... Предательству нет пощады.

Пушкин ни минуты не сомневается, в нем тот же гений, что и в Моцарте, и, подобно Моцарту, он не может допустить совместимость гения и злодейства.

Для Пушкина искусство может создаваться только человеком, соблюдающим высшие требования нравственности. Нельзя служить искусству и убивать, как угодно убивать, — гения, гениальное.

Пушкин оставляет Сальери жить и мучиться. Сальери и Моцарт несовместны. Он понимает трагичность гения, трагичность собственной судьбы, но отступить нельзя, невозможно. Остается злодейство, но торжествует гений.

ОТЕЦ И ДОЧЬ

I

Изо всех повестей Белкина наибольшее душевное волнение у меня всегда вызывала повесть «Станционный смотритель». Всякий раз охватывало чувство жалости к Самсону Вырину, боль за него, и пожалуй, с возрастом чувство это возросло. Было в нем еще что-то безотчетное, кроме прочитанного, оставляя надолго печаль, и сладостную и ноющую. То есть имелся как бы неделимый остаток, то, что некуда приложить, нечем объяснить, неоткуда понять. И умиротворяющий, казалось бы, конец повести не сглаживал, а усиливал эту печаль.

Чувство это было данностью, оно нисколько не озадачивало, пока однажды, услышав повесть в исполнении одного артиста, я задался вопросом — а собственно, что произошло с Выриным? Что такого ужасного, непоправимого, из-за чего он спился и умер? Раз возникнув, вопросы появлялись один за другим, сделав одно из самых до того прозрачных, ясных произведений Пушкина загадочным. Как на рентгеновском снимке, обнаружились темные линии, идущие куда-то вглубь. В очевидных событиях обнаружилось несоответствие. Переживания не соответствовали обстоятельствам. Следствия — причинам.

В самом деле, рассуждал я, отчего умирает Вырин? Не хочет жить? Но почему он расхотел жить? Спился, но почему спился? Почему это бодрый пятидесятилетний мужчина надломился, стал хилым стариком?

II

Вопросы были незаконные, поскольку сам Вырин, казалось бы, отвечал на них напрямую: горюет он и мучается оттого, что третий год жил, не зная ничего про дочь. Может, повеса Минский ее бросил.

«...много их в Петербурге молоденьких дур, сегодня в атласе да в бархате, а завтра, поглядишь, метут улицы вместе с голю кабацкою. Как подумаешь порою, что и Дуня, может быть, тут же пропадает, так поневоле согрешишь, да пожелаешь ей могилы...»

Из-за этого, значит, пил, из-за этого жить расхотел? Но позвольте, ведь ничего такого с Дуней не произошло. С ней как раз случилось обратное. После смерти старика отца на могилу его приехала барыня, в шикарной карете, с детьми, с кормилицей, с моськой. Прошла на кладбище и долго лежала на могиле. То есть Дуня не погибла, все это время жила счастливо, ротмистр не покинул ее, жизнь их устроилась благополучно.

Выходит, отец зря мучился, зря терзал себя позорными картинами, стыдом и страхами за участь любимой дочери. Вся повесть — история всего лишь недоразумения. Полагал одно, оказалось другое. Нагородил себе всяких страхов, от них и умер. Правда, можно возразить, что страхи обоснованные: кто мог предполагать, что так нетипично для того времени повернется судьба Дуни, и Минский окажется не прохвостом, и, когда он, Минский, обещал Вырину не покинуть Дуни, он не врал. Действительно, все это неожиданно, и Вырин вряд ли мог представить себе такое счастье дочери, но все равно недоразумение, только, значит, в виде сюрприза. Обманулся старик и напрасно помер, оказалось, что все с дочерью в порядке. Неужели к этому сводится повесть?

Если гибель Вырина — результат пустых опасений, то не возникало бы у нас щемящее чувство понимания его благородства, его нравственной высоты. Был он неумный, невесть что навоображавший себе отец, воображаемый позор дочери для него страшнее ее реального счастья. Ни в чем не мог толком разобраться и помер по-глупому, а должен был быть счастлив. А между тем повесть трогает нас глубоко, кажется значительной.

III

Пробовал я познакомиться с тем, что написано о повести, как ее поясняют разные литературоведы. «Дуня, скажем мы, плачет не о том, что ушла в большую

жизнь,— она плачет о лживости, о жестокости и невеличии этой мнимой большой жизни». Откуда это известно? Почему на могиле она не может плакать об отце? Даже если бы не было ни Минского, ни Петербурга, а была бы какая-то дальняя деревня и долгая разлука? Или: «В этом «мирном» человеке (в С. Вырине.— Д. Г.), прожившем долгие годы под градом «ругательств, угроз, криков, толчков, даже побоев», не замерло сознание права на другую жизнь, сохранилось чувство возмущения против насилия».

Конечно, в Самсоне Вырине есть и это, он возмущен поступком Минского, решается защитить свою дочь и осмеливается вторгнуться к Минскому,— все так, но ведь не этим исчерпывается история станционного смотрителя. Отвергать прошлые толкования соблазнительно, но надо понять, что каждое время имело своего Пушкина, и я, очевидно, применяю недозволенный прием, вытаскивая на свет божий цитаты минувших эпох. Социальный протест в «Станционном смотрителе» казался нашей учительнице литературы самой дорогой идеей. Достоевский, тот видел в Самсоне Вырине одного из «бедных людей», «горемык сердечных», который тем и дорог Макару Деушкину, что про его собственное сердце написано. Это о нем, о таком же бедном, маленьком чиновнике, и ведь с любовью, с пониманием, а может, и более того...

IV

Проза Пушкина не проза поэта. Проза Пастернака или Маяковского — это продолжение их поэзии, то, чего они не в состоянии выразить стихом, вынужденный переход в другую стихию. Их проза замечательна свободой обращения со словом, с фразой. Если взять прозу четырех поэтов — Пастернака, Маяковского, Цветаевой, Мандельштама, четыре разные прозы, но четыре интереснейших явления в прозе,— то каждая из них открытие и каждая как-то соотносится с породившими ее стихами. Как именно — определить не берусь, для этого надо особое исследование. Может быть, соотношение слабое, невнятное, такое, как у дождя с обликом тучи.

У Пушкина проза не продолжение. Он равно прозаик и поэт, в обоих жанрах гениальный. Его проза само-

стоятельный, независимый мир, со своими тайнами, своей структурой. Я, например, не знаю другой столь лаконичной, экономной прозы в русской литературе, да и не только русской. За полтора столетия ни одна повесть не поддалась порче. Нигде не появились пятна тления — многословие, рыхлость, излишества описаний. Природу этой стойкости нельзя объяснить лишь сухостью стиля. Есть тут свой секрет, пока невыясненный.

V

«В комнате, прекрасно убранной, Минский сидел в задумчивости. Дуня, одетая со всею роскошью моды, сидела на ручке его кресел, как наездница на своем английском седле. Она с нежностью смотрела на Минского, наматывая черные его кудри на свои сверкающие пальцы. Бедный смотритель! Никогда дочь его не казалась ему столь прекрасною; он поневоле ею любовался».

Да почему же «бедный смотритель», ведь вместо погубленной дочери, вместо обманутой, несчастной, опозоренной, он видит ее расцветшей, исполненной любви и покоя. И сам любит ее. Он должен бы утешиться, успокоиться хотя бы на время. Тем более что Минский утром его заверил честным словом, что не покинет Дуню и она будет счастлива. Ну хорошо, не верит он офицеру, но пока что все подтверждается, он может беспокоиться о будущем, как всякий отец, однако пока что никакие опасения его не подтвердились.

Конечно, при первом свидании Минский обидел его, всунув деньги, так ведь смотритель после первого негодования решил взять их. Да и не в Минском тут дело, нет, не из-за Минского все происходит, не Минский нанес ему удар; ну вытолкнул его Минский, так он, Вырин, к побоям привык, какие только оскорбления не сыпались на его голову по службе на почтовой станции. Нет, совершилось другое, действительно ужасное для Вырина.

Дуня, его дочь, единственная, любимая, увидев его, «с криком упала на ковер». Не обрадовалась, не кинулась к нему на шею, не стала просить прощения — ничего, что говорило бы о любви, раскаянии или другом живом чувстве. Вместо того был испуг, как будто по-

явилось привидение, не живой отец, а призрак из давно отошедшей жизни. И чувство это было столь сильно, что Дуня упала в обморок. Что должен был при этом испытывать Вырин? Какую боль отцовской любви! Он убедился, что не существует для дочери, любовь к Минскому вытеснила все в ее сердце, ничего не стало — ни прошлого, ни отца. Его, Вырина, для нее более не существовало. Минский, выходит, правильно сказал: «...она отвыкла от прежнего своего состояния».

Он, Вырин, стал не нужен дочери, появление его вызвало ужас, как будто он явился из потустороннего мира. Единственный человек, который составлял смысл жизни Вырина, и для этого человека он не существует, вся прежняя их жизнь сгинула с той минуты, как ротмистр увез ее. Она полностью забыла о нем, поглощенная новым чувством, своей любовью. В этом сущность женской натуры, показанная Пушкиным в решающий момент, на последнем скрещении обеих судеб — отца и дочери.

Ни Минский, никто не мог нанести такого страшного удара Самсону Вырину, как любимая единственная дочь.

VI

На самом же деле «вдруг» это имело свою причину и не было вдруг. Дочь моего товарища уехала в другой город к человеку, которого полюбила. Почти перестала писать, звонить, месяцами не давала знать о себе, словно забыв, начисто забыв о существовании родителей, родительского дома, где прошло детство, юность, школьные и студенческие годы; и все это в атмосфере товарищества, веселья, счастья. Отец, который любил ее безумно, переживал молчание ее особенно болезненно. В отцовской любви к дочери отсутствует то мужское понимание, которое проявляется к поведению сына. Отцовская любовь слепа, ревнива, эгоистична.

Незадолго до того я поделился с ним своими соображениями о «Станционном смотрителе». Великолепный знаток Пушкина, он неодобрительно покачал головой. Все это мило — отец, дочь, их чувства, но мышление мое неисторично. Для Вырина внебрачное положение дочери означало прежде всего позор, который он не мог перенести.

Социальные проблемы — это серьезно, лирика же, которую я выдвигаю на первый план, не может определить судьбу такого человека, как Вырин, — нереально это, да и мелко. Далее следовало: Акакий Акакиевич Гоголя и Макар Деушкин Достоевского, и со всей деликатностью дали мне понять, что нечего мне рыпаться. В таком духе, как он, трактуют повесть поколения пушкинистов.

Он попал в уязвимое место, потому что пушкинисты для меня олицетворение людей истовых, верующих, преданных своему кумиру беззаветно и, как правило, бескорыстно. Они сделали поразительно много, можно сказать, вручную просеяли всю почву пушкинской округи, каждую его строфу обмыслили. Культ Пушкина, созданный ими, единственный из культов, достойный признания. Пушкиноведение — наука. И, как во всякой живой науке, есть в ней то, что быстро стареет и сегодня может читаться с недоумением.

«...вместо протеста, отстаивания своего права, он жалко, униженно просит отдать ему его дочь. Обидчик не отдал Дуню, выпроводил старика, сунув ему за рукав несколько ассигнаций.

И Самсон Вырин смирился. Он уехал на свою почтовую станцию, запил с горя и умер. Вопрос о поведении человека в «Станционном смотрителе» поставлен остро и драматично. Обида, нанесенная Самсону Вырину, взывала к протесту, к бунту, к борьбе с обидчиком. Но он избрал смирение... Смирение унизило Вырина, сделало жизнь бессмысленной, вытравив из души гордость, достоинство, превратив человека в добровольного раба, в покорную ударам судьбы жертву».

Длинную эту цитату я привел без всяких сокращений, поскольку она отражает наиболее распространенную трактовку повести. Этому же когда-то и меня учили. И я принимал это, не замечая никакого несоответствия.

Но ведь тут множество недоумений и вопросов заключено. Какое право должен отстаивать Вырин? Право отца? Вернуть дочь? Допустим, отстоял, заставил вернуть дочь. И что? Сделал ее несчастною, ибо она любила Минского; оторвал от любимого. Да ведь так свойственно скорее поступать самодуру, в утеху своему самолюбию. Перед лицом счастья дочери, ее любви Вырин от-

ступает. У него нет выбора. Это называют — смирился. Но можно назвать и по-другому — пожертвовал собою. Смирение унизило Вырина. А может, возвысило? Может, в этом смирении есть и гордость, и достоинство человека, понимающего безнравственность борьбы с любовью и счастьем дочери. Превратился в «добровольного раба, в покорную ударам судьбы жертву»? Но попробуйте поставить себя на его место, с кем вы будете бороться, за что?

Он восстает своими страданиями против нелепого миропорядка, закона жизни, несправедливо лишившего его смысла жизни. За что? Разве это нормальный закон, если счастье одного убивает другого? Жизнь его имела две опоры — работу и дочь. Одну опору выдернули, и мост повис над пропастью, он уже никуда не ведет. В чем виноват Самсон Вырин? Его не в чем упрекнуть. Да, он жертва. Но выхода для него нет. Он символ несправедливого отношения детей к отцам, той беды, которая настигает каждого...

VII

...Дочь не давала о себе знать, и товарищ мой страдал, работа валилась у него из рук, он осунулся, сник, только что не пил. Жаловаться не жаловался, но, глядя на него, невольно вспоминался мне пушкинский станционный смотритель, и я думал, какой смертельно опасный удар такой уход дочери, когда любовь, увлечение делают ее безжалостной, заставляют забыть обо всем. Ей и в голову не приходит, как жестоко она поступает, каким предательством выглядит ее поведение. Впрочем, сразу же оговорюсь: предательством — это для меня, со стороны, для тех, кто беспокоился об отце и ничем не мог помочь ему; он же дочь не винил, только удивлялся: «Как она может вот так все забыть? Да что же она, неужели мы ей не нужны?» и тому подобное. Но ожесточения к ней не было, как не было его и у Самсона Вырина. Ожесточение приходит в борьбе, а ему не с кем было бороться.

Рано или поздно дети должны уходить из дома. Это все понимают и всегда понимали, и Вырин, и даже во времена библейского блудного сына.

Вот она, первая картинка истории блудного сына: «...почтенный старик в колпаке и шлафроке отпускает

беспокойного юношу, который поспешно принимает его благословение и мешок с деньгами». Картинки развешаны в обители зрителя. Рассказчик описывает их. Итак, отец благословляет уходящего сына — хотя ничего такого в библейском тексте нет, Пушкин не случайно приводит этот вариант — обычного ухода, еще не вызывающего протеста отца. Все начинается потом, когда сын пропадает. Он пропадает для отца, для праведной жизни, на которую его благословлял отец.

Рассказчик рассматривает картинки, под ними «приличные немецкие стихи», с нескрываемой иронией. Беспокойный юноша промотал состояние, пошел пасти свиней в рубище и «треугольной шляпе» (!). Евангельская притча опошляется обывательским стремлением из всего извлекать мораль, пользу, назидание. Существо ее ускользает, ловко подменяется осуждением развратной жизни, где обязательно бесстыдные женщины, ложные друзья. Нужен гений Рембрандта, чтобы в одной сцене раскрыть смысл притчи. Картина «Возвращение блудного сына», где отец как бы на ощупь, сквозь рубище убеждается, что пропавший сын его не мертв, вот он стоит на коленях, склонясь перед ним, руки отца и опираются, и отдыхают, и прощают, и радуются, его улыбка, вернее начало улыбки, — от еще робкого чувства обретения, отцовского блаженства.

Много лет я приходил в Эрмитаж к этой картине, сперва сыном, затем отцом, и ныне, понимая, как мне кажется, отцовские чувства, я вновь стал сыном. Мы все блудные сыновья, которые возвращаются к родителям, но часто слишком поздно.

На картине глаза у отца закрыты. Иногда кажется, что он слепой. Некоторые экскурсоводы объясняют, что отец ослеп от горя, заплакал свои глаза. В евангельской притче этого нет, там отец увидел сына издали и побежал к нему. Как на самом деле у Рембрандта, неизвестно. Картина, как всякое великое произведение, имеет свою неразгаданность. Рембрандт передает историю блудного сына через его возвращение, возвращение сына — через отца, пережитое горе — через радость, скитания сына — через его босую ступню. В картине, как и в притче, главное — отец. «Ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся», — повторяет отец в библейской притче.

Самсон Вырин не проклинал дочь. Так же как и Минского. В рассказе его нет ненависти к Минскому, и, когда Вырину советуют жаловаться на ротмистра, он, подумав, отказывается. Потому что не в притязаниях к Минскому тут дело. Тут дело скорее в претензиях к дочери. А на нее кому пожалуешься? Никому и не расскажешь о ее предательстве. Беда же из бед в том, что Дуня лишила возможности жалеть ее. Если б она была обманутой, если б Минский бросил ее и мела бы она улицу «вместе с голью кабацкою», то и помочь ей мог бы отец, и пожалеть, а тут и это отнято. Не осталось ничего, и чувства его выражают себя в противоречивой невнятице слов, которая может запутать.

Никак не собираясь отвергать, принижать социальные мотивы в истории станционного смотрителя, я хочу лишь обратить внимание на общечеловеческую трагедию семейных отношений, которая так сильно потрясает в повести. Незачем укладывать ее в жесткое прокрустово ложе сословного конфликта, когда содержание ее и больше, и противоречивее. Точно описывая поступки героев, повесть заставляет нас искать мотивы этих поступков. Но как только начать сводить мотивы к чему-то одному, живой человек ускользает, оставляя пустую форму, чучело, которому можно придать любую позу.

Определения этих мотивов будут субъективны и привязаны к своему времени. Отцовское же чувство, думается, то, что поднимает эту повесть над временем, оно отчасти той же природы, что и муки короля Лира, оставленного, преданного своими дочерьми. Смятение в душе Лира доходит до физических страданий, так же как и у бедного смотрителя почтовой станции. И монарха, и маленького чиновника одинаково гложут и сокрушают муки отвергнутой родительской любви, неблагодарности, ненужности для любимых детей, уязвленное самолюбие. Бесправнейшему, огражденному «своим чином токмо от побоев и то не всегда» чиновнику четырнадцатого класса, оказывается, ведомы те же невысшие чувства любви, достоинства, что и королю Лиру, та же трагедия страстей.

Чувство, которое охватывает при чтении конца повести, чувство это трудно объяснимо. Дуня-то счастлива, жизнь ее сложилась прекрасно; Минский сдержал свое слово, свершилось, казалось бы, невозможное, редчайшее в те времена, — почему же нам так горько, почему мы не рады за нее, а плачем вместе с ней на заросшей могиле с черным крестом. О чем эта горесть, о чем эта щемящая боль...

1982

ТРИНАДЦАТЬ СТУПЕНЕК

I

Удивительна судьба книг Достоевского. Читать их тяжело, порой мучительно. При всей занимательности, напряженной драматургичности требуется усилие воли, чтобы дойти до конца вместе с героями. За сто лет книги Достоевского не стали проще. Время, наоборот, раскрывает новые противоречия, углубляет понимание происходящего в его романах. Словно они созданы не писателем, а природой, и, рассматривая их более сильным телескопом, мы обнаруживаем неисчерпаемую сложность сотворенного, все новые созвездия и черные дыры. А казалось бы, время, прожитое поколениями его читателей, было щедро на *невыдуманные* страдания, на трагедии, катастрофы и события поистине грандиозные. В этом бурном потоке Достоевский один из немногих, кто устоял не отдельными своими произведениями, а всей скалой своего художнического гения.

Влияние Достоевского на мировую литературу возросло, процесс этот распространяется и вширь, и вглубь. Споры о нем не утихают. Он как бы становится все современнее, и жизнь не отдаляет, а словно приближает нас к нему.

Почему? В чем секрет этой своеобразной судьбы? Из чего состоит неубывающая сила образов, созданных Достоевским?

Разумеется, я не берусь найти сколь-нибудь исчерпывающих ответов. Я могу поделиться отдельными размышлениями, отнюдь не бесспорными.

Особенность русской классики в том состояла, что она, наверное, как никакая другая литература, занималась главным образом вопросами нравственными. Пушкин, Толстой, Гоголь, Чехов, Горький и, конечно, Достоевский в первую очередь ставили для себя самые острые, самые коренные нравственные идеи времени

и человека. В этом смысле Достоевский один из наиболее русских по духу писателей. Для него литература — возможность обратиться к людям с сомнениями, терзающими его самого, взбудоражить, пробудить души вопросами, пусть безответными, но без которых нельзя существовать, от которых нельзя отмахнуться. Ради чего страдает человек в этом мире, ради чего стоит жить, что дозволено человеку, что такое человек без бога? Герои его бросают вызов богу, они величайшие богоборцы, и они неотступно ищут себе бога, им надо понять очищающую силу страдания или разрушающую силу смирения... Это не просто рассуждения и споры, нет, их мысли воплощаются в действие, искания стоят им жизни, льется кровь, и ломаются души.

Раскольников пытается переступить нравственный закон, князь Мышкин пытается сохранить этот закон. Иван Карамазов дерзновенно вопрошает бога, где же справедливость миропорядка. Они все по-своему бунтуют, пытаюсь познать самих себя, разгадать других, они безмерно страдают — злодеи и праведники, сильные и слабые, расплачиваются жизнью за свои поиски.

Вопросы Ф. М. Достоевского безответны, но они заставляют нас самих искать решения, они тревожат совесть. Говорят, Достоевский тяжелый, «больной» писатель. Тут есть своя правда. Да, он мучает читателя, выворачивает душу. Но ради чего? Он один из самых гуманный писателей. Гуманизм Достоевского в том, что он заставляет нас сострадать, он требует отзывчивости, человек не может называться человеком, если он глух к страданиям окружающего мира, если совесть его ничто не терзает.

Есть в таланте Достоевского жестокость, пытка души изощренная, порой отталкивающая, но ведь есть и другое. Не только больной талант, но и исцеляющий. Этой болью. От самой, я бы сказал, безнадежной болезни исцеляющий — от омертвления совести. Он умеет, как никто, взломать, разбить коросту равнодушия. У искусства свои пути проникновения к человеку, не через ум, а через чувство, поэтому-то путь этот трудно проследить. Сколько хитроумных заслонов, уловок, оправданий возводит себе совесть. Она не хочет тревожиться, она уклоняется, она закрывает каждую щелочку. Не попасть. Не пробиться. Нет ее. Система этой са-

мозащиты, изоляция достигла сегодня высокого уровня. А кроме того, неслыханное тиражирование искусства с помощью журналов, радио, телевидения создали привычку воспринимать его как средство развлечения, отвлечения, отдыха, ту самую массовую культуру, которая ловко научилась подменять истинное искусство. Достоевский один из тех, кто открыл свой собственный путь доступа к совести человеческой, и повторять этот путь не так-то просто.

Возьмите любой из романов Достоевского. То, что совершается в душе Раскольникова, явление не петербургское, не национальное, в ней отражается состояние всего мира, и мира XX века, с преступлениями фашизма, с трагедиями Хиросимы, Вьетнама, когда нарушаются все нравственные законы — от презрения к людям, от жажды власти, оттого, что власть имущим все позволено, они выше закона, они Наполеоны...

Проблемы, которые решает Достоевский, остаются и поныне коренными, огромными. И хотя решения не дается, мы ощущаем за всем этим нравственные идеалы автора. Значение Достоевского состоит в том, что он настойчиво стремится изобразить положительно-прекрасного человека. Князь Мышкин, Алеша Карамазов, Тихон, — Достоевский понимает очищающую силу духовной красоты и веры. Выше всего в мировой литературе он ценил образ Дон Кихота. Любимой его картиной была «Сикстинская мадонна» Рафаэля. Не только положительные герои его манили, не только призыв к душеустройству, но и к *справедливому* мироустройству. Он ищет новые идеалы, мечтает, пытается разглядеть, понять, как создать на этой прекрасной зеленеющей Земле человеческое братство.

Достоевский-писатель — редкий пример художнического бесстрашия. Он не знает запретного. Его беспощадный анализ не боится забираться в самые затаенные недра человеческой натуры, туда, куда не решался проникать до него никто. Он имеет на это право потому, что он не просто препарирует чужие души, он хочет понять *идею человека*, тайну его. Он и себя не щадит, он себя вскрывает, себе ищет веру, себя пропускает через горнило сомнений. Литература для него не удовольствие и не радость. Его гений совсем иной, чем, например, у Пушкина. Достоевский никогда не доволен собой, не

доволен созданным, он пишет лишь о том, что для него непереносимо, делится своими муками, своим отчаянием. Он отважно ставит себе задачи грандиозные, почти непосильные. Среди его вещей есть и неудачные, но я не знаю вещей мелких, пустяковых, все они все равно преследуют значительную цель, его борьба всегда с полным напряжением сил, и противник достоин его.

Достоевский впервые открыл мир чердаков, подвалов, он открывал своих героев изнутри их неприглядного быта, кварталов городской бедноты. Душные петербургские распивочные, темные переулки, канавы, полицейские участки, многоэтажные дома, заселенные беднотой, грязные номера гостиниц, неприглядность угрюмого дождливого Петербурга и почти никаких традиционных пейзажей, красот природы. Здесь, оказывается, в этой убогости, живут личности исключительные, пылают страсти вселенские, здесь своя красота, своя святость.

Меня всегда поражала одна особенность художественного метода Достоевского. Персонажи романа «Преступление и наказание», как, впрочем, и других романов, необычны, загадочны, мечты их фантастичны, реальность, допустим, Раскольников как личности условна. Он видится чаще бесплотным духом, реален он прежде всего в своей идее, в духовной жизни. Свидригайлов возникает скорее как фантазия Раскольникова, его двойник, его сомнения, а не реальность. Но вот что замечательно. Что все эти люди живут, действуют в обстановке абсолютно точной, привязанной к адресам конкретным. Достоевский поселяет своих героев в существующие дома, более того, в существующие квартиры. Все эти адреса, оказывается, имеются в тексте романа. Обозначение улицы, перекрестка, вся топография — достоверны, вплоть до тринадцати ступенек, ведущих в каморку Раскольникова. К счастью, все это сохранилось в натуре. Для чего нужна была Достоевскому подобная реальность? Почему он избегал сочинять ее? Думается, что в этом таится своеобразие его метода, его творческой личности. Начиная с какого-то момента, мне представляется, что он переставал сочинять. Он начал жить, воплощаясь в своих героев. Жизнь эта нуждалась в предметности хотя бы обстановки. Подобно режиссеру, он ставил свою постановку. Раскольников

спускался из своей каморки, находил топор в дворницкой, шел к дому старухи — семьсот тридцать шагов — заметьте эту точность! — входил во двор, лестница направо и т. д., и т. п. Он сам ставил, сам играл, сам смотрел. Все происходило как бы на его глазах, он проживал каждую сцену. И потом записывал виденное. Не потому ли он порой мог просто задиктовывать целые части романов?

Что поражает в этом как бы уклонении от сочинительства? Как бы соучастие его самого в происходящем. Это нелегко, это похоже на самоказнь, о которой говорит Достоевский. Ежедневно, ежечасно он шел на эту самоказнь, не давая себе никакой милости.

И наконец, еще одна отличительная черта его — это философская насыщенность его произведений.

Философами были и Пушкин, и Толстой. Достоевский создает свою этическую систему отношений к добру и злу. Каждый его роман — это исследование, трактат, где философская проблема в жгучем образе — слезинки замученного ребенка — поднимается перстом над прежними учениями разума. Если мировая гармония необходимо, обязательно основана на слезах и крови, то прочь такую гармонию! Философия его не отвлеченное умозаключение. Она вопиет, взывает, вырастает над миром мифов и легенд, безответно преследуя нас жестокими парадоксами, которые взрывают, переворачивают такие устойчивые системы позитивистов. Ошибки? Да, сколько угодно, Достоевский ошибается, разочаровывается в собственных умозаключениях, он противоречит себе, но всякий раз он принимается заново строить свою систему. Здесь и сила, и слабость Достоевского. Правда, как художник Достоевский судит вернее и зорче, чем как публицист. И наверное, нельзя отделять Достоевского-философа от Достоевского-художника. Важно тут как раз то, на какую всечеловеческую вершину поднята философия романов Достоевского.

В этом смысле пример Толстого, пример Достоевского характерен. Писатель, если он настоящий писатель, не может не пытаться по-своему, своим художническим видением, осмыслить великие проблемы бытия.

Пророческий дар Достоевского торжествует над

темными, часто ядовитыми, отравляющими страстями его воспаленного таланта.

Он прожил страшную жизнь, где были казнь, каторга, неизлечимая болезнь, губительные страсти. Он прожил прекрасную жизнь, природа наделила его гениальностью, и он смог осуществить свое предназначение.

Через хребет своего века всматривался он в неизвестное будущее, ища той жизни, где не будет униженных и оскорбленных.

Конечно, не мог он не думать о судьбе своих книг. Что останется от них, какое место займет он в будущем мире, нужен ли он будет.

Около века прошло с выхода его последнего романа — «Братья Карамазовы». Все эти годы книги Достоевского служили светлomu делу освобождения попоранной человеческой души. Протестующая, израненная сомнениями, вера его ныне сливается с верой миллионов людей, свергающих власть насилия и лжи, власть денег и капитала.

Его соотечественники, и особенно мы, его земляки-согорожане, испытываем гордость за всеобщее признание его и низко кланяемся подвигу его жизни, его пророческому гению.

II

Побывав в Лондоне, лучше понимаешь Диккенса.

Можно было бы начать наоборот: прочитав Диккенса, лучше понимаешь Лондон.

Собственно, так оно и было.

Вот он, Блекфайерс, где работал на складе Дэвид Копперфилд, а тут была долговая тюрьма Маршалси, а здесь Флит-стрит, Сити, суд, юридические конторы, стряпчие, дело «Бардл против Пиквика»...

Радость узнавания, странный, поразительный процесс соединения запечатленных с детства образов с этими непроницаемыми господами в котелках, в узких полосатых брюках, они стучат бронзовыми молотками в двери подъездов... «Домби и сын», «Приключения Оливера Твиста», «Холодный дом», «Лавка древностей» — все ожило, задвигалось. Как будто я знал многое про этих людей и знал, что происходит там, в этих офисах, знал этих желчных крючкотворов, этих усталых, бледных женщин. Где-то в толпе, в вагоне

подземки слышишь смех Тэпли, пройдет чопорный господин, похожий на Домби, можно уличающе подмигнуть болтливому Джинглю, увидеть Урию Хипа. Существует целый диккенсовский Лондон, населенный сотнями его героев, с трущобами, торговыми фирмами, судейскими стряпчими, чиновниками, точными адресами, по этому городу устраивают экскурсии, он живет внутри Лондона, не смешиваясь с Лондоном Голсуорси или Конан-Дойля, так же как Петербург Достоевского существует рядом с пушкинским и блоковским.

Диккенс описывает Лондон с точностью справочника. Ничего придуманного или вымышленного. Он не стесняется точно назвать улицы. В его книгах окраины, пристани, тюрьмы, богатые кварталы имеют не только адрес, они изображены со всеми деталями, они списаны.

После Лондона стоит перечитать Диккенса. Появляется множество деталей, тонкостей, до этого неуловимых. Впрочем, это относится ко всей английской литературе. Я взял роман Айрис Мэрдок «Под сетью» и на первых же страницах заулыбался:

«...Кто мог вдохновить ее на такие туалеты? Я медленно обошел вокруг нее, внимательно приглядываясь.

— По-твоему, я что, памятник Альберту? — сказала Магдален.

— Ну что ты, с такими-то глазами!»

Раньше такая фраза ничего у меня не могла бы вызвать. Вместо «Альберту» могло бы стоять «Нельсону», «Джеймсу Куку» — все равно. Теперь же, насмотревшись на памятники принцу-консорту, я невольно улыбнулся.

Все это вещи известные: побывав на Кавказе, лучше понимаешь многое у Лермонтова, побывав на Украине, иначе читаешь Шевченко, и так далее. Однако есть тут один секрет. Общеизвестные истины и есть наиболее любопытные истины, и часто они вовсе не истины, а бывшие сложности, от которых отступились.

Лучше всего я это почувствовал на примере Достоевского.

Однажды вместе с внуком Достоевского, Андреем Федоровичем Достоевским, мы обошли места, связанные с романом «Преступление и наказание». С нами был

мой товарищ — чешский писатель, литературовед, специалист по Достоевскому — Франтишек К. Поход фактически был затеян ради него. Я ленинградец. Перечитывая Достоевского, я, разумеется, считал, что мне-то все известно, а если какого адреса я и не знаю, то особого значения это не имеет, такие подробности нужны разве что для историка литературы. Итак, отправились мы, руководимые Андреем Федоровичем, человеком самым по себе весьма примечательным. Инженер, фронтовик, он, выйдя на пенсию, целиком посвятил себя делам своего великого деда. Впервые я столкнулся с ним в хлопотах по созданию в Ленинграде памятной квартиры-музея Достоевского — и с тех пор не раз убеждался в его доскональном знании малейших обстоятельств, связанных с петербургской жизнью Достоевского. И вот сейчас, когда мы вышли на проспект Майорова, Андрей Федорович начал рассказывать, где и что было в те годы, то есть сто лет назад, — увеселительные заведения, трактиры, распивочные, здесь и на соседних улицах. Он видел район глазами современников Достоевского, в подробностях зная историю почти каждого дома. Слушать его было весьма интересно, как и всякого историка-специалиста, до той минуты, когда он вдруг, показав на дом, сказал: «Тут были ворота, и во дворе находился камень, под которым Раскольников спрятал драгоценности, взятые у старухи». Сказал он это с полной убежденностью и, поймав наше недоумение, открыл заложенную страницу романа «Преступление и наказание» и прочел нам: «...выходя с В-го проспекта на площадь, он вдруг увидел налево вход во двор, обставленный совершенно глухими стенами. Справа, тотчас же по входе в ворота, далеко во двор тянулась глухая небеленая стена соседнего четырехэтажного дома...»

И далее подробное описание уединенного места, где лежал большой неотесанный камень...

Дом был перестроен, но Андрей Федорович поднял в архивах старые чертежи, по ним все сходилось, все точно соответствовало. И все же, признаюсь, я не поверил, я решил, что это — совпадение, какая-то случайность, не больше.

Мы свернули вправо от улицы Пржевальского, и Андрей Федорович привел нас к дому № 19, заявив, что здесь жил Раскольников. И дом, и двор имели, как

нарочно, ужасный вид, во дворе была грязь, валялись мусорные баки, тряпье, какие-то старые ломаные стулья. По стоптанным каменным ступеням мы поднялись на узкую темную лестницу с полукруглыми проемами и по ней наверх, до каморки Раскольниково́ва.

«Каморка его приходилась под самой кровлей высокого пятиэтажного дома... Квартирная же хозяйка его, у которой он нанимал эту каморку... помещалась одною лестницей ниже... и каждый раз, при выходе на улицу, ему непременно надо было проходить мимо хозяйкиной кухни, почти всегда настежь отворенной на лестницу».

Была каморка, туда вели тринадцать ступенек, как и было сказано в романе, и была лестница мимо квартиры с кухней, именно кухня окном выходила прямо на площадку.

Но может, другие лестницы в доме так же были расположены? Нет, из всех лестниц она единственная соответствовала описанию, и нигде не было кухни с окном. Ну хорошо, допустим даже, что так, но играет ли это какую-то роль в романе, стоит ли этому придавать значение? В том-то и штука, что расположение имело важное значение, и прежде всего для Раскольникова. Действия его были связаны с этой кухней, там он высмотрел топор, нужный ему для убийства.

«Он бросился к двери, прислушался, схватил шляпу и стал сходить вниз свои тринадцать ступеней, осторожно, неслышно, как кошка. Предстояло самое важное дело — украсть из кухни топор. О том, что дело надо сделать топором, решено им было уже давно».

В течение нескольких страниц, мучительно долго спускается он эти тринадцать ступенек. Словно не спускается, а поднимается на свою Голгофу.

Однако, казалось бы, ничтожное обстоятельство нарушило все его планы и расчеты.

«Поравнявшись с хозяйкиною кухней, как и всегда отворенною настежь, он осторожно покосился в нее глазами, чтоб оглядеть предварительно: нет ли там, в отсутствие Настасьи, самой хозяйки, а если нет, то хорошо ли заперты двери в ее комнате, чтоб она тоже как-нибудь оттуда не выглянула, когда он за топором войдет? Но каково же было его изумление, когда он вдруг увидал, что Настасья не только на этот раз дома,

у себя в кухне, но еще занимается делом: вынимает из корзины белье и развешивает на веревках! Увидев его, она перестала развешивать, обернулась к нему и все время смотрела на него, пока он проходил. Он отвел глаза и прошел, как будто ничего не замечая. Но дело было кончено: нет топора! Он был поражен ужасно».

Вдруг начали действовать те мелочи, которыми он пренебрегал, считал их ничтожными перед силой воли и главных идей своих, а вот они-то ожили, и все заколебалось.

Андрей Федорович читал, и мы повторяли все движения Раскольникова, спускались вниз, во двор, под ворота, где Раскольников стоял бесцельно, униженный и раздавленный, пока вдруг не увидел в каморке дворницкой топор.

«Из каморки дворника, бывшей от него в двух шагах, из-под лавки направо что-то блеснуло ему в глаза... Он осмотрелся кругом — никого. На цыпочках подошел он к дворницкой, сошел вниз по двум ступенькам и слабый голосом окликнул дворника. «Так и есть, нет дома! Где-нибудь близко, впрочем, на дворе, потому что дверь отперта настежь». Он бросился стремглав на топор (это был топор) и вытащил его из-под лавки, где он лежал между двумя поленами...»

Каморка под воротами сохранилась. Мы заглянули туда, в сырую темноту, там помещалась кладовка, две ступеньки вели вниз. Стояли бумажные мешки с мелом.

Выйдя из ворот, мы направились к дому старухи-процентщицы. Путь к этому дому был точно обозначен, Раскольников «даже знал, сколько шагов от ворот его дома: ровно семьсот тридцать».

Постепенно проникаясь ощущениями Раскольникова, мы тоже считали шаги, с некоторым замиранием сердца подошли к «преогромнейшему дому, выходящему одною стеной на канаву, а другой в В-ю улицу». Дом, на счастье, сохранился в том же виде, окрашенный какой-то безобразной грязно-розовой краской. «Входящие и выходящие так и шмыгали под обоими воротами и на обоих дворах дома». Во дворе множество одинаковых окон со всех сторон неприятно следило за нами. По узкой темной лестнице, где сохранились на перилах обтертые шары желтой меди, мы поднялись на четвертый

этаж до квартиры старухи-процентщицы и остановились перед дверью. Как раз на лестнице мы никого не встретили. Чувство перевоплощения было полное, до нервной дрожи в руках. Больше я не сомневался. И дальше, когда Андрей Федорович повел нас к полицейской конторе, расположение которой он так же точно установил по архивам, и оно убедительно совмещалось с описанием в романе: новый дом, ворота, направо лестница, узенькая, крутая.

«Контора была от него с четверть версты. Она только что переехала на новую квартиру, в новый дом, в четвертый этаж. На прежней квартире он был когда-то мельком, но очень давно. Войдя под ворота, он увидел направо лестницу, по которой сходил мужик с книжкой в руках: «дворник, значит; значит, тут и есть контора», и он стал подниматься наверх наугад».

И этот дом, к счастью, сохранился, и лестница была действительно узкая, крутая...

А неподалеку стоял и дом, где жили Мармеладовы — «дом Козеля, немца», — на канале Грибоедова, угол Казначейской улицы, дом № 73.

«Дом был трехэтажный, старый и зеленого цвета».

«Сонина комната походила как будто на сарай, имела вид весьма неправильного четырехугольника, и это придавало ей что-то уродливое. Стена с тремя окнами, выходящая на канаву, перерезывала комнату как-то вкось, отчего один угол, ужасно острый, убегал куда-то вглубь, так что его, при слабом освещении, даже и разглядеть нельзя было хорошенько; другой же угол был слишком безобразно тупой».

И лавку галантерейную, и трактир показал Андрей Федорович.

На улице с развороченным булыжником тихо прогуливалась сухонькая старушонка, держа собачку. Старушка была в черной кружевной пелеринке, собачка в нейлоновом жилетике. На углу старики на ящике играли в шахматы. К ним подошли двое подвыпивших. Сняв соломенные шляпы, они спросили: «Как вы относитесь к тем, кто вышел из тюрьмы?»

Вода в канале Грибоедова стояла зеленоватая, грязная. По Сенной, то есть по площади Мира, возле бывшей гауптвахты, где сидел Достоевский, шла ярко раскрашенная женщина. Она посмотрела на нас глазами Со-

нечки... «Чушь, — сказал я себе, — ерунда собачья, просто мы в таком настроении и видим соответственно такому настроению».

Но другое, другое мучило меня, куда более серьезное: зачем нужна была Достоевскому подобная точность? Ведь не было же никакого Раскольников. А его каморка, а тринадцать ступенек, ведущие в нее? Они-то есть.

Достоевский знал этот район хорошо. Он жил поблизости, рядом же помещались редакции журналов «Время» и «Эпоха», которые он издавал вместе с братом, неподалеку, на Большой Мещанской (ныне улица Плеханова), жил Н. Страхов, на Вознесенском (ныне проспект Майорова) жил Ап. Григорьев.

Приехав из-за границы в 1864 году, Достоевский поселился в доме на углу Столярного переуллка. Так что тут все, каждый дом был ему знаком. Однако обстоятельство это еще не объясняет необходимости столь точного описания мест действия.

Такие исследователи творчества Достоевского, как Н. Анциферов, Л. Гроссман, давно обратили уже внимание на точность адресов романа.

Порой эта точность кажется даже художественно необязательной. Взять то же описание полицейской конторы. Ее действительный адрес вроде бы подробность несущественная. Скорее всего она, эта подробность, появляется непроизвольно, она следствие метода работы Достоевского.

Чтобы описать подобные детали, он должен был побывать именно в этих домах, в этих комнатах, в этих каморках, подниматься по этим лестницам. И не просто побывать, а выбрать эти дома, расселить своих героев. Затем проделать весь путь Раскольникова, и не раз, так, чтобы отсчитать ступеньки, шаги. Нигде, ни разу он не довольствуется приблизительным описанием. Каждое событие происходит на определенной улице. Каждый герой живет в существующем доме. Все зафиксировано, как в полицейском протоколе. Почему, зачем нужна такая дотошность?

Более того — оказывается, что все это не просто внешнее описание обстановки.

Когда был напечатан отрывок из этого очерка, я получил читательское письмо, где читатель доказывал

мне, что нельзя уверенно считать дом, описанный мною, домом Раскольникова. Точности тут быть не может, ибо в романе дом, где жил Раскольников, пятиэтажный, а дом, который я указываю, четырехэтажный.

Снова я поехал на Гражданскую улицу, туда, где мы ходили с Андреем Федоровичем. Поехал проверить себя, не могло же быть подобного промаха, слишком точно все сходилось, да и Андрей Федорович достаточно серьезно и долго занимался всеми этими домами.

Еще издали, подходя к дому, я считаю этажи — четыре. Подвалы? Подвалы есть, и ясно, что и раньше они были подвалами. Никаких мансард не видно. Я зашел во двор. Со двора тоже четыре этажа. Кругом четыре. Если бы у Достоевского дом был четырехэтажный, а ныне он имел пять этажей, то понятно, могли надстроить. Но снести? И как мы, бывая здесь, не замечали? Слона-то, как говорится, и не заметили. Беда-то, непоправимость заключалась в том, что после смерти Андрея Федоровича и спросить некого. Снова я вышел, побродил вокруг дома. Стояла та самая слякотная гнилая осень, которая сохранялась со времен Достоевского и сохранится еще бог знает сколько.

Огорчился я чрезвычайно, рушился мой рассказ, во всяком случае дорогое мне, полюбившееся представление об особенностях романа, да и вообще работы Достоевского, и было досадно за свою наблюдательность...

Все же какое-то непонятное упрямство мешало мне уйти.

Но, собственно, что случилось, спрашивал я себя. Где указано, что у Достоевского все должно сходиться тютелька в тютельку. В конце концов, это же литературные герои, а не бывшие жильцы, не действительное происшествие, а сочинение. Какие тут претензии могут быть, может, Достоевскому хотелось подчеркнуть, что Раскольников жил в большом (для того времени) пятиэтажном доме. А может, он позабыл, сколько в натуре этажей. Во всяком случае он, наверное, придавал этому куда меньше значения, чем ныне я. Не имеют же никаких прямых адресов герои Толстого или Чехова. Стоя в подворотне, я утешался как мог, и тут у парадной, что была рядом с той самой каморкой дворника, я увидел табличку с обозначением этажей и номеров квартир. Первый, второй... пятый! Существовал пятый этаж,

квартира номер такая-то. Я поднялся. На пятом этаже дверь квартиры была распахнута. Я вошел. Никого. Комната-каморка, раскладушка, старые журналы, какие-то платки. Маленькое квадратное окно, которое снаружи, со двора, видится обычным чердачным окном. Наверняка квартирka эта существовала всегда, на других лестницах такие квартирki превращены были со временем в чердаки, а эта сохранилась.

Постепенно я начинал понимать и все более удивляться и радоваться. В самом деле, что же получалось: хотя дом снаружи был четырехэтажный, Достоевский недаром считал его пятиэтажным, он воспринимал его как бы изнутри, как всякий живущий в этом доме. Ведь для Раскольникова дом-то был пятиэтажным. Значит, Достоевский выбрал приглядевшийся ему дом для своего героя не по внешним признакам, вернее, не только по внешним, и еще вернее — он не выбрал, не зарисовывал, не приметил себе, а как бы примерил его на себя, прожил в нем вместе с Раскольниковым. И вся обстановка, самочувствие жильца вошли в его плоть. Я как бы ощутил своеобразие работы Достоевского. Найти каморку для Раскольникова, мысленно поселиться там, проделать то же самое со всеми героями романа. Он высмотрел — да, да, не представил, не вообразил, а именно высмотрел — и проделал весь путь Раскольникова. И не раз. На месте он разыграл для себя всю сцену и остальные сцены с точностью следственного дознания. Он действовал даже не как следователь, потому что следователь идет по следам состоявшегося преступления, а Достоевский сперва его как бы совершал в обличье Раскольникова.

И среди этих точных адресов, конкретностей, осязаемых с названиями улиц, с домами, с номерами квартир, происшествие переставало быть сочинительством. Толстой в этом смысле был больше писателем, он действительно сочинял и мог переписывать по многу раз и должен был переписывать, добираясь до точности своего замысла, как до полноты правды... Достоевский добирался по этим лестницам, до этих каморок. Он действовал не как писатель, а скорее как режиссер. Он ставил сцену за сценой своей трагедии, разводил актеров. Он выбирал декорации, если это можно назвать декорациями. Он сам был и актером. Ему нужна была абсо-

лютная достоверность обстановки, и среди этой достоверности дворов, полицейских участков, среди этой петербургской подлинности рождалась подлинность чувств и поступков фантастического героя в фантастическом городе; «безобразная мечта нищего студента, петербургского типа».

Добившись этой подлинности, тоже, конечно, после отбора и выбора, Достоевский уже мог записывать, как записывают протокол дознания, как очерк, как репортаж, ничего не выдумывая, не добавляя. Мог диктовать страницу за страницей, главу за главой.

Вот примерно то, что я понял и почувствовал. Мне вспомнилось, как я допытывался у Андрея Федоровича и Франтишека, зачем, для чего Достоевскому нужна была такая скрупулезность, разве не мог он сочинить, придумать, представить каморку, зачем ему надо было считать ступеньки и шаги, не проще ли все это сочинить, вроде бы быстрее и легче?

Они не могли ответить мне. И кажется, никто из литературоведов, которые занимались Достоевским, не отвечал на это, а может, они обходили эту удивительную особенность Достоевского.

Говорилось всегда лишь о Петербурге Достоевского, хотя в том же «Преступлении и наказании» совсем мало так называемых городских пейзажей и описаний. Но в том-то и штука, что город возникает не из пейзажей, а скорее из деталей незаметных, подлинность и узнавание проступают, как водяные знаки.

И сейчас я, конечно, не мог утверждать, что что-то доказал, мои предположения были всего лишь догадкой, ощущением, рожденным этими домами, переулками, воздухом этих мест старого Петербурга.

Впрочем, я ни на что и не претендовал. Это имело ценность прежде всего для меня самого. Меня самого заинтересовала возможность работать вот так, с максимальной достоверностью, чтобы знать, где и как живут мои герои...

Нечто похожее чувствуется у Диккенса. Подспудная точность описаний, доходящая до фактических адресов. Разумеется, я не мог этого проверить, может, на сей счет имеются английские исследования. Но суть даже не в этом. «Чтобы понять поэта, надо побывать на его родине», — говорил Гете. Разве мог бы чех Франти-

шек К. ощутить в полной мере Достоевского, если бы не исходил он с нами все эти лестницы и дворы, и сама, вроде бы коренной ленинградец, проникшись Достоевским, вдруг увидел то, чего раньше не замечал, то, что как-то заслонялось новым, привычным Ленинградом с его автомашинами, новыми домами, витринами, асфальтом. Так было и в Лондоне: Диккенс помогал мне узнавать Лондон, и Лондон помогал мне понять Диккенса.

И все же не до конца. Обязательно существуют какие-то подробности, непостижимые для иностранца. Сколько бы я ни изучал Англию и Диккенса, всегда останется некий неделимый остаток, оттенки, недоступные пониманию, и не только оттенки, а может, и нечто более серьезное.

В те минуты, когда мы стояли в подворотне перед дворницкой, откуда из-под лавки Раскольникову блеснул топор, и читали, как Раскольников, до этого раздавленный, униженный неудачей, воспрянул, бросился на топор, вытащил его из-под лавки, сунул под пальто, прикрепив к петле, — я заметил, что случай этот, увиденный и пережитый нами, так сказать, на месте происшествия, произвел особо сильное впечатление на Франтишека. Случайность показалась ему странной, несколько многозначительной. Я не сразу понял, откуда происходит разница наших восприятий, лишь в Лондоне мне вдруг прояснилось. Топор не принимался Франтишеком как предмет обыденный, распространенный, необходимейший в городской жизни тех лет. Да и не только тех лет. Для меня то, что топор стоял в дворницкой, дело естественное. Печное отопление существовало до последних лет в большинстве ленинградских домов. Во дворах высились поленницы, с детства я привык пилить дрова, колоть, таскать их вязанками домой. Топор имелся в каждой квартире и, само собой, у дворников. В Праге же всегда топили углем, брикетами, как и в Лондоне и в других городах. Для Франтишека топор в дворницкой случайность, может, роковое стечение обстоятельств, в каком-то роде игра судьбы. И хотя Франтишек жил в Москве, учился, знает нашу жизнь, невозможно требовать от него, чтобы он понимал топор, как понимает его русский человек. Конечно, стоит вдуматься, и разность пониманий исчезнет, ничего тут мудре-

ного нет, но вся хитрость в том, чтобы обнаружить подобный «топор». Часто и представить себе трудно, какая вещь может не дойти до чужеземца. Согласен, что пример мой не столь уж существен, наверное, имеются и более серьезные. Выявить их можно лишь нечаянно. Ни в каких комментариях такие вещи не предусмотришь. Все это ко мне пришло позже, а тогда в подворотне другая невероятная мысль томила меня: достоверность адресов, расположения, до каких пор простиралась она у Достоевского, что как и топор он увидел здесь, в дворницкой, под лавкой, ему он блеснул, ему, когда он шел здесь, представляя Раскольников... Но тут я почувствовал, начинается столь зыбкое, таинственное, а главное, недозволенное, чего не следует касаться... Только теперь я, кажется, начинал постигать, как много скрывается за такими вроде бы очевидными, ходовыми понятиями, как Петербург Достоевского или Лондон Диккенса.

ГЕРОЙ, КОТОРОГО ОН ЛЮБИЛ ВСЕМИ СИЛАМИ СВОЕЙ ДУШИ

Помню, как, впервые читая «Севастопольские рассказы», дошел я до смерти ротмистра Праскухина и как потрясла меня эта сцена. Позже, возвращаясь к этому месту, я уже не испытывал такого ошеломления, но обязательно вспоминал первое ощущение, похожее на электрический удар. Смерть эта происходит при отходе батальона с передовой, когда обстрел уже кончается и вдруг летит бомба, падает в аршине от Праскухина, крутится на земле с шипящей светящейся трубкой, и этот, в сущности, миг растягивается предсмертным ужасом, укрупняется, переходит в другой масштаб, где различимы все чувства, образы, мысли, которые проходят в воображении Праскухина. Они не просто заявлены вроде: «Перед ним промелькнула вся его жизнь», что бывало в подобных описаниях, здесь все напрямую показано автором. И не просто воспоминания, свойственные любому человеку, мелькают перед нами, а предстает мир чувств именно ротмистра Праскухина, человека суетного, мелкого, уже и до этого представленного не очень симпатичным. О чем же он думает, что проносится в его сознании в эти страшные мгновения? Самое первое — это самолюбивое удовольствие от того, «что Михайлов, которому он должен двенадцать рублей с полтиной, гораздо ниже и около самых ног его, недвижимо прижавшись к нему, лежал на брюхе».

И далее одна за другой мечутся мысли и чувства столь же ничтожные, поражающие своей не нравственностью. Но вот среди сорной дряни его жизни возникает образ женщины, которую Праскухин любил, образ с деталью трогательной, чем-то жалкой — «в чепце с лиловыми лентами». И мы вдруг понимаем, что он, Праскухин, не ничтожество, а обыкновенный человек, ис-

порченный средой, что-то сохранивший в себе, что-то было и у него настоящее, хорошее.

Поток этих мыслей и образов автор мог бы еще растягивать и дополнять, но Толстой обрывает его, отнюдь не произвольно, а тем реальным временем, тем первым масштабом, в котором происходят внешние события, независимые от воображения Праскухина: страшный треск взрыва бомбы прерывает невыносимое ожидание.

«Слава богу! Я только контужен», — было первой мыслью Праскухина... И мы тоже переводим дух, потому что, сопереживая смертельную опасность, мы уже захвачены сочувствием Праскухину, мы очутились внутри его вопящей, застигнутой врасплох души. Однако вслед за мгновенным облегчением — «я только контужен» — начинает твориться что-то сомнительное, происходящее кругом как-то странно отодвигается от Праскухина, теряет реальность. Идут мимо солдаты, мелькают, мелькают, и Праскухиным овладевает страх, не страх ранения, не то, что кровь из него течет и может вытечь, а то, что солдаты его раздавят. Движения Праскухина становятся мучительно непонятными, нам никак не понять, что же с ним происходит, и вдруг все обрывается последней строкой, несмотря ни на что неожиданной, страшной, как выстрел в упор, — строкой, пронзившей меня в то первое чтение: «Он был убит на месте осколком в середину груди».

Что ж это такое, значит, он был уже убит, давно убит, пока мы читали его мысли, надеялись вместе с ним на спасение, он был уже с осколком в середине груди...

Не помню, не знаю, где еще в прозе есть, чтобы строка, *одна строка*, действовала столь внезапно, сильно, столько бы заключала в себе. Она и *оглушает*, и *озаряет*. Озаряет и последующие страницы, и предыдущие.

Безжалостно высвечивается этот последний миг, еще полный чувств, мыслей, составляющих жизнь Праскухина, то, с чем он уходит. Но все равно все предсмертные его тревоги, сомнения, как бы жалки они ни были, все равно это еще жизнь, где можно исправить, изменить. Нет постепенного перехода к смерти. Смерть — это разрыв. Границу между жизнью и смертью не заполнить, не размыть. Толстовская строка передает этот скачок, обрыв, обвал. Секрет тут и в монтаже, в стыке, а еще и в том, что дана она в прошедшем времени: *был убит*. То есть смерть последовала в то время, пока мы

читали предсмертные мысли Праскухина, ибо события происходили быстрее, чем мы читаем. Реальное время врывается в повествование, Толстой сталкивает его с временем литературным, и из этого столкновения возникает искра, освещающая таинственный акт смерти.

Кажется, Стефан Цвейг писал об интересе Толстого к смерти. Описаний смерти у Толстого много, всякое из них неповторимо, подробно, и каждый раз это открытие и художественное, и нравственное, и, может быть, и физиологическое. Смерть Андрея Болконского, смерть Ивана Ильича, Анны Карениной, Хаджи-Мурата, Василия Андреевича в повести «Хозяин и работник»... Точно в сильную лупу разглядывает Толстой конец человеческой жизни, переход в небытие, стараясь через этот момент понять смысл человеческого существования.

Почему, однако, смерть Праскухина кажется неожиданной, ведь глава эта прямо начинается с сообщения юнкера барона Песта о том, что Праскухин убит? Юнкер Пест подтверждает, что он сам видел смерть Праскухина, и автор, далее упоминая о ротмистре Праскухине, прибавляет «покойник Праскухин». То есть Толстой отказывается от эффекта неожиданности, неведения, он не желает пользоваться никакими, самыми общепринятыми литературными приемами. Казалось бы, какое может быть переживание за смерть Праскухина, если уже объявлено, что он убит.

А оказывается, может, и, как ни удивительно, мы еще сильнее переживаем, волнуемся, зная: на войне все может быть — и, вопреки сообщению, надеемся, цепляемся, верим в чудо, замороженные праскухинским непониманием смерти, он ведь совершенно не готов к смерти, он умирает, не зная, что это смерть. Он ни разу не думает о смерти, в отличие от лежащего рядом штабс-капитана Михайлова, который тоже «необъятно много передумал и перечувствовал за эти две минуты» и подумал: «Все кончено — убит», когда бомбу разорвало.

Перечитывая «Севастополь в мае», зная, как Праскухин был убит, того первого ошеломляющего чувства я, конечно, не испытывал. Зато было другое. Была прожитая мною война, смерти, которых я навидался, — быстрые, случайные, нелепые, — сколько их было, убитых рядом со мною наповал, «на месте». И, проверяя Толстого собственным солдатским опытом войны, я убедился в непридуманности, в точности описанного.

Это нелегко объяснить. Опыта смерти ни у кого нет. От всего виденного и пережитого осталась необъяснимая, но ясная мера истинности: так могло быть, а так не могло быть. С тех пор мера эта безжалостно отвергала многие книги о войне. Неправда, литературщина, украшательство... Прекрасные когда-то романы о первой мировой войне перестали читаться. А девятистолетней давности «Севастопольские рассказы» устояли и утвердились, и даже как бы подтвердились. В них не образовалось наивностей или фальши. В них почти ничего не устарело.

В чем тут секрет?

Прочность «Севастопольских рассказов» во многом от правды — главного героя рассказов, в верности которому присягнул на этих страницах молодой Толстой. Но разве стареют только те произведения, которые обнаруживают неправду? Секрет прочности состоит не только в правде. Как стареют те или иные рассказы, романы? Одни, казалось бы талантливые (да и на самом деле талантливые), вещи почему-то ветшают, другие нет. Прослужив двум, трем поколениям, ставшие вроде классическими, произведения вдруг, именно вдруг, отвергаются, и не то чтобы новым читателем, нет, бывшие же поклонники отказываются от них, раздраженные незамеченной ранее приторностью, многословием, пафосом... Правда, заключенная в них, не в силах поддержать их. В чем тут дело? Слова «талант», «гений» сами по себе ничего не объясняют. Почему «Севастопольские рассказы» со всеми авторскими рассуждениями, понятиями того времени, со всей той войной, такой далекой от нынешней, остаются в полной силе военной прозой, война в них настоящая, не кажется облегченной, она такая же страшная, жестокая, требующая того же мужества, чести, долга, как и та, что мы пережили.

Из всех героев рассказа «Севастополь в мае» Толстому ближе и приятнее штабс-капитан Михайлов, хотя и в нем он признает робость и ограниченность взглядов. Михайлов переживает ту же предсмертность, что и Праскухин, так же все передумал и перечувствовал и простился с жизнью, то есть прошел наивысшее очищение смертью, которое, казалось бы, должно преобразить душу. Он увидел смерть вплотную и перед лицом ее должен был понять истинные ценности жизни.

Чувство смерти было полным, так потрясло его, что оторвало от всего земного: «...он так было хорошо

и спокойно приготовился к переходу *туда*, что на него неприятно подействовало возвращение к действительности, с бомбами, траншеями, солдатами и кровью...»

Но Михайлов, который думает, что убит, остается жив. Он всего лишь ранен. Он остается в строю. Во имя долга он возвращается назад — проверить, что с Праскухиным. Он поступает по лучшим образцам воинской чести. Правда, при этом соображения о награде присутствуют и в его поступках, но в конце концов это не умаляет его благородства, храбрости.

Тем поразительнее другое, то, что происходит с ним на следующий день. А что же с ним происходит? Да в том-то и дело, что ничего не происходит! Он является вечером на тот же бульвар, где и раньше прогуливались офицеры, там играет та же егерская музыка. Те же аристократы — Гальцин и Кулагин ведут свои тщеславные разговоры. И вот показывается *лиловатая* (какое удивительное определение!) фигура Михайлова на стоптанных сапогах и с повязанной головой. Он истинный герой, такое изведавший, и что же? Прежние чувства стеснения и тяги к этим штабным офицерам, аристократам живут в Михайлове, ему хочется быть принятым в их разговор, показать им, что он в курсе того, что происходит там, на передовой, и показать, что он умеет говорить по-французски. Чувства презренные, явно не достойные человека, который заглянул в глаза смерти.

В чем же был урок? Где результат того возвышенного состояния, в котором находился наш герой, на поле боя увидевший смерть, в чем его новый взгляд на себя, на свою жизнь, в чем урок?

Увы, оказывается, ничего, почти ничего не изменилось. Кажется, любой другой писатель не удержался бы показать какое-то обновление, духовное очищение, возрождение Михайлова, ведь так просится, так соблазнительно, так, наконец, поучительно, а следовательно, нравственно. А вот Толстой отказывается от этого. Ничего не изменилось, Михайлов так же искателен, и робок, и одинок. Юнкер Пест так же хвастлив, на бульваре «все те же вчерашние лица и все с теми же вечными побуждениями лжи, тщеславия и легкомыслия». И мы понимаем: да так оно и есть, такова правда, которую не убоился указать писатель, именно в этом правда, и чувство недоумения, обиды, досады овладевает нами — да как же они, эти люди, не понимают, что так нельзя, что

суэта эта не достойна людей воюющих, готовых к смерти из-за высоких убеждений и любви к родине. Но, может, наши мучительные вопросы, наше смятение и есть тот важнейший нравственный итог, который мы извлекаем сами, который не успокаивает, не поучает, а мучает нас, заставляет искать ответа на это человеческое, такое понятное и такое непонятное свойство.

В рассказе все хороши и все дурны, нет ни злодеев, ни героев, и тем не менее откуда-то возникает вполне явственное восхищение защитниками Севастополя, трудно указать, откуда оно берется, нет в этом рассказе специальных сцен, лиц, как есть, например, в третьем рассказе — «Севастополь в августе». Похоже, что атмосфера правды каким-то таинственным способом вызывает ощущение мужества, стойкости; этим-то и прекрасна толстовская правда, что чувство это происходит несмотря на то, что Толстой занят обличением тщеславия офицеров-аристократов. Он высмеивает их высокомерие, чванливость, он их всех не уважает за неискренность, у всех у них на первом плане карьера, все делается ради нее.

Можно представить себе, какого писательского мужества потребовала в той обстановке верность такой правде, каждая сцена, каждый эпизод подчинен ей, без компромиссов, без исключений, без каких-либо украшений. Традиции военной литературы, весь пафос войны, все восставало против. Рассказ, особенно второй, «Севастополь в мае», изображал войну необычно, вопреки всем правилам, без героев, без подвигов. И дело касалось тут даже не только вызова традициям военной повести, но в безотрадной горечи, и все это о Севастополе, который тогда представлялся для всех святыней. Поэтому-то для Толстого встал вопрос о мере откровенности, о границах правды: на что имеет право художник, как далеко он может заходить, изображая дурные черты людей, их пороки, их несправедливость... Впрочем, он, Толстой, сам куда лучше формулирует свои сомнения: «Может быть, то, что я сказал, принадлежит и одной из тех злых истин, которые, бессознательно таясь в душе каждого, не должны быть высказываемы, чтобы не сделаться вредными, как осадок вина, который не надо взбалтывать, чтобы не испортить его».

Тяжелое, мучительное раздумье сопровождало Толстого в этом рассказе. Война поставила перед ним вопрос, который он решал и в следующие годы. Вопрос,

который возникал и у других русских писателей, вплоть до Максима Горького, и каждый искал для себя ответа заново и находил, приходя так или иначе к толстовскому решению. Очевидно, иначе истинные таланты не смогли бы осуществить себя.

Знаменательно, что никому легко, с ходу не давалось эта бесстрастная правда, к ней приходили, одолевая сомнения, выстрадав ее, и она становилась убеждением.

«Герой же моей повести, которого я люблю всеми силами души, которого старался воспроизвести во всей красоте его и который был, есть и будет прекрасен,— правда».

Правда не может быть злой, вредной, ненужной, она может быть мучительной, страшной, беспощадной, даже отталкивающей, но все равно она для Толстого прекрасна, и он ничем не поступает ради нее.

В третьем, последнем рассказе цикла «Севастополь в августе» оба брата Козельцовы погибают при падении Севастополя. Умирает раненый старший Козельцов, гибнет семнадцатилетний прапорщик Владимир Козельцов. Доблестная их гибель не помогла, русские войска покидают Севастополь. Ничем не возмещается, не уравнивается наше чувство жалости за эти две смерти. Мы не знаем, чем оправдывается их гибель, неизвестно, где, в чем искать утешение. И в этом тоже было художественное открытие военной прозы Л. Толстого. Существовало какое-то неизбежное стремление уравновесить повествование. Наказать зло, обрушить возмездие, разоблачить подлость, что-то противопоставить несправедливости. Самым разным путем, но достигнуть удовлетворенности.

Отказаться от этого, одолеть эту традицию было не просто...

В прошлом году со мной приключилась беда. Шел я по улице, поскользнулся и упал... Упал неудачно, хуже некуда: лицом о поребрик, сломал себе нос, все лицо разбил, рука выскочила в плече. Было это примерно в семь часов вечера. В центре города, на Кировском проспекте, недалеко от дома, где живу.

С большим трудом поднялся — лицо залито кровью, рука повисла плетью. Забрел в ближайший подъезд, пытался унять платком кровь. Куда там — она продолжала хлестать, я чувствовал, что держусь шоковым состоянием, боль накатывает все сильнее и надо быстро что-то сделать. И говорить-то не могу — рот разбит.

Решил повернуть назад, домой.

Я шел по улице, думаю, что не шатаюсь; шел, держа у лица окровавленный платок, пальто уже блестит от крови. Хорошо помню этот путь — метров примерно триста. Народу на улице было много. Навстречу прошла женщина с девочкой, какая-то парочка, пожилая женщина, мужчина, молодые ребята, все они вначале с любопытством взглядывали на меня, а потом отводили глаза, отворачивались. Хоть бы кто на этом пути подошел ко мне, спросил, что со мной, не нужно ли помочь. Я запомнил лица многих людей — видимо, безотчетным вниманием, обостренным ожиданием помощи...

Боль путала сознание, но я понимал, что, если лягу сейчас на тротуаре, преспокойно будут перешагивать через меня, обходить. Надо добираться до дома.

Позже я раздумывал над этой историей. Могли ли люди принять меня за пьяного? Вроде бы нет, вряд ли я производил такое впечатление. Но даже если бы и принимали за пьяного... — они же видели, что я весь в крови, что-то случилось — упал, ударился, — почему же не помогли, не спросили хотя бы, в чем дело? Зна-

чит, пройти мимо, не ввязываться, не тратить времени, сил, «меня это не касается», стало чувством привычным?

Раздумывая, с горечью вспоминал этих людей, поначалу злился, обвинял, недоумевал, негодовал, а вот потом стал вспоминать самого себя. И нечто подобное отыскивал и в своем поведении. Легко упрекать других, когда находишься в положении бедственном, но обязательно надо вспомнить и самого себя. Не могу сказать, что при мне был точно такой случай, но нечто подобное обнаруживал и в своем собственном поведении — желание отойти, уклониться, не ввязываться... И, уличив себя, начал понимать, как привычно стало это чувство, как оно пригрелось, незаметно укоренилось.

Раздумывая, я вспоминал и другое. Вспоминал фронтовое время, когда в голодной окопной нашей жизни исключено было, чтобы при виде раненого пройти мимо него. Из твоей части, из другой — было невозможно, чтобы кто-то отвернулся, сделал вид, что не заметил. Помогали, тащили на себе, перевязывали, подвозили... Кое-кто, может, и нарушал этот закон фронтовой жизни, так ведь были и дезертиры, и самострелы. Но не о них речь, мы сейчас — о главных жизненных правилах той поры.

И после войны это чувство взаимопомощи, взаимобязанности долго оставалось среди нас. Но постепенно оно исчезло. Утратилось настолько, что человек считает возможным пройти мимо упавшего, пострадавшего, лежащего на земле. Мы привыкли делать оговорки, что-де не все люди такие, не все так поступают, но я сейчас не хочу оговариваться. Мне как-то пожаловались новгородские библиотекари: «Вот вы в «Блокадной книге» пишете, как ленинградцы поднимали упавших от голода, а у нас на днях сотрудница подвернула ногу, упала посреди площади и все шли мимо, никто не остановился, не поднял ее. Как же это так?» Обида и даже упрек мне звучали в их словах.

И в самом деле, что же это с нами происходит? Как мы дошли до этого, как из нормальной отзывчивости перешли в равнодушие, в бездушие, и тоже это стало нормальным.

Не берусь назвать все причины, отчего утратилось чувство взаимопомощи, взаимобязанности, но думаю, что во многом это началось с разного рода социальной

несправедливости, когда ложь, показуха, корысть действовали безнаказанно. Происходило это на глазах народа и губительнейшим образом действовало на духовное здоровье людей. Появилось и укоренилось безразличие к своей работе, потеря всяких принципов — «А почему мне нельзя?». Начинало процветать вот то самое, что мы называем теперь мягко — бездуховность, равнодушие.

Естественно, это не могло не сказаться на взаимоотношениях людей внутри коллектива, требовательности друг к другу, на взаимопомощи, ложь проникала в семью — все взаимосвязано, потому что мораль человека не состоит из изолированных правил жизни. И тот дух сплоченности, взаимовыручки, взаимозаботы, который сохранялся от войны, дух единства народа, — терялся. Начиная с малого, пропадал.

У моего знакомого заболела мать. Ее должны были оперировать. Он слышал о том, что надо бы врачу «дать». Человек он стеснительный, но беспокойство о матери пересилило стеснительность, и он, под видом того, что нужны будут какие-то лекарства, препараты, предложил врачу 25 рублей. На что врач развел руками и сказал: «Я таких денег не беру». — «А какие надо?» — «В десять раз больше». Мой знакомый, работник среднего технического звена, человек небогатый, но поскольку речь шла о здоровье матери, раздобыл деньги. Что его поразило: когда он принес врачу деньги в конверте, тот преспокойно вынул их и пересчитал.

На этом история не заканчивается. После операции мать умерла. Врач сказал моему знакомому: «Я проверил, мать ваша умерла не в результате операции, у нее не выдержало сердце, поэтому деньги я оставляю себе». То есть он повел себя как бы порядочно: вот если бы женщина умерла в результате операции, деньги бы он вернул.

С полным сознанием своей правоты говорил это врач государственной клиники, представитель профессии гуманной, человеколюбивой — так, во всяком случае, мы привыкли думать о врачах.

Рассказываю об этом случае не потому, что он особый, а потому, что он не *особый*.

Женщина развелась с мужем и через суд потребовала алименты. Присудили. А ребенок находится у роди-

телей мужа, и мать эта даже думать не думает взять ребенка и заботиться о нем. Но алименты исправно получает. К сожалению, все больше случаев я знаю, когда матери отказываются от своих детей. Прежде это были единичные случаи, поражавшие людей. Сейчас они не поражают.

К сожалению, наши обильные разговоры о нравственности часто носят слишком общий характер. А нравственность... она состоит из конкретных вещей — из определенных чувств, свойств, понятий.

Одно из таких чувств — чувство милосердия. Термин несколько устаревший, непопулярный сегодня и даже как будто отторгнутый нашей жизнью. Нечто свойственное лишь прежним временам. «Сестра милосердия», «брат милосердия» — даже словарь дает их как «устар.», то есть устаревшие понятия.

В Ленинграде, в районе Аптекарского острова, была улица Милосердия. Сочли это название отжившим, переименовали улицу в улицу Текстилей.

Изъять милосердие — значит лишить человека одного из важнейших действенных проявлений нравственности. Древнее это, необходимое чувство свойственно всему животному сообществу, птичьему: милость к поверженным и пострадавшим. Как же так получилось, что чувство это у нас заросло, заглохло, оказалось запущенным. Мне можно возразить, приведя немало примеров трогательной отзывчивости, соболезнования, истинного милосердия. Примеры, они есть, и тем не менее мы ощущаем, и давно уже, убыль милосердия в нашей жизни. Если бы можно было произвести социологическое измерение этого чувства...

Милосердие изничтожалось не случайно. Во времена раскулачивания, в тяжкие годы массовых репрессий никому не позволяли оказывать помощь семьям пострадавших, нельзя было приютить детей арестованных, сосланных. Людей заставляли высказывать одобрение смертным приговорам. Даже сочувствие невинно арестованным запрещалось. Чувства, подобные милосердию, расценивались как подозрительные, а то и преступные. Из года в год чувство это осуждали, вытравливали: оно-де аполитичное, не классовое, в эпоху борьбы мешает, разоружает... Его сделали запретным и для искусства. Милосердие действительно могло мешать

беззаконию, жестокости, оно мешало сажать, оговаривать, нарушать законность, избивать, уничтожать. Тридцатые годы, сороковые — понятие это исчезло из нашего лексикона. Исчезло оно и из обихода, ушло как бы в подполье. «Милость падшим» оказывали таясь и рискуя...

Уверен, что человек рождается со способностью откликаться на чужую боль. Думаю, что это врожденное, данное нам вместе с инстинктами, с душой. Но если это чувство не употребляется, не упражняется, оно слабеет и атрофируется.

Упражняется ли милосердие в нашей жизни?.. Есть ли постоянная принуда для этого чувства? Толчок, призыв к нему?

Вспомнилось мне, как в детстве отец, когда проходили мимо нищих — а нищих было много в моем детстве: слепых, калек, просто просящих подавание в поездах, на вокзалах, на рынках, — отец всегда давал медяк и говорил: поди подай. И я, преодолевая страх, — нищенство нередко выглядело довольно страшновато, — подавал. Иногда преодолевал и свою жадность — хотелось приберечь деньги для себя, мы жили довольно бедно. Отец никогда не рассуждал: притворяются или не притворяются эти просители, в самом ли деле они калеки или нет. В это он не вникал: раз нищий — надо подать.

И как теперь я понимаю, это была практика милосердия, то необходимое упражнение в милосердии, без которого это чувство не может жить.

Хорошо, что нищих у нас сейчас нет. Но должны же быть какие-то другие обязательные формы проявления милосердия человеческого. Ведь в чрезвычайных, аварийных случаях оно же проявляется.

Например, недавняя трагедия в Чернобыле. Она всколыхнула народ и душу народную. Бедствие проявило у людей самые добрые, горячие чувства, люди вызывались помогать и помогали — деньгами, всем, чем могли, 567 миллионов рублей добровольно пожертвовали в фонд помощи пострадавшим от аварии в Чернобыле. Это огромная цифра, но главное — душевный отклик: люди сами охотно разбирали детей, принимали пострадавших в свои дома, делились всем. Это, конечно, проявление всенародного милосердия, чувство, которое

всегда было свойственно нашему народу: как всегда помогали погорельцам, как помогали во время голода, неурожая...

Но Чернобыль. Землетрясения — это аварийные ситуации. Куда чаще милосердие и сочувствие требуются в нормальной повседневной жизни, от человека к человеку. Постоянная готовность помочь другому воспитывается, может быть, требованием, напоминанием о *постоянно* нуждающихся в этом...

Не ради упражнения, а потому что много есть в жизни нашей людей, которым необходимо простейшее чувство сострадания и милосердия.

После того падения пришлось побывать мне в больнице. Это была самая обыкновенная старая городская больница скорой помощи. Поскольку она старая, то уже не совсем обыкновенная, ибо находилась (и находится по сей день) в ужасном состоянии. Здание обветшало, полы в первом этаже шаткие, горячей воды нет, бегают крысы. Не буду называть эту больницу, потому что работают там прекрасные врачи-энтузиасты, которые именно в таких больницах и удерживаются. Не хочу, чтобы они пострадали, — как правило, достается им, а не начальству.

Ночами, от боли, мне не спалось, я бродил по коридору. Длинный этот коридор был заставлен койками и раскладушками с больными. Мест в палатах не хватало. Лежали вперемешку мужчины, женщины — постанывали, ворочались. Кто просил поднять, кто — пить. Санитарок — нет. Давно известная беда не только ленинградских больниц. Одна санитарка на все травматологическое отделение, на девяносто человек, хотя положено четыре. Присылают иногда на эту роль «пятнадцатисуточных» — вот до чего не хватает людей. Хочу я, кому что подсобить. Где похрапывали, где стонали, ворочались, просили пить. Напоминало мне это фронтовой госпиталь после боя. С той лишь разницей, что санитарок не было. Но в эту ночь никаких подсобниц не было. Кого-то я поил, кого-то загипсованного поворачивал. Подозвала меня одна старая женщина. Попросила посидеть рядом. Пожаловалась, что страшно ей, заговорила про своих близких, про свою трудную жизнь. Взяла меня за руку. Замолчала. Я думал, заснула, а она умерла. Рука ее стала коченеть.

На фронте навидался я всяких смертей. И то, что люди умирают в больницах, — вещь неизбежная. Но эта смерть поразила меня. Чужого, неважно, хоть кого-то подозвала эта женщина, томясь от одиночества перед лицом смерти. Невыносимое должно быть чувство. Наказание, и страшное, за что — неизвестно. Заботу о человеке, бесплатную медицину, гуманизм, коллективность жизни — как это все соединить с тем, что человек умирает в такой заброшенности? Не стыд ли это, не позор и вина наша всеобщая? У верующих существовало таинство соборования, отпущение грехов. Человек причащался. Человек чувствует приближение конца. Ему легче, когда рядом кто-то, даже чужой, не говоря уж о своих. Чью-то руку держать в этот прощальный миг, последнее слово сказать кому-то, чтобы его слушали. Хотя бы той же сестре милосердия, брату милосердия, которые у нас «устар.». В такие минуты проверяется милосердие как уровень общественной нравственности.

Конечно, положение, до которого доведены наши обыкновенные городские больницы, когда медсестры и врачи вынуждены брать на себя функции санитарок, чтобы больные не оставались без ухода, — положение это тяжелейшее. Низки оклады санитарок, работа тяжелая, грязная — подать, перевернуть, обтереть, принести, унести. Ненормально, когда в той же больнице скорой помощи постоянная теснота (вместо 7 м² имеется лишь 4 м² на больного), не хватает медицинской техники. Но, кроме всего этого, санитарка стала профессией непрестижной, и прежде всего потому, что исчезло то материнское, святое, сострадательное, что делало уход за больными привилегией женской сердечности. Оклады окладами, но должен еще быть почет и уважение к делу милосердия. Санитарка, медсестра, может, сегодня наиболее человеколюбивое занятие, где царит и побеждает не образование, а душевные качества человека. Именно здесь требуется терпение, доброта, нежность. Медицине не хватает милосердия.

Молодежь охотно откликнулась на призывы, ехала на целину, на БАМ, на большие и малые стройки; никто не обращался — нужны те, кто сможет утешать страждущих, поднимать павших духом, исцелять уходом своим. Думаю, что найдутся, пойдут, шли же в госпитали,

в больницы во время войны и совершали чудеса. То была война — возразят мне. Но человек страдает и сегодня, и ныне жизнь человеческая так же дорога и хрупка.

Недавно прочел я книгу «О всех созданиях — больших и малых». Автор Джеймс Хэрриот — английский сельский ветеринар. Профессия скромная, бесславная, соответственно, и пишут о ней редко. Книга эта о работе ветеринарного врача, как он ездит по йоркширским фермам, обслуживает скотину, птицу, заодно и собак и кошек. Лечение животных — занятие многотрудное, часто опасное, а уж грязи хватает в полутемных скотных дворах, свинарниках. Чего только не приходится терпеть ветеринару от своих бессловесных пациентов — удары копытом, укусы; чтобы установить диагноз, нужна, кроме опыта, знаний, еще любовь к животным — к этим коровам, лошадям, овцам, кошкам, ко всем живым тварям. Любовь рождает наблюдательность и взаимопонимание. Будничная невыигрышная работа, круглосуточные вызовы, ничего захватывающего, героического, и тем не менее повествование волнует волнением особым, от которого мы отвыкли при чтении художественной литературы. Каждый раз герою приходится искать решения — что случилось, как спасти, как помочь страдающему животному. Подкупает достоверность происходящего случая, подтрунивание над собой, однако главное в этой книге — горячее чувство сострадания к живому.

Какое наслаждение испытывает наш ветеринар, когда удастся привести в чувство быка, пострадавшего от солнечного удара. Он не может примириться с видом поросят, гибнущих от того, что мать не может их кормить. Мучается от старого мерина, у которого надо сломать зубы. Часами лежит на каменном полу рядом с коровой, помогая ей отелиться. Возится с псом, которого переломала машина. Пес ничейный, казалось бы, введи дозу снотворного, и все беды кончатся, но он проводит многочасовую сложную операцию, спасая эту жизнь. Другую старую псину кладет на операционный стол только потому, что представляет, какую невыносимую боль испытывает животное от заворота век.

Казалось бы, корова, овца, обреченные на убой, что уж так печалиться о них, — нет, для него они живые су-

щества, которым он, врач, должен помочь, исцелить или хотя бы уменьшить их муки. Удачи и неудачи, все они пронизаны сочувствием, которое не слабеет, а похоже, растет из года в год. В ветеринарию идут по любви к животным. Большие колхозные, совхозные стада как бы обезличили это чувство. И сострадать тут некогда. Но все же живое, хочешь не хочешь, требует сердечного отклика.

Автор ни к чему не призывает, не морализует, и в этом, как всегда бывает, сила его безыскусного рассказа.

Читая, я не без стыда вспоминал стаи бродячих собак в пригородах и дачных местностях — результат нашей жестокости и эгоизма, и думал, что напрасно мы столь иронично относились к бытующим во всем мире обществам защиты животных. Думая о том, почему в Ленинграде многие годы никак не поощряется содержание собак, уж не говорю о том, что не существует специальных собачьих кормов. Думалось о том, что развитие нравственного самосознания общества заставляет пересмотреть то, что когда-то с ходу отвергалось, какие-то формы общественной жизни, которые ныне можно использовать. Такова, например, проблема филантропии. Опыт нашей России, да и западный опыт может быть в этом смысле использован.

Принимать частное вспомоществование считается неприличным, чуть ли не унижительным. Образовались как бы условности нашей социалистической морали. Страдать от одиночества — неприлично; одиночество — состояние, не свойственное советскому человеку. Быть несчастным неприлично. Быть бедным — тоже. Между тем одиночество — бедствие не только старых, но и молодых, оно вовсе не случайность, не следствие плохого характера и т. п. Бедность? При этом пожимают плечами, бедных, мол, у нас нет, а если встречаются, то это недосмотр собеса, это государственная забота, которая освобождает нас от ответственности.

Между тем ясно, что милосердие — дело сугубо частное. Вот мы учредили фонд культуры — благородную и нужную организацию. Ведь это тоже филантропия по отношению к памятникам, сокровищам истории и культуры. Фонд культуры — это прекрасно, но почему с такой же деятельностью мы не можем обратиться

к людям? Разве социалистическое общество — это не общество взаимоучастия людей, взаимопомощи, взаимодобра, взаимопонимания? Филантропия переводится с греческого как человеколюбие. Надо, очевидно, создавать какие-то формы участия, внимания, помимо казенных. У нас есть скрытая бедность, застенчивая бедность. Есть бедность, которая и рада бы принять помощь, но мы сами стесняемся или не знаем о ней. Есть хронические больные, есть разные беды, требующие участия неформального, деликатного. Такое участие нужно и для тех, кто может помогать, хочет помогать, как-то применить нерастраченные силы своего добротворства.

В «Памятнике», где так выношено каждое слово, Пушкин итожит заслуги своей поэзии классической формулой:

И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал.
Что в мой жестокий век восславил я Свободу
И милость к падшим призывал.

Как бы ни трактовать последнюю строку, в любом случае она есть прямой призыв к милосердию. Можно проследить, как в поэзии и в прозе своей Пушкин настойчиво проводит эту тему. От «Пира Петра Великого», от «Капитанской дочки»... «Выстрела», «Станционного смотрителя» — милость к падшим становится для русской литературы нравственным требованием, одной из высших обязанностей писателя. В течение девятнадцатого века русские писатели призывают видеть в забитом, ничтожнейшем чиновнике четырнадцатого класса, станционном смотрителе человека с душой благородной, достойной любви и уважения, человека, оскорбленного так несправедливо. Пушкинский завет милости к падшим пронизывает творчество Гоголя и Тургенева, Некрасова и Достоевского, Толстого и Короленко, Чехова и Лескова. Это не только прямой призыв к милосердию вроде «Муму», но это и обращение писателя к героям униженным и оскорбленным, сирым, убогим, бесконечно одиноким, несчастным, к падшим, как Сонечка Мармеладова, как Катюша Маслова. Живое чувство сострадания, вины, покаяния в творчестве больших и малых писателей России росло и ширилось, завоевав этим народное признание, авторитет.

Социальные преобразования нового строя, казалось, создадут всеобщее царство равенства, свободы и братства счастливых рядовых людей. Все оказалось сложнее. Литературе пришлось жить среди закрытых, запечатанных дверей, запретных тем, сейфов.

Важнейшие этапы истории нашей жизни были неприкасаемы. Нельзя было касаться многих трагедий, имен, событий. Мало этого, социальная несправедливость, то, что люди терпели от власти имущих обиды, лишения, хамство, все это тоже тщательно процеживалось, ограничивалось.

Как ни странно, именно в военной литературе тема гуманности, милосердия прозвучала особенно сильно и страстно.

В ТВОРЧЕСКОМ МИРЕ ДАНИИЛА ГРАНИНА

Вот и перевернута последняя страница пятитомного собрания сочинений Даниила Гранина. Далеко не полного вообще и не самого полного из избранных. Но хотя его составом охвачен не весь путь писателя, а только важнейшие, узловые вехи пути, содержание каждого тома в отдельности и всех пяти вместе складывается в многообразный, но цельный мир самобытного мастера современной прозы, чьи неноминальное и неноменклатурное присутствие в русской литературе неослабно на протяжении послевоенных десятилетий. В 1949 году в журнале «Звезда» опубликован рассказ «Вариант второй», ставший его литературным дебютом. 1988—1989 годами помечены рассказ «Запретная глава», очерк «Братья Елисеевы», повесть «Неизвестный человек», включенные в настоящее издание по горячему следу журнальных — в «Знамени», «Огоньке», «Дружбе народов» — публикаций.

1

«Дописательская» биография Даниила Гранина (родился в 1919 году) укладывается всего в несколько строк, а в сопровождении авторского комментария к ней, развернутого в «Автобиографии» (1980), — в несколько абзацев, раскрывающих в общем-то похожие судьбы сверстников по поколению, чье время ученичества или студенчества в конце 30-х сменили годы «сороковые, роковые, военные и фронтовые». До войны он успел окончить электротехнический факультет Ленинградского политехнического института. После учебы — старейший в городе Кировский, бывший Путиловский завод, где будущий автор «Искателей» — примечательное для понимания инженерно-технических реалий романа свидетельство! — «начал конструировать прибор для отыскания мест повреждения в кабелях». С народным ополчением путиловцев-кировцев ушел в 1941 году солдатом-добровольцем защищать Ленинград. Воевал тут же — под Пулковом, в Синявинских болотах, потом на Прибалтийском фронте. Закончил

войну в Восточной Пруссии командиром роты тяжелых танков. «Если пометить, как на мишени, все просвистевшие вокруг пули, осколки, все мины, бомбы, снаряды, то с какой заколдованной четкостью вырисовывалась бы в пробитом воздухе моя уцелевшая фигура. Существование свое долго еще после войны считал я чудом и доставшуюся послевоенную жизнь бесценным подарком».

Не отсюда ли признание почти патетическое: «прекрасные годы»? Но оно не о сиром, нищем времени, убогом и унылом, которое к тому же опять раскручивало, ускоряло бесперебойный маховик сталинских репрессий. Оно о собственной бессменной работе в Ленэнерго, когда дни и ночи были отданы восстановлению разрушенного в блокаду энергетического хозяйства города. Затем инженерные пути-дороги привели ненадолго в научно-исследовательский институт и в аспирантуру политехнического, которую Даниил Гранин оставил с выходом «Искателей» (1954), когда «неостепененный» инженер совершил окончательный выбор между наукой и искусством, электротехникой и литературой. То был первый рубеж биографии творческой. Ей, начатой рассказом «Вариант второй» и продолженной повестью «Спор через океан» («Победа инженера Корсакова»), исторической повестью «Ярослав Домбровский» («Генерал Коммуны»), посвящено великое множество рецензий, портретных и обзорных, проблемных и дискуссионных статей, а также монографий, в разное время написанных такими авторитетными литературоведами и критиками, как О. Войтинская, Л. Плоткин, А. Старков, Л. Финк. Если все это собрать воедино, то общий объем литературоведческих исследований и литературно-критических работ, связанных с творчеством Даниила Гранина, приблизится к настоящему пятитомнику, а то и превзойдет его.

Со «Спором через океан» (1950) вышел конфуз, характеризующий удушливую литературную ситуацию конца 40-х — начала 50-х годов и уровень доносительской критики, самоослепленно и самораспаленно преследующей «космополитическое чужебесие»: повесть, вспоминает писатель, «была жестоко раскритикована. Не за художественное несовершенство, что было бы справедливо, а за «преклонение перед Западом», которого в ней как раз и не было. Несправедливость эта удивила, возмутила меня, но не обескуражила». Убедительный, к слову, ответ на вопрос, не без расчета на каверзу заданный молодым да бойким рецензентом «Зубра» в «Нашем современнике» (1989, № 6): с чего бы вдруг давняя повесть, которую он спустя четыре десятка лет воодушевленно обличает не за космополитизм, а как раз за переборы по части... патриотизма (!), даже не вошла в собрание сочинений писателя? Потому и не вошла ни в прежнее четырехтомное издание (Л.: Худож. лит., 1978—1980), ни в нынешнее пятитомное, что для Даниила Гранина она не просто ранняя, но ученическая, и столь явно подражательная, что о ней пристало бы сказать: ни у кого вроде не заимствовано, но и не свое.

Не совсем «своей» была и остается повесть о Ярославе Домбровском, чья героическая фигура увлекла, поразила воображение еще в довоенную пору работы над студенческим дипломом, когда будущий инженер, не догадываясь, что ему суждено стать писателем, впервые в жизни взялся за перо. «Вместо технических своих книг я выписывал в Публичной библиотеке альбомы с видами Парижа. О моем увлечении никто не знал. Писательства я стыдился. Написанное казалось безобразным, жалким, но остановиться я не мог».

Не единожды переделанной после войны и изданной в 1951 году повести «Ярослав Домбровский» можно было бы не стыдиться: явных следов ученичества в ней куда меньше, чем в «Споре через океан». Но тема, сюжет, герои, предвосхищая стойкий интерес писателя к отечественной и мировой истории, пока что находились как бы на периферии его творческих пристрастий и того не общего, доступного всем и каждому, а исключительно личностного, только самым выношенного жизненного материала, к овладению которым настойчиво направлял один из первых литературных наставников: если уж писать, то «про инженерную свою работу, про то, что я знаю, чем живу». Об этом неповторимо своим, незаемным и были сначала дебютантский рассказ «Вариант второй», затем роман «Искатели». Тоже дебют. Но уже не в литературе вообще, а в большой эпической прозе. Он принес первый громкий успех и прочно утвердил имя Даниила Гранина как современного романиста. Не в пример «проходной» повести «Спор через океан», стал в 50-е годы явлением событийным, генетически, а не только тематически предвосхищающим главный роман наступающей «оттепели» — «Не хлебом единым». И гранинский Андрей Лобанов, и дудинцевский Лопаткин — одержимые, негнущиеся натуры неистребимого (и неистребленного) творческого склада, самостоятельной и смелой изобретательской мысли. И это несмотря на то, что судьба первого несопоставимо благополучнее, неизмеримо удачливей.

Однако и благополучный, удачливый Андрей Лобанов в среду тогдашних «журбиных» — худосочных героев производственной прозы конца 40-х — начала 50-х годов — ворвался не менее шумно, стремительно, чем в застоявшуюся дремотную скуку своей лаборатории. Все в нем было порыв и напор, энергия и воля, деятельная жажда творчества. И все оборачивалось вызовом. Не просто ко снотности и рутине, потребительству и приспособленчеству, с которыми он воевал на страницах романа. Но и сложившимся к тому времени беллетристическим штампам, благонадежным стереотипам, которые напролом навязывала так называемая «теория бесконфликтности», а практически претворяла литература, названная позднее лакировочной.

Взрывчатая полемика с пресным, унылым — «несъедобным» — жизнеподобием, зачастую оказывавшимся прямой ложью, начинала у Даниила Гранина всю образную ткань повествования. «...Меня занимал не столько прибор, сколько те, кто его делал», — скажет он

впоследствии. Демонстративная праведность Андрея Лобанова была бы писателю нестерпима так же, как отъявленное злодейство его противников. Правота и неправота нередко менялись в романе местами. К своему научному открытию — созданию локатора, находящего повреждения в кабельной сети, — герой шел через ошибки и поражения. И не только наставлял коллектив подчиненной ему лаборатории, но и сам у него учился, что было почти не свойственно тогдашним литературным героям из руководящей номенклатуры.

Об «Искателях» мало сказать, что роман выдержал испытание временем. Важно разобраться, чем и как испытывало его время, почему не приглушило читательского интереса к нему с течением лет и даже десятилетий.

С расстояния их в перспективе всего писательского творчества многое в повествовании открывалось заново, увиделось лучше, полнее и глубже, чем представлялось раньше, при первом чтении. Здесь завязь ряда сквозных тем, конфликтов, характеров, которые возникнут затем в других романах и повестях, рассказах и очерках Даниила Гранина. Истоки нравственного максимализма в требовательном отношении любимого гранинского героя к жизни, людям, самому себе: трудно, не без потерь и срывов, будет пробиваться к этому Игорь Малютин из романа «После свадьбы» (1958) и обретет, целеустремленно проявит Сергей Крылов в романе «Иду на грозу» (1962). Здесь же и безошибочное предощущение тех крутых социальных конфликтов, острых нравственных коллизий, которые со всей очевидностью выдвинет проблематика научно-технического прогресса. Сначала «Искатели», затем «Иду на грозу» стали в нашей прозе теми первыми романами, которые предугадали, предвосхитили их задолго до того, как аббревиатура НТР, отвечая потребности, а не моде времени, прочно вошла в философский, экономический, социологический и даже эстетический, литературоведческий обиход.

Но между ними был роман «После свадьбы», не ставший заметным рубежом творческого пути Даниила Гранина. «Упустил интерес молодой семьи», — как-то заметил он, объясняя свой неуспех недостаточно полным и выразительным раскрытием интимной жизни неоперившихся молодоженов Малютиных. Думается, однако, что причина не столько в них, сколько в единственной во всем гранинском творчестве попытке вторжения в деревню, проблемно-тематический материк которой, в отличие от материка городского, не был обжит и познан человековедчески. Нет повода ставить это лыком в строку. Самобытность писательского поиска в равной мере определяется притяжением к своему и отталкиванием от чужого. А свое, как убедительно показал роман «Искатели», — не только интонация, манера, стиль, но и материал, и тема, и идея. Все вместе — неотъемлемые слагаемые художественного слова, содержательные координаты творческого мира.

В романе «Иду на грозу», вернувшем Даниилу Гранину поколебленный было авторитет романиста, основную тему определило убеждение, исповедуемое писателем, начиная с «Искателей». И тогда, в 50-е, и особенно в 60-е годы, вспоминает он, «мне казалось, что успехи науки, и прежде всего физики, преобразят мир, судьбы человечества. Ученые-физики казались мне главными героями нашего времени». Такими он увидел и вывел их в «Иду на грозу», в сопредельных роману повестях и рассказах. В застойные 70-е и наверняка под воздействием сначала интуитивного, потом все более осознанного отторжения, неприятия их антиинтеллектуальной, бездуховной атмосферы, заглушавшей и удушавшей любую живую, в том числе научную и творческую мысль, придет отрезвление. Безоглядно восторженная вера в спасительно осчастливливающее всех и каждого всемогущество науки иссякнет, и «в знак прощения» с нею Даниил Гранин напишет повесть «Однофамилец» (1975), где попытается «осмыслить свое новое или, вернее, иное отношение к прежним... увлечениям». «Это не разочарование, — оговаривается он. — Это избавление от излишних надежд».

Излишние — почти что иллюзорные. Но если бы идеи и образы «Иду на грозу» были рождены только иллюзией, вряд ли роману суждено стало равно принадлежать как тогдашнему началу 60-х, так и нынешнему концу 80-х годов. Значит, они несли в себе нечто большее — помимо и сверх иллюзий. Далеко ведь не все созданное в ту, теперь уже давнюю пору, сохранив прежнее актуальное звучание, стало современным духовным достоянием, но лишь то, что в силу разных причин оказалось как бы мостом, переброшенным из дня вчерашнего в день сегодняшний.

Два органично взаимосвязанных, плотно состыкованных пласта взаимодействуют в содержании «Иду на грозу».

Первый — поразительно и пронзительно узнаваемых реалий действия, его временных примет, социальных и духовных координат. Последующие годы просеют их, отделив внешнее от глубинного, показное от сущностного, а пока шумные баталии перед полотнами Пикассо и польских абстракционистов, жаркие споры о неореализме в итальянском кино, тиражированные портреты Хемингуэя и Фиделя Кастро, «только что переизданные» Бабель, Кольцов, Цветаева, прижизненная реабилитация или посмертное возвращение имен людей, которых привычно было считать «врагами народа», пуск новой очереди ленинградского метро и Иркутской ГЭС, первые спутники и космический старт Гагарина становятся в один неразрывный ряд впечатляющих свидетельств крутой ломки, бурного обновления жизни, в фундаменте которой вызревают сдвиги тектонические.

С дистанции без малого трех десятилетий сейсмографическая точность подобных узнаваний себя во времени тем дороже, чем глубже обостренное ими ностальгическое чувство по прожитому и пере-

житому как раз в пору действия «Иду на грозу», когда Сергей Крылов и Олег Тулин «горячо и самоуверенно перестраивали этот несовершенный мир». В том, как «без особого труда», с энергией и задором сокрушают они квантовую механику, наводят «порядок среди элементарных частиц», проникают «внутрь атомного ядра», опознается гражданское отрочество тех сегодняшних «отцов», которые и тридцать лет назад были не неразумными детьми, какими их нередко выставляли на публичные судилища, а окрыленными романтиками-энтузиастами, преисполненными неизбывным доверием к обновлявшейся на их глазах жизни, убежденной верой в ее радостные ожидания и упования, счастливые предзнаменования и надежды. Этим живут молодые («возмутительно молоды») герои романа, в чьем душевном настрое открывается духовная родословная поколения.

Но погибает в авиакатастрофе Ричард Гольдин, так и не смирившийся с мыслью о том, что «сила и время — величины конечные». И сломленный трагедией, уступает сплетению амбиций и интриг, пристрастий и предубеждений Олег Тулин, предпочитая сокровенному журавлю в небе престижную синицу в руке. Крушение романтических грез под напором трезвого реализма?

Только на первый взгляд. Да, дело, от которого отрекается «безмятежный счастливчик» Олег Тулин, мужественно берет в куда более надежные руки Сергей Крылов, чье упорство в труде располагает к доверию, сулит удачу. Но окончательная его победа в борьбе за идею открытия, как и само открытие, пока что крайне проблематична, а убежденность в своей научной правоте, даже при поддержке авторитетов, движет лишь одним из финальных мотивов, одновременно с которым набирает звучание и другой доминирующий мотив — мстительного торжества соглядатаев от науки, бездарей и ничтожеств.

Так заявляет о себе второй пласт повествования — настороженных предощущений, тревожных предугадываний ответной, встречной волны тайного и явного сопротивления разбуженным надеждам на необратимость перемен, назревшим социальным и духовным преобразованиям. Пройдет не так уж много времени, и она снова вернет всколыхнувшуюся общественную мысль к рутине и застою, повергнет общество в новые кризисные явления, которые сначала затормозят, а потом повернут вспять начавшийся было процесс демократизации.

Оговоримся: работая над романом «Иду на грозу» на обнадеживающем переломе 50—60-х годов, Даниил Гранин не заглядывал так далеко вперед. Ни герои романа, ни стоявший за ним писатель еще не могли предсказать поворота вспять и его последствий с той определенностью научных обоснований, какую являют нам сегодня философы и историки, экономисты и социологи. Но сознание несовершенного или свершаемого половинчатого уже входило в тогдашнее мироощущение, обеспокоенное нерешенностью или непоследовательностью

решения больных проблем, подтачивало пробудившуюся веру в разумные начала, здравый смысл жизни.

По существу, об этом развернутый в романе спор «физиков» и «лириков». Он тоже духовная мета времени, причем настолько существенная, что обойти ее Даниил Гранин не мог так же, как Илья Эренбург в публицистике тех лет и книге «Люди, годы, жизнь» или Михаил Ромм в поставленном тогда же фильме «Девять дней одного года». Ничего удивительного: не отвлеченно высоких, а жизненно насущных материй касался спор, хотя внешне походил порой на диспут схоластов, решающих, с какого конца удобней разбить яйцо. Гадали, найдется ли место на космическом корабле ветке сирени и томику Блока, а думали о совершенстве земной жизни и гармонии в душе человеческой. Толковали о преимуществах чувства перед разумом или превосходстве разума над чувством, а защищали вечные гуманистические ценности бытия от агрессии нахрапистого потребительства. Опасались технократического утилитаризма, прагматического деячества, а восставали против релятивизма в морали, размыва нравственных скреп, духовных опор, на фундаменте которых покоится гражданское достоинство личности.

Вот и Данкевич в «Иду на грозу», прижизненный Юпитер в сонме олимпийских богов современной физики, не уступчивую дань «лирике» приносит своим «старомодным» уважением к гуманитарным наукам, «ко всяким эстетикам, этикам и прочим бесполезностям», а обеспокоенно вглядывается в будущее, которое грозит им оставить «слишком малое место в жизни». Из таких же позиций исходит Сергей Крылов, когда в споре с художником Романовым не науку возвышает над искусством, а отвергает имитирующие его ремесленные суррогаты.

Жизнь как бы дописывает, завершает их спор, увы, не в пользу Сергея Крылова. Как раз в год выхода «Иду на грозу» состоится правительственное посещение художественной выставки в Манеже, когда «раскрашенные холсты», «картины-«верняк», холодные, скучные и в то же время неуязвимо отработанные», объявят шедеврами, признают эталонами. Произойдет это за пределами романа, но поразительно, что, защищая свой «реализм на подножном корму», художник загодя жонглирует бранным словом «модернист», которое после Манежа расхоже войдет в ругательный обиход. И, словно предвкушая это, демагогически взывает к народу, которому, дескать, «попроще нужно». Как тут не понять гнева, не разделить возмущения Сергея Крылова: «Что такое народ? Я кто, по-вашему? Я что, не народ?»

1956 год, с энтузиазмом встреченный, бурно пережитый героями «Иду на грозу», привел в движение здоровые, жизнедеятельные силы общества, но не дал нестесненного выхода их социальной энергии, гражданской активности. И потому, как ни отрадны, скажем, для старика Голицына «перемены, происходившие в стране», он, руководи-

тель научного института, «все еще не мог распрямиться», сбросить наваждение былого страха, что «въелся в него, пропитал его мозг». Отзовемся с пониманием на смятение ученого, болезненно переживающего свой душевный разлад — «робость собственной мысли», «какую-то скованность». Но согласимся ли со стариковской завистью к молодым? Ведь новое время, что «пришло слишком поздно для него», благоприятствует им не всегда и не во всем. Разве не показательно кощунство Лагунова, который обвиняет Сергея Крылова не в чем ином, как в «культовских позициях», хотя сам не сходил с них никогда? Ему, прямому их порождению с репутацией «железной руки», по-прежнему «выгоднее разоблачить, наказать, пресечь» чужое, нежели создать свое. Но почему? — возникает законный вопрос.

Ответить на него помогает фигура Денисова, персонажа, в романе непосредственно не действующего, но часто упоминаемого, присутствующего незримо. Не Трофиму ли Денисовичу Лысенко обязан он не только фамилией, но самым авантурным обликом конъюнктурщика, паразитирующего на науке? Многое работает на такую аналогию, позволяющую разглядеть в сюжетной коллизии романа первый подступ писателя к антилысенковским мотивам, которые четверть века спустя войдут в повесть «Зубр» открытым текстом. Пока же они упрятаны в прозрачный, но все-таки подтекст. Не в последнюю очередь, конечно, потому, что в пору создания и действия «Иду на грозу» доподлинный народный академик, обласканный Н. С. Хрущевым, пребывал в новом, по счастью для отечественной науки, последнем фаворе и открытые выступления против него в жизни неминуемо оборачивались в точности тем, чем обреченная борьба героев романа с вымышленным Денисовым.

Не счесть интеллектуальных сил, душевных затрат, вхолостую ушедших у них на развенчание вознесенного временщика, шарлатана и шулера, на опровержение его лженаучных фантазий и откровенных фальсификаций. «Не нравится вам русский ученый, товарищ Гольдин?» — глумится Агатов, не стыдясь гнусного намека на «космополитическое чужебесие» денисовских противников. «Вы отрицаете необходимость тесного переплетения науки с техникой? Вы за отвлеченную, чистую науку?» — наперебой сокрушают Данкевича все те, кого этот «аристократ науки» называл «посредственностями, импотентами, кто всегда чувствовал себя под угрозой, чьи работы он высмеивал». Они берут верх над ним, принужденным «доказывать элементарную истину» и потому идущим «напролом, не замечая расставленных ловушек». Последней, укоротившей дни ученого, становится клеветнический фельетон «Вдали от науки», наемный автор которого «с восторгом разоблачителя» описывал, как «лаборатория Данкевича переливает из пустого в порожнее, растрчивает государственные средства».

Знакомая, что и говорить, и тоже «прототипическая» ситуация. (На печально знаменитой сессии ВАСХНИЛ в 1948 году одной из крапленых карт лысенковской клики была речь журналиста Александра Михалевича, клеймившего отечественную генетику за оторванность от насущных народнохозяйственных задач.) К сожалению, и «великое десятилетие» 50—60-х годов не исключило ее напрочь в силу то ли стойкой инерции прежнего администрирования, то ли собственного волюнтаризма новейшего образца.

В научной сфере, как засвидетельствовано романом «Иду на грозу», административно-командная система и ее бюрократический аппарат самонадеянно присвоили себе безраздельную монополию на высший «государственный интерес» и именем его узаконили такие формы организации, методы управления, которые зачастую отводили науке строго регламентированную прикладную роль. Незамедлительная практическая отдача ставилась выше экспериментальных изысканий и теоретических разработок, масштабы открытия определялись производственным критерием сиюминутной пользы, одномоментной выгоды, исполнительность и конформизм ценились больше самостоятельности и принципиальности, а оригинальному, самобытному таланту предпочиталась нивелированная, зато покладистая усредненность.

На этот абсурд направлена энергичная полемика, которую Даниил Гранин ведет идеями и образами романа. Убежденно и убедительно отстаивая достоинство науки, талант ученого, он сосредоточивает внимание на этических нормах, нравственных основаниях научного творчества, поэтизирует бескорыстие, альтруизм героев, увлеченных делом, одержимых поиском. Так «Иду на грозу» продолжает тему «Искателей», но на новом витке общественного развития и — соответственно — новом жизненном материале, заданном его условиями и обстоятельствами.

К широким — общемировым, всечеловеческим масштабам выходят писательские раздумья о нравственных критериях, духовных ориентирах научного творчества. По существу, в «Иду на грозу» еще полновочудней, чем в «Искателях», заявлена сокровенная для Даниила Гранина тема, углубленной, фундаментальной разработкой которой он займется в документальных произведениях об ученых, будь то малоформатные повести о русском физике Василии Петрове («Размышления перед портретом, которого нет», 1968) и французском математике Араго («Повесть об одном ученом и одном императоре», 1971), профессоре Любищеве («Эта странная жизнь», 1974) и академике Курчатове («Выбор цели», 1975) или крупномасштабная, широкоохватная повесть о Н. В. Тимофееве-Ресовском «Зубр» (1987). «...Когда сталкиваются наука и нравственность, — раскрывает эту тему писатель на впечатляющем примере «странной жизни» А. А. Любищева, — меня прежде всего интересует нравственность... Чем выше научный

престиж, тем интереснее нравственный уровень ученого... Среди высших созданий человека наиболее достойные и прочные — нравственные ценности».

Не просто непреклонная верность своей позиции питает столь упорное, многолетнее постоянство суждений, оценок, выводов Даниила Гранина. Не забудем и об оборотной стороне медали: многолетнем же постоянстве неизменных адресатов полемики — агрессивной наступательности негативных явлений, продолжающих бытовать в научной среде мутной накипью. О них встревоженно размышляет, например, невыдуманный герой гранинского очерка «В служении Отечеству» (1986) академик Д. С. Лихачев, призывая в одной из статей разработать правила нравственного поведения в науке, «создать *моральный кодекс* ученого», ограждающий научную среду от «нарушений элементарной этики». Он называет его кодексом чести, важнейшим параграфом которого видит гражданскую ответственность ученого «за каждое свое действие». «Нужна психологическая перестройка с учетом могущественности сегодняшней науки. Сила должна *быть ответственной*. Безответственная сила рискует стать разрушительной» (Лит. Россия, 1986. 21 нояб.).

Созвучная мысль вторгается и в роман «Иду на грозу». Скептическим неверием в возможности человеческого разума сдержать разрушительные силы науки проникнута «сбивчивая, лихорадочная речь» зарубежного коллеги, профессора Дюра, чей парадоксальный ум изъеден паническим ужасом перед роковой кнопкой: нажав ее, любой маньяк-безумец за несколько минут уничтожит мир со всеми академиками и колледжами. «Вся история человечества кончается на этой кнопке, последняя точка истории». Для подобного апокалипсического мироощущения последующие годы и десятилетия дали еще больше оснований, чем начало 60-х: безъядерный мир и выживание человечества, как никогда прежде, оказались в нерасторжимой взаимозависимости. Тем, стало быть, жестче испытывает исход XX века гуманистическую веру в человека, тем больший спрос предъявляет совести людей, для которых «главное — это жизнь, а не угроза жизни».

В годы действия «Иду на грозу» понятие глобальных проблем человечества еще не вошло ни в философский и социологический обиход, ни в политический словарь современности. Но к ним устремлены писательские раздумья о нравственности в науке, их масштабами поверяется надежность «нравственной опоры» человеческого разума. И те его общегуманистические основания, в защиту которых выльется роман «Картина» (1980), писавшийся, можно сказать, на гребне застойных лет, но резко оппозиционный застою в смысле духовном.

Как и многие другие герои гранинской прозы, Сергей Лосев в «Картине» напорист и деятелен. Но его энергия и воля несколько иной природы, чем у Андрея Лобанова или Сергея Крылова. Те тоже не были героями голубыми или розовыми, их путь также не устилался лаврами. Но как бы круто ни приходилось, как бы сурово ни доставалось им, они неизменно выступали людьми идеи и идеала, твердого принципа и безотказного долга, ибо по жизни их вели стимулы высокие и благородные: одержимость наукой, порыв к творчеству, жажда открытия. Их воля и напор поэтому никогда не сокрушали, никогда не придавливали и не расплющивали.

Не то Сергей Лосев, отнюдь не из худших представителей среднего руководящего звена, выпестованного в застойные 70-е годы. На его «твердость и силу» наталкиваешься, «точно на камень», — не своротишь, не обойдешь. Так что же тогда его улыбка во все лицо, многократно замеченная по ходу действия, — обезоруживающая доброжелательством, располагающая к доверию? Заученная маска, которую, войдя в роль, привычно надевает на себя лыковский градоначальник? И такое случается с ним не раз.

Но будем справедливы: не одни падения, но и взлеты ведомы герою романа. И как ни широка бывает их амплитуда, они зачастую следуют подряд, происходят сразу одно за другим. Как в раннее утро над Жмуркиной заводью, когда «неспешный мир скрытой красоты», угаданный в камне и дереве, прибрежной отмели и речной волне, размагниченно отозвался несбыточной мечтой «рано вставать, бегать, смотреть красоту, ничего не бояться, думать то, что советует душа, проверять себя восходом и птицами». Так исподволь пробуждается, вызревает желание уберечь от грядущей промышленной застройки «последнее место, где красота старого города сохранилась». И тут же приходит небескорыстный расчет не только на труднодостижимый успех в задуманном деле, но и на возможную скорее всего неудачу — ее также легко вменить себе в доблесть: «Все знать будут... за что пострадал, поймут, сочувствовать будут...»

То же в — областном исполкоме, когда решается судьба заводи. Как вдохновенен Лосев, произносящий речь в ее защиту, отбросивший все «свои расчеты, формулы, уловки»! И как мгновенно сникает, едва узнает о предстоящем повышении в должности. Так Жмуркина заводь приносится в жертву «перспективам», «движению», «передвижке», и все новые доводы в пользу самовнушения — «иду не ради карьеры!» — хитроумно изыскивает Лосев, убаюкивая совесть. Вплоть до «причины», которую, едва придумал, — с ходу пустил в оборот, восторженно расписав прожект туристского центра в «домотканом, деревянном» Лыкове. «Вот в чем его оправдание. Чем власти больше, тем скорее можно осуществить его план. Не ради себя он старался. Он

готов был, если угодно, *перетерпеть* за такое благородное дело, *пострадать* от всяких сплетен...»

Тут к месту припомнить Владимира Пахомовича Минаева, героя давнего (и «скандального», как «Не хлебом единым» В. Дудинцева или «Рычаги» А. Яшина) гранинского рассказа «Собственное мнение» (1956). Директор престижного НИИ, он и в мыслях не допускал называть себя подлецом. И, даже губя молодого инженера Ольховского, «в глубине души... остро завидовал» его «безоглядной свободе», тому, как «ожесточенно и неумело он продолжал свою безнадежную борьбу». Но то Ольховский, которому нечего было терять, «расчетливость, вероятно, казалась ему малодушием, а терпение — слабостью». Иное дело — Минаев: ему есть что терять и что откладывать на «потом», когда все «исправит», когда сможет «позволить себе самостоятельность». Это ли не сокровенный смысл жизни, не заветная цель ее — «добиться независимости, авторитета», дожидаться «того дня, когда он сможет сделать то, что надо»? И его ли вина, что вождеденный день так и не пришел: «Чем выше он забирался, тем меньше он становился самим собой. Тем труднее было ему рискнуть». Ну, так и то верно, что не все ступени лестницы пока что одолены, и каждая очередная стоит того, чтобы в нетерпеливом ожидании заманчивого восхождения на нее опять погодить с «собственным мнением», не спешить становиться самим собой. И даже смириться с тем, что приспособленчество, беспринципность шаг за шагом становятся второй натурой. И вовсе не на время, как думалось.

Не такой ли жалкий удел уготаавливает себе и Сергей Лосев, прельщаясь соблазнами замаячившей карьеры? Они для него еще разрушительней, чем для Минаева, который, не в пример Лосеву, и не выставлял себя воителем-страстотерпцем, не корчил страдальца-мученика. Такая изощренная и столь виртуозная казуистика была ему не по плечу. Да и не по времени, в котором он жил. Не то Сергей Лосев, пребывающий в градоначальствующем мире двуликих янусов и сам едва не пополнивший их сомкнутые ряды в масштабах областной власти.

Давно отмечено критикой: излюбленные сюжетные ситуации Даниила Гранина можно назвать «перевертышами». Самый наглядный и колоритный пример этому — повесть «Кто-то должен» (1970), главные герои которой меняются по ходу действия ролями и местами. В «Картине» с одним только Лосевым такие «перевертыши» случаются постоянно. Тот Лосев, которого он из себя вылепил, вырядил в вицмундир, не всегда в ладу с Лосевым, который чутко улавливает голос босоногого детства, обращенный к нему с астаховского пейзажа. «Внутри того Лосева, которого видели все, был другой Лосев»: не службист-градоначальник, а человек, пока что не утративший, на свое счастье, умения поступать, доверяясь живому чувству, а не холодному разуму. Поэтому одного завораживает полотно Аста-

хова, и он остро переживает неведомое прежде потрясение прекрасным. Второй стремится завладеть картиной, выторговать ее подешевле, дабы «в стороне от прямых функций руководителя города» совершить одно из тех начальственных благодеяний, которые «навечно закрепляются в памяти городского населения». Один отважно вступает в борьбу за Жмуркину заводь, другой и в этой накаленно-критической ситуации не забывает ощутить «выгоды своей безрассудности».

Помнится, в одном из первых рецензионных откликов на «Картину» при всей заслуженно высокой оценке романа прозвучало сомнение в жизненной достоверности финальной ситуации-«перевертыша». Не мелодрама ли — исчезновение Лосева неведомо куда? Вникнем, однако, в логику как его характера, так и событий, бурно закрутившихся вокруг, едва он без уверток начал прямой и открытый бой за Жмуркину заводь. И, проявив в нем себя как личность, сошел с круга, выключился из привычной доселе системы мыслей, слов, поступков, унифицированность которых точно отпечаталась в лексическом строе повествования. Например, в обилии глагольных форм вроде «что-то наговорили», «сильно подвели»: за безличностью их угадывается автоматизм некоей самодовлеющей стихии, самоуправляемой силы. Чем, как не вызовом этой вконец отчужденной силе-стихии, стал звездный час Сергея Лосева, отъединивший его от многих «других»? Возвысившись над ними нравственно, в отношениях служебных — точь-в-точь слепок с ситуаций, не однажды разыгранных и на высшем правительственном уровне! — он пришелся не ко двору. Не к *их* двору.

Первым среди этих «других», вынесенных на авансцену действия, следует назвать Поливанова, как ни хотелось бы, признаться, вообще сбросить его со счетов, предав анафеме. Возможно и другое: облегченно приняв его за раскаявшегося грешника, уподобиться эпизодически мелькнувшему генералу, который «прежде терпеть Поливанова не мог», а теперь сотворил из него кумира в идеальном образе героя, павшего на поле боя. Между тем на такого героя Поливанов явно не вытягивает. Даже в последнем проблеске сознания он бессилен соединить в нечто цельное жизнь, в которой случалось разное и всякое — от ночных совещаний, задушенных табачным дымом, докладов и аплодисментов, не оставивших в памяти ни радости, ни печали, до поступков, которых лучше не вспоминать, которых впору стыдиться: «...были загулы, слезы, обман, была ложь, было горе, которое он причинял, люди, которые его боялись, ненавидели».

А не в Поливанове ли первоисток того воинствующего прагматизма, который на протяжении всего романа движет Уваровым? Как ни различны оба героя, ни разу не соприкоснувшиеся сюжетно, в демонстративно утилитарных взглядах на искусство они единомышленники. Один посеял, другой пожал. Первый дилетантски требовал от Астахова ввести в изображение Жмуркиной заводи «какую-нибудь современность» и тем помочь «нашей реконструкции». Второй, решая

судьбу той же Жмуркиной заводи, быть или не быть ей в городе Лыкове, всерьез убежден, что «и красоту, и пользу ее» — все можно и должно исчислить в рублях. Вот нам и сапоги, которые нужнее Шекспира. И хотя речь Уваров ведет не о сапогах, а о кофточках, которые так дурно сшиты, что их «надеть нельзя», достается за этот «срам» все-таки не тому, кому следует, а опять же Шекспиру — «нерентабельным», «убыточным» поэтам и художникам, которые «требуют корму», в то время как «людей дела не хватает». Как будто последним станет легче жить и работать, если поубавить первых! За всю человеческую историю от ущемлений искусства ни одно общество не выигрывало ни социально, ни нравственно.

С фигурой Уварова в роман ворвалась тема, от книги к книге все больше и острее занимавшая Даниила Гранина в 70-е годы. Ее первый, верхний слой — раскрытие характера, создание типа делового человека, организатора и руководителя больших коллективов на производстве, в науке или, как в «Картине», на уровне административного управления городом и областью. Второй, сокрытый в глубине пласт — беспокойство и тревога в связи с нравственными последствиями губительного прагматизма, который порожден самоцельным «культом дела», напряженный поиск гармоничного соединения интеллекта и чувства, рационализма и душевности.

В галерее гранинских деловых людей «хорошо налаженной машине, оргмашине» по фамилии Уваров принадлежит особое место. Ни у одного из его предшественников авторитарное технократическое мышление не простиралось так далеко и не выхолащивало столь многое. Что перед ним безымянный кандидат наук, начальник лаборатории телеуправления в НИИ «номер такой-то», мелькнувший в повести «Эта странная жизнь» с бойкими рассуждениями о нравственности, которая всего-навсего «выгоднее, чем безнравственность»? Для Уварова нравственность — вообще отдаленный, если не пустой звук. «За безнравственные поступки мы с тобой расплатимся на том свете, а за глупость на этом», — корит он Лосева. И, изменяя железной выдержке, твердокаменному спокойствию, он умеет смирить раздражение при слове «совесть»: «Честность понимаю, ее можно проверить. Правда — неправда, полезно — вредно, приятно — неприятно, все понимаю, а совесть — эфир, бесконтрольное состояние». Оторопь берет от таких программных обоснований машиноподобия, возводимого в закон бытия, норму жизни, принцип морали. В атмосфере уваровского безразличия к духовному содержанию личности, нравственному потенциалу характера делового человека нужнее не противоречивый, компромиссный Лосев, а его преемник на исполкомовской вышке циничный прагматик Морщихин. Застой, помимо всего, тем и характерен, что предъявлял повышенный спрос как раз на таких бездушных исполнителей.

А что же Лосев, отторгнутый той самой застойной атмосферой, в которой пышно расцвел Морщихин? Безвозвратно ли затерялся он в круговерти жизни, даже следа не оставив «в сохраненной красоте города», или, как пророчествует лыковский Диоген, еще вернется, как только «ситуация жизни потребует такой личности»?

Уже потребовала! Но не прежнего Лосева, не в точности такого, каким он был до того, как «произошел у него (или в нем? — В. О.) переворот событий», а до конца сбросившего с себя долголетний и многослойный балласт старого, «доперестроечного» мышления с его административным диктатом, аппаратной косностью, элитарной психологией чиновных рангов. Отрешение от всего этого тем ныне нужнее, что в условиях перестройки Уваровы и Морщихины искусно мимикрировали, но вовсе не самоустранились...

3

Как бы в пылу увлечения, совпавшего по времени с работой над «Картиной», ни возносил Даниил Гранин жанр романа и романное мышление (такова его статья 1976 года «Роман и герой»), он всегда был неутомим в стремлении совершенствовать повесть, расширять ее исследовательские плацдармы и жанровые границы, открывать в ней все новые и новые изобразительные и выразительные возможности.

Сюжетонаправляющая, формообразующая роль авторской мысли, публицистически выраженной или притчеобразной, позволяет отнести повести Даниила Гранина к той прозе высокого интеллектуального накала, метафорическим аналогом которой может служить мощное электромагнитное поле. Говоря словами Белинского, раскрывшего типологические черты такой прозы на примере творчества Герцена, ее художественное совершенство определяется не столько нестесненным саморазвитием характеров и обстоятельств, сколько писательским умением «донести ум до поэзии, мысль обратить в живые лица, плоды своей наблюдательности — в действие, исполненное драматического движения». Не отсюда ли ясные и четкие, логически стройные и завершенные суждения писателя о повестях «Кто-то должен» и «Однофамилец»? О каждой разъяснено, что и как хотел он сказать ею, какая мысль водила пером, преображаясь в художественную идею, отливаясь в замысел повествования, воплощаясь в сюжетных ситуациях, в поступках героев. Так, магистральную мысль-идею первой повести высекла запавшая в память встреча с человеком, чье долгое и многотрудное хождение по изобретательским мукам дало первотолчок размышлению о чувстве долга: как, откуда оно возникает, почему «кто-то должен» отваживаться принимать решения. Звучит в повести и другой, подсказанный той же встречей мотив компромиссного выхода из тупика, в котором оказался горемыка, бедолага Селянин: на

примирение с гонителями, на уступку им толкает собеседника преуспевающий, процветающий Дробышев. Как отражение судьбы человека, увиденного в жизни, сохранено последующее благополучие Селянина, принявшего-таки советы Дробышева.

Но проследим за многомерными преобразованиями, какие обретает в повести заурядный, казалось бы, житейский случай, едва художественная мысль вовлекает его в сферу своего неодолимого притяжения, придавая всему происходящему «какой-то новый смысл». Правота Селянина, можно подумать, бесспорна. Пусть изобретение, за которое он безуспешно бьется, не более чем усовершенствованная гайка в машине, но и гайкой не следует пренебрегать, если она улучшает ход машины. А с другой стороны, как не понять Дробышева, его раздражения, неприязни к Селянину, который и впрямь обладает поразительным умением восстанавливать против себя. Что-что, а черты фанатика, маньяка действительно проступают на его «изглоданном лице», и «мерзкое кликушество» нет-нет да и пробивается в лихорадочных речах, суетливых, размашистых жестах. Тем труднее отделить пену от волны — «бредовый самотек» изобретательства от научной истины, которую добывают «не за счет самодеятельности и дилетантов».

Честь и хвала Дробышеву, сумевшему разделить одно от другого; худо ли бедно ли распутать тугой клубок, где сплелось многое и всякое. Пусть даже не без любования, упоения собой, не без горделивого отражения в зеркале — красноречивый психологический штрих саморекламной позы «трезво-расчетливого» человека, «умеющего постоять за себя». Но и помимо позы что-то мешает нам разделить его разумно взвешенные соображения в пользу дела, когда оно на глазах оборачивается деляческим практицизмом — небескорыстным расчетом на преимущества, которые, поддержав Селянина, выгадает для себя Дробышев в правой, но закулисной борьбе с косностью и рутинной. Признавая реальным мир, в котором вращается благополучный Дробышев, примем ли его не менее сложную, чем электрохимия, «науку министерских взаимоотношений, смет, планов, сроков, связей с какими-то вроде незаметными, а на самом деле решающими людьми», коль скоро лишена она прочного духовного фундамента, надежного нравственного обеспечения? В последнем убеждается вскоре и герой повести, в свою очередь одержимый идеей «понять, постигнуть физический смысл» малой «буковки в формуле» и готовый принести в жертву ей не только престижное положение баловня успеха, но и научную репутацию авторитетного ученого.

Разительная перемена ролей. Или, точнее, поочередно сыгранная каждым одна заглавная роль человека, который *должен*. «...Хоть кто-то должен», — растерянно и смятенно шепчет Селянин в своей первой, незадавшейся жизни. «Кто-то ведь должен», — уверенно вторит Дробышев, возродившись к другой, новой. «Что он имел в виду? Кто-то

должен заменить того Селянина? Кто-то должен кончать окаянную работу над аккумуляторами? Кто-то должен жертвовать, отказываться, быть черствым, не знать ответа...» Продолжим, выйдя за пределы повести: кто-то должен иметь собственное мнение, на которое так и не отважился никогда директор научного института Владимир Пахомович Минаев... Кто-то должен идти на грозу, как шел Сергей Крылов...

Иной поворот придает нравственному императиву долженствования повесть «Однофамилец», замысел которой, по свидетельству писателя, также подсказан житейским случаем, побудившим подумать о том, что «у каждого человека есть несколько вариантов судьбы: и тот, который прожит, и те, которые можно было бы прожить. На каждом крутом жизненном повороте происходит новое определение судьбы», и в силу разных причин, не говоря уже о всякого рода неожиданностях, рядом с жизнью состоявшейся обнаруживаются несостоявшиеся. Что это — счастье или несчастье?

Вопрос риторический, ибо однозначного ответа на него нет. Не находит такого ответа и герой повести Кузьмин, ретроспективно восстанавливая историю своей жизни, в которой он мог стать известным математиком, а стал инженером-монтажником. Но зато куда как определенен спор, который у него метит по крайней мере в два четко обозначенных адреса. Ближайший — соблазн славой ученого, победно вернувшегося в науку. Более дальний, но не менее прицельный — деловая хватка и волевой напор, прагматический взгляд на жизнь как спринтерскую дорожку, где во что бы то ни стало надо опередить других, «выдвинуться скорее, скорее». Талант ученого тут — лучшая гарантия элитарного самоутверждения, и все поэтому «хотят быть талантливыми. Но... не у всех получается. Тогда начинают говорить о нравственности».

Снова нравственность, соотносимая с наукой. Но на этот раз доказательством от противного, путем неприятия утилитарной морали, прагматической этики, которые наступают под броневым прикрытием всепокрушающе рационалистичного ума, зашедшего за разум, — меркантильных соображений незамедлительной выгоды, позволяющей в зависимости от обстоятельств действовать честно, по совести, или слыть подлецом. «Злость и гадость», — угадывает Кузьмин обостренным чувством, отторгающим головокружительную возможность легкого триумфа в науке. И давнее отступничество от нее, и нынешнее искушение ею — все это для героя повести «не огрехи жизни, а сама жизнь». Чем пестрее ее калейдоскоп, тем труднее решать в ней нравственные задачи, которые по природе своей «вообще самые сложные. Нравственная задача предполагает выбор: что лучше — как поступить — кто прав». А выбранного однажды уже не переиначить задним числом, как бы ни был велик искус шагнуть навстречу «полному и сладостному перевороту».

Возвращаясь к сходной ситуации в рассказе «Ты взвешен на весах...» (1982), Даниил Гранин прослеживает возможный вариант крутой ломки судьбы. Решившись на это, художник Полынин изменил не только подпись под картинами, но и себя как творческую индивидуальность попытался перекроить на новый лад. Зряшная вышла затея, ничего не дало отречение от себя и своего мастерства. Ни в утилитарном, прагматическом смысле выгоды или пользы, ни по большому творческому, высшему духовному счету. Начав снова с первого полотна, Полынин и впрямь перестал быть деревом, навечно привязанным к земле своими корнями, но и рощей тоже не стал, как ни хотел почувствовать в себе «много разных людей, которых можно осуществить». Не осуществил. И не в том беда, что не успел. Можно сменить место жительства, да и образ жизни, но из себя, каким ты есть, не выпрыгнешь. Перерождение, навязанное волюнтаристски, отдает театрализованной мистификацией — игрой в инкогнито, маскарадным костюмом. Никуда не уйти от истины, хоть и жестока она, хоть и высказывает ее персонаж малосимпатичный: «Жизнь нельзя начинать сначала, ее продолжать можно»...

И повести «Кто-то должен» и «Однофамилец», и рассказ «Ты взвешен на весах...» в равной мере можно отнести к прозе нравственного эксперимента, психологического опыта, которые ставятся на отграниченной, замкнутой площадке — в жестких условиях точно рассчитанных коллизий, строго выверенных ситуаций. Писатель и не скрывает такой преднамеренной заданности или, лучше сказать, созданности сюжета, где стихия жизни упорядочена логикой авторской мысли, охотно объясняет непредсказуемые повороты событий волей случая, который не «срабатывает» у него крайне редко. Все сцеплено, связано соединительной нитью причин и следствий, любой поступок включен в нее неотторжимо.

Отмечая, однако, очевидную запрограммированность сюжетной ситуации, в которую помещены герои первой повести и рассказа, нельзя сказать, будто они сами тоже запрограммированы. В том и секрет писательского мастерства, что даже строго заданное, четко целенаправленное русло сюжета не стесняет естественного хода жизни, которая врывается в повествование множеством социальных, психологических, бытовых реалий, живописуемых, как правило, неброско, но колоритно. При этом, в совершенстве владея искусством детали, Даниил Гранин нередко предпочитает пунктир линии. «...Разношенные ботинки его прихлупывали», — только и всего, что сказано о Селянине, который вышагивает взад-вперед «по модерновому» кабинету Дробышева среди книг, аквариумов, кактусов, «отшлепывая мокрые следы на паркете». Но через это обыденное приближается не просто облик обоих героев — их разный уклад жизни, несущий печать разных судеб, обухоженной в одном случае и неслаженной в другом. Virtuозная точность, редкостная емкость слова. И завидная много-

мерность его, погруженного в то неуловимое «нечто», что происходит — «творится» — в сознании, душе человека под спудом не высказанного вслух. Как назвать такую особенность писательской поэтики? Может быть, мастерством штрихового рисунка?

В стилевом отношении оно знает самые крайние полюса. Один — иносказательная поэтизация всевластия мысли, которая умеет преодолеть сиюминутность, одномоментность земного притяжения, в повести «Место для памятника» (1969): все здесь выдержано на пределе условности, органично сплавленной с фантастикой. Доведя до парадокса излюбленную ситуацию нравственного эксперимента, писатель моделирует типовое поведение человека, чье утилитарное мышление, скованное преходящей минутой, не способно воспринять ее как миг вечности.

Другой, прямо противоположный полюс — повесть «Дождь в чужом городе» (1973), созданная в традициях бытовой, подчеркнуто заземленной прозы. Появившись в одновременном потоке романов и повестей, обращенных к повседневному миру человеческого бытия, семейных, интимных отношений, она привлекла участников дискуссии «о странностях любви», проведенной в 1973 году журналом «Вопросы литературы». В ходе этой дискуссии героиня повести Кира Семичева навлекла на себя немало нареканий: и в богатой душевной жизни ей было отказано, и в высокой культуре чувства. Но с какой стати она должна непременно выступать идеальным воплощением того и другого? С нее достаточно, что в своей по-житейски обыкновенной «отцветающей... женской судьбе» она все равно выше Степана Чижегова, чей нравственный стержень, не выдерживая первых перегрузок, ломается под напором не столько даже чувства любви, сколько имитирующей его любовной интриги.

Среди других повестей Даниила Гранина «Дождь в чужом городе» заметно выделяется обстоятельной, скрупулезной бытописью повседневья. Пристальное внимание к незатейливым мелочам, заурядным подробностям жизни выступает здесь нормой поэтики, доминантой стиля. Такая установка не замедлила отозваться в эстетических воззрениях писателя, вызвала резкие, полемически заостренные суждения об обезвоженной прозе, где «герои существуют вне быта», поставлены «выше быта». С усекновением, отсечением бытовой сферы человеческой жизнедеятельности воцаряются суженные представления о ценностных ориентациях, происходит смещение духовных ориентиров, нравственных критериев. «Мы, например, привыкли чтить прежде всего хорошо работающих. Их возводить в пример», раньше и прежде всего выявляя в делах людей «полезный результат. Не мотивы, а результат. Именно польза и ничего другого, что стоило бы любви и признания само по себе, вне расчетов и соображений». Между тем действительность, настаивает Даниил Гранин, всем ходом своего развития подтвердила несостоятельность такого подхода к че-

ловеку исключительно как к хорошему или плохому работнику, побуждала искать в нем «иные ценности... ценности характера, душевной красоты», вскрывать причины, предвидеть последствия их девальвации. Повесть «Дождь в чужом городе», где хороший работник Чижегов оказывается духовным банкротом, закрепила такое направление поиска в собственном творчестве писателя.

Но вот что знаменательно: увлеченно ратуя за равнение литературы на «примеры... повседневно нравственной» жизни, за «внимание к подробностям жизни», Даниил Гранин в одном общем перечне слагаемых факторов художественной мысли, философски глубокой, социально зоркой, ставит рядом и «погруженность в плоть нашего бытия», и «ощущение историчности... сегодняшнего». Нет для него противоречий между тем и другим, потому что в содержание современных духовных ценностей он настойчиво и последовательно включает чувство истории, которое позволяет человеку проникнуться пониманием своей причастности к окружающей действительности как непрерывному процессу движения от прошлого к будущему.

Поначалу обостренное чувство истории в прозе Даниила Гранина чаще и больше всего опиралось на неослабную память войны. Во имя нее герой самого первого гранинского рассказа «Вариант второй» отказывается от кандидатской защиты, едва узнает, что его тема уже разработана другим, невернувшимся. И Андрей Лобанов в «Искателях» неутомимо трудится над локатором еще и потому, что идея изобретения пришла после боя, в котором погиб фронтовой друг.

Не опосредованно, а напрямую мотив памяти войны прозвучал в коротких рассказах из цикла «Молодая война» (1964—1965) — первом подступе Даниила Гранина к собственно «военной прозе». Выделим среди них рассказ «Пленные», примечательный тем, что образ блокадного Ленинграда — оригинально найденное художественное решение — передан через восприятие немецкого лейтенанта. «Так не бывает», — то и дело повторяет он в сомнамбулическом оцепенении, видя старика, замерзшего в оледенелом трамвае, рассеченный пополам «дом в разрезе после бомбежки», сани «с мертвецами, уложенными в два ряда и покрытыми брезентом». Но и не такое бывало в осажденном городе, как спустя годы покажет «Блокадная книга» (1977, 1980), написанная Даниилом Граниным в соавторстве с Алесем Адамовичем. Словно в предвидении ее, тогда еще даже не задуманной, герой-повествователь из рассказа «Пленные» так разъясняет, не страшно ли ему на войне: «Нет, я другого боюсь... Что потом забудут все это, вот я чего боюсь...»

Неистребимая память, неодолимое стремление «пробиться сквозь ржавчину времени» к довоенной юности и пережитому на войне, к тем, кто остался на фронтовых путях-дорогах, спустя два десятка лет после Победы приводят в «дом на Фонтанке» — так назван рассказ (1967) — другого гранинского героя, также ведущего повествование

от первого лица. «Нужно ли навещать жен и матерей наших погибших товарищей — вот вопрос... Всегда чувствуешь себя виноватым. А в чем? Что остался жив? Виноват, что здоров, что смеюсь?» — терзается он, вряд ли ведая, что не оставляет его в покое то самое «все же», троекратным повторением которого А. Твардовский завершил пронзительное стихотворение:

Я знаю, никакой моей вины

В том, что другие не пришли с войны...

Такое возвращение к себе прежним, но уже не в дом, который уберег след недолгой жизни погибшего друга, а в окопы под Пулковом, где «каждый метр... прожит, исползан на брюхе, был последней минутой, крайней точкой, пределом голода, страха, дружбы», переживают герои повести «Наш комбат» (1968), долго числившейся после первой журнальной публикации «крамольной» — «дегероизирующей» войну, «искажающей» ее большую правду в угоду малой «окопной». Отчасти она, наверное, выросла из рассказов цикла «Молодая война»; вполне может статься, что и там и здесь повествование ведет один человек, в чью память накрепко врезалось «острие клина» — переднего края немцев, «совсем близко, метров на полтора» подступившего к позициям батальона. И стоившего непомерных жертв, невозполнимых утрат, которых, выясняется, могло быть меньше. Если бы не шли на штурм «в лоб под прицельный огонь автоматчиков»... Если бы, подготовив атаки разведкой, знали, что была возможность обходного маневра...

Но много ли проку в подобных «если бы»? Ничего ведь не изменится от того, что бывший комбат, «насмешливый, молчаливый, страшный», а ныне «степенный, аккуратный» учитель заявит во всеуслышание, будто не достоин того романтического ореола, какой создал вокруг него пылкий герой-повествователь. Прошлого задним числом не исправить, не переделать. «Конечно, переделать нельзя, но передумать-то можно...» — возражает комбат, упрямо ведя однополчан по заросшим следам боев. Может, не стоило этого делать, если даже герой-повествователь — а он комбату всех ближе и понимает его лучше кого бы то ни было — с редкостной беспощадностью к себе признается, как и ему не хотелось рисковать прошлым, как и его страшило покушение на «навоеванную славу, которая не должна была зависеть от времени, ошибок и всяких пересмотров. Она была навечно замурована в ледяной толще блокадной зимы, там мы оставались всегда молодыми, мы совершали бессмертные прекраснейшие дела нашей жизни... Такой, какой была эта война тогда для нас, такой она и должна оставаться. С героическими атаками, с лохмотьями обмороженных щек, с иступленной нашей верой, с клятвами и проклятиями...»

Маясь в силках внушенных клише и самовнушаемых стереотипов, он думает поначалу, что под нажимом комбата придется посту-

паться честной славой солдата. Но боевая слава именно потому, что она честна, остается с ним и в тот кульминационный «миг, который дается для выбора. Или — или». Опять выбор, как всегда питающий драматизм гранинской прозы. Совершая его вслед за комбатом, герой-повествователь в конечном счете выбирает не просто между беспечным неведением и беспощадным знанием, а между ложью и правдой. Даже утешительная — во благо — ложь не бывает гуманной. И ничего не «может напортить» правда, убежденная защита которой становится делом совести. Такой бескомпромиссный, неуступчивый выбор героя на стороне правды жизни, какой бы «неудобной и неприглядной, жестокой и суровой она ни была, для автора повести знаменует торжество непререкаемой правды искусства, обоснование и утверждение которой обретают значение творческой позиции. Не случайно герой-повествователь, поначалу чуть не утративший, но затем снова узнавший в мирном учителе боевого комбата, близок писателю и биографически, и духовно, и даже профессионально. «...Если б я мог стать таким, как комбат... Если б мне хватило сил...» — для него это не только признание в любви к человеку, который был и остается непоколебленным кумиром фронтовой молодости, но и обязательство писать впредь о войне так, чтобы каждое слово было достойно ее героики и трагедии. «Правда войны... восстановить правду, — кто бы мог подумать, что это станет проблемой...»

Однако же стало. И не только в силу прямых и грозных запретов на правду, в полной мере испытанных Даниилом Граниным в разгар обструкций, с которыми проработочная критика обрушилась на повесть «Наш комбат», надолго отгородив ее от читателей в качестве первой и единственной журнальной публикации. Свою негативную роль сыграла психология восприятия войны, модернизированного под воздействием современного знания. О нем размышляет Даниил Гранин в строго документальной повести-биографии «Клавдия Вилор» (1975): «Мы много поняли и узнали за эти десятилетия и невольно переносим это в те военные годы. Мы видим себя умными, дерзкими, критически мыслящими лейтенантами, знающими, кто чего стоит и как кончится война, и как надо наступать, понимающими значение Сталинграда и замыслы наших маршалов...»

В путевой очерковой повести «Прекрасная Ута» (1967) подобным стремлениям и упрощениям противостоял программный призыв: литература должна выйти к истории войны — не академической, много-томной, какую «пишут военные специалисты и историки» (и в которой — добавим — бывшие солдаты-фронтовики зачастую не узнают ни войны, ни себя на войне), а к «истории душевной нашей жизни в годы войны — как мы жили, как мы воевали, что думали, что чувствовали, как менялись мы и наши чувства». Тем, надо полагать, глубже отзывалась в писателе, «легла на душу» судьба Клавдии Вилор, с которой он соприкоснулся, собирая материал для «Блокадной кни-

ги», что в ее драмах как раз и прочитывалась духовная история личности, ввергнутой в пучину войны, принявшей на себя мощный отсвет как ее героических событий, так и самых трагедийных обстоятельств. Ибо в доподлинной судьбе невыдуманной героини повести, подчеркивал Даниил Гранин, «угадывались судьбы сотен и тысяч людей, прошедших через трагедию плена и даже в тех нечеловечески жутких условиях сохранивших себя, проявивших героизм...» Обратим внимание: так рассуждал он во времена, отнюдь не благоприятствовавшие состраданию мученикам, которым выпало испытать и вынести гитлеровскую оккупацию, фашистские концлагеря, напротив, демагогически распалявшие по отношению к ним бдительность и подозрительность. Воспрепятствовать этому живым примером действительной биографии героя войны, причем женщины, неотразимым языком документально удостоверенных фактов было актом мужества гражданского.

Ну а репрессированный в войну и ставший узником не гитлеровских, а сталинских лагерей Сергей Волков из повести «Еще заметен след» (1984) — он не того же древа ветвь? Его образ как персонажа, не столько действующего, сколько вспоминаемого, слагается по крупницам, и, что важно, в сопротивлении *непамяти*. Не оберегающей от избыточных страданий, как ради самоуспокоения внушает себе, ведя повествование, Дударев, а усыпляющей совесть, которой есть от чего быть беспокойной. В том, что произошло, была и его вина, коль скоро и он значился среди тех вызываемых «куда надо», кто «не щадил Волкова — и за прошлые разговоры, и за этот». А «этот» роковой шел о цене успеха в «операции, за которую мы получили награды. Волков сказал, что форсировать реку и выйти к железной дороге можно было без таких потерь... Нам казалось, что он принижает наш подвиг, развенчивает его в глазах начальства, которое так хорошо отзывалось о наших действиях. Не наше дело думать о потерях, наше дело выполнять приказ».

Как и в повести «Наш комбат», снова незнание противится знанию, неправда правде, но не отступает, как там, а берет верх. И тогда, в разгар боев, что заволокли печальную участь полкового правдолюбца «клубами пыли наших танков и самоходок, идущих на запад», и сейчас, десятилетия спустя, когда его однополчанин, боясь «отдаться во власть воспоминаний», избегает всего, что грозит их вызвать. «Зачем? Я свое отвоевал, свое получил, оставьте меня в покое. Люди хотят слышать про подвиги, победы, и они правы. Что же, я буду им рассказывать, как у меня вырезали взвод? Как мы прикрывались в поле трупами?»

Но недаром слово «след» вынесено в название повести. Правдолюб Волков канул в безвестность, честность его поступка не была понята даже друзьями-однополчанами. «Но это был поступок, и он не прошел бесследно». И как знать, начинает терзаться Дударев своей

непамятью, может, как и в войну, его послевоенная жизнь тоже не катится «просто так! Наверное, и в ней есть смысл, скрытый за суетой, за всем, что кажется таким важным сегодня и ненужным завтра. Может, лежат где-то письма, запрятанные от меня, не дошедшие вовремя». Исполать ему, все-таки вспомнившему войну, в многообразных ликах которой судьба вымышленного Волкова значительна так же, как доподлинной Клавдии Вилор или прототипического комбата...

Мотивам памяти, увлеченно и последовательно развиваемым от книги к книге, обостренному и углубленному чувству связи времен Даниил Гранин обязан новаторским созданием повести особой жанровой и стилевой структуры. Раскованной по форме, ассоциативной, лирически озвученной, публицистически заостренной, насыщенной спором, полемикой повести-эссе. Путевой — «Месяц вверх ногами» (1966), «Прекрасная Ута», «Примечания к путеводителю» (1967). Исторической — «Размышления перед портретом, которого нет» (1968), «Повесть об одном ученом и одном императоре» (1971). Философской — «Два лика» (1968), «Церковь в Овере» (1969), «Священный дар» (1971). Личность повествователя выдвигается здесь на передний план, а открытая исповедальность повествования (не в противовес ли обезличенной психологии «колесиков и винтиков», конъюнктурно возрождаемой приспособленческой литературой, которая хотела стать и становилась опорой застою?) обретает значение «признанных над собой» законов образотворчества.

В ряду таких повестей «Обратному билету» (1976) принадлежит особое место повести-синтеза. В сюжетно-композиционном строе ее пересекаются два голоса — путешествующего автора и его ироничного друга, чей трезвый скепсис удерживает от срывов на сентиментальность, которая грозила потеснить лирику воспоминаний. Ничего не поделаешь: такова уж природа ностальгической грусти по «корням» и «истокам». Тем неотвязнее сопутствует она возвращению «куда-то в самую рань, в пяти-, четырехлетнюю рассветность», чем длиннее и дольше выпадает дорога. Автору повести дорога выпала «не в сто двадцать километров, а в целую жизнь».

На похожем приеме двуголосия строилась у Даниила Гранина и повесть «Сад камней» (1971). Но там японские впечатления писателя поделены поровну между вымышленными персонажами — эмоциональным журналистом и рациональным ученым. В «Обратном билете» соотношение голосов иное: то и дело позволяя другу охлаждать себя, сдерживать свои порывы, Даниил Гранин не скрывает автобиографичности авторского «я». Не герой-повествователь, хотя бы и близкий автору, но сам автор совершает поездку в страну детства, на «свою речку, свой разъезд», которая оборачивается для него путешествием не только в биографическое прошлое, близкое или далекое. Доверительно, с расчетом на ответное читательское внимание, делится

он дорогими воспоминаниями о прожитом и пережитом, сокровенными суждениями об искусстве и творчестве. Как лично выношенное и выстраданное, излагает собственное понимание человека во времени и времени в человеке. Так очерк пути вбирает в себя и историю, и философию, а сквозной мотив памяти, как, пожалуй, нигде прежде широко разомкнутый во времени, сцепляет век нынешний с минувшим. Так сходятся в повести две старые Руссы: гранинская, какой писатель запомнил ее с детства и узнал в теперешней поездке, и Достоевского, воссозданная в «Братьях Карамазовых». Так, наконец, по законам ассоциативных связей писатель-современник обращает свои раздумья к педагогическим идеям, гуманистическим заветам и творческим урокам гения, переплавленным в тот «реализм в высшем смысле», которому дано проникать в тайны человеческого духа, сплестать в «тугую косу» выдумку и реальность, «звездным светом вечности» высвечивать даже самые «мелкие подробности жизни».

В повседневном их окружении человек не всегда умеет понять, какой он «шаткий мосток между вечностью, что была до рождения, и той вечностью, что протянется после смерти». И тот же Кузьмин из повести «Однофамилец» не был прав по большому счету, когда, отделив жизнь от обыденно истолкованной судьбы, поставил первую выше второй. Судьба, опрокинутая в жизнь, и жизнь, поднятая до судьбы, — в их неразрывное единство погружен творческий мир Даниила Гранина.

4

Да и как, не боясь схоластики, разделить одно от другого, развести по разным берегам одной реки применительно, скажем, к жизни-судьбе Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского (1900—1981), в хроникально протяженное, эпически развернутое жизнеописание которого вылилась документальная повесть «Зубр»? «...Своеобразный текст, инструмент, испытывающий нас, нашу систему ценностей», — верно и точно сказал о ней, ее значении и месте в литературном процессе наших дней Алесь Адамович (Лит. газ., 1988, 6 июля). Неудивительно: она из тех знаменательных явлений, которые сыграли в прозе второй половины 80-х годов роль флагманов, ибо благодаря им в литературе закладывались, осваивались обширные плацдармы нового мышления, которое в ходе перестройки, развития демократизации и гласности утверждало себя не только в политике или экономике, идеологии или социологии, философской или исторической науке, но также в художественном творчестве или — шире — в современном эстетическом сознании. В случае с «Зубром» готовности к новому мышлению настоятельно требовал сам материал

повествования — и от писательского его осмысления, и от интерпретаций в критике, и от читательского восприятия.

Начать с исключительной личности, уникальной судьбы крупнейшего русского советского ученого, который, однако, — уместно заметить — во втором издании Большой Советской Энциклопедии не удостоился хотя бы беглого упоминания. А между тем ко времени выхода в 1956 году соответствующего тома он уже руководил отделом Института биологии Уральского филиала АН СССР и был не менее знаменит и признан, чем спустя двадцать лет, когда та же БСЭ третьего издания, неуклюже обойдя, правда, молчанием ни мало ни много все послевоенное десятилетие жизни ученого, назовет его труды по генетике, эволюционной теории, молекулярной и популяционной биологии, биофизике значительным вкладом в отечественную и мировую науку.

«Передний край биологии тех лет, разведка боем, которую она вела», — характеризует их и Даниил Гранин. Однако, за редкими исключениями, как, к примеру, спор с лысенковщиной в защиту генетической теории наследственности, не углубляется в существо специфических научных проблем, предпочитает, как правило, общие, суммарные суждения о достижениях и заслугах ученого. Другое дело — обстоятельность, с какой раскрывается в повести счастливый дар, притягательный талант человеческого общения. И для самого Зубра, и для его ближайшего, неизменно большого и шумного окружения — воистину каскад великих имен! — оно становилось своего рода опытной лабораторией «мыслеизвержения» — научных идей, гипотез, открытий.

Такая предпочтительность в расстановке смысловых акцентов отвечает программно заявленной направленности повествования: «Я не собираюсь описывать его научные достижения, не мое это дело. Не о них я пишу, я рассказываю про одну человеческую жизнь, которая, как мне кажется, стоит внимания и размышлений». В решении такой задачи Даниил Гранин пошел по пути поиска, чреватого многими и разными осложнениями. Далеко не главное среди них — остерегающие наставления доброхотов вообще не браться за «слишком сложную» биографию Н. В. Тимофеева-Ресовского: «Писать о нем — дело безнадежное». Но внять им было куда легче, чем погрузиться в подлинную жизнь героя повести, которая «казалась неисчерпаемой» настолько, что ее и впрямь с лихвой хватило бы на «любой плутовской роман».

Не одолей Даниил Гранин беллетристического искуса, не заглуши в себе «соблазн вырваться... из пут подлинных фактов, дат, адресов», — это наверняка бы устроило и успокоило тайных и явных недоброжелателей как самого Н. В. Тимофеева-Ресовского, так — рикошетом — и повествующего о нем автора. Но на беду им, писатель попался не из уступчивых. Прямым вызовом стало авторское предпо-

чение жанра: не свободный роман с вымышленным, хотя и прототипическим персонажем, а строго выверенная документальная повесть с исторически реальным героем.

О правде научного творчества, полной и безраздельной самоотдаче ученых своему делу пристало говорить как о подвижничестве, одержимости, хотя, по мысли писателя, столь звучные слова не очень подходят к тому, что было для каждого повседневной работой познания, шаг за шагом приближающей человеческую мысль к разгадкам неведомого. Вот и героя повести часто влекут «самый азарт, самая горячка работы», и он, в согласии с Эйнштейном, «прикосновение к тайне» понимает как «самое прекрасное и глубокое из доступных человеку чувств». Что значило «перед волшебными процессами живого на земле» все остальное? «Не так уж много...»

Здесь мы выходим вслед за писателем на тот первый перекресток, где совершается поворот, на годы и десятилетия вперед предопределивший путь героя повести. Неукоснительно следуя твердо усвоенному убеждению, что нет в мире «ничего выше науки», он чистосердечно считал, будто все зло, преследовавшее его лично, «шло от политики, от которой он бежал, ограждая свою жизнь наукой. Он хотел заниматься одной наукой, жить в ее огромном прекрасном мире, где чувствовал свою силу. А политика настигала его за любыми шлагбаумами, за институтскими воротами. Нигде он не мог спрятаться от нее». Заменяем политику политиканством, не вменяя неразличение их в вину герою повести, — и многое станет на свое место, не оставив поводов к спору. Ведь к тому роковому времени, когда Н. В. Тимофеев-Ресовский сочтет невозможным возвращение в Москву, разнузданное политиканство окончательно возьмет верх над разумной политикой, подомнет не одну судьбу, сокрушит не один бастион в науке. Особенно в биологии.

Даже неполная, усеченная хроника сталинского насилия над наукой, поданная в повести через восприятие ее действительного героя, слагается в обвинительный мартиролог, пестрящий великими именами и трагическими событиями. И нет поэтому никакой нужды напрягать воображение, чтобы представить воочию, чем и как завершился бы в 1937 году послушный приезд Н. В. Тимофеева-Ресовского на родину. «Погибнуть, да еще в бесчестии, как враг народа, ради чего?»

Между тем именно решения самоубийственного, выбора самоубийственного задним числом потребовали ныне от героя повести некоторые критики-интерпретаторы, не различившие ни в судьбе ученого, ни в писательских раздумьях о ней ничего, кроме плоской альтернативы: «Восток или Запад? Уезжать или оставаться? Америка или Россия?» Даже «уродское», как называет его Даниил Гранин, словечко «невозвращенец» пустили заново в ход, будто забыли напрочь, какая жестокая реальность народной истории породила чудовищное словообразование. Неслучайно Федор Раскольников в знаменитом

письме Сталину ставил его порождение в вину не советским ученым, вынужденно обрекшим себя на эмиграцию, а адресату письма. Вот и хочется напрямик спросить нынешних обличителей всемирно известного ученого и повествующего о нем писателя: неужто они всерьез полагают, что отечественной науке (отечественной!) великие были бы слава и польза, если б Н. В. Тимофеев-Ресовский добровольно умножил собой и без того немалое число жертв и утрат? Неужто в ущерб ей, что ныне так называемые «невозвращенцы возвращаются — входят в энциклопедии, словари, им отдают должное, их цитируют, о них пишут...»? И, напротив, не к чести отлучение постыдных, вроде академика Презента, имен, оставивших в недобрую память о себе «не труды, а одни разоблачения. Не список работ, а список разоблаченных»?

Сопоставляя нежелание Зубра самоотреченно идти на заклятие с тем, что происходило тогда в стране и в мире, зададимся еще одним непустяшным вопросом: много ли значили его строптивость и непокорство на весах истории? Право, совсем ничего не значили, тысячекратно перевешенные действительными преступлениями перед страной и народом, которые безнаказанно совершали Сталин и его клика. То же — вынужденное пребывание ученого в фашистской Германии (при сохранении, напомним, советского подданства и гражданства!): сущая малость в сравнении с советско-германским договором «о дружбе», выдавшим циничный сговор Сталина и Гитлера.

Что же, не разобрался, значит, погорячился Лев Андреевич Арцимович, когда, посетив Бух летом 1945 года, на виду у всех не подал Зубру руки? «Так Зубр и остался с протянутой рукой. Это была одна из самых позорных минут в его жизни». Арцимович же и «позже вспоминал о своем поступке без раскаяния»...

Авторские пометы на полях сюжетного действия значат порою в поэтике документального повествования много больше самого действия. Так и в приведенном эпизоде в Бухе. Комментируя поступок Л. А. Арцимовича от своего имени, Даниил Гранин делает признание, подкупающая откровенность которого насквозь личностна и в то же время глубоко типична как объективное выражение общеразделяемых чувств и умонастроений. «В тот год я тоже не подал бы руки русскому, который работал у немцев. В тот год непримиримость жгла нас. Огонь войны очистил наши души, и мы не желали никаких компромиссов. Мы ко всему подходили с фронтовой меркой: где ты был — по ту или по эту сторону черты? Боролся с гитлеровцами — свой, не боролся — враг. Мы парили над всеми сложностями жизни, свободные и счастливые победители, для которых все просто».

Такой ригоризм — духовная мета времени. Исторически объяснимый «ненавистью за причиненное горе», но не безупречно правый, ограниченный и нетерпимый в нежелании разбираться — «кто фашист, кто не фашист». Этим воспользовалась лысенковская клика.

Подвергнув «комплекс войны», нравственный ригоризм победителей спекулятивной абсолютизации, она демагогически обратила их против Н. В. Тимофеева-Ресовского уже не в послевоенные 40-е, а в «оттепельные» 50—60-е годы, при повторном фаворе «народного академика», который, конечно же, не мог простить уподобления себя Гришке Распутину. Для героя же повести распутинщина «была единственным аналогом в истории» лысенковского абсурда.

Убежденная защита доброго имени Н. В. Тимофеева-Ресовского, его нравственного достоинства, гражданской чести во многом предопределила действенный гуманистический пафос гранинской повести, вылившийся, помимо всего, в объемное историческое исследование: укореняя в общественном сознании современников имя крупного ученого, он вместе с тем воскрешает и одну из неведомых страниц антифашистского Сопротивления, активным участником которого при поддержке отца был сын Н. В. Тимофеева-Ресовского, арестованный гестапо и погибший в Маутхаузене.

Почему же сам Н. В. Тимофеев-Ресовский «так ничего... и не открыл про антифашистское Сопротивление в Бухе, про то, чем занимались Фома и его друзья»? Почему, горделиво самоустранившись, предоставил другим «заниматься археологией, искать черепки», хотя лично ему «ничего не стоило собрать свидетельства военнопленных, которых он спасал в Германии, прятал у себя»? Сделай так своевременно — «посрамил бы клеветников и появился бы перед ними как один из героев антифашистского Сопротивления».

Ничего похожего сделано не было: «Действительная жизнь, — недаром обронено в повести, — тем и отлична от сочинений, что никак не догадаешься, куда она свернет». И остается предполагать: не боязнь ли смешать сочиненное с действительным, не смущение ли их внешним подобием останавливали героя повести? Или, как допускает писатель при частичном согласии с ближайшими друзьями Зубра, «гонор мешал. Оправдываться не желал, доказывать свою честность, порядочность, любовь к родине. Не желал защищаться гибелью сына. Гордость не давала. Самолюбие. Перед кем оправдываться? Перед клеветниками, шпаной, людьми, лишенными совести?

Кровь потомственного русского дворянина заставляла его молчать»? Если и правда в гоноре да гордыне причина, в том, что «вздыбился аристократизм» дворянина, который «ощущал себя ближе к Александру Невскому, чем к современникам», то такое эгоцентрическое чувство в самом деле заслуживает упрека, от которого не удерживается писатель. И все же предложенное понимание героя, чей душевный «секрет» объясняется пушкинским словоизобретением «самостоянье», в чем-то неполно, какого-то доминирующего или завершающего штриха недостает. Например, допущения, что показным равнодушием к собственной репутации, которая в действительности «еще как заботила», он бунтарски отторгал, выключая себя из систе-

мы узаконенного беззакония, что ставила человека в противоестественную ситуацию, обрекающую удостоверить: он «не». Не классовый враг, не агент империализма, не закордонный шпион, не идеологический диверсант, не политический двурушник. Для личности с развитым самосознанием, обостренным чувством достоинства более чем унижительно...

Один из сквозных мотивов повести громко заявлен уже первой сценой: престарелый Зубр, неожиданно появившийся во Дворце съездов на открытии международного конгресса, «позволял себе быть самим собою» и посреди вызванного им ажиотажа. «Оставаться самим собой» в любых обстоятельствах было «самое, пожалуй, неперемное условие его существования». Даже после лагеря, который едва не стоил ему жизни, он оставался «таким же, каким был». «Самый невероятный для меня, — изумляется писатель, — и самый естественный для него вариант». Тоже неотъемлемая грань «самостоянья человека», который на протяжении всей долгой жизни «не искал своего пути», а неизменно возвращался на него «после всех заходов, зигзагов». И «не боролся за свои убеждения», а «просто следовал им» всегда и во всем, не ведая самоцензуры, не различая, что «можно», а что «нельзя». «Вольность» — понятие, которое, на взгляд Даниила Гранина, точнее характеризует «раскаленность этой натуры», чем «свобода». «Вольность требует простора, пространства, полей, распах неба и распах души». Применительно же к духовной родословной героя повести «это более русское понятие, чем свобода», обретало особый смысл еще и потому, что в нем не ослабевал, не иссякал «запал десятых-двадцатых годов, того пьянящего воздуха расцвета русской культуры, которого он успел наглотаться. То был праздник, подъем — и в живописи, и в музыке, и в поэзии, и в науке, эпоха Возрождения, которая вдруг неизвестно почему вздымает нацию на гребень».

От этих глубинных корней — нравственный и научный авторитет, счастливо соединенный и в Н. В. Тимофееве-Ресовском, и во многих его предшественниках и современниках, названных в повести. Тем круче «горная цепь» науки, образованная их именами, тем крупнее заданный ими «масштаб высоты». В случае с героем повести нравственные основания научного творчества, не раз испытанные на пределе и даже за пределом возможного, оказались небывало прочного — «стойкость благородного металла»? — сплава. Тайна Зубра, которую упорно разгадывает писатель, именно «в том, что остался, сохранился, не уступил ни демонам, ни ангелам, разрывающим душу надвое. Благополучный человек, он может позволить себе быть нравственным. А ты удержи свою нравственность в бедствии, ты попробуй остаться с той же отзывчивостью, жизнелюбием, как тогда, когда тебе было хорошо».

Зубр удержал, ибо силы ему «придавала вера. Он верил в справедливость, в превосходство добра над злом, в абсолютность добра». Оттого и повесть о нем воспринимается не только сама по себе, не просто как самостоятельное художественное дело, но еще как главы или части той будущей книги «о чести и бесчестии», об уроках порядочности, великодушия, красоты души, написать которую, оказывается, давно мечтает Даниил Гранин.

Впрочем, разве не такую книгу пишет он неустанно, начиная с рассказа «Вариант второй» и романа «Искатели»? И разве не ее продолжают другие романы и повести, рассказы и очерки, статьи и эссе, составившие тома только что прочитанного собрания сочинений?..

В. Оскоцкий

СОДЕРЖАНИЕ

ИСКАТЕЛИ. Роман 5

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ. ЭССЕ

Размышления перед портретом, которого нет 426

Ленинградский каталог 456

Братья Елисеевы 497

Мимолетное явление 509

До поезда оставалось три часа 529

Неизвестный человек 536

Два лика 595

Священный дар 619

Отец и дочь 675

Тринадцать ступенек 685

Герой, которого он любил всеми силами своей души . . 702

Милосердие 709

В. Оскоцкий. В творческом мире Даниила Гранина . . . 720

Гранин Д.

Г 77 Собрание сочинений: В 5 т. Т. 5: Искатели: Роман; Повести; Рассказы/Послесл. В. Оскоцкого. — Л.: Худож. лит., 1990. — 752 с.

ISBN 5-280-00960-1 (Т. 5)

ISBN 5-280-00860-5

В том вошли роман «Искатели» (1954), а также повести, рассказы и эссе разных лет: «Размышления перед портретом, которого нет», «Ленинградский каталог», «Священный дар» и другие.

Г 4702010201-080
028(01)-90 подписное

ББК 84.Р7

ДАНИИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ ГРАНИН

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ПЯТИ ТОМАХ

ТОМ ПЯТЫЙ

Редактор И. Степанов

Художественный редактор В. Лужин

Технический редактор Н. Литвина

Корректоры А. Борисенкова, Г. Щеголева

ИБ № 5654

Сдано в набор 25.12.89. Подписано в печать 18.09.90. Формат 84×108¹/₃₂. Бумага кн.-журн. имп. Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать высокая. Усл. печ. л. 39,48. Усл. кр.-отт. 39,9. Уч.-изд. л. 40,76. Тираж 100 000 экз. Изд. № ЛIII-235. Заказ № 457. Цена 3 р. Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература», Ленинградское отделение. 191186, Ленинград, Д-186, Невский пр., 28. Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького при Госкомпечати СССР. 197136, Ленинград, П-136, Чкаловский пр., 15.

